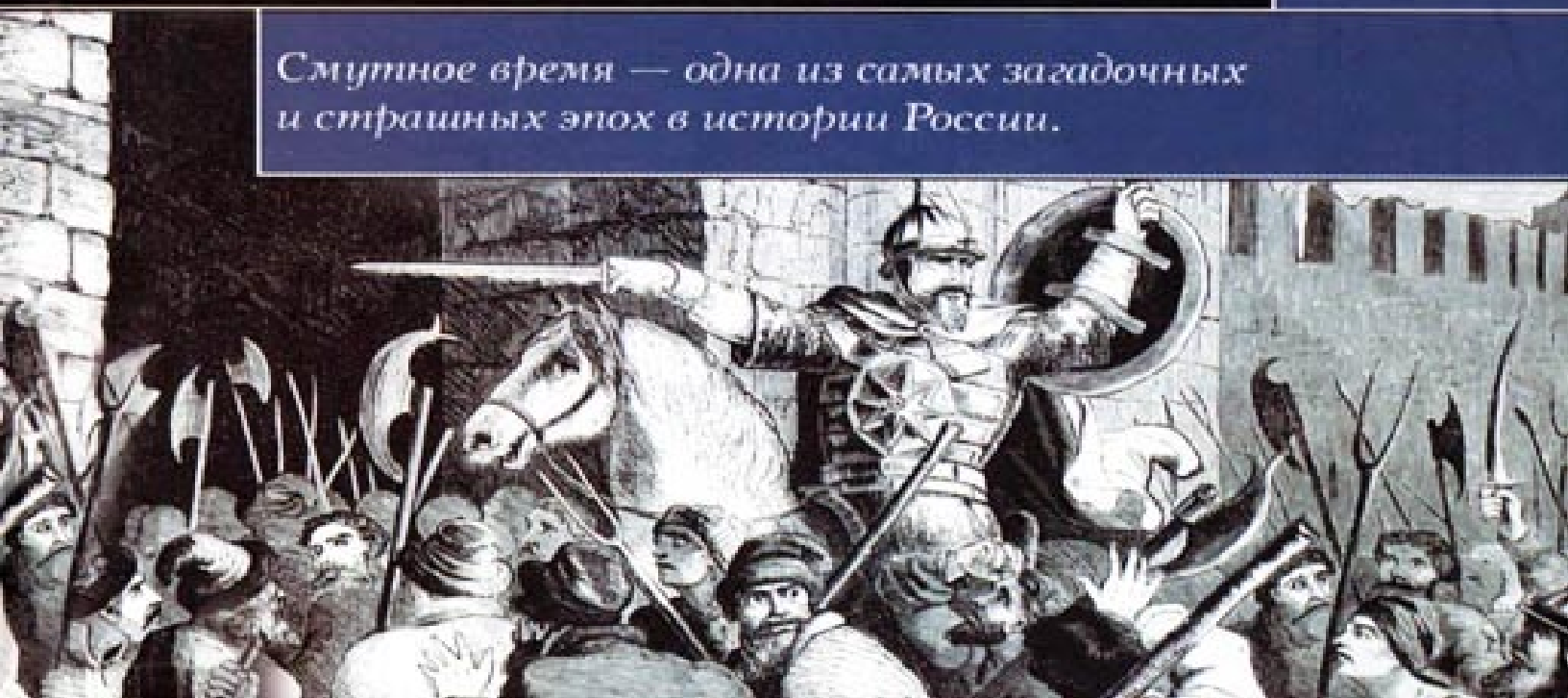


ВЕЛИКИЕ РОССИЙСКИЕ ИСТОРИКИ



О СМУТНОМ ВРЕМЕНИ

*Смутное время — одна из самых загадочных
и страшных эпох в истории России.*

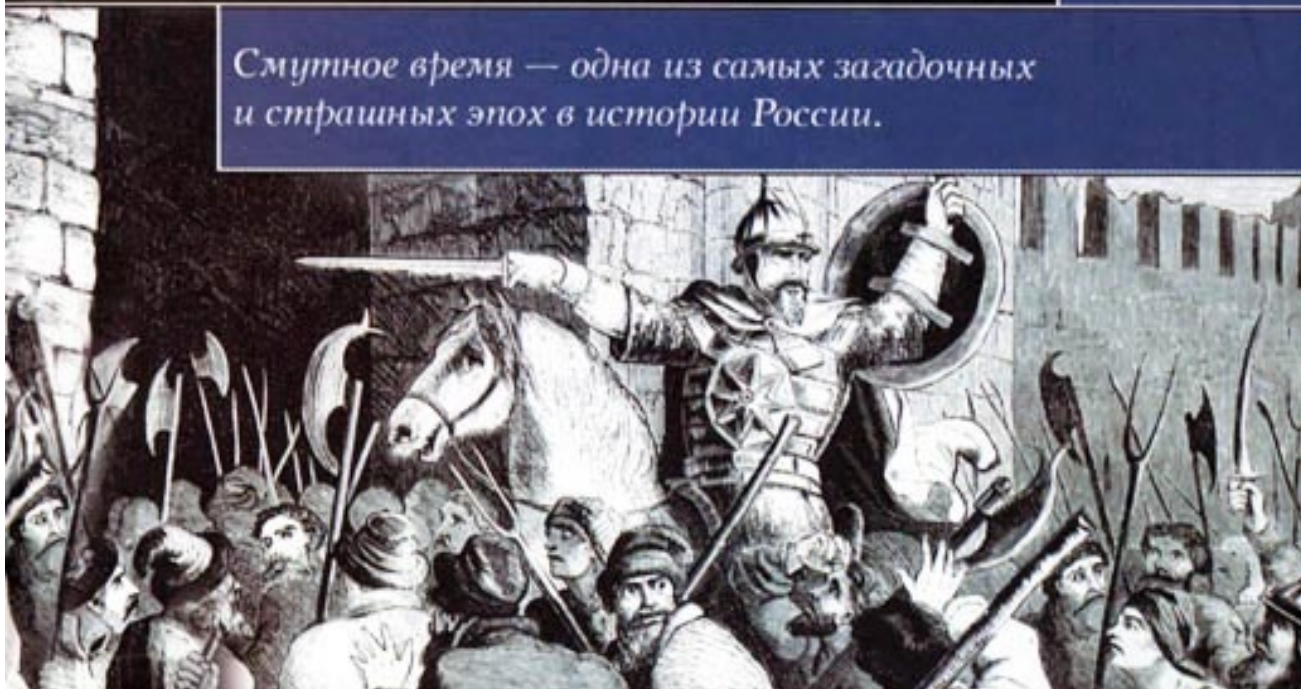


ВЕЛИКИЕ РОССИЙСКИЕ ИСТОРИКИ



О СМУТНОМ ВРЕМЕНИ

*Смутное время — одна из самых загадочных
и страшных эпох в истории России.*



Великие российские историки о Смутном времени

Василий Татищев

ВЫПИСКА ИЗ ИСТОРИИ С НАЧАЛА ЦАРСТВА ЦАРЯ ФЕОДОРА ИОАННОВИЧА

Пред смертью царя Иоанна Васильевича изменили царю Иоанну Васильевичу казанские татары, воевод, архиепископа и прочих русских людей побили.

1583. Послал государь полки с разными воеводами татар, чуваш и черемису воевать и Казань возвратить, но татары частью на походах, частью на станах многих воевод разбили, и принуждены были отступить.

1584. Зимой видена была комета. В том же году марта 19 числа преставился царь Иоанн Васильевич. Пред смертию же, постригшись во иноческий чин, завещал старшему сыну своему Феодору быть царем всея Руси, а младшему Дмитрию с матерью царицею Мариєю Федоровною во владение город Углич и другие города вместе с тем, что к ним относится; и приказал иметь смотрение и правление боярам князю Ивану Петровичу Шуйскому, князю Ивану Федоровичу Мстиславскому и Никите Романовичу Юрьеву, он же Романов. И в тот же день царю Федору Иоанновичу целовали крест. Борис же Годунов, видя Нагих, бывших при государе, в силе, взвел на них измену со своими советниками и той же ночью их и других, которые были в милости царя Иоанна Васильевича, переловив, разослал в разные города по тюрьмам, а имение их забрал и раздал в раздачу. Вскоре после преставления государя отпустили царевича Дмитрия на Углич с матерью его царицею Марьею Федоровною, и братьев ее Федора, Михаила и прочих, и мамку его Марью с сыном Даниилом Волохову, да Микиту Кочалова. Мая 1 короновался царь Федор Иоаннович, для чего созваны были лучшие люди со всех городов.

В том же году по возмущению некоему учинился бунт во всей черни и многих служивых людей, в котором предводительствовали рязанцы Липуновы и Кикины, сказывая, якобы боярин Богдан Бельский, ближний свойственник Годунова, извел царя Иоанна Васильевича и хочет умертвить царя Федора, от которых едва Кремль успели запереть. Они же привезли пушки к Фроловским воротам, хотели силою город взять, что видя, царь Федор послал уговаривать их бояр князя Ивана Федоровича Мстиславского да Никиту Романовича Юрьева. Бунтовщики же, не слушая извинения, неотступно с великим криком Вольского просили. Но Годунов, видя, что оное более его самого касается, велел тайно Вольского из Москвы выпроводить. И объявили бунтовщикам, что Бельский послан в Нижний в ссылку, что бунтовщики уздав, а более послушав оных бояр, от города отошли и успокоились. После утишения же оных Годунов с товарищами Липуновых и Кикиных, переловив, тайно разослал в ссылки. Через малое время умер дядя государев и управитель всего государства боярин Никита Романович (Романов), брат родной матери государевой. После него же принял правление шурин государев Борис Федорович Годунов. И сей частью дарами, частью страхом многих людей привлек к своей воле и преодолел всех верных государю бояр, что никто никакой правды государю доносить не смел. Казанцы, слыша вступление на престол царя Федора, прислали с повинною просить. Потому государь послал в Казань воевод и велел в черемисах нагорных и луговых поставить города. И в том же году воеводы поставили Кокшайск, Цивильск, Уржум и другие города, и тем оное царство укрепили.

1585. Бояре, видя Годунова лукавые и злые поступки, что у определенных от царя Иоанна бояр власть всю отнял и сам все без совета делает, князь Иван Федорович Мстиславский, с

ним Шуйские, Воротынские, Головины, Колычевы, к ним же пристали гости, многое шляхетство и купечество, стали государю явно доносить, что Годунова поступки во вред и к разорению государства. Годунов же, совокупясь с другими боярами, дьяков и стрельцов деньгами к себе обратив, Мстиславского взяв, тайно сослав в Кириллов монастырь и там его постриг, а потом и других многих порознь разослал по разным городам в темницы. В чем ему тогда многие, льстя, не только молчанием помогали, но и погибли оных, забыв вред отечеству и свои по должности обязанности, радовались. Другие же, видя такие насилия и неправды, хотя сердечно соболезновали, но видя, что оных льстящих Годунову множество и силу оного, а свое бессилие, не смели о том и говорить. И тем как те, так и другие все самих себя и все государство в крайнее разорение привели. Михаил Головин человек был острого ума и воин, и видя такое на верных слуг гонение, живучи в Медынской своей вотчине, уехал в Польшу и там скончался.

Годунов, видя противниками себе Шуйских, за которых гости и вся чернь стояла и они ему много противились, которых силою сломать видел невозможность, того ради употребил лукавство, просил митрополита со слезами, чтоб их примирил. Потому митрополит, призвав Шуйских, не зная Годунова коварства, со слезами Шуйских просил. И они, митрополита послушав, с ним помирились. О чем князь Иван Петрович Шуйский в тот же день, придя пред Грановитую, бывшим там гостям о примирении объявил. Что слыша, выступили 2 человека из купечества и сказали ему: «Изволь ведать, что ныне вас и нас Годунову легко погубить, и ты сему миру лукавому не радуйся». Годунов, уведав сие, той же ночью оных купцов обоих, взяв, сослал или казнил внезапно.

1587. Годунов научил на Шуйских холопов их доводить в измене, потому многих людей безвинно перепытал. И хотя никто ни в чем не винулся, однако ж Шуйских и их свойственников и приятелей Колычевых, Татевых, Баскакова Андрея с братьями, а также Урусовых и многих гостей, пытая, разослал: князя Ивана Петровича Шуйского сначала в его вотчину село Лопатницы, а оттуда на Бело-озеро, и велел его Туренину задавить; сына же его князя Андрея в Каргополь, и там также задавили; гостей же Федора Ногай с товарищами, 6 человек, казнил на Пожаре, отсек головы. За сие вступились митрополит Дионисий и архиепископ Крутицкий, стали царю Федору Иоанновичу явно говорить и обличать неправду Годунова. Но Годунов растолковал государю оное в бунт, и оных обоих сослали в монастыри в Новгород, а из Ростова архиепископа Иова, взяв, сделали митрополитом; и поставлен в Москве от архиепископов, не отписываясь в Цареград. Прежде же митрополиты поставлялись в Цареграде.

Пришел из Крыма служить государю царевич Малат-Гирей со многими татарами. И послал его в Астрахань, а с ним воевод князя Федора Михайловича Троекурова да Ивана Михайловича Пушкина. И оный царевич там многую службу показал и многих татар под власть государству привел.

В том же году заложен и отделан около Москвы Белый каменный город. В том же году пришли польские послы с объявлением, что короля Стефана (Абатуры) Батория не стало, и просили, чтобы государь принял корону польскую. Государь послал своих послов Стефана Васильевича Годунова с товарищами.

После смерти князя Ивана Петровича Шуйского других Шуйских и прочих многих снова освободили.

1588. Пришел Иеремий, патриарх константинопольский.

1588. Был в Москве собор о делах церковных. И на оном положили быть в Москве

отдельному своему патриарху и посвятили Иова митрополита первым в Москве патриархом. Притом же утвердили впредь патриархов посвящать в Москве архиереям, только после выборы писать в Константинополь. Митрополитов, архиепископов и епископов посвящать патриарху в Москве, не отписываясь. И положили митрополитам в России быть 4-м: в Великом Новгороде, Казани; Ростове и на Крутицах: архиепископов 6: на Вологде, Суздале, Нижнем, Смоленске, Рязани и Твери; да 8 епископов: 1 в Пскове, 2 во Ржеве Владимира, 3 на Устюге, 4 на Белоозере, 5 на Коломне, 6 во Брянске и Чернигове 7, в Дмитрове 8. Однако ж многие остались не произведены, о чем написано в грамоте того собора.

1590. Ходил государь сам под (Ругодив) Нарву, и оно не взял, поскольку было зимою; учинив мир, возвратил Ивангород, Копорье и Ямы. И пришел в Москву той же зимой.

1591. В Польше выбрали на королевство (Жигимонта) Сигизмунда III, короля шведского. Он прислал послов, и сделали перемирие на 20 лет.

В том же году в Астрахани татары отравили царевича Малат-Гирея и с женою и многих верных государю татар, из-за чего нарочно послан был Остафий Михайлович Пушкин разыскивать. И по розыску виновных многих мурз и татар казнили и живых сожгли. Остальным же царевичевым татарам некоторым даны деревни, а иным жалованье.

Мая 15 числа по наущению Бориса Годунова убит на Угличе царевич Дмитрий Иванович от Кочалова, Битяговского и Волохова. В том же совете с Годуновым был и Битяговского, научив, отправил Андрей Клешнин. Годунов, получив сие известие, закрывая свой обман, с великою печалию донес государю и советовал о том разыскивать. Ради чего послал князя Василия Ивановича Шуйского да с ним сообщника своему обману окольного Андрея Клешнина. Когда же оные приехали на Углич, Шуйский, не убоясь страшного суда Божия и забыв свое государю в верности крестное целование, угождая Годунову, не только бывший обман закрыл, но сверх того многих верных царевичевых перепытали и казнили безвинно. Возвратясь же в Москву, донесли государю, якобы царевич, быв болен, сам себя зарезал небрежением матери его и ее родственников Нагих. Потому брата ее Михаила и других Нагих, в Москву взяв, жестоко пытали и, отобрав все имение, разослали в ссылки. Мать же царевича царицу Марию, постригши, нарекли Марфою и сослали в Пусто-озеро, а город Углич за то, что убили убийц царевича, велели разорить. А оставшимся убийцам, мамке и наследникам убитых, как верным слугам, даны деревни. Годунов, видя, что весь народ стал про убиение царевича на него говорить, и хотя за оные слова некоторые взяты, пытаны и казнены, однако ж он, опасаясь бунта, в июне велел Москву в разных местах зажечь, и едва не вся выгорела, от чего многие люди вконец разорились. Годунов же, желая к себе народ склонить, многим давал из казны на строение деньги.

В том же году пришел крымский хан с турками под Москву. А воеводы по всей украине, видя, что в Поле противиться им было невозможно, укрепив города, пошли с войсками к Москве. Хан же, придя к Москве, стал в Коломенском и многие места около Москвы разорял, а русские войска стояли на Девичьем поле. Хан перешел на Котлы, а бояре к Данилову монастырю, и были бои многие, но русские противиться не могли. Августа же 19 числа татары, слыша в русском войске великий шум, спрашивали полонеников о причине того. И оные сказали, якобы от Новгорода пришло в помощь войско великое, от чего учинилось в татарских таборах смятение, и хан ту же ночь со всем войском прочь пошел, и хотя бояре вскоре за ним пошли, но догнать нигде не могли. За то государь многим боярам пожаловал деревни, а главного воеводу Бориса Годунова велел писать слугою. На месте же том, где стоял обоз, построил государь монастырь Донской, и того числа установлен

ежегодный ход с крестами.

1591. После отхода татар заложен около Москвы деревянный город и к нему присыпан вал земляной, который завершен в 1592-м году. В Сибири воеводы многие народы под власть русскую привели и дань платить принудили. В сем же 592-м построены города Тара, Березов, Сургут и другие.

В том же году приехали к государю служить царевич Казачьей орды, царевич югорский, воеводици волошские Стефан Александрович да Дмитрий Иванович и греческих царевичей сродич Мануил Мускополович, мултанские воеводици Петр да Иван, из Селуня града Дмитрий селун-ский с детьми и другие многие греки.

В том же году на украинских городах многое роптание поднялось, якобы хана крымского призвал Годунов, опасаясь отмщения за убийство царевича Дмитрия. И за оное множество людей перепытано и переказнено и много в ссылки разослано, отчего целые города запустили.

Финляндцы Каяна города, собравшись многолюдством, воевали около Белого моря к Соловецкому монастырю. Государь же послал в Соловецкий монастырь князя Андрея да Григория Волконских. И оные, придя, князь Андрей остался в монастыре и оный укрепил, а князь Григорий пошел к Сумскому острогу, где, многих финляндцев побив, острог очистил. Тогда же, придя, шведы Печерский монастырь во Псковщине разорили.

Князи Волконские той же зимой ходили под Каяны и много деревень пожгли и разорили, а людей порубили и в полон побрали. В том же году государь послал под Выборг князя Федора Ивановича Мстиславского с товарищами и, много разорив Финляндии, не взяв Выборга, из-за скудости кормов возвратились в Великий пост. В том же году летом пришли татары на Рязанские, Каширские и Тульские места, и разорили.

В том же 1592-м родилась царевна Феодосия, и послан в Грецию с милостынею Михаил Огарков.

1593. Прислал король шведский послов в Нарву, и государь послал от себя, которые, съехавшись на реке Плюсе, помирились, и шведы город Корелу отдали обратно. В Корелу (Кексгольм) посвящен епископ первый Сильвестр.

В том же году преставилась царевна Феодосия Феодоровна, и после нее дана в Вознесенский монастырь вотчина в Масальском уезде село Черепень. На украине от набегов татар поставлены в степи города Белгород, Оскол, Во-луйка и другие, а прежде оных поставлены были Воронеж, Ливны, Курск, Кромы; и оные, укрепив, населили казаками.

1594. Послал государь в Шевкальскую землю князя Андрея Ивановича Хворостинина с войском и велел поставить города Косу да в Тарках. И оные, придя, на Косе город поставив, оставили воеводу князя Владимира Тимофеевича Долгорукого. А в Тарках, придя, шавкалы с кумыками и другими черкесами воевод разбили, где русских побито с 3000 человек и мало что назад возвратилось. На Косу же приходили черкесы с великою силою и жестоко нападали, но, видя Долгорукого в довольном укреплении, отступив, оставили его в покое. Грузинский царь прислал своих послов, чтоб его принять в защищение русское и веру христианскую утвердить. Потому государь послал в Грузию многих духовных с иконами и книгами людей искусных. Они же, научив и утвердив их, возвратились с довольным богатством. И с того времени начал государь писаться обладателем оных царей. Горские, кабардинские и кумыцкие князи прислали просить, чтоб государь принял их в свое защищение. И государь велел терскому воеводе их оберегать, а для верности брать княжеских детей в аманаты. И вскоре после того приехал князь Сунчелей Янголычевич со

многими людьми к Теркам, где поставил слободы и, жив, многую государю службу показал. И оные также в титуло внесены. До сего же времени писали титуло без оных владений, как в грамоте царя Феодора Иоанновича о доставлении 1-го патриарха написано: «Божию милостию мы, великий государь царь и великий князь Феодор Иоаннович всея великия России, владимирский, московский, новгородский, царь казанский, царь астраханский, государь псковский и великий князь смоленский, тверской, югорский, пермский, вятский, болгарский и иных, государь и великий князь Новгорода Низовской земли, черниговский, рязанский, полоцкий, ростовский, ярославский, бел озере кий, удорский, обдорский, кондинский и всея Сибирской земли, Северской земли обладатель и иных многих государь и самодержец. Лета 7097, государства нашего 6, а царств русского 43, Казанского 37, Астраханского 35, месяца мая».

1595. Выгорел Китай весь, а зажгли князь Василий Щепин да Василий Лебедев с товарищами во многих местах, желая государеву казну великую разграбить. Но когда их в том обличили, то их на Пожаре казнили, отсеки головы. Многих же товарищей их перевешали и в ссылки разослали.

От шаха Абаса персидского были послы со многими дарами, и сделан вечный мир, или дружба. И по оному также государь от себя послал к шаху послов, которые договоры о купечестве учинили. Царь Симеон Бекбулатович казанский жил на уделе во Твери в великом благоговении и тишине, но Годунов, слыша, что он по царевичу Дмитрию скорбел и часто с сожалением упоминал, опасаясь, чтоб ему впредь не помешал, сначала взяв у него удел Тверской, а вместо одного дал ему село Клушино с деревнями, а потом вскоре коварством его ослепил. От цесаря римского были послы Авраам бургграф с товарищами, у которых пристав был князь Григорий Петрович Ромодановский. И отпустив их с великою честью, послал от себя послов со многими дарами.

Государь послал в Смоленск Бориса Федоровича Годунова со многими людьми и повелел построить город каменный. Он же в походе оном ратным людям оказал великие милости, за что его все возлюбили, для чего сей поход умышленно от него был сделан. Город же заложив по своему усмотрению, возвратился в Москву с великою честью. Для строения одного каменщики, кирпичники и горшечники взяты были со многих городов. Были ж у государя послы от папы римского, королей датского, шведского и английского, голландские, бухарские, грузинские, югорские и другие в разные времена.

Из Турецкой земли возвратился посланник Даниил Исленев, а с ним приехал из Крыма от хана посланник, и утвердили мир.

В те же времена во Пскове и Ивангороде был мор, и потом наполнили оные из других городов. Татары пришли в Козепьские, Мещевские, Воротынские, Перемышльские и другие места, разоряли. Государь же послал воеводу Михаила Андреевича Безнина с войском, который, собравшись в Калуге и сшедшись на речке Высе, татар всех побил и воеводу их со многими татарами в полон взял.

1596. В Нижнем Новгороде в самый полдень разошлась земля и провалился монастырь Вознесенский, именуемый Печерский, со всем строением, который был от города в трех верстах, старцы же, услышав шум, все выбежали. И вместо одного поставлен монастырь близ города. Однако сие не от землетрясения, но от подмытая водою гора она обвалилась.

1598. Царь Федор Иоаннович, заболев тяжело и видя свою кончину, призвав царицу Ирину Федоровну, завещал ей после него, оставив престол, воспринять монашеский чин. Патриарх же и бояре с плачем просили его, чтоб им объявил, кого он после себя царем

определить хочет. Но он сказал, что то есть не в его, но в Божией воле и их рассмотрении. И преставился января 1 числа, царствовав 14 лет 9 месяцев и 26 дней.

После погребения государя царица, не ходя во дворец, велела себя просто без провожания отвести в Новодевичий монастырь и там восприняла иноческий чин, откуда до смерти не исходила. Бояре же послали немедленно во все государство указы, чтоб на избрание государя приезжали. Из-за чего съехались множество, собирались к патриарху, и по совету всех сначала просили царицы, чтоб она престол восприняла, ведая, что была человек острого ума и великих добродетелей. Но она им весьма отказала и ходить к себе запретила. После чего по рассуждению, а особенно простой люд, которым Годунов многие милости выказывал, согласились избрать Бориса Федоровича Годунова, ожидая от него и впредь такого же милостивого и рассмотрительного правления, как он прежде их милостию и щедротами обманывал. И с тем послали его просить. Он же, как волк одевшись в шкуру овечью, так долго то искав, ныне стал отказываться и после несколькократного прошения уехал к царице в Новодевичий монастырь. Причина же тому была сия, что бояре хотели, чтоб он государству по предписанной ему грамоте крест целовал, чего он учинить или явно отказать на хотел, надеясь, что простой народ принудит выбрать его без договора бояр. Сие его отрицание и упрямство видя, Шуйские начали говорить, что непристойно более его просить, поскольку в большой просьбе и его таком отрицании может быть не без вреда, и представляли, чтоб выбирать иного, а особенно потому, что они, зная его скрытную злость, весьма его допустить не хотели. После чего все разошлись, и Годунов остался в опасности. Но патриарх по побуждению Годунова доброжелателей февраля 22-го поутру рано созвал всех бояр и власть имеющих и, взяв из церкви святые иконы, пошел сам в Новодевичий монастырь и, придя, просили царицу, чтоб она брата своего отпустила. Она же им отвечала: «Делайте, как хотите, а мне как старице ни до чего дела нет». (Некоторые сказывают, якобы царица, думая, что оный брат ее причиною смерти был государя царя Феодора Иоанновича, до смерти видеть его не хотела.) И потом стали просить Годунова, который без всякого отрицания принял. И того ж числа крест ему целовали, но он остался в монастыре, во дворец же перешел марта 3 числа.

В том же году прежде коронования ходил в Серпухов с полками, затеяв, будто крымский хан идет, а более для того делал, чтоб в войске людей к себе приласкать, потому во оном походе многие милости показывал. При Серпухове пришли из Крыма русские посланники Леонтий Ладыженский с товарищами и сказали, что мир утвердили. С ними ж пришли и от хана послы. Июня 29 числа принимал он крымских послов с великим убранством в шатрах. Войско же поставлено было все возле дороги в лучшем убранстве, которое протянулось на 7 верст. И оных послов, одарив, отпустил. После отпуска послов, послав некоторое количество войск для оберегания на украину, прочее распустив, возвратился в Москву июля 6 числа.

В том же году в Сибири из Тары ходили воеводы на царя Кучума, оногo войско разбили и взяли его 8 жен, 3-х сыновей, которых прислали в Москву. И за то оным воеводам и служивым даны были золотые, а Строгановым великие земли в Перми. Царевичам же определил нескудный корм и честное содержание.

1598. Сентября 1 короновался царь Борис Федорович от патриарха, Мстиславский корону нес и золотыми осыпал. В Сибири построен город Мангазея от князя Василия Масальского-Рубца 1599 году.

1599. Пришел в Москву по призыву королевич шведский Густав, сын Эрика 14 короля шведского, который имел намерение жениться на дочери царя Бориса. Но видя из-за того со

шведами быть войне, царь Борис дал ему Углич в удел и отпустил его туда со всеми служителями. Он, не приняв закон греческий, скончался 16 числа в Угличе. Оный королевич после приезда был у государя за столом, и сидели за одним столом, только блюда были разные, а ели с золота. И царевича Казачьей орды Бур-Мамета, который приехал при царе Феодоре, пожаловал городом Касимовым с волостями, и приехавшие с ним и с другими царевичами татары там поселились. Слышал царь Борис, что около Астрахани Ногайская орда умножается и дети ханские разделились, опасаясь впредь от них вреда, писал в Астрахань к воеводам, чтоб они братьев тех поссорили. Которое так сделано, что они, друг на друга нападавая, множество меж собою побили и мало что их осталось, множество же детей русским продавали по рублю и меньше, и погибло их более 20 000 человек.

Царь Борис, будучи похитителем престола русского, всегда опасался, чтоб его с престола не ссадили и другого не выбрали, и начал тайно выведывать, что где про него говорят, наиболее же опасался Шуйских, и Романовых, и других знатных людей, умыслил людей их подкупать и научать, чтоб на бояр своих в измене доводили. И первый явился Воинко, служитель князя Федора Шерстунова. И хотя он, закрывая свою злость, тому боярину ничего не сделал, но служителю оному на площади велел объявить дворянство и дал деревни, написав по городу. Что служителей многих в волнение привело и, сговорясь, многие стали на господ своих доводить, поставляя в свидетели свою братью, таких же воров. И в том много невинных перепытано, а особенно холопов, которые, помня страх Божий, истину говорили и невинность господ своих утверждали, в чем наиболее служители Шуйских и Романовых себя показали. Доносчиков же, хотя б и не довели, жаловал по городам в дети боярские, отчего великая смута учинилась, многие дома были разорены после столь жестоких и коварных происков. Дома Александра Никитича Романова служитель Второй Бахтеяров, быв у него казначеем, умыслив обман, набрав всяких кореньев мешок, по научению князя Дмитрия Годунова, положил в казенную и пошел доводить, сказал про коренья, якобы господин его приготовил на умерщвление царское. Царь же Борис послал окольного Михаила Салтыкова с товарищами. Они же придя в казенную, не искав, по показанию оного обманщика взяли оные коренья, привезли и пред всеми боярами объявили, а Федора Никитича с братиею привели при том же и отдали под крепкие караулы с великим руганием. А также послали в Астрахань за князем Иваном Васильевичем Сицким, который Романовым был ближней свойственник, велели его привести скованным. И как оных Романовых, так и племянника их князя Ивана Борисовича Черкасского многократно к пытке приводили, людей же их лучших всех пытали. И хотя многие на пытках померли, но никто на них ничего не сказал. И видя, что ничего доказать не могли, послали их в ссылки: Федора Никитича Романова в Сийский монастырь и, там постригши, нарекли Филаретом; Александра Никитича Романова в Поморье Кольское, село Луду, и там его Леонтий Лодыженский задушил; Михаила Никитича Романова в Пермь, от Чердыни 7 верст, и там его голодом морили, но поскольку мужики тайно кормили, того ради его удавили; Ивана да Василия Никитичей Романовых в Сибирь в город Пелым, и Василия удавили, а Ивана голодом морили, но мужик тайно его прокормил; зятя их князя Бориса Канбулатовича Черкасского, с ним же детей Федора Никитича Романова, сына и дочь, сестру Настасью Никитишну и жену Александра Никитича на Белоозеро в тюрьму; князя Ивана Борисовича Черкасского в тюрьму в Еренск; князя Ивана Сицкого в Конжеозерский монастырь, а княгиню его в пустыню, и там их, постригши, удавили; Федора Никитича Романова жену Ксению Ивановну, постригши, нарекли Марфою и, сослав в Заонежский погост, велели

уморить с голоду, но крестьянин тайно ее пропитал. Сии крестьяне, и что Ивана Никитича в Сибири спасли, до сих пор никаких податей наследники их не платят. Свойственников их, Репниных, Сицких и Карповых, разослали по городам, а деревни их все раздали, пожитки же и дворы распродали. Через некоторое время вспомнил Годунов грех свой, велел Ивана Никитича Романова с женою, князя Ивана Борисовича Черкасского детей и сестру Федора Никитича привести в вотчину Романова, Юрьевского уезда село Клин, и жить тут за приставом, где они были до смерти царя Бориса. Сицких же выпустив, велел быть на Низу по городам в воеводах, а князь Борис Конбулатович Черкасский в тюрьме умер. Князя Ивана сына Василия Сицкого велел привести к Москве, но посланный по дороге его задавил. Доносчики же оные друг друга перерезали и все пропали.

Город Смоленск доделали при царе Борисе, а камень возили из Рузы и Старицы, известь жгли в Бельском уезде. Из Польши пришли великие послы. Лев Сапега с товарищами, и сделали перемирие на 20 лет. Построен город Царев Борисов, строил Богдан Яковлевич Вольский с войском. А поскольку оный к ратным людям великою милость показывал, и им войско хвалилось, того ради привело его у царя Бориса в подозрение, и без всякой причины, ограбив его, сослал в ссылку, и он в тюрьме умер. Другие сказывают, якобы Бельский отцу духовному в смерти царя Иоанна и царя Федора каялся, что сделал по научению Годунова, о чем поп тот сказал патриарху, а патриарх царю Борису, после чего тот немедленно велел Бельского, взяв, сослать. И долго о том, куда и за что сослали, никто не ведал. В Польшу посланы послы Михаил Глебович Салтыков да Василий Осипович Плещеев.

Августа 15 был великий мороз, позябли все жита на полях, и сделался великий голод на три года, а потом мор. Тогда ж на месте, где были хоромы царя Иоанна, для пропитания людей сделали каменные палаты, что ныне Набережный двор, и другие многие строения для пропитания народа заведены, чрез что множество народа прокормлено и от смерти избавлено. Тогда ж были послы персидские с великими дарами. А также были английские послы и просили, чтоб им в Персию торговать позволено было, и о том с ними договорились. В Крым послан был князь Федор Борятинский, но поскольку его дела непорядочными явились, послали князя Григория Волконского, который с мирными договорами возвратился, и дана ему старинная их вотчина на речке Волконке.

В Датскую землю послан был дьяк Афанасий Власьев просить королевского брата Иоганна, сына короля Фридриха II, за которого царь Борис обещал дать дочь свою Ксению Борисовну; по которому, договорясь, королевич поехал в Россию со многими людьми, а Власьев приехал наперед. Королевича одного принимал в Ивангороде Михаил Глебович Салтыков и привез его в Москву с великою честью и радостью обеих сторон, и весь народ русский королевича возлюбил. Но сие учинило в царе Борисе великую зависть и опасения, того ради возненавидел он зло королевича; презрев слезное дочери своей за него прошение, многие досады ему учинил, после чего он вскоре и умер, или скорее уморен был. Погребен в Немецкой слободе, а его люди все отпущены.

Повествует один историк русский так. В 1602 году царь Борис, видя великую всего народа к королевичу любовь, пресильную зависть, или скорее страх, возымел, чтобы люди после смерти его, вспомнив тиранские его дела, что государей своих фамилию и после них все знатные роды искоренил, мимо сына его сего королевича не избрали, приказал племяннику своему Семену Годунову как бы его умертвить. Сие уздав или дознавшись, царица, жена его, как и дочь, со слезами просили его, ежели ему он неугоден, отпустил бы его домой; но он отпустить еще более опасался. После чего вскоре королевич тяжело заболел.

Семен же оный призвал доктора государева, который лечить был приставлен, спросил, каков королевич. И он возвестил, что можно вылечить. Семен же Годунов, возрев как лев свирепый на него и ничего не сказав, вышел вон. Доктор же и лекарь, видя, что оная весть не угодна есть, лечить не хотели. И так королевич оный той ночью октября 22 числа в 19 год возраста своего умер, и погребен в Немецкой слободе. Люди же его отпущены в Датскую землю. На погребении его были все бояре и знатные люди, при котором многие слез удержать не могли. Но сие их злодейство всевышний Бог не желал оставить без наказания и особенно же очевидно возмездие оное или скорее меч на головы Годуновых в тот же день показал. После погребения королевича пришел Семен Годунов из Слободы, якобы с радостною вестью, и случайно заметив одного из Польши приехавшего с письмами, приняв, пошел к царю Борису и первый возвестил ему о погребении. Потом же, распечатав письма оные, увидел в одном, что явился человек, который называется царевичем Дмитрием. И тогда тотчас Борис в великую печаль пришел и немедленно несколько человек послал проведывать, что за человек оный. Один же, возвратясь, сказал, что сей был Юрий Отрепьев, который был пострижен, и был дьяконом в Чудове монастыре, и назван Григорием.

Сей, именуемый Расстрига, родился в Галицком уезде. Дед его дворянин Замятия Отрепьев, у которого было 2 сына, Смирной да Богдан. У Богдана же родился сын сей, Расстрига именуемый, Юрий, которого для научения письма отдали в Москву в Чудов монастырь, где он с великим прилежанием учился и в том сверстников своих превосходил. Отец же его, приезжая, проживал в доме Басмановых, куда и он из монастыря часто приходил. Видел же его архимандрит великие в письме остроты, уговорил его постричься в самой юности, именовав его Григорием. Но он вскоре, оставив тот, пошел в Суздаль в Евфимьев монастырь и жил тут год; оттуда в монастырь на Куксу и жил 12 седмиц. Уведав же, что между тем дед его Замятия постригся в Чудове монастыре, пришел к нему, и поставили его дьяконом. Патриарх Иов, слыша, что он грамоте довольно научен, взял его к себе для писания книг, так как еще печати не употребляли. Он же, у патриарха живя, об убиении царевича всегда обстоятельно уведомлялся. И как-то услышал митрополит ростовский о сем, а кроме того, что оный говорил так: «Ежели бы я царь был, я б де лучше, нежели Годунов, правил», о сем донес царю Борису. Царь же приказал дьяку Смирному немедленно его, взяв, сослать в Соловки. Но Смирной, не выполнив оное, сказал в разговоре дьяку Ефимьеву, который и Отрепьеву был друг и немедленно дал ему знать. Оный же, видя свою беду, бежал из Москвы в Галич, оттуда в Муром, где строителем был приятель деда его. И быв у него недолго, и взяв лошадь, ушел во Брянск, где сошелся с чернецом Михаилом Повадиным, с которым вместе пришли в Новгородок Северский и жили у архимандрита в кельи. Оттуда же отпросился с товарищем в Путимль, якобы к свойственникам на время, и архимандрит, дав им лошадей и проводника, отпустил. Оный же Гришка написал карточку так: «Я есть царевич Дмитрий, сын царя Иоанна Васильевича, и когда буду в Москве на престоле отца моего, тогда тебя пожалую». Ту карточку положил архимандриту в келье на подушку. И едучи, придя на дорогу Киевскую, поворотили к Киеву, а проводнику сказали, чтоб ехал домой; который, придя, то архимандриту сказал. Архимандрит же, видя на подушке постели своей карту оную, начал плакать, не зная, что делать, и утаил о сем от всех людей.

Старцы же оные, придя в Киев, явились к князю Василию Константиновичу Островскому, воеводе киевскому. Но недолго пробыв здесь, Отрепьев тайно, скинув с себя монашеское платье, пошел в Польшу, и придя на Волынь к князю Адаму Вишневецкому,

нанялся у него служить. Будучи же в Киеве, написал свиток, в котором все от рождения царевича Дмитрия обстоятельно описано было, и потом как его Годунов убить велел, и будто вместо него убили попова сына, а его спасли боярин Нагой да дьяк Щелка лов и, храня по разным местам долгое время, проводили его до Польши. И сей свиток хранил у себя, зашив в платье.

Через некое же время притворился тяжело больным и велел призвать попа для исповеди. При исповеди же сказал священнику якобы за тайность, чтобы он знал, что он есть царский сын, и что обстоятельства жизни его описанные у него сохранены, которые б он после его смерти прочитал и об нем в Россию объявил. Священник, слыша сие, ужаснулся и немедленно князю Вишневецкому о том возвестил. Князь же сам, придя, письмо оное взяв, его подробно спрашивал, но он, якобы больной, ничего не отвечая, смотря только на Вишневецкого, заплакал. Князь Вишневецкий вскоре писал о том к королю, велел его лечить и потом вскоре сам с ним к королю поехал. Но король, опасаясь нарушить мир, явно во оное вступить не хотел. Тогда же был коронным гетманом воевода сендомирский Мнишек, по совету всех взял его к себе для ведения его дел, якобы сам по себе, и сочинил с ним договор, что он будет ему всею силою на престол помогать, с ним в Россию войска, собрав, пошлет и дочь свою ему в жену отдаст. Расстрига же в ответ за то обещал закон папезский в Россию ввести и королевству Польскому города Смоленск, Почеп, Стародуб и пр. уступить (которые потом царь Михаил Федорович уступить принужден был). Сие уведен в Москве царь Борис, кто он и как в Польшу ушел, и отца его, взяв безвинно, и дьяка Смирного замучил.

Прислал грузинский царь просить помощи против горских черкес. И по тому царь Борис послал воевод, окольников Ивана Михайловича Бутурлина и с ним князя Владимира Ивановича Бахтеярова и князя Владимира Долгорукого, который был на Косе, и велел им построить 3 города: 1) в Тарках, 2) в Табкалах, 3) в Андреевой деревне. И оные, придя в Тарки, начали город строить. Но черкесы, собравшись с крымскими татарами и с турками, всех людей русских до 7000 человек побили и очень мало в полон взяли. Долгорукий же, услышав, город Косу сжег и отошел на Терек.

1604. Преставилась царица Ирина Федоровна, супруга царя Федора Иоанновича, во иночицах именовалась Александра. Тогда же разбойник, именем Хлопко, собрав многое число людей, великие беды поделал. Против одного послан был окольников Иван Федорович Басманов с полками, который на бою с ними близ Москвы убит. Однако ж разбойников разбили, несколько тысяч побито, другие разбежались, а Хлопко с несколькими взят и казнен. Казаки донские, уздав про Расстригу, послали к нему в Польшу атамана Карелу с несколькими людьми и с дарами. Тогда же после получения обстоятельного из Польши известия послан в Польшу посланником дядя Расстригин родной Смирной Отрепьев, чтоб его узнать и обличить. Он же полякам хотя подробные обстоятельства явные представлял и ложь оною обличал, но они ничего за истину не приняли и, после многих просьб ему того Расстригу не показав, назад отправили. Он же, возвратясь, царю Борису сказал, что ему племянника не показали и никакой отповеди не дали. Сие учинилось от того, что многие бояре, утесненные от Годунова, тому возрадовались и тайно к королю приказывали, чтоб ему помогал; из-за чего нарочно послан был с посланником Прокопия Липунова племянник и поляков крепко обнадежил.

Царь Борис, видя в народе молву и слыша, что поляки войско собирают, послал полки на границу. Расстрига пришел с войском к Чернигову, и бой был с князь Иваном Татевым. Но

когда русские вступили в бой, некоторые воеводу своего, взяв, Расстриге отдали, и многие из войска к нему пристали, и город Чернигов ему сдали. То же учинил в Путимле князь Василий Масальский с дьяками: воеводу своего окольного Михаила Салтыкова, взяв, ему же отдали. И сей Масальский был у него в великой милости; а Салтыков от Расстриги ушел, но потом более Расстриге, нежели Годунову, служил. Сему последовали Рьльск, Белгород, Оскол, Волуйка, Курск и Комаричи. В Новгородке были воеводы боярин князь Никита Петрович Трубецкий да Федор Басманов, и оные Расстригу не пустили. Посланы против Расстриги с полками князь Дмитрий Иванович Шуйский с товарищами, потом послан князь Федор Иванович Мстиславский с товарищами во Брянск, а из Брянска к Новгородку. И тут Мстиславского ранили, а войско русское Расстрига сбил. О сем побоище и о причине несчастья русского показывает Туанус обстоятельства странные. Послан в помощь с Москвы князь Василий Иоаннович Шуйский с москвичами, и, сошедшись под Кромами, Расстригу побили; от чего он ушел в Путимль. Мстиславский пошел со всеми полками под Рьльск, где был Расстригин воевода князь Григорий Долгорукий да Яков Змеев, и бояр к городу не пустили; после чего бояре отступили в Комарицкую волость в Радонежский острог. Борис Годунов, осердясь на бояр, что Расстригу не взяли, послал к ним окольного Петра Никитича Шереметьева с гневом. И от того в войске учинилось великое оскорбление, и многие захотели Расстригу за истинного признать и стали к нему переезжать, а другие тайно писать, через что Расстрига более стал укрепляться и войско свое умножать.

1605. В Великий пост пошел боярин Федор Иванович Шереметьев с товарищами с войском под Кромы и оный осадили. В Кромах же сидел Григорий Акинфеев да атаман донской Карела. Бояре после многих боев город Кромы сожгли и взошли на насыпь, а казаки ушли в средний острог. Но Михаил Салтыков войско свое со стен свел без ведома воевод и тем войскам царя Бориса немалую беду учинил.

1605. Осенью пришли полки из Новгорода, князь Никита Романович Трубецкой да Петр Федорович Басманов. И государь их принял с великою честью, а особенно Басманова, не ведая, что оный ему наитягчайший враг и губителем рода его является. Некоторые повествуют о сем Петре Басманове так. Царь Борис, ведая, что оный Отрепьев жила в доме Басмановых, послал его якобы для договора с поляками к ним в войско и чтоб он, видя того Расстригу, возвратясь, в народ объявил, уповая, что Басманову народ более, нежели другим, поверит. Он же с охотою оное исполнил, и приехав под Кромы в Расстригино войско, начал якобы о положенном на него деле с поляками съезжаться. Расстрига же, видя, что Басманов его узнал, призвал его к себе наедине и сказал ему: «Ты знаешь, что я хотя не царевич, однако ж я имею возможность тебя сейчас погубить, только не хочу. И тебя тем уверяю, что мне ни престол Российский, ни же власть светская не нужны, но только хочу отметить кровь государей моих и знатных людей от такого мучения и разорения избавить. А потом, ежели я вам неугоден, избирайте на царство, кого хотите. Ежели же вы мне в том противиться будете, то я принужден силою оного домогаться и невинных вместе с виновными губить». Басманов же, слыша сие, ужаснулся и, долго молчав, напоследок обещал ему не только сам служить, но и других обратить. И приехав к Москве, явился тайно некоторым противным Годунову боярам и, с ними посоветовавшись, положил намерение в Москве народ возмутить и уехать к Расстриге. На следующий день, в понедельник на седмице Фомы, явился Годунову и тайно донес ему все подробно, как он Расстригу узнал и что ему оный говорил, не употребляя Годунову досадных слов. Особенно же сказал Годунову приметку, бородавку на правой щеке, которую многие знали, и обещал оное обстоятельно во весь народ объявить.

Царь Борис, уверясь ему, велел оповестить, чтоб народ весь собрался на Ивановскую и Красную площади.

Поутру собралось народу множество. Петр же Басманов, выехав верхом на Красную площадь, где множество простого народа было, объявил, что его посылали смотреть и он видел, что тот подлинно царевич Дмитрий, а не Отрепьев. И выговорив оное, уехал из города и побежал с одним служителем к Расстриге в Путимль. Царь же Борис, слышав сие, послал его ловить, но нигде сыскать не могли. И народ пришел в великое смятение. Сие видя, царь Борис впал от печали в болезнь и умер 1605 апреля 13 числа; и думают многие, что он сам себя отравою умертвил. Другие же сказывают, что Басманов, сие тайно объявив в народ, был в Москве, и после смерти царя Бориса послан был с прочими к Кромам войско к присяге приводить, и там изменил, все войско возмутил, к Расстриге отъехал, и был у него более всех в милости.

14 апреля нарекли на царство сына его Федора Борисовича, и в Москве все целовали ему крест. В Кромы же к кресту приводить послали митрополита новгородского да боярина князя Михаила Петровича Кафтырева-Ростовского с товарищами, а боярам Мстиславскому и Шуйским велели быть в Москву. Оные же, приехав, указ объявили и хотели к присяге приводить, но в войске учинилось смятенье, что многие присягать не хотели. В той думе были озлобленные от царя Бориса князь Василий да князь Иван Голицыны, Михаил Салтыков да города Рязань, Тула, Кашира, Алексин. И взяв боярина Ивана Годунова, связав, отвезли в Путимль к Расстриге, а князь Кафтырев и Телятевский ушли к Москве с известием. После чего Расстрига пошел прямо под Москву, и все города по пути ему сдавались. Наперед себя послал с войском Наума Плещеева да Гаврила Пушкина. И оные, придя, стали в Красном селе, и красносельцы к ним пристали. И с ними придя прямо в Москву на лобное место, читали всему народу Расстригины указы, потому к ним многие служилые люди и чернь пристали и поздравляли Расстригу царем Дмитрием Иоанновичем на царстве. Потом велели всем боярам собраться, других и силою привлекли, и грамоты Расстригины объявили. Патриарх же Иов сильно тому противился, но ничего учинить не мог. Народ же принудил бояр взять Годунова жену и сына под караул, потому в тот же день взяли царицу с сыном и дочерью под караул на их старый двор, а к Расстриге послали с известием.

Потом, на следующий день, в Москве все учинили ему присягу, а к нему послали бояр с повинною, князя Ивана Михайловича Воротынского да князя Андрея Андреевича Телятевского с товарищами; но он не с великою милостию их принял и Телятевского в тюрьму велел посадить. Потом послал он в Москву князя Василия Голицына да князя Василия Мосальского убить царицу и царевича, а с войском послал Петра Басманова. Оные, придя, патриарха Иова ссадили и послали в Старицу, где он умер. Всех Годуновых, Вельяминовых и Сабуровых разослали по городам в тюрьмы, а Семена Годунова в Ростове задавили.

Июня 10 числа по учреждении некотором и ссылке патриарха князь Василий Голицын и князь Василий Масальский, взяв с собою Михаила Молчанова да Андрея Шелефединова, придя в дом царя Федора Борисовича, разведя царицу с детьми по особым избам, в первую очередь ее задавили, и потом стали сына давить; но поскольку все четверо долго не могли его осилить, один из них, ухватив его за яйца, раздавил. И тут, его умертвив, Голицын объявил в народ, якобы они со страстей померли. Царевна же едва ожила. Потом, положив их в гробы и царя Бориса, который погребен был в церкви Архангела в алтаре на правой стороне, вытащив сквозь стену, положив в простой гроб, погребли всех в Варсонофьевском

монастыре. Царевну же Аксиною Борисовну, постригши, сослали во Владимирский Девичий монастырь.

Расстрига, об убиении и ссылке Годуновой фамилии и патриарха получив известие, пошел из Тулы через Серпухов к Москве. И на Москве реке встретили его все бояре и власти. Отсюда послал он знатных людей, велел именуемую матерью своею царицу иночицу Марфу Федоровну с надлежащею честью привести к Москве. Оттуда придя, стал в селе Коломенском и, стояв день, убравшись, пошел в Москву с обрядом июля 10 дня. И за городом встречали его всем народом, на лобном же месте встретили его все знатные люди и власти с крестами в церковном одеянии, где он, сойдя с коня, слушал молебен, и польское войско стояло в строю на Красной площади. По отпетии молебна пошел он в царский дом, и тогда его многие узнали, и о согрешении своем плакали.

После приезда своего немедленно велел избирать на патриаршество. Иезуиты же, зная грека Игнатия, бывшего ранее в папешской ереси, а потом в Рязани архиепископом, которого хотя прочие все архиереи не хотели, однако ж опасаясь из того большей беды, по повелению его поставили на патриаршество. Когда же узнал Расстрига о приближении царицы к Москве, поехал сам со многими знатными людьми. Но услышав, что она его сыном именовать не хочет, послал наперед Басманова ее уговорить, представляя ей тяжкий страх. Она же на то нехотя склонилась и обещала учинить по его воле. О чем получив известие, Расстрига встретил ее в селе Тайнинском и, увидясь, как она, так и он друг друга со слезами целовали якобы от радости. И потом привез ее в Москву с великою честью прямо в Вознесенский монастырь, там где ее с подобающей матери честью содержал.

Вскоре после прибытия царицы Марфы, июля 29 дня, короновался в соборной церкви от одного патриарха Игнатия. Потом велел боярам писать в Польшу к Речи Посполитой объявление, что он истинный наследник престола Российского и настоящий сын царя Иоанна Васильевича, что бояре не без великой, однако тайной, горести подписали. А к королю писал он от себя, с чем послал Афанасия Власьева и велел ему у воеводы сендомирского Мнишека сватать дочь за себя, хотя оно уже в Польше утверждено было. Он же Власьев, как полномочный, тот договор брачный учинил, и Мнишек с дочерью, собравшись, немедленно в Россию поехал. Власьев приехал наперед, и Расстрига послал навстречу в Смоленск князя Василия Масальского с товарищами. Они же, приняв их, прислали в Москву с известием.

1606. Когда Мнишек с дочерью ехал к Москве, были ему от знатных людей три встречи, а под Москвою встречали за городом бояре с войсками в великом убранстве и с честью, надлежаще царской невесте. В Москве же поселили Мнишека в Кремле на дворе царя Бориса, а дочь его в Вознесенском монастыре близ царицы в специально построенных покоях, прочих же поляков по всем дворам знатных людей. Прежде прибытия невесты его Шуйские и другие многие, видя его намерение к обращению всех в римскую веру, начали умышлять, как бы его низвергнуть. Но Расстрига, уведав, велел всех Шуйских побрать за караул и после довольно обличения велел было старшему их брату князю Василию Иоанновичу голову отсечь. Но после многих просьб царицы Марфы от казни их освободил и разослал в галицкие пригороды по тюрьмам.

Многие же люди, зная уже подлинно, что он не царевич, начали явно о нем говорить, а особенно об утеснении веры, а другие враги отечества на них доносили, за что множество людей перепытано, казнено и в тюрьмах померло. Дворянин Петр Тургенев, зная его от младенчества, самого Расстригу явно в глаза обличал, и оному на Пожаре голову отсекли. Боярин князь Иван Борисович Черкасский довольно его знал, поскольку вместе в Чудове монастыре с ним грамоте учился, и одного Расстрига часто словами наедине искушал, знает ли он его. Однако сей князь, опасаясь смерти, укрепился и всегда сказывал, что он его не знает и нигде не видал, хотя по бородавке на лице всякому, кто его в молодости знал, узнать было можно.

Царь Симеон, быв ослеплен и слышав про такие беды, начал многим людям говорить и в вере утверждать, о чем Расстрига уведав, велел его сослать в Соловецкий монастырь, и там скончал праведную жизнь свою.

Сигизмунд, король польский, прислал послов с поздравлением и просить, чтоб Расстрига по обещанию своему отдал землю и города по Можайск (а именно те, которые после царь Михаил принужден был на время уступить, и сверх того Вязьму), при том же, чтоб он вместе с поляками шел воевать на Крым. Он же об отдаче городов явно им весьма отказал, а тайно обнадеживал, что, укрепясь, конечно обещание исполнит; и о войне же обещал со всею силою на весну идти. После чего немедля послал на Елец весь наряд и запасов велел готовить множество, а также и войскам всем велел готовиться. Стрельцы стали думать, как бы поляков побить и Расстригу свергнуть, но один из них сказал Басманову. Он же велел знатных из них призвать во дворец и стал их расспрашивать, и при нем они без намеков прямо истину сказали, и голова стрелецкий Григорий Микулин всех их тут порубил, за что Расстрига пожаловал его в думные дворяне.

Мая 8 числа 1606 года женился Расстрига, венчался в соборе Успения Богородицы. И было сие торжество с великим убранством и богатством, столы были три дня для множество

людей, перед ним и перед тестем носили на золоте, а причт все ели на серебре, со многою музыкою и непрестанною стрельбой. К сей свадьбе многих сосланных в ссылки освободил, среди которых были и Шуйские, и оных принял в прежнее достоинство. Годуновых же только велел отпустить по деревням, а другие и померли в заточениях.

Сия свадьба, в которой многое не по обычаям русским было, особенно же устройство во дворце папезской церкви под образом, якобы для служащих при жене его, не меньше же явному и тайному боярам от поляков утеснению подало причину и многому в народе недовольству. И хотя и прежде думали многие, чтобы во время пиршества брачного наиудобнее поляков побить и его с престола низвергнуть, однако ж Расстрига, уведав, довольными стражами укрепил и то намерение пресек. Оно же восстание расследовать и Расстриге тогда частью из-за дней брачных, частью из-за множества знатных людей, которых коснулось, бояр в розыск ввести было уже небезопасно. Того ради умыслил он коварством бояр побить таким образом, чтоб вывести все польское войско якобы для смотру в луга против Коломенского и самому выехать со всеми боярами и знатными людьми. И тут, учинив ссору, противных себе якобы нечаянным случаем побить, а кого именно, тех, советуя только с одним Басмановым, написал роспись своею рукою и потом оное наедине объявил окольному Михаилу Игнатьевичу Татищеву, который был Петру Басманову названный брат и у Расстриги в довольной милости. Притом же сказал ему, что он уже полякам и боярам оповестил, чтоб на следующее утро, то есть 14-го числа мая, все выехали. Оный же Татищев, видя такую беду, ночью тайно поехав, сказал Шуйским, а сам снова приехал во дворец и ночевал. Бояре, услышав про такую над собою беду и видя сами предуготовление стоящих в домах их поляков, что готовили оружие, как на войну, всю ночь не спав, ездили советовали. Но поскольку чернь и стрельцы хотели слышать от царицы, что он подлинно не ее сын, того ради велели собраться в Вознесенский монастырь множеству народу к заутрене, а царицу просили, чтоб она истину объявила, к чему она по многой просьбе едва склонилась. И того ж 14 числа во время заутрени со многими слезами она изволила всенародно объявить, что сей царь не сын ее и она его, не зная, за страх сыном именует. Потому все приняли повеление от Шуйского, чтоб поляков простых в домах побили, знатных взяли, но чтоб ждали набата. Поутру же бояре многие, причастясь святых тайн, собравшись многолюдством, пошли вверх и велели ударить в набат. Расстрига же, услышав необыкновенной людей шум и набат, вскочив с постели, спросил о причине. И Татищев сказал ему: «Знатно, пожар близко». Басманов же, видя бояр, с оружием идущих, хотел двери запереть, но Татищев его ножом заколол. А в то время Расстрига в окно на Набережный двор бросился и ноги отшиб, где его стрельцы живого еще подняли. Но когда несли вверх, незнамо кто его убил, и отсекши ему голову, вынесли на Красную площадь, где лежал три дня, а потом сожгли на Котлах.

Простой же народ возмутился весь и, нападши на дома, поляков многих побили, другие же, запершись, боем отсиживались, и которые достали, те дворы совсем разграбили. Что бояре видя и опасаясь, чтоб большего вреда не произошло, немедленно сами по улицам поехав, едва народ от убийства поляков и грабления домов могли удержать. И взяв остальных поляков, отдали под караулы, в том числе Расстригина жена Марина, отец ее Мнишек, послы польские и другие многие знатные поляки.

После убиения Расстриги, бывшего при нем патриарха Игнатия, обличив в ереси папезский, на другой день, сведши с патриаршества, посадили в Чудове под начал (привязанным). Потом стали советоваться о выборе государя. И на первом совете положили

бояре со всеми согласно, что выбирать государя всем государством, созвав из городов шляхетство, властей, служивых и купецких от городов знатных людей, и чтоб о том немедля послать во все города грамоты. Но прихоть непорядочная князя тому всему помешала, поскольку они о том тотчас стали спорить, представляя в том продолжение, а от поляков и междоусобного несогласия великую опасность. И так разошлись, ничего не решив. В четвертый день после убиения Расстриги, т. е. 19 числа мая, собрались бояре снова для совета в Грановитую палату, и тут, о выборе рассуждая, многие по вышеписанному представляли созывать с городов. А Шуйский с товарищами по-прежнему спорили, чтоб немедля имеющимися в Москве выбирать, при котором некоторые тотчас вызвались именовать, кого выбирать. Одни стали говорить, чтоб выбрать князя Василия Иоанновича Шуйского, представляя его ближайшим по родству к великим князям. Другие, и большее число, представляли князя Василия Васильевича Голицына, принимая во внимание его способность и заслуги. А иные говорили о Мстиславском, но сей сам отказался. Сие видя, один из Шуйского доброжелателей, окольный Татищев, советовал, чтоб бояре, отслужив в соборе молебен, объявили свое мнение всему народу, что многие хотят Голицына или Шуйского, чтоб они дали свое мнение, и на которого народом склонятся или будет больше голосов, тому и быть. С чем Шуйского сторона тотчас согласилась, а Голицына, уповая на его заслуги и любовь в народе, не воспротивилась. Оный же окольный вышел, наперед и сказал в народе скрытно, что бояре выбрали Шуйского и чтоб народом, как пойдут бояре в собор, поздравляли его на царстве; которое тотчас в стоящем народе разгласилось.

Бояре, не ведая сего, пошли все вместе, и Шуйский пошел наперед с Голицыным. Народ же, как только их увидели, все закричали: «Здравствуй царь Василий Иоаннович Шуйский». Что многие, не ведая, за Божеское предвозвещение приняли. Голицын же, дознавшись о коварстве, в собор не пошел.

ЦАРСТВО ЦАРЯ ВАСИЛИЯ ИОАННОВИЧА ШУЙСКОГО

Того ж мая 19 числа после поздравления народа бояре пошли в собор и по окончании службы Божией целовали ему все крест, а по городам для приводе послали указы. Он же, царь Василий, некоторые сказывают, по принуждению Голицына и других бояр, а другие якобы по своей воле, он целовал крест всему государству на том, что ему без совета бояр ничего не делать, никому прежней злобы и обиды не мстить, ежели отец виновен, сына не наказывать и сыновнюю вину отцу не причитать и пр., чего в России никогда не бывало.

Потом представляли, чтоб сначала выбрать патриарха и писать к другим государям, а также, доколе с городов съедутся, коронование отложить. Но он, опасаясь какого-либо препятствия, того ж мая 25 числа короновался от казанского митрополита. И потом советом всего собора, властей и бояр оный казанский митрополит Гермоген возведен и посвящен на патриаршество.

Сей царь Василий Иоаннович, в то время когда был рабом, всегда был государям своим и своим ближним неверен. Он все присяги и с тягчайшими клятвами обещания употреблял, как бурку от дождя, ибо как скоро оное учинял, так скоро запамятывал и уничтожал. Он хотя в мужестве и любочестии себя нигде не показал, но на пагубу тайную людям и к приобретению власти всякие возможные способы употреблял и по сути: 1) забыв милость и завещание царя Иоанна Васильевича к отцу его и к нему и свою должность в верности государю, после двухкратного царю Феодору Иоанновичу обещания, презрев страх Божий, когда он послан был про убиение царевича Дмитрия разыскивать, невинных царицу с ее свойственниками и верных царевичу неверностью, как и оного убитого от воров царевича самоубийством пред государем оклеветал, и по тому следствию многих невинно перепытал и смерти предал, а виновных, угождая Годунову, оправдал; 2) избрав Годунова на царство, как только о явившемся в Польше Расстриге уведal, тайно, войдя в согласие с другими, оного звал из поляков, обнадеживая; 3) после смерти царя Бориса, сыну его присягая, тайно с Расстригою имел согласие, и оного с престола низвергнуть первый в Москве явно соизволил; 4) после прихода Расстриги, хотя ведал, что оный, именуемой царевичем Дмитрием, сущий вор, добровольно присягая, тотчас на низвержение его стал возмущать, за что по обличению приговорен был к смерти и лежал на плахе. Но по просьбе царицы Марфы прощен и, тяжкою клятвою по возвращении из ссылки верность Расстриге утвердив, в тот же день начал об убиении оного советовать, что вскоре и действительно учинил; 5) избрание на престол хотя коварством в пользу свою произвел и чрезвычайную клятву и обещание, целуя животворящий крест Господень, учинил, но, едва минуло время торжества, все оное забыл, и прежним неприятелям обиды начал мстить, и без согласия бояр против своего клятвенного обещания начал неповинно по злобе людей тайно губить. Однако, видя, что сие его собственное клятвопреступление как государя может к его и государственному вреду причиною другим к таковым же поступкам быть, умыслил оное лицемерием прикрыть: написал к прежде сосланному в Старицу патриарху Иову грамоту, изобразив во оной свои и всего народа явные клятвопреступления, поставляя оное за тяжкое и богопротивное преступление, просил прощения, которую с ним многие бояре подписали. Оный же Иов сначала отрекся тем, что он уже не патриарх и патриаршества принять не

хочет, так как выбрали и посвятили нового патриарха, тогда они, войдя в согласие, соборно разрешительную грамоту написали и по всем городам послали. Но Всевышний судья и мститель неправды сии человеческие коварства вскоре достойною мздой в память всем клятвопреступающим рабам все государство наказал и едва от крайнего у врагов рабства и пагубы по всевысокому своему милосердию избавил.

После убиения Расстриги вскоре польских послов со всеми их оставшимися людьми ввели на посольский двор и содержали их под честным караулом. Воеводу же сендомирского с дочерью, Расстригиною женою, и прочих прибывших с ними поляков разослали по городам, в Ярославль, Галич, Кострому и другие.

Царь Василий послал в Польшу с объявлением князя Григория Волконского, но он, не получив аудиенции, возвратился, а поляки стали к войне готовиться.

Царь Василий Иоаннович мало что на царстве мог укрепить прежде учинения добрых в государстве порядков и утишения внутренних беспокойств и от нападения поляков надлежащего к обороне утверждения, но начал многим древние злобы мстить, многих безвинно и без воли бояр пытал, в ссылки ссылал, дома грабил и на смерть предавал. Всемогущий же Бог, видя его такие клятвопреступления, допустил в наказание его явиться новому вору немчину, именующему себя царем Дмитрием, который явился на украине в Путимле и сказал, якобы он из Москвы ушел, а вместо него убили другого, потому воевода князь Григорий Шеховский со всем Путимлем царю Василию изменил. Тому ж последовали города Чернигов, Стародуб, Новгородок Северский и Монастыревский.

Царь Василий, видя такое в людях волнение, желая их, а не себя, в первую очередь усмирить, лицемерною набожностью прикрываясь, велел в Угличе, выкопав тело царевича Дмитрия, боярину князю Ивану Михайловичу Воротынскому с товарищами и со властями принести в Москву. После принесения же мощей оных в Москву прославил его многими чудесами. И царь Василий послал во известие грамоты по всем городам, но тому мало кто верить хотел, а кроме того многие к тому больше стали изменять. Он же, видя такое бедство, послал на украину многое войско под город Елец, которое, долго стояв, ничего не учинило.

В Новгороде был мор великий, и боярин князь Михаил Петрович Катырев Ростовский там умер.

Во время еще царства Расстриги беглый холоп Василия Елагина Илья, придя на Терки к гребенским казакам, назвался царевичем Петром, сыном царя Феодора. Казаки же приняли его с честью, после чего он немедленно в Москву к Расстриге писал. И хотя Расстрига ведал, что у царя Федора никакого сына не было, однако ж, желая ту смуту обманом прекратить, писал к нему с почтением, чтоб он ехал без опасения в Москву. Потому он, взяв некоторое количество казаков, пошел к Москве. И придя к граду Свияжску, уведав, что Расстригу убили, поворотился с казаками к Царицыну и многие места разорил. Придя на Царицын, посланных в Персию послов, князя Ивана Петровича Ромодановского и воеводу Федора Акинфеева, убили, а оттуда пошел на Дон и там зимовал.

1607. Взбунтовались холопы боярские и крестьяне, многих господ побив, сначала дома дворянские разоряли. Старейшина же у них был князя Андрея Телятевского холоп Иван Болотников. Потом, собрав многое войско, он пошел к Кромам, где стояли полки государевы. Воеводы же, услышав про приход его и что многие города побрал, от Кром отступили. Сие слышали воеводы под Ельцем и, отступив, пошли к Москве, но когда пришли к Москве, многое войско по домам разошлось. После сего города Рязань с пригородами, Тула, Кашира и другие послали в Путимль к явившемуся царю Дмитрию с

повинною. Но посланные, придя туда, подлинно известия, где царь Дмитрий, получить не могли, хотя их там присягать принуждали, ни с чем домой возвращались, а царя же Василия слушать не хотели. Собравшись все, выбрали себе начальника, с вором Болотниковым пошли к Москве, город Коломну взяли приступом и разорили и, придя, от Москвы за 50 верст стали. Царь же Василий, слыша о нем, послал всех служивых людей, сколько в Москве было, и посадских, которые пришли в Коломенский уезд село Троицкое, и тут после великого боя вора их разбили и пойманных отослали в Путимль. Пашков и Болотников, придя к Москве, стали в селе Коломенском со всем их войском.

До прихода оного уведал царь Василий, что Астрахань взбунтовалась, послал туда бояр Федора Ивановича Шереметьева, Ивана Салтыкова и Ивана Плещеева с войсками, и астраханцы их не допустили. Из-за чего они стали на острове Балчуге и сделали острог, и тут как от нападений астраханцев, так и от болезни цинги многое число людей погибло. В то же время около Нижнего мордва, холопы боярские и крестьяне совокупились и Нижний осадили, у которых начальниками были два мордвина Москов да Вокордин. Москва же от Пашкова и Болотникова была в великом утеснении, и сидели, укрепясь в осаде.

В Смоленске архиепископ, многим прошением собрав войско, послал к Москве на оборону, выбрав воеводу Григория Полтева, к которому Вязьма, Дорогобуж и другие города пристали и государю повинную принесли. Сие слышав, рязанцы тотчас от воров отъехали к смоленчанам и, придя, совокупились у Девичьего монастыря. А из Москвы вышел с войском боярин князь Михаил Васильевич Шуйский, стал в монастыре Даниловском. На следующий день Шуйский, соединившись со смоленчанами, пошел к Коломенскому на воров Болотникова и Пашкова.

Но Пашков, видя, что им невозможно противиться, отъехал с войском к государю, и тут воров разбили, многих побили, более в полон побрали, что в Москве сажать было некуда. Но Болотников с малым числом людей ушел в Калугу, а другие в деревню Заборье. Но сих бояре вскоре взяли и привели в Москву. Царь же Василий велел их посадить в воду (т. е. утопить), чему многих бояр возражения не помогли, и чрез то в народе великую печаль и недовольство сделал.

Потом послал он воевод с полками: князя Ивана Ивановича Шуйского под Серпухов, князя Ивана Михайловича Воротынского под Арзамас, князя Ивана Андреевича Хованского под Михайлов, князя Никиту Андреевича Хованского под Калугу, князя Андрея Васильевича Хилкова под Веневу, Артемия Васильевича Измайлова под Козельск. И князь Воротынский, Арзамас взяв, пошел под Алексин, а Шуйский, взяв Серпухов, пошел под Калугу, но в Калуге ничего не учинив, отступил с потерю нескольких людей. Царь Василий послал под Калугу еще с войском бояр: князя Федора Ивановича Мстиславского, князя Михаила Васильевича Шуйского и князя Бориса Петровича Татеева. Оные хотели сделать гору деревянную и зажечь, но Болотников, выйдя на вылазку, многих побил. Под Михайлов придя, украинцы бояр отбили, и за то Хованского взяли в Москву, а на его место послал князя Бориса Михайловича Лыкова. А также и Хилкова от Веневы отбили.

На Туле с ворами был князь Андрей Телятевский, на которого пошел из Алексина Воротынский, но от воров разбит и едва сам в Алексин ушел. Из Путимля и других городов собрал князь Василий Мосальский многое число, пошел к Калуге наотсечь, против которых послали из полков боярина Ивана Никитича Романова да князя Даниила Ивановича Мезецкого. И сошлись на речке Вырке, где бились целые сутки и воров побили. Тут же воеводу, воровского князя Василия Масальского убили, и пошли бояре под Калугу.

Илья, который назывался царевичем Петром, сыном царя Федора Иоанновича, с Дону пойдя, взял Царев Борисов, в котором воевод Михаила Сабурова да князя Юрия Приимкова побил, и потом, пойдя к Путивлю, многие города побрал и в Путивле бояр князя Василия Кандауровича Черкасского, князя Петра Ивановича Буйносова, князя Андрея Бахтеярова, князя Василия Трестенского, Евфима Бутурлина, Алексея Плещеева, князя Григория Долгорукого, Матфея Бутурлина, князя Савву Щербатого, Никиту Измайлова, князя Юрия Приимкова, Михаила Пушкина и иных многих воевод по городам побили, а дочь князя Андрея Бахтеярова оный вор взял себе в наложницы. Оный же вор пошел из Путивля на Тулу, а перед собою послал воеводу князя Андрея Телятевского со многим войском под Калугу, против которых посланы от Калуги бояре князь Борис Петрович Татев да князь Андрей Черкасский. И сошедшись на речке Пчельне, воры бояр побили и воевод обоих убили, после чего бояре от Калуги отступили и стали в Боровске. В то ж время князь Михаил Долгорукий под Козельском воров побил.

Царь Василий сам пошел под Тулу, а Петрушка пришел на Тулу ж. И царь Василий пошел к Серпухову, а на Каширу послал князя Андрея Васильевича Голицына, с Рязани велел идти князю Борису Михайловичу Лыкову с войсками. Петрушка послал войско на Каширу, князя Телятевского. И сошлись бояре на реке Вязьме и тут, весь день бившись, воров одолели и только 3-х в полон взяли, а прочих, обступив, всех порубили, только Телятевский ушел с малым числом людей, а бояре пришли в Серпухов к царю Василию.

Царь Василий, пойдя, Алексин взял и пошел под Тулу. Наперед послал воевод князя Михаила Васильевича Шуйского. И сошлись с ворами близ Тулы на реке Вороне, и тут воров побили, и государь, придя, Тулу осадил. Под Козельск послан был князь Василий Федорович Масальский, под Белев и Волхов послал князя Третьяка Сеитова; и князь Третьяк очистил города Лихвин, Белев и Волхов. Масальский же стал меж Козельском и Мещевском. Под Тулою изменили князь Петр да Александр Урусовы, со многими татарами ушли к вору.

1608. Пришел в Стародуб новый вор и назвался Андреем Андреевым сыном Нагим, да с ним товарищ, московский подьячий Алексей Рукин, и иные сказывают, что первый был поляк. И сказали в Стародубе, что они присланы от царя Дмитрия. И стародубцы их с радостью приняли, но когда их спрашивали, где он и какое уверение тому имеют, они воры ничего сказать не хотели, потому воевода привел их в застенок и хотел пытаться. И оный подьячий сказал про называющегося Нагим, что тот есть настоящий царь Дмитрий. И стародубцы послали грамоты по всем городам с объявлением, и к нему пристали города Путимль, Чернигов, Новгородок Северский, о чем писано выше, только его не объявляли.

Оный вор послал от себя с грамотою к царю Василию к Туле сына боярского, который, будучи запытан, не винился и говорил, что как он, так и все подлинно верят, что оный есть подлинной царь Дмитрий. Потом оный вор пошел к Брянску, но царь Василий велел из Мещевска воеводе Григорию Сунбулову про вора проведать, который послал от себя 250 человек с Елизаром Безобразовым. И когда вор пришел к Брянску, тогда брянчане вышли все к оному вору навстречу. И оный Безобразов Брянск сжег, а сам ушел в Мещевск. Вор же побрал города Карачев, Козельск и, придя на князя Василия Масальского, разбил.

Царь Василий послал воевод, которые взяли Дединов, Крапивну и Епифань. При Туле муромец Фома Кравков обещал царю Василию город Тулу потопить, в чем ему сперва верить не хотели, но потом дали ему на волю. Он же, усмотрев на реке близ города удобное место, сделал высокую плотину, чем город потопил и принудил октября 28 числа воров к столь крайней нужде, что они того ж числа сдались. Тут взяли воров Петрушку,

называвшегося царевичем, и с ним той беды зачинщика князя Григория Шеховского и Болотникова, послали их в Москву. При Туле же оставив воевод, сам царь Василий пошел в Москву, и, придя, Петрушку повесили, а прочих, Шаховского, Болотникова и Нагибу, разослали по тюрьмам в города и там казнили.

Вор, назвавшийся царем Дмитрием, услышав сие, побежал на Северу и стал в Трубческе. Царь же Василий от Тулы послал воевод к Брянску. И воеводы, Брянск взяв, укрепили, куда послали воевод князя Михаила Федоровича Кашина да Андрея Никитича Ржевского. К вору ж оному пришел из Польши полковник Лисовский с войском, и он, с ними совокупясь, осадил Брянск, чрез что в городе учинился голод великий. К нему ж пришли казаки и привезли с собою называвшегося царевичем Федором, будто бы он сын царя Федора Иоанновича, а Дмитрию племянник. Но Дмитрий Федора одного под Брянском убил.

Царь Василий послал на помощь осажденным к Брянску князя Ивана Семеновича Куракина, а из Мещевска наперед пошел князь Василий Масальский. И придя, Масальский стал на Десне против Брянска. Сие было зимою декабря около 15 числа, и по реке шел лед. Масальский, видя городу великую тесноту, презрев великость воды и множество по реке идущего льда, проявив смелость, перешел реку вплавь на конях и, совокупясь со брянчанами, напал на поляков неожиданно, многих побил и всех от города отогнал, а Куракин пришел уже после. В ту ночь стала река, и вор перешел тайно, напал на князя Куракина, чего не ожидали, но Куракин после великого боя оставив во Брянске запас, сам отступил в Карачев. Вор пошел к Орлу. В Орле же его приняли с честью, и тут он зимовал. В ту зиму пришел к нему из Польши гетман Ружинский с войском в ночь.

Царь Василий Иоаннович женился, взял Марью Петровну, дочь князя Петра Ивановича Буйносова Ростовского.

В Болхов послал государь воевод князя Дмитрия Ивановича Шуйского с товарищами, где онный зимовал, а весною пошел к Орлу. И встретясь с вором, после великого боя много людей потерял, и едва их выручил князь Куракин своим полком; тут ротмистр с немецкими людьми побит. На следующий день поляки снова наступать начали, и бояре, желая порядком отступить, сначала отпустили снаряд и обозы. Но тогда изменил каширенин Микита Лихорев и все полякам сказал, после чего поляки жестоко напали и, войско разбив, весь снаряд и обоз взяли. Вор онный Болхов взял, но болховичи многие ушли в Москву. Государь же послал снова полки князя Михаила Васильевича Шуйского да Ивана Никитича Романова. И пришли на реку Незнань, а вор пошел другою дорогою к Москве. В полках же царских учинилось смятение, что князь Иван Катырев, князь Юрий Трубецкой, князь Иван Троекуров хотели со многими людьми к вору отъехать. Но их переловив, князь Михаил Шуйский пришел к Москве и оных трех князей разослали в ссылки, а других, бывших с ними в думе, Якова Желябовского, Якова Иовлева Григорьева сына Толстова и других, казнили.

Онный вор, придя, стал в Тушине и после многих боев перешел в Танинское. Но поскольку ему все привозы запасов по дорогам отняли и многих посланных побивали, того ради перешел снова в Тушино и сделал окоп. И на походе был с ним бой великий. Бояре же, придя к Москве, стали на Ходынке.

Ружинский прислал от себя к царю просить, чтоб послов польских отдали, но оные ни с чем отпущены. Оные присланные, возвращаясь через обоз боярский на Ходынке, сказали в войске царском, будто с государем помирились, чего ради в полках стражи ослабели. И той же ночью неожиданно пришли вору и поляки на Ходынку, бояр разбили и обоз взяли. Бояре же под Москвою, осмотрясь, собравшись, опять на воров напали и гнали их назад до

Ходынки и обоз свой снова возвратили. Но видя оное место небезопасным, отступили к Пресне с обозом, сделали окоп; который и до сих пор еще виден. Лисовский тогда взял Зарайск.

Из Рязани воеводы послали с войском Захария Липунова к Зарайску, но Лисовский, оных 300 человек побив, Коломну взял и в нем воеводу князя Владимира Долгорукого в полон и пошел к Москве. Против одного же послал царь Василий князя Ивана Семеновича Куракина да князя Бориса Михайловича Лыкова. И сошлись на Москве реке на Медвежьем бросе, и там Лисовского побили и снаряжение все взяли, тут же выручили архиепископа коломенского и князя Долгорукого, а Лисовский ушел. На Коломну посланы воеводы Иван Матфеевич Бутурлин да Семен Глебов.

Бывшим в Москве тогда царем Василием многие недовольны были и на царстве его весьма иметь не хотели, а Тушинского вора не знали, кто таков, наиболее же опасались от такого хищника больших бед, нежели от Расстриги, а вновь же выбирать из-за силы польской и собственного несогласия весьма было неудобно, того ради некоторые тайно согласились с польским послом Гоншевским, что выбрать королевича польского на царство, стали представлять государю, чтоб для удобнейшего с королем польским примирения послов польских и Мнишека с дочерью отпустить. Государь же, не ведая над ним умысла, оных, удовлетворив, отпустил и велел князю Владимиру Долгорукому с войском проводить их до границы. Когда же услышал гетман в Тушине, что государь послов польских и Мнишека с дочерью отпустил, послали на перехват князя Василия Масальского, чтоб послов и Мнишека в Тушино поворотить. И оный настиг их в Бельском уезде. Послы же Гоншевский с товарищами поехали прямо в Польшу для произведения тайной его комиссии, а Мнишек с дочерью, поверив Мосальскому, что подлинно тот же Дмитрий, бывший муж ее, поворотились в Тушино. А князь Владимир Долгорукий, которого войско все разбежалось, приехал с малым числом людей в Москву.

Сей Мнишек, приехав в Тушино, узнал, что то не зять его, и не хотел дочери своей ему отдать. Однако ж для удержания войск согласились, что ему и дочери его признать его за истинного. И сначала договорено было, что оному вору ее не касаться и почитать, только через некоторое время тайно их венчали. Царь же Василий, слыша о том и видя, что войска уменьшились, многие разъехались по домам, другие отъехали в Тушино, помощи же ниоткуда не видя, послал в Новгород племянника своего князя Михаила Васильевича Шуйского, чтоб собрал новгородцев и псковичей, а к тому б нанял войска шведские, который с малым числом людей из Москвы поехал. Тогда же пришел из Польши в Тушино полковник Сапега с некоторым войском и приступать стал на обоз боярский, и был бой великий, но потеряв немало людей, отбит, и отступили снова в Тушино.

Потом Сапега с некоторыми войсками пошел в Троицкий монастырь. А царь Василий послал за ним князь Ивана Ивановича Шуйского. И был у них бой в деревне Рохманцево, где бояре, поляков разбив, боевое устройство свое расстроили. Сапега же, увидев русских нестроение, отойдя, собрав остальных, возвратился, разбил Шуйского, поскольку сторожевого полка воевода Головин дрогнул. Тут убили князя Андрея Григорьевича Ромодановского. Сие несчастье видя, начали осаду в Москве укреплять и все целовали крест, что сидеть. Однако ж и потом многие стали к вору в Тушино отъезжать, и из-за того все войско в город было введено. Тогда было сущее смятение, что брат на брата, сын против отца воевали. Сапега после разбития Шуйского стал под монастырем, сильно приступая, немало людей потерял, поскольку в монастыре князь Григорий Борисович Долгорукий

мужественно оборонялся.

Сапега послал своих людей по городам. Потому суздальцы сначала хотели укрепиться, но Меншик Шилов с товарищами всех людей возмутил, так что город сдали и вору присягали. К ним прислан от Сапеги воевода Федор Плещеев. То ж учинили переславцы и, собравшись с поляки, пошли к Ростову. Ростовцы просили митрополита Филарета, чтоб с ними шел в Ярославль, но он не послушал. Ростовцы же многие ушли в Ярославль, а другие с митрополитом остались. И переславцы, придя, в городе многих побили и, в церкви митрополита взяв, отослали в Тушино, а Матфей Плещеев с ворами пошел к Ростову и многое разорение учинил. Лисовский взял Шую приступом и многих людей побил. То же учинив и с Кинешмою, пришел снова в Суздаль. После сего все города вору присягали, только остались Казань, Новгород Великий, Смоленск, Рязань с пригородами, Коломна и Сибирь. С Каширы изменники со Хмелевским пошли под Коломну. Царь Василий же послал на выручку воевод князя Семена Васильевича Прозоровского да Василия Борисовича Сукина с войском, и тут Хмелевского совсем побили. То ж учинили из Владимира вору, пошли под Коломну, которых князь Дмитрий Михайлович Пожарский, встретив в селе Высоцком, побил и обоз взял, а остальные ушли во Владимир.

Князь Михаил Васильевич Шуйский Скопин пришел в Новгород и стал войско собирать. В Швецию послал для найму войска шурина своего Семена Васильевича Головина. Во Псков посылал от себя войска собирать, но они его не послушали и присягали вору. А в Новгороде тогда был воевода Михаил Игнатьевич Татищев, и слыша, что псковичи изменили, опасаясь от новгородцев, выехали Скопин и Татищев вон, хотели уехать в Ивангород. Но на дороге уедал и, что и Ивангород вору присягал, поехали к Орешку, и тут от них ушел Андрей Колычев и Нелюб Огорев.

В Орешке был воевода Михаил Салтыков и их в город не пустил. В Новгороде митрополит Исидор со слезным прошением новгородцев уговорил и, в верности царю Василию их утвердив, послали за Шуйским и Татищевым знатных людей просить, чтоб поворотились, потому оные, с радостью возвратясь, стали войска собирать и в Москву с известием послали Моисея Глебова.

Карнозицкий полковник из Тушина пошел к Новгороду, и Татищев хотел идти с войском против них, но князю Скопину сказал некто, будто Татищев изменить хочет. Скопин же, не рассмотрев, немедленно некоторым новгородцам сказал, от которых народ возмутился, и Татищева, не спрося, убили. А на следующий день, осмотрясь и видя, что затеяна была неправда, Скопин с честью его погреб в Антоньевом монастыре. Оный Карнозицкий стал на Ху- тыне и многие пакости делал, а новгородцы из уезда собрались на Грузине, и Карнозицкий, уедав про сбор войск, пошел назад.

Около Нижнего, собравшись многие низовые, мордва и черемиса, город осадили. К ним же пришел из Тушина с поляками князь Семен Вяземский. Нижегородцы ж, видя тяжкое себе утеснение, выйдя из города, воров оных разбили и Вяземского, взяв, не отписываясь в Москву, в Нижнем повесили.

Царь Василий писал в Астрахань к Федору Ивановичу Шереметьеву, чтоб, оставив острог на Балчуге, шел к Москве. Он же, идучи от Астрахани с полками, многие города очистил. Нижегородцы же, слыша оное, пошли к Болохне и оный взяли.

По деревням крестьяне сие слыша и видя государства разорение, во многих местах без всякого повеления собираясь, поляков и изменников побивали, между многими знатнейших. В Юрьевце сытник Федор Красный, в Решме крестьянин Григорий Лапша, на Болохне Иван

Кувшинников, в Гороховце Федор Ногавицын, в Холуе Илья Деньгин, собравшись с крестьянами, пошли в Луг и тут польских людей побили, а дворян сослали в Нижний и пошли к Шуе. Лисовский, уздав о том, послал против них Федора Плещеева, и сошлись в селе Данилове, где после жестокого боя воров крестьяне разбили, а Плещеев ушел в Суздаль с малым числом людей. Потом Вологда, Устюг Великий и все Поморье снова оборотились и поляков побили. Поляки, в Даниловском придя на сытника Красного с товарищами, многолюдством и после великом боя мужиков разбив, отошли в Ростов.

В Москве, видя великую тесноту и в запасах скудость, а кроме того надеясь на оговоренное с польским послом Гоншевским, войдя в согласие с тушинскими, умыслили царя Василия с престола ссадить, чего ради князь Роман Гагарин, Григорий Сунбулов, Тимофей Грязный со многими людьми, придя во дворец к боярам, начали просить, чтоб царя Василия переменить, в чем им бояре отказали. Но они, взяв патриарха и царя Василия, вывели на лобное место. К ним же из всех бояр пристал один князь Василий Голицын; и видя, что к ним никто больше не пристаёт, после великого шума разойдясь, ночью те возмутители отъехали все в Тушино, человек с 300.

Воры из Тушина послали к Коломне полковника Млотского, чтоб к Москве отнять проезд. Колычев, воевода коломенский, сказал на главного своего воеводу Бутурлина царю Василию, что он с вором в согласие вошел, потому Бутурлина, взяв в Москву, казнили.

В Москве тогда рожь была четверть по семи рублей, от чего в народе был голод и великое смятение учинилось.

Из Тушина пришли ротмистр Мизинов да князь Роман Гагарин и объявили во весь народ, чтоб не прельщались, оный де прямой вор, только поляки для себя его царем Дмитрием называют, и в войске де про то все знают, и что в Новгороде войско собирается; и тем москвичей весьма укрепили.

Из Польши пришел еще полковник Бобовский с войском, и, соединясь с тушинскими, пришли под Москву. Воеводы вышли против оных за город и после жестокого боя поляков побили и гнали до самого Тушина, где поляки остальные, из окопа их выйдя, оных выручили, и бояре с войском отступили снова к Москве. Боярин Федор Иванович Шереметьев прислал в Москву с известием, что идет с войском, и государь товарища его Ивана Салтыкова взял в Москву.

В Астрахани явились еще три вора. Один назвался Август, сын царя Иоанна Васильевича, другой Осиновик, сын царевича Иоанна Иоанновича, третий Лавр, сын царя Феодора Иоанновича. И к ним пристав, казаки, собравшись, пошли под Москву с Августом и Лаврентием, а Осиновика повесили на Волге. И пришли в Тушино, где оных Августа и Лаврентия вор, именующейся Дмитрием, обличив, повесил.

Семен Головин из Швеции пришел в Новгород с войском, с которым шведский воевода был Яков Понтус Делагарди, и тут, договорясь о заплате, записями утвердились. До прихода их посылал князь Скопин Шуйский во Псков с войском, и псковичи вышли с войском, и был бой, на котором псковичей побили и псковичи сели в осаду, а новгородцы возвратились.

Князь Скопин послал шведов наперед к Старой Русе, и оные очистили Старую Русу. Потом был бой у шведов и русских с поляками в Торопецком уезде селе Каменках, где поляков побили и, Торопец взяв, оставили воеводу Федора Чулкова. Потом шведы в Торопецком уезде при монастыре Холховице некоторое количество поляков побили. После отправления шведов к Русе послал же к Торжку Корнила Чулкова с русскими людьми, и оный вскоре Торжок взял и укрепился. Скопин же, уздав, что изо Твери поляки к Торжку

идут, послал в помощь Семена Головина, а также шведскому полковнику Ивелгору из Торопецкого уезда со всем велел идти туда ж. И оные пришли к Торжку вместе. В то ж время пришли и поляки, и тут был с поляками бой, в котором поляки шведов смяли, только из города вышедшие шведов выручили и поляков отбили.

Потом и сам князь Скопин пришел с генералом шведским в Торжок, где отдохнув мало, пошли к Твери и, не дойдя 10 верст до Твери, перешли Волгу. Поляки ж, выйдя из Твери, жестоко бились, и тут много шведов побито, поскольку другие войска перебирались. Однако ж устояли и, дождавшись еще войска, на третий день, придя к Твери, острог взяли, а поляков много побили, остальные же сели внутри города, который шведы хотели доставать. Но Скопин, жалея людей, того не допустил, и шведы, за оное осердясь, пошли назад.

ЦАРСТВО ЦАРЯ ВАСИЛИЯ ИОАННОВИЧА ШУЙСКОГО, СЕГО ИМЕНИ В ЦАРЯХ ВТОРОГО

Сей государь выбран на царство мая 20 дня 1606, о чем не только по городам, но и в Москве большая часть не ведали или соизволения своего не давали. Однако ж, не передумав, все в Москве без всякого препятствия крест ему целовали и потом во все города о приводе к кресту послали указы. Он же, царь Василий, некоторые сказывают сам, иные же говорят по требованию Голицыных и других бояр, целовал государству крест на том: 1) что ему без совета бояр ничего не делать; 2) никому прежней злобы и недружбы не мстить; 3) ежели отец виновен, сына невинного не наказывать и отцу не ведающему сыновней вины не причитать и пр.; чего в России никогда не водилось.

Потом положили бояре, чтоб коронацию отложить, доколе со всех городов власти, дворянство и знатное купечество соберется и сначала всем собором патриарха по уставу царя Федора Иоанновича и тогдашнего собора выберут, и лишь потом ко всем посторонним государям писать. Но царь Василий, опасаясь, чтоб между тем какого препятствия не учинилось, короновался того же мая 25 дня без великих обрядов от казанского митрополита Гермогена. Но чужестранные историки показывают оное коронование июня 1 дня, о котором и о прочем так сказывают. Расстрига сожжен мая 29 дня. 30 дня объявлены в народ все непотребства Расстриги. Между прочими его винами указано были на него еретичество и чернокнижество, ересь папешская и согласие с папою, тиранство, любовь к чужеземцам и поругание русским, ограбление и расточение сокровищ государственных, презрение и уничтожение духовенства и осквернение храмов святых, и другие многие приводящие к озлоблению народа обстоятельства.

Потом царь Василий Иоаннович велел собраться имеющим власть и боярам для выбора патриарха. И хотя сначала посылали в Старицу к Иову патриарху, но оный, видя многие беспокойства, которые последовать могли, отрекся и не поехал. Того ради выбрали на патриаршество казанского митрополита Гермогена.

Вскоре после вступления на царство Шуйского многие явились в народе на него негодования, а особенно когда уведали о коварственном его избрании. К тому же тотчас промчалось слово, якобы оный бывший царь Дмитрий ушел, а вместо него убит немчин из его ближних служителей. Пришло же известие, якобы он, уйдя, той ночью был в одной деревне и хозяину сказался, который, придя в Москву, многим рассказывал и принес от оного письмо; после чего во многих местах по улицам находились подметные и возмутительные письма. Многие города, а особенно по границе польской, сказывали, якобы оный царь Дмитрий ушел в Польшу втроем и живет у жены воеводы сендомирского, а также и донские казаки, не хотели царю Василию крест целовать.

На Низу именующийся царевич Петр, быв уже на пути к Москве, в городе Свияжске, получив об убиении Расстриги известие, поворотился к Царицыну, где, проходя, многие места разорил. Придя же к Царицыну, оный взяли тут противящихся ему, посланного в Персию послом князя Ивана Петровича Ромодановского да воеводу Федора Акинфиева, побил, а оттуда пошел на Дон и там зимовал.

Сей царь Василий Иоаннович, когда был рабом, всегда государям своим был неверен. Он все присяги и обещания с тяжкими клятвами ни во что вменял и оные, как бурку от дождя,

для защищения своего употреблял, и по сути: 1) забыв страх Божий, и высокую к себе и к отцу своему милость царя Иоанна Васильевича, и свою двукратную в верности присягу царю Федору Иоанновичу, как послан был на Углич про убиение царевича разыскивать, угождая Годунову, виновных закрыл, а невинных одного царевича Дмитрия самоубийством, мать его царицу Марию и ее братьев небрежением, а угличан бунтом оклеветал, и многих безвинно к пыткам, разорению и смерти тем несправедливым доношением привлек; 2) Годунову присягая, как только о явившемся царевиче Дмитрие уведет, многим тайно сказывал, якобы убитый погребенный на Угличе, которого он, вынув из земли, осматривал, подлинно не царевич Дмитрий, и тайно с Расстригою списывался, в чем от царя Бориса по обличению сослан был в ссылку; 3) царевича Феодора признав царем и целовав ему крест, на другой день отрекся и крест Расстриге целовал; 4) Расстриге двукратно клявшись, одного престола и жизни лишил. И всегда во всех сих переменах тайным предводителем был, и многих людей, тем от присяги и верности государем отвлекая, душевно и телесно погубил.

Ныне же, видя, что оные его действия к собственному его и государственному вреду привести могут, умыслил оное лицемерием прикрыть, написал к прежде бывшему патриарху Иову грамоту и послал за своею и многих бояр подписями, прося в клятвопреступлениях прощения, поставляя оные за тяжкий грех и мерзкое преступление. Оный же Иов, так как был человек умный и богобоязный, опасаясь, чтоб в том Бога не прогневать, отрекся тем, что он уже не патриарх и в такие дела как простому чернецу вступаться не достойно. Однако ж после многих от него просьб, войдя в согласие с новоизбранным патриархом Гермогеном и прочими властями, соборно разрешительную грамоту со многими обличительными на клятвопреступления обстоятельствами написали грамоту таковую.

И оную грамоту послали по всем городам, но этим не только народ к верности и послушанию не привели, но более к противности и роптанию подали причину.

Вскоре после того послал царь Василий Иоаннович в Польшу послом князя Григория Волконского с объявлением о вступлении его на царство и снискании мира. Шведам же, хотя война была объявлена, но поскольку действительного предприятия никакого не было, и шведы сами к миру были склонны, опасности никакой не делал, и посланные вскоре мир подтвердили, потому король шведский Карл от себя с поздравлением прислал.

Внутри же государства царь Василий Иоаннович, мало что укрепив, прежде учинения добрых в государстве порядков и утишения внутренних и внешних беспокойств, и от нападения поляков, которое неизбежно последовать имело, к обороне надлежащие способы и силы не изготовил, забыв свою недавно в соборной церкви учиненную клятву, начал многим древние злобы и обиды мстить. Между всеми особенно стал на князя Василия Васильевича Голицына и князя Ивана Семеновича Куракина иметь подозрение, стал их утеснять. Многих безвинно без согласия бояр пытал, в ссылки ссылал, имения грабил и смертью казнил, в чем только братья его и другие льстящие ему друзья его согласовали. Всевышний же Бог, видя такие клятвопреступления и многие в таком смятении прегрешения, допустил в наказание его и всего государства явиться новому вору. Во время же самого смятения вор князь Григорий Шаховский, который был при Расстриге в близости, украв печать государственную, ушел из Москвы и, едуци к Путимлю, дорогою везде сказывал, якобы именующийся царем Дмитрием ушел в Польшу, а убили иного. И придя в Путимль, весь город возмущив, по многим городам посылал письма смятительные. Для прикрытия же своего составлял те письма от царя Дмитрия и печатал тою украденною печатью, сказывая, якобы он получает их из Сендомира, и тем народ весьма уверил. Потому

вскоре последовали за ним города Чернигов, Стародуб, Новгородок Монастыревский и несколько тысяч казаков.

Царь Василий, видя такое в людях смущение, но не слушая совета боярского, чтоб милостию и правосудием, а также добрыми устройствами в государстве народ к себе склонять прилежал, рассудил за лучшее принесением гроба царевича Дмитрия оных успокоить, послал в Углич митрополита да боярина князя Ивана Михайловича Воротынского с товарищами, велел гроб царевича Дмитрия, вынув, принести в Москву. И оные, придя на Углич, вынули тело его совсем в одежде, как положен был, и в руке его орехи, которые он тогда ел, а также нож с кровью, которым заклан, невредимые. И хотя Маржерет, Петреус и другие при том показывают, якобы оное обманом учинено, что гроб вынут был уже только с костями, и якобы иного вместо него в новом платье положили, о чем якобы тогда в Москве многие нарекания были, и о том, что он не в таком уборе был, как обычай погребать есть, и что он погребен был без ножа и без орехов, которому и по обычаю погребения быть невозможно, поскольку он был обмыт и одет был в погребательное платье, а также и о чудесах бывших описывают в образе коварства, однако ж оным верить не должно, поскольку столь многим бывшим при том духовным и светским знатым людям солгать неприлично; к тому же целостность тела его и ныне в том истину засвидетельствовать может.

По приближении оных к Москве послал государь встречать брата своего князя Дмитрия Ивановича да окольного Михаила Татищева и архиепископа. За Москвою встречал его сам царь Василий Иоаннович с матерью царевича, с патриархом и со всеми палатными людьми в превеликом множестве. Но при том учинилось великое смятение и хотели всех камнями побить, что едва утишить смогли. И не без труда принеся, поставили в церкви Архангела близ гроба отца его. Наиболее же всех Нагие, свойственники царевича Дмитрия, царя Василия возненавидели и его поносили. И хотя он сих тайно с рук сбыл, но остался Мстиславский, по жене племянник родной царице, в великом у него подозрении. В то же время появилось на воротах Нагих, Мстиславского и других их свойственников написанное крупными словами: «Царь Василий Иоаннович повелевает сей дом изменничий разграбить и живущих в нем побить». Потому множество народа, придя в Кремль, жаловались боярам на царя Василия, что такое возмущение в народе делает. Но он сказал, что о том ни о чем не ведает, и едва оных усмирили.

После нескольких дней некоею тайною повесткою собралось к дворцу множество народа. Царь же Василий, желая идти в собор, получив сие известие, пресильно испугался. Однако ж по обнадеживанию бояр, выйдя к ним, спрашивал о возмутителе; и видя, что бояре, обступив, стали ему некоторые непорядки высказывать, тогда он со слезами стал их просить: «Ежели я вам не нравен, то непотребно таких обстоятельств и смущений. Ибо как вы меня выбрали, так можете одного лишить». И сие выговорив, протянул им посох свой, сказав: «Извольте избирать и сей жезл царский отдать тому, кто вам люб». Но поскольку никто принять не осмелился, тогда он потребовал, чтобы сие злодеяние без наказания не осталось, ежели они его за государя имеют и почитать хотят. И по оному все обступившие его обещали ему верно служить, а народу велели разойтись. Поймав же возмутителей 5 человек, жестоко наказав, в ссылки сослали, при чем Мстиславский за невинного объявлен, напротив же, шурина его Петр Шереметьев обличен и в ссылку сослан, которого затем отравою умертвили.

После принесения гроба царевича Дмитрия царь Василий Иоаннович послал во все города грамоты, изъявив во оных о чудесах, бывших при оном. Но сему мало где поверили,

но скорее оное почитая за коварство и обман, больше стали изменять и к путимльцам приставать. Он же, видя такую беду, послал на Украину войска к Ельцу и Кромам, чтоб оные взять; но оные, придя, долгое время стояли, ничего не делали.

В том же году в Новгороде учинился мор, от которого множество людей вымерло, и притом наместник боярин князь Михаил Петрович Кавтырев-Ростовский умер.

В 1607-м января 3 дня присланный в Польшу посланник князь Григорий Волконский был допущен к королю. И хотя сей изъявлял, что об учинившемся смятении в Москве царь Василий сожалеет и желает с польским королем быть во всякой пожеланной дружбе, сожалеет же, что некоторые королевские подданные, обманщику Расстриге присовокупясь, многие России пакости под его властью подделали и многие из них сами погибли, другие же в России в заточении содержатся. А также у одного обманщика найдены письма короля польского, из которого познается, что король польский сам ему Расстриге в том помошествовал. А поскольку сие все к нарушению мира между обоими государствами причитаться может, то желает царское величество ведать, какое в том намерение есть королевского величества. Хочет ли он войну иметь, то царю с помощью короля Карла шведского легко себя в том показать и своего государства обиду отметить удобно, но он желает мир. А особенно потому, что корона польская от России по праву ничего требовать не может, поскольку польским послам никакого оскорбления не учинено, которые вскоре после утверждения договора с надлежащею честью отпущены быть могут.

Хотя весьма хотел король себя неприятелем России объявить и своего под именем Дмитрия на царство посадить, но то ли состояние дел внутренних в Польше тому препятствовало, а также потому что хотел король свои победы в Лифляндии далее производить и шведов из оных провинций весьма выбить. И сверх того была в Польше великая конфедерация, именуемая рокошане, которые представляли, что король многих обещаний, учиненных при избрании своем на королевство, не исполнил и что он многие законы государственные нарушил, исполнения чего и возвращения жестоко требовали и чтоб король всех чужеземцев от двора своего отлучил, поскольку они вредительные государству советы ему давали и во многих обстоятельствах природных поляков обижали, и таким образом принужден был из-за сих внутренних беспокойств сам в поле для оборонения стоять. О внешних же войнах думать ему было неудобно. Однако ж он отвечал российским послам, что сколько его персоны касается, он желает прежде утвержденный мир содержать. Что же он писал к тому царю Дмитрию или кто он был, оное не только к нарушению мира, но даже к предосуждению ему причтено быть не может, ибо он не прежде его царем признал, как его всем Российским государством приняли. Что же он воеводы сендомирского дочь ему в супружество допустил, оное допущено по состоянию между обоими государствами дружбы, и она в Москве со всякою подобающею честью принята, но потом против обещания и верности обещана и оскорблена. Многие же доброжелательно и с великою просьбою и обещаниями призванные поляки побиты, ограблены и умерщвлены против всякого достоинства и должности, которые им как гостям призванным надлежали. Особенно же, королевских послов под караул взяли, и тем величество его оскорбили. Но так как сие Речь Посполитая или некоторые сенаторы себе за обиду поставляют и какое-либо возмездие учинить намерение имеет, которого он воспретить не может, оное Россия вскоре ощутит; из-за чего послы не могут иметь надежды о мире, ибо воеводы многие весьма оскорблены; и из-за того он никаких подарков принять не может. Послы же оные прилежно старались, как бы оное чрез договоры к примирению склонить или б чрез продолжение

времени немного тот жар поутишить, а между тем рокошан более укрепить, и просили, чтоб король явившемуся на Дону вору, именуящему себя царевичем Петром, ежели явится, помощи не давал. И так, не установив ничего, возвратились в Москву. После отпуски русских послов король, закрывая свое намерение, прислал в Москву послов своих Станислава Витовского и князя Яня Друцкого, которые после многих споров положили перемирие на 4 года, однако ж не включающее оскорбленных воевод. Послы же, живучи в Москве, писали к Шаховскому и другим ворами способствующие смуте письма.

Между тем царь Василий Иоаннович трудился народ внутри государства усмирить, но поскольку оное было частью явными, более же тайными и под вымышленными поводами убийствами и разорениями домов произведено, того ради народ с каждым часом в большие злобы на него входил. В тот год же собрались по разным местам множество холопов боярских и чернь, к ним же пристали украинских городов казаки, выбрав над собою атаманом князя Андрея холопа Телятевского Ивана Болотникова. Сей Болотников, как чужестранные повествуют, был в полону у турок; на многих боях землею и морем, а потом у венециан служив, возвращался домой и, идучи чрез Польшу домой, пришел в Путимль. Его князь Григорий Шеховский, приняв и видя его в войне искусного, сочинив ему грамоту, якобы царь Дмитрий ему в Сендомире оную дал, и полную власть над войском поручил, или он, сам себе то сочинив, еще более обманутого от Шаховского путимлян уверил, где его с честью приняв, власть над оными ворами вручили, которых было до 12 000 человек. Которые сначала ходили разбоем, многие дворянские дома разоряли, дворян побивали, жен их и дочерей за себя брали, а потом, умножась, под командою Болотникова стали города брать и разорять. Сначала пошел он к Кромам. Воеводы же, стоящие там, услышав о приходе оного, убоявшись, пошли к Москве, а войско почитай все разъехалось по домам. А также и при Ельце воеводы, слыша, что государевы войска от Кром отступили, пошли в Москву.

Вскоре потом города Рязань с пригородами, Тула, Кашира и другие, войдя в согласие, послали в Путимль к названному ими царю Дмитрию с извинением, что они к изгнанию его из Москвы непричастны и хотят ему служить. Но посланные, придя туда, за некоторое количество времени никакого о нем подлинного известия, где тот царь Дмитрий есть, получить не смогли и, презрев Шаховского принуждение, чтоб тому царю Дмитрию они крест целовали, ушли назад. И обман тот объявив городам своим, положили, что ни того, ни царя Василия не слушать, до тех пор пока кто от всех вместе царем признан не будет, и выбрали себе начальника соловского сына боярского Истому Пашкова. Оный же Пашков вошел в согласие с Болотниковым, и пошли вместе к Москве, и сначала город Коломну взяв приступом, разорив, пошли к Москве, и за 50 верст остановились в селе Троицком.

Царь же Василий, слышав сие, собрал сколько было в Москве военных людей и к тому посадских московских, послал против оных воров. Воеводы же, придя к Троицкому, бились с ними долгое время, но вору, имея войска более чем вдвое, государевых людей осилили, и после великого боя едва воеводы отступить смогли. Пашков же и Болотников взятых в плен простых отпускали или к себе принимали, а дворян отсылали в Путимль. После того боя Пашков и Болотников скоро пошли к Москве и стали в селе Коломенском, отняв с той стороны все проходы в Москву и, переезжая за Москву реку, по дорогам в Москву никого не пропускали.

Но поскольку Болотников сказывал о себе, что он был в Сендомире у так называемого царя Дмитрия сам, от которого имени о полной власти над войском имел при себе указ, а Пашкова поставлял посыльным воеводою от Шеховского, по которому хотел иметь над ним

команду, чрез то произошла между ними великая вражда. И Пашков, не желая у одного холопа быть под властью, тайно с царем Василием Иоанновичем в согласие вошел и обещал ему против одного Болотникова помогать, за что ему царь Василий великое награждение обещал.

Прежде, нежели столь великая опасность от Шаховского и Масальского стала видна, получил царь Василий известие, что Астрахань, войдя в согласие с донским вором Петром, изменила, и послал туда боярина Федора Ивановича Шереметьева, Ивана Салтыкова да Ивана Плещеева с войсками, которых астраханцы не допустили. И они, остановясь к острову Балчуге, сделав острог, сидели, в котором не сколько от нападения астраханцев, а более от болезни цинги многое число войска погибло.

Тогда же около Нижнего Новгорода взбунтовалась мордва, а также холопы боярские и крестьяне, побив многих помещиков и выбрав начальников мордвинцов Москова да Вокордина, многие беды делали, а Нижний, держа в осаде, утесняли.

Смоленский архиепископ, слыша про от Пашкова и Болотникова Москве великое утеснение, со слезами прилежно всех просил, чтобы от такой крайней пагубы государство избавили. Потому все шляхетство обещались и, собрав войско, выбрав над собою воеводу Григория Полтева, к которым пристали Вязьма, Дорогобуж и другие многие противящиеся города, принеши царю Василию повинную, придя к Москве, стали у Девичьего монастыря. К ним же пришли от Пашкова рязанцы, а из Москвы вышел с войском боярин князь Михаил Васильевич Шуйский с товарищами и стал у Даниловского монастыря. И в ту ночь все к нему перейдя, поутру на рассвете напали на воров возле села Коломенского, в котором Пашков со всем войском, что еще при нем было, переехал на государеву сторону. А Болотников жестоко противился, но поскольку был уже отовсюду утеснен и большая часть войска его побита была, не могли более противиться, ушел с малым числом людей в Калугу; а других посланные от бояр, догнав в Калужского уезда селе Заборье, после малого сопротивления некоторое количество побив, остальных живых взяв, привезли в Москву; которых на том бою и после разбежавшихся собрано было живых до 3000 человек. Царь же Василий вопреки многих боярских ему просьб и представлений, не рассудив, какая из того беда произойти может, велел без милосердия всех посадить в воду; чрез что в народе немного усмирное и успокоенное недовольство и роптание снова более прежнего возгорелось.

После сего послал он снова к Серпухову брата своего князя Ивана Ивановича Шуйского с товарищами с немалым войском, 2) к Арзамасу на мордву князя Ивана Михайловича Воротынского, 3) к Михайлову князя Ивана Андреевича Хованского, 4) к Калуге князя Никиту Андреевича Хованского, 5) к Веневе князя Андрея Васильевича Хилкова, 6) к Козельску окольного Артемия Васильевича Измайлова. И Воротынский, придя, вскоре Арзамас взяв, пошел к Алексину. А Шуйский, взяв Серпухов, слыша, что Хованского вору утесняют, пришел к Калуге; но тут из-за жестокого осаждающих сопротивления, не учинив ничего, отступили с потерей нескольких людей. После чего царь Василий послал еще к Калуге бояр, князя Федора Ивановича Мстиславского, князя Михаила Васильевича Шуйского и князя Бориса Петровича Татеева. Сии первые, Мстиславский и Шуйский, были оба люди молодые, лет по 20 с малым, и мало еще искусства имея, по совету некоторых безумных людей, придя, хотели сделать гору деревянную близ города и зажечь. Но прежде нежели сделали, не довольно от неприятеля оное охраняли, и Болотников ночью, тайно выйдя, многих при том побил и оное их дело разорил. А потом вскоре пришла с Украины

немалая Болотникову помощь, и бояр отбили. В чем вину положили на неосторожность князя Никиты Хованского, и за то на него, взяв в Москву, положил царь опалу, а на его место послали князя Бориса Михайловича Лыкова. К Михайлову пришли украинцы на помощь и воевод отбили. Он же отступил в Переславль Рязанский. И царь Василий князю Ивану Хованскому велел быть в Москву, а туда послал князя Бориса Михайловича Лыкова да Прокопия Ляпунова.

При Веневе стоял Хилков и за долгое время ничего не сделал, и туда пришла воровская выручка, отбили, и принужден был отступить на Каширу.

В Туле с ворами был князь Андрей Телятевский, против которого послал государь из Алексина Воротынского. И оногo воры, не допустив, разбили, от которых едва смог с остальными назад в Алексин отступить.

Из Путимля и других городов собрался князь Василий Масальский, с которым было, кроме русских изменников, 10 000 запорожских, а всех до 40 000, и пошел к Калуге наотсечь, против которых послали бояре боярина Ивана Никитича Романова да князя Даниила Ивановича Мезецкого. И сошлись на речке Вырке, где бились целые сутки и воров многих побили. На том бою воевода от воров Масальский убит, а Шаховский ушел; и оные бояре возвратились к Калуге.

Князь Григорий Шаховский, Федоров сын, видя, что уже ему люди не весьма верят, потому что за столь долгое время сказыванный им царь Дмитрий не является и по письмам его из Польши никакой желаемой ему помощи не делается, писал на Дон, чтоб казаки с именующимся у них царевичем Петром шли немедленно, обещая им помогать. Оный же немедля собрался, пошел в Русь и первым делом взял город Царев Борисов, воевод Михаила Сабурова да князя Юрия Приимкова побил и, поворотясь к Путимлю, многие города, как царю Василию, так и царю Дмитрию служащие, силою побрал, поскольку и оные Шаховского в том слушать не хотели. В Путимле бояр князя Василия Кандауровича Черкасского, князя Петра Ивановича Буйносова, князя Андрея Бахтеярова, князя Василия Трестенского, Ефима Бутурлина, Алексея Плещеева, князя Григория Долгорукого, Матфея Бутурлина, князя Савву Щербатого, Никиту Измайлова, князя Юрия Приимкова, Михаила Пушкина и других многих взятых в разных городах воевод, которые ему присягать не хотели, побил и князя Андрея Бахтеярова дочь взял к себе в наложницы. В Путимле не долго будучи и приведя к крестному целованию, пошел к Туле, послав перед собою воеводу князя Андрея Телятевского со многим войском к Калуге на выручку. Бояре же, слыша про оных, послали навстречу боярина князя Бориса Петровича Татеева да князя Андрея Черкасского. И сошедшись на речке Пчельне, воры бояр побили, при котором бою то несчастье учинилось, что обоих воевод внезапно убили, и от того многие прежде времени, испугавшись, побежали. Что услышав, при Калуге стоящие бояре, пометав весь снаряд, отступили в Боровск. Тогда же князь Михаил Долгорукий со многими ворами пришел к Козельску, а воевода Артемий Измайлов, выйдя на него, воров многих побил и в плен побрал, а Долгорукий едва сам раненный ушел, Артемий же пошел к Калуге и, уздав, что бояре отступили, забрал весь снаряд и пришел в Мещевск.

Царь Василий, уздав, что оный вор, Петром называющийся, с Дона пошел, немедля, собравшись, пошел сам с войском к Серпухову, а на Каширу послал князя Андрея Васильевича Голицына, с Рязани велел идти князю Борису Михайловичу Лыкову с войсками. Туда же вор Петр, слыша про приход Голицына, послал к Кашире Телятевского; который, получив указ, на следующий день после боя при Пчельне немедленно пошел. И

сошедшись с Голицыным на речке Вязме, бились целый день. И после жестоком боя едва воров одолели и, обступив вокруг, всех порубили, а в полон мало отдалось, только Телятевский ушел с малым числом людей. И Голицын с прочими, поворотясь, пришли к Серпухову. Царь же Василий, взяв Алексин, пошел к Туле, послав перед собою воеводу князя Михаила Васильевича Шуйского, который сошелся с вором Петром на реке Вороне. И тут был бой великий, к которому подоспела Шуйскому помощь. И после многого кровопролития вора сбили, после чего он с великими потерями ушел в Тулу тысячах в десяти. Но царь Василий, приспев, тотчас оный град осадил, чтоб никого не выпустить. Но чтобы и в других местах воров смирить и выручки ему не допустить, послал к Козельску князя Василия Федоровича Масальского, к Белеву и Болхову князя Третьяка Сеитова. И Сеитов оные города, Белев, Лихвин и Болхов, очистил. Масальский же стал между Козельском и Мещевском, пресекая вора с калужанами соединение. Но под Калугою тогда князи Петр да Александр Урусовы изменили и ушли к ворам со многими татарами.

Между тем когда оные вору из Путимя вышли, князь Василий Масальский, озлобясь пресильно за побиение столь многих знатных воевод русских и видя во оном воре великое свирепство, не желая оного Петра более и царя Василия слушать, подослал вора в Стародуб, которые, придя в сентябре месяце вдвоем, сказались, якобы от царя Дмитрия присланы были. Один назвался Андреем Андреевым, сыном Нагой, братом двоюродным царю Дмитрию, а другой подьячим московским Василием Русиним, и просили, чтоб стародубцы за него, царя Дмитрия, вступились, обещая им за то великую от него милость. И стародубцы приняли их с великою радостью. Но когда стали спрашивать, где оный царь Дмитрий и какое они на то уверение имеют, то они, не зная, что сказать, молчали. Воевода же, видя, что только возмущение, велел их немедленно пытаться. И сначала подняли подьячего, то он сказал: «Сей называется царем Дмитрием». После чего и тот, который назывался Нагим, сказал о себе, якобы он подлинно есть царь Дмитрий. Потому стародубцы его приняли и, целовав ему крест, послали от имени его во все близ лежащие города грамоты, по которым Путивль, Чернигов, Новгородок и другие к нему пристали. Оный же вор послал от себя с грамотою к царю Василию сына боярского и велел ему при Туле войско возмутить. После прибытия оного многие бояре стали царю Василию говорить, чтоб сего посланного отпустить с письмом, объявив довольное обличение, что и первый бывший в Москве не был царевич Дмитрий, но беглый чернец Григорий Отрепьев, в чем как его родная мать, так и царица, мать царевича, его обличили; и он сам в том пред всем народом вину свою признал, и потом в присутствии всех людей убит, о чем многие тысячи свидетельствовать могут, так как пред очами всех спрошен был, убит и для пресечения сомнительства три дня на площади лежал, которому снова быть уже невозможно, и чтоб сим его в страх, а людей, верящих ему, в рассуждение привести. Но царь Василий, не послушав сего совета, велел его жестоко пытаться, который, на том стоя, что то подлинно царь Дмитрий, на пытке умер. Петр, называющий себя царевичем, сидя в Туле взаперти, мужественно противился и несколько раз покушаясь, выйдя, хотел пробиться, только его не пропустили. Однако ж он с письмами в Путимя одного человека тайно прислал. И хотя Дмитрий хотел было ему ради себя помощь учинить, да возможности не было.

Царь Василий, стоя при Туле и видя великую нужду, что уже время осеннее было, не знал, что делать. Оставить был ему великий страх, стоять долго боялся, чтоб войско не привести в досаду и смятение, силою брать больший был страх людей потерять. Но в то время явился один муромский дворянин Фома Кравков, просил у него людей работных

довольного числа, чтоб ему сделать на реке плотину и город весь затопить, чрез что обещал ему сей город в один день достать без всякого кровопролития. Сему сначала как царь, так и некоторые бояре посмеялись, но многие, рассмотрев обстоятельства, приняли за добрый совет. И немедля отрядив людей, сколько потребно было, 20 октября велели тотчас леса возить, землю копать и прочее со всякою прилежностью строить на месте, которое было всех уже и берега выше. Дня 26 завершилась сия работа, и ночью отведя все полки, которые на низких местах стояли, 27 в ночь заперли ту плотину, чрез что к утру так наполнилось, что люди принуждены были бежать на кровли. И видя, что вода прибывает, думали, что и на кровлях все потонут, тотчас прислали просить милосердия, чтоб их приняли. Потому, сначала взяв из города оного вора Илью, называющегося царевичем Петром, и князя Петра Федорова сына Шеховского, зачинщика всего того обмана, а также Болотникова, да атамана донского Нагибу, тотчас послали в Москву, а прочих изменников частью, наказав, отпускали, частью в ссылки разослали, а иных, поскольку невинных, освободили. И оставив войско некоторое для охранения, царь Василий пошел в Москву. От Тулы посланы были воеводы и взяли Дединов, Крапивну и Епифань.

Царь Василий, придя в Москву, вора, называющегося царевичем, велел повесить на высокой виселице. Прочих же воров, Шаховского, Болотникова и Нагибу, разослали по тюрьмам в города и там их казнили. Сии проклятые хотя сами душою и телом надлежащую казнь приняли, однако ж тем обманом такую беду и разорение государству навели, что и после смерти их через 20 лет едва оное пламя утушить могли.

Сей же осенью в ноябре царь Василий Иоаннович сочетался законным браком, взял Марию, дочь князя Петра Ивановича Буйносова-Ростовского.

Вор, именующий себя царем Дмитрием, подлинное имя которого весьма неведомо, в Степенной книге называют его Андроном, Петреус, шведский тогда посланник, сказывает, якобы он из польского местечка Соколова учитель грамоте Иоанн, иные называют его немчином, и так, видится, немецкое имя Гендрик переложено в Андронни-ка, но сие оставим. Оный, собравшись с несколькими людьми, из Путивля пошел к Брянску. Но царь Василий, будучи еще при Туле, послал указ, велел из Мещевска воеводе Григорию Сунбулуву послать про него проводывать и на его поступки взирать, потому он Елизария Безобразова с 250 человек отправил. Сей пришел в самое то время к Брянску, как брянчане едва не все вышли за город встречать того вора. Безобразов же, видя, что ему города держать не с кем и на людей градских надеяться нельзя, умыслил для пресечения оному вору в его намерении и для страха другим оный город совсем сжег и возвратился в Мещевск. Вор же, видя оное, отступил в Трубчеськ, о чем известясь, государь послал от Тулы воевод князя Михаила Федоровича Кашина да Андрея Никитича Ржевского. И оные, придя во Брянск, вскоре оный укрепили.

Между тем поляки, видя в России такое междоусобие, а у себя некоторую тишину, намеривались их воевод, в России содержащихся в неволе, освободить и за кровь побитых их свойственников отметить. Особенно же бывшие в конфедерации рокошан, как люди беспокойные, дома были ненадобны, и чтоб им вместо польских денег в России искать заслуженного жалованья, многие стали прибирать себе войска. Между прочими Адам Вишневецкий, Роман Ружинский и другие многие знатные, но недовольные поляки собрали до 60 000 человек поляков и сначала послали полковника Лисовского с 6000 поляков да 8000 запорожцев, которые в ту же осень, придя, совокупясь с вором, осадили Брянск. Отчего в Брянске учинился великий голод, поскольку воеводы, не ожидая никакой осады, запасов

не готовили.

Слышали на Дону, что называющегося царевичем и атамана их повесили; что сыскали некого беглеца, который назывался царевичем Федором, сыном царя Федора Иоанновича, а Дмитрию племянником, и собрав немало людей, пришел к вору кромскому при Брянске. Но так как оно не тяжело было обличить, то его кромский вор убил.

Царь Василий, уведав, что Брянск осажен, послал на помощь осажденным князя Ивана Семеновича Куракина с войском, а из Мещевска велел идти князю Василию Федоровичу Масальскому. Масальский же, получив указ, немедля с 6000-ю пошел, не дожидаясь Куракина. И разведав о воровских людях, что стоят по одну сторону Десны на дороге, многих воровских посланных за сборами запасов побил и побрал и, придя, стал против Брянска через реку декабря 15 числа. И хотя он хотел в ту же ночь через Десну в город переправиться, но, видя на реке великой лед идущий, а судов никаких не было, принужден удержаться. В городе же, видя оную его смелость, а к помощи хотя крайнюю невозможность и свое последнее к обороне изнеможение, переслали к нему сказать, что они видят у себя великий голод, а на помощь ниоткуда не надеются, и из-за того они намерены сами, как возможно, к нему перебраться, а город отдать. Но Масальский, сказав им, чтоб они не думали, якобы у Бога более способов к показанию милости не найдется, но только б ждали до завтра, а он, сколько возможно, об избавлении их будет стараться. И отпустив оных, велел всему войску готовиться совсем в поход, а куда, никому не сказал, чтобы нечаянным случаем ворами кто известия не подал. И потому все вздумали, что он хочет бежать. К вечеру же, отступя с того места версты с полторы, что неприятелям было видно, и в городе учинилась печаль от неведения, Масальский на сем новом стану велел разложить великие огни. И когда довольно темно стало, то он тотчас, сев на коней, пошел к Брянску и, придя к реке, сказал: «Кто хочет за веру и отечество жизнь положить, а честь сохранить, тот за мной следуй». Выбрав же двух голов добрых и надежных, сказал, чтоб стали назади, и ежели кто не похочет за ним идти, тех бы тут умертвили. Сам на лошади, въехав в реку, поплыл между льдом через реку, и за ним все последовали в великой тихости, никто не смел слова молвить. И перейдя реку, совокупясь со брянчанами, неожиданно на поляков напал и оных, а также и запорожцев, едва не всех побил. Прочие же, оставив обозы, побежали и осаду оставили, и там сочтено более 5000 тел, кроме раненых, полоненных и в реке утонувших. После очищения онога на следующий день пришел и Куракин, но поскольку в ту ночь после перехода Масальского лед на реке стал и переправиться было невозможно, вор, уведав, что Куракин пришел и через реку перейти не может, рассудив, что он будет без остережения, тотчас на судах перешел со всем остальным войском и пришел на Куракина на самой заре. Он же, сколько можно устроившись, с ним бился, закрыв себя обозом, и после великого боя едва отбил. Оный же вор, видя, что более учинить уже невозможно, пошел к Орлу, а Куракин, оставив запасы в Брянске, отступил в Карачев.

Король шведский Карл IX, слышав про такое великое поляков на Россию собрание и опасаясь, чтоб они, усилившись, его государству тягости не нанесли, что легко статья могло, поскольку и прежнее вспоможение Расстриге в том же намерении от Сигизмунда короля польского было, что Лифляндию и Финляндию у шведов отнять, для того послал к царю Василию посланника Петреуса, которого история часто здесь упоминается, велел ему представить опасности российские и обещать несколько тысяч войска в помощь по приятельству соседскому. Но Шуйский, опасаясь, чтоб от них в вере какой соблазн не родился или чтоб, придя в гости, хозяев из места не высадили, а кроме того не веря, чтоб

поляки при учиненном мире сильное какое нападение учинили, воров же уничтожая, оному присланному, поблагодарив, отказал.

1608. Вор оный пошел в Орел, где его с честью приняли, и тут он зимовал, где к нему прибыл из Польши гетман Ружинский с рокошанами. Он же, стоя в Орле, посылал от себя по всем городам грамоты с великими обещаниями милостей, между прочим всем крестьянам и холопам прежнюю вольность, которую у них царь Борис отнял, и тем, почитай, весь простой народ к себе привлек. И через то во всех городах снова казаков из холопов и крестьян размножилось, и в каждом городе поделали своих атаманов.

Царь Василий послал в Болхов воевод брата своего князя Дмитрия Ивановича Шуйского с товарищами и с ним войска с 60 000 человек, где оный зимовал, а весною пошел к Орлу. Но вору, встретив его на дороге, после великого боя с великою потерей принудили отступить, и ежели б не было мужеством Куракина выручен, то б окончательно совсем разбили. На сем бою ротмистр с немецкими людьми со всеми побит. А причина оному несчастью, что Шуйский шел неосторожно, оставив другие полки назад и по сторонам не слизко, не ведая, что перед ним делается, как слепой на неприятеля набрел.

Поляки хотя немало своих людей на том бою потеряли, но, ведая Шуйского беспорядок, на следующий день, мая 10 дня, снова приблизились. Бояре же, желая порядком отступить, сделали вид к бою, а обозы и снаряд отпустили. И поляки, видя их крепко конницею и пехотою стоящих, долго не осмеливались ничего делать. Но тогда же, изменив, вор каширенин Микита Лихорев сказал полякам, что многие в войске биться не хотят и бегут назад. Потому поляки, жестоко наступив, войско принудили отступить на сторону, поскольку обозы через реку переправлялись и назад отступить было невозможно; и поляки, оставив их, весь обоз и снаряд взяли, а бояре с великим уроном порознь отступили. После чего, придя, вор Болхов взял, в котором сидело 3000 человек военных, и оные ему крест целовали. Однако ж многие потом ушли в Москву.

Царь Василий, видя сие несчастье, послал с полками племянника своего князя Михаила Васильевича Шуйского да Ивана Никитича Романова, которые пришли на реку Незнань, а вор пошел другою дорогою к Москве. И хотя оный Шуйский был человек молодой, но рассудил было вполне, чтоб пойти самим к Москве и на дороге, внезапно поворотив, несколько легких людей отправить перед неприятелем, а самому со всем войском с тыла нападение неожиданное на стан учинить. Однако ж учинилось в полках великое смятение, что князь Иван Катырев, князь Юрий Трубецкой, князь Иван Троекуров в согласие пришли с немалым войском к вору отъехать. О чем сей Шуйский узнал и тогда тайно их переловил и сослал в Москву, что в войске лишь на третий день, уже когда пришли близ Москвы, сведали. Царь Василий же после довольного расследования и обличения оных трех князей в ссылку разослал по разным городам, а собеседников их и возмутителей Якова Желябовского, Якова Иовлева Григорьева сына Полтева и других нескольких казнили в Москве на площади.

Между тем оный вор, придя и переправясь через Москву реку в Глухове, стал в Тушине, где его Шуйский с войском встретил и через реку Химку после многократных боев не пропустил. Он же обошел позади реки оной вокруг на Дмитровку и прошел к Троицкой дороге, стал в селе Танинском, имея намерение идти к Троице. Но поскольку ему там со всех сторон привозы запасов отняли, и стоя на чистом месте отовсюду опасности ожидал, того ради поворотился снова в Тушино. И хотя во всю дорогу русские, кругом нападая, обозы отбивали и мало на сторону отлучившихся убивали и в полон брали, однако ж он, придя в

Тушино, сделал вокруг себя окоп, захватив великое место, который и до сих пор виден. А бояре стали на Ходынке.

Поляки, видя себе надежду невеликую, а еще более опасаясь, чтоб зимы не дожидаться, умыслили коварством напасти делать. Ружинский, как гетман польский, прислал от себя в Москву к царю Василию просить, чтоб отпустил польских послов и Георгия Мнишека, а также и прочих поляков. Но царь Василий сказал: «Ежели Ружинский имеет от короля или Речи Посполитой грамоты, то он велит с ним договариваться, ежели ж не имеет, то он его за честного поляка не признает и договариваться не может». Однако ж тех присланных от него поляков отпустил с честью. Оные же присланные, возвращаясь в Тушино чрез обоз русский, что великою неосторожностью учинено, и быв в полках, всем сказывали, якобы они с царем Василием мир учинили, и польские войска на следующее же утро прочь пойдут, чем людей в великую слабость привели, что многие стали пить и веселиться и так изрядно содержанные караулы и осторожности все оставили. Сие те присланные, придя, Ружинскому сказали. Ружинский же, тотчас собрав все свое войско, той же ночью против 28 июня напал неожиданно на обоз, все войско стоящее разбил, воеводу князя Василия Федоровича Масальского в полон взял и гнал до самой Москвы. Бояре же, прибежав к Москве под стену, собрались снова, сами на воров напали и гнали их за Ходынку, где отбив свой брошенный и уже разграбленный обоз, в котором множество пьяных поляков и воров побили, на оном месте ночевали. В сем случае помощь учинили взятые в Болхове с 4000 человек, которые, отступив от поляков, на них напали и бояр снова к нападению на поляков поворотили. Однако ж, видя что оное место им не безопасно, на следующий день отступили на Пресню со всем обозом и сделали окоп, который частью ныне еще виден.

Полковник Лисовский, отделясь еще идя к Москве, Зарайск взял и хотел идти на Рязань. Но на Рязани, собрав войско, послали Захария Липунова к Зарайску, который, сошедшись с Лисовским, после жестокого боя, с триста человек потеряв, принужден был отступить. А Лисовский, хотя вдвое больше войска имел, не меньше Липунова потерял и потом, придя к Коломне, город взял и, воеводу князя Владимира Долгорукого взяв в плен, пошел к Москве. Против него из Москвы послали князя Ивана Семеновича Куракина да князя Бориса Михайловича Лыкова. И сошедшись на Москве реке у Медвежьего брода, Лисовского со всем побили и снаряд со всем обозом взяли, а князя Владимира Долгорукого выручили. Лисовский оттуда ушел, бояре же, взяв снова Коломну, оставили воевод Ивана Матфеевича Бутурлина да Семена Глебова.

В Москве же бывшим тогда царем Василием большая часть были недовольны, и на царстве его иметь многие не хотели: Тушинского же вора, не зная, кто он, также пуще опасались, чтоб от такого хищника большей беды, нежели от Расстриги, не нажить; вновь выбирать из-за силы польской и междоусобного несогласия весьма было неудобно, да хотя б из бояр кого ни выбрать, то другой, быв ему равным, вознегодует, не только сам слушать и почитать не захочет, но и других на то возмутит. И рассудили, что наилучше выбрать чужестранного государя, который бы силу имел все внутренние беспокойства пресечь, воров смирить, чужестранные войска вывести и все государство в доброе состояние приведет. Видя же, что король польский имеет двух сынов, и ведая, что младший сын Владислав хотя был еще молод, однако ж острого ума и мужествен по виду, к тому же язык русский ему не труден, о чем тайно говоря с послом Польским Гоншевским, согласились и положили, чтоб он таил до времени, а они будут стараться его в Польшу отпустить. После чего вскоре стали царю Василию представлять, что ему никакой пользы в том удержании послов нет, только

что короля и знатных поляков в большей злобе укореняет, а ежели отпустит, а особенно ныне без всякой просьбы, то, конечно, они могут исходатайствовать полезный договор. Государь же, не ведая такого над ним умысла лукавого, легко на то склонился; и все советовали, кроме князя Михаила Васильевича Шуйского, который не в согласии с этим был, но его, как человека молодого, не слушали, а Куракин был в полках и не ведал. И после заключения того немедленно царь Василий тех послов, насколько возможно в Москве удовлетворив, отпустил и велел князю Владимиру Долгорукому с 500 человеками, зайдя в Ярославль, взяв Георгия Мнишека с дочерью, проводить их с честью до польской границы. В Тушине же уведал оное гетман Ружинский и рассудил, что им в обозе для большего укрепления русских надобно вдову Расстригину иметь, послали на перехват князя Василия Масальского с 2000 конницы и велели ему, ежели охотою не поедет, силою взять. И Масальский, догнав их в Бельском уезде, Мнишека и с дочерью, уверив, что подлинно тот Дмитрий, с которым она венчалась, поворотил и привез их в Тушино. А послы, не послушав Масальского, поехали в Польшу. Долгорукий же поворотился в Москву один, а войско все разъехалось по домам.

Сей Мнишек принят в Тушино с презрительною честью и немалою встречею. Но увидев оного вора, как Мнишек и дочь его, так все бывшие при них без стыда сказали, что он не тот Дмитрий, который с нею в Москве венчался. И сие было привело в великое смятение, а особенно русских, и стали особым обозом, не желая с ним никакого соединения иметь. Масальский же, уйдя из полону в Москву, обстоятельно сказал, через что люди в Москве весьма ободрились. Да Ружинский, видя из того великую опасность, не стыдясь, Мнишеку с дочерью сказал, чтоб она его мужем признала. Ныне Мнишек возмездие узнал, что как он страхом других принудил первого, его принудили сего другого вора царем Дмитрием именовать, и хотя не сердцем, да устами против своей совести так, как люди хотят, почитать. И договорились на том, что дочери его с ним жить в одних хоромах, но в отдельной светлице и прежде вступления совершенного на престол ее не касаться и ни к чему не принуждать. Особенно же Мнишек рассудил, что если он сим способом того вора на престол посадит, то оскорбителям своим российским боярам обиду отметит и сам с великою честью в Польшу возвратиться может. И в той надежде сие притворство учинил, что с великою честью оного вора с пролитием слез и целованием пред всеми людьми принял и дочь свою к нему в хоромы перевез. И сие явное соединение немалою пользу сему вору учинило, ибо многие города, которые были ему противниками, стали с повинною присылать, из чего всего царь Василий узнал, что племянник его хотя и молод, да правильно говорил.

Вышеобъявленной договор хотя с обеих сторон клятвою был утвержден, однако ж природе хитрость принуждена была уступить, ибо как огню с соломою, соли с водою весьма опасно близко лежать, так и здесь. Вскоре та же опасность явилась, что по согласию обеих сторон тайно венчались и вскоре начали говорить об ожидании ребенка. Что еще более людей к нему стало склонять, и с каждым часом все больше от города и войска, от царя Василия отставая, к нему приходили. И уже весьма мало городов в послушании царском осталось, чрез что войска в Москве очень умалилось и на помощь ниоткуда уже не надеялись. Того ради, вспомнив обещание шведского короля, царь Василий послал в Новгород племянника своего князя Михаила Васильевича Шуйского и с ним Семена Головина, велел там войско собирать и к тому от шведского короля нанять сколько возможно; которые, взяв малое число людей, на Ярославль проехали. Тогда же в Тушино пришел из Литвы полковник Сапега с войском, который, взяв в Тушине в прибавку к своим поляков и русских воров, пришел к Пресне на боярский обоз. Бояре же, выступив в поле, бились три часа и поляков с великим уроном отбили и гнали до Ходынки. После того вскоре уведал Сапега, что в Троицком монастыре великое богатство, и пошел туда. А царь Василий, уведав, послал за ним брата своего князя Ивана с товарищами, которые сошлись в деревне Рохманцове. И был бой великий, в котором поляки далеко уже уступили и стали бежать, но русские ради сбора наживы расстроили ряды свои. Что Сапега усмотрев, вскоре опять построясь, жестоко напал, и сначала сторожевого полка воевода Головин дрогнул, а потом и прочие побежали. На сем бою убит князь Андрей Григорьевич Ромодановский, прочие же половина возвратились в Москву. Тогда царь Василий более начал осаду укреплять, объявив, ежели кто не хочет ему служить, тот бы ехал вон. И хотя ему тогда все крест целовали, да вскоре как из города, так из обоза стали в Тушино отъезжать, от чего учинилось такое смятение, что брат на брата, сын на отца воевал.

Сапега, после разбития Шуйского осадив монастырь, сильно приступал, но из-за мужества храбро обороняющегося воеводы князя Григория Борисовича Долгорукого ничего

учинить не мог, а кроме того своих людей напрасно терял. И стоя тут, послал людей своих по городам деньги и запасы собирать. В чем суздальцы сначала отказали и хотели, укрепясь, сидеть, но Меньшик Шилов с товарищами, всех людей возмутив, вору целовав крест, к Сапеге послали, и он прислал к ним от себя воеводу Федора Плещеева.

Переславцы не только по его воле исполнили, но и других стали к тому неволею принуждать, поскольку услышали, что ростовцы и ярославцы верно служить царю Василию обещались и присланных из Переславля не послушали, совокупясь с поляками, пошли к Ростову, над которыми был от Сапегы определенный воевода Матфей Плещеев. Ростовцы же стали митрополита Филарета звать, чтобы с ними в Ярославль пошел. Но он им в том, как противном учиненному своему обещанию, отказал. И хотя многие ростовцы с митрополитом укрепиться согласились, однако ж переславцев было числом больше нежели втрое, и из-за того многие ростовцы ушли в Ярославль, а другие с митрополитом пошли в церковь. И переславцы, придя, многих в Ростове побили и, дома разграбив, пришли к церкви и хотели зажечь. Но митрополит, думая, что они, его сана устыдясь, от злости своей отстанут, отворил им двери, а сам стал пред святым алтарем. Но переславцы, презрев святость храма, войдя, взяли архиерея и, сняв с него с великим руганием священные одежды, одели в худое платье и послали в Тушино. Прочих же побив и ограбив, пошел оный Плещеев к Ярославлю, где также многое разорение учинил и неволею к крестному целованию приводил. А Лисовский тогда же взял Шую приступом, потом и Кинешму, где побив многих людей, возвратился в Суздаль. Через сие все прочие русские города вору присягали, только держались в верности Новгород Великий, Сибирь, Смоленск. Рязань с пригородами, Коломна и Нижний в осаде от черемис сидели.

С Каширы изменники и поляки с вождем их Хмелевским пошли под Коломну. О чем царь Василий уздав, послал на выручку воевод князя Семена Васильевича Прозоровского да Василия Борисовича Сукина с войском, и они Хмелевского при Коломне совсем побили. А также из Владимира пошли было воры к Коломне, но князь Дмитрий Михайлович Пожарский, встретив их в селе Высоцком, всех побил и обоз взял.

Князь Михаил Васильевич Шуйский Скопин пришел в Новгород, где был воевода окольный Михаил Игнатьевич Татищев, и по указу царскому начал войско собирать. А в Швецию к королю просить войска в наем 10 000 человек послал Скопин шурина своего Семена Васильевича Головина. Который, прибыв туда, после многих договоров получил от короля обещание дать 5000 человек конницы и пехоты, которым каждый месяц платить 2000 рублей и после пришествия оных войск, и притом царю Василию от права своего и домогательств на Лифляндию отречься. И сие февраля 28 1609-го в Выборге с обеих сторон от комиссаров подписано, и сей договор в рассуждении Шафирова о войне шведской точно внесен. Шуйский после пришествия своего послал по всем городам грамоты. И по оным первые псковичи не послушали и ему отказали, а присягали вору. Сие услышав, боярин Шуйский и Татищев, опасаясь от новгородцев такой же измены, рассудили уехать в Ивангород. И приехав близ города, уведали, что воевода тамошний с городом изменил, и потому они поехали к Орешку (Слюсенбургу, Шлиссенбургу), и тут от них ушли Андрей Колычев да Нелюб Огарев. В Орешке же тогда был воевода Михаил Салтыков и, услышав про их приезд, в город их пускать не велел, чрез что они пришли в великую печаль и недоумение, не знали, куда ехать и что делать. После отъезда же их в Новгороде митрополит Исидор, услышав про отъезд Шуйского и воеводы, с которым очень дружно жил, призвав к себе знатнейших людей новгородских, стал уговаривать и просить, чтобы они верность свою

государю и государству показали, а целованьем креста вору себя и своих детей в великий страх и разорение не вдавали; которые после многих его просьб хотя склонились, однако ж представляли ему, чтоб он весь народ просил. Он же, созвав народ в церковь, после многого представления всех новгородцев со слезами просил, на что все единодушно обещались и в тот же день искать Шуйского и звать назад послали со всех концов знатных людей. И сии ехали по пути за Шуйским, выспрашивая. И приехали к ним при Орешке в самый тот горестный их час, что Шуйского с товарищами весьма обрадовало, и с великою радостью возвратились. Новгородцы же, приняв их с честною встречею, клятвою и крестным целованием всенародно уверив, по крайней возможности во всем воспомогали и войско собирали.

Сие уведали в Тушине, послали полковника Карнозицкого с поляками и русскими ворами к Новгороду, чтоб новгородцев принудить вору крест целовать. И оный уже был близ Бронниц, на которого воевода Татищев с воли Скопина собрался идти с войском, чтоб близко к городу не допустить. Но тогда некий враг его, придя тайно к Шуйскому, сказал, якобы Татищев хочет изменить. Шуйский же, не рассмотрев обстоятельств и не спросив самого Татищева, вышел к народу и сказал, отчего народ тотчас, возмутясь, Татищева убили, заколол один ножом. Однако ж осмотрясь и видя, что затеяно было, на следующий день погребли его с честью в Антоньевом монастыре. А между тем Карнозицкий, придя, стал на Хутины и многие пакости, посылая, делал. Новгородцы же, собравшись, стали на Грузине, что Карнозицкий уздав, пошел назад немедля.

Нижний Новгород долгое время утесняем был от мордвы, черемисы и холопов, к которым из Тушина в прибавок пришел князь Семен Вяземский, и учинили те городу крайнюю тесноту. Нижегородцы же положив последнее намерение или наконец город очистив остаться в покое, или совсем пропасть, собрались сколько к бою способных людей было, человек тысячи с три, выйдя за город, на воров оных жестоко напали. Которые хотя из-за великого их множества сначала оборонялись, но вскоре многие побежали, а нижегородцы, догоняя, побивали. И так оных более 5000 побили. Воеводу же князя Вяземского взяв в полон, не отписываясь в Москву, в Нижнем на площади, а других несколько около города повесили.

Царь Василий, видя, что Шереметьев с войском у Астрахани напрасно стоит, послал к нему, чтоб он как возможно к Москве поспешил. И оный, получив указ, острог на Балчуге оставив, пошел к Москве и, идучи, многие понизовые города очистил и под власть государеву снова привел. О чем нижегородцы услышав, пошли к Болохне и оный город взяли.

Сие уздав, по деревням помещики и сами крестьяне без всякого указа, видя крайнее от воров и поляков государству разорение, во многих местах собравшись человек по 100 и более, поляков и бунтовщиков побивали. Между многими такими заводчики знатнейшие: в Юрьевце сытник Федор Красный, в Решме крестьянин Григорий Лапша, на Болохне посадский Иван Кувшинников, в Гороховце Федор Ногавицын, в Холуе Илия Деньгин и пр., собравшись со множеством крестьян, при городе Луге поляков побили, а дворян, которых взяли, сослали в Нижний и пошли к Шуе, о чем Лисовский уздав, послал против них Федора Плещеева. И сошедшись в селе Данилове, после великого боя крестьяне воров тех и поляков побили и обоз взяли, а Плещеев ушел с малым числом людей в Суздаль. Тогда же Вологда, Устюг Великий и все Поморье, обратясь к государю, поляков и воров всех побили. Потом Лисовский, собравшись со многолюдством, пришел к Данилову, где Федор сытник с

товарищами стоял без осторожности, неожиданно на них напал, многих крестьян побил, а больше разбежались по лесам.

Тогда в Москве от часу злоба и ненависть на царя Василия возрастала, а особенно что в запасах всяких и харче было великое оскудение. И надеясь на оговоренное, с польским послом Гоншевским войдя в согласие, некоторые с тушинскими ворами умыслили царя Василия ссадить. Из-за чего князь Роман Гагарин, Григорий Сунбулов, Тимофей Грязной со многими людьми, придя во дворец, начали боярам говорить, чтоб царя Василия с престола ссадили. Но бояре, довольно в ответ рассуждая, отказали. Они же, не послушав бояр, взяв патриарха и царя, вывели на лобное место. В чем один только князь Василий Васильевич Голицын из всех бояр с ними в согласии был, отчего все то тайно происходило. Прочие же сильно спорили и, сколько возможно, пред ними стоящему народу за тяжкий грех и крайнее бедствие толковали. Потому народ снова успокоился, и, оставив в прежнем быть состоянии, разошлись по домам. Но возмутители в ту же ночь, собравшись человек с 300, отъехали в Тушино и сказали про все внутри Москвы великие недостатки. Потому послали из Тушина к Коломне полковника Млицкого, чтоб от Коломны провоз запасов в Москву отнять. В Коломне же воеводы поссорились, и Колычев писал на главного своего воеводу Бутурлина к царю Василию, якобы он изменить хочет. Царь Василий же, взяв одного Бутурлина в Москву, казнил. Но поскольку такими способами привозы запасов с каждым часом уменьшались и заготовленные оскудевали, то учинился великий голод, ибо рожь покупали четверть по семь рублей, что убогим людям весьма было уже несносно. Чрез что смятение более умножилось и едва старанием бояр и даянием убогим милостыни, на что многие знатные все имения свои истощали, народ в верности государю удержали. Наиболее же великую помощь в том подали ушедшие из Тушина ротмистр Мизинов да князь Роман Гагарин, которые всенародно государю вину свою принесли и сказали, что в Тушине не царь Дмитрий, но вор самозванец, которого поляки только для разорения российского, а своего обогащения, держат, и в войске про то как поляки, так русские все знают, и сим народ мутящейся в Москве совершенно успокоили.

Тогда же пришел в Тушино из Польши еще полковник Бобовский с войсками и, соединясь с тушинскими, пришел под Москву и хотел, слободы пожгя, стать на Пресне. Воеводы же вышли из города против оных и после жестокого боя поляков и бунтовщиков сбили и гнали, побивая, до самого Тушинского окопа. Но тогда воры остальные, выйдя из окопа, оных выручили, а бояре со всем войском возвратились в Москву со многим полоном. Вскоре потом получили от Шереметьева известие, что он идет с низовым войском. И государь товарища его Ивана Салтыкова, опасаясь измены, взял в Москву.

В Астрахани явились еще три самозванца: 1) назвался Августом, сыном царя Иоанна Васильевича, 2) Осиновик, якобы он сын царевича Иоанна Иоанновича, 3) Лавр, якобы сын царя Федора Иоанновича, к которым пристали казаки астраханцы и многие низовые города. Совокупясь, все трое пошли к Москве, но, идучи по Волге, между собою поссорились, один другого вором и самозванцем обличал. И Август по согласию с Лавром Осиновика на Волге повесили и, придя к Тушину, с вором сообщениями обменялись. Он же, приняв их и обличив, обоих, Августа и Лаврентия, повесил. И так сии воры достойный своему воровству престол высокий достали, а пришедшие с ними многие разбежались, другие же целовали крест вору тушинскому.

В Новгород пришел из Швеции Семен Головин, да с ним шведский генерал Яков Понтус Делагарди, да генерал-майор Ебергард (Эверт, Эдуард) Горн с войском. И тут, подтвердив

договоры, князь Скопин Шуйский тотчас Горна со шведами и русскими отправил наперед. И оный, придя, Старую Русу очистил и, приведши к кресту, пошел к Торопцу. На пути же, сошедшись с поляками в селе Каменках, шедших против него поляков побил и Торопец взял, где оставив воеводу Федора Чулкова, пошел на стоящих в том же уезде при монастыре Холховице поляков и оных сбил и разогнал. К Торжку послал Шуйский наперед Гаврила Чулкова со многими новгородцами. И оный, после невеликого сопротивления Торжок взяв, укрепился. Во Твери же поляки, уведав оное, послали к Торжку войско, а Шуйский, получив известие, послал в помощь к Чулкову Семена Головина, а также и Горну велел туда наспех идти. И оные пришли с поляками к Торжку в один день, и при нем учинился первый со шведами великий бой. И поляки шведов уже смяли, но из города Чулков вышел со всеми людьми в помощь, а Головин с поля подоспел, и поляков с великим уроном отбили, после чего они отступили во Тверь. Вскоре потом и сам князь Шуйский с Делагарди прибыли к Торжку, где отдохнув немного, пошли к Твери и, не доходя за 10 верст, переправились через Волгу. Поляки же, выйдя из Твери, в 15 000 человек жестоко на Делагарди напали. И хотя тогда еще войска русские перебраться не успели, поскольку пошли на другое место выше, к тому ж был великий дождь, однако ж шведы устояли. Только воры, увидев шведский обоз на другой стороне Волги, переплыв, многий вред сделали и едва весь обоз не отбили. Сие шведы хотя сами видели, что от воров на обоз их нападение учинено, но сначала поставляли, якобы Шуйский нарочно, не оставив никого в защите, со всем войском на другой перевоз пошел. Шуйский же, сошедшись в тот же день с Делагарди и дождавшись остальных войск, на третий день пошел к Твери и в тот же день острог взял, в котором многих поляков и воров побили, остальные же ушли в земляной город, который шведы хотели доставать. Но Шуйский, опасаясь, чтоб на таких приступах людей напрасно не растерять и города не разорить, ведая, что ежели в поле неприятеля побьет, то город без труда снова получит, на оное им не соизволил и пошел прочь к Городне. Шведы же, осердясь, стали просить, чтоб он им за разграбленный их обоз заплатил. А Шуйский отговаривался, что то от неприятеля учинено, и ежели они у поляков или русских изменников обоз возьмут, то он им грабить оный не воспретит. Однако ж шведы поворотились назад и пошли к Новгороду. Скопин же, придя в Городню и видя, что возвращение оных шведов не только надежды лишает, но и большой страх наносит, ибо многие новгородцы стали опасаться, чтоб он в Новгороде не засел, послал Головина их уговаривать и обещал оный их в обозе учинившейся убыток по пришествии в Москву наградить. А между тем для безопасности, переправясь за Волгу, в Городню придя, в Колязине монастырь стал, после чего и шведы, поворотясь с Крестец, его догнали. И в Калязине укрепившись, послал в Москву Близария Безобразова со станицею царю Василию возвестить. А по городам послал указы, чтобы войско к нему, а также деньги и припасы высылали, потому немедленно со многих городов стали войска с деньгами и припасами к Шуйскому приезжать. А царь Василий, приняв присланных от Шуйского с великою радостью и пожаловав их, послал Григория Волуева со станицею к Шуйскому.

Между тем большая туча и грозная буря к беде российской явилась. Ибо тогда многие сенаторы польские и войск начальники после утишения конфедерации рокошанской, которые большей частью в Россию для разорения в помощь к Тушинскому вору перешли, стали королю Сигизмунду сильно наговаривать, чтоб во время такого смятения в России пользы своей искать и по меньшей мере потерянные в прежних войнах города и земли возвратить. И хотя некоторые спорили, представляя, что оная война несправедливая, против учиненного чрез Льва Сапегу с царем Борисом мира, и что удержание польских послов не

есть правильная войне причина, поскольку оные посланы были к Дмитрию, о чем еще никакую подлинностию уверены не были; к тому же надобно сильное войско иметь не только против царя Василия, но и против именуемого Дмитрием, которому как людей, так и денег не достает, и обои от Речи Посполитой требоваться не могут, чтобы чрез то новых беспокойств внутри Польши не возжечь. И насколько сие мнение основательнее и безопаснее, настолько супротивящихся оному, войны желающих, противное приятнее явилось. Которых доводы состояли в том: русские мир сами нарушили пролитием крови побитых в Москве поляков с Дмитрием или кто он ни был, к которому послы польские не прежде посланы были, как его всем государством за царя признали. Оное было умышленное предприятие, что они Дмитрия не прежде убили, как воевода сендомирский со многими знатными поляки и великим богатством прибыли, желая оных побить и ограбить. И ежели б того намерения не было, то б могли прежде Дмитрия ссадить и поляков оставить в покое. Оскорбление разных послов не может быть легко забыто и упущено, и случай великого в России смятения подает в руки нам от России Смоленск, Северию и прочие города достать. Беспокойные же головы рокошан, в Польше еще шатающихся, нет лучше способа усмирить, как их на нового неприятеля обратить и грабление, которое они в отечестве своем ныне делают, без всякой Польше тягости в России им допустить. Стоящий под Москвою Дмитрий более опирается на поляков, которые при приближении войск королевских без сомнения его оставят. К тому же надобно великий страх предостеречь, чтоб русские от крайней своей беды для своего избавления ненавидящему поляков королю шведскому или другому тому подобному не поддались, чрез что потом Польша может в великий страх и утеснение прийти. И хотя миролюбивые сенаторы, не ведая королевского подлинного намерения, еще представляли, что русские объявляли о Дмитрие первом из Москвы оное явно под принуждением, поскольку тогда против учиненного мира поляки, в Русь множеством выйдя для помощи тому Дмитрию, многие города побрали и выданными универсалами (грамотами) утесненный тогда от царя Бориса народ в смятение привели, чрез что тот Дмитрий неправильным порядком престол получил. Что же дождания Мнишека с дочерью касается, то может быть правда, что русские и прежде б могли оное учинить. Но видя, что к оному Мнишеку и дочери его чрезвычайно великие дары из казны прежних царей посланы были, и русские небес-правильно оных возвращения ожидали или может быть думали, что воевода оный, прибыв, как человек благородный, Дмитрия от многих непорядочных поступков, которые русским с великою досадою показаны были, воздержит и лучшие советы подаст. Но оный, прибыв, не только сам возгордился, но и другие знатнейших русских бояр стали уничтожать, ругаться и утеснять. А особенно в главном пункте веры чрез действие иезуитов тотчас великое оскорбление учинили, что русские, всякой надежды к сохранению своих законов лишившись, в такое дерзновение поляками принуждены были. И потому оное в нарушение мира правильно почитать нельзя. «О шведах же никакой опасности иметь не можем, чтоб русские оным под власть отдались, разве что мы их такими неправыми утеснении к тому принудим. А ежели мы хотя бы поляков отзовем и дадим им волю, то им как до нас, так и до шведов дела не будет и бояться нечего, поскольку им между собою дела довольно. И ежели мы что по праву от них желать можем, то имеем способ изрядный порядочными договорами их к тому склонить».

Однако ж все сие королю было неприятно, поскольку он уже имел уверение о выборе на царство сына его, только еще тайно хранил. И дня 8 сентября специальным письмом чрез Стефана Строилова царю Василию войну объявив, с 20 000 войска к Смоленску придя,

обступил, поскольку ему литовский канцлер Лев Сапега великое обнадеживание учинил, что в первом приходе, как только город увидит, немедля ему сдадутся без всякого сопротивления. Однако ж король в том весьма ж обманулся, потому что боярин Михаил Борисович Шеин с товарищами так оную крепость утвердил и всякими припасами военными и съестными запасами удовольствовал, что затем два года без великой нужды мужественно оборонял. В Тушине состоящее тогда польское и русское войско в немалую опасность пришло, боясь, чтоб король некоторых из них на свою сторону не склонил и осаде московской их не помешал, и еще более вор, опасаясь, великие обещания им предписал. Потому в Тушине на некоторых договорах все войско, войдя в согласие, присягали твердо Дмитрия защищать, только Иоанн Сапега, стоя у Троицы, по всем домогательствам на то не склонился, ведая тайно о выборе Владислава. По сему взаимному обязательству отправили из Тушина к королю посольство. Но оное, забыв о должном к королю почтении, очень нагло и с угрозами представляло, чтоб он в их московскую осаду не вступался, которых король за бунтовщиков счел. Напротив же, от Сапеги присланных весьма милостиво принял, поскольку сии представляли, чтобы при воре обретающееся войско, как будет возможно, отозвать и его обессилить и потом с одним царем Василием ввиду его бессилия легко намеренное сделать.

Шуйский князь, стоя в Колязине и слыша, что в Ярославле поляков малое число, послал туда с некоторым количеством людей Семена Коробьина, чтоб оный город захватить и тем Вологду и все поморские города от поляков закрыть. Но Иоанн Сапега, уведав, пойдя от Троицы, его к Ярославлю не допустил и пришел за ним к Калязину, где Скопин-Шуйский, выйдя с войском, учинил с ним бой. И Сапега, видя их сильными, отступив, пошел к Троице. Князь же Скопин, слыша, что король пришел под Смоленск, послал в Швецию Бориса Сабакина просить по обещанию их помощных войск. Ежели же вопреки ожиданиям шведы в помощь дать откажут, то велел нанять еще до 5000 человек.

Рязанцы, слышав, что полковник Млыцкий Коломну уже в крайнюю тесноту привел, собрав войско под руководством Прокопия Липунова, пришли к Коломне и, совокупясь, с осаждающими жестоко бились. Но видя поляков и воров против себя более сильных, едва смогли без потери в город вступить. Поляки же и воры, видя оную войск прибавку и уведав, что Шуйский идет, отступили в Серпухов. А рязанцы, укрепив город, пошли снова на Рязань. Тогда же пришли на Коломну с Москвы князь Василий Федорович Масальский да Семен Глебов с войсками, которым велено было сколько возможно запасов собрать и привести в Москву, поскольку была в харчах крайняя нужда.

Федор Иванович Шереметьев, идучи с Низу к Суздалю, стал в худом месте, и на него пришел неожиданно полковник Лисовский со многими людьми. И после великого боя Шереметьев, много людей потеряв, с остальными отступил во Владимир.

Князь Скопин отправил от себя к Переславлю Семена Головина да Григория Волуева с войском. И оные, придя, город взяли и обретающихся там поляков порубили, а остальные ушли к Троице. О чем Скопин получив известие, послал указы в поморские и другие города, чтоб войска к нему собирались, и сам со всем войском пошел к Переславлю. И придя, немедленно утвердил оный, пошел в Александрову слободу, где поставив острог и укрепившись, послал в Москву с известием. Сапега же, уведав о приходе Шуйского, оставив у Троицы малое число людей, взял с собою до 15 000 человек, пришел на Скопина и передние стражи в селе Коринском тотчас смял и гнал до слободы. А Скопин, выйдя со всеми людьми против него, жестоко с ним бился, и через несколько часов Сапега, под

покровом ночи отступив, ушел к Троице.

На Рязани, уведав о приближении Скопина и его мужественных поступках и добром в войске распорядке, что, невзирая на его младость, все его отцом именовали, Прокопий Липунов, главный враг и гонитель царя Василия, желая его с оным племянником во вражду и крайнюю пагубу ввести или видя сего к правлению государством способнейшего, прислал к нему от себя двух человек дворян с письмами, в которых предлагал ему дядю с царства ссадить, а самому престол принять, обещая ему в том крайнюю возможность вспомогать. Скопин же, взяв те письма, как непристойные, всем объявив, изодрал и бросил, а присланных хотел послать в Москву. Но видя оных слезную просьбу и рассудив их, как посланных, невинными, поскольку они не знали, с чем ехали, в сем тяжкою клятвою утвердили, и по просьбам многих знатных дворян тех присланных без наказания отпустил, не мысля, чтоб дядя за то на него какое подозрение мог иметь. Однако ж оное вскоре царю Василию донесено было и противными истине обстоятельствами умножено, чрез что он на столь верного и храброго своего слугу и племянника безвинно жестокою, но тайную злобу возымел. Потом из Владимира Федор Иванович Шереметьев, да из Москвы князь Иван Семенович Куракин, да Борис Михайлович Лыков пришли к Скопину с некоторыми войсками в Александрову слободу.

В то ж время в Хоту ни крестьянин Салков, собрав многолюдство воров, великие около Москвы пакости делал и никого в Москву с запасами не пропускал.

Князь Масальский, собрав в Коломне довольно число запасов, пошел к Москве. Но под Бронницами, придя на него из Серпухова, полковник Млыцкий со многолюдством совсем Мосальского разбил и запасы все отнял, от чего в Москве учинился голод, поскольку князь Петр Урусов с татарами по Слободской, а Салков по Коломенской дороге стоя ниоткуда ни с чем в Москву не пропускали. И хотя в Красном селе поставлено было для сбережения несколько сотен, чтоб по дорогам едущих от воров оберегали и полякам с той стороны приход возбраняли, но атаман Гороховый, изменив, оное полякам отдал, которые, по его призыву придя из Тушина, неожиданно взяли и острог совсем сожгли. Конница же государева с великим трудом едва в Москву отступила. И вскоре потом воры, придя по Неглинной от села Суцова, деревянный город зажгли, которого выгорело сажень на 40. В том смятении воры, приступая, едва город не взяли, но царь Василий, собрав людей, вскоре без великого труда воров отбил, а выгорелое место палисадами укрепил. Салков, уведав о Скопине, перешел ближе к Москве и стал на Угрейше, на которого царь Василий выслал воеводу Василия Сукина, и оный, Салкова разбив, возвратился.

Король Сигизмунд, рассудив от Сапеги присланных представление, что ему лучше с одним, нежели с двумя неприятелями, воеваться, невзирая, что ему многие сенаторы противное представляли, послал от себя послов в Тушино, которым приказал накрепко стараться, чтоб войско польское к нему склонить, не жалея всяких обещаний.

При том же к царю Василию и патриарху прислал письма, требуя удовлетворения за учиненные обиды, обещая вскоре пристойный договор к миру представить. К вору же, именующему себя Дмитрием, писал только польский сенат, требуя от него тем посланным свободного в Москву проезда, и после многих рассуждений дали ему титул «его высочество и милостивый князь». И когда сии послы в Тушино прибыли, представили всему там войску, в поле стоящему, королевское желание, чтоб они к королю приклонились и Дмитрия оставили. И тогда сначала сие представление худо не было принято, поскольку поляки великого числа заслуженных денег и издержек требовали, и так счастливо искусством оных

послов и помощью русских там обретающихся знатных людей продолжалось, поскольку оные послы, каждый отдельно, призывая к себе знатнейших польских начальников порознь, каждому особенные от короля милости обещали. А Голицын объявил, что он со всеми войсками русскими от них отступит и того вора никогда на царство не допустят, чрез что многие поляки к королю склонились. К тому же разногласия между теми польскими начальниками учинили великую помощь, и ни одно до кровопролития дошло, ибо Иоанн Сапега, Ружинскому ни в чем ни уступить, ни помогать не желая, отделясь, искал отдельно своего счастья. Дмитрия оного только для лица почитали; употребляя имя его как царя, однако ж действительно ни во что не ставили. Ружинский с прочими Дмитрия так стали унижать, что в лицо его заедино самозванцем и обманщиком именовали. Дмитрий же оный, видя свое такое несчастье и великий страх, а кроме того уздав, что князь Василий Голицын с Ружинским хотели его, взяв, сослать к королю, в ту ночь, простясь тайно с женою своею, надев крестьянское платье, с некоторыми изменниками тайно уехал в Калугу на санях. Сей его побег сделал в войске великое смятение. Простой люд домогался несомненно оного вора иметь при войске, и видя, что оное из-за послов учинено, жестоко их поносили, а русские и в бой с поляками вступили. Но поскольку бояре сами с тем в согласии были и своим войскам в том не помогли, того ради русские отступили со всем их обозом и заперлись. Что с превеликою трудностью едва чрез офицеров усмирили и потом вскоре, одумавшись, стали снова оных послов ласково принимать и предложения их слушать. И договорились, что они все повелению королевскому повиноваться готовы, ежели им недоплаченное жалованье дано будет.

1610. Января 15 Марина, жена бывшего Расстриги и нынешнего вора, видя себя оставленной и обнадежась посольскими великими обещаниями, написала к королю письмо, в котором жаловалась на насилие судьбы, которая ее на позорище мира представила, полагая свое упование с терпением на власть Божескую; и в конце положила: «Мое несчастье ничто мне более оставило, кроме как справедливость моих дел и право на престол Российский, которое моим коронованием за мной утверждено и двойною присягою уверено. Сие все предлагая вашего величества милостивому благоизобретению, я благонадеюсь, что ваше величество по обретающейся в вас мудрости все сие рассмотрите и мне, как и моему дому, который имение и кров в сем случае без остатка положил, вашу королевскую милость и щедроты изъясните, которое все вашему величеству к получению Российского престола и обнадеживанию оного твердо основательным правом немалую пользу подает. Вашему королевскому величеству всякого удовольствия желающая Марина, императрица московская».

С сим письмом из Тушина королевских послов отпустили. Но еще в присутствии оных князь Василий Голицын, Михаил Салтыков, Хворостинин, Мосальский и другие многие, согласясь на прежнем их умышлении явно просить короля польского, чтоб сына своего королевича Владислава дал на царство, с тем отправили к Смоленску полномочных именем всего Российского государства послов бояр Михаила Глебовича Салтыкова, князя Юрия Хворостинина, князя Василия Мосальского, Льва Плещеева, дьяков Молчанова, Грамотина, Чичерина, Апраксина, Юрьева и многих дворян, дав им за подписями всех знатных людей наказ и к королю, как и королевичу, грамоты. Которые вскоре после польских послов прибыли и со встречю в обоз королевский введены, а потом января 31 дня допущены на публичную аудиенцию с великою честью. Которые придя, пространную речь говорили, в которой причины избрания оного изображали, сказывая: «Российское государство давно

уже намерение имело от рода королей польских государя избрать, как только древняя линия царей пресеклась. Однако ж тогда Борис Годунов оные добрые намерения его хищническими коварствами утеснил, и из-за того он явного себе неприятеля, обманщика Расстригу Отрепьева, вскоре увидел. И хотя оный надлежащее Годунову наказание учинил, но сам, как недостойно престол похитивший, жизни достойно лишен. В том же смятении хотя снова великое желание к выбору сына вашего величества имели, и весьма б тогда то намерение исполнилось, если б князь Василий Шуйский тому не помешал, который невинною кровью поляков путь себе к престолу предуготовил и коварством своих приятелей на престол восшел. Вся Москва о том ужаснулась, и многие то его против поляков показанное свирепство осуждали, но за то жизни их потеряли, до тех пор пока другой Дмитрий не явился и большую часть народа из-за одной только ненависти на Шуйского принят был. О чем стоящие в тушинском обозе с обретающимися в Москве тайно чрез письма в согласие вошли и заключили общенародно как того Шуйского, так и Тушинского отставить, а на царство избрать сына вашего величества королевича Владислава, если ваше величество ему на то соизволите и, Смоленск оставив, его к Москве отпустите. Чрез что Россия от несносного бремени избавится, и все государство, как и Смоленск, без пролития крови ему повиноваться будут, и оба государства в спокойности и доброй дружбе в вечное забвение всех обид и оскорблений придут».

После довольного рассуждения сего представляемого счастья все ему великую надежду по желанию получить представляло, и договоры написали, и, несмотря на пункт, чтоб Владиславу закон восточной церкви принять и оную защищать, согласие во всем было. Однако ж охота короля самому оную корону иметь учинила многие препятствия. Он старался утеснением Смоленска оное в действие произвести, но все оное бесплодно явилось, ибо Шеин нисколько в том уступить и город королю отдать не хотел. Король же, угождая присланным послам, обещал немедленно послать в Тушино к войскам свое обнадеживание, что он все тем войскам недоплаченные в службе Дмитрию деньги на себя снимает, ежели только корону российскую получит. И ежели в десять недель после получения короны тех денег им не заплатит, то им вольно Северскую провинцию взять во владение.

В продолжении сих договоров вор Тушинский, придя в Калугу и собрав татар, казаков и других таких же воров, укрепился в Калуге. К нему же пристали князи Урусовы и касимовский царь с татарами. После чего он немедленно от себя послал во все верные ему города указы, чтобы поляков всех побивали, чрез что многие тысячи по городам поляков погибло. Сверх же того послал он одного лазутчика в обоз тушинский, в котором один поляк так удачливо для него трудился, что не одно смятение между поляками, русскими и казаками с действительною ссорой произвел, особенно же простых казаков и стрельцов, которых он, вор, в письме своем братиею именовал и, полагая на них крайнюю надежду, прилежно просил, обещая им великие награждения. И сколько сие действительно ни было, но более Марина, жена его, забыв пристойность и стыд, сама по обозу ходя, уговаривала. Таковым образом возмутила она донских казаков, которые без извещения воевод, поднявшись строем, пошли к вору. Ружинский же, видя, что невозможно их было добрым порядком уговорить, многих порубил, а другие разбежались. Марина, видя, что ей не весьма уже надежда на поляков быть могла, и более опасаясь тяжкого от них с нею поступка, одевшись в мужское платье, войдя в согласие с Глазуном Плещеевым, ночью верхом с ним уехала в Калугу, оставив после себя письмо, в котором причины ухода ее объявила. Но когда оное в обозе известно стало, сделался великий шум и смятение, в котором расвирепевшие

солдаты жестоко к Ружинскому приступали и хотели убить, но он вовремя ушел. Марина же приехала к Иоанну Сапеге, который прежде прихода ее сделал подкоп великий. Но воевода в монастыре уведаль, перекопав, подкопщиков живых взяли и пороха заготовленного немалое число вынули, в котором им была уже немалая нужда. Он же, видя сие, учинил ночью два приступа на стену, по с великою потерей людей отбит. После прибытия же Марины, слыша, что Скопин из Александрова на него идет, оставив осаду, отступил в Дмитров и там укрепился. Шуйский же Скопин, видя, что Сапега отступил, тотчас послал за ним князя Ивана Семеновича Куракина, которого Сапега сам встретил на переправе. Марина же, одевшись в польский красный бархатный кафтан, привязав мужское оружие и взяв с собою 50 казаков, уехала с оным Плещеевым в Калугу, опасаясь при оном войске большого несчастья. После чего вскоре Куракин, придя, Сапегу совсем разбил, обоз отнял и город Дмитров на другой день вооруженною рукою взяв, многих поляков побил и в полон побрал. Тогда же Скопин отправил князя Ивана Андреевича Хованского к Старице, который, соединившись с Горном, город Старицу, а потом и Ржев Владимиров взяли и пошли к Белой, где стояли поляки. И сошедшись, поляков сбили, а город Белая отселся. И тут из шведского войска многие немцы и французы ушли к полякам в Белую.

В Тушине после ухода Марины сделалось несогласие, и многие русские, опамытовавшись в своем заблуждении, стали в Москву и в дома, а другие к вору в Калугу отъезжать. Между прочими епископ тверской Феофилакт хотел уехать в Москву, но изменники, догнав его, на дороге убили. Ружинский же, слыша, что Сапега разбит и Скопин идет, а кроме того что уже Ржев и другие города побрали, опасаясь, чтоб ему к Смоленску путь не перехватили, а от короля не видя никакой помощи, в начале марта, сжегши стан свой, который подобен был городу, пошел наскоро прочь и стал у Иосифова монастыря в крепком месте. Но в походе многие из русских изменников от него разбежались. О чем Скопин уздав, послал за ним наскоро Григория Волуева с конницею, а Ружинский, сведав про Во-луева приход, от монастыря отступил. Волуев же, догнав его на ровном месте, невзирая на оногo многолюдство, жестоко напал и многих побил, многую часть обоза и притом митрополита ростовского Филарета Никитича, взяв, привез в Москву. А Ружинский пошел наспех к Волоку, чтоб соединиться с Сапегою. Тогда же пришел и Скопин с Делагарди к Москве, которых государь принял с великою честью. И в первый день был на аудиенции князь Михаила Васильевич Скопин-Шуйский с товарищами, которым особенная милость и награждение показаны. На следующий день был шведский генерал Делагарди с его офицерами на публичной аудиенции, которому по особенной милости более, нежели когда послам, чинено, допущены в шпагах, и были для них публичные столы. Шуйского же весь народ с великою любовью и почтением принял, его отцом и оборонителем все именовали и его более всех в Москве бояр почитали. Его не только дом, но и улицы, где он ехал, всегда были полны, все его хотели видеть и всяк хотел отдельно его благодарить. Но сия любовь к нему народная только ж злобу и зависть в дядьях его умножала, которые опасались, чтоб его на царство не выбрали, хотя у него, может, и в мысли того не было, по меньшей мере вида к тому никакого не показывал.

Ружинский пришел к Волоку Ламскому и, как змея последнюю злость испуская, оный после жестокого осажденных сопротивления взял. И хотя он и Сапега писали к королю, чтоб по обещанию жалованье прислал, но, получив пустое обещание, вся оная армия рассыпалась, русские, почитай, все отстали, поляки и казаки многие отъехали в Калугу к вору, а осталось только с 4000 человек, которые королю обещались служить. После чего

Ружинский умер апреля 8 числа. Некоторое же количество пристали к Сапеге, но оный со всеми приобщился к вору в Калугу. Однако ж оное учинил по тайному повелению королевскому, чтобы оного укрепить и русских с тягчайшим договором принудить или царя Василия на вырчку к Смоленску не допустить. Вышеобъявленные 4000 при Волоке хотя к Смоленску пошли, однако ж прежде, нежели от короля 100 000 рублей подарок получат, с ним совокупиться не хотели и, не видя оного, многие пакости обеим сторонам делали.

Сие все наиболее царю Василию полезным было, и уже сущего его избавления от бед бессомненные пути показались. Все бывшие страхи вместе погибли, а надежда ежечасно возрастала. Тотчас же один город за другим повинные стали приносить, вместо тяжкого голода явилось изобилие, вместо смятения и ненависти великая тишина и любовь междоусобная. Тогда в Москве умножилось изрядное войско, с которым князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский вскоре имел идти к Смоленску. Понтусу Деллагарди государь великие дары пожаловав, со всеми его знатными офицерами довольно наградил, по договору надлежащие на шведское войско все деньги сполна, без вычета убылых, и впредь на 2 месяца сполна по 10 000 руб. ему выдал. Сверх же того немалое число денег для прибылых в помощь шведских войск с Скопиным отправил. И так все было во всяком пожеланном удовольствии, только царь Василий Иоаннович все оное вскоре в свою и всего государства гибель превратил. Вскоре же после прибытия Скопина, призвав его к себе, неожиданно стал ему говорить, якобы он на царство подыскивается и хочет его, дядю своего, ссадив, сам воспринять и якобы он уже в том просящему его народу обещание дал. Скопин же против того со всею покорностью невинность свою в том утверждал и показывал, что ему о том, кроме Липунова, никто не представлял, и он никому никаких и видов к тому не дал. А что Липунова письма изодрал, и оное учинил, уничтожая то как бездельное дело, и ему на то, как недостойному, никакого ответа не дал. И потом от сожаления, а особенно от невоздержания младости ему, дяде своему царю Василию, истину доносил, в чем на него весь народ жалуется, и просил его, чтоб он, опасаясь Бога и храня свою честь, от всех тех тиранств и хитрых вымышляемых людям утеснений отстал и более б жизнью, нежели гублением, народ к себе привлекал. И рассуждал, что ему лучше добровольно корону другому отдать, нежели ожидать насильного отнять, представляя, что оную уже, едва не всем государством тайно согласившись, Владиславу обещали. Царь Василий же, притворясь, весьма умильно ему на то отвечал: «Я на то согласен, ежели то с пользою отечества моего быть имеет. Но прежде хочу, чтоб польские войска вышли и воры усмирены были, чтобы выбор был вольный, а не принужденный». И хотя Скопин снова ему говорил, что он желает его на царстве утвердить и за то жизнь свою положить, только просит о перемене поступков, но царь Василий жестоко на него тайною злобою возгорелся. Особенно же брат его князь Дмитрий Иванович к тому большую злобу от зависти ему вложил. Деллагарди, сие видя, что Скопин в великой опасности был, непрестанно ему говорил, чтоб он немедля из Москвы ехал, объявляя ему тайные на него умыслы. Он же, не поверив тому, все такие ему вести уничтожал. Однако ж видя обстоятельства дел, его к походу понуждающие, положил намерение 15-го идти со всем из Москвы, к чему совсем приготовился. Накануне же отъезда его звали его к князю Воротынскому крестить младенца, при котором кумою была тетка его, жена князь Дмитрова Ивановича княгиня Катерина, дочь Малюты Скуратова, свояченица Бориса Годунова. И сия змея после обеда поднесла оному племяннику своему стакан меда, который, не зная ухищренного яда ее, приняв, за здравие ее выпил. Но вскоре тут же занемог и, приехав домой, после великой болезни и кровавой рвоты в ту ночь скончал жизнь свою. И

так сей защитник и оборонитель отечества пал от рук тех, которым он наиболее потребен был.

Сия смерть учинила в Москве великую жалость и нареkanie в народе. Но царь Василий, закрывая оное, с великою честью велел его погresti у Архангела в приделе Рождества Иоанна Предтечи со многими слезами. Что же персоны оногo касается, то он был человек призрадного стана и великолепия, возраста среднего, более высок и по летам умеренной толстоты, в смелости и бодрости ему не оскудевало. Военные дела он основательно разумел, чему от младенчества обучился, наиболее порядок и пользу войск регулярных довольно знал. Его разум превосходил его лета, ибо он умер 22 лет. Его советы были немногоречивы, и более сначала давал другим говорить и толковать, но когда он свой объявлял, то было точное заключение, так как редко находилась причина оспорить, за что его как русские, так и чужестранные сердечно любили. А чрез смерть сего великого воеводы царь Василий и его братья всю возобновленную в народе любовь потеряли, и сие одно за наибольшую причину лишению престола и жизни как царя Василия, так и всей его фамилии разорение почитаться может, чрез что и все государство в наказание от Всевышнего Творца крайнее разорение претерпело.

После смерти сего Скопина царь Василий, видя, что шведы за великое себе оскорбление оное почитали, задабривая их дарами, послал с войсками брата своего князя Дмитрия Ивановича, в котором, может, он более верности, нежели искусства военного, и более надежды на него одного, нежели на все войско, быть думал. К тому же довольно знал, что Дмитрию в военных любви недоставало. Шведы тотчас стали отговариваться под Смоленск идти, представляя разные вымышленные обстоятельства. И из-за того царь вновь договор с ними заключил, по которому Делагарди, приняв денег по договору вперед на два месяца, пошел вместе с Шуйским. И придя в Можайск, остановились, где пришел к ним в помощь Эдуард Горн с 3000 помощных войск, в котором в основном были немцы и французы. И сначала, из Можайска послав, взяли Иосифов монастырь, за которым и другие последовали.

На Рязани Прокопий Липунов уже было совсем от вора Тушинского отстал и собрался на оногo идти, но уздав о смерти Скопина, снова оборотился на царя Василия, писал по всем городам, в которых жестоко царя Василия поносил и объявлял, что он хочет того великого воеводы невинную смерть отметить, и оными письмами снова многие города возмутил. С таким же письмом прислал он в Зарайск племянника своего Федора Липунова, где тогда был воевода князь Дмитрий Михайлович Пожарский. Оногo его возмущения не приняв, Федора назад отпустил, а письмо то переслал к царю Василию и просил против оногo помощи. Потому он немедленно послал Семена Глебова с войском. А Липунов, войдя в согласие с некоторыми воеводами и многими городами, не стал царя Василия слушать.

Государь послал князя Василия Федоровича Масальского с войском, чтоб около Нижнего очистить и, войска собрав, идти на Рязань. Оный же, некоторые города очистив, пришел к Шатскому, где тогда был воевода князь Дмитрий Мaстриюкович Черкасский; и выйдя против Мо-сальского, совсем его разбил. И хотя царь Василий еще было некоторое количество войска к Мосальскому послал, однако ж Липунов их не пропустил и принудил без бою назад идти.

Князь Дмитрий Шуйский, управясь в Можайске, послал наперед князя Федора Андреевича Елецкого да Григория Волуева, велел им стать в Цареве Займище, а сам пошел к селу Клушину, где пришел к нему в помощь князь Иван Андреевич Хованский, и с ним Горн от Волока Ламского. Тогда в шведском войске просили жалованья, а Делагарди хотя не только заслуженное, но и вперед еще близ за месяц при себе имел, но имея уже иное намерение в голове, отказал, сказав им, якобы царь Василий ему не дал. И от того многие

солдаты стали бежать к полякам, а офицеры слушать не стали. В котором случае князь Дмитрий, созвав всех офицеров, о даче Деллагарди денег объявлял и сверх того клятвою их утверждал, что он им, как только казна прибудет, еще на два месяца даст. А между тем гетман Жолкевский, придя, Царево Займище осадил. Но уздав от шведских переметчиков, что шведы биться не хотят, оставив оных, пошел к Клушину. И придя 4 июня прямо на русских, начали биться, и русские стали их одолевать. Генерал же шведский Горн сначала на сторону отступил и зашел на польскую сторону, а потом и Деллагарди, забыв свою присягу, полякам против русских стал помогать. В котором поляки князя Дмитрия сбили, а шведы весь русский обоз и казну государеву взяли, где русских от шведов и поляков около 10 000 побито. Князь Дмитрий же, видя такую от шведов измену, с великим смешением едва с остальными малым числом людей в Можайск отступил, многие же за темнотою ночи разбились в разные пути и уехали по домам, не ведая, где бояре остановились. Потом Жолкевский снова пришел к Цареву Займищу, и воеводы, видя свою к обороне невозможность с 2000 человек, крепость сдали и сами королевичу Владиславу крест целовали. Шведы же оставили Горна у поляков с несколькими людьми, а Деллагарди пошел к Новгороду. О чем князь Дмитрий наскоро в Москву писал, и царь Василий послал в Новгород наместником князя Ивана Никитича Одоевского, чтобы во оный Новгород шведов не впустить. Жолкевский, взяв Царево Займище, пришел со всем войском к Можайску. А Шуйский, видя, что ему в поле противиться с таким малым войском и в городе сидеть невозможно, оставив потребное к обороне число, сам отступил к Москве.

Царь Василий, видя такую снова над собою беду, и хотя уже сердечно о Скопине стал сожалеть, да поздно, и видя свое против поляков бессилие, послал по городам грамоты, чтоб войско собиралось и деньги везли. Но многие его не послушали и указов не приняли, а особенно на Рязани Липунов многим городам то воспретил.

Вор, слыша, что войска русские при Клушине разбились, вместе с Иоанном Сапегою пошел к Москве. Тогда же по просьбе государевой пришли на помощь из Крыма два сына ханских с войском, к которым послал из Москвы бояр князя Ивана Михайловича Воротынского и князя Бориса Михайловича Лыкова, окольного Артемия Васильевича Измайлова. И оные, совокупясь в Серпухове, пошли к Калуге. И сошедшись с вором в Боровском уезде, на реке Наре учинили бой, но вор, видя свое изнеможение, вступил в обоз и, укрепясь, отсиживался. Татары же, видя, что он в поле биться не хочет, а на обоз приступать не желая, оставив бояр, пошли назад за Оку. А бояре с великим трудом отступили в Москву.

Яков Деллагарди, пойдя от Можайска к Новгороду, с русскими везде неприятельски поступал, многие города, села и деревни грабил и пожег и людей побивал, имея намерение Новгород неожиданно взять. Но поскольку там от царя Василия довольная предосторожность учинена была, князь Иван Никитич Одоевский послал к нему навстречу сказать, чтоб он за 10 верст к Новгороду не подходил, а шел бы прямо в Швецию, взирая на свой договор. И оных посланных Деллагарди задержал под караулом и прошел в Финляндию. Только, ведая, что город Ладога не в великом укреплении, послал туда полковника Делявилля, который, придя, без всякого сопротивления оный взял, укрепился.

Государь, видя себя от шведов обманутым, от своих ненавидимым и оставленным, а от поляков и воров утесняемым, просил короля английского Иакова I чрез купцов английских, чтоб ему войска в помощь к городу привели, которые ему английское купечество обещало.

В то же время в Пафнутьеве монастыре сидели князь Михаил Волконский да Яков Змеев. И вор, приступая много раз, ничего учинить не мог и хотел уже прочь идти. Но Яков Змеев

да Афанасий Челищев, изменив неожиданно, ему ночью ворота отперли. Воры же, войдя в острог, во оном до 12 000 человек мужского и женского пола побили; и совсем разорив, пошел он к Москве и стал на Угрейте. Коломна, так долго пребывая государю в верности, ныне по возмущению головы Михаила Бобынина, презрев сопротивление воевод, всем городом вору крест целовали, чему последовала Кашира, и воевода князь Григорий Петрович Ромодановский под страхом смерти ему же крест целовал. В Зарайске князь Дмитрий Михайлович Пожарский, несмотря на великое от всего города себе к тому принуждение, собрав некоторое количество надежных людей, в среднем городе запершись, держался. Но наконец согласились на том, что кто будет царем в Москве, тому и служить, а ныне ни царя Василия, ни вора, ни королевича не слушать, а стоять за государство.

Обретающиеся при воре воеводы Прокопий Липунов с товарищами, который тогда более всех бояр силу имел и от вора был боярством пожалован, прислал письмо в Москву к боярам, требуя их в соединение. На которое бояре согласились с таким основанием, что ежели они от того вора отступят, то и бояре царя Василия ссадят и хотят все вместе новый выбор сделать. Тогда же и от короля Сигизмунда польского для возмущения прибыл тайно с письмами и великими деньгами Михаил Салтыков, якобы с повинною. И сей наиболее всех народ по согласию с князем Голицыным возмутили и с Липуновым о выборе согласились. Однако ж съезжаться прежде не хотели, доколе царя Василия ссадят. Того ради князь Василий Васильевич Голицын, с ним Захарий Липунов и Федор Хомутов, выехав на лобное место, представляли всенародно к возмущению тяжкие беды и разорения, которые от владения Шуйского имели б последовать, и притом объявили им, якобы по согласию всех бояр, свое намерение, чрез которое обещали всему народу совершенную спокойность и тишину приобрести и пр. Народ же, взволновавшись, пошли с ними к дворцу. Царь Василий же Шуйский вышел сам к народу, стал им говорить с угрозами. Но Захарий Липунов, выступив, смело ему намерение объявил. Шуйский же, озлобясь на его противные слова, вынув нож, хотел его зарезать. Но князь Василий Голицын, подхватив руку, удержал, сказал: «Не дерзай, ежели свою жизнь хочешь спасти». И взяв его и патриарха Гермогена, выведя в поле к Серпуховским воротам, там с превеликим шумом его от царства отрекли и объявили вольный выбор государя. И хотя патриарх и некоторые бояре довольно в том противились, но не могли такому множеству возбранить, принуждены были согласиться. После чего свояк царя Василия князь Иван Михайлович Воротынский, июля 25 взяв царя Василия и с царицею, свел их на старый его двор. И с тем послали в Тушино сказать и звать их на съезд. Но Липунов сказал, что прежде, нежели царя Василия постригут, выбору быть невозможно. Того ради на следующий день, сведя царя Василия Иоанновича в Чудов монастырь, постригли и нарекли его. А поскольку он отрицаться не хотел, то вместо его отрицался князь Василий Тюфякин. Сей государь с таким великим несчастьем царствовал 4 года 3 месяца. Он был ростом высок, сух, лице долгое и бледное, волосы прямые, очи черные, глубокие. Он много обещал, а мало исполнял, мог скоро человека приласкать и снова оскорбить, любил более деньги, нежели щедроты, и из-за того мало любви имел. Его слабые поступки и тайные казни наивернейших приводили в опасность и к изменам. Он хотел показанием святости и набожности себя утверждать, но когда о чудесах тех дознались, тогда более его ненавидели и поносили.

МЕЖДУЦАРСТВИЕ

Июля 26 дня, на следующий день после сведения царя Василия, выбрали всем собранием во управление государства 7 человек бояр, между которыми князя Федора Ивановича Мстиславского наместником именовали, в том числе были князь Андрей Васильевич да князь Василий Васильевич Голицыны, князь Юрий Никитич Трубецкий, князь Иван Михайлович Воротынский, князь Борис Михайлович Лыков, а от короля поверенный Михаил Глебович Салтыков, но сей в том ли числе управителей или отдельно был, того точно неведомо, которые все указы от себя посылали и челобитные им подавали так: «Государям боярам Московского государства».

Сии, утишая народ, написали причины сведения царя Василия, в народ объявили, между которыми во многих упреках наибольшее несчастье его правления, что столь великое внутреннее смятение и внешние неприятели ему в вину причитались.

Июля 27 числа патриарх с духовными, а также бояре, дворянство, воинство, купечество и весь народ, выйдя за Серпуховские ворота в поле, стали выбирать государя и в том разделились на три части: 1) патриарх со всеми духовными и несколько бояр говорили, чтоб выбирать из русских, и обещали князю Василию Голицыну; 2) в которой главным был оный Голицын, и Салтыков со множеством людей, представляли королевича польского Владислава, и сия часть была сильнейшая; 3) главный Прокопий Липунов, стояли на том, чтоб вора оного принять.

И после великого спора и противления патриарх, более опасаясь, чтоб больше к вору не пристали, а особенно видя, что Голицын сам принять не хочет, наконец к тому склонились с таким включением: 1) чтоб королевич закон восточной церкви принял и защищать оную обещался; 2) чтоб все войска польские прежде прихода в Москву вывел; 3) никаких городов и земель от государства Русского не отлучать, и которые ныне поляки взяли, все возвратить, и от Смоленска отступить; 4) поляков, которые явно православия не примут, ни в какие русские чины не жаловать и дела б им никакие не доверялись; 5) церкви римской внутри Москвы нигде не иметь. И на том утвердись, послали к Жолкевскому с известием, который тогда стоял на Вязме. А Липунов с великою злобою и угрозами со многими людьми отъехал снова к вору на Угрейшу, а на другой день оный вор, придя, стал у Симонова монастыря.

Ружинский, в тот же день получив оное известие, 28 июля писал к Мстиславскому с товарищами, что он имеет от короля повеление Москву по крайней возможности защищать и для того, насколько возможно, сам поспешит; Шуйских же чтобы хранили и никого зла им не допустили, которым назначенный царь Владислав всякую милость показать не оставит. И хотя бояре хотели еще сие далее рассматривать, однако ж обложением и утеснением от вора принуждены от Жолкевского помощи просить. Потому он 4 августа, придя, стал в Хорошевских лугах с 5000 человек, а ближе к Москве не пошел, чтобы бояр принудить к скорейшему договору. После чего тотчас принялись за договоры, и после многих с ним прений выше-объявленные пункты утвердили, и от обеих сторон в шатрах на Девичьем поле подписали и присягою утвердили. Коберицкий показывает в том договоре еще сии пункты: чтоб жидов в Россию не пускать, прав российских не нарушать, церкви римские строить с позволения патриаршего, духовных и дворянских имений не отнимать, Марине, Расстригиной жене употребление царского титула запретить, гетману

Жолкевскому без позволения бояр ни одного человека в Москву не вводить, а стоять ему на Девичьем поле. Однако ж о принятии веры указано требовать на то от короля соизволения.

Сей удивительный в таком великом деле без довольных оснований учиненный договор привел тогда многих умных людей в недоумение. И многие поляки, как и другие чужеземцы, поставляли русским за вымысел и обман, чрез что б могли от такой тяжкой, а особенно междоусобной войны освободиться. Сие рассуждали из того: 1) что они, римскую веру так жестоко ненавидя и опасаясь, что она сходством некоторых обрядов, хотя в пункте веры великую разность в себе заключает, и к тому коварствами римских духовных, простые люди легко обмануты могут быть и невидимо в оное, словно в сеть пойматься могли, выбрали в государи противного им закона; 2) что оный королевич был еще тогда малолетним и к правлению государства столь великого и таких жестоких нравов не способен; 3) такие пункты включал, которые поляков оскорбляли, о чем договариваться было противно, а особенно, чтоб ему жениться на русской, в пище и прочих порядках и обычаях поступать по русскому обыкновению; и так разумели, якобы русские имели намерение потом, малую причину сыскав, его ссадить, а выбрать иного. Однако другие рассуждали противное и полагали, что русские такие неосновательные договоры заключив и непорядки устроив, что, не учинив наперед с королем договора и не утвердись, сразу царя Василия ссадили и постригли от самой глупости и крайней дерзости, а не коварством, что внушением поляков в Москву, отданием короны и прочих инсигний или барм государственных и всех сокровищ царских, а также и вручением Шуйского со всею фамилиею в польские руки довольно истинное, но непорядочное намерение свое утвердили. Но сие с обоими мнениями точно не согласовалось. В то время бояре, видя себя в столь тяжком от вора утеснении, опасаясь, чтоб оный, насилуем Москву взяв, на престол не восшел, от чего никакой к избавлению надежды уже не видели, принуждены были негодующему на царя Василия народу что-нибудь в пользу представить и от крайнего смятения удержать. Выбору же других государей краткость времени, а оных отдаление весьма обстоятельствам не соответствовало. Ибо например шведского, который все вышесказанные договоры хотел принять, но за отдалением трудно было о том думать, потому что прежде, нежели бы он с помощью пришел, король польский или вор могли б совсем разорить. К тому ж ведая, что многие шведы королю польскому больше, нежели шведскому, верны были, и видя, как Горн и Делагарди действительно клятву нарушили и войско русское при Клушине полякам предали, верить больше никак не могли. Русского выбрать также был страх, что многие, поскольку равного себе, подобно как Шуйского, почитать и слушать не будут. К тому же Голицын и Салтыков, прельстясь королевскими великими им обещаниями и уловив деньгами великую артель (поруку), сильно на том стояли, которым другие, и не желая, ради избежания более тяжелой беды, согласовали. Что же до введение поляков в Москву и отдание сокровищ, а также и Шуйских в руки польские, оное вовсе было учинено все против воли бояр, как ниже явится.

После учинения с Жолкевским договоров сентября 19 числа выбрали к королю и королевичу послов: 1) митрополит ростовский Филарет Никитич, 2) боярин князь Василий Голицын, 3) окольный Даниил Иванович Мезецкий, 4) думный дворянин Василий Борисович Сукин, 5) думный дьяк Томила Луговский, 2 дьяка, 10 человек дворян, да гостей и купечества знатного, и голов, всего человек с 40. И оным дав наказ, со всеми объявленными договорами отправили к Смоленску.

Между тем вор с Липуновым и Сапегою, стоя за Язуою, великие пакости делал. А Жолкевский, перейдя по договору к Девичьему монастырю, посылал к Сапеге. чтоб он, вора

оставив, с ним соединился или б пошел в Польшу. Однако ж Жолкевский, желая бояр принудить, чтоб его в Москву впустили и крепость в его руки отдали, сказал, что Сапега его не слушает и якобы на него нападение учинить хотят, от чего он, ежели в город не пустят, принужден далее отступить, а ежели впустят, то Сапега, увидев оное, нехотя от вора отстанет. В чем с ним Салтыков вошел в согласие и бояр к исполнению принуждал. С чем патриарх и многие бояре спорили и говорили, ежели гетману крайняя нужда придет, то можно пустить под стену и оборонять его пушками и помощью из города, а внутрь города, пока король договоры не утвердит и королевича не отпустит, поляков не впускать. И говорили, что Жолкевский, подлинно с Сапегою войдя в согласие, обманывают. И на том все утвердась, послали гетману сказать. Но Салтыков поехал гетмана к городу приводить и без ведома патриарха и бояр ввел его прямо в город. Бояре же, видя сие, придя в великий ужас, видя, что между ними самими никакой надежды нет, принуждены были пустить его в Кремль. И поставили гетмана на старом царя Борисове дворе, во дворце поставили польский караул, а полковники стали в Китае по дворам. И ключи городские с принуждением взял гетман к себе. И потом он, учинив с Сапегою договор, что все его заслуженное жалованье королевич после воспринятия царства заплатит, сам, выйдя против него, построился. Вор же, уведав сие, что Сапега уже согласился, взяв русских изменников казаков и татар, ушел снова в Калугу. И там укрепившись, писал по городам, чтоб ему помогали, после чего некоторые города ему помогали, а многие не послушали.

В Колязине монастыре был тогда в осаде воевода Давыд Жеребцов, и его полковник польский Лисовский да с ним изменник казачий атаман Андрей Просовецкий после многих боев и приступов взяли, и пошли к Ивангороду и Пскову. Но разошедшись с Лисовским, Просовецкий и Григорий Волуев, придя, взяли Великие Луки. Бояре же, уведав сие, что Лисовский и Просовецкий русские города разоряют, говорили гетману, чтоб он от себя к Лисовскому писал и послал бы на Просовецкого войска. Но Михаил Салтыков, опасаясь бояр, умыслив убавить из Москвы русского войска, послал сына своего Ивана да с ним князя Григория Волконского против Просовецкого. И оные Просовецкого нигде не нашли, поскольку оный, уведав о том, ушел к Суздалью.

Потом по представлению Жолкевского положили бояре в Москве для безопасности впредь царя Василия сослать в Соловецкий монастырь и велели немедленно отвести его на Вологду. Но Михаил Салтыков, якобы сожалея, представлял, чтоб так далеко не ссылат, а послать в ближайший монастырь. И хотя с тем бояре никто не был согласен, но он, договорившись с гетманом, велел посланному с ним отвести его в Иосифов, а царицу его сослали в Суздальский Покровский монастырь.

Августа 30 дня приехали послы к Смоленску и приняты от короля с подобающею честью. После чего король утвержденные с Жолкевским договоры в публичной аудиенции обещал исполнить, а о пункте переменения веры велел им с министрами советовать. Но вскоре потом стал говорить, чтоб прежде утверждения оных Смоленск отдали. А поскольку как послы, так и воевода смоленский Михаил Борисович Шеин того учинить не хотели, король, зло осердясь, велел подкопы под стены сделанные зажечь и послал на приступ. Однако ж тем более своих людей погубил, нежели городу вреда сделал, ибо на том приступе более 2000 поляков побито и многие от ран померли. После сего великого урона многие польские начальники советовали королю, чтоб он, оставив Смоленск, пошел в Москву без продолжения, и, оный главный всего государства город в свою власть взяв, такие законы русским предпишет, каковые он сам за благо рассудит, и затем королевича, короновав, с

достойными к правлению помощниками оставит и тем все государство во власти его утвердит. Сие мнение хотя королю по всем обстоятельствам явилось за наилучшее, однако ж почитал за великую непристойность, так долго стоя и не взяв города, отступить и неприятельский город назади оставить, и писал к Жолкевскому и Салтыкову, чтоб, взяв Шуйских и инсигнии забрав, Жолкевскому привести к себе. Потому Жолкевский, взяв всю казну государственную в свою власть, многое раздав полякам в жалованье, другое многое царское сокровище, а также Шуйских, царя Василия братьев и племянников взяв с собою, оставив в Москве Александра Гоншевского, пошел из Москвы. И зайдя в Иосифов монастырь, взяв там бывшего царя Василия, пошел к Смоленску. После приезда к Смоленску представил Гоншевский Шуйских перед королем, который тогда сидел, и принуждали бывшего царя Василия в землю кланяться. Но он того после всех принуждений не учинил, только сказал: «Ваше величество, видя сие мое несчастье, помысли о себе, чтоб Всевышний Судья тебе или твоим наследникам в той же мере неправду сию не отметил. Я желаю тебе более верных подданных иметь, нежели я имел». За что король, осердясь, велел их как невольников вывести и держать под крепким караулом. Потом принудили его послать письмо к Шеину, чтоб город отдал, и приведши его самого пред врата градские, звали Шеина, чтоб он сам с ним говорил. Шеин же, видя царя Василия, сильно плакав, сказал: «Я царю Василию Иоанновичу крест целовал и был ему всегда верен и послушен, пока он был царем. А ныне сего вижу не царем, но чернецом и невольником в руках неприятельских, и слушать его не должен. И когда всем государством государя выберут, тогда оно, как моего государя, во всем слушать и повеление его исполнять готов». Король же, видя, что оные Шуйские ему ничего в его намерении учинить не могут, послал их в Польшу и велел содержать под крепким караулом. С русскими же послами продолжая договариваться, которые принятия королевичу русской веры и супружества с русскою никак уступить не хотели, согласились, что сии пункты на собирающемся тогда сейме решить. А к Жолкевскому послал король указ, чтоб присягали русские королю самому.

Жолкевский между тем, войдя в согласие с Салтыковым, всю власть у бояр отнимать стал, велел вопреки протестам боярским деньги под именем Владиславовым делать, чины стал раздавать и воевод переменять, в Москве и по городам многие и тяжкие поборы наложил, из-за чего в Москве стали происходить многие беспокойства. А при Смоленске хотя великий королевский временщик Потоцкий сильно утверждал, чтоб русским не уступать и себе оную корону с самовластием присвоить, потому и указ к Жолкевскому послан, что русских принудить королю самому крест целовать, представляя, что русские нарочно королевича просят с малым числом людей, чтоб и его ссадить, когда захотят, могли. И король с доброю совестью его отпустить не может и из-за того, что в Люблине и Вильне всем сенаторам явно обещал всю оную войну употребить в пользу королевства Польского, а не для своей пользы: «И ежели вы корону русскую королевичу уступите, то не только обещание нарушите, но к тому едва утишенное внутреннее нареkanie об искании вами самовластного над Польшею властвования чрез подпору русскую утвердить возобновите, и для того по крайней мере нужно со всем государством Польским в том согласиться и в том осторожно поступать».

Русские же послы, видя сие, что от короля никакого договора ожидать нельзя и что все только в продолжении упражняются, помалу, рассуждая, намерение свое переменили и о Владиславе думать оставили. В чем особенно Голицын, имея довольную надежду сам престол российский получить, охотно высматривал, как бы с поляками добрым способом

разъехаться. А митрополит Филарет, весьма того королевича не хотя, стал полякам еще многие затруднения представлять и обо всех оных поступках польских обстоятельно в Москву к патриарху и боярам писать, и особенно в письме к патриарху изобразил все учиненные поставленного договора с Жолкевским нарушения. И некоторые королю советовали королевича, не удерживая, отпустить, ибо Жолкевский не без соизволения королевского такие договоры учинил и клятвою утвердил, потому так легкомысленно нарушать неприлично. Войну же с таким упрямым народом продолжать небезопасно. Войску, которое от называющегося Дмитрием отступило, может из русской казны быть от Владислава заплачено. Иначе же будут они требовать от Речи Посполитой, из-за чего Речь Посполитая может в смятение прийти, поскольку таких великих долгов платить, ни же столь тяжкую войну без разорения вести не может. Все сии трудности, когда только он на царство вступит, легко уничтожены быть могут, и в том более надобно на гетмана Жолкевского положиться. Однако ж на том Потоцкий с товарищами настоял, что король положил ожидать взятия Смоленска, но оный тем только жесточее оборонялся.

Жолкевский, будучи в Москве и видя жалобы боярские о нарушении договоров и что король таким продолжением принудит русских на иное предприятие, взяв из казны инсигнии, драгоценную корону и пр., а также царя Василия братьев и племянников с их пожитками, ноября 9, оставив в Москве Александра Гоншевского, поехал из Москвы. И зайдя в Иосифов монастырь, где был царь Василий Шуйский, взяв оно, приехал со всем под Смоленск и всех оных представил королю на публичной аудиенции в скаредном платье и с руганием, словно войною плененных. И хотя король Жолкевским гетманом весьма был недоволен за то, что королевичу, а не ему присягу учинили, однако ж оно скрывал. Когда царь Василий с братьями введен был, король сидел на стуле. И хотя царя Василия принуждали, чтоб он королю в землю равно с братьями кланялся, но он того не учинил и сказал только: «Ваше величество, ныне видя мое несчастье и Божеский на меня гнев, а кроме того неверность подданных и вероломство друзей, памятуя правосудие Божие, что всякую неправую обиду отметить не оставит, ежели не на самих, то на детях. Я же желаю тебе и сыну твоему иметь более верных рабов и лучшее счастье, нежели я имел». При котором многие из сенаторов польских заплакали, а король, посмеявшись, велел их увести и охранять. Потом велел король ему письмо к Шеину послать. Но Шеин, письма не приняв, отказал с тем: он извещен, что бывший царь Василий ныне простой чернец и где он ныне, о том не знает. Сие надругание и неправильность действий видя, русские послы нетерпеливо королю и сенаторам представляли, чтобы король Шуйских, как бояр российских, освободил. И ежели он имеет опасность, то они возьмут их в свое сохранение и в том всем государством подпишутся. Иначе же будут они ко всем государям с жалобой писать, что королю, также и республике есть не к чести, что над бывшим равным себе государем, по воле Божией пришедшим в несчастье, надругиваться, не имея от него никакой себе достойной тому причины. Тогда ж из посольства русского Василий Сукин да дьяк Свадной, изменив послам, тайно вести к королю переносили. О чем послы уедавав, стали от них оберегаться и советоваться отдельно. А что, подольстясь, Голицын от них уедал, о том писал тайно к патриарху и боярам.

Стоя в Калуге, вор оный многие по городам пакости делал. При нем же был царь касимовский Урмамет с татарами. И видя смятение в государстве напрасное, а кроме того уверясь, что оный подлинно вор, умыслил, отъехав от него, войти в согласие с боярами, с которым тайно и Урусовы мурзы согласились. Но сын оно, уедавав о том, сказал вору,

что оный царь хочет его убить. Сие услышав, вор оный явно оному царю ничего сделать не мог, поскольку его во всем войске очень любили и почитали, и умыслил тайно его погубить. И вызвав его со псами на охоту, отъехав с ним и Михаилом Бутурлиным от людей далеко, отсек саблей голову и бросил в реку Оку. И потом сказали, якобы он уехал к Москве, чего ради послали за ним в погоню многих людей. Но рыбак, который все оное видел, сказал тем посланным и указал тело его, у берега лежащее без головы. Сие подало мурзе Петру Урусову причину, как бы оную невинную кровь отметить. И через некое время, выехав с ним на поле с охотою, отсек ему голову и, взяв татар своих, которые были уже готовы, ушел в Крым. А остальных татар побили в Калуге, человек с 200, разве мало что ушло. И так сей нечестивый враг и разоритель государства, приняв достойную казнь, мерзкую свою жизнь окончил и погребен был в Калуге с великою честью декабря 11 дня. После смерти его родила Марина сына, которого именовали Иоанн. Но многие сказывают, что был нарочно посторонний взят для удержания бунтовщиков, через что в Москве немалая надежда к успокоению внутренней войны подалась.

В Москве уведали об убиении оного вора, послали князя Юрия Никитича Трубецкого, чтоб калужан привести к присяге королевичу. Но калужане, удержав Трубецкого, послали к боярам с письмом, объявив: «Ежели королевич закон восточной церкви примет и поляков выведет, то они все готовы ему присягать, а доколе сего не учинят, то как его, так и согласных ему почитать будем за неприятелей»; а между тем употребляли имя Маринино и сына ее. Трубецкой же после того тайно в Москву ушел.

В Казани слыша, что поляки в Москву вошли и бояр утесняют, войдя в согласие, присягали калужскому вору, в чем наместник князь Бельский сильно им претил и удерживал. Но дьяк Никонор Шульгин, желая сам в Казани быть старшим, возмутив народ, велел наместника оного убить. На третий день, прибежав, татары сказали, что оный вор убит и люди все разбежались. Того ради казанцы с великим сожалением погребли его с честью и о несчастливом случае том писали в Москву.

1611. При Смоленске король, стоя, сильно домогался город взять, специально велел царя Василия вывести перед городом, чтоб сам Шеину сказал, и письма из Москвы от бояр с точным об отдаче оного города повелением ему отдал. Шеин же, видя царя Василия Иоанновича, сильно плакал и посланному сказал, чтоб он донес королю, что он сего знает, что был царем российским, и тогда ему как государю по своему обещанию верно служил и все повеления его точно по крайней возможности исполнять прилежал. А ныне, видя его, как чернеца и невольника в руках неприятельских, слушать его не должен. Что же повеления боярского касается, то он знает, что он и сам такой же боярин, и что к пользе отечества относится, он сам о том столько разумеет, и что во вред видит, того никогда не послушает. Ежели же всем государством изберут государя надлежащим порядком, то он после учинения ему присяги во всем повиноваться будет. Особенно же его письмо от послов 3 января в том утвердило, в котором ему точно о сдаче запрещали. Король же, осердясь пресильно, велел подкопы, сделанные под стены, зажечь и всем войском приступать. А уздав чрез Сукина о письме, посланном от послов в Смоленск, жестоко на них озлобился, принуждал послов к Шеину о сдаче писать. Они же, презрев королевские угрозы, отвечали: «Ежели, ваше королевское величество, изволите по учиненным договорам исполнить и сына своего по обещанию на царство отпустите, то не только Смоленск, но и все государство в его полной воле и власти останется и мы все, как верные рабы, ему служить и во всем повиноваться будем. А вашему величеству присягать и город отдать мы не можем, поскольку от

государства такого повеления не имеем. А хотя б мы то сверх данной нам власти и учинили, только вашему величеству не полезно, поскольку нас не только никто не послушает, но и наши дела, как неверных отечеству рабов, все опровергнут». Уведав же чрез Сукина и дьяка Своднова, что послы к Шеину с укреплением писали, зло осердясь, как преступников клятвы обвинив, взяв под караул, послал вместе с Шуйскими в Польшу и велел их держать в разных городах под караулом, а именно послы были в Мариенбурге в Прусах 23 дня апреля. А также писал и в Москву еще к Салтыкову, чтоб принудили бояр к королю самому пристать и Смоленск отдать велели. Что тогда многие польские сенаторы о послых русских почли за правильный и порядочный поступок, а король, хотя и зло гневался, но более никакой обиды, кроме неприязненного взирания и некоторых заочных поношений, послам не учинил.

В Москве бояре, уведав об увозе царя Василия и ругании над ним, утаясь от вора Михаила Салтыкова, писали по городам, чтоб, собрав войско, Москву очистили, объявив именно королевские неправые поступки и утеснение от поляков. Потому в Калуге князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой да с ним атаман Заруцкий, на Рязани Прокопий Липунов, во Владимире князь Василий Федорович Масальский да окольныйчй Артемий Васильевич Измайлов, в Суздале Андрей Просовецкий, на Костроме князь Федор Волконский, на Романове князь Федор Козловский с братьями, войдя в согласие чрез письма, собрав войска, пошли к Москве. Между тем Салтыков получил от короля указ, чтоб принуждал патриарха и бояр писать к послам, чтоб они договор написали по воле королевской и Смоленск отдали. Потому патриарх и бояре, а наиболее князь Андрей Васильевич Голицын да князь Иван Михайлович Воротынский спорили о том, что они с Жолкевским сделали договор принять на царство сына королевского, когда он закон примет и польские войска вон выведет, а креститься ему в Можайске, не доезжая Москвы, и оное клятвою утвердили. «А ежели мы ныне на волю королевскую положимся, то уже договор оный сами нарушим и принуждены будем принять государя иного закона, что в совестях нанесет отягчение и в народе новое смятение, чрез что государство может впасть в междоусобную войну и тягчайшее разорение. Да и король того сверх учиненного договора, чтоб ему присягать, требовать по праву не может. А под словом "на его волю" разумеется то ж самое, чтоб мы отдались под власть польскую». За что Салтыков, осердясь, хотел патриарха резать. Патриарх же, прокляв его, сказал, что «я не смерти, но греха более боюсь, и сего ни по какому домогательству не подпишу». Бояре же, Мстиславский с товарищами, оное за страхом, а Воротынский и Голицын под караулом сидя, после жестокого принуждения подписали.

А поскольку в Москве многие стали на поляков негодовать и неоднократно приходя к Салтыкову об учиненных неправостях представляли, января же 24 числа собрался народ на площадь, едва в бой с поляками не вступили, и легко было тогда русским всех поляков побить, поскольку все решетки по улицам рано заперли и, поставив караулы, сойтись им не допустили. Но злой враг оный Салтыков на пагубу столь многих тысяч русских принудил патриарха народ уговорить и отпустить в дома, обещая от поляков впредь лучшие поступки. Но после утишения поляки и оный вор Салтыков, опасаясь себе достойной казни, запретили сначала русским всякое оружие при себе носить, а по улицам решетки велели сломать и ночные от русских караулы отставить. Король же, получив сие от 17 января боярское письмо, объявил послам, бывшим еще при Смоленске. Но послы сказали, что они ту грамоту за правую не приемлют, потому что патриарх, как глава правительства, не подписался, а бояре Воротынский и Голицын подписались поневоле, сидя под караулом. Что королю подало причину послов жестоко утеснять.

В Москве уведали поляки, что войска собираются, послали на Рязань. Да к ним же пристал изменник Исаак Санбулов с черкасами, которые, придя неожиданно, многих рязанцев побили, села и деревни разоряли и Липунова в Пронске осадили. Но князь Дмитрий Пожарский, уздав о том, собравшись с зарайчанами, придя, Санбулова отбил и, Липунова выручив, поворотился в Зарайск. А Санбулов, ранее успев, неожиданно Зарайск сжег, где его Пожарский, догнав, совсем побил, а Санбулов сам едва бегом в Москву спасся. Потом Липунов и Пожарский, собравшись со многими городами, пошли к Москве. О чем в Москве Салтыков с товарищами узнал, придя к патриарху, стал говорить, чтоб он к воеводам писал, чтобы к Москве не ходили. Но патриарх сказал: «Ежели поляки из Москвы выступят и станут по договору за Москвою, то он писать готов. А ежели поляки договор и клятву свою хранить не хотят, то и нам содержать оную не должно». Салтыков же, ругая и понося патриарха, взяв из его дому, посадил в Чудове под караул и не велел никого к нему допускать. Сие было в великий пост, марта в первых числах. И держал патриарха две недели, не могли ничего от него вымучить. Умыслил Салтыков с поляками его и народ побить, для чего приближающийся ход с вербою явился им к тому удобным. Для этого, освободив патриарха из-под караула, велели ему идти с вербою на лобное место, а польские роты поставили в строю по площадям и приказали, чтоб учинить ссору и тут кого надобно побить, якобы нечаянным случаем. Но народ, уздав, никто за вербою не пошел. Поляки же видя, что по их намерению не исполнилось, взяли патриарха снова под караул и в Чудове, лишив его чина, заперли в темницу, а на его место возвели опять бывшего при Расстриге Игнатия грека патриархом.

Того же марта 18/29 дня во вторник на Страстной седмице Пожарский и другие воеводы пришли к Москве и стали около города. Поляки же по совету с вором Михаилом Салтыковым, собравшись с ротами на площади, начали ряды грабить. Но потом, придя в дом князя Андрея Васильевича Голицына, его убили и, дом его разграбив, пошли на Тверскую. Но в Тверских воротах, собравшись, стрельцы их не пропустили. Оттуда пошли на Стретенку и всех людей побивали. Но в Стретенских воротах князь Дмитрий Михайлович Пожарский их отбил и за город разорять их не выпустил. Они же, придя на Кулишки, встретились с Иваном Матфеевичем Бутурлиным, с уроном принуждены отступить и пошли за Москву реку, где их также Иван Колтовский не пропустил и назад в Китай прогнал. Михаил же Салтыков велел весь Белый город полякам выжечь. И хотя они во многих местах зажгли, однако ж меж Кулишек и Покровки немного, а от Пречистенки к Тверской все выгорело, только меж Покровки и Тверской стрельцы, пушкари и чернь жечь не допустили. И Пожарский сделал у Введения острог. В тот же день от поляков едва не все жители Белого города порублены, разве которые в домах отсиделись или бегом к воеводам спаслись. Побитых же и сгоревших счисляли не меньше 60 000 человек. И сей день и ночь бились непрестанно. 19/30 марта пришел от Прокопия Липунова Иван Васильев сын Плещеев с малым числом людей, а к полякам из Можайска пришел полковник Струе, но воеводы его не пропустили и назад прогнали. Но тогда поляки, выйдя за Пречистенские ворота, слободы, а за Москвою рекою деревянный город сожгли. Потом пришли поляки на Стретенку и Кулишки к Введенскому острожку, жестоко напали на Пожарского, и был бой долгое время. И хотя другие Пожарскому не помогли, однако ж он их жечь не допустил, пока его не ранили столь жестоко, что в ту же ночь отвезли в Троицкий монастырь. После чего поляки весь Белый город и кругом выжгли, только что за Яузою уцелело. Сие видев, оставшиеся воеводы решили, что им с таким малым числом людей противиться невозможно, отступив в

Симонов монастырь, укрепились.

Король долгое время различными отягчениями и страхами, как и обещаниями, принуждал царя Василия, чтоб ему письменно престол российский уступил. Но Шуйский, представляя, что то не в его уже воле и королю такое письмо ни на что не годится, а довольно того, что он и его братья, а также все государство хотят иметь и признать сына его царем. И в том он, как подданной, после заключения договоров подписаться готов. «А ныне, боясь суда Божия, того не учиню, хоть смерть приму». Также слыша король про такое в Москве смятение и видя послов непоколебимое стояние, затеял на них, якобы против их присяги к Шеину и Москву писали, в чем из Москвы вора Салтыкова письма, а при Смоленске Сукина изменника товарища их с клеветами представил, и по оному, взяв их под караул, апреля 23-го числа послал в Прусские земли в Мариенбург, а Шуйских в другие города, где их содержали с великим утеснением. Царь Василий же, после многих мучительских домогательств и принуждений по желанию королевскому никакого письма не дав, в Польше голодом уморен, в чем большая часть родственников ему последовали.

При Москве собравшись воеводы со всех городов и, совокупясь на Угрейше, приступили снова к Москве, которых поляки встретили за Яузою и, немного бившись, отступили в город, а воеводы стали вокруг Белого города: Прокопий Ляпунов с рязанцами у Яузских ворот, князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой на Воронцовском поле, костромские, ярославские и романовский воеводы князь Федор Волконский, Иван Волынский, князь Федор Козловский и Петр Мансуров у Покровских ворот, Артемий Васильевич Измайлов с товарищами у Стретенских ворот, князь Василий Федорович Масальский у Тверских ворот. Но поскольку во власти общей произошла между ними распря, что всяк хотел быть старшим, того ради, съехавшись в поле, всем дворянством после малого спора выбрали главным князя Дмитрия Тимофеевича Трубецкого да с ним Прокопия Липунова и Ивана Заруцкого, поскольку сии последние были люди, а особенно Липунов, острого ума, и в делах военных сколько храбры, столько искусны, и в войске имели великую любовь и почтение, а Заруцкого наиболее из опасения, чтоб, осердясь, не отъехал, оным почтили. Однако ж установили, что им для советов всем съезжаться. И по сему учреждению, построив каждый себе для безопасности острог, каждодневно с поляками бились и привели их в великое утеснение.

Салтыков, видя такое бедствие над поляками, послал такого же вора, как и сам, Алексея Безобразова к королю с письмами, прося его, чтоб сам, придя, по своему намерению сделал. Который, придя, королю все подробно возвестил. Тогда сенаторы и генералитет польский прилежно королю говорили, чтоб, оставив столь тяжкую осаду смоленскую, сына в Москву отпустил, а о награждении за издержки ныне договоры сделал, за что русские, желая только спокойности, легче Смоленск и Северну уступят. И сие легче и надежнее, нежели неблагонадежною войною доставать и великими на то убытками Польское государство разорять. Но сии советы ничего учинить не могли, ибо как русские, не одумавшись, послушав изменников, столь непорядочный выбор и неосновательный договор сделали, так и король, уничтожая оных силу, а своих умные советы, беспутно держался за Смоленск, в чем ему только Потоцкий советовал, и вместо того что самому идти или сына послать, отправил гетмана Жолкевского с войском в 6000 человек. Да и тот из-за несогласия сенаторов, а особенно видя к себе неблагодарность королевскую, с походом умедлил.

Посланный из Москвы воевода Иван сын Михаила Салтыков, которого королевич или скорее отец пожаловал окольным, придя в Новгородчину, при Ладоге шведов побил и Ладогу взял. Новгородцы же, опасаясь, чтоб сей, усилившись, их королевичу крест целовать,

как Тверь и Ладогу, с прочими городами не принудил, послали его просить к себе, обещаясь, выслушав его предложение, согласиться и ему возможную помощь учинить. Потому он, обнадежившись, приехал в Новгород с малым числом людей, хотел в первую очередь с наместником князем Одоевским видеться. И новгородцы, взяв его, жестоко пытали, спрашивая о намерении отца его. И хотя он говорил, что у него с отцом никакого к измене согласия нет и будто он хотел идти к Москве для соединения с воеводами против поляков, но новгородцы, обличив письмами отца его, которые к нему писал, посадили его живого на кол и к отцу отправили человека его с известием, обещая такое же награждение.

Король послал из Смоленска Ивана Салтыкова со смоленчанами к Дорогобужу, чтоб оный взять. И они, пойдя, в согласие вошли, чтоб идти к Трубецкому в помощь. Но один из них, изменив, сказал о том королю, за что король, осердясь, велел весь уезд разорять и шляхту побить. Из-за чего как смоленчане, так и дорогобужане, собравшись, с домами отъехали к воеводам, при Москве стоящим.

Шеин в Смоленске так долго держался, и оный с 1 октября 1609 по 13 июня 1611, без малого два года, мужественно обороняя и не видя в военных и харчевых припасах недостатка, нисколько о сдаче не думал. И уже в польском войске было немалое смятение о том, крайнее намерение, отступив, оставить, а искать иных способов. Но тогда из-за столь долгого запертия учинилась в городе болезнь цинга, и многие люди военные занемогли. К тому же вор смоленчанин Андрей Дедешин, часто бывая у наместника, некогда услышав наместниково с товарищем своим рассуждение, где наиболее оберегаться от поляков надобно или где был город наименее защищен, немедленно уйдя из города, королю сказал. Потому король велел немедленно, на оное место всю силу употребив, стену разбить. И хотя наместник, познав измену, сколько можно оборонял, однако ж поляки в ночи 13 июня город приступом взяли и всех, кто попался, побили. Русские же стрельцы, желая поляков выбить, зажгли город в разных местах, от чего добралось до пороха и, взорвав башню, как поляков, так и русских много побило. Некоторые же, собравшись с женами и детьми и их богатствами, от великой злобы не желая пленниками поляков быть и свое имение в расхищение, а неприятелем в пожиток отдать, сами зажглись и со всем погорели. После утишения же пожара наместник Шеин явился с оставшимися малым числом людей перед королем, которого он, с женою и сыном взяв, против всякого достоинства немедленно велел, оковав, сослать в Польшу и держать, как злодея, под крепким караулом. После взятия одного города, оставив с войском Иакова Потоцкого, сам пошел в Вильню 25 июля, где он, как победитель, принят был. Однако ж многие в том отступлении на короля нарекали, якобы он своей победы продолжить не сумел и без всякого разумного довода в Москву не пошел, где была крайняя нужда Гоншевского от осады освободить. И хотя король предстоящим сеймом извинялся, однако ж ему довольно представлено было, что то было можно до сейму окончить. И тем королевским отходом под Москвою воеводам бодрости и к побеждению надежды более умножилось. Когда же король приехал на сейм в Варшаву, несчастливый царь Василий с братиею, как образ переменности счастья, пред королем от Жолкевского был представлен, и оное столь великое им почитаемое счастье в пространной речи многими историями приукрашено было. Однако ж все благорассудные оное ни в какую похвалу не причитали, поскольку оный ни войною, ни хитростию, а только изменою неверных подданных царства лишени с помощью тех же бунтовщиков украден и полякам отдан. После сего их хвастанья послан Шуйский со средним братом своим Дмитрием в замок Гостиин, а младший брат Иван отдан воеводе на поруки. Но Василий и Дмитрий

против воли сенаторов от короля тайно уморены были, и над гробом его изрядный голбец был построен. И так сего государя жизнь, в великом беспокойстве и переменности счастья продолжаясь, в крайнем несчастье и окончилась. И хотя его собственные поступки наибольшею причиною тому его несчастью были, однако ж еще более прикоснувшиеся к его свержению или насильственной смерти или в великом несчастье в возмездие, со срамом и бедою жизнь свою окончили, о чем не только русские, но и чужестранные писатели согласно пишут.

О взятии Смоленска приехал в Москву с известием смоленчанин Юрий Потемкин и явился у воевод. Тогда же приехал троицкий келарь Авраамий Палицын от архимандрита и просил всех воевод и воинства, чтоб о добывании Москвы крайнее их приложили старание, обещая за побитых Бога молить и во всякой нужде деньгами и запасами возможную помощь учинить. А также стали к воеводам собираться остальные войска отовсюду. Тогда пришли от Новгорода, Поморья и бывшие около Смоленска дворяне, стрельцы и казаки. В скором же времени пришел Иоган Сапега к Москве, и стал у Новодевичьего монастыря с войском, и просил воевод о съезде, и с ним воеводы хотели учинить договор. Но поскольку поляки из Москвы выйти не хотели, того ради, ни о чем не договорившись, разъехались. И на следующий день в Лужниках с Сапегою был бой, на котором с обеих сторон людей много побито. А особенно сначала русскую конницу смяли, но пехота, зайдя рвом, конницу выручила и польскую целую роту совсем побили, и потом отступили каждый в свой обоз. Потом на третий день Сапега со всем войском приходил на острог у Тверских ворот, и его воеводы встретили в поле, и бились весь день. И Сапега, отступив, вскоре оставив Москву, пошел к Переславлю. А с ним бояре из Москвы послали князя Григория Ромодановского да с поляки пана Косяковского. И оные в Братовщине острог взяли. За ним же воеводы послали князя Петра Владимировича Бахтеярова да Андрея Просовецкого с войском, которые сошлись с Сапегою в Александровой слободе. И Бахтеяров, видя невозможность, отступил в Переславль, а Сапега взял Александровский острог, пришел под Переславль, где, много раз с великою наглостью приступая, немало людей потерял, а осажденным ничего не учинил, только что многие места вблизи, посылая, разорил.

После отхода Сапеги пришли в согласие воеводы взять Белый город и потом к Китаю приступать. Потому, взяв сначала на Козьем болоте острог, в котором сидели шведы, оных всех побили, а потом, войдя в город, взяли Никитскую, Арбатскую, Алексеевскую и Тресвятскую башни, многих поляков побили, а в тех местах, также за Москвою рекою, поставив остроги, русских посадили и поляков в крайнюю тесноту привели. И к взятию Китая уже бессомненную надежду имели, так как полякам в харчах великое оскудение было, и многие готовы были на договор отдать. Но что творит самовольство и бесстрашие, когда главного начальства нет и всякий хочет быть велик! О безумие, что презрели общее отечества благополучие, а прилежали о собственной прибыли, забыв вечное, трудились о временном, презрев Христово точное учение, что говорит: «Если царство разделится само в себе, не может устоять». Слепила же прихоть разум их, ибо прежде, нежели неприятеля победили, Москву очистили и государство от внешних и внутренних беспокойств утишили, новый мятеж воздвигли по тому случаю, что начали советоваться о выборе государя. И хотя тогда окольный Измайлов с товарищами Трубецкому и другим представлял, что многие казаки, доброжелательствуя Марине и сыну ее, станут их представлять, другие, может, захотят кого из бояр и, разбившись порознь, воздвигнут в войске несогласие и вражду, «чрез что все оное наше надеяние пресечется», но поскольку некоторые новгородцы Трубецкому о

выборе королевича шведского, о котором Делагарди к новгородцам писал, с великими обещаниями представляли, а Заруцкий и все казаки надеялись, что вора сына, как наследника после отца, которому едва не все государство присягало, выберут, все, оставив сильный одного разумного мужа совет, согласились и стали в поле, выехав, в котором все те объявленные распри показались, и многих стали представлять. Но Трубецкой представил: 1) Ежели выбрать Маринина сына, который еще младенец году, то многие, ведая, что его отец был не прямой Дмитрий, его возненавидят и будут искать снова выбирать иного. Да хотя б памятуя, что присягали отцу его и подлинно верили, что он прямой был Дмитрий, да таким великим государством управлять и людьми, к смятению уже обыкновенные имеющими, ни ему, ни матери его, поскольку женщине, управлять невозможно. К тому ж известно всем, что она, так как от многих знатных фамилий оскорблена, будет им мстить и поляков, как своих свойственников и родственников, ей при себе держать возбранить невозможно. А из того всего снова тягчайшие несогласия произойдут. 2) Ежели выбирать из бояр и знатных фамилий, то уже очевидно, что за столь долголетнее смятение все между собой в великие вражды и непростительные злобы вошли, чрез что любой из них будет мстить и отмщать. Наиболее же, что многие, полагая его еще за равного себе, надлежащей чести воздавать и в послушании быть не захотят, за что ему придется наказывать, а тем умышлять зло и возмущать народ. И так эта последняя беда будет тяжелее первой. И даже если предписать ему законы, но и оно государству более во вред, так как тем умалится страх и почтение, как то видим в примере на Шуйском, что его крестное государству целование первою причиною к озлоблению людей и разорению государства явилось. И из-за того как Дмитриева сына, так и русских бояр выбирать не можно, а надобно смотреть, где б сыскать постороннего государя, человека молодого, на царство, и еще такого, который бы силою отечества своего мог Русскому государству помощь подать и как от неприятелей, так и от воров и изменников государство очистить и оборонять.

Потому тотчас представили королевича шведского сына короля Карла, поскольку он имел двух, Густава Адольфа [...] лет и Карла Филиппа [...] лет, на что, почитай, все согласились. Однако ж многие находились недовольны, а особенно Заруцкий с казаками, который домогался о Маринине сыне. Хотя более спорить не могли и написали договорные статьи, между которыми главнейшие: 1) чтоб ему принять закон восточной греческой церкви и оную защищать; 2) чтоб ему жениться на русской; 3) чтоб законов государственных без совета и соизволения бояр не переменять; 4) войск иноземческих при себе не держать; 5) городов и земель от государства не отлучать, а взятые возвратить; 6) против неприятелей, доколе не усмирятся, некоторое количество войска шведского на их деньгах содержать; 7) без суда никого не наказывать и пожитков не отнимать; 8) шведов по желанию при себе держать, да в чины палатные и на воеводства, который не крестится, не жаловать, и прочие многие пункты, с которыми послали в Новгород князя Ивана Федоровича Троекурова, Бориса Стефановича Сабакина и дьяка Сыдавнова Васильева.

Марина же и с сыном своим, именуемым царевичем Иоанном, была в Коломне, и ей о сем прислали известие. Михаил Глебович Салтыков, видя свою беду, что ему не лучше, как старшему сыну, скоро будет, собравшись с домом своим и с единомышленниками, ушел тайно из Москвы в Польшу. В войске же русском распри с каждым часом стали умножаться, а особенно потому, что думный дворянин Прокопий Липунов был надмерно спесив и властолюбив, никого в дело не ставил и лучших бояр почитать и слушать не хотел, за что его все возненавидели. А Заруцкий с казаками забрал себе многие города и волости, чрез что в других полках как денег на жалованье, так и харчевых запасов недоставало, а казаки продавали харч дорогою ценою, а особенно потому, что казаки, допущением Заруцкого, ездя по дорогам, грабили и привозить запасы людей отпугивали. И хотя другие воеводы о том Заруцкому говорили и требовали поделиться, но он того делать не хотел. Того ради все дворянство подали воеводам челобитную, чрез которую просили, чтобы города и волости разделили между полками по численности войск, во что положить деревни всех, которые в Москве сидят. И хотя Ляпунов о том с другими в согласие вошел, но Трубецкой, жалея, потому что его родни в Москве много, защищал их невольным сидением, а Заруцкий не желал у себя убавить, в том дворянству отказали. И на Липунова за то зло осердились и стали думать, как бы его убить. Он же, сведав, оставил Москву, пошел на Рязань со всеми рязанцами. Но Трубецкой, слыша от всех на себя в том нареkanie, послал к Липунову просить, который сам, сожалея, чтоб того случая не упустить и Москву без умедления очистить, презрев страхи и злобу, поворотился и, придя, стал в прежнее свое место. Казаки же, умыслив воровски, составили грамоту, будто Липунов писал по городам, чтоб казаков всех побили, и под руку его подписавшись, объявили воеводам. А также на Угрейше стоял для оберегания Матфей Плещеев, и он, переловив казаков на воровстве, 28 человек в воду посадил, про которых казаки сказали, якобы оные побиты по наущению Липунова безвинно, а оных мертвых привезли в обоз. Сие видели воеводы и, не зная истины, послали за Липуновым, чтоб приехал на обсуждение. И хотя он, ведая умысел, по двум посылкам отказался, но потом, придя, Сели-верст Толстой и Юрий Потемкин, ручаясь ему, что никакого зла не учинится, прилежно просили. Которым он поверив, поехал в обоз Трубецкого и, придя, довольные доказательства невинности своей и в обличение оных клевет представил. Но казаки по научению неприятелей Липунова бросились его бить. Но стоявший здесь великий неприятель Липунова Иван Ржевский, видя Липунова невинность, стал его защищать. Но казаки как Липунова, так и Ржевского убили, в чем Толстой и Потемкин, забыв свою клятву, к убийству оных побудили. Тогда в войске учинилось великое смятение, и многие из полков разъехались по городам. Сапега, стоя под Переславлем, уведав о том в русских полках смятении, не желая столь полезный случай пропустить и войскам русским к согласию время оставить, тотчас, оставив Переславль, собрав довольство запасов, пришел к Москве августа 15 числа. Немедленно от Алексеевских ворот до Тверских город очистил и за Москвою рекою остроги взяв, воевод отбил и, доставив сюда довольство запасов, снова укрепился. Воеводы же, отступя, стали за Язуою.

Король, чтобы избавиться от жалоб сидящих в Москве войск и нареканий от сенаторов, послал к Москве в помощь гетмана литовского Хоткевича, а на заплату жалованья велел сокровища царские употребить, кроме короны, скипетра и державы, которые велел хранить, ибо Жолкевский гетман, взяв не лучшие из оных, под Смоленск привез, а лучшие были еще в Москве, что Потоцкому весьма было не любо, что король мимо него другому в России над войсками команду дал. И умыслил, ему в его славе помешательства учинив, чрез то себе

оную власть приобрести, послал с некоторою частью войска, якобы для помощи Хоткевичу, ротмистра Струса, которому приказал против Хоткевича тайно людей возмущать и королю на него жаловаться. Из сего в Москве произошло между поляками великое несогласие, и послали от себя к королю на сейм с наглою просьбою, чтоб королевича прислал. Ежели ж того не учинит, то они принуждены, оставив Москву, оных недоплаченных денег требовать от него и Речи Посполитой. Тогда же пришли к воеводам низовые войска, также смоленчане и дорогобужане и, совокупясь, взяли Девичий монастырь, где сидящих поляков порубили, монастырь со всем сожгли, а стариц сослали во Владимир. Смоленчане же, как выгнанные от короля, просили у воевод поместий, где бы им жен и детей своих посадить. И воеводы согласно все отдали смоленчанам волости в Арзамасе, а дорогобужанам во Владимире Ерополч, но Заруцкий Ерополча не отдал и казакам пускать их туда не велел. И из-за того оные все отпущены в Арзамас и другие низовые города.

Сидящие в Москве поляки, видя, что на положенной срок королевич не прибыл, не желая более ожидать, многие из Москвы уехали. Прочие же, послушав Хоткевича и Сапегу, учинили с ними новый договор января 6 числа, а для безопасности в заплате их заслуженного жалованья были принуждены им отдать остатки сокровищ царских, среди чего 2 короны золотые, скипетр слоновой кости весьма предивной работы и великой цены, другой золотой с камнями драгоценными, державу золотую, кресла с алмазами царя Иоанна, присланные из Персии. И сии все вещи со множеством драгоценных камней отданы в заклад. А прочую многую казну распродавали между собою, кто за какую цену что хотел, поскольку русские уже денег не имели.

Шведский генерал Понтус Делагарди, придя из Руси, остановился в Выборге. И видя в России великое нестроение и несогласие, пойдя к Кексгольму, оный осадил и, держав долгое время взаперти, за недостатком съестных припасов принудил оный сдаться. Но тогда шведам подалась еще к разорению русскому причина, ибо ушедший из Москвы села Язуы дьякон Матфей пришел в Ивангород и, назвавшись царем Дмитрием, народ возмутил. Которому всем городом присягали, чему его сладкоречив и смелые или скорее отчаянные поступки наиболее помоществовали. После чего он, пойдя, взял Яму, Копорье, а потом Псков и другие последовали. Но поскольку ему к произведению силы не доставало, того ради просил он нарвского коменданта Шединга, чтоб в помощь ему короля Карла склонил. Король же, получив о сем известие, немедленно послал Петреуса в Нарву, который уже 2 раза в Москве посланником был, с повелением истину оного освидетельствовать, поскольку он как первого, так и другого Дмитрия знал. Но когда Петреус прибыл, оный вор, слыша, что Петреус первых довольно знал, видеть ему себя не допустил, выговариваясь сначала болезнью, потом убожеством своего состояния, в котором он королевскому послу аудиенцию дать находит неприлично, и для того велел ему со своими советниками договариваться. Петреус же, видя сей обман, сказал, чтоб они посольство к королю для договоров отправили. Но оный вор, того из-за многих обстоятельств сделать не могли, пошел с войском своим и 2-мя малыми пушками к Пскову июня 24 дня. Делагарди, идучи тогда к Новгороду и опасаясь, чтоб оный вор какого помешательства ему не учинил, послал навстречу ему Горна с войском. Вор же, видя оных пришествие, бросив пушки, ушел во Вдов, а Горн, догоняя, многих его людей побил, и оный с великим страхом едва бегом в Ивангород спасся.

Псковичи, слыша о его несчастье, послали к нему посольство и, призвав, крест ему целовали. И сей мог бы долго себя содержать, ежели б порядочно себя содержал. Но

природа и обычай привели его в различные крайние дерзости, как пьянство, блуд и грабление, чрез что всю показанную ему сначала любовь у всех погубил.

Между тем Понтус Делагарди пришел к Новгороду и оный осадил, требуя заплаты якобы за положенные издержки и недоплаченное жалование, а также за якобы от новгородцев учиненные ему и его войскам обиды. Наместник же князь Одоевский хотя видел, что все оные домогательства неправильные и только для хищения вымышленные, искал добрыми способами и правильными резонами его отвратить. А затем, получив из Москвы о выборе королевича известие, оное ему объявив, просил, чтоб королю объявил, а между тем поступал приятельски, потому учинил до отповеди королевской перемирие с некоторыми условиями. Между тем воевода новгородский Василий Иванович Бутурлин стал часто, со шведами съезжаясь, пить и гулять, часто к ним ездил и к себе звал, а про защищение и укрепление города забыл, а также и караулы, словно бы в самое мирное время, уменьшил. Что шведы видя, 15 июля ночью, придя с северной стороны, почитай, без всякого сопротивления в город вошли. А воевода Бутурлин в то время пил и, уедавав о том, забрав войска, сколько мог, из города ушел, которому за рекою стоять еще б великой опасности не было. Наместник же князь Иван Никитич Одоевский и митрополит с малым числом людей заперлись в каменном городе. Но видя, что воевода ушел и помощи ожидать неоткуда, учинили с Делагарди договор о принятии королевича на царство, включив присланные из Москвы пункты, и в том с обеих стороны утвердили присягою. О чем ушедшие с воеводою новгородцы уедали и поворотились. Бутурлин с малым числом людей уехал в Москву, а товарищ его Леонтий Вельяминов с казаками пошел на Романов. Идущие же от воевод послы из Бронниц поворотились, о чем наместник уедал, и по совету с архиереем и всеми новгородцами отправили в посольстве к королю юрьевского архимандрита да от всех пяти концов лучших людей по человеку и несколько дворян.

1612. Делагарди же, укрепившись в Новгороде, взял Нотебург, Ладогу и другие города на имя новоизбранного царя, но поскольку вор во Пскове многие города к себе привлек, под видом якобы от него очищая, взял Ивангород, Яму, Копорье и Вдов. Но потом, желая и все государство тем же образом, как и поляки, под власть свою привести, взял Порхов, Тихвину и Старую Русу.

При Москве стоящие воеводы, получив от вора грамоту, присланную с казачьим атаманом Герасимом Поповым, и получив о Новгороде от Бутурлина известие, немедленно, без всякого рассуждения за истинного признав, крест ему целовали. Однако ж, одумавшись, послали туда Ивана Глазуна Плещеева и с ним многих казаков, что видя, в полках многие дворяне разъехались по домам.

Сидящие в Москве поляки, видя свое изнеможение и что по просьбе их король на положенный срок королевича не отпустил, не желая более ожидать, многие, побрав имение, разграбив еще некоторые дома, уехали из Москвы, а прочие, послушав гетмана Хоткевича и Сапегу, остались, учинив с ними вновь о жалованье договор января 6 числа. Но поскольку в казне как царской, так и патриаршей золото, серебро, жемчуг и прочие вещи все было растащено и давать не из чего, а из Польши получить надежды не было, того ради отдали им в заклад оставшееся: 2 короны золотые старинные, 1 скипетр костяной старинный превеликой цены из-за его удивительной работы, 1 тоже золотой с драгоценными камнями, 1 яблоко, или держава, кресты персидские с алмазами, с таким договором, что оное после заплаты снова в казну возвратить. Прочие же многие богатства государевы продавали между собою, кто что заплатить хотел.

В полках, под Москвою стоящих, явилось подметное письмо, в котором написано было, якобы в Нижнем Новгороде некоему мужу благоговейному было явление, чтоб весь народ три дня постился, ничего ни пить, ни есть. По которому воеводы, не спрося, кто и где то письмо взял, определили по оному никому пить и есть не давать, от чего многие немощные и младенцы померли. Но потом уведали, что в Нижнем о том никто не слыхал, и такого человека, каков написан, в Нижнем нет.

Тогда же, видя между собою несогласие, воеводы послали в Новгород Василия Бутурлина просить Делаярди, чтоб пришел к ним на помощь. Но оный сказал, что он имеет от короля указ оный край от воров оберегать и без указа к Москве идти не смеет и чтоб они о выборе королевича на царство от себя послов к королю послали.

Во Псков приехал Глазун Плещеев и Бегичев, заводчик того воровства, с казаками; оный Бегичев, довольно прежде того вора зная, объявил во весь народ, якобы он есть подлинный царь Дмитрий, который в Тушине был и от поляков ушел; которому всем народом поверили. Колычев же, видя обман оный и сожалея о своей крайней дерзости, что при Москве воевод возмущением простого люда присягать ему заставлял, но не смея уже противиться, советовался с воеводою князем Иваном Федоровичем Хованским, как бы его взять. И вскоре взяв его, во весь народ воровство то объявив и его обличив, свезли к Москве, а советников его посажали в тюрьмы.

В Нижнем Новгороде уведали люди, что вор в Калуге убит, а поляки Москву разоряют, воеводы же, столь долгое время стоя, за своими злобами только людей мучат и разоряют, а дела настоящего нисколько нет, тогда один из купечества мясник Козьма Минин сын, по прозванию Сухорук, видя такое тяжкое Российского государства разорение и предлежащий страх к конечному падению, ревностию возгоревшись, однажды придя в собрание граждан начал всем говорить: «Мужики, братья, вы видите и ощущаете, в какой великой беде все государство ныне находится и какой страх впереди, что легко можем в вечное рабство поляков, шведов или татар попасть. Чрез что не только имения, но и жизни многие уже лишились, и впредь еще более все обстоятельства к тому, а кроме того к утеснению и разорению законов российских и веры восточной церкви утеснению и разорению предстоит. А причина тому не иная, как от великой зависти и безумия, в начале между главными государственными управители происшедшая злоба и ненависть, которые, забыв страх Божий, верность к отечеству и свою честь и славу предков своих, один другого гоня, неприятелей отечества в помощь призвали чужестранных государей, тот польского, другой шведского. Иные же различных воров, чернецов, холопов, казаков и всяких бездельников царями и царевичами именовав, как государям крест целуют. А, может, кто еще татарского или турецкого для своей только малой и скверной пользы избрать похочет. Которые, войдя, уже Москву и другие многие города с обеих сторон побрали, казну столь великую, за многие годы разными государями собранную, растащили, дома знатных, церкви и монастыри разорили и разоряют. Воеводы же, собравшись с войсками на очищение Москвы, собрав с городов немалые деньги, вместо того чтобы, войдя в согласие, вместе неприятеля побеждать, между собою, поскольку не имущие начальника, друг друга безумной гордости ради не слушают, в деле общем не помогают и друг на друга нападают и побивают, от которых никакой пользы получить надежды не имеем и иметь не можем. Однако ж ослабевать и унывать не надобно, но, призвав в помощь всецед-рого Бога, свой ревностный труд прилагать и, войдя в согласие единодушно, оставив свои прихоти, своего и наследников своих избавления искать, не щадя имения и жизни своей. Правда, может некто сказать: что

мы можем сделать, не имея ни денег, ни войска, ни воеводы способного? Но я мое намерение скажу. Мое имение, все, что есть, без остатка готов я отдать в пользу, и сверх того, заложив дом мой, жену и детей, готов все отдать в пользу и услугу отечества. И готов лучше со всею моею семьею в крайней бедности умереть, нежели видеть отечество в поругании и во врагов обладании. И ежели мы все равное намерение возымеем, то мы денег, по крайней мере к началу, довольно иметь можем, а затем, видя нашу такую к отечеству верность, другие от ревности или за стыд и страх помогать будут. Что воеводы касается, то имеем здесь вблизи мужа искусного и храброго князя Дмитрия Михайловича Пожарского, который для излечения от ран живет в своей деревне. Ежели его будем просить, войско, что есть, и деньги ему вручим, то надеюсь, что он с охотою примет. И так как его в войске всегда любили и его храбрые поступки везде известны, то к нему войска довольно собраться может. И ежели сие так исполните, то я вас уверяю, что мы с помощью всемогущего Бога можем легко большую более всех богатств спокойность совести и бессмертную славу себе и своим наследникам присовокупить, врагов погубить и невинно проливающих кровь нашу мятежников усмирить».

Сия речь оного столь простолюдного человека настолько всем военным, как и гражданам полюбилась, что все единодушно в согласие пришли, и не продолжая, написав постановление, чтоб все имения свои на помощь отечеству под присягою, кто что имеет, отдать и сверх того дома, жен и детей закладывая, где можно деньги и запасы собрать. К Пожарскому же отправили архимандрита печерского и с ним несколько знатнейших людей, при том же, как начинателя оного, Козьму Сухорукова с подписанным постановлением, и велели его со слезами просить, обещаясь всем городом в его повелении быть. Оные же, приехав к Пожарскому, едва только могли со слезами поведенное выговорить. Не ожидая от них просьбы, забыв свою тяжкую рану, вспрынув с постели, как лев готовый на лов, со слезами, обьяв их, целовал и, верность их к отечеству похваляя, сказал, что он совсем на оное готов. И ежели кто может ему деньги дать, то он сейчас, заложив или продав свое имение без остатка, вместе с ними употребит. Видя же ревность и мужественный поступок оного Сухорукого, просил нижегородцев, чтоб его дали ему в помощь для совета и ему б все деньги и припасы поверили. С которым оные, возвратясь, всем обьявили, и по желанию Пожарского того Козьму Минина Сухорукого определив, все стали готовить. А Пожарский после отпуска оных немедленно послал во все города ближние о том известие, обьявляя нижегородцев к отечеству радение, и просил, чтоб ему в том, как верные чада отечества, вспомогали. И между тем, как возможно, с поспешностью собирался, и к нему уведавшие ближних мест шляхетство собралось, с которыми он поехал к Нижнему. По городам, получив сие известие, тотчас стали собирать деньги и войска и к нему отправлять. Во первых, на пути к Нижнему приехали к нему из Арзамаса смоленчане, а в Нижнем дорогобужане, потом рязанцы, коломнятины, низовые и других многих городов приезжали. Только в Казани дьяк Никанор Шульгин, желая сам Казанью завладеть, ничего в Нижний не отпустил, но, обманывая, писал, что вскоре все войска и денег, сколько можно собрав, отправит. Но Пожарский, уведав злое намерение его, собравшись насколько скоро возможно, пошел из Нижнего к Болохне, имея не более как до 2000 человек.

В Москве, уведав сие собрание, принуждали патриарха Гермогена к Пожарскому писать, чтобы он к Москве не ходил и против своей присяги королевичу не противился. Но патриарх, презрев тяжкое себе утеснение и угрозы мучительские, сказал им: «Ежели по учиненному между нами договору королевич все исполнит, а особенно ежели закон примет,

то я готов к Пожарскому писать и надеюсь, что он свое клятвенное обещание сохранит и не только против королевича ничего делать не будет, но скорее, как верный раб, служить ему будет». И хотя поляки патриарху представляли, что они тотчас о том будут к королю писать, обещаясь, ежели король того исполнить не похочет, то они, сами с русскими договор учинив, вон выдут. Сие патриарху довольно известно было, что король сына отпустить и договоров заключать никак не хотел. А особенно видя присланное от митрополита Филарета о выборе государя письмо его уверяло, и рассудив, что поляки, разграбив казну всю, хотят только растягиванием времени весьма Российским государством силою завладеть, во всем им отказал и тайно к Пожарскому с возбуждением к обороне отечества писал. На что поляки, осердясь, патриарха Гермогена голодом уморили, и умер он февраля 17 дня.

Заруцкий, будучи с Трубецким в несогласии, что тот Маринина сына за государя признать не хотел, и опасаясь, чтоб Пожарский, усилившись, оную Марину с сыном не выгнал, послал Ивана Просовецкого с казаками, велел Ярославль захватить.

К Пожарскому же в Болохне пришел Матфей Плещеев с войском, а болохонцы дали денег и запасов, сколько могли, по своей воле, что также и в Юрьеве Повольском граждане учинили, и многие дворяне с разных городов приезжали. А также пришли с Низу мурзы с юртовыми татарами, чрез что его войско каждодневно стало умножаться. А поскольку он войско довольствовал и содержал в страхе, не допуская никаких обид делать, того ради везде его с радостью ожидали. На Решме встретили его присланные из Владимира от Артемия Васильевича Измайлова и сказали, что посланные из московских полков во Пскове Колычев с воеводою Хованским вора, называющегося царем Дмитрием, взяв, привезли в Москву, который уже долгое время в оковах. А также уведал он, что Просовецкий хочет Переславль захватить, и послал наскоро брата своего князя Дмитрия Петровича Лопату Пожарского, и оный, придя в Ярославль, казаков присланных в Ярославле переловил, а Просовецкий, уведав, поворотился в Переславль.

Воеводы, при Москве стоящие, князь Трубецкой и Заруцкий писали к Пожарскому, что они от псковичей обмануты и от возмущенных казаков вору псковскому крест целовать принуждены были, но одного вора взяли и прочее. При том же просили, чтоб он шел к Москве и, с ними совокупясь, об очищении Москвы старался. Потому Пожарский и Минин, рассудив, что им, не очистив от бунтовщиков городов и не выгнав казаков, которые более Марине с сыном радели, идти к Москве с малым войском было небезопасно, чтобы Заруцкий не принудил их по своей воле поступать. Однако ж, не желая их прежде времени оскорблять, ответствовали к ним с обнадеживанием, что, собрав запасов, тотчас будут к ним в помощь. Потом пошел Пожарский на Кинешму, а оттуда на Кострому, где тогда был воевода Иван Шереметьев. И оный Пожарского пустить не хотел, но Пожарский, уведав, придя, прямо стал на посаде и послал в город объявить его намерение. Потому костромичи, возмутясь, едва воеводу не убили, ежели б Пожарский их от того не уговорил; и по просьбе их дал им воеводу князя Романа Гагарина да дьяка Андрея Подлесова. Тут же пришли из Суздаля и просили, чтоб Пожарский дал им воеводу от себя, потому он послал князя Романа Петровича Пожарского. А Просовецкого казаки, уведав, ушли из Суздаля, не дождавшись воеводы. Костромичи, собрав свое войско и казны денежной более всех городов вручив Пожарскому, с честью его проводили к Ярославлю. А в Ярославле его встретили с великою радостью, где он, стоя, посылал по городам указы о сборе денег и войска, и по оным отовсюду к нему собирались.

В Угличе стоя тогда казаки немалое препятствие ему делали, а также в Пешехонье Василий Толстой с казаками многие пакости делал.

Новгородцы, отправив свое посольство в Швецию, долгое время отповеди получить не могли, потому что у короля Карла то же намерение было, как бы самому оное достать и со Швециею совокупить. И ради того он объявил, что, закончив с датским королем войну, немедленно сам к Новгороду для окончания договоров будет. Но после смерти короля вступив, сын его Густав Адольф предложил на сейме, где сие предложение принято за полезное, и согласились отпустить брата королевского Карла Филиппа и о том послам объявили. Однако ж то приятное письмо от короля, в котором он объявил, что когда в Швеции дела свои у правит, немедленно сам к ним будет, новгородцев привело в великое сомнение. А король, не желая так желаемого себе государства брату своему допустить, после того целый год его отъезд задерживал и никакой отповеди в Новгород более не давал. И потому русские легко могли догадаться, что король хочет оба государства совокупить, чему никак статья невозможно. Притом же Делагарди великие поборы в заплату требуемого долгу наложил. О чем Пожарский желая обстоятельно ведать, а наиболее опасаясь, чтоб Делагарди ему против поляков и бунтовщиков не помешал, по совету с князем Дмитрием Матрюковичем Черкасским и другими воеводами послали в Новгород к наместнику князю Одоевскому и митрополиту, а также к шведскому генералу Понтусу Делагарди Стефана Лазорева сына Татищева с письмами, в которых объявили, что они идут Москву от поляков очистить, а против шведов никакого неприятельского намерения не имеют, и просили у них помощи. Притом же велели ему объявить и о королевиче: ежели он полезный договор сделает, то они все его на царство с охотою принять готовы. После прибытия оных в Новгороде, приняв их с честью, сделали совет. И по довольном рассуждении всех обстоятельств оного Татищева с товарищами, дав к Пожарскому с товарищами от наместника, митрополита и Делагарди письма, отпустили. И за ним апреля 12 числа отправили от себя послов князя Федора Оболенского да игумена и от всех пяти концов и пятин по человеку с объявлением, что они по согласию с московскими боярами и воеводами избрали королевича, и просили, чтоб воеводы с ними в том согласились. Пожарский же с товарищами, уздав от Татищева, что король договоров тех учинить не хочет и надежды никакой нет, согласился на тех условиях, что ежели король все договоры, представленные от русских, исполнит, они принять готовы и, в том подписавшись, послов новгородских отпустили, послав с ними Перфилья Секерина с грамотою.

Тогда пришли к Пожарскому посланный от него в Казань Иван Биркин да казанский голова Лукьян Мясной с войском, которые, идучи от Казани, многие обиды и разорения делали, в чем на них от дворянства, на Биркина, жалобы были. За что воеводы хотели тех обидчиков наказывать, а казанцы вступились, и сделалось такое смятение, что едва до бою не дошло. И потом Биркин со многими казанцами уехал, а голова Мясной остался и с ним человек с 200.

Пожарский, слыша, что черкасы стоят в Антоньевом монастыре, послал на них князя Дмитрия Матрюковича Черкасского да князя Ивана Федоровича Троекурова, и от оных, в походе изменив, смоленчанин Юрий Потемкин черкасам дал знать, потому оные ушли. А князь Черкасский, поворотясь, стал в Кашине. Тогда же Пожарский послал на Василия Толстого князя Дмитрия Лопату Пожарского, и оный казаков многих побил, а Василий Толстой ушел к Черкасскому в Кашин. Потом князь Дмитрий Лопата Пожарский пришел к Черкасскому в Кашин, и Черкасский, пойдя к Угличу, послал казаков уговаривать, чтоб

принесли повинную и к нему пришли, объявляя, что под Москвою воеводы с ними в согласие пришли. Но казаки, следуя повелению Ружинского, выйдя из города, стали с ним биться. Другие же, рассудив, что им нет причины с русскими биться, переехали к Черкасскому, а остальных противящихся Черкасский разбил, из которых мало ушли.

Тогда же в Ярославле у воевод учинился великий спор и несогласие, что многие Пожарского слушать не хотели и один другому первенства уступить не хотел. Из-за чего призвали бывшего тогда в Ростове митрополита Кирилла, который, прибыв, добрыми своими поступками и рассуждениями представляя, какой из того государству вред и им вечное бесчестие, а кроме того от всего народа ненависть произойти может, что они, оставив общих государственных врагов, из-за одной проклятой спеси и вредительного собственного любочестия и властолюбия междоусобие возжигают, из которого никому больше, как неприятелям общим, польза произойти может, и напоследок, не желая на время своему равному брату покориться, вечными рабами поляков или шведов станут. Чрез что он всех их примирил; и по согласию всех, а особенно по представлению митрополита и просьбе дворян, дали полную власть над всем войском князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому да Кузьме Минину, как начинателю того дела, которого советы всегда столько были сильны, что бояре редко что его хотели опровергнуть. Однако ж Пожарскому положили о всех предприятиях со всеми воеводами советовать, которых было человек более десяти, а в тайных советах быть только Хованскому, Троекурову и Черкасскому с ними.

Тогда ж прислали к воеводам переславцы просить, чтобы их от казаков Заруцкого оборонить, потому послали Ивана Федоровича Наумова с войском, и оный, выгнав казаков, город укрепил. Зарудкий же, видя, что Пожарский с ним не в согласии, умыслил злодейским коварством оному доброму намерению помешать, а свое исполнить, выбрал двух человек казаков, Обрезка да Стеньку, которым велел с прежде посланными от него казаком Иваном Датковичем и 5-ю смоленскими стрельцами, Ошалде с товарищами и рязанцу Семену Жданову, обещав им великое награждение, ежели войско возмутят или Пожарского умертвят. Которые, придя в Ярославль и согласясь с оными единомышленниками, после многих разговоров видя, что всем войском Пожарского любят и к возмущению способа нет, умыслили, между людьми к нему приблизясь, ножом зарезать. Однажды же случилось Пожарскому быть на съезжей избе для разбирательства некоторых дел, и встав, выйдя, у дверей, смотрел на народ. Между многими людьми возле него стоял один казак, желая его под руку с крыльца свести. Тогда оный присланный от Заруцкого казак Стенька, протеснясь между людьми, бросившись на него, ударил ножом, но, не попав в Пожарского, поколол одного казака Романа, который тотчас упал. Князь Дмитрий же, не видя того и думая, что Роман от тесноты упал, хотел вон выступить, но люди стоящие, видя то, его не пустили, сказав, что хотят его убить. И взяв немедленно одного Стеньку, тотчас стали его пытаться, который все то умышление подробно сказал и своих единомышленников объявил. И оных, переловив, всех хотели казнить, но Пожарский упросил и разослал их в города по тюрьмам, а Стеньку с товарищем, оковав, взял к Москве для обличения Заруцкого, которые пред всем войском при Москве то объявили и отпущены все на волю.

Вскоре потом прислали от Москвы князь Трубецкой и Заруцкий от себя с известием, что гетман Хоткевич идет с войском к Москве, и просили, чтоб воеводы к ним в помощь поспешили и одного не пропустили. Пожарский же, одарив, присланных отпустил, а сам стал наспех в поход готовиться. И вскоре послал князя Дмитрия Петровича Пожарского с войском, велел ему, построив острог, стать у Тверских ворот. Прежде одного к Трубецкому

пришли украинских городов войска и стали у Никитских ворот. Но видя себе от казаков Заруцкого великие обиды, послали Ивана Кондырева да Ивана Бегичева к Пожарскому просить, что им от казаков великие обиды, и ежели скоро помощь не придет, то они принуждены отступить из-за того, что казаки, грабя по дорогам их обозы, с голоду поморили. Оных присланных хотя прежде довольно многие люди и воеводы знали, но тогда от великой худобы узнать их никто не мог, поскольку уже долгое время, почитай, все травую питались. Пожарский же, дав им запасов, сукон и денег, отпустил, обнадежив, что вскоре будет. И потом сам со всем войском поднявшись, ночевал от Ярославля в семи верстах и, доверив все войско князю Ивану Андреевичу Хованскому и Минину, велел им идти к Ростову, сам поехал в Суздаль по обещанию молиться. В города же еще послал указы, чтоб войско собиралось, а также деньги и запасы везли. И поворотясь в Ростов, видя что войско в отлучении его несколько умножено и запасов в привозе довольство, и слыша же, что шведские войска некоторые города побрали, опасаясь, чтоб они более не захватили, послал на Белоозеро Григория Образцова с войском, велел ему тамошние места оберегать, однако ж где уже шведы стоят, на них не ходить.

В Москву приехавшие Кондырев с товарищами весьма войско обрадовали. Но Заруцкий, видя что ему нехорошо быть имеет, с единомышленниками своими и многими казаками ушел в Коломну, где взяв Марину с сыном и сжегши Коломну, а жителей обвинив в измене, пошел на Рязань, разоряя многие места, и стал в Михайлове. Польские же и шведские историки сказывают, что он с Мариною венчался. От Заруцкого же оставшиеся при Москве казаки, опасаясь от Пожарского на себя гнева, послали от себя атамана Кузьму Волкова с товарищами к Пожарскому якобы просить о немедленном приходе, а действительно уведать, в каком он намерении идет и нет ли на них какого умышления, которые застали его в Ростове. И оные, дав им некоторое жалованье, обнадежив всякою милостию, отпустили, а сами пошли к Троицкому монастырю. Которым навстречу из монастыря вышли воеводы и власти с крестами. И воеводы стали между монастырем и Климентьевой слободой, хотели тут отдохнуть. Но получив известие, что гетман Хоткевич уже близ Москвы, тотчас поднявшись, пошли, а наперед послали князя Василия Ивановича Туренина и велели ему стать у Чертольских ворот. Сами же, придя, ночевали на Яузе, где встретили их от Трубецкого многие люди и просили от Трубецкого, чтоб Пожарский стал с ним вместе. Но воеводы, ведая, что Трубецкой захочет иметь первенство, а другие его слушать не захотят, а особенно Пожарский не хотел сам той чести уступить, отказали, якобы опасаясь дворянство с казаками вместе поставить, между которыми уже издавна согласия нет, потому что в казаках более всего беглых холопов и крестьян. А на следующий день, поднявшись рано, он пошел прямо к Арбатским воротам. И Трубецкой, сам его встретив, снова к себе звал, но в том также получил отказ, из-за чего тайно произошла между ними злоба. И в тот же день Пожарский сделал около себя окоп, а про гетмана проведывать послал по всем дорогам.

На утро же августа 21, прибежав, посланные сказали, что гетман ночевал в тереме, идет за ними. Который в тот же день стал на Поклонной горе, а 22 числа перешел он Москву реку у Девичьего монастыря и стал у Пречистинских ворот. Но Пожарский тотчас пошел навстречу к нему со всем войском, а Трубецкой стал за Москвою рекою у Крымского брода, прислал к Пожарскому просить в прибавку войска, чтоб ему можно было через реку поляков в смятение привести. Потому Пожарский немедля послал 5 лучших сотен конницы. И был бой у Пожарского с гетманом с утра до 8 часа, то есть до третьего часа пополудни, где только была одна Пожарского конница, а Трубецкой не помог, и казаки, смотря на оное из-

за реки, смеялись и поносили Пожарского. Пожарский, видя изнеможение, велел нескольким сотням, с коней сойдя, биться пехотою, чрез что с обеих сторон людей множество побили. Видели же посланные к Трубецкому сотни, что Пожарского поляки утесняют против воли Трубецкого, и на них смотрят атаманы Филат Межаков, Афанасий Коломна, Дружина Романов, перейдя через реку, напав на поляков с боку, смяли и многих поляков побили. После чего гетман, перейдя Москву реку, стал у Донского монастыря. В ту же ночь изменник Григорий Орлов провел в Москву от гетмана 600 человек гайдуков, сказав на карауле, якобы по указу воевод ведет пехоту шанцы против города сделать. И поставив их у Егорья в Ендове, сам пошел в город. 23 дня гетман, ведая что уже его люди там есть, пошел к Москве, желая запасы через мост пропустить. Трубецкой же, желая захватить путь ему, стал у Москвы реки от Лужников, а Пожарский у Илии пророка обыденного, послав к Трубецкому в помощь многие сотни, у которых с гетманом был бой с утра до полудни. И гетман Трубецкого сбил и втоптал в Москву реку. Но Пожарский по принуждению товарищей его выручил, потому Трубецкой и казаки отступили в таборы. А гетман стал у церкви Екатерины с обозом, тогда же острог у церкви Климента взял и, порубив казаков, посадил венгров.

Пожарский, видя, что казаки на него осердились и от своих слыша нареkanie, послал казаков уговаривать, чтоб идти на гетмана заодно, но они не хотели того слушать и хотели идти прочь. Тогда же случился при войске Пожарского келарь Троицкого монастыря Авраам Палицын, который, видя безумством воевод людям погибель, поехав в таборы казачьи, просил их, чтоб они, войдя в согласие, на следующий день на гетмана всеми войсками пошли, обещая им из монастырской казны дать довольное жалованье, выручая Пожарского, сколько можно. Потому казаки, послушав, согласились и пошли на гетмана с двух сторон, сначала острог Климентовский взяли и тут венгров 700 человек побили, а в острог посадили пехоту и из-за наступающею ночи отступили каждый в свои таборы, оставив во рвах и ямах пехоту, чтоб гетмана ночью в город не пропустить. А гетман для караулу поставил у Крымского брода роту пехоты, а у Крымского двора для разъезда роту конницы. Сие заметил Козьма Минин и, не сказывая никому, опасаясь измены, просил у воевод, чтоб ему дали некоторое количество людей, объявив им намерение, что они с охотою позволили. Он же, взяв ротмистра Хмелевского да дворян три сотни и переплыв через реку выше поляков, в самой тихости подъехал близко к ним, внезапно напал, и оные две роты побежали к таборам, а Козьма, догоняя, рубил, что слыша, во рвах лежащая пехота туда же побежали. Гетман же, слыша такой великий шум, вскочив с постели, думая, что все войска русские идут, оставив обоз, ушел и остановился у Донской. Тогда от Пожарского и Трубецкого на тот шум многие сами по себе набежали и хотели за гетманом гнать. Однако ж Козьма в такой темноте, не ведая сам, сколько войск с ним, и опасаясь, чтоб гетман, осмотрясь, не поворотился, стал со всеми людьми по городу и велел всю ночь стрелять. Гетман же, всю ночь стоя на лошадях, а поутру неправое получив известие или сам из-за стыда затеяв, пошел назад к Смоленску. А воеводы, разобрав обоз его, стали по своим местам и договорились, что для совета съезжаться на Неглинной.

Тогда черкасы, уздав, что все русские войска под Москвою, пройдя с Низу, город Вологду взяли и сожгли. Сие слыша, воеводы велели из Владимира окольного Измайлову идти к Вологде на черкас, и ежели к городу английские войска пришли, чтоб их принял и отправил в Москву. Он же, придя на Вологду, черкас многих побил, а остальных разогнал, сам пошел с малым числом людей к городу.

При Москве после отбития гетмана воеводы, вступив в Белый город, так поляков в Китае и Кремле заключили, что никому выйти было невозможно, и чрез то учинился им великий голод. И хотя они всех жителей, которые им ненадобны были, ограбив, из города выбили, также боярам и знатным людям жен и детей выслать велели, того ради те просили воевод, чтоб оных приняли в свое защищение, потому воеводы, приняв их с честью, велели проводить в их вотчины, а прочим давали волю, кто куда хочет. Однако ж и с тем всем так учинилось, что всех лошадей, собак и кошек поели, напоследок побитых людей ели. Воеводы, зная такую скудость, надеялись, что поляки скоро сдадутся. Но уздав, что до последнего помереть хотят, сожалея бояр, невинно заключенных, рассудили силу против них употребить. И октября 22, приступив с лестницами кругом, Китай взяли и поляков многих побили. Остальные же поляки и русские изменники ушли в Кремль и заперлись. Но видя себя в крайнем изнеможении, в тот же день прислали просить, чтоб воеводы их приняли и жизни не лишили, а особенно просили, чтоб их не отдавали в полк Трубецкого казакам. Пожарский, не дав об этом знать Трубецкому, приступил к городу к Каменному мосту, где сначала бояре вышли со всеми русскими, которых никто узнать уже не мог, пока кто сам о своем имени не говорил. И хотя поляки тогда ж хотели выходить и город отдать, но казаки, придя со всем их войском, хотели с Пожарским биться, из-за чего принуждены были отступить. 23 дня бояре положили между собою на том, что поляков разделить пополам, а в городе что есть у поляков казенное отобрать и положить в казну, после чего послали к полякам в Кремль четырех человек из воевод обоих полков. И приняв у них казенное сокровище, которое еще цело находилось, и оружие всякое написав на росписи, и поляков выведши, разделили: полковник Будина со всеми знатнейшими шляхтою и всем полком к князю Пожарскому, и оный их всех, разведя по станам, сохранил и разослал по городам под караулы; а полковник Струе со своим полком достался в полк Трубецкого, и оных казаки всех побили. А Сапега прежде взятия от великой печали, видя такое несчастье, умер. И после принятия города вошли бояре и воеводы в пустой оный город с великими слезами и положили для совета съезжаться в дом государев, очистив некоторые покои. А после того очищали и починивали в Москве улицы и дома, поскольку войти было от смрада невозможно. Вскоре после вступления в Москву казаки просили у воевод жалованья, но воеводы им объявили, что казны никакой ныне нет и платить нечего, а ожидали бы оно по исправе; к тому ж хотят учинить смету, сколько они городов пограбили и казны государственной насильно взяли. За что они, осердясь, хотели бояр и воевод побить. Но дворяне, уздав о том, никакого зла учинить не допустили, и едва уже до бою не дошло. После чего бояре и все люди в согласие пришли, что ни королевича, ни вора за государя не принимать и государство всем единодушно до последней капли крови своей защищать. И в том все присягали и во все города о том писали, прося от всех вспоможения.

Король Сигизмунд после такого продолжения и неправедных домогательствах, пребывая сам в смятении мыслей своих, взяв королеву и королевича Владислава, пошел в Вильню, где ее оставив с сыном, пришел к Смоленску. И когда он с войском из Смоленска пошел, тогда упала в воротах железная редка, которую долгое время поднять не могли. И принужден был выйти из города в другие ворота, что ему тогда за злое предвещание многие почитали, как то и действительно явилось, что ему в Москву дорогу заперли, и принужден был со стыдом и великим убытком назад воротиться. Ибо войдя в русские города, уповал везде принятым быть с честью, но везде явились ему неприятели, и вместо хлеба да соли встречали с порохом и свинцом. Крестьяне по лесам и по деревням людей его, где могли, побивали, и

для того в полках его явилась во всем нужда. Не доходя до Вязьмы, встретил его Хоткевич с разбитым войском и сказал, что Москва от русских жестоко осажена, и уже не надеется, чтоб он застал. Потому король из Вязьмы послал в Москву проведать князя Федора Енгальчева с грамотою в Москву, ежели еще не взята. И оною воеводы взяли на третий день после взятия, о приходе королевском уведали и немедленно город к осаде укреплять стали. А в города послали грамоты, чтоб как возможно наискорее запасы по возможности везли. Потому из многих городов отправили и навезли с довольством. А также и жители, которые разошлись, стали собираться. Только в Казани дьяк Шульгин во всем отказал и едва посланных не побил. Между тем король, уздав, что русские Москву взяли и поляков, почитай, всех побили, зло разгневавшись, обещался, взяв бояр и воевод, бывших при том, всех побить. И тотчас из Вязьмы пошел к Погорелому городищу, где тогда был князь Юрий Шеховский с малым числом людей и недостатком припасов. Король же, жестоко несколько раз к оному бездельному и только тыном огороженному месту приступая, не учинив ничего, потеряв более людей, нежели оный городок стоит, пошел с великою злобою к Волоку. Но одумавшись, желая коварством обмануть, от Волока послал к Москве с войском молодого Жолкевского да изменника князя Даниила Мезецкого, который был в послах с Голицыным, и дьяка Ивана Грамотина, велел им бояр и воевод уговаривать. Которые, придя неожиданно к Москве, за городом стали людей хватать. Воеводы же, уздав, тотчас вышли против них с войском, и хотя они прислали сказать, что имеют от короля грамоту и от королевича, но воеводы, видя, что оные многолюдством не для договоров, но для возмущения казаков пришли, сказали им, чтоб прочь шли. И видя, что оные к бою готовиться стали, думая, что русских мало, того ради бояре велели еще войскам выступить и, вступив с ними в бой, почитай, всех побили и полон побрали. С русской же стороны сначала взяли они в полон смоленчанина Ивана Философова, которого спрашивали, какое намерение имеют о королевиче. И оный им сказал, что ни один человек его на царстве иметь не хочет, потому что король учиненные договоры нарушил. Жолкевский, воротясь к королю с малым числом людей, обстоятельно донес. Сие возобновило снова в короле злобу, и велел к Волоку всею силою приступать, где был воевода Иван Коромышев и о защищении города весьма не радея. Что видя, казачий атаман Иван Епанчин снял правление обороной на себя с товарищем своим Маркою Нелюбом. При котором король, на приступах немало людей потеряв и ничего не сделав, пошел назад в Польшу с великою поспешностию и пагубою для людей своих, ибо в пути от стуж и голода многие у него померли и от крестьян побиты; и так от 35 000, которые с ним и Хоткевичем были, едва 8000 возвратилось ли. Бояре, слыша об отходе королевском, писали о том во все города, объявляя, что они все согласились единодушно Российское государство оборонять, а к городу Архангельскому окольному Артемию Васильевичу Измайлову, чтоб пришедших на помощь от англичан немецкие войска, заплатив надлежащее, отпустил обратно.

Тогда же Заруцкий, придя, к Переславлю Рязанскому приступал, но воевода Михаил Бутурлин, выйдя из города, его разбил. От которого он уйдя, взял из Михайлова Марину с сыном, ушел на Украину и там многие места попустошил.

Бояре же и воеводы, видя от поляков и воров безопасность немалую, однако ж опасаясь между собою разногласий, что в безглавном правительстве между равными легко произойти могло, а особенно что главнейший между ними князь Мстиславский от тяжкого в Москве заключения был весьма слаб, стали думать о выборе государя. И некоторые предлагали, чтоб тотчас государя выбирать обретающимися в Москве людьми, представляя, что войска, почитай, из всех городов при Москве, и другие никто спорить не могут. Другие, рассуждая, что в Москве только одно войско под властью их воевод, которые без рассмотрения всех нужных обстоятельств легко могут к представлению воевод своих склониться и за них стоять, чрез что удобно злобе и несогласию снова подастся причина. А наиболее что воеводы, ходя с войсками самовольно, были один другому прежде противными, один другого вотчины разорял и родню его побивал, что легко забыто быть не может. К тому же Новгород, Псков, Казань и другие, а также многие духовные особы и палатные люди жили по разным местам. Ежели их не призвать, то поставят себе за обиду, из чего не лучшее следствие, как выбор Шуйского, явиться может. И потому согласились созвать со всего государства. И о том послали во все города указы, чтоб немедленно духовные власти, шляхетство и знатное купечество собирались, а к Артемию Васильевичу Измайлову, чтоб пришедших на помощь англичан от города обратно с благодарением отпустил и, что надлежит, им заплатил. Потому многие стали съезжаться, из Новгорода приехал наместник князь Иван Никитич Одоевский с некоторыми людьми.

В Швеции король так долго с отпуском брата своего тянул, но получив от Делагарди письмо, что Пожарский с войском к Москве идет, и хотя чрез письма от них уверение получено, но когда они поляков выбьют, то окончательно о королевиче запомнят, и видимая Швеции польза вдруг угаснет. Потому король тотчас писал к Делагарди, что отправит брата своего Карла Филиппа немедленно. Однако ж и того из-за введущейся тогда датскою войны и других обстоятельств не учинил, а особенно потому, что мать оного, поскольку младенца 12-ти летнего, отпустить не хотела. А между тем Понтус Делагарди отправил от себя в Москву объявить, якобы королевич по предписанным ему договорам склонился и идет к Новгороду, а он в заступление Российского государства с войском идти готов, куда повелят.

1613. В Москве бояре и прочие станы, собравшиеся для избрания, долгое время о выборе рассуждая и представляя разных особ, в согласие прийти не могли. Однако ж между тем прибывшему от Делагарди сказали, что они ныне помощи от него никакой не требуют, только просят, чтоб он, оставив города русские, выступил за границы и тем бы вольному выбору не мешал, поскольку и ныне многие поставляют, якобы он силою королевича на царство посадить хотел, что людей приводит в противное мнение. И может он видеть, что за взятие Смоленска все, присягав; от королевича польского отреклись и говорить о нем больше запретили, что легко и с ними статья может, ежели он не выступит, поскольку оное не соответствует договорам. А когда он выступит, то конечно без противности о королевиче представлять будет свободно. И ежели кого выберут, то им немедленно пришлют известие. И с тем оных присланных отправили. В выборе же видели казаки и стрельцы несогласие между боярами, подали от себя на письме, что они хотят иметь на царстве Михаила Федоровича Романова, сына митрополита Филарета, утверждая его свойством с царем Иоанном Васильевичем и сыном его царем Феодором, поскольку отца Филарета Никиты Романовича Юрьева сестра Настасья Романовна была первая супруга царя Иоанна, а мать царя Федора, потому Филарет брат двоюродной был царю Феодору Иоанновичу. К тому же

представляли, что от него никакой опасности нет, поскольку человек молодой и ни с кем никакой вражды иметь случая ему не было. С чем все духовные, а потом и весь народ согласился. И оное марта 1 числа на миру положив, отпев молебен, послали к матери его на Кострому в Федоровский монастырь просить архиепископа рязанского Феодорита, из бояр дядю его Федора Ивановича Шереметьева, который женат был на сестре Филарета Никитича, да с ними чудовского архимандрита Троицкого монастыря келаря Палицына и Спасского монастыря архимандрита, двух окольных стольников, дьяков и дворян, а также голов от казаков и стрельцов многое число. Михаил же Феодорович жил тогда в Костромской своей вотчине. И по приближении к Костроме архиепископ со властями, остановившись за версту в селе Новоселках, облеклись в церковные одежды, со святыми иконами пошли в город, которых также протопоп с иконами и весь народ встретил на устье речки Костромы, а пошли прямо в монастырь. И государь с матерью встретили их у монастырских святых ворот. Тогда вышел в монастырь архиепископ от всего духовенства, а боярин с товарищами от всего народа просили иночицу Марфу Ивановну, чтоб благоволила, сына своего отпустила на царство, а также и его просили. Она же, видя многих государей несчастье и народа еще волнение, что два королевича избраны и присягами в том обнадежены, а сверх того вора, Маринкина сына, с войском на Украине того ж домогающегося, а сына своего еще в самой младости, которому еще 17-ти лет не исполнилось, опасаясь, что ему таким великим государством править и от такого множества внешних и внутренних врагов защищать было опасно, а еще более, что казна государственная вся растащена и народ, столь многие годы разоряясь, как в военных людях, так и в имениях истощал, презрел всего народа такую прилежную просьбу и от всех изливаемые слезы, просьбу их отвергла, и отказала.

Тогда присланные, сочинив грамоту от лица всего народа с обещанием его до последней возможности защищать и во всем быть ему покорным и утвердив тяжкою клятвою, им объявили и снова с крайним прилежанием просили. Она же, не в силах более им противиться, марта 14 дня привела сына своего к церкви к святому алтарю и, поставив его у образа Богородицы, с великими слезами сказала: «Вот сын мой, которого отдаю в руки матери Божией, которого вы возьмете от нее на ваши души. И ежели что зло учините, Всевышний Творец и пресвятая Богородица будут вам судья». И благословив сына своего, отступила. Архиепископ же, подступив, возложил на него присланный из Москвы животворящий крест, а боярин подал царский жезл. И тогда весь народ с великою радостью поздравили и, учинив крестное целованье, руку целовали. А в Москву послали с известием и грамотою, по которой также, все единодушно целовав крест, послали по городам. В городах же везде без всякого прекословия тому последовали. Только казанский дьяк Никанор Шульгин, будучи тогда с войском в Арзамасе, сам присягать не хотел и войску не велел. Но видя, что войско, не послушав его, присягает, уехал в Казань, желая народ возмутить. Но когда и там его не послушали, то он уехал в Свияжск. Казанцы же, послав за ним и взяв в Свияжске, сослали в Москву, а из Москвы сослан в Сибирь в заточение.

Николай Карамзин

ЦАРСТВОВАНИЕ ФЕОДОРА БОРИСОВИЧА ГОДУНОВА

Г. 1605

Еще россияне погребли Бориса с честью во храме Св. Михаила, между памятниками своих венценосцев варяжского племени; еще духовенство льстило ему и в могиле: святители в окружных грамотах к монастырям писали о беспорочной и праведной душе его, мирно отшедшей к Богу! Еще все, от патриарха и синклита до мещан и земледельцев, с видом усердия присягнули «царице Марии и детям ее, царю Феодору и Ксении, обязываясь страшными клятвами не изменять им, не умышлять на их жизнь и не хотеть на государство московское ни бывшего великого князя тверского, слепца Симеона, ни злодея, именующего себя Димитрием; не избегать царской службы и не бояться в ней ни трудов, ни смерти». Достигнув венца злодейством, Годунов был однако ж царем законным: сын естественно наследовал права его, утвержденные двукратною присягою, и как бы давал им новую силу прелестию своей невинной юности, красоты мужественной, души равно твердой и кроткой; он соединял в себе ум отца с добродетелию матери и шестнадцати лет удивлял вельмож даром слова и сведениями необыкновенными в тогдашнее время: первым счастливым плодом европейского воспитания в России; рано узнал и науку правления, отроком заседал в Думе; узнал и сладость благодеяния, всегда употребляемый родителем в посредники между законом и милостию. Чего нельзя было ожидать государству от такого венценосца? Но тень Борисова с ужасными воспоминаниями омрачала престол Феодоров: ненависть к отцу препятствовала любви к сыну. Россияне ждали только бедствий от злого племени, в их глазах опального пред Богом, и страшась быть жертвою Небесной казни за Годунова, не устрашились подвергнуться сей казни за преступление собственное: за вероломство, осуждаемое уставом Божественным и человеческим.

Еще Феодор, столь юный, имел нужду в советниках: мать его блистала единственно скромными добродетелями своего пола. Немедленно велели трем знатнейшим боярам, князьям Мстиславскому, Василию и Дмитрию Шуйским, оставить войско и быть в Москву, чтобы правительствовать в синклите; возвратили свободу, честь и достояние славному Вольскому, чтобы также пользоваться его умом и сведениями в Думе. Но всего важнее было избрание главного воеводы: искали уже не старейшего, а способнейшего, и выбрали — Басманова, ибо не могли сомневаться ни в его воинских дарованиях, ни в верности, доказанной делами блестящими. Юный Феодор в присутствии матери сказал ему с умилением: «служи нам, как ты служил отцу моему» — и сей честолюбец, пылая (так казалось) чувством усердия, клялся умереть за царя и царицу! Басманову дали в товарищи одного из знатнейших бояр, князя Михаила Катырева-Ростовского, доброго и слабодушного. Послали с ними и митрополита новгородского, Исидора, чтобы войско в его присутствии целовало крест на имя Феодора. — Несколько дней прошло в тишине для столицы. Двор и народ торжественно молились о душе царя усопшего; го-раздо искреннее молились истинные друзья отечества о спасении государства, предвидя бурю. С нетерпением ждали вестей из кромского стана — и первые донесения новых воевод казались еще благоприятными.

Невидимо держа в руке судьбу отечества, Басманов 17 апреля прибыл в стан и не нашел там уже ни Мстиславского, ни Шуйских; созвал всех, чиновников и рядовых, под знамена; известил их о воцарении Феодора и прочитал им грамоты его, весьма милостивые: юный монарх обещал верному, усердному войску беспримерные награды после сорочин Борисовых. Сильное внутреннее движение обнаружилось на лицах: некоторые плакали о царе усопшем, боясь за Россию; другие не таили злой радости. Но войско, подобно Москве, присягнуло Феодору. С сим известием митрополит Исидор возвратился в столицу: сам Басманов доносил о том... а через несколько дней узнали его измену!

Удивив современников, дело Басманова удивляет и потомство. Сей человек имел душу, как увидим в роковой час его жизни; не верил Самозванцу; столь ревностно обличал его и столь мужественно разил его под стенами Новагорода Северского; был осыпан милостями Бориса, удостоен всей доверенности Феодора, избран в спасители царя и царства, с правом на их благодарность беспредельную, с надеждою оставить блестящее имя в летописях — и пал к ногам расстриги в виде гнусного предателя! Изъясним ли такое непонятное действие худым расположением войска? Скажем ли, что Басманов, предвидя неминуемое торжество Самозванца, хотел ускорением измены спасти себя от унижения: хотел лучше отдать и войско и царство обманщику, нежели быть выданным ему мятежниками? Но полки еще клялися именем Божиим в верности Феодору: какую новою ревностию мог бы одушевить их воевода доблий, силою своего духа и закона обуздав зломысленников? Нет, верим сказанию летописца, что не общая измена увлекла Басманова, но Басманов произвел общую измену войска. Сей честолюбец без правил чести, жадный к наслаждениям временщика, думал, вероятно, что гордые, завистливые родственники Феодоровы никогда не уступят его ближайшего места к престолу, и что Самозванец безродный, им (Басмановым) возведенный на царство, естественно будет привязан благодарностию и собственною пользою к главному виновнику своего счастья: судьба их делалась нераздельною — и кто мог затмить Басманова достоинствами личными? Он знал других бояр и себя: не знал только, что сильные духом падают как младенцы на пути беззакония! Басманов, вероятно, не дерзнул бы изменить Борису, который действовал на воображение и долговременным повелительством и блеском великого ума государственного: Феодор, слабый юностию лет и новостию державства, вселял смелость в предателя, вооруженного суемудрием для успокоения сердца: он мог думать, что изменою спасает Россию от ненавистной олигархии Годуновых, вручая скипетр хотя и Самозванцу, хотя и человеку низкого происхождения, но смелому, умному, другу знаменитого венценосца польского, и как бы избранному Судьбою для совершения достойной мести над родом святоубийцы; мог думать, что направит Лжедмитрия на путь добра и милости: обманет Россию, но загладит сей обман — ее счастьем! Может быть, Басманов выехал из столицы еще в нерешимости, готовый действовать по обстоятельствам, для выгод своего честолюбия; может быть, он решился на измену единственно тогда, как увидел преклонность и воевод и войска к обманщику. Все целовали крест Феодору (ибо никто не дерзнул быть первым мятежником), но большею частию с нехотением или унынием. И те, которые дотоле не верили мнимому Димитрию, стали верить ему, будучи поражены незапною смертию Годунова и находя в ней новое доказательство, что не Самозванец, а действительно наследник Иоаннов требует своего законного достояния: ибо Всевышний — как они думали — несомнительно благоволил о нем и ведет его, чрез могилу хищника, на царство. Заметили также, что в присяге Феодоровой Самозванец не был именован Отрепьевым: слагали ее, вероятно, без умысла, написали единственно: клянемся

не приставать к тому, кто именует себя Димитрием. «Следственно, — говорили многие, — сказка о беглом диаконе чудовском уже торжественно объявляется вымыслом. Кто же сей Димитрий, если не истинный?» Самые верные имели печальную мысль, что Феодору не удалось удержаться на престоле. Такое расположение умов и сердец обещало легкий успех измене: Басманов наблюдал, решился и, готовя Россию в дар обманщику, без сомнения удостоверился, посредством тайных сношений, в его благодарности.

Оставленный на свободе в Путивле, Лжедимитрий в течение трех месяцев укреплял свои города и вооружал людей; писал к Мнишку, что надеется на счастье более, нежели когда-нибудь; посылал дары к хану, желая заключить с ним союз; ждал новых сподвижников из Галиции и был усилен дружиною всадников, приведенных к нему Михаилом Ратомским, который уверял его, что вслед за ним будет и воевода сендомирский с королевскими полками. Но только смерть Борисова, только измена воевод царских могла исполнить дерзкую надежду расстриги: о первой сведал он в конце апреля от беглеца дворянина Бахметева; о второй в начале мая, вероятно, от самого Басманова — и с того времени знал все, что происходило в стане кромском.

Отдав честь мужа думного и славу знаменитого витязя за прелесть исключительного вельможства под скиптром бродяги, Басманов, уверенный в сей награде, уверил в ней и других низких самолюбцев: боярина князя Василия Васильевича Голицына, брата его, князя Ивана, и Михаила Глебовича Салтыкова, которые также не имели ни совести, ни стыда и также хотели быть временщиками нового царствования в воздаяние за гнусное злодейство. Но и злодеи ищут благовидных предлогов в своих ковах: обманывая друг друга, лицемеры находили в Лжедимитрии все признаки истинного, добродетели царские и свойства души высокой; дивились чудесной судьбе его, ознаменованной Перстом Божиим; злословили царство Годуновых, снисканное лукавством и беззаконием; оплакивали бедствие войны междоусобной и кровопролитной, необходимой для удержания короны на слабой главе Феодоровой, и в торжестве расстриги видели пользу, тишину, счастье России. Они условились в предательстве и спешили действовать. Еще несколько дней коварствовали втайне, умножая число надежных единомышленников (между коими отличались ревностию боярские дети городов Рязани, Тулы, Коширы, Алексина); успокаивали совесть людей малоумных, недаленовидных, твердя и повторяя, что для россиян одна присяга законная: данная ими Иоанну и детям его; что новейшие, взятые с них на имя Бориса и Феодора, суть плод обмана и недействительны, когда сын Иоаннов не умирал и здравствует в Путивле. Наконец, 7 мая, заговор открылся: ударили тревогу; Басманов сел на коня и громогласно объявил Димитрия царем московским. Тысячи воскликнули, и рязанцы первые: «Да здравствует же отец наш, государь Димитрий Иоаннович!» Другие еще безмолвствовали в изумлении. Тогда единственно проснулись воеводы верные, обманутые коварством Басманова: князя Михаила Катырев-Ростовский, Андрей Телятевский, Иван Иванович Годунов; но поздно! Видя малое число усердных к Феодору, они бежали в Москву, вместе с некоторыми чиновниками и воинами, россиянами и чужеземцами: их гнали, били; настигли Ивана Годунова и связанного привели в стан, где войско в несчастном заблуждении торжествовало измену как светлый праздник отечества. Никто не смел изъявить сомнения, когда знаменитейший противник Самозванца, Герой Новагорода-Северского, уже признал в нем сына Иоаннова — и радость, видеть снова на троне древнее племя царское, заглушала упреки совести для оболыщенных вероломцев!.. В сей памятный беззаконием день первенствовал Басманов дерзким злодейством, а другой изменник подлым лукавством:

князь Василий Голицын велел связать себя, желая на всякий случай уверить Россию, что предается обманщику невольно!

Нарушив клятву, войско с знаками живейшего усердия обязалось другою: изменив Феодору, быть верным мнимому Димитрию, и дало знать атаману Кореле, что они служат уже одному государю. Война прекратилась: кромские защитники выползли из своих нор и братски обнимались с бывшими неприятелями на валу крепости; а князь Иван Голицын спешил в Путивль, уже не к царевичу, а к царю, с повинною от имени войска и с узником Иваном Годуновым в залог верности. Лжедимитрий имел нужду в необыкновенной душевной силе, чтобы скрыть свою чрезмерную радость: важно, величаво сидел на троне, когда Голицын, провождаемый множеством сановников и дворян, смиренно бил ему челом, и с видом благоговения говорил так: «Сын Иоаннов! Войско вручает тебе державу России и ждет твоего милосердия. Обольщенные Борисом, мы долго противились нашему царю законному: ныне же, узнав истину, все единодушно тебе присягнули. Иди на престол родительский; царствуй счастливо и многие лета! Враги твои, клеветы Борисовы, в узах. Если Москва дерзнет быть строптивою, то смирим ее. Иди с нами в столицу, венчаться на царство!..» В сей самый час, по известию летописца, некоторые дворяне московские, смотря на Лжедимитрия, узнали в нем диакона Отрепьева: содрогнулись, но уже не смели говорить и плакали тайно. Хитро представляя лицо монарха великодушного, тронутого раскаянием виновных подданных, счастливый обманщик не благодарил, а только простил войско; велел ему идти к Орлу и сам выступил туда 19 мая из Путивля с 600 ляхов, с донцами и своими россиянами, старейшими других в измене; хотел видеть развалины Кром, прославленные мужеством их защитников, и там, оглядев пепелище, вал, землянки Козаков и необозримый, укрепленный стан, где в течение шести недель более восьмидесяти тысяч добрых воинов за семьдесятые огромными пушками укрывались в бездействии, изъявил удивление и хвалился чудом Небесной к нему милости. Далее на пути встретили расстригу воеводы Михаиле Салтыков, князь Василий Голицын, Шереметев и глава предательства Басманов... сей последний с искреннею клятвою умереть за того, кому он жертвовал совестью и бедным отечеством! Единодушно принятый войском как царь благодатный, Лжедимитрий распустил часть его на месяц для отдохновения, другую послал к Москве, а сам с двумя или тремя тысячами надежнейших сподвижников шел тихо вслед за нею. Везде народ и люди воинские встречали его с дарами; крепости, города сдавались: из самой отдаленной Астрахани привезли к нему в цепях воеводу Михаила Сабурова, ближнего родственника Феодорова. Только в Орле горсть великодушных не хотела изменить закону: сих достойных россиян, к сожалению, не известных для истории, ввергнул и в темницу. Все другие ревностно преклоняли колена, славили Бога и Димитрия, как некогда Героя Донского или завоевателя Казани! На улицах, на дорогах теснились к его коню, чтобы лобызать ноги Самозванца! Все было в волнении, не ужаса, но радости. Исчез оплот стыда и страха для измены: она бурною рекою стремилась к Москве, неся с собою гибель царю и народной чести. Там первыми вестниками злополучия были беглецы добросовестные, воеводы Катырев-Ростовский и Телятевский с их дружинами. Феодор, еще пользуясь царскою властью, изъявил им благодарность отечества торжественными наградами — и как бы спокойно ждал своего жребия на бедственном троне, видя вокруг себя уже не многих друзей искренних, отчаяние, недоумение, притворство, а в народе еще тишину, но грозную: готовность к великой перемене, тайно желаемой сердцами. Может быть, зломыслие и лукавство некоторых думных советников, благоприятствуя Самозванцу, усыпляли жертву

накануне ее заклания: обманывали Феодора, его мать и ближних, уменьшая опасность или предлагая меры недействительные для спасения. Власть верховная дремала в палатах Кремлевских, когда Отрепьев шел к столице, — когда имя Дмитрия уже гремело на берегах Оки, — когда на самой Красной площади толпился народ, с жадностью слушая вести о его успехах. Еще были воеводы и воины верные: юный стратиг державный в виде Ангела красоты и невинности, еще мог бы смело идти с ними на сонмы ослепленных клятвопреступников и на подлого расстригу: в деле законном есть сила особенная, непонятная и страшная для беззакония. Но если не коварство, то чудное оцепенение умов предавало Москву в мирную добычу злодейству. Звук оружия и движения ратные могли бы дать бодрость унылым и страх изменникам; но спокойствие, ложное, смертоносное, господствовало в столице и служило для козней вождельным досугом. Деятельность правительства оказывалась единственно в том, что ловили гонцов с грамотами от войска и Самозванца к московским жителям: грамоты жгли, гонцов сажали в темницу; наконец не устерегли — и в один час все совершилось!

Лжедмитрий, угадывая, что его письма не доходят до Москвы, избрал двух сановников смелых, расторопных, Плещеева и Пушкина: дал им грамоту и велел ехать в Красное село, чтобы возмутить тамошних жителей, а чрез них и столицу. Сделалось, как он думал. Купцы и ремесленники красносельские, плененные доверенностью мнимого Дмитрия, присягнули ему с ревностью и торжественно ввели гонцов его (1 июня) в Москву, открытую, безоружную: ибо воины, высланные царем для усмирения сих мятежников, бежали назад, не обнажив меча; а красносельцы, славя Дмитрия, нашли множество единомышленников в столице, мещан и людей служивых; других силою увлекли за собою; некоторые пристали к ним только из любопытства. Сей шумный сонм стремился к лобному месту, где, по данному знаку, все умолкло, чтобы слушать грамоту Лжедмитриеву к синклиту, к большим дворянам, сановникам, людям приказным, воинским, торговым, средним и черным. «Вы клялися отцу моему, — писал расстрига, — не изменять его детям и потомству во веки веков, но взяли Годунова в цари. Не упрекаю вас: вы думали, что Борис умертвил меня в летах младенческих; не знали его лукавства и не смели противиться человеку, который уже самовластвовал и в царствование Феодора Иоанновича, — жаловал и казнил, кого хотел. Им обольщенные, вы не верили, что я, спасенный Богом, иду к вам с любовью и кротостию. Драгоценная кровь лилася... Но жалею о том без гнева: неведение и страх извиняют вас. Уже судьба решилась: города и войско мои. Дерзните ли на брань междоусобную в угодность Марии Годуновой и сыну ее? Им не жаль России: они не своим, а чужим владеют; упитали кровию землю Северскую и хотят разорения Москвы. Вспомните, что было от Годунова вам, бояре, воеводы и все люди знаменитые: сколько опал и бесчестия несносного? А вы, дворяне и дети боярские, чего не претерпели в тягостных службах и в ссылках? А вы, купцы и гости, сколько утеснений имели в торговле и какими неумеренными пошлинами отягощались? Мы же хотим вас жаловать беспримерно: бояр и всех мужей сановитых честью и новыми отчинами, дворян и людей приказных милостию, гостей и купцов льготою в непрерывное течение дней мирных и тихих. Дерзните ли быть непреклонными? Но от нашей царской руки не избудете: иду и сяду на престоле отца моего; иду с сильным войском, своим и литовским: ибо не только россияне, но и чужеземцы охотно жертвуют мне жизнью. Самые неверные ногаи хотели следовать за мною: я велел им остаться в степях, щадя Россию. Страшитесь гибели, временной и вечной; страшитесь ответа в день суда Божия: смиритесь, и немедленно пришлите митрополитов, архиепископов,

мужей думных, больших дворян и дьяков, людей воинских и торговых бить нам чалом, как вашему царю законному». Народ московский слушал с благоговением и рассуждал так: «Войско и бояре поддалися без сомнения не ложному Димитрию. Он приближается к Москве: с кем стоять нам против его силы? с горстью ли беглецов кромских? с нашими ли старцами, женами и младенцами? и за кого? за ненавистных Годуновых, похитителей державной власти? Для их спасения предадим ли Москву пламени и разорению? Но не спасем ни их, ни себя сопротивлением бесполезным. Следственно не о чем думать: должно прибегнуть к Милосердию Димитрия!»

И в то время, когда сие незаконное вече располагало царством, главные советники престола трепетали в Кремле от ужаса. Патриарх молил бояр действовать, а сам, в смятении духа, не мыслил явиться на лобном месте в ризах святительских, с крестом в деснице, с благословением для верных, с клятвою для изменников: он только плакал! Знатнейшие бояре Мстиславский и Василий Шуйский, Бельский и другие думные советники вышли из Кремля к гражданам, сказали им несколько слов в увещание и хотели схватить гонцов Лжедимитриевых: народ не дал их и завопил: «Время Годуновых миновалось! Мы были с ним во тьме кромешной: солнце восходит для России! Да здравствует царь Димитрий! Клятва Борисовой памяти! Гибель племени Годуновых!» С сим воплем толпы ринулись в Кремль. Стража и телохранители исчезли вместе с подданными для Феодора: действовали одни буйные мятежники; вломились во дворец и дерзостною рукою коснулись того, кому недавно присягали: стащили юного царя с престола, где он искал безопасности! Мать злосчастная упала к ногам неистовых и слезно молила не о царстве, а только о жизни милого сына! Но мятежники еще страшились быть извергами: безвредно вывели Феодора, его мать и сестру из дворца в Кремлевский собственный дом Борисов и там приставили к ним стражу; всех родственников царских, Годуновых, Сабуровых, Вельяминовых, заключили, имение их расхитили, дома сломали; не оставили ничего целого и в жилище иноземных медиков, любимцев Борисовых; хотели грабить и погребать казенные, но удержались, когда Вольский напомнил им, что все казенное уже есть Димитриево. Сей пестун меньшого Иоаннова сына явился тогда вдруг главным советником народа, как злейший враг Годуновых, и вместе с другими боярами, малодушными или коварными, старался утишить мятеж именем царя нового. Все дали присягу Димитрию, и (3 июня) вельможи, князя Иван Михайлович Воротынский, Андрей Телятевский, Петр Шереметев, думный дьяк Власьев и другие знатнейшие чиновники, дворяне, граждане выехали из столицы с повинною к Самозванцу в Тулу. Уже вестник Плещеева и Пушкина предупредил их; уже расстрига знал все, что сделалось в Москве, и еще не был спокоен: послал туда князя Василья Голицына Мосальского и дьяка Сутупова с тайным наказом, а Петра Басманова с воинскою дружиною, чтобы мерзостным злодейством увенчать торжество беззакония.

Сии достойные слуги Лжедимитриевы, принятые в Москве как полновластные исполнители царской воли, начали дело свое с патриарха. Слабодушным участием в кознях Борисовых лишив себя доверенности народной, не имев мужества умереть за истину и за Феодора, онемев от страха и даже, как уверяют, вместе с другими святителями бив челом Самозванцу, надеялся ли Иов снискать в нем срамную милость? Но Лжедимитрий не верил его бесстыдству; не верил, чтобы он мог с видом благоговения возложить царский венец на своего беглого диакона — и для того послы Самозванцевы объявили народу московскому, что раб Годуновых не должен остаться первосвятителем. Свергнув царя, народ во дни беззакония не усомнился свергнуть и патриарха. Иов совершал литургию в храме Успения:

вдруг мятежники неистовые, вооруженные копьями и дреколием, вбегают в церковь; не слушают божественного пения; стремятся в алтарь, хватают и влекут патриарха; рвут с него одежду святительскую... Тут несчастный Иов изъявил и смирение и твердость: сняв с себя панагию и положив ее к образу Владимирской Богоматери, сказал громогласно: «Здесь, пред сею святою иконою, я был удостоен сана архиерейского и 19 лет хранил целость Веры: ныне вижу бедствие церкви, торжество обмана и ереси. Матерь Божия! спаси православие!» Его одели в черную ризу, таскали, позорили в храме, на площади и вывезли в телеге из города, чтобы заключить в монастыре Старицком. — Удалив важнейшего свидетеля истины, противного Самозванцу, решили судьбу Годуновых, Сабуровых и Вельяминовых: отправили их скованных в темницы городов дальних, низовых и сибирских (ненавистного Семена Годунова задавили в Переславле). Немедленно решили и судьбу державного семейства.

Юный Феодор, Мария и Ксения, сидя под стражею в том доме, откуда властолюбие Борисово извлекло их на феатр гибельного величия, угадывали свой жребий. Народ еще уважал в них святость царского сана, — может быть, и святость непорочности; может быть, в самом неистовстве бунта желал, чтобы мнимый Димитрий оказал великодушие и, взяв себе корону, оставил жизнь несчастным хотя в уединении какого-нибудь монастыря пустынного. Но великодушие в сем случае казалось расстриге несогласным с политикою: чем более достоинств личных имел сверженный, законный царь, тем более он мог страшить лжецаря, возводимого на престол злодейством некоторых и заблуждением многих; успех измены всегда готовит другую — и никакая пустыня не скрыла бы державного юношу от умиления россиян. Так, вероятно, думал и Басманов; однако ж не хотел явно участвовать в деле ужасном: зло и добро имеют степени! Другие были смелее: князья Голицын и Мосальский, чиновники Молчанов и Шереметевы, взяв с собою трех зверовидных стрельцов, 10 июня пришли в дом Борисов: увидели Феодора и Ксению сидящих спокойно подле матери в ожидании воли Божией; вырвали нежных детей из объятий царицы, развели их по особым комнатам и велели стрельцам действовать: они в ту же минуту удавили царицу Марию; но юный Феодор, наделенный от природы силою необыкновенною, долго боролся с четырьмя убийцами, которые едва могли одолеть и задушить его. Ксения была несчастнее матери и брата: осталась жива: гнусный сластолюбец расстрига слышал о ее прелестях и велел князю Мосальскому взять ее к себе в дом. Москве объявили, что Феодор и Мария сами лишили себя жизни ядом; но трупы их, дерзостно выставленные на позор, имели несомнительные признаки удушения. Народ толпился у бедных гробов, где лежали две венценосные жертвы, супруга и сын властолюбца, который обожал — и погубил их, дав им престол на ужас и смерть лютейшую! «Святая кровь Димитриева, — говорят летописцы, — требовала крови чистой, и невинные пали за виновного, да страшатся преступники и за своих ближних!» Многие смотрели только с любопытством, но многие и с умилением; жалели о Марии, которая, быв дочерью гнуснейшего из палачей Иоанновых и женою святоубийцы, жила единственно благодеяниями, и коей Борис не смел никогда открывать своих злых намерений; еще более жалели о Феодоре, который цвел добродетелию и надеждою: столько имел и столько обещал прекрасного для счастья России, если бы оно угодно было Провидению! — Нарушили и спокойствие могил: выкопали тело Борисово, вложили в раку деревянную, перенесли из церкви Св. Михаила в девичий монастырь Св. Варсонофия на Сретенке и погребли там уединенно вместе с телами Феодора и Марии!

Так совершилась казнь Божия над убийцею Димитрия истинного, и началась новая над Россию под скиптром ложного!

ЦАРСТВОВАНИЕ ЛЖЕДИМИТРИЯ

Г. 1605-1606

Нелепою дерзостью и неслыханным счастьем достигнув цели — каким-то обаянием прельстив умы и сердца вопреки здравому смыслу — сделав, чему нет примера в истории: из беглого монаха, козака-разбойника и слуги пана литовского в три года став царем великой державы. Самозванец казался хладнокровным, спокойным, не удивленным среди блеска и величия, которые окружали его в сие время заблуждения, срама и бесстыдства. Тула имела вид шумной столицы, исполненной торжества и ликования: там собралось более ста тысяч людей воинских и чиновных, множество купцов и народа из всех ближних городов и селений. Вслед за князьями Воротынским и Телятевским, избранными бить челом расстриге от имени Москвы, спешили туда и знатнейшие думные мужи: Мстиславский, Шуйские и другие, чтобы достойно вкусить плод своего малодушия: презрение от того, кому они всем жертвовали, кроме сана и богатства, бесчестного в таких обстоятельствах. Вместе с ними были в тульском дворце у Лжедмитрия козаки, новые донские выходцы (Смага Чертенский с товарищами): он дал руку им первым, и с ласкою; а боярам уже после, и с гневом за их долговременную строптивость. Пишут, что подлые козаки в присутствии Самозванца нагло ругали сих вельмож уничиженных, особенно князя Андрея Телятевского, долее других верного закону. Вельможи представили Лжедмитрию печать государственную, ключи от казны Кремлевской, одежды, доспехи царские и сонм царедворцев для услуг его. Уже началось державство расстриги, который, по внушению ли собственного ума или советников, немедленно занялся правительством, действуя свободно, решительно, как бы человек рожденный на престоле, и с навыком власти: 11 июня [1605 г.], еще не имев вести о Феодоровом убиении, писал во все города и в самую дальнюю Сибирь, что он, укрытый невидимою силою от злодея Бориса и дозрев до мужества, правом наследия сел на государстве московском; что духовенство, синклит, все чины и народ целовали ему крест с усердием; что воеводы городские должны немедленно взять со всех людей такую же присягу на имя царицы-матери, инокини Марфы Феодоровны, и его, царя Дмитрия, с обязательством служить им верно и не давать отравы, не сноситься ни с женою, ни с сыном Борисовым, Федькою, ни с кем из Годуновых; не мстить никому, не убивать никого без указа государева, жить в тишине и мире, а на службе прямить и мужествовать неизменно. Уже Самозванец занимался и делами внешними: велел догнать посла английского, Смита, еще не выехавшего из России; взять у него Борисовы письма к королю и сказать ему, что новый царь, в знак особенного дружества к Англии, даст ее купцам новые выгоды в торговле и немедленно после своего венчания отправит из Москвы знатного сановника в Лондон, следуя европейскому обычаю и движению истинной любви к Иакову.

Узнав, что воля его исполнилась: патриарх свержен, Феодор и Мария в могиле, их ближние изгнаны, Москва спокойна и с нетерпением ждет воскресшего Дмитрия, — Самозванец выступил из Тулы и 16 июня расположился станом на лугах Москвы-реки, у села Коломенского, где все чиновники и знатнейшие граждане поднесли ему хлеб-соль, золотые кубки и соболей, а бояре великолепнейшую утварь царскую и говорили с видом единоплеменника: «Иди и владей достоянием твоих предков. Святые храмы, Москва и

чертоги Иоанновы ожидают тебя. Уже нет злодеев: земля поглотила их. Настало время мира, любви и веселия». Лжедмитрий ответственал, что забывает вины детей, и будет не грозным владыкою, а ласковым отцом России. Тут же явились и немцы с челобитною: быв до конца верны Борису, оказав мужество в двух битвах, не хотев участвовать и в измене воевод под Кромами, они молили Самозванца не вменять им дела добросовестного в преступление и писали: «мы честно исполнили долг присяги, и как служили Борису, так готовы служить и тебе, уже царю законному». Лжедмитрий принял их начальников весьма милостиво и сказал: «будьте для меня то же, что вы были для Годунова: я верю вам более, нежели своим русским!» Он хотел видеть немецкого чиновника, державшего знамя в Добрынской битве, и, положив ему руку на грудь, славил его неустрашимость: чего не могли слушать россияне с удовольствием; но они должны были изъявлять радость!

20 июня, в прекрасный летний день, Самозванец вступил в Москву, торжественно и пышно. Впереди поляки, литаврщики, трубачи, дружина всадников с копьями, пищальники, колесницы, заложенные шестернями и верховые лошади царские, богато украшенные; далее барабанщики и полки россиян, духовенство с крестами и Лжедмитрий на белом коне, в одежде великолепной, в блестящем ожерелье, ценою в 150 000 червонных: вокруг его 60 бояр и князей; за ними дружина литовская, немцы, козаки и стрельцы. Звонили во все колокола московские. Улицы были наполнены бесчисленным множеством людей; кровли домов и церквей, башни и стены также усыпаны зрителями. Видя Лжедмитрия, народ падал ниц с восклицанием: «Здравствуй отец наш, государь и великий князь Димитрий Иоаннович, спасенный Богом для нашего благоденствия! Сияй и красуйся, о солнце России!» Лжедмитрий всех громко приветствовал и называл своими добрыми подданными, веля им встать и молиться за него Богу. Невзирая на то, он еще не верил москвитянам: ближние чиновники его скакали из улицы в улицу и непрестанно доносили ему о всех движениях народных: все было тихо и радостно. Но вдруг, когда Лжедмитрий чрез Живой мост и ворота Москворецкие выехал на площадь, сделался страшный вихрь: всадники едва могли усидеть на конях; пыль взвилась столбом и заслепила им глаза, так что царское шествие остановилось. Сей случай естественный поразил воинов и граждан; они крестились в ужасе, говоря друг другу: «Спаси нас, Господи, от беды! Это худое предзнаменование для России и Димитрия!» Тут же люди благочестивые были встревожены соблазном: когда расстрига, встреченный святителями и всем клиром московским на лобном месте, сошел с коня, чтобы приложиться к образам, литовские музыканты играли на трубах и били в бубны, заглушая пение молебна. Увидели и другую непристойность: вступив за духовенством в Кремль и в соборную церковь Успения, Лжедмитрий ввел туда и многих иноверцев, ляхов, венгров: чего никогда не бывало и что казалось народу осквернением храма. Так расстрига на самом первом шагу изумил столицу легкомысленным неуважением к святыне!.. Оттуда спешил он в церковь архистратига Михаила, где с видом благоговения преклонился на гроб Иоаннов, лил слезы и сказал: «О родитель любезный! Ты оставил меня в сиротстве и гонении; но святыми твоими молитвами я цел и державствую!» Сие искусное лицедейство было не бесполезно: народ плакал и говорил: «то истинный Димитрий!» Наконец расстрига в чертогах Иоанновых сел на престол государей московских.

В сей час многие вельможи вышли из дворца на Красную площадь к народу и с ними Богдан Вольский, который стал на лобное место, снял с груди своей образ Св. Николая, поцеловал его и клялся московским гражданам, что новый государь есть действительно сын Иоаннов, сохраненный и данный им Николаем Чудотворцем; убеждал россиян любить того,

кто возлюблен Богом, и служить ему верно. Народ отвечал единогласно: «Многие лета государю нашему Димитрию! Да погибнут враги его!» Торжество казалось искренним, общим. Самозванец с вельможами и духовенством пировал во дворце, граждане на площадях и дома; пили и веселились до глубокой ночи. «Но плачь был недалеко от радости, — говорит летописец, — и вино лилось в Москве пред кровию».

Объявили милости: Лжедимитрий возвратил свободу, чины и достояние не только Нагим, мнимым своим родственникам, но и всем опальным Борисова времени: страдальца Михаила Нагого пожаловал в сан великого конюшего, брата его и трех племянников, Ивана Никитича Романова, двух Шереметевых, двух князей Голицыных, Долгорукого, Татеева, Куракина и Кашина в бояре; многих в окольные, и между ими знаменитого Василья Щелка-лова, удаленного от дел Борисом; князя Василья Голицына назвал великим дворецким, Бельского великим оружничим, князя Михаила Скопина-Шуйского великим мечником, князя Лыкова-Оболенского великим крайчим, Пушкина великим сокольничим, дьяка Сутупова великим секретарем и печатником, а Власьева также секретарем великим и надворным подскарбием, или казначеем, — то есть, кроме новых чинов, первый ввел в России наименования иноязычные, заимствованные от ляхов. Лжедимитрий вызвал и невольного, опального инока Филарета из Сийской пустыни, чтобы дать ему сан митрополита Ростовского; сей добродетельный муж, некогда главный из вельмож и ближних царских, имел наконец сладостное утешение видеть тех, о коих и в жизни отшельника тосковало его сердце: бывшую супругу свою и сына. С того времени инокия Марфа и юный Михаил, отданный ей на воспитание, жили в епархии Филаретовой близ Костромы в монастыре Св. Ипатия, где все напоминало непрочную знаменитость и разительное падение их личных злодеев: ибо сей монастырь в XIV веке был основан предком Годуновых мурзою Четом и богато украшен ими. — Странное пугалище воображения Борисова, мнимый царь и великий князь Иоаннова времени Симеон Бекбулатович, ослепленный, как уверяют, и сосланный Годуновым, также удостоился Лжедимитриева благоволения в память Иоанну: ему велели быть ко двору, оказали великую честь и дозволили снова именоваться царем. Сняли опалу с родственников Борисовых и дали им места воевод в Сибири и в других областях дальних. Не забыли и мертвых: тела Нагих и Романовых, усопших в бедствии, вынули из могил пустынных, перевезли в Москву и схоронили с честью там, где лежали их предки и ближние.

Угодив всей России милостями к невинным жертвам Борисова тиранства, Лжедимитрий старался угодить ей и благодеяниями общими: удвоил жалованье сановникам и войску; велел заплатить все долги казенные Иоаннова царствования, отменил многие торговые и судные пошлины; строго запретил всякое мздоимство и наказал многих судей бессовестных; обнародовал, что в каждую среду и субботу будет сам принимать челобитные от жалобщиков на Красном крыльце. Он издал также достопамятный закон о крестьянах и холопах: указал всех беглых возвратить их отчинникам и помещикам, кроме тех, которые ушли во время голода, бывшего в Борисово царствование, не имея нужного пропитания; объявил свободными слуг, лишенных воли насилем, без крепостей внесенных в государственные книги. Чтобы оказать доверенность к подданным, Лжедимитрий отпустил своих иноземных телохранителей и всех ляхов, дав каждому из них в награду за верную службу по сороку золотых, деньгами и мехами, но тем не удовлетворив их корыстолюбиею: они хотели более, не выезжали из Москвы, жаловались и пировали!

Плененный обычаями той земли, где началась его жизнь пышная и где все казалось ему

блестящим, превосходным в сравнении с Россией, Лжедмитрий не удовольствовался введением новых чинов и наименований: он спешил, в духе сего подражания, изменить состав нашей древней Государственной думы: указал заседать в ней, сверх патриарха (что в важных случаях и дотоле бывало), четырьмя митрополитам, семью архиепископам и тремя епископам, надеясь, может быть, обольстить тем мирское честолюбие духовенства, а более всего желая следовать уставу Королевства Польского; назвал всех мужей думных сенаторами, умножил число их до семидесяти, сам ежедневно там присутствовал, слушал и решал дела, как уверяют, с необыкновенною легкостью. Пишут, что он, имея дар красноречия, блистал им в совете, говорил много и складно, любил уподобления, часто ссылаясь на историю, рассказывал, что сам видел в иных землях, то есть в Литве и в Польше; изъявлял особенное уважение к королю французскому, Генрику IV; хвалился, подобно Борису, милосердием, кротостию, великодушием и твердил людям ближним: «Я могу двумя способами удержаться на престоле: тиранством и милостию; хочу испытать милость и верно исполнить обет, данный мною Богу: не проливать крови». Так говорил убийца непорочного Феодора и благодетельной Марии!.. Расстригу славили: московский Благовещенский протоиерей Терентий сочинил ему похвальное слово, как венценосцу доблестному, носящему на языке милость, а патриарх Иерусалимский униженною грамотою известил его, что вся Палестина ликует о спасении Иоаннова сына, предвидя в нем будущего своего избавителя, и что три лампы денно и ночью пылают над гробом Христовым во имя царя Димитрия.

Ближние люди Самозванца советовали ему, для утверждения своей власти, немедленно венчаться на царство: ибо многие думали, что и злосчастный Феодор не столь легко сделался бы жертвою измены, если бы успел освятить себя в глазах народа саном помазанника. Сей обряд торжественный надлежало совершить патриарху: не доверяя российскому духовенству, Лжедмитрий на место сверженного Иова выбрал чужеземца, грека Игнатия, архиепископа Кипрского, который, быв изгнан из отечества турками, жил несколько времени в Риме, приехал к нам в царствование Феодора Иоанновича, угодил Борису, и с 1603 года правил епархиею рязанскою. Он снискал милость Самозванца, встретив его еще в Туле; не имел ни чистой Веры, ни любви к России, ни стыда нравственного и казался ему надежнейшим орудием для всех замышляемых им соблазнов. Наспех поставили Игнатия в патриархи и наспех готовились к царскому венчанию; а Лжедмитрий готовил между тем иное торжественное явление, необходимое для полного удостоверения и Москвы и России, что венец Мономахов возлагается на главу Иоаннова сына.

Войско, синклит, все чины государственные признали обманщика Димитрием, все, кроме матери, которой свидетельство было столь важно и естественно, что народ без сомнения ожидал его с нетерпением. Уже Самозванец около месяца властвовал в Москве, а народ еще не видал царицы-инокини, хотя она жила только в пятистах верстах оттуда: ибо Лжедмитрий не мог быть уверен в ее согласии на обман, столь противный святому званию инокини и материнскому сердцу. Тайные сношения требовали времени: с одной стороны, представили ей жизнь царскую, а с другой, муки и смерть; в случае упрямства, страшного для обманщика, могли задушить несчастную — сказать, что она умерла от болезни или радости, и великолепными похоронами мнимой государевой матери успокоить народ легковерный. Вдовствующая супруга Иоаннова, еще не старая летами, помнила удовольствия света, двора и пышности; 13 лет плакала в унижении, страдала за себя, за своих ближних — и не усомнилась в выборе. Тогда Лжедмитрий уже гласно послал к ней в Выксинскую

пустыню великого мечника князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского и других людей знатных с убедительным челобитьем нежного сына благословить его на царство — и сам, 18 июля, выехал встретить ее в селе Тайнинском. Двор и народ были свидетелями любопытного зрелища, в коем лицемерное искусство имело вид искренности и природы. Близ дороги расставили богатый шатер, куда ввели царицу и где Лжедмитрий говорил с нею наедине — не знали, о чем; но увидели следствие: мнимые сын и мать вышли из шатра, изъявляя радость и любовь; нежно обнимали друг друга и произвели в сердцах многих зрителей восторг умиления. Добродушный народ обливался слезами, видя их в глазах царицы, которая могла плакать и нелицемерно, вспоминая об истинном Димитрии и чувствуя свой грех пред ним, пред совестью и Россией! Лжедмитрий посадил Марфу в великолепную колесницу; а сам с открытою головою шел несколько верст пешком, окруженный всеми боярами; наконец сел на коня, ускакал вперед и принял царицу в Иоанновых палатах, где она жила до того времени, как изготовили ей прекрасные комнаты в Вознесенском девичьем монастыре с особенною царскою услугою.

Там Самозванец, в лице почтительного и нежного сына, ежедневно виделся с нею; был доволен искусным ее притворством, но удалял от нее всех людей сомнительных, чтобы она не имела случая изменить ему в важной тайне, от нескромности или раскаяния.

21 июля совершилось венчание с известными обрядами; но россияне изумились, когда, после сего священного действия, выступил иезуит Николай Черниковский, чтобы приветствовать нововенчанного монарха непонятною для них речью на языке латинском. Как обыкновенно, все знатнейшее духовенство, вельможи и чиновники пировали в сей день у царя, сиюсь наперерыв оказывать ему усердие и радость — но уже многие лицемерно, ибо общее заблуждение не продолжилось!

Первым врагом Лжедмитрия был сам он, легкомысленный и вспыльчивый от природы, грубый от худого воспитания, — надменный, безрассудный и неосторожный от счастья. Удивляя бояр острою и живостию ума в делах государственных, державный прошлец часто забывался: оскорблял их своими насмешками, упрекал невежеством, дразнил хвалою иноземцев и твердил, то россияне должны быть их учениками, ездить в чужие земли, видеть, наблюдать, образоваться и заслужить имя людей. Польша не сходила у него с языка. Он распустил своих иностранных телохранителей, но исключительно ласкал поляков, только им давал всегда свободный к себе доступ, с ними обходился дружески и советовался как с ближними; взял даже в тайные царские секретари двух ляхов Бучинских. Российские вельможи, изменив закону и чести, лишились права на уважение, но хотели его от того, кому они пожертвовали законом и честью: самолюбие не безмолвствует и в стыде и в молчании совести. Только один россиянин от начала до конца пользовался доверенностью и дружбою Самозванца: всех виновнейший Басманов; но и сей несчастный ошибся: видел себя единственно любимцем, а не руководителем Лжедмитрия, который не для того искал престола, чтобы сидеть на нем всегдашним учеником Басманова: иногда спрашивался, иногда слушал его, но чаще действовал вопреки наставнику, по собственному уму или безумию. Грубостию огорчая бояр, Самозванец допускал их однако ж в разговорах с ним до вольности необыкновенной и несогласной с мыслями россиян о высоте царского сана, так что бояре, им не уважаемые, и сами уважали его менее прежних государей.

Самозванец скоро охладил к себе и любовь народную своим явным неблагоразумием. Снискав некоторые познания в школе и в обхождении с знатными ляхами, он считал себя мудрецом, смеялся над мнимым суеверием набожных россиян и, к великому их соблазну, не

хотел креститься пред иконами; не велел также благословлять и кропить Святою водою царской трапезы, садясь за обед не с молитвою, а с музыкою. Не менее соблазнялись россияне и благоволением его к иезуитам, коим он в священной ограде Кремлевской дал лучший дом и позволил служить латинскую Обедню. Страстный к обычаям иноземным, ветреный Лжедимитрий не думал следовать русским: желал во всем уподобляться ляху, в одежде и в прическе, в походке и в телодвижениях; ел телятину, которая считалась у нас заповедным, грешным яством; не мог терпеть бани и никогда не ложился спать после обеда (как издревле делали все россияне от венценосца до мещанина), но любил в сие время гулять: украдкою выходил из дворца, один или сам-друг; бегал из места в место, к художникам, золотарям, аптекарям; а царедворцы, не зная, где царь, везде искали его с беспокойством и спрашивали о нем на улицах: чему дивились москвитяне, дотоле выдав государей только в пышности, окруженных на каждом шагу толпою знатных сановников. Все забавы и склонности Лжедимитриевы казались странными: он любил ездить верхом на диких бешеных жеребцах и собственною рукою, в присутствии двора и народа, бить медведей; сам испытывал новые пушки и стрелял из них в цель с редкою меткостью; сам учил воинов, строил, брал приступом земляные крепости, кидался в свалку и терпел, что иногда толкали его небрежно, сшибали с ног, давили — то есть, хвалился искусством всадника, зверолова, пушкаря, бойца, забывая достоинство монарха. Он не помнил сего достоинства и в действиях своего нрава вспыльчивого: за малейшую вину, ошибку, неловкость выходил из себя и бивал палкою знатнейших воинских чиновников — а низость в государе противнее самой жестокости для народа. Осуждали еще в Самозванце непомерную расточительность: он сыпал деньгами и награждал без ума; давал иноземным музыкантам жалованье, какого не имели и первые государственные люди; любя роскошь и великолепие, непрестанно покупал, заказывал всякие драгоценные вещи и месяца в три издержал более семи миллионов рублей — а народ не любит расточительности в государях, ибо страшится налогов. Описывая тогдашний блеск московского двора, иноземцы с удивлением говорят о Лжедимитриевом престоле, вылитом из чистого золота, обвешенном кистями алмазными и жемчужными, утвержденном внизу на двух серебряных львах и покрытом крестообразно четырьмя богатыми щитами, над коими сиял золотой шар и прекрасный орел из того же металла. Хотя расстрига ездил всегда верхом, даже в церковь, но имел множество колесниц и саней, окованных серебром, обитых бархатом и соболями; на гордых азиатских его конях седла, узды, стремяна блистали золотом, изумрудами и яхонтами; возницы, конюхи царские одевались как вельможи. Не любя голых стен в палатах Кремлевских, найдя их печальными и сломав деревянный дворец Борисов как памятник ненавистный, Самозванец построил для себя, ближе к Москве-реке, новый дворец, также деревянный, украсил стены шелковыми персидскими тканями, цветные изразцовые печи серебряными решетками, замки у дверей ярко позолотою, и в удивление москвитянам пред сим любимым своим жилищем поставил изваянный образ адского стража, медного огромного Цербера, коего три челюсти от легкого прикосновения разверзались и бряцали: «чем Лжедимитрий, — как сказано в летописи, — предвестил себе жилище в вечности: ад и тьму кромешную!»

Действуя вопреки нашим обычаям и благоразумию, Лжедимитрий презирал и святейшие законы нравственности: не хотел обуздывать вожделий грубых и, пылая сластолюбием, явно нарушал уставы целомудрия и пристойности, как бы с намерением уподобиться тем мнимому своему родителю; бесчестил жен и девиц, двор, семейства и святые обители

дерзостию разврата и не устыдился дела гнуснейшего из всех его преступлений: убив мать и брата Ксении, взял ее себе в наложницы. Красота сей несчастной царевны могла увянуть от горести; но самое отчаяние жертвы, самое злодейство неистовое казалось пре-лестию для изверга, который сим одним мерзостным бесстыдством заслужил свою казнь, почти сопредельную с торжеством его... Через несколько месяцев Ксению постригли, назвали Ольгою и заключили в пустыне на Белеозере, близ монастыря Кириллова.

Но Самозванец под личиною Димитрия, вероятно, мог бы еще долго безумствовать и злодействовать в венце Мономаховом, если бы сия, как бы волшебная личина не спала с него в глазах народа: столь велико было усердие россиян к древнему племени державному! Заблуждение возвысило бродягу: истина долженствовала низвергнуть обманщика. Не один удаленный Иов знал беглеца чудовского в Москве: надеялся ли расстрига казаться другим человеком, стараясь казаться полуляхом и черную ризу инока пременяв на царскую? или, ослепленный счастьем, уже не видал для себя опасности, имея в руках своих власть с грозою и считая россиян стадом овец бессловесных? или дерзостию мыслил уменьшить сию опасность, поколебать удостоверение, сомкнуть уста робкой истине? Он не думал скрываться и смело смотрел в глаза всякому любопытному на улицах; не ходил только в святую обитель Чудов-скую, место неприятных для него знакомств и воспоминаний. Итак, не удивительно, что в самом начале нового царствования, когда Москва еще гремела хвалою Димитрия, уже многие люди шептали между собою о действительном сходстве его с диаконом Григорием; хвала умолкала от безрассудности и худых дел царя, а шепот становился внятнее — и скоро взволновал столицу. Первым уличителем и первую жертвою был инок, который сказал всенародно, что мнимый Димитрий известен ему с детских лет под именем Отрепьева, учился у него грамоте и жил с ним в одном монастыре: инока тайно умертвили в темнице. Нашелся и другой, опаснейший свидетель истины — тот, кому судьба вручала месть праведную, но коего час еще не наступил: князь Василий Шуйский. В смятении ужаса признав бродягу царем, вместе с иными боярами, он менее всех мог извиняться заблуждением, ибо собственными глазами видел Иоаннова сына во гробе. Терзаясь ли горестию и стыдом или имея уже дальновидные тайные замыслы властолюбия, Шуйский недолго безмолвствовал в столице: сказал ближним, друзьям, приятелям, что Россия у ног обманщика; внушал и народу, чрез своих поверенных, купца Федора Конева и других, что Годунов и святитель Иов объявляли совершенную правду о Самозванце, еретике, орудии ляхов и папистов. Еще Лжедимитрий имел многих ревностных слуг: Басманов узнал и донес ему о Семкове, опасном знатностию виновника. Взяли Шуйского с братьями под стражу и велели судить, как дотоле еще никого не судили в России: Собором, избранным людям всех чинов и званий. Летописец уверяет, что князь Василий в сем единственном случае жизни своей явил себя Героем: не отрицался: смело, великодушно говорил истину, к искреннему и лицемерному ужасу судей, которые хотели заглушить ее воплем, проклиная такие хулы на венценосца. Шуйского пытали: он молчал; не назвал никого из соумышленников, и был один приговорен к смертной казни: братьев его лишали только свободы. В глубокой тишине народ теснился вокруг лобного места, где стоял осужденный боярин (как бывало в Иоанново время!) подле секиры и плахи, между дружинами воинов, стрельцов и Козаков; на стенах и башнях Кремлевских также блистало оружие для устрашения москвитян, и Петр Басманов, держа бумагу, читал народу от имени царского: «Великий боярин, князь Василий Иванович Шуйский, изменил мне, законному государю вашему, Димитрию Иоанновичу всея России; коварствовал, злословил, ссорил меня с вами,

добрыми подданными: называл лжецарем; хотел свергнуть с престола. Для того осужден на казнь: да умрет за измену и вероломство!» Народ безмолвствовал в горести, издавна любя Шуйских, и пролил слезы, когда несчастный князь Василий, уже обнажаемый палачом, громко воскликнул к зрителям: «Братья! Умираю за истину, за Веру христианскую и за вас!» Уже голова осужденного лежала на плахе... Вдруг слышат крик: стой! и видят царского чиновника, скачущего из Кремля к лобному месту, с указом в руке: объявляют помилование Шуйскому! Тут вся площадь закипела в неопisanном движении радости: славили царя, как в первый день его торжественного вступления в Москву; радовались и верные приверженники Самозванца, думая, что такое милосердие дает ему новое право на любовь общую; негодовали только дальновиднейшие из них, и не ошиблись: мог ли забыть Шуйский пытки и плаху? Узнали, что не ветреный Лжедмитрий вздумал тронуть сердца сим неожиданным действием великодушия, но что царица-инокиня слезным молением убедила мнимого сына не казнить врага, который искал головы его!.. Совесть, вероятно, терзала сию несчастную пособницу обмана: спасая мученика истины, Марфа надеялась уменьшить грех свой пред людьми и Богом. Вместе с нею ходатайствовали за осужденного и некоторые ляхи, видя, сколь живое участие принимали москвитяне в судьбе его и желая снискать тем их благодарность. Всех трех Шуйских, князя Василия, Дмитрия, Ивана, сослали в пригороды галицкие; имение их описали, дома опустошили.

Тогда же разгласилось в Москве и свидетельство многих галичан, единоземцев и самых ближних Григория Отрепьева: дяди, брата и даже матери, добросовестной вдовы Варвары: они видели его, узнали и не хотели молчать. Их заключили; а дядю, Смирного-Отрепьева (в 1604 году ездившего к Сигизмунду для уличения племянника), сослали в Сибирь. Схватили еще дворянина Петра Тургенева и мещанина Федора, которые явно возмущали народ против лжецаря. Самозванец велел казнить обоих торжественно и с удовольствием видел, что народ, благодарный ему за помилование Шуйского, не изъявил чувствительности к великодушью сих двух страдальцев; оба шли на смерть без ужаса и раскаяния, громогласно именуя Лжедмитрия Антихристом и любимцем Сатаны, жалея о России и предсказывая ей бедствие; чернь ругалась над ними, восклицая: «умираете за дело!» — С сего времени не умолкали доносы, справедливые и ложные, как в Борисово царствование: ибо Самозванец, дотоле желав хвалиться милосердием, уже следовал иным правилам: хотел грозою унять дерзость и для того благоприятствовал изветам. Пытали, казнили, душили в темницах, лишали имения, ссылали за слово о расстриге. По таким ли доносам, или единственно опасаясь нескромности своих старых приятелей, Лжедмитрий велел удалить многих чудовских иноков в другие, пустынные обители, хотя (что достойно замечания) оставил в покое Крутицкого митрополита Пафнутия, который с первого взгляда узнал в нем диакона Григория, быв в его время архимандритом сего монастыря, но, как вероятно, лицемерным или бессовестным изъявлением усердия к Самозванцу спас себя от гонения. Молчали и другие в боязни, так что столица казалась тихою. Но расстрига сделался осторожнее и, явно не доверяя москвитянам, снова окружил себя иноплемениками: выбрал 300 немцев в свои телохранители, разделил их на три особенные дружины под начальством капитанов: француза Маржерета, ливонца Кнутсена и шотландца Вандемана; одел весьма богато в камку и бархат; вооружил алебардами и протазанами, секирами и бердышами с золотыми орлами на древках, с кистями золотыми и серебряными; дал каждому воину, сверх поместья, от 40 до 70 рублей денежного жалованья — и с того времени уже никуда не ездил и не ходил один, всюду провождаемый сими грозными телохранителями, за коими только вдали

следовали бояре и царедворцы. Мера достойная бродяги, игрою Судьбы вознесенного на степень державства: триста иноземных секир и копий должны были спасти его от предполагаемой измены целого народа и полумиллиона воинов, бесполезно раздражаемых знаками недоверия обидного! Между тем Лжедмитрий хотел веселья: музыка, пляска и зернь были ежедневно забавою двора. Угождая вкусу царя к пышности, все знатные и незнатные старались блистать одеждою богатою. Всякий день казался праздником. «Многие плакали в домах, а на улицах казались веселыми и нарядными женихами», — говорит летописец. Смиранный вид и смиренная одежда для людей неубогих считались знаком худого усердия к царю веселому и роскошному, который сим призраком благосостояния желал уверить Россию в ее златом веке под державою обманщика.

Утишив, как он думал, Москву, Лжедмитрий спешил исполнить обет, данный его благодарностию, сердцем или политикою: предложить руку и венец Марине, которая любовью и доверенностию к бродяге заслуживала честь сидеть с ним на троне. Сношения между воеводою Сендомирским и нареченным его зятем не прерывались: Самозванец уведомлял Мнишка о всех своих успехах, называл всегда отцом и другом; писал к нему из Путивля, Тулы, Москвы; а воевода писал не только к Самозванцу, но и к боярам московским, требуя их признательности такими словами: «Способствовав счастью Димитрия, я готов стараться, чтобы оно было и счастьем России, побуждаемый к сему моею всегдашнею к ней любовью и надеждою на вашу благодарность, когда вы увидите мое ревностное о вас ходатайство пред троном, и будете иметь новые выгоды, новые важные права, неизвестные доньше в Московском государстве». Наконец (в сентябре месяце) Лжедмитрий послал великого секретаря и казначея Афанасия Власьева в Краков для торжественного сватовства, дав ему грамоту к Сигизмунду и другую от царицы-инокини Марфы к отцу невестину. Могли ли россияне одобрить сей брак с иноверкою, хотя и знатного, но не державного племени, — с удовольствием видеть спесивого пана тестем царским, ждаты к себе толпу его ближних, не менее спесивых, и раболепно чтить в них свойство с венценосцем, который избранием чужеземной невесты оказывал презрение ко всем благородным россиянкам? Самозванец, вопреки обычаю, даже и не известил бояр о сем важном деле: говорил, советовался единственно с ляхами. Но, легкомысленно досаждая россиянам, он в то же время не вполне удовлетворял и желаниям своих друзей иноземных.

Никто ревностнее нунция папского, Рангони, не служил обманщику: пышною грамотою приветствуя Лжедмитрия на троне, Рангони славил Бога и восклицал: мы победили! льстил ему хвалами неумеренными и надеялся, что соединение церквей будет первым из его дел бессмертных; писал: «Изображение лица твоего уже в руках Св. Отца, исполненного к тебе любви и дружества. Не медли изъявить свою благодарность Главе верных... и прими от меня дары духовные: образ сильного Воеводы, коего содействием ты победил и царствуешь; четки молитвенные и Библию латинскую, да услаждаешься ее чтением, и да будешь вторым Давидом». Скоро прибыл в Москву и чиновник римский, граф Александр Рангони (племянник нунция) с апостольским благословением и с поздравительною грамотою от преемника Климентова, нетерпеливого в желании видеть себя главою нашей церкви; но Самозванец в учтивом ответе, хваляся чудесною к нему благодатию Божиюю, истребившего злодея, отцеубийцу его, не сказал ни слова о соединении церквей: говорил только о великодушном своем намерении жить не в праздности, но вместе с императором идти на султана, чтобы стереть державу неверных с лица земли, убеждая Павла V не допускать Рудольфа до мира с турками: для чего хотел отправить в Австрию и собственного посла.

Лжедимитрий писал и вторично к папе, обещая доставить безопасность его миссионариям на пути их и России в Персию и быть верным в исполнении данного ему слова; посылал и сам иезуита Андрея Лавицкого в Рим, но, кажется, более для государственного, нежели церковного дела: для переговоров о войне Турецкой, которую он действительно замыслил, пленясь в воображении ее славою и пользою. Надменный счастьем, рожденный смелым и с любовью к опасностям, Самозванец в кружении легкой головы своей уже не был доволен государством Московским: хотел завоеваний и держав новых! Сия ревность еще сильнее воспыкала в нем от донесения воевод терских, что их стрельцы и козаки одержали верх в сшибке с турками и что некоторые данники султанские в Дагестане присягнули России. Издавна проповедуя в Европе необходимость всеобщего восстания держав христианских на Оттоманскую, мог ли Рим не одобрить намерения Лжедимитриевого? Папа славил Царя-Героя, советуя ему только начать с ближайшего: с Тавриды, чтобы истреблением гнезда злодейского, столь бедоносного для России и Польши, отрезать крылья и правую руку у султана в войне с императором; однако ж имел причину не доверять ревности Самозванца к латинской церкви, видя, как он в письмах своих избегает всякого ясного слова о Законе. Кажется, что Самозванец охладел в усердии сделать россиян папистами: ибо, невзирая на свойственную ему безрассудность, усмотрел опасность сего нелепого замысла и едва ли бы решился приступить к исполнению оному, если бы и долее царствовал.

Скоро увидел и главный благодетель Лжедимитриев, Сигизмунд лукавый, что счастье и престол изменили того, кто еще недавно в восторге лобызал его руку, безмолвствовал и вздыхал пред ним, как раб униженный. Быв непосредственным виновником успехов Самозванца — оказав бродяге честь сына царского, дав ему деньги, воинов, и тем склонив народ северский верить обману, — Сигизмунд весьма естественно ждал благодарности и, чрез секретаря своего, Госевского, приветствуя нового царя, нескромно требовал, чтобы Лжедимитрий выдал ему шведских послов, если они будут в Москву от мятежника Карла. Госевский, беседуя с царем наедине, объявил за тайну, что король встревожен молвою удивительною. «Недавно (говорил сей чиновник) выехал к нам из России один приказный, который уверяет, что Борис жив: утраченный твоими победами и, следуя наставлению волхвов, он уступил державу сыну, юному Феодору, притворился мертвым и велел торжественно, вместо себя, схоронить другого человека, опоенного ядом; а сам, взяв множество золота, с ведома одной царицы и Семена Годунова бежал в Англию, называясь купцом. Поручив надежным людям разведать в Лондоне, действительно ли укрывается там опасный злодей твой, Сигизмунд, как истинный друг, счел за нужное предостеречь тебя и, думая, что верность россиян еще сомнительна, дал указ нашим литовским воеводам быть в готовности для твоей защиты». Сия сказка не испугала Лжедимитрия: он благодарил короля, но ответствен, что «в смерти Борисовой не сомневается; что готов быть недругом мятежнику шведскому, но прежде хочет удостовериться в искренней дружбе Сигизмунда, который, вопреки ласковым словам, уменьшает данное ему Богом достоинство» — ибо Сигизмунд в письме своем назвал его господарем и великим князем, а не царем: Самозванец же хотел не только сего титула, но и нового, пышнейшего: вздумал именовать себя цесарем и даже непобедимым, мечтая о своих будущих победах! Узнав о таком гордом требовании, Сигизмунд изъявил досаду, и вельможные паны упрекали недавнего бродягу смешным высокоумием, злою неблагодарностию; а Лжедимитрий писал в Варшаву, что он не забыл добрых услуг Сигизмундовых, чтит его как брата, как отца; желает утвердить с ним союз, но не престанет требовать цесарского титула, хотя и не мыслит грозить ему за то войною.

Люди благоразумные, особенно Мнишек и нунций папский, тщетно доказывали Самозванцу, что король называет его так, как государи польские всегда называли государей московских, и что Сигизмунду нельзя переменить сего обыкновения без согласия чинов республики. Другие же, не менее благоразумные люди думали, что республика не должна ссориться за пустое имя с хвастливым другом, который может быть ей орудием для усмирения шведов; но паны не хотели слышать о новом титуле, и воевода познанский сказал в гневе одному чиновнику российскому: «Бог не любит гордых, и непобедимому царю вашему не усидеть на троне». — Сей жаркий спор не мешал однако ж успеху в деле сватовства.

1 ноября великий посол царский, Афанасий Власьев, со многочисленною благородною дружиною приехал в Краков и был представлен Сигизмунду: говорил сперва о счастливом воцарении Иоаннова сына, о славе низвергнуть державу Оттоманскую, завоевать Грецию, Иерусалим, Вифлеем и Вифанию, а после о намерении Дмитрия разделить престол с Мариною, из благодарности за важные услуги, оказанные ему, во дни его несгоды и печали, знаменитым ее родителем. 12 ноября, в присутствии Сигизмунда, сына его Владислава и сестры, шведской королевны Анны, совершилось торжественное обручение (воспетое в стихах пиндарических иезуитом Гроховским). Марина, с короною на голове, в белой одежде, унизанной камнями драгоценными, блистала равно и красотою и пышностию. Именем Мнишка сказав Власьеву (который заступал место жениха), что отец благословляет дочь на брак и царство, литовский канцлер Сапега говорил длинную речь, также и пан Ленчицкий и кардинал, епископ Краковский, славя «достоинства, воспитание и знатный род Марины, вольной дворянки государства вольного, — честность Дмитрия в исполнении данного им обета, счастье России иметь законного, отечественного венценосца, вместо иноземного или похитителя, и видеть искреннюю дружбу между Сигизмундом и царем, который без сомнения не будет примером неблагодарности, зная, чем обязан королю и Королевству Польскому». Кардинал и знатнейшие духовные сановники пели молитву: *Veni, Creator*: все преклонили колена; но Власьев стоял и едва не произвел смеха, на вопрос епископа: «не обручен ли Дмитрий с другою невестою?» ответствуя: а мне как знать? того у меня нет в наказе. Меняясь перстнями, он вынул царский из ящика, с одним большим алмазом, и вручил кардиналу; а сам не хотел голою рукою взять невестина перстня. По совершении священных обрядов был великолепный стол у воеводы Сендомирского, и Марина сидела подле короля, принимая от российских чиновников дары своего жениха: богатый образ Св. Троицы, благословение царицы-инокини Марфы; перо из рубинов; чашу гиацинтовую; золотой корабль, осыпанный многими драгоценными камнями; золотого быка, пеликана и павлина; какие-то удивительные часы с флейтами и трубами; с лишком три пуда жемчугу, 640 редких соболей, кипы бархатов, парчей, штофов, атласов, и проч. и проч. Между тем Власьев, желая быть почтительным, не хотел садиться за стол с Мариною, ни пить, ни есть и, худо разумея, что он представляет лицо Дмитрия, бил челом в землю, когда Сигизмунд и семейство его пили за здоровье царя и царицы: уже так именовали невесту обрученную. После обеда король, Владислав и шведская принцесса Анна танцевали с Мариною; а Власьев уклонился от сей чести, говоря: «дерзну ли коснуться ее величества!» Наконец, прощаясь с Сигизмундом, Марина упала к ногам его и плакала от умиления, к неудовольствию посла, который видел в том унижение для будущей супруги московского венценосца; но ему ответствовали, что Сигизмунд государь ее, ибо она еще в Кракове. Подняв Марину с ласкою, король сказал ей: «Чудесно возвышенная Богом, не забудь, чем ты

обязана стране своего рождения и воспитания, — стране, где оставляешь ближних и где нашло тебя счастье необыкновенное. Питай в супруге дружество к нам и благодарность за сделанное для него мною и твоим отцом. Имей страх Божий в сердце, чти родителей и не изменяй обычаям польским». Сняв с себя шапку, он перекрестил Марину, собственными руками отдал послу и дозволил воеводе Сендомирскому ехать с нею в Россию; а Власьев, немедленно отправив к Самозванцу перстень невесты и живописное изображение лица ее, жил еще несколько дней в Кракове, чтобы праздновать Сигизмундово бракосочетание с австрийскою эрцгерцогинею, и (8 декабря) выехал в Слоним, ожидать там Мнишка и Марины на пути их в Россию; но ждал долго.

Пожертвовав Самозванцу знатною частию своего богатства, воевода Сендомирский не был доволен одними дарами: требовал от него денег, чтобы расплатиться с займодавцами, и не хотел без того выехать из Кракова; скучал, досадовал и тревожился худою молвою о будущем зяте. В Кракове знали, что делалось в Москве; знали о негодовании россиян, и многие не верили ни царскому происхождению Лжедмитрия, ни долговременности его счастья; говорили о том всенародно, предостерегали короля и Мнишка. Сама царица-инокиня Марфа, как уверяют, тайно велела чрез одного шведа объявить Сигизмунду, что мнимый Дмитрий не есть сын ее. Даже и чиновники российские, присылаемые гонцами в Польшу, шептали на ухо любопытным о царе беззаконном, и предсказывали неминуемый скорый ему конец. Но Сигизмунд и Мнишек не верили таким речам или показывали, что не верят, желая приписывать их единственно внушениям тайных злодеев царя, друзей Годунова и Шуйского. Во всяком случае уже не время было думать о разрыве с тем, кто звал на престол Марину и честно вознаграждал отца ее за все его убытки: ибо, наконец (в январе 1606), секретарь Ян Бучинский привез из Москвы 200 тысяч злотых Мнишку, сверх ста тысяч, отданных Лжедмитрием Сигизмунду в уплату суммы, которую занял у него воевода Сендомирский на ополчение 1604 года. Расстрига изъявлял нетерпение видеть невесту; но отец ее, занимаясь пышными сборами, еще долго жил в Галиции, и выехал, с толпою своих ближних, уже в распутицу, так что некоторые из них от худой дороги возвратились, — к их счастью: ибо в Москве уже все изготовилось к страшному действию народной мести.

[1606 г.] Оградив себя иноземными телохранителями и видя тишину в столице, уклончивость, низость при дворе, Лжедмитрий совершенно успокоился; верил какому-то предсказанию, что ему властвовать 34 года, и пировал с боярами на их свадьбах, дозволив им свободно выбирать себе невест и жениться: чего не было в царствование Годунова, и чем воспользовался, хотя уже и не в молодых годах, знатнейший вельможа князь Мстиславский, за коего Самозванец выдал двоюродную сестру царицы-инокини Марфы. Казалось, что и Москва искренно веселилась с царем: никогда не бывало в ней столько пиров и шума; никогда не видали столько денег в обращении: ибо немцы, ляхи, козаки, сподвижники Лжедмитрия, от щедрот его сыпали золотом, к немалой выгоде московского купечества, и хвастаясь богатством, по словам летописца, не только ели, пили, но и в банях мылись из серебряных сосудов. В сии веселые дни Самозванец, расположенный к действиям милости, простил Шуйских, чрез шесть месяцев ссылки: возвратил им богатство и знатность, в удовольствие их многочисленных друзей, которые умели хитро ослепить его прелестию такого великодушия, и, вероятно, уже не без намерения, губельного для лжецаря. Всеми уважаемый как первостепенный муж государственный и потомок Рюриков, Василий Шуйский был тогда идолом народа, прославив себя неустрашимую твердостью в обличении Самозванца: пытки и плаха дали ему, в глазах россиян, блистательный венец Героя-мученика, и никто из бояр не мог, в случае народного движения, иметь столько власти над умами, как сей князь, равно честолубивый, лукавый и смелый. Дав на себя письменное обязательство в верности Лжедмитрию, он возвратился в столицу, по-видимому, иным человеком: казался усерднейшим его слугою и снискал в нем особенную доверенность, вопреки мнению некоторых ближних людей Самозванца, которые говорили, что можно из милосердия, иногда одобряемого политикою, не казнить изменника и клятвопреступника, но безрассудно верить его новой клятве; что Шуйский, не выдав от Дмитрия ничего, кроме благоволения, замышлял его гибель, а претерпев от него бесчестие, муки, ужас смерти, конечно не исполнился любви к своему карателю хотя и правосудному: исполнился, вероятнее, злобы и мести, скрывааемых под личиною раскаяния. Они говорили истину: Шуйский возвратился с тем, чтобы погибнуть или погубить Лжедмитрия. Но легкоумный, гордый Самозванец, хваляся еще не столько благостию, сколько бесстрашием, отвечивал, что находя искреннее удовольствие в милости, любит прощать совершенно, не вполнину, и без греха не может чего-нибудь страшиться, быв от самой колыбели чудесно и явно храним Богом. Он хотел, чтобы князь Василий, подобно Мстиславскому, избрал себе знатную невесту: Шуйский выбрал княжну Буйносову-Ростовскую, свойственницу Нагих, и должен был жениться чрез несколько дней после царской свадьбы — одним словом, быв угодником Иоанновым и Борисовым, обворожил расстригу нехитрого, сделался его советником, и не для того, чтобы советовать ему доброе!

Лжедмитрий действовал, как и прежде: ветрено и безрассудно; то желал снискать любовь россиян, то умышленно оскорблял их. Современники рассказывают следующее происшествие: «Он велел сделать зимою ледяную крепость, близ Вяземы, верстах в тридцати от Москвы, и поехал туда с своими телохранителями, с конною дружиною ляхов, с боярами и лучшим воинским дворянством. Россиянам надлежало защищать городок, а немцам взять его приступом: тем и другим, вместо оружия, дали снежные комы. Начался бой, и Самозванец, предводительствуя немцами, первый ворвался в крепость; торжествовал победу; говорил: так возьму Азов — и хотел нового приступа. Но многие из россиян обливались кровию: ибо немцы во время схватки, бросая в них снегом, бросали и

каменьями. Сия худая шутка, оставленная царем без наказания и даже без выговора, столь озлобила россиян, что Лжедмитрий, опасаясь действительной сечи между ими, телохранителями и ляхами, спешил развести их и возвратиться в Москву». Ненависть к иноземцам, падая и на пристрастного к ним царя, ежедневно усиливалась в народе от их дерзости: например, с дозволения Лжедмитриева имея свободный вход в наши церкви, они бесчинно гремели там оружием, как бы готовясь к битве; опирались, ложились на гробы Святых. Не менее жаловались москвитяне и на Козаков, сподвижников расстригиных: величаясь своею службою, сии люди грубые оказывали к ним презрение и называли их в ругательство жидами; суда не было. — Но самым злейшим врагом Лжедмитрия сделалось духовенство. Как бы желая унижить сан монашества, он срамил иноков в случае их гражданских преступлений, бесчестною торговою казнию, занимал деньги в богатых обителях и не думал платить сих долгов значительных; наконец велел представить себе опись имению и всем доходам монастырей, изъявив мысль оставить им только необходимое для умеренного содержания старцев, а все прочее взять на жалованье войску: то есть смелый бродяга, бурю кинутый на престол шаткий и новою бурю угрожаемый, хотел прямо, необиновенно совершить дело, на которое не отважились государи законные, Иоанны III и IV, в тишине бесспорного властвования и повиновения неограниченного! — Дело менее важное, но не менее безрассудное также возбудило негодование белого московского духовенства: Лжедмитрий выгнал всех арбатских и Чертольских священников из их домов, чтобы поместить там своих иноземных телохранителей, которые жили большею частию в слободе Немецкой, слишком далеко от Кремля. Пастыри душ, в храмах торжественно молясь за мнимого Дмитрия, тайно кляли в нем врага своего и шептали прихожанам о Самозванце, гонителе церкви и благоприятеле всех ересей: ибо он, дозволив иезуитам служить латинскую Обедню в Кремле, дозволил и лютеранским пасторам говорить там проповеди, чтобы его телохранители не имели труда ездить для моления в отдаленную Немецкую слободу.

В сие время явление нового Самозванца также повредило расстриге в общем мнении. Завидуя успеху и чести донцов, их братья, козаки волжские и терские, назвали одного из своих товарищей, молодого козака Илейку, сыном государя Феодора Иоанновича, Петром, и выдумали сказку, что Ирина в 1592 году разрешилась от бремени сим царевичем, коего властолюбивый Борис умел скрыть и подменил девочкою (Феодосиею). Их собралось 4000, к ужасу путешественников, особенно людей торговых: ибо сии мятежники, сказывая, что идут в Москву с царем, грабили всех купцов на Волге, между Астраханью и Казанью, так что добычу их ценили в 300 тысяч рублей; а Лжедмитрий не мешал им злодействовать и писал к мнимому Петру — вероятно, желая заманить его в сети — что если он истинный сын Феодоров, то спешил бы в столицу, где будет принят с честью. Никто не верил новому обманщику; но многие еще более уверились в самозванстве расстриги, изыясняя одну басню другою; многие даже думали, что оба Самозванца в тайном согласии; что Лжепетр есть орудие Лжедмитрия; что последний велит козакам грабить купцов для обогащения казны своей и ждет их в Москву, как новых ревностных союзников для безопаснейшего тиранства над россиянами, ему ненавистными. Илейка действительно, как пишут, хотел воспользоваться ласковым приглашением расстриги и шел к Москве, но узнал в Свияжске, что мнимого дяди его уже не стало.

По всем известиям, возвращение князя Василия Шуйского было началом великого заговора и решило судьбу Лжедмитрия, который изготовил легкий успех оногo, досаждая

боярам, духовенству и народу, презирая Веру и добродетель. Может быть, следуя иным, лучшим правилам, он удержался бы на троне и вопреки явным уликам в самозванстве; может быть, осторожнейшие из бояр не захотели бы свергнуть властителя хотя и незаконного, но благоразумного, чтобы не предать отечества в жертву безначалию. Так, вероятно, думали многие в первые дни расстригина царствования: ведая, кто он, надеялись по крайней мере, что сей человек удивительный, одаренный некоторыми блестящими свойствами, заслужит счастье делами достохвальными; увидели безумие — и восстали на обманщика: ибо Москва, как пишут, уже не сомневалась тогда в единстве Отрепьева и Лжедмитрия. Любопытно знать, что самые ближние люди расстригины не скрывали истины друг от друга; сам несчастный Басманов в беседе искренней с двумя немцами, преданными Лжедмитрию, сказал им: «Вы имеете в нем отца и благоденствуете в России: молитесь о здравии его вместе со мною. Хотя он и не сын Иоаннов, но государь наш: ибо мы присягали ему, и лучшего найти не можем». Так Басманов оправдывал свое усердие к Самозванцу. Другие же судили, что присяга, данная в заблуждении или в страхе, не есть истинная: сию мысль еще недавно внушали народу друзья Лжедмитриево, склоняя его изменить юному Феодору; сею же мыслию успокоивал и Шуйский россиян добросовестных, чтобы низвергнуть бродягу. Надлежало открыться множеству людей разного звания, иметь сообщников в синклите, духовенстве, войске, гражданстве. Шуйский уже испытал опасность ковов, лежав на плахе от нескромности своих клеветов; но с того времени общая ненависть ко Лжедмитрию созрела и ручалась за вернейшее хранение тайны. По крайней мере не нашлось предателей-изветников — и Шуйский умел, в глазах Самозванца, ежедневно с ним веселясь и пируя, составить заговор, коего нить шла от царской Думы чрез все степени государственные до народа московского, так что и многие из ближних людей Отрепьева, выведенные из терпения его упрямством в неблагоприятии, пристали к сему кову. Распускали слухи зловерные для Самозванца, истинные и ложные: говорили, что он, пылая жаждою кровопролития безумного, в одно время грозит войною Европе и Азии. Лжедмитрий несомненно думал воевать с султаном, назначил для того посольство к шаху Аббасу, чтобы приобрести в нем важного сподвижника, и велел дружинам детей боярских идти в Елец, отправив туда множество пушек; грозил и Швеции; написал к Карлу: «Всех соседственных государей уведомив о своем воцарении, уведомляю тебя единственно о моем дружестве с законным королем шведским Сигизмундом, требуя, чтобы ты возвратил ему державную власть, похищенную тобою вероломно, вопреки уставу Божественному, естественному и народному праву — или вооружишь на себя могущественную Россию. Усовестись и размысли о печальном жребии Бориса Годунова: так Всевышний казнит похитителей — казнит и тебя». Уверяли еще, что Лжедмитрий вызывает хана опустошать южные владения России и, желая привести его в бешенство, послал к нему в дар шубу из свиных кож: басня опровергаемая современными государственными бумагами, в коих упоминается о мирных, дружественных сношениях Лжедмитрия с Казы-Гиреем и дарах обыкновенных. Говорили справедливее о намерении или обещании Самозванца предать нашу церковь папе и знатную часть России Литве: о чем сказывал боярам дворянин Золотой-Квашнин, беглец Иоаннова времени, который долго жил в Польше. Говорили, что расстрига ждет только воеводы Сендомирского с новыми шайками ляхов для исполнения своих умыслов, губительных для отечества. Уже начальники заговора хотели было приступить к делу; но отложили удар до свадьбы Лжедмитриевой для того ли, как пишут, чтобы с невестою и с ее ближними возвратились в Москву древние царские сокровища, раздаренные

им щедростию Самозванца, или для того, чтобы он имел время и способ еще более озлобить россиян новыми беззакониями, предвиденными Шуйским и друзьями его?

Между тем два или три случая, не будучи в связи с заговором, могли потревожить Самозванца. Ему донесли, что некоторые стрельцы всенародно злословят его, как врага Веры: он призвал всех московских стрельцов с головою Григорием Микулиным, объявил им дерзость их товарищей и требовал, чтобы верные воины судили изменников: Микулин обнажил меч, и хулители лжецаря, не изъясняя ни раскаяния, ни страха, были иссечены в куски своими братьями: за что Самозванец пожаловал Микулина, как усердного слугу, в дворяне думные, а народ возненавидел, как убийцу великодушных страдальцев. Таким же мучеником хотел быть и дьяк Тимофей Осипов: пылая ревностию изобличить расстригу, он несколько дней говел дома, приобщился Святых Тайн и торжественно, в палатах царских, пред всеми боярами, назвал его Гришкою Отрепьевым, рабом греха, еретиком. Все изумились, и сам Лжедмитрий безмолвствовал в смятении: опомнился и велел умертвить сего в истории незабвенного мужа, который своею кровию, вместе с немногими другими, искупал россиян от стыда повиноваться бродяге. Пишут, что и стрельцы и дьяк Осипов, прежде их убиения, были допрашиваемы Басмановым, но никого не оговорили в единомыслии с ними. Не менее бесстрашным оказал себя и знаменитый слепец, так называемый царь Симеон: будучи ревностным христианином и слыша, что Лжедмитрий склоняется к латинской Вере, он презрел его милость и ласки, всенародно изъяснял негодование, убеждал истинных сынов церкви умереть за ее святые уставы: Симеона, обвиняемого в неблагодарности, удалили в монастырь Соловецкий и постригли. Тогда же чиновник известный способностями ума и гибкостью нрава, быв в равной доверенности у Бориса и Самозванца, думный дворянин Михаиле Татищев, вдруг заслужил опалу смелостию, в нем совсем необыкновенною. Однажды, за столом царским, князь Василий Шуйский, видя блюдо телятины, в первый раз сказал Лжедмитрию, что не должно подчивать россиян яствами, для них гнусными; а Татищев, пристав к Шуйскому, начал говорить столь невежливо и дерзко, что его вывели из дворца и хотели сослать на Вятку; но Басманов чрез две недели исходатайствовал ему прощение (себе на гибель, как увидим). Сей случай возбудил подозрение в некоторых ближних людях Отрепьева и в нем самом: думали, что Шуйский завел сей разговор с умыслом и что Татищев не даром изменил своему навыку; что они, зная вспыльчивость Лжедмитрия, хотели вырвать из него какое-нибудь слово нескромное и во вред ему разгласить о том в городе; что у них должно быть намерение дальновидное и злое. К счастью, Лжедмитрий, по нраву и правилам неопасливый, скоро оставил сию беспокойную мысль, видя вокруг себя лица веселые, все знаки усердия и преданности, особенно в Шуйском, и всего более думая тогда о великолепном приеме Марины.

Но воевода Сендомирский как долго не трогался с места, так медленно и путешествовал; везде останавливался, пировал, к досаде своего провожатого, Афанасия Власьева, и еще из Минска писал в Москву, что ему нельзя выехать из литовских владений, пока царь не заплатит королю всего долга; что грубость излишно ревностного слуги Власьева, нудящего их не ехать, а лететь в Россию, несносна для него, ветхого старца, и для нежной Марины. Самозванец не жалел денег: обязался удовлетворить всем требованиям Сигизмундовым, прислал 5000 червонцев в дар невесте, и сверх того 5000 рублей и 13 000 талеров на ее путешествие до пределов России; но изъяснил неудовольствие. «Вижу, — писал он к Мнишку, — что вы едва ли и весною достигнете нашей столицы, где можете не найти меня:

ибо я намерен встретить лето в стане моего войска и буду в поле до зимы. Бояре, высланные ждать вас на рубеж, истратили в сей голодной стране все свои запасы и должны будут возвратиться, к стыду и поношению царского имени». Мнишек в досаде хотел ехать назад; однако ж, извинив колкие выражения будущего зятя нетерпением его страстной любви, 8 апреля въехал в Россию.

Пишут, что Марина, оставляя навеки отечество, неутешно плакала в горестных предчувствиях и что Власьев не мог успокоить ее влечением ее славы. Воевода Сендомирский желал блеснуть пышностью: с ним было родственников, приятелей и слуг не менее двух тысяч, и столько же лошадей. Марина ехала между рядами конницы и пехоты. Мнишек, брат и сын его, князь Вишневецкий и каждый из знатных панов имел свою дружину воинскую. На границе приветствовали невесту царедворцы московские, а за местечком Красным бояре, Михаиле Нагой (мнимый дядя Лжедмитриев) и князь Василий Мосальский, который сказал отцу ее, что знаменитейшие государи европейские хотели бы выдать дочерей своих за Дмитрия, но что Дмитрий предпочитает им его дочь, умея любить и быть благодарным. Оттуда повезли Марину на двенадцати белых конях, в санях великолепных, украшенных серебряным орлом; возницы были в парчовой одежде, в черных лисьих шапках; впереди ехало двенадцать знатных всадников, которые служили путеводителями и кричали возницам, где видели камень или яму. Несмотря на весеннюю распутицу, везде исправили дорогу, везде построили новые мосты и дома для ночлегов. В каждом селении жители встречали невесту с хлебом и солью, священники с иконами. Граждане в Смоленске, Дорогобуже, Вязме подносили ей многоценные дары от себя, а сановники вручали письма от жениха с дарами еще богаче. Все старались угождать не только будущей царице, но и спутникам ее, надменным ляхам, которые вели себя нескромно, грубили россиянам, притворно смиренным, и, достигнув берегов Угры, вспомнили, что тут была древняя граница Литвы — надеялись, что и будет снова: ибо Мнишек вез с собою владенную грамоту, данную ему Самозванцем, на княжение Смоленское!.. Оставив Марину в Вязме, Сендомирский воевода с сыном и князем Вишневецким спешили в Москву для некоторых предварительных условий с царем относительно к браку.

25 апреля, имев пышный въезд в столицу, Мнишек с восторгом увидел будущего зятя на великолепном троне, окруженном боярами и духовенством: патриарх и епископы сидели на правой стороне, вельможи на левой. Мнишек целовал руку Лжедмитриеву; говорил речь и не находил слов для выражения своего счастья. «Не знаю (сказал он), какое чувство господствует теперь в душе моей: удивление ли чрезмерное или радость неописанная? Мы проливали некогда слезы умиления, слушая повесть о жалостной, мнимой кончине Дмитрия — и видим его воскресшего! Давно ли, с горестию иного рода, с участием искренним и нежным, я жал руку изгнанника, моего гостя печального — и сию руку, ныне державную, лобызаю с благоговением!.. О счастье! как ты играешь смертными! Но что говорю? не слепому счастью, а Провидению дивимся в судьбе твоей: Оно спасло тебя и возвысило, к утешению России и всего христианства. Уже известны мне твои блестящие свойства: я видел тебя в пылу битвы неустрашимого, в трудах воинских неутомимого, к хладу зимнему нечувствительного... ты бодрствовал в поле, когда и звери севера в своих норах таились. История и стихотворство прославят тебя за мужество и за многие иные добродетели, которые спешат открыть в тебе миру; но я особенно должен славить твою высокую ко мне милость, щедрую награду за мое к тебе раннее дружество, которое

предупредило честь и славу твою в свете: ты делишь свое величие с моей дочерью, умея ценить ее нравственное воспитание и выгоды, данные ей рождением в государстве свободном, где дворянство столь важно и сильно, — а всего более зная, что одна добродетель есть истинное украшение человека». Лжедимитрий слушал с видом чувствительности, непрестанно утирая себе глаза платком, но не сказал ни слова: вместо царя отвечал Афанасий Власьев. Началось роскошное угощение. Мнишек обедал у Лжедимитрия в новом дворце, где поляки хвалили и богатство и вкус украшений. Честя гостя, Самозванец не хотел однако ж сидеть с ним рядом: сидел один за серебряною трапезою и в знак уважения велел только подавать ему, сыну его и князю Вишневецкому золотые тарелки. Во время обеда привели двадцать лопарей, бывших тогда в Москве с данию, и рассказывали любопытным иноземцам, что сии странные дикари живут на краю света, близ Индии и Ледовитого моря, не зная ни домов, ни теплой пищи, ни законов, ни Веры: Лжедимитрий хвалился неизмеримостию России и чудным разнообразием ее народов. Вечеру играли во дворце польские музыканты; сын воеводы Сендомирского и князь Вишневецкий танцевали, а Лжедимитрий забавлялся переодеванием, ежечасно являясь то русским щеголем, то венгерским гусаром. Пять или шесть дней угощали Мнишка изобильными, бесконечными обедами, ужинами, звериною ловлею, в коей Лжедимитрий, как обыкновенно, блистал искусством и смелостию: бил медведей рогатиною, отсекал им голову саблею и веселился громкими восклицаниями бояр: «слава царю!» — В сие время занимались и делом.

Лжедимитрий писал еще в Краков к воеводе Сендомирскому, что Марина, как царица российская, должна по крайней мере наружно чтить Веру греческую и следовать обрядам; должна также наблюдать обычаи московские и не убирать волос: но легат папский Рангони с досадою отвечал на первое требование, что государь самодержавный не обязан угождать бессмысленному народному суеверию; что Закон не воспрещает брака между христианами греческой и римской церкви и не велит супругам жертвовать друг другу совестью; что самые предки Димитриевы, когда хотели жениться на княжнах польских, всегда оставляли им свободу в Вере. Сие затруднение было, кажется, решено в беседах Лжедимитрия с воеводою Сендомирским и с нашим духовенством: условились, чтобы Марина ходила в греческие церкви, приобщалась Святых Тайн от патриарха и постилась еженедельно не в субботу, а в среду, имея однако ж свою латинскую церковь и наблюдая все иные уставы римской Веры. Патриарх Игнатий был доволен; другие святители молчали, все, кроме митрополита казанского Ермогена и коломенского епископа Иосифа, сосланных расстригою за их смелость: ибо они утверждали, что невесту должно крестить, или женитьба царя будет беззаконием. Гордясь хитрою политикою — удовольствовав, как он думал, и Рим и Москву. — устроив все для торжественного бракосочетания и принятия невесты, Лжедимитрий дал ей знать, что ждет ее с нежным чувством любовника и с великолепием царским.

Марина дня четыре жила в Вяземе, бывшем селе Годунова, где находился его дворец, окруженный валом, и где в каменном храме, донныне целом, видны еще многие польские надписи Мнишковых спутников. 1 мая, верст за 15 от Москвы, встретили будущую царицу купцы и мещане с дарами — 2 мая, близ городской заставы, дворянство и войско: дети боярские, стрельцы, козаки (все в красных суконных кафтанах, с белою перевязью на груди), немцы, поляки, числом до ста тысяч. Сам Лжедимитрий был тайно в простой одежде между ими, вместе с Басмановым расставил их по обеим сторонам дороги и возвратился в Кремль.

Не въезжая в город, на берегу Москвы-реки, Марина вышла из кареты и вступила в великолепный шатер, где находились бояре: князь Мстиславский говорил ей приветственную речь; все другие кланялись до земли. У шатра стояли 12 прекрасных верховых коней в дар невесте, и богатая колесница, украшенная серебряными орлами царского герба и запряженная десятью пегими лошадьми: в сей колеснице Марина въехала в Москву, будучи сопровождаема своими ближними, боярами, чиновниками и тремя дружинами царских телохранителей; впереди шло 300 гайдуков с музыкантами, а позади ехало 13 карет и множество всадников. Звонили в колокола, стреляли из пушек, били в барабаны, играли на трубах — а народ безмолвствовал; смотрел с любопытством, но изъявлял более печали, нежели радости, и заметил вторично бедственное предзнаменование: уверяют, что в сей день свирепствовала буря, так же, как и во время расстригина вступления в Москву. Пред воротами Кремлевскими, на возвышенном месте площади (где встретило бы невесту царскую духовенство с крестами, если бы сия невеста была православная), встретили Марину новые толпы литаврщиков, производя несносный для слуха шум и гром. При въезде ее в Спасские ворота музыканты польские играли свою народную песню: навеки в счастье и несчастье; колесница остановилась в Кремле у Девичьего монастыря: там невеста была принята царицею-инокинею; там увидела и жениха — и жила до свадьбы, отложенной на шесть дней еще для некоторых приготовлений.

Между тем Москва волновалась. Поместив воеводу Сендомирского в Кремлевском доме Борисовом (вертепе цареубийства!), взяли для его спутников все лучшие дворы в Китае, в Белом городе и выгнали хозяев, не только купцов, дворян, дьяков, людей духовного сана, но и первых вельмож, даже мнимых родственников царских, Нагих: сделался крик и вопль. — С другой стороны, видя тысячи гостей незваных, с ног до головы вооруженных, — видя, как они еще из телег своих вынимали запасные сабли, копья, пистолеты, москвитяне спрашивали у немцев, ездят ли в их землях на свадьбу, как на битву? и говорили друг другу, что поляки хотят овладеть столицею. В один день с Мариною въехали в Москву великие послы Сигизмундовы, паны Олесницкий и Госевский, также с воинскою многочисленною дружиною и также к беспокойству народа, который думал, что они приехали за венцом Марины и что царь уступает Литве все земли от границы до Можайска — мнение несправедливое, как доказывают бумаги сего посольства: Олесницкий и Госевский должны были только вместо короля присутствовать на свадьбе Лжедмитрия, утвердить Сигизмундову с ним дружбу и союз с Россиею, не требуя ничего более. Самозванец, по сказанию летописца, зная молву народную о грамоте, данной им Мнишку на Смоленск и Северскую область, говорил боярам, что не уступит ни пяди Российской ляхам — и, может быть, говорил искренно: может быть, обманывая папу, обманул бы и тестя и жену свою; но бояре, по крайней мере Шуйский с друзьями, не старались переменить худых мыслей народа о Лжедмитрии, который новыми соблазнами еще усилил общее негодование.

Доброжелатели сего безрассудного хотели уверить благочестивых россиян, что Марина в уединенных, недоступных келиях учится нашему Закону и постится, готовясь к крещению: в первый день она действительно казалась постницею, ибо ничего не ела, гнушаясь русскими яствами; но жених, узнав о том, прислал к ней в монастырь поваров отца ее, коим отдали ключи от царских запасов и которые начали готовить там обеды, ужины, совсем не монастырские. Марина имела при себе одну служанку, никуда не выходила из келий, не ездила даже и к отцу; но ежедневно видела страстного Лжедмитрия, сидела с ним наедине или была увеселяема музыкою, пляскою и песнями не духовными. Расстрига вводил

скоморохов в обитель тишины и набожности, как бы ругаясь над святым местом и саном инокинь непорочных. Москва сведала о том с омерзением.

Соблазн иного рода, плод ветрености Лжедмитриевой, изумил царедворцев. 3 мая расстрига торжественно принимал в золотой палате знатных ляхов, родственников Мнишковых и послов королевских. Гофмейстер Марины, Стадницкий, именем всех ее ближних говоря речь, сказал ему: «Если кто-нибудь удивится твоему союзу с Домом Мнишка, первого из вельмож королевских, то пусть заглянет в историю государства Московского: прадед твой, думаю, был женат на дочери Витовта, а дед на Глинской — и Россия жаловалась ли на соединение царской крови с литовскою? ни мало. Сим браком утверждаешь ты связь между двумя народами, которые сходятствуют в языке и в обычаях, равны в силе и доблести, но доныне не знали мира искреннего и своею закоснелою враждою тешили неверных; ныне же готовы, как истинные братья, действовать единомысленно, чтобы низвергнуть Луну ненавистную... и слава твоя, как солнце, воссияет в странах Севера». За родственниками воеводы Сендомирского, важно и величаво, шли послы. Лжедмитрий сидел на престоле: сказав царю приветствие, Олесницкий вручил Сигизмундову грамоту Афанасию Власьеву, который тихо прочитал Самозванцу ее надпись, и возвратил бумагу послам, говоря, что она писана к какому-то князю Димитрию, а монарх российский есть цесарь; что послы должны ехать с нею обратно к своему государю. Изумленный пан Олесницкий, взяв грамоту, сказал Лжедмитрию: «Принимаю с благоговением; но что делается? оскорбление беспримерное для короля, — для всех знаменитых ляхов, стоящих здесь пред тобою, — для всего нашего отечества, где мы еще недавно видели тебя, осыпаемого ласками и благодеяниями! Ты с презрением отвергаешь письмо его величества на сем троне, на коем сидишь по милости Божией, государя моего и народа польского!..» Такое нескромное слово оскорбляло всех россиян не менее царя; но Лжедмитрий не мыслил выгнать дерзкого пана и как бы обрадовался случаю блистать своим красноречием; велел снять с себя корону и сам отвечал следующее: «Необыкновенное, неслыханное дело, чтобы венценосцы, сидя на престоле, спорили с иноземными послами; но король упрямством выводит меня из терпения. Ему изъяснено и доказано, что я не только князь, не только государь и царь, но и великий император в своих неизмеримых владениях. Сей титул дан мне Богом, и не есть одно пустое слово, как титулы иных королей; ни ассирийские, ни мидийские, ниже римские цесари не имели действительнейшего права так именоваться. Могут ли быть довольны названием князя и государя, когда мне служат не только господа и князья, но и цари? Не вижу себе равного в странах полуночных; надо мною один Бог. И не все ли монархи европейские называют меня императором? Для чего же Сигизмунд того не хочет? Пан Олесницкий! спрашиваю: мог ли бы ты принять на свое имя письмо, если бы в его надписи не было означено твое шляхетское достоинство?.. Сигизмунд имел во мне друга и брата, какого еще не имела республика Польская; а теперь вижу в нем своего зложелателя». Извиняясь в худом витийстве неспособностью говорить без приготовления, а в смелости навыком человека свободного, Олесницкий с жаром и грубостью упрекал Лжедмитрия неблагодарностью, забвением милостей королевских, безрассудностью в требовании титула нового, без всякого права; указывая на бояр, ставил их в свидетели, что венценосцы российские никогда не думали именоваться цесарями; предавал Самозванца суду Божию за кровопролитие, вероятное следствие такого неумеренного честолюбия. Самозванец возражал; наконец смягчился и звал Олесницкого к руке не в виде посла, а в виде своего доброго знакомца; но разгоряченный пан сказал: «или я

посол или не могу целовать руки твоей» — и сею твердостью принудил расстригу уступить: «для того (сказал Власьев), что царь, готовясь к брачному веселию, расположен к снисходительности и к мирным чувствам». Грамоту Сигизмундову взяли, послам указали места, и Лжедмитрий спросил о здоровье короля, но сидя: Олесницкий хотел, чтоб он для сего вопроса, в знак уважения к королю, привстал, и расстрига исполнил его желание — одним словом, унизил, остыдил себя в глазах двора явлением непристойным, досадив вместе и ляхам и россиянам. С честью отпустив послов в их дом, Лжедмитрий велел дяку Грамотину сказать им, что они могут жить, как им угодно, без всякого надзора и принуждения: видеться и говорить, с кем хотят; что обычаи переменялись в России, и спокойная любовь к свободе заступила место недоверчивого тиранства; что гостеприимная Москва ликует, в первый раз видя такое множество ляхов, а царь готов удивить Европу и Азию дружбою своею к королю, если он признает его императором из благодарности за титул шведского, отнятый Борисом у Сигизмунда, но возвращаемый ему Димитрием. — Делом государственного союза хотели заняться после свадьбы царской: ибо Лжедмитрий не имел времени мыслить о делах, занимаясь единственно невестою и гостями.

В монастыре веселились, во дворце пировали. Жених ежедневно дарил невесту и родных ее, покупая лучшие товары у купцов иноземных, коих множество наехало в Москву из Литвы, Италии и Германии. За два дня до свадьбы принесли Марине шкатулку с узорочьями, ценою в 50 тысяч рублей, а Мнишку выдали еще 100 тысяч злотых для уплаты остальных долгов его, так что казна издержала в сие время на одни дары 800 000 (нынешних серебряных 4 000 000) рублей, кроме миллионов, издержанных на путешествие или угощение Марины с ее ближними. Лжедмитрий хотел царскою роскошью затмить польскую: ибо воевода Сендомирский и другие знатные ляхи также не жалели ничего для внешнего блеска, имели богатые кареты и прекрасных коней, рядили слуг в бархат и готовились жить пышно в Москве (куда Мнишек привез 30 бочек одного вина венгерского). Но самая роскошь гостей озлобляла народ: видя их великолепие, москвитяне думали, что оно есть плод расхищения казны царской; что достояние отечества, собранное умом и трудами наших государей, идет в руки вечных неприятелей России.

7 мая, ночью, невеста вышла из монастыря и при свете двухсот факелов, в колеснице окруженной телохранителями и детьми боярскими, переехала во дворец, где, в следующее утро, совершилось обручение по уставу нашей церкви и древнему обычаю; но, вопреки сему уставу и сему обычаю, в тот же день, накануне пятницы и Святого праздника, совершился и брак: ибо Самозванец не хотел ни одним днем своего счастья жертвовать, как он думал, народному предрассудку. Невесту для обручения ввели в столовую палату княгиня Мстиславская и воевода Сендомирский. Тут присутствовали только ближайšie родственники Мнишковы и чиновники свадебные: тысяцкий князь Василий Шуйский, дружки (брат его и Григорий Нагой), свахи и весьма немногие из бояр. Марина, усыпанная алмазами, яхонтами, жемчугом, была в русском, красном бархатном платье с широкими рукавами и в сафьянных сапогах; на голове ее сиял венец. В таком же платье был и Самозванец, также с головы до ног блистая алмазами и всякими камнями драгоценными. Духовник царский, благовещенский протоиерей, читал молитвы; дружки резали караваи с сырами и разносили ширинки. Оттуда пошли в Грановитую палату, где находились все бояре и сановники двора, знатные ляхи и послы Сигизмундовы. Там увидели россияне важную новость: два престола, один для Самозванца, другой для Марины — и князь Василий Шуйский сказал ей: «Наияснейшая великая государыня, цесарева Мария Юриевна!

Волею Божиею и непобедимого самодержца, цесаря и великого князя всея России, ты избрана быть его супругою: вступи же на свой цесарский маестат и властвуй вместе с государем над нами!» Она села. Вельможа Михаиле Нагой держал пред нею корону Мономахову и диадему. Велели Марине поцеловать их и духовнику царскому нести в храм Успения, где уже все изготовили к торжественному обряду, и куда, по разостланным сукнам и бархатам, вел жениха воевода Сендомирский, а невесту княгиня Мстиславская; впереди шли, сквозь ряды телохранителей и стрельцов, стольники, стряпчие, все знатные ляхи, чиновники свадебные, князь Василий Голицын с жезлом или скиптром, Басманов с державою; позади бояре, люди думные, дворяне и дьяки. Народа было множество. В церкви Марина приложилась к образам — и началось священнодействие, дотоле беспримерное в России: царское венчание невесты, коим Лжедимитрий хотел удовлетворить ее честолюбие, возвысить ее в глазах россиян и, может быть, дать ей, в случае своей смерти и неимения детей, право на державство. Среди храма, на возвышенном, так называемом чертожном месте сидели жених, невеста и патриарх: первый на золотом троне персидском, вторая на серебряном. Лжедимитрий говорил речь: патриарх ему отвечал и с молитвою возложил Животворящий Крест на Марину, бармы, диадему и корону (для чего свахи сняли головной убор или венец невесты). Лики пели многолетие государю и благоверной цесареве Марии, которую патриарх на Литургии украсил цепию Мономаховою, помазал и причастил. Таким образом, дочь Мнишкова, еще не будучи супругою царя, уже была венчанною царицею (не имела только державы и скиптра). Духовенство и бояре целовали ее руку с обетом верности. Наконец выслали всех людей, кроме знатнейших, из церкви, и протопоп благовещенский обвенчал расстригу с Мариною. Держа друг друга за руку, оба в коронах, и царь и царица (последняя опираясь на князя Василия Шуйского) вышли из храма уже в час вечера и были громко приветствуемы звуком труб и литавр, выстрелами пушечными и колокольным звоном, но тихо и невнятно народными восклицаниями. Князь Мстиславский, в дверях осыпав новобрачных золотыми деньгами из богатой мисы, кинул толпам граждан все остальные в ней червонцы и медали (с изображением орла двуглавого). Воевода Сендомирский и немногие бояре обедали с Лжедимитрием в столовой палате; но сидели недолго: встали и проводили его до спальни, а Мнишек и князь Василий Шуйский до постели. Все утихло во дворце. Москва казалась спокойною: праздновали и шумели одни ляхи, в ожидании брачных пиров царских, новых даров и почестей. Не праздновали и не дремали клеветы Шуйского: время действовать наступало.

Сей день, радостный для Самозванца и столь блестящий для Марины, еще усилил народное негодование. Невзирая на все безрассудные дела расстриги, москвитяне думали, что он не дерзнет дать сана российской царицы иноверке и что Марина примет Закон наш; ждали того до последнего дня и часа: увидели ее в короне, в венце брачном и не слышали отречения от латинства. Хотя Марина целовала наши святые иконы, вкусила тело и кровь Христову из рук патриарха, была помазана елеем и торжественно возглашена благоверною царицею; но сие явное действие лжи казалось народу новою дерзостью беззакония, равно как и царское венчание польской шляхетки, удостоенной величия не слыханного и не доступного для самых цариц, истинно благоверных и добродетельных: для Анастасии, Ирины и Марии Годуновой. Корона Мономахова на главе иноземки, племени ненавистного для тогдашних россиян, вопияла к их сердцам о мести за осквернение святыни. Так мыслил народ, или такие мысли внушали ему еще невидимые вожди его в сие грозное будущим время. — Ничто не укрывалось от наблюдателей строгих. Только немногим из ляхов

расстрига дозволил быть в церкви свидетелями его бракосочетания, но и сии немногие своим бесчинством возбудили общее внимание: шутили, смеялись или дремали в час Литургии, прислонясь спиною к иконам. Послы Сигизмундовы непременно хотели сидеть, требовали кресел и едва успокоились, когда Лжедмитрий велел сказать им, что и сам он сидит в церкви, на троне, единственно по случаю коронования Марины. Замечая, как бояре служили царю — как Шуйские и другие ставили ему и царице скамьи под ноги — кичливые паны дивились вслух такой низости и благодарили Бога, что живут в республике, где король не смеет требовать столь презрительных услуг от последнего из людей вольных... Россияне видели, слышали и не прощали.

В следующее утро, на рассвете, барабаны и трубы возвестили начало свадебного праздника: сия шумная музыка не умолкала до самого полудня. Во дворце готовился пир для россиян и ляхов; но Лжедмитрий, желая веселиться, имел досаду: новую ссору с королевскими послами. Он звал их обедать, учтиво и ласково; послы также учтиво благодарили, хотели однако ж непременно сидеть с царем за одним столом, как Власьев на свадьбе у короля сидел за столом королевским. Лжедмитрий для объяснения прислал к ним Власьева; сей важный чиновник сказал Олесницкому: «Вы требуете неслыханного: у нас никому нет места за особенною царскою трапезою; король же угостил меня наравне с послами императорским и римским: следственно не сделал ничего чрезвычайного, ибо государь наш не менее ни императора, ни римского владыки — нет, великий цесарь Димитрий более их: что у вас папа, то у него попы». Так изъяснялся первый делец государственный и верный слуга расстригин, в душе своей не благоприятствуя ляхам и желая, может быть, сею непристойною насмешкою доказать, что Лжедмитрий не есть папист. Олесницкий снес грубость, но решился не ехать во дворец. Все иные знатные ляхи обедали с Самозванцем в Грановитой палате, кроме воеводы Сендомирского: он находил требование послов справедливым, тщетно умолял зятя исполнить оное, проводил его и Марину до столовой комнаты и в неудовольствии уехал домой.

Сия размолвка не мешала блеску пиршества. Новобрачные обедали на троне; за ними стояли телохранители с секирами; бояре им служили. Играла музыка — и ляхи удивлялись несметному богатству, видя пред собою горы золота и серебра. Россияне же с негодованием видели царя в гусарском платье, а царицу в польском: ибо оно более нравилось мужу ее, который и накануне едва согласился, чтобы Марина, хотя для венчания, оделась россиянкою. Вечеру ближние Мнишковы веселились во внутренних царских комнатах; а в следующий день (10 мая) Лжедмитрий принимал дары от патриарха, духовенства, вельмож, всех знатных людей, всех купцов чужестранных и снова пировал с ними в Грановитой палате, сидя лицом к иноземцам, спиною к русским. В золотой палате обедало 150 ляхов, простых воинов, но избранных, угощаемых думными дворянами: налив чашу вина. Лжедмитрий громогласно желал славных успехов оружию польскому и выпил ее до самого дна. Наконец 11 мая обедали во дворце и послы Сигизмундовы с ревностным миротворцем воеводою Сендомирским, который, убедив зятя дать Олесницкому первое место возле стола царского, уговорил и сего пана не требовать ничего более и не жертвовать спору о суетной чести выгодами союза с Россиею. Хотя Лжедмитрий едва было не возобновил прения, сказав Олесницкому: «я не звал короля к себе на свадьбу: следственно ты здесь не в лице его, а только в качестве посла»; но Мнишек благоразумными представлениями утишил зятя, и все кончилось дружелюбно. Сей третий пир казался еще пышнее. Царь и царица были в коронах и в польском великолепном наряде. Тут обедали и женщины: княгиня

Мстиславская, Шуйская и родственницы воеводы Сендомирского, который, забыв свою дряхлость, не хотел сидеть: держа шапку в руках, стоял пред царицею и служил ей не как отец, а как подданный, к удивлению всех. Лжедмитрий пил здоровье короля; вообще пили много, особенно иноземные гости, хваля царские вина, но жалуясь на яства русские, для них невкусные. После стола откланялись царю сановники, коим надлежало ехать к шаху персидскому с письмами: они целовали руку у Лжедмитрия и Марины. — 12 мая царица в своих комнатах угощала одних ляхов, пригласив только двух россиян: Власьева и князя Василия Мосальского. Услуга и кушанья были польские, так что паны, изъявляя живейшее удовольствие, говорили: «Мы пируем не в Москве и не у царя, а в Варшаве или в Кракове у короля нашего». Пили и плясали до ночи. Лжедмитрий в гусарской одежде танцевал с женою и с тестем. — Но царица оказала милость и россиянам: 14 мая обедали у нее бояре и люди чиновные. В сей день она казалась русскою, верно соблюдая наши обычаи; старалась быть и любезною, всех приветствуя и лаская... Но приветствия уже не трогали сердец ожесточенных! — Между тем не умолкала в столице музыка: барабаны, литавры, трубы с утра до вечера оглушали жителей. Ежедневно гремели и пушки в знак веселия царского; не щадили пороху и в пять или в шесть дней истратили его более, нежели в войну Годунова с Самозванцем. Ляхи также в забаву стреляли из ружей в своих домах и на улицах, днем и ночью, трезвые и пьяные.

Утомленный празднествами, Лжедмитрий хотел заняться делами, и 15 мая, в час утра, послы Сигизмундовы нашли его в новом дворце сидящего на креслах, в прекрасной голубой одежде, без короны, в высокой шапке, с жезлом в руке, среди множества царедворцев: он велел послам идти к боярам в другую комнату, чтобы объяснить им предложения Сигизмундовы. Князь Дмитрий Шуйский, Татищев, Власьев и дьяк Грамотин беседовали с ними. Олесницкий, в речи плодовой, Ветхим и Новым Заветом доказывал обязанность христианских монархов жить в союзе и противиться неверным; оплакивал падение Константинополя и несчастье Иерусалима; хвалил великодушное намерение царя освободить их от бедственного ига и заключил тем, что Сигизмунд, пылая усердием разделить с братом своим, Димитрием, славу такого предприятия, желает знать, когда и с какими силами он думает идти на султана? Татищев отвечал: «Король хочет знать: верим; но хочет ли действительно помогать непобедимому цесарю в войне с турками? сомневаемся. Желание все выведать, с намерением ничего не делать, кажется нам только обманом и лукавством». Удивляясь дерзости Татищева (который говорил невежливо, ибо уже знал о скорой перемене обстоятельств), послы свидетельствовались Власьевым, что не Сигизмунд Димитрию, а Димитрий Сигизмунду предложил воевать Оттоманскую державу: следственно и должен объявить ему свои мысли о способах успеха. Тут российские чиновники оставили послов, ходили к Лжедмитрию, возвратились и, сказав: «сам цесарь будет говорить с вами в присутствии бояр», отпустили их домой; но мнимый цесарь уже не мог сдержать слова!

Еще Лжедмитрий готовил потехи новые; велел строить деревянную крепость с земляною осыпью вне города, за Сретенскими воротами, и вывести туда множество пушек из Кремля, чтобы 18 мая представить ляхам и россиянам любопытное зрелище приступа, если не кровопролитного, то громозвучного, коему надлежало заключиться пиршеством общенародным. Марина также замышляла особенное увеселение для царя и людей ближних во внутренних комнатах дворца: думала с своими польками плясать в личинах. Но россияне уже не хотели ждать ни той, ни другой потехи.

Если Шуйский отложил удар до свадьбы Отрепьева с намерением дать ему время еще более возмутить сердца своим легкомыслием, то сие предвидение исполнилось: новые соблазны для церкви, двора и народа умножили ненависть и презрение к Самозванцу, а наглость ляхов все довершила, так что им обязанный счастием, он их же содействием и погибнул! Сии гости и друзья его услуживали хитрому Шуйскому, истощая терпение россиян, столь мало ими уважаемых (как мы видели), что Мнишек нескромно обещал боярам свою милость, и посол королевский дерзнул торжественно назвать Лжедмитрия творением Сигизмундовым. На самых пирах свадебных, во дворце, разгоряченные вином ляхи укоряли воевод наших трусостию и малодушием, хваляся: «мы дали вам царя!» Но россияне, сколь ни униженные, сколь ни виновные пред отечеством и добродетелию, еще имели гордость народную; кипели злобою, но удерживались и шептали друг другу: «час мести недалеко!» Сего мало: воины польские и даже чиновнейшие ляхи, нетрезвые возвращаясь из дворца с обнаженными саблями, на улицах рубили москвитян, бесчестили жен и девиц, самых благородных, силою извлекая их из колесниц или вламываясь в дома; мужья, матери вопили, требовали суда. Одного ляха-преступника хотели казнить, но товарищи освободили его, умертвив палача и не страшась закона.

Так было — и на беззаконие восстало беззаконие. Мы удивлялись легкому торжеству Самозванца: теперь удивимся его легкому падению. В то время, как он беспечно тешился и плясал с своими ляхами — когда головы кружились от веселия и мысли затмевались парами вина — Шуйский, неусыпно наблюдая, решился уже не медлить, и в тишине ночи призвал к себе не только сообщников (из коих главными именуются князь Василий Голицын и боярин Иван Куракин) — не только друзей, клеветов, но и многих людей сторонних: дворян царских, чиновников военных и градских, сотников, пятидесятников, которые еще не были в заговоре, благоприятствуя оному единственно в тайне мыслей. Шуйский смело открыл им свою душу; сказал, что отечество и Вера гибнут от Лжедмитрия; извинял заблуждение россиян; извинял и тех, которые знали истину, но приняли обманщика, желая низвергнуть ненавистных Годуновых, и в надежде, что сей юный витязь, хотя и расстрига, будет добрым властителем. «Заблуждение скоро исчезло, — продолжал он, — и вы знаете, кто первый дерзнул обличать Самозванца; но голова моя лежала на плахе, а злодей спокойно величался на престоле: Москва не тронулась!» Шуйский извинял и сие бездействие: ибо многие еще не имели тогда полного удостоверения в обмане и в злодействе мнимого Дмитрия. Представив все улики и доказательства его самозванства, все его дела неистовые, измену Вере, государству и нашим обычаям, нравственность гнусную, осквернение храмов и святых обителей, расхищение древней казны царской, незаконное супружество и возложение венца Мономахова на польку некрещеную — изобразив сетование Москвы, как бы плененной сонмами ляхов, — их дерзость и насилия — Шуйский спрашивал, хотят ли россияне, сложив руки, ждать гибели неминуемой: видеть костелы римские на месте церквей православных, границу литовскую под стенами Москвы, и в самых стенах ее злое господство иноземцев? или хотят дружным восстанием спасти Россию и церковь, для коих он снова готов идти на смерть без ужаса? Не было ни разгласил, ни безмолвия сомнительного: кто не принадлежал, тот пристал к заговору в сем сборище многолюдном, но единодушном силою ненависти к Самозванцу. Положили избыть расстригу и ляхов, не боясь ни клятвопреступления, ни безначалия: ибо Шуйский и друзья его, овладев умами, смело брали на свою душу, именем отечества, Веры, духовенства, все затруднения людей совестных и смело обещали России царя лучшего. Условились в главных мерах. Градские сотники и пятидесятники

ответствовали за народ, воинские чиновники за воинов, господа за слуг усердных. Богатые Шуйские имели в своем распоряжении несколько тысяч надежных людей, призванных ими в Москву из их собственных владений, будто бы для того, чтобы они видели пышность царской свадьбы. Назначили день и час; ждали, готовились — и хотя не было прямых доносов (ибо доносчики страшились, кажется, быть жертвою народной злобы): но какая скромность могла утаить движения заговора, столь многолюдного?

12 мая говорили торжественно, на площадях, что мнимый Димитрий есть царь поганый: не чтит святых икон, не любит набожности, питается гнусными яствами, ходит в церковь нечистый, прямо с ложа скверного, и еще ни однажды не мылся в бане с своею поганою царицею; что он без сомнения еретик, и не крови царской. Лжедимитриевы телохранители схватили одного из таких поносителей и привели во дворец: расстрига велел боярам допросить его; но бояре сказали, что сей человек пьян и бредит; что царю не должно уважать речей безумных и слушать немцев-наушников. Самозванец успокоился. В следующие три дня приметно было сильное движение в народе: разглашали, что Лжедимитрий для своей безопасности мыслит изгубить бояр, знатнейших чиновников и граждан; что 18 мая, в час мнимой воинской потехи вне Москвы, на лугу сретенском, их всех перестреляют из пушек; что столица российская будет добычею ляхов, коим Самозванец отдаст не только все дома боярские, дворянские и купеческие, но и святые обители, выгнав оттуда иноков и женив их на инокинях. Москвитяне верили; толпились на улицах днем и ночью; советовались друг с другом и не давали подслушивать себя иноземцам, отгоняя их как лазутчиков, грозя им словами и взорами. Были и драки: уже не спуская гостям буйным, народ прибил людей князя Вишневецкого и едва не вломился в его дом, изъявляя особенную ненависть к сему пану, старшему из друзей расстригиных. Немцы остерегали Лжедимитрия и ляхов; остерегал первого и Басманов, один из россиян! Но Самозванец, желая более всего казаться неустрашимым и твердым на троне в глазах поляков, шутил, смеялся, искренно или притворно, и сказал испуганному воеводе Сендомирскому: «как вы, ляхи, малодушны!», а послам Сигизмундовым: «я держу в руке Москву и государство; ничто не смеет двинуться без моей воли». В полночь, с 15 на 16 мая, схватили в Кремле шесть человек подозрительных: пытали их как лазутчиков, ничего не сведали, и Лжедимитрий не считал за нужное усилить стражу во дворце, где находилось обыкновенно 50 телохранителей; он велел другим быть дома в готовности на всякий случай; велел еще расставить стрельцов по улицам для охранения ляхов, чтобы успокоить тестя, докучавшего ему и Марине своею боязнию. — 16 мая иноземцы уже не могли купить в гостином дворе ни фунта пороху и никакого оружия: все лавки были для них заперты. Ночью, накануне решительного дня, вкралось в Москву с разных сторон до 18 тысяч воинов, которые стояли в поле, верстах в шести от города, и должны были идти в Елец, но присоединились к заговорщикам. Уже дружины Шуйского в сию ночь овладели двенадцатью воротами московскими, никого не пуская в столицу, ни из столицы; а Лжедимитрий еще ничего не знал, увеселяясь в своих комнатах музыкою. Самые поляки, хотя и не чуждые опасения, мирно спали в домах, уже ознаменованных для кровавой мести: россияне скрытно поставили знаки на оных, в цель удара. Некоторые из панов имели собственную стражу, другие надеялись на царскую: но стрельцы, их хранители, или сами были в заговоре или не думали кровию русскою спасти иноплеменников противных. Ночь миновалась без сна для большей части москвитян: ибо градские чиновники ходили по дворам с тайным приказом, чтобы все жители были готовы стать грудью за церковь и царство, ополчились и ждали набата. Многие знали, многие и не

знали, чему быть надлежало, но угадывали и с ревностью вооружались, чем могли, для великого и святого подвига, как им сказали. Сильнее, может быть, всего действовала в народе ненависть к ляхам; действовал и стыд иметь царем бродягу, и страх быть жертвою его безумия, и, наконец, самая прелесть бурного мятежа для страстей необузданных.

17 мая, в четвертом часу дня, прекраснейшего из весенних, восходящее солнце осветило ужасную тревогу столицы: ударили в колокол сперва у Св. Илии, близ двора гостиного, и в одно время загредел набат в целой Москве, и жители устремились из домов на Красную площадь с копьями, мечами, самопалами, дворяне, дети боярские, стрельцы, люди приказные и торговые, граждане и чернь. Там, близ лобного места, сидели бояре на конях, окруженные сонмом князей и воевод, в шлемах и латах, в полных доспехах, и представляя в лице своем отечество, ждали народа. Стеклося бесчисленное множество людей, и ворота Спасские растворились: князь Василий Шуйский, держа в одной руке меч, в другой Распятие въехал в Кремль, сошел с коня, в храме Успения приложился к святой иконе Владимирской и, воскликнув к тысячам: «во имя Божие идите на злого еретика!» указал им дворец, куда с грозным шумом и криком уже неслись толпы, но где еще царствовала глубокая тишина! Пробужденный звуком набата, Лжедмитрий в удивлении встает с ложа, спешит одеться, спрашивает о причине тревоги: ему отвечают, что, вероятно, горит Москва; но он слышит свирепый вопль народа, видит в окно лес копий и блистание мечей; зовет Басманова, ночевавшего во дворце, и велит ему узнать предлог мятежа. Сей боярин, духа твердого, мог быть предателем, но только однажды: изменив государю законному, уже стыдился изменить Самозванцу и, тщетно желав образумить, спасти легкомысленного, желал по крайней мере не разлучаться с ним в опасности. Басманов встретил толпу уже в сенях: на вопрос его, куда она стремится? в несколько голосов кричат: «веди нас к Самозванцу! выдай нам своего бродягу!» Басманов кинулся назад, захлопнул двери, велел телохранителям не пускать мятежников и, в отчаянии прибежав к расстриге, сказал ему: «Все кончилось! Москва бунтует; хотят головы твоей: спасайся! Ты мне не верил!» Вслед за ним ворвался в царские покои один дворянин безоружный, с голыми руками, требуя, чтобы мнимый сын Иоаннов шел к народу, дать отчет в своих беззакониях: Басманов рассек ему голову мечом. Сам Лжедмитрий, изъявляя смелость, выхватил бердыш у телохранителя Шварцгофа, растворил дверь в сени и, грозя народу, кричал: «Я вам не Годунов!» Ответом были выстрелы, и немцы снова заперли дверь; но их было только 50 человек, и еще, во внутренних комнатах дворца, 20 или 30 поляков, слуг и музыкантов: иных защитников, в сей грозный час, не имел тот, кому накануне повиновались миллионы! Но Лжедмитрий имел еще друга: не находя возможности противиться силе силою, в ту минуту, когда народ отбивал двери, Басманов вторично вышел к нему — увидел бояр в толпе, и между ими самых ближних людей расстригиных: князей Голицыных, Михаила Салтыкова, старых и новых изменников; хотел их усювестить; говорил об ужасе бунта, вероломства, безначалия; убеждал их одуматься; ручался за милость царя.

Но ему не дали говорить много: Михаиле Татищев, им спасенный от ссылки, завопил: «злодей! иди в ад вместе с твоим царем!» и ножом ударил его в сердце. Басманов испустил дух и мертвый был сброшен с крыльца... судьба достойная изменника и ревностного слуги злодейства, но жалостная для человека, который мог и не захотел быть честию России!

Уже народ вломился во дворец, обезоружил телохранителей, искал расстриги и не находил: дотоле смелый и неустрашимый, Самозванец, в смятении ужаса кинув свой меч, бегал из комнаты в комнату, рвал на себе волосы и, не видя иного спасения, выскочил из

палат в окно на житный двор — вывихнул себе ногу, разбил грудь, голову, и лежал в крови. Тут узнали его стрельцы, которые в сем месте были на страже и не участвовали в заговоре: они взяли расстригу, посадили на фундамент сломанного дворца годуновского, отливали водою, изъявляли жалость. Самозванец, омывая теплою кровию развалины Борисовых чертогов (где жило некогда счастье, и также изменило своему любимцу), пришел в себя: молил стрельцов быть ему верными, обещал им богатство и чины. Уже стеклося вокруг их множество людей: хотели взять расстригу; но стрельцы не выдавали его и требовали свидетельства царицы-инокини, говоря: «если он сын ее, то мы умрем за него, а если царица скажет, что он Лжедмитрий, то волен в нем Бог». Сие условие было принято. Мнимая мать Самозванцева, вызванная боярами из келий, торжественно объявила народу, что истинный Димитрий скончался на руках ее в Угличе; что она, как жена слабая, действием угроз и лести была вовлечена в грех бессовестной лжи: неизвестного ей человека назвала сыном, раскаялась и молчала от страха, но тайно открывала истину многим людям. Призвали и родственников ее, Нагих: они сказали то же, вместе с нею виняся пред Богом и Россиею. Чтобы еще более удостоверить народ, Марфа показала ему изображение младенческого лица Димитриева, которое у нее хранилось и нимало не сходствовало с чертами лица расстригина.

Тогда стрельцы выдали обманщика, и бояре велели нести его во дворец, где он увидел своих телохранителей под стражею: заплакал и протянул к ним руку, как бы благодаря их за верность. Один из сих немцев, ливонский дворянин Фирстенберг, теснился сквозь толпу к Самозванцу и был жертвою озлобления россиян: его умертвили; хотели умертвить и других телохранителей, но бояре не велели трогать сих честных слуг — и в комнате, наполненной людьми вооруженными, стали допрашивать Лжедмитрия, покрытого бедным рубищем: ибо народ уже сорвал с него одежду царскую. Шум и крик заглушали речи; слышали только, как уверяют, что расстрига на вопрос: «кто ты, злодей?» отвечал: «вы знаете: я — Димитрий» — и ссылаясь на царицу-инокиню; слышали, что князь Иван Голицын возразил ему: «ее свидетельство уже нам известно: она предает тебя казни». Слышали еще, что Самозванец говорил: «несите меня на лобное место: там объявлю истину всем людям». Нетерпеливый народ ломился в дверь, спрашивая, винится ли злодей? Ему сказали, что винится — и два выстрела прекратили допрос вместе с жизнью Отрепьева (его убили дворяне Иван Воейков и Григорий Волуев). Толпа бросилась терзать мертвого; секли мечами, кололи труп бездушный и кинули с крыльца на тело Басманова, восклицая: «будьте неразлучны и в аде! вы здесь любили друг друга!» Яростная чернь схватила, извлекла сии нагие трупы из Кремля и положила близ лобного места: расстригу на столе, с маскою, дудкою и волынкою, в знак любви его к скоморошеству и музыке; а Басманова на скамье, у ног расстригиных.

Совершив главное дело, истребив Лжедмитрия, бояре спасли Марину. Изумленная тревогою и шумом — не имев времени одеться — спрашивая, что делается и где царь? слыша наконец о смерти мужа, она в беспмятстве выбежала в сени: народ встретил ее, не узнал и столкнул с лестницы. Марина возвратилась в свои комнаты, где была ее польская гофмейстерина с шляхетками и где усердный слуга (именем Осмульский) стоял в дверях с обнаженною саблею: воины и граждане вломились, умертвили его, и Марина лишилась бы жизни или чести, если бы не приспели бояре, которые выгнали неистовых и, взяв, опечатав все достояние бывшей царицы, дали ей стражу для безопасности; не могли однако ж или не хотели унять кровопролития: убийства только начинались!

Еще при первом звуке набата воины окружили дома ляхов, заградили улицы рогатками,

завалили ворота; а паны беспечно и крепко спали, так что слуги едва могли разбудить их — и самого воеводу Сендомирского, который лучше многих видел опасность и предостерегал зятя. Мнишек, сын его, князь Вишневецкий, послы Сигизмундовы, угадывая вину и цель мятежа, спешили вооружить людей своих; иные прятались или в оцепенении ждали, что будет с ними, и скоро услышали вопль: «смерть ляхам!» Пылая злобою, умертвив в Кремле музыкантов расстригиных, опустошив дом иезуитов, истерзав духовника Маринина, служившего Обедню, народ устремился в Китай и Белый город, где жили поляки, и несколько часов плавал в крови их, алчно наслаждаясь ужасною местию, противною великодушию, если и заслуженною. Сила карала слабость, без жалости и без мужества: сто нападало на одного! Ни оборона, ни бегство, ни моления трогательные не спасали: поляки не могли соединиться, будучи истребляемы в запертых домах или на улицах, прегражденных рогатками и копьями. Сии несчастные, накануне гордые, лобызали ноги россиян, требовали милосердия именем Божиим, именем своих невинных жен и детей; отдавали все, что имели — клялися прислать и более из отечества: их не слушали и рубили. Иссеченные, обезображенные, полумертвые еще молили о бедных остатках жизни: напрасно! В числе самых жестоких карателей находились священники и монахи переодетые; они вопили: «губите ненавистников нашей Веры!» Лилася и кровь россиян: отчаяние вооружало убиваемых, и губители падали вместе с жертвами. Не тронув жилища послов Сигизмундовых, народ приступал к домам Мнишков и князя Вишневецкого, коих люди защищались и стреляли в толпы из окон: уже москвитяне везли пушки, чтобы разбить сии дома в щепы и не оставить в них ни одного человека живого; но тут явились бояре и велели прекратить убийства. Мстиславский, Шуйские скакали из улицы в улицу, обуздывая, умиряя народ и всюду рассылая стрельцов для спасения ляхов, обезоруженных честным словом боярским, что жизнь их уже в безопасности. Сам князь Василий Шуйский успокоил и спас Вишневецкого, другие Мнишка. Именем Государственной думы сказали послам Сигизмундовым, что Лжедимитрий, обманув Литву и Россию, но скоро изобличив себя делами неистовыми, казнен Богом и народом, который в самом беспорядке и смятении уважил священный сан мужей, представляющих лицо своего монарха, и мстил единственно их наглым единоплеменникам, приехавшим злодействовать в Россию. Сказали воеводе Сендомирскому: «Судьба царств зависит от Всевышнего, и ничто не бывает без его определения: так и в сей день совершилась воля Божия: кончилось царство бродяги, и добыча исторгнута из рук хищника! Ты, его опекун и наставник — ты, который привел обманщика к нам, чтобы возмутить Россию мирную — не достоин ли такой же казни? Но хвались счастьем: ты жив, и будешь цел; дочь твоя спасена — благодари Небо!» Ему позволили видеться с Мариною во дворце, и без свидетелей: не нужно было знать, что они могли сказать друг другу в своем злополучии! Воевода Сендомирский шел к ней и назад сквозь ряды мечей и копий, обгаренных кровию его соотечественников; но москвитяне смотрели на него уже более с любопытством, нежели с яростию: победа укротила злобу.

Еще смятение продолжалось несколько времени; еще из слобод городских и ближних деревень стремилось множество людей с дрекольем в Москву на звук колоколов; еще грабили имение литовское, но уже без кровопролития. Бояре не сходили с коней и повелевали с твердостью; дружины воинские разгоняли чернь, везде охраняя ляхов как пленников. Наконец, в 11 часов утра, все затихло. Велели народу смириться, и народ, утомленный мятежом, спешил домой отдыхать и говорить в семействах о чрезвычайных происшествиях сего дня, незабвенного для тех, которые были свидетелями его ужасов: «в

течение семи часов, пишут они, мы не слышали ничего, кроме набата, стрельбы, стука мечей и крика: секи, руби злодеев! не видали ничего, кроме волнения, бегания, скакания, смертоубийства и мятежа». Число жертв простиралось за тысячу, кроме избитых и раненых; но знатнейшие ляхи остались живы, многие в рубашках и на соломе. Чернь ошибкою умертвила и некоторых россиян, носивших одежду польскую в угодность Самозванцу. Немцев щадили; ограбили только купцов аугсбургских, вместе с миланскими и другими, которые жили в одной улице с ляхами. Сей для человечества горестный день был бы еще несравненно ужаснее, по сказанию очевидцев, если бы ляхи остереглись, успели соединиться для отчаянной битвы и зажгли город, к несчастию Москвы и собственному: ибо никто из них уже не избавился бы тогда от мести россиян; следственно беспечность ляхов уменьшила бедствие.

До самого вечера москвитяне ликовали в домах или мирно сходились на улицах поздравлять друг друга с избавлением России от Самозванца и поляков, хвалились своею доблестию и «не думали» (говорит летописец) «благодарить Всевышнего: храмы были затворены!» Радуюсь настоящему, не тревожились о будущем — и после такого бурного дня настала ночь совершенно тихая: казалось, что Москва вдруг опустела; нигде не слышно было голоса человеческого: одни любопытные иноземцы выходили из домов, чтобы удивляться сей мертвой тишине города многолюдного, где за несколько часов пред тем все кипело яростным бунтом. Еще улицы дымились кровию, и тела лежали грудками; а народ покоился как бы среди глубокого мира и непрерывного благоденствия — не имея царя, не зная наследника — опятнав себя двукратною изменою и будущему венценосцу угрожая третьею!

Но в сем безмолвии бодрствовало властолюбие с своими обольщениями и кознями, устремляя алчный взор на добычу мятежа и смертоубийства: на венец и скипетр, обогранные кровию двух последних царей. Легко было предвидеть, кто возьмет сию добычу, силою и правом. Смелейший обличитель Самозванца, чудесно спасенный от казни и еще бесстрашный в новом усилии низвергнуть его; виновник, Герой, глава народного воесстания, князь от племени Рюрика, Св. Владимира, Мономаха, Александра Невского; второй боярин местом в Думе, первый любовью москвитян и достоинствами личными, Василий Шуйский мог ли еще остаться простым царедворцем и после такой отваги, с такою знаменитостию, начать новую службу лести пред каким-нибудь новым Годуновым? Но Годунова не было между тогдашними вельможами. Старейший из них, князь Федор Мстиславский, отличаясь добродушием, честностию, мужеством, еще более отличался смирением или благоразумием; не хотел слышать о державном сане и говорил друзьям: «если меня изберут в цари, то немедленно пойду в монахи». Сказание некоторых чужеземных историков, что боярин князь Иван Голицын, имея многих знатных родственников и величаясь своим происхождением от Гедимина литовского, вместе с Шуйским искал короны, едва ли достойно вероятия, будучи несогласно с известиями очевидцев. Сообщник Басманова, коего обнаженное тело в сии часы лежало на площади, загладил ли измену изменою, предав юного Феодора, предав и Лжедмитрия? Не равняясь ни сановитостию, ни заслугами, мог ли равняться и числом усердных клеветов с тем, кто без имени царя уже начальствовал в день решительный для отечества, вел Москву и победил с нею? Имея силу, имея право, Шуйский употребил и всевозможные хитрости: дал наставления друзьям и приверженникам, что говорить в синклите и на лобном месте, как действовать и править умами; сам изготвился, и в следующее утро, собрав Думу, произнес, как уверяют, речь весьма умную и лукавую: славил милость Божию к России, возвеличенной

самодержцами варяжского племени; славил особенно разум и завоевания Иоанна IV, хотя и жестокого; хвалился своею блестящею службою и важною государственною опытностию, приобретенною им в сие деятельное царствование; изобразил слабость Иоаннова наследника, злое властолюбие Годунова, все бедствия его времени и ненависть народную к святоубийце, которая была виною успехов Лжедмитрия и принудила бояр следовать общему движению. «Но мы, — говорил Шуйский, — загладили сию слабость, когда настал час умереть или спасти Россию. Жалею, что я, предупредив других в смелости, обязан жизнью Самозванцу: он не имел права, но мог умертвить меня, и помиловал, как разбойник милует иногда странника. Признаюсь, что я колебался, боясь упрека в неблагодарности; но глас совести, Веры, отечества, вооружил мою руку, когда я увидел в вас ревность к великому подвигу. Дело наше есть правое, необходимое, святое; оно, к несчастью, требовало крови: но Бог благословил нас успехом — следственно оно ему угодно!.. Теперь, избыв злодея, еретика, чернокнижника, должны мы думать об избрании достойного властителя. Уже нет племени царского, но есть Россия: в ней можем снова найти угасшее на престоле. Мы должны искать мужа знаменитого родом, усердного к Вере и к нашим древним обычаям, добродетельного, опытного, следственно уже не юного — человека, который, прияв венец и скипетр, любил бы не роскошь и пышность, но умеренность и правду, ограждал бы себя не копьями и крепостями, но любовью подданных; не умножал бы золота в казне своей, но избыток и довольствие народа считал бы собственным богатством. Вы скажете, что такого человека найти трудно: знаю; но добрый гражданин обязан желать совершенства, по крайней мере возможного, в государе!»

Все знали, видели, чего хотел Шуйский: никто не дерзал явно противиться его желанию; однако ж многие мыслили и говорили, что без Великой Земской думы нельзя приступить к делу столь важному; что должно собрать в Москве чины государственные из всех областей российских, как было при избрании Годунова, и с ними решить, кому отдать царство. Сие мнение было основательно и справедливо: вероятно, что и вся Россия избрала бы Шуйского; но он не имел терпения, и друзья его возражали, что время дорого; что правительство без царя как без души, а столица в смятении; что надобно предупредить и всеобщее смятение России немедленным вручением скиптра достойнейшему из вельмож; что где Москва, там и государство; что нет нужды в Совете, когда все глаза обращены на одного, когда у всех на языке одно имя... Сим именем огласилась вдруг и Дума и Красная площадь. Не все избирали, но никто не отвергал избираемого — и 19 мая, во втором часу дня, звук литавр, труб и колоколов возвестил нового монарха столице. Бояре и знатнейшее дворянство вывели князя Василия Шуйского из Кремля на лобное место, где люди воинские и граждане, гости и купцы, особенно к нему усердные, приветствовали его уже как отца России... там, где еще недавно лежала голова Шуйского на плахе и где в сей час лежало окровавленное тело расстригино! Подобно Годунову изъясняя скромность, он хотел, чтобы синклит и духовенство прежде всего избрали архипастыря для церкви, на место лжесвятителя Игнатия. Толпы восклицали: «Государь нужнее патриарха для отечества!» и проводили Шуйского в храм Успения, в коем митрополиты и епископы ожидали и благословили его на царство. Все сделалось так скоро и спешно, что не только россияне иных областей, но и многие именитые москвитяне не участвовали в сем избрании — обстоятельство несчастное: ибо оно служило предлогом для измен и смятений, которые ожидали Шуйского на престоле, к новому стыду и бедствию отечества!

В день государственного торжества едва успели очистить столицу от крови и трупов:

вывезли, схоронили их за городом. Труп Басманова отдали родственникам для погребения у церкви Николы Мокрого, где лежал его сын, умерший в юности. Тело Самозванца, быв три дня предметом любопытства и ругательств на площади, было также вывезено и схоронено в убогом доме, за Серпуховскими воротами, близ большой дороги. Но Судьба не дала ему мирного убежища и в недрах земли. С 18 до 25 мая были тогда жестокие морозы, вредные для садов и полей: суеверие приписывало такую чрезвычайность волшебству расстриги и видело какие-то ужасные явления над его могилою: чтобы пресечь сию молву, тело мнимого чародея вынули из земли, сожгли на Котлах и, смешав пепел с порохом, выстрелили им из пушки в ту сторону, откуда Самозванец пришел в Москву с великолепием! Ветер развеял бранные остатки злодея; но пример остался: увидим следствия!

Описав историю сего первого Лжедмитрия, должны ли мы еще уверять внимательных читателей в его обмане? Не явна ли для них истина сама собою в изображении случаев и деяний? Только пристрастные иноземцы, ревностно служив обманщику, ненавидя его истребителей и желая очернить их, писали, что в Москве убит действительный сын Иоаннов, не бродяга, а царь законный, — хотя россияне, казнив и бродягу, не могли хвалиться своим делом, соединенным с нарушением присяги: ибо святость ее нужна для целостности гражданских обществ, и вероломство есть всегда преступление. Недовольные укоризною справедливою, зложелатели России выдумали басню, украсили ее любопытными обстоятельствами, подкрепили доводами благовидными, в пищу умам наклонным к историческому вольнодумству, к сомнению в несомнительном, так что и в наше время есть люди, для коих важный вопрос о Самозванце остается еще нерешенным. Может быть, представив все главные черты истины в связи, мы дадим им более силы, если не для совершенного убеждения всех читателей, то по крайней мере для нашего собственного оправдания, чтобы они не укоряли нас слепую верою к принятому в России мнению, основанному будто бы на доказательствах слабых.

Выслушаем защитников Лжедмитриевой памяти. Они рассказывают следующее: «Годунов, предприив умертвить Дмитрия, за тайну объявил свое намерение царевичеву медику, старому немцу, именем Симону, который, притворно дав слово участвовать в сем злодействе, спросил у девяти летнего Дмитрия, имеет ли он столько душевной силы, чтобы снести изгнание, бедствие и нищету, если Богу угодно будет искусить оными твердость его? Царевич отвечив: имею; а медик сказал: В сию ночь хотят тебя умертвить. Ложась спать, обменяйся бельем с юным слугою, твоим ровесником; положи его к себе на ложе и скройся за печь: что бы ни случилось в комнате, сиди безмолвно и жди меня. Дмитрий исполнил предписание. В полночь отворилась дверь: вошли два человека, зарезали слугу вместо царевича и бежали. На рассвете увидели кровь и мертвого: думали, что убит царевич, и сказали о том матери. Сделалась тревога. Царица кинулась на труп и в отчаянии не узнала, что сей мертвый отрок не сын ее. Дворец наполнился людьми: искали убийц; резали виновных и невинных; отнесли тело в церковь, и все разошлись. Дворец опустел, и медик в сумерки вывел оттуда Дмитрия, чтобы спастись бегством в Украину, к князю Ивану Мстиславскому, который жил там в ссылке еще со времен Иоанновых. Через несколько лет доктор и Мстиславский умерли, дав совет Дмитрию искать безопасности в Литве. Сей юноша пристал к странствующим инокам; был с ними в Москве, в земле Волошской, и наконец явился в доме князя Вишневецкого». Известно, что и сам расстрига приписывал свое чудесное спасение доктору; но сочинители сей басни не знали, что князь Иван Мстиславский умер иноком Кирилловской обители еще в 1586 году, и что Иоанн никогда не

ссылал его в Украину. Другие изобретатели называют медика-спасителя Августинном, прибавляя, что он был из числа многих людей ученых, которые жили тогда в Угличе, и бежал с царевичем к Ледовитому морю, в пустынную обитель. Еще другие пишут, что сама царица, угадывая злое намерение Борисово, с помощью своего иноземного дворецкого (родом из Кельна), тайно удалила Димитрия и в его место взяла иерейского сына. Все такие сказки основаны на предположении, что убийство совершилось ночью, когда злодеи могли не распознать жертвы: и в сем случае вероятно ли, чтобы слуги царицыны (не говорим об ней самой) и жители Углича, нередко выдав Димитрия в церкви, обманулись в убитом, коего тело пять дней лежало пред их глазами? Но царевич убит в полдень: кем? злодеями, которые жили во дворце и не спускали глаз с несчастного младенца... и кто предал его на убиение? мамка: от колыбели до могилы Димитрий был в руках у Годунова. Сии обстоятельства ясно, несомненно утверждены свидетельством летописцев и допросами целого Углича, сохраненными в нашем государственном архиве.

Если расстрига не был самозванец, то для чего же он, сев на престоле, не удовлетворил народному любопытству знать все подробности его судьбы чрезвычайной? для чего не объявил России о местах своего убежища, о своих воспитателях и хранителях в течение двенадцати или тринадцати лет, чтобы разрешить всякое сомнение? Никакою беспечною невозможно изъяснить столь важного упущения. Манифесты, или грамоты, Лжедимитриевы внесены в летописи, и даже подлинники их целы в архивах: следственно нельзя с вероятностию предположить, чтобы именно любопытнейшую из сих бумаг истребило время. Бродяга молчал, ибо не имел свидетельств истинных, и думал, что, признанный царем, безопасно может не трудить себя вымыслом ложных. В Литве говорил он, что в спасении его участвовали некоторые вельможи и дьяки Щелкаловы: сии вельможи остались без известной награды и неизвестными для России; а Василий Щелка лов, вместе с другими опальными Борисова царствования, хотя и снова явился у двора, однако ж не в числе ближних и первых людей. Расстригу окружали не старые, верные слуги его юности, а только новые изменники: от чего и пал он с такою легкостию!

«Но царица-инокиня Марфа признала сына в том, кто назывался Димитрием?» Она же признала его и самозванцем: первым свидетельством, безмолвным, неоткровенным, выраженным для народа только слезами умиления и ласками к расстриге, невольная монахиня возвращала себе достоинство царицы; вторым, торжественным, клятвенным, в случае лжи мать предавала сына злой смерти: которое же из двух достовернее? и что понятнее, обыкновенная ли слабость человеческая или действие ужасное, столь неестественное для горячности родительской? Геройство знаменитой жены лигурийской, которая, скрыв сына от ярости неприятелей, на вопрос, где он? сказала: здесь, в моей утробе, и погибла в муках, не объявив его убежища — сие геройство, прославленное римским историком, трогает, но не изумляет нас: видим мать! Не удивились бы мы также, если бы и царица-инокиня, спасая истинного Димитрия, кинулась на копья москвитян с восклицанием: он сын мой! И ей не грозили смертию за правду: грозили единственно судом Божиим за ложь. — Слово царицы решило жребий того, кто читил ее как истинную мать и делился с нею величием. Осуждая Лжедимитрия на смерть, Марфа осуждала и себя на стыд вечный, как участницу обмана — и не усомнилась: ибо имела еще совесть и терзалась раскаянием. Сколько людей слабых не впало бы в искушение зла, если бы они могли предвидеть, чего стоит всякое беззаконие для сердца! — Заметим еще обстоятельство достойное внимания: Шуйский искал гибели Лжедимитрия и был спасен от казни

неотступным молением царицы-инокини, с явною опасностью для ее мнимого сына, избличаемого им в самозванстве: клеветник, изменник мог ли бы иметь право на такое ревностное заступление? Но спасение Героя истины умирало совесть виновной Марфы. К сему прибавим вероятное сказание одного писателя иноземного (находившегося тогда в Москве), что расстрига велел было извергнуть тело Дмитриево из углицкого Соборного храма и погребсти в другом месте, как тело мнимого иерейского сына, но что царица-инокиня не дозволила ему сделать того, ужасаясь мысли отнять у мертвого, истинного ее сына царскую могилу.

Возражают еще: «Король Сигизмунд не взял бы столь живого участия в судьбе обманщика, и вельможа Мнишек не выдал бы дочери за бродягу»; но король и Мнишек могли быть легковерны в случае обольстительном для их страстей: Сигизмунд надеялся дать россиянам царя-католика, взысканного его милостию, а воевода Сендомирский видеть дочь на престоле московском. И кто знает, что они действительно не сомневались в высоком роде беглеца? Удача была для них важнее правды. Король не дерзнул торжественно признать Лжедмитрия истинным до его решительного успеха, и воевода Сендомирский, сделав только опыт, пожертвовав частию своего богатства надежде величия, оставил будущего зятя, когда увидел сопротивление россиян. Сигизмунд и Мнишек обманулись, может быть, не во мнении о правах, но единственно во мнении о счастье или благоразумии Самозванца, думав, что он удержит на голове венец, данный ему изменою и заблуждением: для того король спешил громогласно объявить себя виновником расстригина державства, и пан вельможный быть тестем царя, хотя бы и племени Отрепьевых. Похитителями в их силе и благоденствии гнушаются не страсти мирские, но только чистая совесть и добродетель уединенная.

Убедительнее ли и суждение тех друзей Лжедмитрия, которые говорят: «войско, бояре, Москва, не приняли бы его в цари без сильных доказательств, что он сын Иоаннов?» Но войско, бояре, Москва и свергнули его как уличенного самозванца: для чего верить им в первом случае и не верить в последнем? В обоих конечно действовало удостоверение, основанное на доказательствах; но люди и народы всегда могли ошибаться, как свидетельствует история... и самого Лжедмитрия!

Напомним читателям, что знаменитейший из клеветов и единственный верный друг расстриги в беседах искренних не скрывал его самозванства: такое важное признание слышал и сообщил потомству немецкий пастор Вер, который любил, усердно славил Лжедмитрия и клял россиян за убиение царя, хотя и не сына Иоаннова. Сей же очевидец тогдашних деяний предал нам следующие, не менее достопамятные свидетельства истины:

«1) Голландский аптекарь Аренд Клаузенд, быв 40 лет в России, служив Иоанну, Феодору, Годунову, Самозванцу и лично знав, ежедневно выдав Дмитрия во младенчестве, сказывал мне утвердительно, что мнимый царь Дмитрий есть совсем другой человек и не походит на истинного, имевшего смуглое лицо и все черты матери, с которою Самозванец нимало не сходствовал. — 2) В том же уверяла меня ливонская пленница, дворянка Тизенгаузен, освобожденная в 1611 году, быв повивальною бабкою царицы Марии, служив ей днем и ночью, не только в Москве, но и в Угличе — непрестанно выдав Дмитрия живого, видею и мертвого. — 3) Скоро по убиении Лжедмитрия выехал я из Москвы в Углич и, разговаривая там с одним маститым старцем, бывшим слугою при дворе Марии, заклинал его объявить мне истину о царе убитом. Он встал, перекрестился и так отвечивал: москвитяне клялися ему в верности и нарушили клятву: не хвалю их. Убит

человек разумный и храбрый, но не сын Иоаннов, действительно зарезанный в Угличе: я видел его мертвого, лежащего на том месте, где он всегда игрывал. Бог судия князьям и боярам нашим: время покажет, будем ли счастливее».

В заключение упомянем о свидетельстве известного шведа Петрея, который был посланником в Москве от Карла IX и Густава Адольфа, лично знал Самозванца и пишет, что он казался человеком лет за тридцать; а Димитрий родился в 1582 году и следственно имел бы тогда не более двадцати четырех лет от рождения.

Одним словом, несомнительные исторические и нравственные доказательства убеждают нас в истине, что мнимый Димитрий был самозванец. Но представляется другой вопрос: кто же именно? Действительно ли расстрига Отрепьев? Многие иноземцы-современники не хотели верить, чтобы беглый инок Чудовской обители мог сделаться вдруг мужественным витязем, неустрашимым бойцом, искусным всадником, и многие считали его поляком или трансильванцем, незаконным сыном Героя Батория, воспитанником иезуитов, утверждаясь на мнении некоторых знатных ляхов, и прибавляя, что он нечисто говорил языком русским: мнение явно несправедливое, когда современные донесения иезуитов к их начальству свидетельствуют, что они узнали его в Литве уже под именем Димитрия, и не католиком, а сыном греческой церкви. Никто из россиян не упрекал Самозванца худым знанием языка нашего, коим он владел совершенно, говорил правильно, писал с легкостью, и не уступал никакому дьяку тогдашнего времени в красивом изображении букв. Имея несколько подписей Самозванцевых, видим в латинских слабую, неверную руку ученика, а в русских твердую, мастерскую, кудрявый почерк грамотея приказного, каков был Отрепьев, книжник патриарший. Возражение, что келий не производят витязей, уничтожается историею его юности: одеваясь иноком, не вел ли он жизни смелого дикаря, скитаясь из пустыни в пустыню, учась бесстрашию, не боясь в дремучих лесах ни зверей, ни разбойников, и наконец быв сам разбойником под хоругвию Козаков днепровских? Если некоторые из людей, ослепленных личным к нему пристрастием, находили в Лжедимитрии какое-то величие, необыкновенное для человека, рожденного в низком состоянии, то другие хладнокровнейшие наблюдатели видели в нем все признаки закоснелой подлости, не изглаженные ни обхождением с знатными ляхами, ни счастьем нравиться Мнишковой дочери. С умом естественным, легким, живым и быстрым, даром слова, знаниями школьника и грамотея соединяя редкую дерзость, силу души и воли, Самозванец был однако ж худым лицедеем на престоле, не только без основательных сведений в государственной науке, но и без всякой сановитости благородной: сквозь великолепие державства проглядывал в царя бродяга. Так судили о нем и поляки беспристрастные. — Доселе мы могли затрудняться одним важным свидетельством: известный в Европе капитан Маржерет, усердно служив Борису и Самозванцу, видел людей и происшествия собственными глазами, уверял Генрика IV, знаменитого историка де-Ту и читателей своей книги о Московской державе, что Григорий Отрепьев был не Лжедимитрий, а совсем другой человек, который с ним (Самозванцем) ушел в Литву и с ним же возвратился в Россию, вел себя непристойно, пьянствовал, употреблял во зло благосклонность его, и сосланный им за то в Ярославль, дожил там до воцарения Шуйского. Ныне, отыскав новые современные предания исторические, изъясняем Маржеретово сказание обманом монаха Леонида, который назвался именем Отрепьева для уверения россиян, что Самозванец не Отрепьев. Царь Годунов имел способы открыть истину: тысячи лазутчиков ревностно служили ему не только в России, но и в Литве, когда он разведывал о происхождении обманщика. Вероятно

ли, чтобы в случае столь важном Борис легкомысленно, без удостоверения, объявил Лжедмитрия беглецом чудовским, коего многие люди знали в столице и в других местах, следственно узнали бы и неправду при первом взоре на Самозванца? Наконец москвитяне видели Лжедмитрия, живого, мертвого, и все еще утвердительно признавали диаконом Григорием; ни один голос сомнения не раздался в потомстве до нашего времени.

Сего довольно. Приступаем к описанию дальнейших бедствий России, не менее чрезвычайных, не менее оскорбительных для ее чести, но уже подобных мрачному сновидению, — уже только любовных для народа, коему Небо судило временным уничижением достигнуть величия и который достиг оно, загладив память слабости великодушным напряжением сил и память стыда необыкновенною славою.

ЦАРСТВОВАНИЕ ВАСИЛИЯ ИОАННОВИЧА ШУЙСКОГО

Г. 1606-1608

Василий Иоаннович Шуйский, происходя в осьмом колене от Димитрия Суздальского, спорившего с Донским о великом княжестве, был внуком ненавистного олигарха Андрея Шуйского, казненного во время Иоанновой юности, и сыном боярина-воеводы, убитого шведами в 1573 году под стенами Лоды.

Если всякого венценосца избранного судят с большею строгостию, нежели венценосца наследственного; если от первого требуют обыкновенно качеств редких, чтобы повиноваться ему охотно, с усердием и без зависти: то какие достоинства, для царствования мирного и непрекословного, надлежало иметь новому самодержцу России, возведенному на трон более сонмом клеветов, нежели отечеством единокровным, вследствие измен, злодейств, буйности и разврата? Василий, льстивый царедворец Иоаннов, сперва явный неприятель, а после бессовестный угодник и все еще тайный зложелатель Борисов, достигнув венца успехом кова, мог быть только вторым Годуновым: лицемером, а не Героем добродетели, которая бывает главною силою и властителей и народов в опасностях чрезвычайных. Борис, воцаряясь, имел выгоду: Россия уже давно и счастливо ему повиновалась, еще не зная примеров в крамольстве. Но Василий имел другую выгоду: не был святоубийцею; обагренный единственно кровию ненавистною и заслужив удивление россиян делом блестящим, оказав в низложении Самозванца и хитрость и неустрашимость, всегда пленительную для народа. Чья судьба в истории равняется с судьбою Шуйского? Кто с места казни восходил на трон и знаки жестокой пытки прикрывал на себе хламидою царскою? Сие воспоминание не вредило, но способствовало общему благорасположению к Василию: он страдал за отечество и Веру! Без сомнения уступая Борису в великих дарованиях государственных, Шуйский славился однако ж разумом мужа думного и сведениями книжными, столь удивительными для тогдашних суеверов, что его считали волхвом; с наружностью невыгодною (будучи роста малого, толст, несановит и лицом смугл; имея взор суровый, глаза красноватые и подслепые, рот широкий), даже с качествами вообще нелюбезными, с холодным сердцем и чрезмерною скупостию, умел, как вельможа, снискать любовь граждан, честною жизнью, ревностным наблюдением старых обычаев, доступностию, ласковым обхождением. Престол явил для современников слабость в Шуйском: зависимость от внушений, склонность и к легковерию, коего желает зломыслие, и к недоверчивости, которая охлаждает усердие. Но престол же явил для потомства и чрезвычайную твердость души Василиевой в борении с неодолимым Роком: вкусив всю горечь державства несчастного, уловленного властолюбием, и сведав, что венец бывает иногда не наградою, а казнию, Шуйский пал с величием в развалинах государства!

Он хотел добра отечеству, и без сомнения искренно: еще более хотел угождать россиянам. Видев столько злоупотреблений неограниченной державной власти, Шуйский думал устранить их и пленить Россию новостию важною. В час своего воцарения, когда вельможи, сановники и граждане клялись ему в верности, сам нареченный венценосец, к общему изумлению, дал присягу, дотоле не слыханную: 1) не казнить смертью никого без

суда боярского, истинного, законного; 2) преступников не лишать имения, но оставлять его в наследие женам и детям невинным; 3) в изветах требовать прямых явных улик с очей на очи и наказывать клеветников тем же, чему они подвергали винимых ими несправедливо. «Мы желаем (говорил Василий), чтобы православное христианство наслаждалось миром и тишиною под нашею царскою хранительною властью» — и, велев читать грамоту, которая содержала в себе означенный устав, целовал крест в удостоверение, что исполнит его добросовестно. Сим священным обетом мыслил новый царь избавить россиян от двух ужасных зол своего века: от ложных доносов и беззаконных опал, соединенных с разорением целых семейств в пользу алчной казны; мыслил, в годину смятений и бедствий, дать гражданам то благо, коего не знали ни деда, ни отцы наши до человеколюбивого царствования Екатерины Второй. Но вместо признательности многие люди, знатные и незнатные, изъявили негодование и напомнили Василию правило, уставленное Иоанном III, что не государь народу, а только народ государю дает клятву. Сии россияне были искренние друзья отечества, не рабы и не льстецы низкие: имея в свежей памяти грозы тиранства, еще помнили и бурные дни Иоаннова младенчества, когда власть царская в пеленах дремала: боялись ее стеснения, вредного для государства, как они думали, и предпочитали свободную милость закону. Царь не внял их убеждениям, действуя или по собственному изволению или в угодность некоторым боярам, склонным к аристократии и, чтобы блеснуть великодушием, торжественно обещал забыть всякую личную вражду, все досады, претерпенные им в Борисово время: ему верили, но недолго.

Отменив новости, введенные Лжедмитрием, и восстановив древнюю Государственную думу, как она была до его времени, Василий спешил известить всю Россию о своем воцарении и не оставить в умах ни малейшего сомнения о Самозванце: послали всюду чиновников знатных приводить народ к крестному целованию с обетом, не делать, не говорить и не мыслить ничего злого против царя, будущей супруги и детей его; велели, как обыкновенно, три дни звонить в колокола, от Москвы до Астрахани и Чернигова, до Тары и Колы, — молиться о здравии государя и мире отечества. Читали в церквах грамоты от бояр, царицы-инокини Марфы и Василия (именованного в сих бумагах потомком Кесаря Римского). Описав дерзость, злодейства, собственное в том признание и гибель Самозванца, бояре величали род и заслугу Шуйского, спасителя церкви и государства. Марфа свидетельствовалась Богом, что ее сердце успокоено казнию обманщика; а Василий уверял россиян в своей любви и милости беспримерной. Обнародовали найденную во внутренних комнатах дворца переписку Лжедмитрия с римским двором и духовенством о введении у нас латинской Веры, запись данную воеводе Сендомирскому на Смоленск и Северскую землю, также допросы Мнишка и Бучинских, Яна и Станислава: Мнишек винился в заблуждении, сказывая, что он и сам уже не мог считать мнимого Дмитрия истинным, приметив в нем ненависть к России, и для того часто впадал в болезнь от горести. Бучинские объявляли, что расстрига действительно хотел с помощью ляхов умертвить 18 мая, на лугу Сретенском, двадцать главных бояр и всех лучших москвитян; что пану Ратомскому надлежало убить князя Мстиславского, Тарлу и Стадницким Шуйских; что ляхи должны были занять все места в Думе, править войском и государством: свидетельство едва ли достойное уважения, и если не вымышленное, то вынужденное страхом из двух малодушных слуг, которые, желая спасти себя от мести россиян, не боялись клеветать на пепел своего милостивца, развеянный ветром! Современники верили; но трудно убедить потомство, чтобы Лжедмитрий, хотя и нерассудительный, мог дерзнуть на дело ужасное и

безумное: ибо легко было предвидеть, что бояре и москвитяне не дали бы резать себя как агнцев, и что кровопролитие заключилось бы гибелию ляхов вместе с их главою.

Июня 1 совершилось царское венчание в храме Успения, с наблюдением всех торжественных обрядов, но без всякой расточительной пышности: корону Мономахову возложил на Василия митрополит новгородский. Синклит и народ славили венценосца с усердием; гости и купцы отличались щедростию в дарах, ему поднесенных. Являлось однако ж какое-то уныние в столице. Не было ни милостей, ни пиров; были опалы. Сменили дворецкого, князя Рубца-Мосальского, одного из первых клятвопреступников Борисова времени, и велели ему ехать воеводою в Корелу, или Кексгольм; Михайлу Нагому запретили именоваться конюшим, желая ли навеки уничтожить сей знаменитый сан, чрезмерно возвышенный Годуновым, или единственно в знак неблаговоления к злопамятному страдальцу Василиева криводушия в деле о Дмитриевом убиении; великого секретаря и подскарбия, Афанасия Власьева, сослали на воеводство в Уфу как ненавистного приверженника расстригина; двух важных бояр, Михаила Салтыкова и Бельского, удалили, дав первому начальство в Иване-городе, второму в Казани; многих иных сановников и дворян, не угодных царю, тоже выслали на службу в дальние города; у многих взяли поместья. Василий, говорит летописец, нарушил обет свой не мстить никому лично, без вины и суда. Оказалось неудовольствие; слышали ропот. Василий, как опытный наблюдатель тридцати летнего гнусного тиранства, не хотел ужасом произвести безмолвия, которое бывает знаком тайной, всегда опасной ненависти к жестоким властителям; хотел равняться в государственной мудрости с Борисом и превзойти Лжедмитрия в свободолюбии, отличать слово от умысла, искать в нескромной искренности только указаний для правительства и грозить мечом закона единственно крамольникам. Следствием была удивительная вольность в суждениях о царе, особенная величавость в боярах, особенная смелость во всех людях чиновных; казалось, что они имели уже не государя самовластного, а полуцаря. Никто не дерзнул спорить о короне с Шуйским, но многие дерзали ему завидовать и порочить его избрание как незаконное. Самые усердные клеветы Василия изъясляли негодование: ибо он, доказывая свою умеренность, беспристрастие и желание царствовать не для клеветов, а для блага России, не дал им никаких наград блестящих в удовлетворении их суетности и корыстолюбия. Заметили еще необыкновенное своеволие в народе и шатость в умах: ибо частые перемены государственной власти рождают недоверие к ее твердости и любовь к переменам: Россия же в течение года имела четвертого самодержца, праздновала два цареубийства и не видала нужного общего согласия на последнее избрание. Старость Василия, уже почти шестидесятилетнего, его одиночество, неизвестность наследия, также производили уныние и беспокойство. Одним словом, самые первые дни нового царствования, всегда благоприятнейшие для ревности народной, более омрачили, нежели, утешили сердца истинных друзей отечества.

Между тем, как бы еще не полагаясь на удостоверение россиян в самозванстве расстриги, Василий дерзнул явлением торжественным напомнить им о своих лжесвидетельствах, коими он, в угодность Борису, затмил обстоятельства Дмитриевой гибели: царь велел святителям, Филарету Ростовскому и Феодосию Астраханскому, с боярами князем Воротынским, Петром Шереметевым, Андреем и Григорием Нагими, перевезти в Москву тело Дмитрия из Углича, где оно, в господствование Самозванца, лежало уединенно в опальной могиле, никем не посещаемой: иереи не смели служить

панихид над нею; граждане боялись приблизиться к сему месту, которое безмолвно уличало мнимого Димитрия в обмане. Но падение обманщика возвратило честь гробу царевича: жители устремились к нему толпами: пели молебны, лили слезы умиления и покаяния, лучше других россиян зная истину и молчал против совести. Когда святители и бояре московские, прибыв в Углич, объявили волю государеву, народ долго не соглашался выдать им драгоценные остатки юного мученика, взывая: «Мы его любили и за него страдали! Лишенные живого, лишимся ли и мертвого?» Когда же, вынув из земли гроб и сняв его крышку, увидели тело, в пятнадцать лет едва поврежденное сыростию земли: плоть на лице и волосы на голове целые, равно как и жемчужное ожерелье, шитый платок в левой руке, одежду также шитую серебром и золотом, сапожки, горсть орехов, найденных у закланного младенца в правой руке и с ним положенных в могилу: тогда, в единодушном восторге, жители и пришельцы начали славить сие знамение святости — и за чудом следовали новые чудеса, по свидетельству современников: недужные, с верою и любовью касаясь мощей, исцелялись. Из Углича несли раку [3 июня], переменяясь, люди знатнейшие, воины, граждане и земледельцы: Василий, царица-инокиня Марфа, духовенство, синклит, народ встретили ее за городом; открыли мощи, явили их нетление, чтобы утешить верующих и сомкнуть уста неверным. Василий взял святое бремя на рамена свои и нес до церкви Михаила Архангела, как бы желая сим усердием и смирением очистить себя перед тем, кого он столь бесстыдно оклеветал в самоубийстве! Там, среди храма, инокиня Марфа, обливаясь слезами, молила царя, духовенство, всех россиян простить ей грех согласия с Лжедимитрием для их обмана — и святители, исполняя волю царя, разрешили ее торжественно, из уважения к ее супругу и сыну. Народ исполнился умиления, и еще более, когда церковь огласилась радостными кликами многих людей, вдруг излеченных от болезней действием Веры к мощам Димитриевым, как пишут очевидцы. Хотели предать земле сии святые остатки и раскопали засыпанную могилу Годунова, чтобы поставить в ней гроб его жертвы, в пределе, где лежат царь Иоанн и два сына его; но благодарность исцеленных и надежда болящих убедили Василия не скрывать источника благодати: вложили тело в деревянную раку, обитую золотым атласом, оставили ее на помосте и велели петь молебны новому Угоднику Божию, вечно праздновать его память и вечно клясть Лжедимитриею.

Еще церковь не имела патриарха: в самый первый день Васи лиева царствования свели Игнатия с престола, без суда духовного, единственно по указу государеву, — одели в черную рясу и заперли в келиях Чудова монастыря; Иов же, в печали, в слезах лишаась зрения, не хотел возвратиться в Москву, где находились тогда все святители российские, кроме митрополита Ермогена, удаленного Лжедимитрием, и тем возвышенного во мнении народа. Среди жалостных примеров слабости, оказанной несчастным Иовом и всем духовенством, Ермоген, не обольщенный милостию Самозванца, не уstraшенный опалою за ревность к православию, казался Героем церкви, и был единодушно, единогласно наречен патриархом, — нетерпеливо ожидаем и немедленно посвящен, как скоро прибыл из Казани в столицу, собором наших епископов. Царь, с любовью вручая Ермогену жезл Св. Петра митрополита, и Ермоген, с любовью благословляя царя, заключили искренний, верный союз церкви с государством, но не для их мира и счастья!

Утвердив себя на престоле великодушным обетом блюсти закон, всенародным оправданием казни расстриги-ной, своим царским венчанием, торжеством Димитриевой святости, избранием патриарха ревностного и мужественного духом, — поставив войско на

берегах Оки и в Украине, велел надежным чиновникам осмотреть его и воеводам ждать царского указа, чтобы идти для усмирения врагов, где они явятся, — Василий немедленно занялся делами внешними. Важнейшим делом было решить мир или войну с Литвою, не уронить достоинства России, но без крайности не начинать кровопролития в смутных обстоятельствах государства, коего внутреннее устройство, после измен и бунтов, требовало времени и тишины. Еще тело Самозванца лежало на лобном месте, когда духовенство наше отправило гонца в Киев, к тамошнему воеводе, князю Острожскому, с известительною грамотою о всем, что случилось в Москве, и с уверением в миролюбии российского правительства, не взирая на все козни литовского. В сем смысле действовал и новый венценосец: хранил поляков от злобы народа, велел давать им все нужное в изобилии, и с честью отвезти Марину к отцу, который, обманывая себя и других, еще именовал ее царицею, и в виде слуги усердного благоговел пред дочерью. Марина изъявляла более высокомерия, нежели скорби, и говорила своим ближним: «Избавьте меня от ваших безвременных утешений и слез малодушных!» У нее взяли сокровища, одежды богатые, данные ей мужем: она не жаловалась от гордости. Взяли и все имение воеводы Сендомирского: 10 000 рублей деньгами, кареты, лошадей, приборы конские, вина, всего на 250 000 нынешних рублей серебряных, сказав ему: «возвратим тебе, что найдется твоим собственным: удержим достояние казны царской». В свидании с боярами Мнишек не скрывал глубокой своей печали, ни раскаяния, вероятно искреннего, быв знаменитейшим вельможею в отечестве и видя себя невольником в стране чуждой, где народная месть, им заслуженная, угрожала ему гибели или узами, после его свидания о державном величии. Бояре обещали Мнишку не только безопасность, но и свободу, если король удостоверит Василия в истинном расположении к миру.

Они имели несколько свиданий и с послами литовскими. Первое было 27 мая, во дворце, где сии паны заметили разительную перемену: исчезла пышность Лжедмитриево времени; скрылись блестящие золотом телохранители и стрельцы; самые знатные чиновники, угождая вкусу Васи лиеву к бережливости, не отличались богатством платья. Вместо роскоши и веселия, являлись везде простота, угрюмая важность, безмолвная печаль. «Нам казалось, — пишут ляхи-очевидцы, — что двор московский готовился к погребению». Князя Мстиславский, Дмитрий Шуйский, Трубецкой, Голицыны, Татищев приняли Олесницкого и Госевского в той же палате, в коей они беседовали с ними именем Лжедмитрия, называя его тогда непобедимым цесарем, а в сие время гнусным исчадием ада! Мстиславский произнес сильную речь о злодейском убиении истинного сына Иоаннова по воле Годунова, о нелепом самозванстве расстриги, о кознях Сигизмундовых, желая доказать, что бродяга без вспоможения ляхов никогда не овладел бы московским престолом; что сей бродяга достойно казнен Россиею, а немногие ляхи в час мятежа убиты чернию за их наглость, без ведома бояр и дворянства. «Одним словом, — заключил Мстиславский, — кто виною зла и всех бедствий? Король и вы, паны, нарушив святость мирного договора и крестного целования».

Олесницкий и Госевский тихо советовались друг с другом и дали ответ не менее сильный, изъявляясь смело, и если не во всем искренно, то по крайней мере умно и благородно. «Мы слышали о бедственной кончине Димитрия, — говорили паны, — и жалели об ней как христиане, гнушаясь убийцею. Но явился человек под именем сего царевича, свидетельствуясь разными приметам в истине своего уверения, и сказывая, как он спасен Небом от убийц, — как Борис тайно умертвил царя Феодора, истребил

знатнейшие роды дворянские, теснил, гнал всех людей именитых. Не то ли самое говорили нам о Борисе и некоторые из вас, мужей думных? И читая историю, не находим ли в ней примеров, что мнимоусопшие являются иногда живы в казнь злодейству? Но мы еще не верили бродяге: поверил ему только добросердечный воевода Сендомирский, и не ему одному, но многим россиянам, признавшим в нем Дмитрия: они клялися, что Россия ждет его; что города и войско сдадутся Иоаннову наследнику. Действуя самовольно, Мнишек хотел быть свидетелем торжества Дмитриева — и был; но, повинувшись указу королевскому, возвратился, чтобы не нарушить мира, заключенного нами с Годуновым. Дмитрий, как он называл себя, остался в земле Северской единственно с россиянами, донскими и запорожскими козаками: что ж сделали россияне? Пали к ногам его: воеводы и войско. Что сделали и вы, бояре? Выехали к нему навстречу с царскою утварию; вопили, что принимаете государя любимого от Бога, и кипели гневом, когда ляхи смели утверждать, что они дали царство Дмитрию. Мы, послы, собственными глазами видели, как вы пред ним благоговели. Здесь, в сей самой палате, рассуждая с нами о делах государственных, вы не изъявляли ни малейшего сомнения о роде его и сани. Одним словом, не мы поляки, но вы русские, признали своего же русского бродягу Дмитрием, встретили с хлебом и солью на границе, привели в столицу, короновали и... убили; вы начали, вы и кончили. Для чего же вините других? Не лучше ли молчать и каяться в грехах, за которые Бог наказал вас таким ослеплением? Не говорим о клятвопреступлении и цареубийстве; не осуждаем вашего дела, и не имеем причины жалеть о сем человеке, который в ваших глазах оскорблял нас, величался, безумно требовал неслыханных титулов и едва ли мог быть надежным другом нашего отечества; но дивимся, что вы, бояре, как люди известно умные, позволяете себе суесловить, желая оправдать душегубство: бесчеловечное избиение наших братьев... Они не воевали с вами, не помогали вашему Лжедмитрию, не хранили его: ибо он вверил жизнь свою не им, а вам единственно! Слагаете вину на чернь: поверим тому, если можно; поверим, если вы невредимно отпустите с нами воеводу Сендомирского, дочь его и всех ляхов к королю, дабы мы своим миролюбивым ходатайством обезоружили месть готовую. Но доколе, вопреки народному праву, уважаемому и варварами, будете держать нас, как бы пленников, дотоле в глазах короля, республики и всей Европы не чернь московская, а вы с вашим новым царем останетесь виновниками сего кровопролития, и не в безопасности. Рассудите!»

Бояре слушали с великим вниманием и долго сидели в молчании, смотря друг на друга; наконец ответствовали панам: «Вы были послами у Самозванца, а теперь уже не послы: следственно не должно говорить вам так вольно и смело»; но расстались с ними ласково; виделись снова и сказали им, что Василий милостиво приказал освободить всех нечиновных ляхов и вывезти за границу; но что послы, воевода Сендомирский и другие знатные паны должны ждать в России решения судьбы своей от Сигизмунда, к которому едет царский чиновник для важных объяснений и переговоров. Дворянин князь Григорий Волконский немедленно был послан в Краков. Олесницкий и Госевский остались в Москве под стражею; Мнишка с дочерью вывезли в Ярославль, Вишневецкого в Кострому, товарищей их в Ростов и Тверь. Они имели дозволение писать к королю и писали миролюбиво, желая как можно скорее избавиться от неволи, чтобы говорить и действовать иначе.

Уже слух о гибели Самозванца и многих ляхов в Москве встревожил всю Польшу: в городах и в местечках литовских останавливали князя Волконского и дьяка его, бесчестили, ругали, называли убийцами, злодеями; метали в их людей камнями и грязью; а королевские

чиновники отвечали им на жалобы, что никакая власть не может унять народного негодования. Быв четыре месяца в дороге, Волконский приехал в Краков, где Сигизмунд встретил его с лицом угрюмым, не звал к обеду, не удостоил ни одного ласкового слова и, скрыв печаль свою о судьбе Лжедмитрия, от коего Польша ждала столько выгод, слушал холодно извещение о новом самодержце в России. В переговорах с коронными панами Волконский доказывал то же, что наши бояре доказывали в Москве послам Сигизмундовым; а паны ответствовали ему то же, что послы боярам. Мы говорили ляхам: «Вы дали нам Лжедмитрия!» Ляхи возражали: «Вы взяли его с благодарностию!» Но с обеих сторон умеряли колкость выражений, оставляя слово на мир. Волконский требовал удовлетворения за бедствие, претерпенное Россиею от Самозванца: за гибель многих людей и расхищение нашей казны; король же требовал освобождения своих послов и платежа за товары, взятые Лжедмитрием у купцов литовских и галицких, или разграбленные чернию московскою в день мятежа. Не могли согласиться, однако ж не грозили войною друг другу. «Швеция, — сказал Волконский, — уступает царю знатную часть Ливонии, желая его вспоможения; но он не хочет нарушить прежнего мирного договора». Паны уверяли, что они также не нарушат сего договора, если мы будем соблюдать его. Ничего не решили и ни в чем не условились. Сигизмунд не взял даров от Волконского и хотел писать с ним к Василию; но Волконский отвечал: «Я не гонец». Король велел ему ехать к царю с поклоном, сказав, что пришлет в Москву собственного чиновника; но медлил, уже зная о новых мятежах России и готовясь воспользоваться ими, как сосед деятельный в ненависти к ее величию.

Еще Василий имел время возобновить дружественные сношения с императором, с королями английским и датским. Гонец Рудольфов и посланник шведский находились в Москве. Непримирымый враг врага нашего, Сигизмунда, Карл IX ревностно искал союза России, и Василий действительно не спешил заключить его, в надежде обойтись без войны с Сигизмундом. Хан Казы-Гирей уверял царя в братстве, ногайский князь Иштерек в повиновении. Воевода князь Ромодановский отправился к шаху Аббасу для важных переговоров о Турции и христианских землях Востока. Еще двор московский занимался делами Европы и Азии, политикою Австрии и Персии; но скоро опасности ближайшие, внутренние, многочисленные и грозные скрыли от нас внешность, и Россия, терзая свои недра, забыла Европу и Азию!.. Сии новые бедствия начались таким образом: В первые дни июня, ночью, тайные злодеи, всегда готовые подвижники в бурные времена гражданских обществ, — желая ли только беззаконной корысти или чего важнейшего, бунта, убийств, испровержения верховной власти, — написали мелом на воротах у богатейших иноземцев и у некоторых бояр и дворян, что царь предаст их дома расхищению за измену. Утром скопилось там множество людей, и грабители приступили к делу; но воинские дружины успели разогнать их без кровопролития.

Чрез несколько дней новое смятение. Уверили народ, что царь желает говорить с ним на лобном месте. Вся Москва пришла в движение, и Красная площадь наполнилась любопытными, отчасти и зломысленными, которые лукавыми внушениями подстрекали чернь к мятежу. Царь шел в церковь; услышал необыкновенный шум вне Кремля, сведал о созвании народа и велел немедленно узнать виновников такого беззакония; остановился и ждал донесения, не трогаясь с места.

Бояре, царедворцы, сановники окружали его: Василий без робости и гнева начал укорять их в непостоянстве и в легкомыслии, говоря: «Вижу ваш умысел; но для чего лукавствовать, ежели я вам не угоден? Кого вы избрали, того можете и свергнуть. Будьте спокойны:

противиться не буду». Слезы текли из глаз сего несчастного властолюбца. Он кинул жезл царский, снял венец с головы и примолвил: «Ищите же другого царя!» — Все молчали от изумления. Шуйский надел снова венец, поднял жезл и сказал: «Если я царь, то мятежники да трепещут! Чего хотят они? Смерти всех невинных иноземцев, всех лучших, знаменитейших россиян, и моей; по крайней мере насилия и грабежа. Но вы знали меня, избирая в цари; имею власть и волю казнить злодеев». Все единогласно ответствовали: «Ты наш государь законный! Мы тебе присягали и не изменим! Гибель крамольникам!» — Объявили указ гражданам мирно разойтись, и никто не ослушался; схватили пять человек в толпах как возмутителей народа и высекли кнутом. Доискивались и тайных, знатнейших крамольников; подозревали Нагих: думали, что они волнуют Москву, желая свести Шуйского с престола, собрать Великую Думу земскую и вручить державу своему ближнему, князю Мстиславскому. Исследовали дело, честно и добросовестно; выслушали ответы, свидетельства, оправдания и торжественно признали невинность скромного Мстиславского, не тронули и Нагих; сослали одного боярина Петра Шереметева, воеводу псковского, также их родственника, действительно уличенного в кознях. Шуйский в сем случае оказал твердость и не нарушил данной им клятвы судить законно. Ему готовились искушения важнейшие!

Столица утихла до времени; но знатная часть государства уже пылала бунтом!.. Там, где явился первый Лжедмитрий, явился и второй, как бы в посмеяние России, снова требуя легковерия или бесстыдства и находя его в ослеплении или в разврате людей, от черни до вельможного сана.

Казалось, что Самозванец, всеми оставленный в час бедствия, не имел ни друзей, ни приверженников, кроме Басманова. Те, коих он любил с доверенностию, осыпал милостями и наградами, громогласнее других кляли память его, желая неблагодарностию спасти себя — и спаслись: сохранили всю добычу измены, сан и богатство. Некоторые из них умели даже снискать доверенность Василиеву: так князь Григорий Петрович Шаховской, известный любимец расстригин, был послан воеводою в Путивль, на смену князю Бахтеярову, честному, но, может быть, не весьма расторопному и смелому. Правительство знало важность сего назначения: нигде граждане и чернь не оказывали столько усердия к Самозванцу и не могли столько бояться нового царя, как в земле Северной, где оставалось еще немало бродяг, беглых разбойников, злодеев, сподвижников Отрепьева, и куда многие из них, после его гибели, спешили возвратиться. Шаховской без сомнения говорил Василию то же, что Басманов несчастному Феодору, — и сделал то же. Рожденный в свое время, в век мятежей и беззаконий, со всеми качествами, нужными для первенства в оных, Шаховской пылал ненавистию к виновникам Лжедмитриевой гибели; знал расположение народа северского и неудовольствие многих россиян, которые имели право участвовать и не участвовали в избрании венценосца; знал волнение умов и в Москве и в целом государстве, смятенном бунтами и еще не совсем успокоенном властью закона; считал державство Василия нетвердым, обстоятельства благоприятными и, прельщаясь блеском великой отваги, решился на злодейство, удивительное и для сего времени: созвал граждан в Путивле и сказал им торжественно, что московские изменники вместо Дмитрия, умертвили какого-то немца; что Дмитрий, истинный сын Иоаннов, жив, но скрывается до времени, ожидая помощи своих друзей северских; что злобный Василий готовит жителям Путивля и всей Украйны, за оказанное ими усердие к Дмитрию, жребий новгородцев, истерзанных Иоанном Грозным; что не только за истинного царя, но и для собственного спасения они

должны восстать на Шуйского. Народ не усомнился и восстал. Казалось, что все города южной России ждали только примера: Моравск, Чернигов, Стародуб, Новгород-Северский немедленно, а скоро и Белгород, Борисов, Оскол, Трубчевск, Кромы, Ливны, Елец отложились от Москвы. Граждане, стрельцы, козаки, люди боярские, крестьяне толпами стекались под знамя бунта, выставленное Шаховским и другим, еще знатнейшим сановником, черниговским воеводою, мужем думным, некогда верным закону: князем Андреем Телятевским. Сей человек удивительный, не хотел вместе с целым войском предаться живому, торжествующему Самозванцу, с шайками крамольников предался его тени, имени без существа, ослепленный заблуждением или неприязнию к Шуйским: так люди, кроме истинно великодушных, изменяются в государственных смятениях! Еще не видали никакого Димитрия, ни лица, ни меча его, и все пылало к нему усердием, как в Борисово и Феодорово время! Сие роковое имя с чудною легкостью побеждало власть законную, уже не обольщая милосердием, как прежде, но устрашая муками и смертью. Кто не верил грубому, бесстыдному обману, — кто не хотел изменить Василию и дерзал противиться мятежу: тех убивали, вешали, кидали с башен, распинали! Так, еще ко славе отечества, погибли воеводы, боярин князь Буйносов в Белегороде, Бутурлин в Осколе, Плещеев в Ливнах, двое Воейковых, Пушкин, князь Щербатый, Бартенев, Мальцов; других ввергали в темницы. Злодейством доказывалась любовь к царю; верность называли изменою, богатство преступлением: холопы грабили имение господ своих, бесчестили их жен, женились на дочерях боярских. Плавая в крови, утопая в мерзостях насилия, терпеливо ждали Димитрия и едва спрашивали: где он? Уверяя в необходимости молчания до некоторого времени, Шаховской давал однако ж разуметь, что солнце взойдет для России — из Сендомира!

Мог ли один человек предпринять и совершить такое дело, равно ужасное и нелепое, без условия с другими, без приготовления и заговора? Шаховской имел клеветов в Москве, где скоро по убиении Лжедимитрия распустили слух, что он жив, за несколько часов до мятежа, ночью, ускакав верхом с двумя царедворцами, неизвестно куда. В то же время видели на берегу Оки, близ Серпухова, трех необыкновенных, таинственных путешественников: один из них дал перевозчику семь золотых и сказал: «Знаешь ли нас? Ты перевез государя Димитрия Иоанновича, который спасается от московских изменников, чтобы возвратиться с сильным ополчением, казнить их, а тебя сделать великим человеком. Вот он!» — примолвил незнакомец, указав на младшего из спутников, и немедленно удалился вместе с ними. Многие другие видели их и далее, за Тулою, около Путивля, и слышали то же. Сии путешественники, или беглецы, выехали из пределов России в Литву, — и вдруг вся Польша заговорила о Димитрии, который будто бы ушел из Москвы в одежде инока, скрывается в Сендомире и ждет счастливой для него перемены обстоятельств в России. Посол Василиев, князь Волконский, будучи в Кракове, сведал, что жена Мнишкова действительно объявила какого-то человека своим зятем Димитрием; что он живет то в Сендомире, то в Самборе, в ее доме и в монастыре, удаляясь от людей; что с ним только один москвитянин, дворянин Заболоцкий, но что многие знатные россияне, и в числе их князь Василий Мосальский, ему тайно благоприятствуют. Новый Самозванец нимало не сходствовал наружностью с первым: имел волосы кудрявые, черные (вместо рыжеватых); глаза большие, брови густые, навислые, нос покляпый, бородавку среди щеки, ус и бороду стриженую; но так же, как Отрепьев, говорил твердо языком польским и разумел латинский. Волконский удостоверился, что сей обманщик был дворянин Ми-хайло Молчанов, гнусный убийца

юного царя Феодора, и мнимый чернокнижник, сеченный за то кнутом в Борисово время: он скрылся в начале Васи лиева царствования. Действуя по условию с Шаховским, Молчанов успел в главном деле: ослабил воскресение расстриги, чтобы питать мятеж в земле Северной; но не спешил явиться там, где его знали, и готовился передать имя Димитрия иному, менее известному или дерзновеннейшему злодею.

Уже самый первый слух о бегстве расстриги встревожил московскую чернь, которая, три дня терзав мертвого лжецаря, не знала, верить ли или не верить его спасению: ибо думала, что он, как известный чародей, мог ожить силою адскою или в час опасности сделаться невидимым и подставить другого на свое место; некоторые даже говорили, что человек, убитый вместо Лжедимитрия, походил на одного молодого дворянина, его любимца, который с сего времени пропал без вести. Действовала и любовь к чудесному и любовь к мятежам: «чернь московская (пишут свидетели очевидные) была готова менять царей еженедельно, в надежде доискаться лучшего или своевольствовать в безначалии» — и люди, обагранные, может быть, кровию Самозванца, вдруг начали жалеть о его днях веселых, сравнивая их с унылым царствованием Василия! Но легковерие многих и зломыслие некоторых не могли еще произвести общего движения в пользу расстриги там, где он воскрес бы к ужасу своих изменников и душегубцев, — где все, от вельмож до мещан, хвалились его убиением. Клевреты Шаховского в столице желали единственно волнения, беспокойства народного и вместе с слухами распространяли письма от имени Лжедимитрия, кидали их на улицах, прибывали к стенам: в сих грамотах упрекали россиян неблагодарностию к милостям великодушнейшего из царей, и сказывали, что Димитрий будет в Москве к новому году. Государь велел искать виновников такого возмущения; призывали всех дьяков, сличали их руки с подметными письмами и не открыли сочинителей.

Еще правительство не уважало сих козней, изъясняя оные бессильною злобою тайных, малочисленных друзей расстригиных; но сведав в одно время о бунте южной России и сендомирском Самозванце, увидело опасность и спешило действовать — сперва убеждением. Василий послал Крутицкого митрополита Пафнутия в Северскую землю, образумить ее жителей словом истины и милосердия, закона и совести: митрополита не приняли и не слушали. Царица-инокиня Марфа, исполненная ревности загладить вину свою, писала к жителям всех городов украинских, свидетельствуя пред Богом и Россиею, что она собственными глазами видела убиение Димитрия в Угличе и Самозванца в Москве; что одни ляхи и злодеи утверждают противное; что царь великодушный дал ей слово покрыть милосердием вину заблуждения; что не только возмущенные, но даже и возмутители могут жить безопасно и мирно в домах своих, если изъясят раскаяние; что она шлет к ним брата, боярина Григория Нагого, и святой образ Димитриев, да услышат истину, да зрят Ангельское лицо ее сына, который был рожден любить, а не терзать отечество смутами и злодействами. Ни грамоты, ни посольства не имели успеха. Бунт кипел: остервенение возрастало. Действуя неусыпно, Шаховской звал всю Россию соединиться с Украиною; писал указы именем Димитрия и прикладывал к ним печать государственную, которую он похитил в день московского мятежа. Рать изменников усиливалась и выступала в поле, с воеводою достойным такого начальства, холопом князя Телятевского, Иваном Болотниковым. Сей человек, взятый в плен татарами, проданный в неволю туркам и выкупленный немцами в Константинополе, жил несколько времени в Венеции, захотел возвратиться в отечество, услышал в Польше о мнимом Димитрии, предложил ему свои

услуги и явился с письмом от него к князю Шаховскому в Путивле. Внутренно веря или не веря Самозванцу, Болотников воспламенил других любопытными о нем рассказами; имея ум сметливый, некоторые знания воинские и дерзость, сделался главным орудием мятежа, к коему пристали еще двое князей Мосальских и Михайло Долгорукий.

Видя необходимость кровопролития, Василий велел полкам идти к Ельцу и Кромам. Предводительствовали боярин Воротынский, сын отца столь знаменитого, и князь Юрий Трубецкой, стольник, удостоенный необыкновенной чести иметь мужей думных под своими знаменами. Воротынский близ Ельца рассеял шайки мятежников; но чиновник царский, везя к нему золотые медали в награду его мужества, вместо победителей встретил беглецов на пути. Где некогда сам Шуйский с сильным войском не умел одолеть горсти изменников и где измена Басманова решила судьбу отечества, там, в виду несчастных Кром, Болотников напал на 5000 царских всадников: они, с князем Трубецким, дали тыл; за ними и Воротынский ушел от Ельца; винули, обгоняли друг друга в срамном бегстве и, как бы еще имея стыд, не хотели явиться в столице: разъехались по домам, сложив с себя обязанность чести и защитников царства.

Победитель Болотников ругался над пленными: называл их кровопийцами, злодеями, бунтовщиками, царя Василия Шубником; велел одних утопить, других вести в Путивль для казни; некоторых сечь плетью и едва живых отпустить в Москву; шел вперед и восстанавливал державу Самозванца. Орел, Мценск, Тула, Калуга, Венев, Кашира, вся земля Рязанская пристали к бунту, вооружились, избрали начальников: сына боярского Истома Пашкова, веневского сотника; Григория Сунбулова, бывшего воеводою в Рязани, и тамошнего дворянина Прокопия Ляпунова, дотоле неизвестного, отселе знаменитого, созданного быть вождем и повелителем людей в безначалии, в мятежах и бурях, — одаренного красотою и крепостию телесною, силою ума и духа, смелостию и мужеством. Сие новое войско отличалось ревностию чистейшею, составленное из граждан, владельцев, людей домовитых. Быв первыми, усерднейшими клеветами Басманова в измене Феодору, они хотя и присягнули Василию, но осуждали дело москвитян, убиение расстриги, и думали, что присяга Шуйскому сама собою уничтожается, когда жив Димитрий, старейший и следственно один венценосец законный. Но ревность их также вела к злодействам: лилась кровь воинов и граждан, верных чести и Василию. Рязанский наместник боярин князь Черкасский, воеводы князь Тростенский, Вердеревский, князь Карка-динов, Измайлов, были скованные отправлены Ляпуновым в Путивль на суд или смерть. Разбойники северские жгли, опустошали селения; грабя, не щадили и святыни церквей; срамили человечество гнуснейшими делами. Ужас распространял измену, как буря пламень, с неимоверною быстротою, от пределов Тулы и Калуги к Смоленску и Твери: Дорогобуж, Вязьма, Ржев, Зубцов, Старица предались тени Лжедмитрия, чтобы спастись от ярости мятежников; но Тверь, издревле славная в наших летописях верностию, не изменила: достойный ее святитель Феокист, великодушно негодуя на слабость воевод, явился бодрым стратигом: ополчил духовенство, людей приказных, собственных детей боярских, граждан, разбил многочисленную шайку злодеев и послал к государю несколько сот пленных.

Встревоженный бегством воевод от Ельца и Кром, бегством чиновников и рядовых от воевод и знамен, — наконец силою, успехами бунта, Василий еще не смутился духом, имея данное ему от природы мужество, если не для одоления бедствий, то по крайней мере для великодушной гибели. Летописец говорит, что царь без искусных стратигов и без казны есть орел бескрылый, и что таков был жребий Шуйского. Борис оставил преемнику казну и

только одного славного храбростию воеводу, Басманова-изменника: Лжедмитрий-расточитель не оставил ничего, кроме изменников; но Василий делал, что мог. Объявив всенародно о происхождении мятежа — о нелепой басне расстригина спасения, о сонмище воров и негодяев, коим имя Дмитрия служит единственно предлогом для злодейства, в самых тех местах, где жители, ими обманутые, встречают их как друзей, — царь выслал в поле новое сильнейшее войско и, как бы спокойный сердцем, как бы в мирное, безмятежное время, удумал заглазить несправедливость современников в глазах потомства: снять опалу с памяти венценосца, хотя и ненавистного за многие дела злые, но достойного хвалы за многие государственные благодеяния: велел, пышно и великолепно, перенести тело Бориса, Марии, юного Феодора из бедной обители Св. Варсонофия в знаменитую лавру Сергиеву. Торжественно огласив убиение и святость Дмитрия, Шуйский не смел приблизить к его мощам гроб убийцы и снова поставить между царскими памятниками; но хотел сим действием уважить законного монарха в Годунове, будучи также монархом избранным; хотел возбудить жалость, если не к Борису виновному, то к Марии и к Феодору невинным, чтобы произвести живейшее омерзение к их гнусным умертвителям, сообщникам Шаховского, жадным к новому цареубийству. В присутствии бесчисленного множества людей, всего духовенства, двора и синклита, открыли могилы: двадцать иноков взяли раку Борису на плечи свои (ибо сей царь скончался иноком); Феодорову и Мариину несли знатные сановники, провождаемые святителями и боярами. Позади ехала, в закрытых санях, несчастная Ксения и громко вопила о гибели своего Дома, жалуясь Богу и России на изверга Самозванца. Зрители плакали, вспоминая счастливые дни ее семейства, счастливые и для России в первые два года Борисова царствования. Многие об нем тужили, встревоженные настоящим и страшась будущего. В лавре, вне церкви Успения, с благоговением погребли отца, мать и сына; оставили место и для дочери, которая жила еще 16 горестных лет в Девичьем монастыре Владимирском, не имея никаких утешений, кроме небесных. Новым погребением возвращая сан царю, лишенному оно в могиле, думал ли Василий, что некогда и собственные его кости будут лежать в неизвестности, в презрении, и что великодушная жалость, справедливость и политика также возвратят им честь царскую?

Уже не только политика мирила Василия с Годуновым, но и злополучие, разительное сходство их жребия. Обоим власть изменяла; опоры того и другого, видом крепкие, падали, рушились, как тлен и брение. Рати Василиевы, подобно Борисовым, цепенели, казалось, пред тению Дмитрия. Юноша, ближний государев, князь Михаил Скопин-Шуйский, имел успех в битве с неприятельскими толпами на берегах Пахры; но воеводы главные, князья Мстиславский, Дмитрий Шуйский, Воротынский, Голицыны, Нагие, имея с собою всех дворян московских, стольников, стряпчих, жильцов, встретились с неприятелем уже в пятидесяти верстах от Москвы, в селе Троицком, сразились и бежали, оставив в его руках множество знатных пленников.

Уже Болотников, Пашков, Ляпунов, взяв, опустошив Коломну, стояли (в октябре месяце) под Москвою, в селе Коломенском; торжественно объявили Василия царем сверженным; писали к москвитянам, духовенству, синклиту и народу, что Дмитрий снова на престоле и требует их новой присяги; что война кончилась и царство милосердия начинается. Между тем мятежники злодействовали в окрестностях, звали к себе бродяг, холопей; приказывали им резать дворян и людей торговых, брать их жен и достояние, обещая им богатство и воеводство; рассыпались по дорогам, не пускали запасов в столицу, ими осажденную... Войско и самое государство как бы исчезли для Москвы, преданной с ее святынею и славою

в добычу неистовому бунту. Но в сей ужасной крайности еще блеснул луч великодушия: оно спасло царя и царство, хотя на время!

Василий, велел написать к мятежникам, что ждет их раскаяния и еще медлит истребить жалкий сонм безумцев, спокойно устроил защиту города, предместий и слобод. Духовенство молилось; народ постился три дни и, видя неустрашимость в государе, сам казался неустрашимым. Воины, граждане по собственному движению обязали друг друга клятвою в верности, и никто из них не бежал к злодеям. Полководцы, князя Скопин-Шуйский, Андрей Голицын и Татев расположились станом у Серпуховских ворот, для наблюдения и для битвы в случае приступа. Высланные из Москвы отряды восстановили ее сообщение с городами, ближними и дальними. Патриарх, святители писали всюду грамоты увещательные: верные одушевились ревностию, изменники устыдились. Тверь, Смоленск служили примером: их дворяне, дети боярские, люди торговые кинули семейства и спешили спасти Москву. К добрым тверитянам присоединились жители Зубцова, Старицы, Ржева; к добрым смолянам граждане Вязьмы, Дорогобужа, Серпейска, уже не преступники от малодушия, но снова достойные россияне; везде били злодеев; выгнали их из Можайска, Волока, обители Св. Иосифа; не давали им пощады: казнили пленных.

Тогда же в Коломенском стане открылась важная измена. Болотников, называя себя воеводою царским, хотел быть главным; но воеводы, избранные городами, не признавали сей власти, требовали Димитрия от него, от Шаховского: не видали и начинали хладеть в усердии. Ляпунов первый удостоверился в обмане и, стыдясь быть союзником бродяг, холопей, разбойников без всякой государственной, благородной цели, первый явился в столице с повинною (вероятно, вследствие тайных, предварительных сношений с царем); а за Ляпуновым и все рязанцы, Сунбулов и другие. Василий простил их и дал Ляпунову сан думного дворянина. Скоро и многие иные сподвижники бунта, удостоверенные в милосердии государя, перебежали из Коломенского в Москву, где уже не было ни страха, ни печали; все ожило и пылало ревностию ударить на остальных мятежников. Василий медлил; изъявляя человеколюбие и жалость к несчастным жертвам заблуждения, говорил: «Они также русские и христиане: молюся о спасении их душ, да раскаются, и кровь отечества да не лиется в междоусобии!» Василий или действительно надеялся утишить бунт без дальнейшего кровопролития, торжественно предлагая милость самым главным виновникам оною, или для вернейшей победы ждал смолян и тверитян: они соединились в Можайске с воеводою царским Колычевым и приближались к столице.

Еще мятежники упорствовали в намерении овладеть Москвою; укрепили Коломенский стан валом и тыном, терпеливо сносили ненастье и холод глубокой осени; приступали к Симонову монастырю и к Тонной, или Рогожской, слободе; были отражены, лишлись многих людей, и все еще не унывали — по крайней мере Болотников: он не слушал обещаний Василия забыть его вину и дать ему знатный чин, отвечая: «Я клялся Димитрию умереть за него, и сдержу слово: буду в Москве не изменником, а победителем»; уже видел знамена тверитян и смолян на Девичьем поле; видел движение в войске московском и смело ждал битвы неравной. Василий, сам опытный в деле бранном, еще не хотел и пред стенами Кремлевскими ратоборствовать лично, как бы стыдясь врага подлого; хотел быть только невидимым зрителем сей битвы: вверил главное начальство усерднейшему или счастливейшему витязю: двадцатилетнему князю Скопину-Шуйскому, который свел полки в монастыре Даниловском, и мыслил окружить неприятеля в стане. Болотников и Пашков [2 декабря] встретили воевод царских: первый сразился как лев; второй, не обнажив меча, передался к ним со всеми дворянами и с знатною частию войска. У Болотникова остались козаки, холопы, северские бродяги; но он бился до совершенного изнурения сил и бежал с немногими к Серпухову: остальные рассеялись. Козаки еще держались в укрепленном селении Заборье, и наконец с атаманом Беззубцевым сдались, присягнув Василию в верности. Кроме их, взяли на бою столь великое число пленных, что они не уместились в темницах московских, и были все утоплены в реке, как злодеи ожесточенные; но Козаков не тронули и приняли в царскую службу. Юноше-победителю, князю Скопину, рожденному к чести, утешению и горести отечества, дали сан боярина, а воеводе Колычеву — боярина и дворецкого. Радовались и торжествовали; пели молебны с колокольным звоном и благодарили Небо за истребление мятежников, но прежде времени.

Болотников думал остановиться в Серпухове. Жители не впустили его. Он засел в Калуге; в несколько дней укрепил ее глубокими рвами и валом; собрал тысяч десять беглецов, изготовился к осаде, и писал к северской Думе изменников, что ему нужно вспоможение и еще нужнее Димитрий, истинный или мнимый; что имя без человека уже не действует, и что все их клеветы готовы следовать примеру Ляпунова, Сунбулова и Пашкова, если явление вождя изгнанника, столь долго славимого и невидимого, не даст им

нового усердия и новых сподвижников. Но кого было представить? Сендомирского ли самозванца, Молчанова, известного в России и нимало не сходного с Лжедмитрием, еще известнейшим? Сей беглец мог действовать на легковерных только издали, слухом, а не присутствием, которое изобличило бы его в обмане. Пишут, что злодеи российские хотели назвать Димитрием иного человека, какого-то благородного ляха, но что он — взяв, вероятно, деньги за такую отвагу — раздумал искать гибельного величия в бурях мятежа, мирно остался в Польше жить нескудным дворянином и прервал наконец связь с Шаховским, коему случай дал между тем другое орудие.

Мы упоминали о бродяге Илейке, Лжепетре, мнимом сыне царя Феодора. На пути к Москве узнав о гибели расстриги, он с терскими козаками бежал назад, мимо Казани, где бояре Морозов и Бельский хотели схватить его: козаки обманули их; прислали сказать, что выдадут им Самозванца, и ночью уплыли вниз по Волге; грабили людей торговых и служивых; злодействовали, жгли селения на берегах, до Царицына, где убили князя Ромодановского, ехавшего послом в Персию, и воеводу Акинфеева; остановились зимовать на Дону и раславили в Украине о своем лжецаревиче. Обман способствовал обману: Шаховский признал И лейку сыном Феодоровым, звал к себе вместе с шайкою терских мятежников, встретил в Путивле с честью, как племянника и наместника Димитриева в его отсутствие, и даже не усомнился обещать ему царство, если Димитрий, ими ожидаемый, не явится. Сей союз злодейства праздновали новым душегубством, в доказательство державной власти разбойника И лейки. Он велел умертвить всех знатных пленников, которые еще сидели в темницах: верных воевод рязанских, думного мужа Сабурова, князя Приимкова-Ростовского, начальников города Борисова, и воеводу Путивльского, князя Бахтеярова, взяв его дочь в наложницы. Искали и союзников внешних, там, где вред России всегда считался выгодною, и где старая ненависть к нам усилилась желанием мести за стыд неудачного дружества с бродягою: новый самозванец Петр также обратился к Сигизмунду и вельможные паны не устыдились сказать князю Волконскому, который еще находился тогда в Кракове, что они «ждут послов от государя северского, сына Феодорова, который вместе с Димитрием, укрывающимся в Галиции, намерен свергнуть Василия с престола; что если царь возвратит свободу Мнишку и всем знатым ляхам, московским пленникам, то не будет ни Лжедмитрия, ни Лжепетра; а в противном случае оба сделаются истинными и найдут сподвижников в республике!» Но ляхи только грозили Василию; манили, вероятно, мятежников обещаниями и не спешили действовать; Шаховский, Телятевский, Долгорукий, Мосальские, с новым атаманом Илейкою не имели времени ждать их; призвали к себе запорожцев; ополчили всех, кого могли, в земле Северной и выступили в поле, чтобы спасти Болотникова.

Умел ли Василий воспользоваться своею победою, дав мятежникам соединиться и вновь усилиться в Калуге? Он послал к ней войско, но уже чрез несколько дней, и малочисленное, смятое первою смелою вылазкою; послал и другое, сильнейшее с боярином Иваном Шуйским, который, одержав верх в кровопролитном деле с Болотниковым при устье реки Угры, осадил Калугу (30 декабря), но без надежды взять ее скоро. Худые вести, одна за другою, встревожили Москву. В Калужской и Тульской области новые шайки злодеев скопились и заняли Тулу. Бунт вспыхнул в уезде Арзамасском и в Алатырском: мордва, холопы, крестьяне грабили, резали царских чиновников и дворян, утопили алатырского воеводу Сабурова, осадили Нижний Новгород именем Димитрия. Астрахань также изменила: ее знатный воевода, окольный князь Иван Хворостинин, взял сторону

Шаховского: верных умертвили: доброго, мужественного дьяка Карпова и многих иных. Самых границ Сибири коснулось возмущение, но не проникло в оную: там начальствовали усердные Годуновы, хотя и в честной ссылке. Из Вятки, из Перми силою гнали воинов в Москву, а чернь славил Димитрия. К сему смятению присоединилось ужасное естественное бедствие: язва в Новгороде, где умерло множество людей, и в числе их боярин Катырев. Между тем целое войско злодеев разными путями шло от Путивля к Туле, Калуге и Рязани.

Василий бодрствовал неусыпно, распоряжал хладнокровно: послал рати и воевод: знатнейшего саном князя Мстиславского и знаменитейшего мужеством Скопина-Шуйского к Калуге; Воротынского к Туле, Хилкова к Веневу, Измайлова к Козельску, Хованского к Михайлову, боярина Федора Шереметева к Астрахани, Пушкина к Арзамасу; а сам еще остался в Москве с дружиною царскою, чтобы хранить святыню отечества и церкви или явиться на поле битвы в час решительный. Василий думал предупредить соединение мятежников, истребить их отдельно, нападениями разными, единомысленными, чтобы вдруг и везде утушить бунт. Действуя в воинских распоряжениях как стратиг искусный, он хотел действовать и на сердца людей, оживить в них силу нравственную, успокоить совесть, возмущенную беззакониями государственными, и снова скрепить союз царя с царством, нарушенный злодейством.

[1607 г.] Имей торжественное совещание с Ермогеном, духовенством, синклитом, людьми чиновными и торговыми, Василий определил звать в Москву бывшего патриарха Иова для великого земского дела. Ермоген писал к Иову: «Преклоняем колена: удостой нас видеть благолепное лицо твое и слышать глас твой сладкий: молим тебя именем отечества смятенного». Иов приехал, и (20 февраля) явился в церкви Успения, извне окруженной и внутри наполненной несметным множеством людей. Он стоял у патриаршего места в виде простого инока, в бедной ризе, но возвышаемый в глазах зрителей памятью его знаменитости и страданий за истину, смирением и святостию: отшельник, вызванный почти из гроба примирить Россию с законом и Небом. Все было изготовлено царем для действия торжественного, в коем патриарх Ермоген с любовью уступал первенство старцу, уже бесчиновному. В глубокой тишине общего безмолвия и внимания поднесли Иову бумагу и велели патриаршему диакону читать ее на амвоне. В сей бумаге народ — и только один народ — молил Иова отпустить ему, именем Божиим, все его грехи пред законом, строптивость, ослепление, вероломство и клялся впредь не нарушать присяги, быть верным государю; требовал прощения для живых и мертвых, дабы успокоить души клятвопреступников и в другом мире; винил себя во всех бедствиях, ниспосланных Богом на Россию, но не винился в царевубийствах, приписывая убиение Феодора и Марии одному расстриге; наконец молил Иова, как святого мужа, благословить Василия, князей, бояр, христолюбивое воинство и всех христиан, да восторжествует царь над мятежниками и да насладится Россия счастьем тишины. Иов отвечал грамотою, заблаговременно, но действительно им сочиненною, писанною известным его слогом, умиленно и не без искусства. Тот же диакон читал ее народу. Изобразив в ней величие России, произведенное умом и счастьем ее монархов — хваля особенно государственный ум Иоанна Грозного, Иов соболезновал о гибельных следствиях его преждевременной кончины и Димитриева заклятия, но умолчал о виновнике оногo, некогда любив и славив Бориса; напомнил единодушное избрание Годунова в цари и народное к нему усердие; дивился ослеплению россиян, прельщенных бродягою; говорил: «Я давал вам страшную на себя клятву в

удостоверение, что он самозванец: вы не хотели мне верить — и сделалось, чему нет примера ни в священной, ни в светской истории». Описав все измены, бедствия отечества и церкви, свое изгнание, гнусное царевубийство, если не совершенное, то по крайней мере допущенное народом — воздав хвалу Василию, царю святому и праведному, за великодушное избавление России от стыда и гибели — Иов продолжал: «Вы знаете, убит ли самозванец; знаете, что не осталось на земле и скаредного тела его — а злодеи дерзают уверять Россию, что он жив и есть истинный Димитрий! Велики грехи наши пред Богом, в сии времена последние, когда вымыслы нелепые, когда сволочь мерзостная, тати, разбойники, беглые холопы могут столь ужасно возмущать отечество!» Наконец, исчислив все клятвопреступления россиян, не исключая и данной Лжедимитрию присяги, Иов именем Небесного милосердия, своим и всего духовенства объявлял им разрешение и прощение, в надежде, что они уже не изменят снова царю законному, и добродетелию верности, плодом чистого раскаяния, умилоостивят Всевышнего, да и победят врагов и возвратят государству мир с тишиною.

Действие было неописанное. Народу казалось, что тяжкие узы клятвы спали с него, и что сам Всевышний устами праведника изрек помилование России. Плакали, радовались — и тем сильнее тронуты были вестью, что Иов, едва успев доехать из Москвы до Старицы, преставился [8 марта]. Мысль, что он, уже стоя на Праге вечности, беседовал с Москвою, умиляла сердца. Забыли в нем слугу Борисова: видели единственно мужа святого, который в последние минуты жизни и в последних молениях души своей ревностно занимался судьбою горестного отечества, умер, благословляя его и возвестив ему умилоостивление Неба!

Но происшествия не соответствовали благоприятным ожиданиям. Воеводы, посланные царем истребить скопища мятежников, большею частию не имели успеха. Мстиславский, с главным войском обступив Калугу, стрелял из тяжелых пушек, делал примет к укреплениям, издали вел к ним деревянную гору и хотел зажечь ее вместе с тыном острога: но Болотников подкопом взорвал сию гору; не знал и не давал успокоения осаждающим; сражался день и ночь; не жалел людей, ни себя; обливался кровию в битвах непрерывных и выходил из оных победителем, доказывая, что ожесточение злодейства может иногда уподобляться геройству добродетели. Он боялся не смерти, а долговременной осады, предвидя необходимость сдаться от голода: ибо не успел запастися хлебом. Разбойники калужские ели лошадей, не жаловались и не слабели в сечах. Царь велел снова обещать милость их атаману, если покорится: ответом его было: «жду милости единственно от Димитрия!» Тщетно прибегали и к средствам, менее законным: московский лекарь Фидлер вызвался отравить главного злодея, дал на себя страшную клятву и, взяв 100 флоринов, обманул Василия: уехал в Калугу служить за деньги Болотникову, из любви к расстриге. Неудачная осада продолжалась четыре месяца.

Другие воеводы, встретив неприятеля в поле, бежали: Хованский от Михайлова в Переславль Рязанский, Хилков от Венева в Коширу, Воротынский от Тулы в Алексин, наголову разбитый предводителем изменников, князем Андреем Телятевским, который успел прежде его занять и Тулу и Дедилов. Только Измайлов и Пушкин честно сделали свое дело: первый, рассеяв многочисленную шайку изменника князя Михайла Долгорукого, осадил мятежников в Козельске; второй спас Нижний Новгород, усмирил бунт в Арзамасе, в Ардатове, и еще приспел к Хилкову в Коширу, чтобы идти с ним к Серебряным Прудам, где они истребили скопище злодеев и взяли их двух начальников, князя Ивана Мосальского и литвина Сторовского; но близ Дедилова были разбиты сильными дружинами Телятевского и

в беспорядке отступили к Кошире: воевода Ададуров положил голову на месте сей несчастной битвы, и множество беглецов утонуло в реке Шате. — Боярин Шереметев, коему надлежало усмирить Астрахань, не мог взять города; укрепился на острове Болдинском, и не смотря на зимний холод, нужду, смертоносную цыngu в своем войске, отражал все приступы тамошних бунтовщиков, которые в исступлении ярости мучили, убивали пленных. Глава их, князь Хворостинин, объявив самого Шереметева изменником, грозил ему лютейшею казнию и звал ногайских владетелей под знамена Димитрия. Но царь уже не думал о том, что происходило в отдаленной Астрахани, когда судьба его и царства решилась за 160 верст от столицы.

Ежедневно надеясь победить Болотникова если не мечом, то голодом — надеясь, что Воротынский в Алексине и Хилков в Кошире заслоняют осаду Калуги и блюдут безопасность Москвы — главный воевода князь Мстиславский отрядил бояр, Ивана Никитича Романова, Михайла Нагого и князя Мезецкого против злодея, Василия Мосальского, который шел с своими толпами Белевскою дорогою к Калуге. Они сразились с неприятелем на берегах Вырки, смело и мужественно. Целые сутки продолжалась битва. Мосальский пал, оказав храбрость, достойную лучшей цели. Так пали и многие клеветы его: уже не имея вождя, теснимые, расстроенные, не хотели бежать, ни сдаться: умирали в сече; другие зажгли свои пороховые бочки и взлетели на воздух, как жертвы остервенения, свойственного только войнам междоусобным. Романов, дотоле известный единственно великодушным терпением в несчастии, удостоился благодарности царя и золотой медали за оказанную им доблесть.

Но изменники в другом месте были счастливее. Они, подобно царю, соображали свои действия наступательные, следуя общей мысли и стремясь с разных сторон к одной цели: освободить Болотникова. Гибель Мосальского не устрасила Телятевского, который также шел к Калуге и также встретил московских воевод, князей Татеева, Черкасского и Борятинского, высланных Мстиславским из калужского стана. В жестокой битве на Пчел не легли Татеев и Черкасский со многими из добрых воинов; остальные спаслись бегством в стан калужский и привели его в ужас, коим воспользовался Болотников: сделал вылазку и разогнал войско, еще многочисленное; все обратили тыл, кроме юного князя Скопина-Шуйского и витязя Истома Пашкова, уже верного слуги царского: они упорным боем дали время малодушным бежать, спасая если не честь, то жизнь их; отступили, сражаясь, к Боровску, где несчастный Мстиславский и другие воеводы соединили рассеянные остатки войска, бросив пушки, обоз, запасы в добычу неприятелю. Еще хуже робости была измена: 15 000 воинов царских, и в числе их около ста немцев, пристали к мятежникам. Узнав, что сделалось под Калугою, Измайлов снял осаду Козельска; по крайней мере не кинул снаряда огнестрельного и засел в Мещовске.

Сии вести поразили Москву. Шуйский снова колебался на престоле, но не в душе: созвал духовенство, бояр, людей чиновных; предложил им меры спасения, дал строгие указы, требовал немедленного исполнения и грозил казнию ослушникам: все россияне, годные для службы, должны были спешить к нему с оружием, монастыри запасти столицу хлебом на случай осады, и самые иноки готовиться к ратным подвигам за веру. Употребили и нравственное средство: святители предали анафеме Болотникова и других известных, главных злодеев: чего царь не хотел дотоле, в надежде на их раскаяние. Время было дорого: к счастью, мятежники не двигались вперед, ожидая Илейки, который с последними силами и с Шаховским еще шел к Туле. 21 мая Василий сел на ратного коня и сам вывел войско,

приказав Москву брату Димитрию Шуйскому, князьям Одоевскому и Трубецкому, а всех иных бояр, окольных, думных дьяков и дворян взяв с собою под царское знамя, коего уже давно не видали в поле с таким блеском и множеством сановников: уже не стыдились идти всем царством на скопище злодеев храбрых! Близ Серпухова соединились с Василием Мстиславский и Воротынский, оба как беглецы в унынии стыда. Довольный числом, но боясь робости сподвижников, царь умел одушевить их своим великодушием: в присутствии ста тысяч воинов целуя крест, громогласно произнес обет возвратиться в Москву победителем или умереть; он не требовал клятвы от других, как бы опасаясь ввести слабых в новый грех вероломства, и дал ее в твердой решимости исполнить. Казалось, что Россия нашла царя, а царь нашел подданных: все с ревностью повторили обет Василиев — и на сей раз не изменили.

Сведав, что Илейка с Шаховским уже в Туле, и что Болотников к ним присоединился, Василий послал князей Андрея Голицына, Лыкова и Прокопия Ляпунова к Кошире. Самозванец Петр, как главный предводитель злодеев, велел также занять сей город Телятевскому. Рати сошлись на берегах Восми [5 июня]: началось дело кровопролитное, и мятежники одолевали: но Голицын и Лыков кинулись в пыл битвы с восклицанием: «Нет для нас бегства; одна смерть или победа!» и сильным, отчаянным ударом смяли неприятеля. Телятевский ушел в Тулу, оставив москвитянам все свои знамена, пушки, обоз; гнали бегущих на пространстве тридцать верст и взяли 5000 пленных. Храбрейшие из злодеев, козаки терские, яицкие, донские, украинские, числом 1700, засели в оврагах и стреляли; уже не имели пороха, и все еще не сдавались: их взяли силою на третий день и казнили, кроме семи человек, помилованных за то, что они спасли некогда жизнь верным дворянам, которые были в руках у злодея Илейки: черта достохвальная в самой неумолимой мести!

Обрадованный столь важным успехом и геройством воевод своих еще более, нежели числом врагов истребленных, Василий изъявил Голицыну и Лыкову живейшую благодарность; двинулся к Алексину, выгнал оттуда мятежников, шел к Туле. Еще злодеи хотели отведать счастья и в семи верстах от города, на речке Воронее, сразились с полком князя Скопина-Шуйского: стояли в месте крепком, в лесу, между топями, и долго противились; наконец москвитяне зашли им в тыл, смешали их и вогнали в город; некоторые вломились за ними даже в улицы, но там пали: ибо воеводы без царского указа не дерзнули на общий приступ; а царь жалел людей или опасался неудачи, зная, что в Туле было еще не менее двадцати тысяч злодеев отчаянных: россияне умели оборонять крепости, не умея брать их. Обложили Тулу. Князь Андрей Голицын занял дорогу Коширскую: Мстиславский, Скопин и другие воеводы Кропивинскую; тяжелый снаряд огнестрельный расставили за турами близ реки Упы; далее, в трех верстах от города, шатры царские. Началась осада [30 июня], медленная и кровопролитная, подобно калужской: тот же Болотников и с тою же смелостию бился в вылазках; презирая смерть, казался и невредимым и неутомимым: три, четыре раза в день нападал на осаждающих, которые одерживали верх единственно превосходством силы и не могли хвалиться действием своих тяжелых стенобитных орудий, стреляя только издали и не метко. Воеводы московские взяли Дедилов, Кропивну, Епифань и не пускали никого ни в Тулу, ни из Тулы: Василий хотел одолеть ее жестокое сопротивление голодом, чтобы в одном гнезде захватить всех главных злодеев и тем прекратить бедственную войну междоусобную. «Но Россия, — говорит летописец, — утопала в пучине крамол, и волны стремились за волнами: рушились одно, поднимались другие».

Замышляя измену, Шаховской надеялся, вероятно, одною сказкою о царе изгнаннике низвергнуть Василия и дать России юного венценосца, нового ли бродягу или кого-нибудь из вельмож, знаменитых родом, если, невзирая на свою дерзость, не смел мечтать о короне для самого себя; но обманутый надеждою, уже стоял на краю бездны. Ежедневно уменьшались силы, запасы и ревность стесненных в Туле мятежников, которые спрашивали: «Где же тот, за кого умираем? Где Димитрий?» Шаховской и Болотников клялися им: первый, что царь в Литве; второй, что он видел его там собственными глазами. Оба писали в Галицию, к ближним и друзьям Мнишковым, требуя от них какого-нибудь Димитрия или войска, предлагая даже Россию ляхам, такими словами: «От границы до Москвы все наше: придите и возьмите; только избавьте нас от Шуйского». С письмами и наказом послали в Литву атамана козаков днепровских, Ивана Мартынова Заруцкого, смелого и лукавого: умев ночью пройти сквозь стан московский, он не хотел ехать далее Стародуба, жил в сем городе безопасно и питал в гражданах ненависть к Василию. Послали другого вестника, который достиг Сендомира, не нашел там никакого Димитрия, но заставил ближних Мнишковых искать его: искали и нашли бродягу, жителя Украины, сына поповского, Матвея Веревкина, как уверяют летописцы, или жида, как сказано в современных бумагах государственных. Сей самозванец и видом и свойствами отличался от расстриги: был груб, свиреп, корыстолюбив до низости: только, подобно Отрепьеву, имел дерзость в сердце и некоторую хитрость в уме; владел искусно двумя языками, русским и польским; знал твердо Св. Писание и Круг Церковный; разумел, если верить одному чужеземному историку, и язык еврейский, читал тальмуд, книги раввинов, среди самых опасностей воинских; хвалился мудростию и предвидением будущего. Пан Меховецкий, друг первого обманщика, сделался руководителем и наставником второго; впечатлел ему в память все обстоятельства и случаи Лжедимитриевой истории, — открыл много и тайного, чтобы изумлять тем любопытных; взял на себя чин его гетмана; пригласил сподвижников, как некогда воевода Сендомирский, чтобы возвратить державному изгнаннику царство; находил менее легковерных, но столько же, или еще более, ревнителей славы или корысти. «Не спрашивали, — говорит историк польский, — истинный ли Димитрий или обманщик зовет воителей? Довольно было того, что Шуйский сидел на престоле, обгавленном кровию ляхов. Война Ливонская кончилась: юношество, скучая праздностию, кипело любовию к ратной деятельности; не ждало указа королевского и решения чинов государственных: хотело и могло действовать самовольно», но, конечно, с тайного одобрения Сигизмундова и панов думных. Богатые давали деньги бедным на предприятие, коего целью было расхищение целой державы. Выставили знамена, образовалось войско; и весть за вестью приходила к жителям северским, что скоро будет у них Димитрий.

Наконец, 1 августа, явились в Стародубе два человека: один именовал себя дворянином Андреем Нагим, другой Алексеем Рукиным, московским подьячим; они сказали народу, что Димитрий недалеко с войском и велел им ехать вперед, узнать расположение граждан: любят ли они своего царя законного? Хотят ли служить ему усердно? Народ единодушно воскликнул: «где он? где отец наш? идем к нему все головами». Он здесь, отвечивал Рукин, и замолчал, как бы устрашась своей нескромности. Тщетно граждане убеждали его изъясниться; вышли из терпения, схватили и хотели пытать безмолвного упряма: тогда Рукин объявил им, что мнимый Андрей Нагой есть Димитрий. Никто не усомнился: все кинулись лобызать ноги пришельца; вопили: «Хвала Богу! нашлося сокровище наших душ!» Ударили в колокола, пели молебны, честили Самозванца, коего прислал Меховецкий,

готовясь идти вслед за ним с войском: прислал с одним клеветом безоружного, незащитного, по тайному уговору, как вероятно, с главными стародубскими изменниками, желая доказать ляхам, что они могут надеяться на россиян в войне за Дмитрия. Путивль, Чернигов, Новгород Северский, едва услышав о прибытии Лжедмитрия, и еще не видя знамен польских, спешили изъявить ему свое усердие, и дать воинов. Заблуждение уже не извиняло злодейства: многие из северян знали первого Самозванца и следственно знали обман, видя второго, человека им неизвестного; но славили его как царя истинного, от ненависти к Шуйскому, от буйности и любви к мятежу. Так атаман Заруцкий, быв наперсником расстригиным, упал к ногам стародубского обманщика, уверяя, что будет служить ему с прежнею ревностью, и бесстыдно исчисляя опасности и битвы, в коих они будто бы вместе храброва-ли. Но были и легковверные, с горячим сердцем и воображением, слабые умом, твердые душою. Таким оказал себя один стародубец, сын боярский: взял и вручил царю, в стане под Тулою, письмо от городов северских, в котором мятежники советовали Шуйскому уступить престол Дмитрию и грозили казнию в случае упорства: сей посол дерзнул сказать в глаза Василию то же, называя его не царем, а злым изменником; терпел пытку, хваляся верностию к Дмитрию, и был сожжен в пепел, не изъявив ни чувствительности к мукам, ни сожаления о жизни, в исступлении ревности удивительной.

Василий, узнав о сем явлении Самозванца, о сем новом движении и скопище мятежников в южной России, отрядил воевод, князей Литвинова-Мосальского и Третьяка Сеитова, к ее пределам: первый стал у Козельска; второй занял Лихвин, Белев и Волхов. Скоро слышали, что Меховецкий уже в Стародубе с сильными литовскими дружинами; что Заруцкий призвал несколько тысяч Козаков и соединил их с толпами северскими; что Лжедмитрий, выступив в поле, идет к Туле. Воеводы царские не могли спасти Брянска и велели заечь его, когда жители вышли с хлебом и солью навстречу к мнимому Дмитрию... В сие время один из польских друзей его, Николай Харлеский, исполненный к нему усердия и надежды завоевать Россию, писал к своим ближним в Литву следующее письмо любопытное: «Царь Дмитрий и все наши благородные витязи здравствуют. Мы взяли Брянск, сожженный людьми Шуйского, которые вывезли оттуда все сокровища, и бежали так скоро, что их нельзя было настичь. Дмитрий теперь в Карачеве, ожидая знатнейшего вспоможения из Литвы. С ним наших 5000, но многие вооружены худо... Зовите к нам всех храбрых; прельщайте их и славою и жалованьем царским. У вас носится слух, что сей Дмитрий есть обманщик: не верьте. Я сам сомневался и хотел видеть его; увидел, и не сомневаюсь. Он набожен, трезв, умен, чувствителен; любит военное искусство; любит наших; милостив и к изменникам: дает пленным волю служить ему или снова Шуйскому. Но есть злодеи: опасаясь их, Дмитрий никогда не спит на своем царском ложе, где только для вида велит быть страже: положив там кого-нибудь из русских, сам уходит ночью к гетману или ко мне и возвращается домой на рассвете. Часто бывает тайно между воинами, желая слышать их речи, и все знает. Зная даже и будущее, говорит, что ему властвовать не долее трех лет; что лишится престола изменою, но опять воцарится и распространит государство. Без прибытия новых, сильнейших дружин польских, он не думает спешить к Москве, если возьмет и самого Шуйского, который в ужасе, в смятении снял осаду Тулы; все бегут от него к Дмитрию...» Но Самозванец, оставив за собою Болхов, Белев, Козельск, и разбив князя Литвинова-Мосальского близ Мещовска, на пути к Туле сведал, что в ней славится уже не Дмитриево, а Василиево имя.

Еще мятежники оборонялись там усиленно до конца лета, хотя и терпели недостаток в

съестных припасах, в хлебе и соли. Счастливая мысль одного воина дала царю способ взять сей город без кровопролития. Муромец, сын боярский, именем Сумин Кровков, предложил Василию затопить Тулу, изъяснил возможность успеха и ручался в том жизнью. Приступили к делу; собрали мельников; велели ратникам носить землю в мешках на берег Упы, ниже города, и запрудили реку деревянною плотиною: вода поднялася, вышла из берегов, влилась в острог, в улицы и дворы, так что осажденные ездили из дому в дом на лодках; только высокие места остались сухи и казались грядами островов. Битвы, вылазки пресеклись. Ужас потопа и голода смирил мятежников: они ежедневно целыми толпами приходили в стан к царю, винулись, требовали милосердия и находили его, все без исключения. Главные злодеи еще несколько времени упорствовали: наконец и Телятевский, Шаховской, сам непреклонный Болотников, известили Василия, что готовы предать ему Тулу и самозванца Петра, если царским словом удостоверены будут в помиловании, или, в противном случае, умрут с оружием в руках, и скорее съедят друг друга от голода, нежели сдадутся. Уже зная, что новый Лжедмитрий недалеко, Василий обещал милость, — и 10 октября боярин Колычев, вступив в Тулу с воинами московскими, взял подлеешого из злодеев, Илейку. Болотников явился с головы до ног вооруженный, пред шатрами царскими, сошел с коня, обнажил саблю, положил ее себе на шею, пал ниц и сказал Василию: «Я исполнил обет свой: служил верно тому, кто называл себя Димитрием в Сендомире: обманщик или царь истинный, не знаю; но он выдал меня. Теперь я в твоей власти: вот сабля, если хочешь головы моей; когда же оставишь мне жизнь, то умру в твоей службе, усерднейшим из рабов верных». Он угадывал, кажется, свою долю. Миловать таких злодеев есть преступление; но Василий обещал, и не хотел явно нарушить слова: Болотникова, Шаховского и других начальников мятежа отправили, вслед за скованным Илейкою, в Москву с приставами; а князя Телятевского, знатнейшего и тем виновнейшего изменника, из уважения к его именитым родственникам, не лишили ни свободы, ни боярства, к посрамлению сего вельможного достоинства и к соблазну государственному: слабость бесстыдная, вреднейшая жестокости!

Но общая радость все прикрывала. Взятие Тулы праздновали как завоевание Казанского царства или Смоленского княжества; и желая, чтобы сия радость была еще искреннее для войска утомленного, царь дал ему отдых: уволили дворян и детей боярских в их поместья, сведав, что Лжедмитрий, испуганный судьбою Лжепетра, ушел назад к Трубчевску. Вопреки опыту презирая нового злодея России, Василий не спешил истребить его; послал только легкие дружины к Брянску, а конницу черемисскую и татарскую в Северскую землю для грабежа и казни виновных ее жителей; не хотел ждать, чтобы сдалась Калуга, где еще держались клеветы Болотникова с атаманом Скотницким: велел осаждать ее малочисленной рати и возвратился к столицу. Москва встретила его как победителя. Он въезжал с необыкновенною пышностью, с двумя тысячами нарядных всадников, в богатой колеснице, на прекрасных белых конях; умиленно слушал речь патриарха, видел знаки народного усердия и казался счастливым! Три дни славили в храмах милость Божию к России; пять дней молился Василий в лавре Св. Сергия, и заключил церковное торжество действием государственного правосудия: злодея Илейку повесили на серпуховской дороге, близ Данилова монастыря. Болотникова, атамана Федора Нагибу и строптивейших мятежников отвезли в Каргополь и тайно утопили. Шаховского сослали в каменную пустыню Кубенского озера, а вероломных немцев, взятых в Туле, числом 52, и с ними медика Фидлера, в Сибирь. Всех других пленников оставили без наказания и свободными.

Калуга, Козельск еще противились; вся южная Россия, от Десны до устья Волги, за исключением немногих городов, признавали царем своим мнимого Димитрия: сей злодей, отступив, ждал времени и новых сил, чтобы идти вперед, — а Москва, утомленная тревогами, наслаждалась тишиною, после ужасной грозы и пред ужаснейшею! Испытав ум, твердость царя и собственное мужество, верные россияне думали, что главное сделано; хотели временного успокоения и надеялись легко довершить остальное.

Так думал и сам Василий. Быв дотоле в непрестанных заботах и в беспокойстве, мыслив единственно о спасении царства и себя от гибели, он вспомнил наконец о своем счастье и невесте: жестокою политикою лишенный удовольствия быть супругом и отцом в летах цветущих, спешил вкушать его хотя в летах преклонных, и женился на Марии, дочери боярина князя Петра Ивановича Буйносова-Ростовского. Верить ли сказанию одного летописца, что сей брак имел следствия бедственные: что Василий, алчный к наслаждениям любви, столь долго ему неизвестным, предался неге, роскоши, ленности: начал слабеть в государственной и в ратной деятельности, среди опасностей засыпать духом, и своим небрежением охладил ревность лучших советников Думы, воевод и воинов, в царстве самодержавном, где все живет и движется царем, с ним бодрствует или дремлет? Но согласно ли такое очарование любви с природными свойствами человека, который в недосугах заговора и властвования смутного целые два года забывал милую ему невесту? И какое очарование могло устоять противу таких бедствий?

По крайней мере до сего времени Василий бодрствовал не только в усилиях истребить мятежников, но с удивительным хладнокровием, едва избавив от них Москву, занимался и земскими или государственными уставами и способами народного образования, как бы среди глубокого мира. В марте 1607 года, имев торжественное рассуждение с патриархом, духовенством и синклитом, он издал соборную грамоту о беглых крестьянах, велел их возвратить тем владельцам, за коими они были записаны в книгах с 1593 года: то есть подтвердил уложение Феодора Иоанновича, но сказав, что оно есть дело Годунова, неодобренное боярами старейшими, и произвело в начале много зла, неизвестного в Иоанново время, когда земледельцы могли свободно переходить из селения в селение. Далее уставлено в сей грамоте, что принимающий чужих крестьян должен платить в казну 10 рублей пени с человека, а господам их три рубля за каждое лето; что подговорщик, сверх денежной пени, наказывается кнутом, что муж беглой девки или вдовы делается рабом ее господина; что если господин не женит раба до двадцати лет, а рабы не выдаст замуж до осьминадцати, то обязан дать им волю и не имеет права жаловаться в суде на их бегство, даже и в случае кражи или сноса: закон благонамеренный, полезный не только для размножения людей, но и для чистоты нравственной!

Тогда же Василий велел перевести с немецкого и латинского языка Устав дел ратных, желая, как сказано в начале одного, чтобы «россияне знали все новые хитрости воинские, коими хвалятся Италия, Франция, Испания, Австрия, Голландия, Англия, Литва, и могли не только силе силою, но и смыслу смыслом противиться с успехом, в такое время, когда ум человеческий всего более вперен в науку необходимую для благосостояния и славы государств: в науку побеждать врагов и хранить целостность земли своей». Ничто не забыто в сей любопытной книге: даны правила для образования и разделения войска, для строя, похода, станов, обоза, движений пехоты и конницы, стрельбы пушечной и ружейной, осады и приступов, с ясностию и точностию. Не забыты и нравственные средства. Пред всякою битвою надлежало воеводе ободрять воинов лицом веселым, напоминать им отечество и

присягу; говорить: «я буду впереди... лучше умереть с честью, нежели жить бесчестно», и с сим вручать себя Богу.

Угождая народу своею любовью к старым обычаям русским, Василий не хотел однако ж, в угодность ему, гнать иноземцев: не оказывал к ним пристрастия, коим упрекали расстригу и даже Годунова, но не давал их в обиду мятежной черни; выслал ревностных телохранителей Лжедимитриевых и четырех медиков германских за тесную связь с поляками, — оставив лучшего из них, лекаря Ваз-мера, при себе: но старался милостию удержать всех честных немцев в Москве и в царской службе, как воинов, так и людей ученых, художников, ремесленников, любя гражданское образование и зная, что они нужны для успехов его в России; одним словом, имел желание, не имел только времени сделаться просветителем отечества... и в какой век! в каких обстоятельствах ужасных!

ПРОДОЛЖЕНИЕ ВАСИЛИЕВА ЦАРСТВОВАНИЯ

Г. 1607-1609

В то время, когда Москва праздновала Василиево бракосочетание, война междоусобная уже снова пылала.

Калуга упорствовала в бунте. От имени царя ездил к ее жителям и людям воинским прощенный изменник атаман Беззубцев с убеждением смириться. Они сказали: «Не знаем царя, кроме Димитрия: ждем и скоро его увидим!» Вероятно, что явление второго Лжедмитрия было им уже известно. Василий, жалея утомлять войско трудами зимней осады, предложил, весьма неосторожно, четырем тысячам донских мятежников, которые в битве под Москвою ему сдались, загладить вину свою взятием Калуги: донцы изъявили не только согласие, но и живейшую ревность; клялись оказать чудеса храбрости; прибыли в калужский стан к государевым воеводам и чрез несколько дней взбунтовались так, что устрешенные воеводы бежали от них в Москву. Часть мятежников вступила в Калугу; другие ушли к Самозванцу.

Сей наглый обманщик недолго был в бездействии. Дружины за дружинами приходили к нему из Литвы, конные и пехотные, с вождями знатными: в числе их находились мозырский хорунжий Иосиф Будзило, паны Тишкевичи и Лисовский, беглец, за какое-то преступление осужденный на казнь в своем отечестве: смелостью и мужеством витязь, ремеслом грабитель. Узнав, что Василий распустил главное войско, Лжедмитрий, по совету Лисовского, немедленно выступил из Трубчевска с семью тысячами ляхов, осмью тысячами Козаков и немалым числом россиян. Воеводы царские, князь Михайло Кашин и Ржевский, укрепились в Брянске: Самозванец осадил его, но не мог взять, от храбрости защитников, которые терпели голод, ели лошадей и, не имея воды, доставали ее своею кровью, ежедневными вылазками и битвами. Рать Лжедмитриева усилилась шайками новых донских выходцев: они представили ему какого-то неизвестного бродягу, мнимого царевича Феодора, будто бы второго сына Ирины; но Лжедмитрий не хотел признать его племянником и велел умертвить. Осада длилась, и Василий успел принять меры: боярин князь Иван Семенович Куракин из столицы, а князь Литвинов из Мещовска шли спасти Брянск. Литвинов первый с дружинами московскими достиг берегов Десны, видел сей город и стан Лжедмитриев на другой стороне ее, но не мог перейти туда, ибо река покрывалась льдом: осажденные также видели его; кричали своим московским братьям: «спасите нас! не имеем куска хлеба!» и со слезами простирали к ним руки. Сей день (15 декабря 1607) остался памятным в нашей истории: Литвинов кинулся в реку на коне; за Литвиновым все, восклицая: «лучше умереть, нежели выдать своих: с нами Бог!» плыли, разгребая лед, под выстрелами неприятеля, изумленного такою смелостию; вышли на берег и сразились. Кашин и Ржевский сделали вылазку. Неприятель между двумя огнями не устоял, смешался, отступил. Уже победа совершилась, когда приспел Куракин, дивиться мужеству добрых россиян и славить Бога русского; но сам, как главный воевода, не отличился: только запас город всем нужным для осады; укрепился на левом берегу Десны и дал время неприятелю образумиться. Река стала. Лжедмитрий соединил полки свои и напал на Куракина. Бились мужественно, несколько раз, без решительного следствия, и войско царское, оставив Брянск, заняло Карачев. Не имея надежды взять ни того, ни другого города, Самозванец двинулся

вперед, мирно вступил в Орел и написал оттуда следующую грамоту к своему мнимому тестю, воеводе Сендомирскому: «Мы, Димитрий Иоаннович, Божию милостию царь всея России, великий князь московский, дмитровский, углецкий, городецкий... и других многих земель и татарских Орд, московскому царству подвластных, государь и наследник... Любезному отцу нашему! Судьбы Всевышняго непостижимы для ума человеческого. Все, что бывает в мире, искони предопределено Небом, коего страшный суд совершился и надо мною: за грехи ли наших предков или за мои собственные, изгнанный из отечества и, скитаясь в землях чуждых, сколько терпел я бедствий и печали! Но Бог же милосердый, не помянув моих беззаконий, и спас меня от изменников, возвращает мне царство, карает наших злодеев, преклоняет к нам сердца людей, россиян и чужеземцев, так что надеемся скоро освободить вас и всех друзей наших, к неописанной радости вашего сына. Богу единому слава! Да будет также вам известно, что его величество, король Сигизмунд, наш приятель, и вся Речь Посполитая усердно содействуют мне в отыскании наследственной державы». Сия грамота, вероятно, не дошла до Мнишка, заключенного в Ярославле, но была конечно и писана не для него, а единственно для тех, которые еще могли верить обману.

[1608 г.] Самозванец зимовал в Орле спокойно, умножая число подданных обольщением и силою; следуя правилу Шаховского и Болотникова, возмущал крестьян: объявлял независимость и свободу тем, коих господа служили царю; жаловал холопей в чины, давал поместья своим усердным слугам, иноземцам и русским. Там прибыли к нему знатные князья Рожинский и Адам Вишневецкий с двумя или тремя тысячами всадников. Первый, властолюбивый, надменный и необузданный, в жаркой распре собственною рукою умертвил Меховецкого, друга, наставника Лжедмитриева, и заступил место убитого: сделался гетманом бродяги, презираемого им и всеми умными ляхами.

Но Василий уже не мог презирать сего злодея: еще не думая оставить юной супруги и столицы, он вверил рать любимому своему брату, Дмитрию Шуйскому, князьям Василию Голицыну, Лыкову, Волконскому, Нагому; велел присоединиться к ним Куракину, коннице татарской и мордовской, посланной еще из Тулы на Северскую землю, и если не был, то по крайней мере казался удостоверенным, что власть законная, не взирая на смятение умов в России, одолеет крамолу. В сие время чиновник шведский, Петрей, находясь в Москве, остерегал Василия, доказывая, что явление Лжедмитриев есть дело Сигизмунда и папы, желающих овладеть Россиею, предлагал нам, от имени Карла IX, союз и значительное вспоможение; но Василий — так же, как и Годунов — сказал, что ему нужен только один помощник, Бог, а других не надобно. К несчастью, он должен был скоро переменить мысли.

Главный воевода, Дмитрий Шуйский, отличался единственно величавостию и спесию; не был ни любим, ни уважаем войском; не имел ни духа ратного, ни прозорливости в советах и в выборе людей; имел зависть к достоинствам блестящим и слабость к ласкателям коварным: для того, вероятно, не взял юного, счастливого витязя, Скопина-Шуйского и для того взял князя Василия Голицына, знаменитого изменами. Рать московская остановилась в Волхове; не действовала, за тогдашними глубокими снегами, до самой весны и дала неприятелю усилиться. Шуйский и сподвижники его, утружденные зимним походом, с семидесятью тысячами воинов отдыхали; а толпы Лжедмитриевы, не боясь ни морозов, ни снегов, везде рассыпались, брали города, жгли села и приближались к Москве. Начальники Рязани, князь Хованский и думный дворянин Ляпунов, хотели выгнать мятежников из Пронска, овладели его внешними укреплениями и вломились в город; но Ляпунова тяжело ранили: Хованский отступил — и чрез несколько дней, под стенами Зарайска, был наголову

разбит паном Лисовским, который оставил там памятник своей победы, видимый и доныне: высокий курган, насыпанный над могилою убитых в сем деле россиян. Царю надлежало защитить Москву новым войском. Писали к Дмитрию Шуйскому, чтобы он не медлил, шел и действовал: Шуйский наконец выступил [13 апреля] и верстах в десяти от Волхова уже встретил Самозванца.

Первый вступил в дело князь Василий Голицын и первый бежал; главное войско также дрогнуло: но запасное, под начальством Куракина, смелым ударом остановило стремление неприятеля. Бились долго и разошлись без победы. С честью пали многие воины, московские и немецкие, коих главный сановник Ламсдорф тайно обещал Лжедмитрию передаться к нему со всею дружиною, но пьяный забыл о сем уговоре и не мешал ей отличаться мужеством в битве. В следующий день возобновилось кровопролитие, и Шуйский, излишно осторожный или робкий, велел преждевременно спастись тяжелые пушки и везти назад к Болхову, дал мысль войску о худом конце сражения: чем воспользовался Лжедмитрий, извещенный переметчиком (боярским сыном Лихаревым) и сильным нападением смял ряды москвитян; все бежали, еще кроме немцев: капитан Ламсдорф, уже не пьяный, предложил им братски соединиться с ляхами; но многие, сказав: «наши жены и дети в Москве», ускакали вслед за россиянами. Остались 200 человек при знаменах с Ламсдорфом, ждали чести от Лжедмитрия — были изрублены козаками: гетман Рожинский велел умертвить их как обманщиков, за кровь ляхов, убитых ими накануне. Сия измена немцев утаилась от Василия: он наградил их вдов и сирот, думая, что Ламсдорф с добрыми сподвижниками лег за него в жаркой сече.

Царские воеводы и воины бежали к Москве; некоторые с князем Третьяком Сеитовым засели в Волхове; другие ушли в дома. Волхов, где находилось 5000 людей ратных, сдался Лжедмитрию: все они присягнули ему в верности, выступили с ним к Калуге, но шли особенно, под начальством князя Сеитова. Москва была в ужасе. Беглецы, оправдывая себя, в рассказах своих умножали силы Самозванца, число ляхов, Козаков и российских изменников; даже уверяли, что сей второй Лжедмитрий есть один человек с первым; что они узнали его в битве по храбрости еще более, нежели по лицу. Чернь начинала уже винить бояр в несчастной измене Самозванцу ожившему и думала, в случае крайности, выдать их ему головами; некоторые только страшились, чтобы он, как волшебник, не увидел на них крови истерзанных ими ляхов или своей собственной! Но в то же время достойные россияне, многие дворяне и дети боярские, оставив семейства, из ближних городов спешили в столицу защитить царя в опасности. Явились и мнимые изменники болховские, князь Третьяк Сеитов с пятью тысячами воинов: удостоверенные, что Самозванец есть подлый злодей, они ушли от него с берегов Оки в Москву, извиняясь минутным страхом и неволею. Василий составил новое войско, и дал начальство — к несчастью, поздно — знаменитому Ивану Романову. Сие войско стало на берегах Незнани, между Москвою и Калугою, ждало неприятеля и готовилось к битве, — но едва не было жертвою гнусного заговора. Главные сподвижники Скопина и Романова, чистых сердцем пред людьми и Богом, не имели их души благородной: воеводы, князя Иван Катырев, Юрий Трубецкой, Троекуров, думая, что пришла гибель Шуйских, как некогда Годуновых, и что лучше ускорением ее снискать милость бродяги, как сделал Басманов, нежели гибнуть вместе с царем злосчастливым, начали тайно склонять дворян и детей боярских к измене. Умысел открылся: Василий приказал их схватить, везти в Москву, пытать — и, несомненно уличенных, осудил единственно на ссылку, из уважения к древним родам княжеским: Катырева удалили в Сибирь, Трубецкого в

Тотому, Троекурова в Нижний; но менее знатных и менее виновных преступников, участников злодейского кова, казнили: Желябовского и Невтева. Встревоженный сим происшествием и вестью, что Самозванец обходит стан воевод царских и приближается к Москве другим путем, государь велел им также идти к столице, для ее защиты.

1 июня Лжедмитрий с своими ляхами и россиянами стал в двенадцати верстах отсюда, на дороге Волоколамской, в селе Тушине, думая одним своим явлением взволновать Москву и свергнуть Василия; писал грамоты к ее жителям и тщетно ждал ответа. Войско, верное царю, заслоняло с сей стороны город. Были кровопролитные сшибки, но ничего не решило. Уверяют, что князь Рожинский хотел взять Москву немедленным приступом, но что Лжедмитрий сказал ему: Если разорите мою столицу, то где же мне царствовать? если сожжете мою казну, то чем же будет мне наградить вас? «Сия жалость к Москве погубила его, — пишет историк чужеземный, который доброхотствовал злодею более, нежели России: — Самозванец щадил столицу, но не щадил государства, преданного им в жертву ляхам и разбойникам. На пепле Москвы скоро явилась бы новая; она уцелела, а вся Россия сделалась пепелищем». Но Самозванец, имея тысяч пятнадцать ляхов и Козаков, пятьдесят или шестьдесят тысяч российских изменников, большею частью худо вооруженных, действительно ли имел способ взять Москву, обширную твердыню, где, кроме жителей, находилось не менее осьмидесяти тысяч исправных воинов под защитою крепких стен и бесчисленного множества пушек? Лжедмитрий надеялся более на измену, нежели на силу; хотел отрезать Москву от городов северных и перенес стан в село Тайнинское, но был сам отрезан: войско московское заняло Калужскую дорогу и пресекло его сообщение с Украиною, откуда шли к нему новые дружины литовские и везли запасы: дружины были рассеяны, запасы взяты, и Лжедмитрий стеснен на малом пространстве. Усильным боем очистив себе путь, он возвратился в Тушино, избрал место выгодное, между реками Моквою и Выходнею, подле Волоколамской дороги, и спешил там укрепиться валом с глубокими рвами (коих следы видим и ныне). Воеводы царские, князь Скопин-Шуйский, Романов и другие, стали между Тушиным и Моквою, на Ходынке; за ними и сам государь, на Пресне или Ваганкове, со всем двором и полками отборными: выезжая из столицы, он видел усердие и любовь народа, слышал его искренние обеты верности и требовал от него тишины, великодушного спокойствия. Столица действительно казалась спокойною, извне оберегаемая царем, внутри особенным засадным войском, коим предводительствовали бояре, и которое, храня все укрепления от Кремля до слобод, в случае нападения могло одно спасти город. Воспоминали нашествие, угрозы и гибель Болотникова; надеялись, что будет то же и Самозванцу, а царю новая слава, и ежечасно ждали битвы. Но царь, готовый обороняться, не думал наступать и дал время неприятелю укрепиться в тушинском стане: Василий занимался переговорами.

Уже несколько месяцев находились в Москве чиновники Сигизмундовы, Витовский и князь Друцкий-Соколинский, присланные королем поздравить Василия с воцарением и требовать свободы всех знатных ляхов. Бояре предложили им возобновить мирный договор Годунова времени, нарушенный Сигизмундом столь бессовестно; но чиновники королевские объявили, что им должно видеться для того с литовскими послами, заключенными в Москве, и что без них они не могут ничего сделать. Бояре согласились. Жив 18 месяцев в страхе и в скуке, тщетно хотев бежать и даже силою вырваться из неволи, Олесницкий и Гусевский снова явились в Кремлевском дворце, как послы, с верующею грамотою королевскою; говорили, спорили, расходились с неудовольствием, чтобы опять сойтись. Мы

желали мира: ляхи желали только освободить единоплеменников своих из рук наших. Исполняя их требование, царь велел привезти в Москву воеводу Сендомирского и дозволил ему беседовать с ними тайно, наедине, без сомнения не в миролюбивом к нам расположении... Но Самозванец был уже под Москвою! Имея одну цель: отнять у него союзников-ляхов, Василий дозволил князю Рожинскому наведываться, словесно или письменно, о здоровье послов Сигизмундовых: для чего сановники литовские ездили из тушинского стана в Москву свободно и безопасно. Наконец, 25 июля, послы заключили с боярами следующий договор: «1) В течение трех лет и одиннадцати месяцев не быть войне между Россией и Литвою. 2) В сие время условиться о вечном мире или двадцатилетием перемирия. 3) Обоим государствам владеть, чем владеют. 4) Царю не помогать врагам королевским, королю врагам царя ни людьми, ни деньгами. 5) Воеводу Сендомирского с дочерью и всех ляхов освободить и дать им нужное для путешествия до границы. 6) Князьям Рожинскому, Вишневецкому и другим ляхам, без ведома королевского вступившим в службу к злодею, второму Лжедмитрию, немедленно оставить его и впредь не приставать к бродягам, которые вздумают именовать себя царевичами российскими. 7) Воеводе Сендомирскому не называть сего нового обманщика своим зятем и не выдавать за него дочери. 8) Марине не именоваться и не писаться московскою царицею». Договор утвердили с обеих сторон клятвою; но не Василий, а Сигизмунд достиг цели. Коварство ляхов открылось еще во время переговоров.

Чиновники, посланные от князя Рожинского из Тушина в Москву, действовали как лазутчики, высматривая укрепления города и стана ходынского. Царь был неосторожен: воеводы еще неосторожнее. Сперва они бодрствовали неутомимо, днем и ночью, в доспехах и на конях; вдали легкие отряды, вокруг неусыпная стража. Но тишина, бездействие и слух о мире с ляхами уменьшили опасение: россияне уже не береглися; а гетман Лжедмитриев, ночью, с ляхами и козаками в незапно ударил на стан ходынский: захватил обоз и пушки, резал сонных или безоружных и гнал изумленных ужасом беглецов почти до самой Пресни, где их встретило войско, высланное царем с людьми ближними, стольниками, стряпчими и жильцами. Тут началась кровопролитная битва, и неприятель должен был отступить; его теснили и гнали до Ходынки.

Василий мог справедливо жаловаться, что ляхи, заключая мир, воюют и нападают врасплох: он скоро увидел их совершенное вероломство. Исполняя договор, Василий вместе с послами немедленно отпустил в Литву воеводу Сендомирского, Марину и всех их знатных единоплеменников из Москвы и других мест, где они содержались; дал им для хранения воинскую дружину под начальством князя Владимира Долгорукого и надеялся, что Рожинский, Вишневецкий и другие паны, извещенные об условиях мира, оставят Лжедмитрия: но никто из них не думал оставить его! Они дали время послам и Мнишку удалиться и снова начали воевать, не внимая убеждениям наших бояр, которые писали к ним, что обман столь гнусный достоин не витязей державы христианской, а подлых слуг злодея подлого; что если Рожинский имеет хотя искру чести в душе, то обязан выдать Самозванца для казни и немедленно выйти из России. Число ляхов грабителей еще умножилось семью тысячами всадников, приведенных в Тушино усвятским старостою Яном Петром Сапегою. Сей рыцарь знатный, воинскими способностями превосходя всех иных сподвижников бродяги, превосходил их и в бесстыдстве: знал, кто он; смеялся над ним и над россиянами; говорил: «мы жалуем в цари московские, кого хотим»; жег, грабил и хвалился римским геройством! Сапега хотел битвою решить судьбу Москвы и тревожил нападениями стан ходынский:

Рожинский, управляя Самозванцем, медлил, ожидая скорой измены в столице: ибо там уже действовали злодеи, ненавистники Васи лиевы; сносились еще с послами литовскими, сносились и с гетманом Лжедмитриевым, давали им советы, готовили предательство. Нетерпеливый и гордый Сапега отделился от гетмана; желал начальствовать независимо, завоевать внутренние области России и с пятнадцатью тысячами двинулся к лавре Сергиевой, чтобы разграбить ее богатство. С другой стороны, пан Лисовский, именем Дмитрия присоединив к своим шайкам 30 000 изменников тульских и рязанских, взял Коломну, пленил тамошнего воеводу Долгорукого, епископа Иосифа, детей боярских и шел к Москве. Царь выслал против него князей Куракина и Лыкова, которые на берегах Москвы-реки, на Медвежьем броду, сражались целый день, разбили неприятеля, освободили коломенских пленников — и Лисовский, хотев явиться в Тушине победителем, явился там беглецом с немногими всадниками. Царские воеводы Иван Бутурлин и Глебов снова заняли Коломну.

Сей успех был предтечею бедствия. Князя Иван Шуйский и Григорий Ромодановский, посланные с войском вслед за Сапегою, настигли его между селом Здвиженским и Рахманцовым: отразили два нападения и взяли пушки. Казалось, что они победили; но Сапега, раненный пулею в лицо, не выпускал меча из рук и, сказав своим: «отечество далеко; спасение и честь впереди, а за спиною стыд и гибель», третьим отчаянным ударом смешал москвитян. Винили воеводу Федора Головина, который первый дрогнул и бежал; хвалили Ромодановского, который не думал о сыне, подле него убитом, и сражался мужественно: другие следовали примеру Головина, а не Ромодановского, и, быв числом вдвое сильнее неприятеля, рассыпались, как стадо овец. Сапега гнал их 15 верст, взял 20 знамен и множество пленников. Воеводы с главными чиновниками бежали по крайней мере к царю, но воины в доме свои, крича: «идем защитить наших жен и детей от неприятеля!»

Другое важное происшествие имело для Москвы и России еще вреднейшее следствие. Послы литовские и Мнишек, выезжая из столицы, уже знали, чему надлежало случиться, быв в тайном сношении с Лжедмитриевыми советниками, как мы сказали. Василий дал на себя оружие злодеям, дав свободу Марине. Он верил договору и клятве; но мог ли благоразумно верить им в таких обстоятельствах, в таком общем забвении всех уставов чести и справедливости? Князь Долгорукий ехал с послами и с воеводою Сендомирским через Углич, Тверь, Белую к смоленской границе и был встречен сильным отрядом конницы, высланной из тушинского стана с двумя чиновными ляхами Зборовским и Стадницким, чтобы освободить Марину. Долгорукий не мог или не хотел противиться; воины его разбежались: он сам ускакал назад в Москву; а чиновники Лжедмитриевы, объявив Марине, что супруг ждет ее с нетерпением, вручили грамоту отцу ее. «Мы сердечно обрадовались, — писал к нему Самозванец, — услышав о вашем отъезде из Москвы: ибо лучше знать, что вы далее, но свободны, нежели думать, что вы близко, но в плену. Спешите к нежному сыну. Не в унижении, как теперь, а в чести и в славе, как будет скоро, должна видеть вас Польша. Мать моя, ваша супруга, здорова и благополучна в Сендомире: ей все известно». Мнишек и Марина не колебались. Отечество, безопасность, вельможество и богатство, еще достаточное для жизни роскошной, не имели для них прелести трона и мщенья; ни опасности, ни стыд не могли удержать их от нового, вероломного и еще гнуснейшего союза с злодейством. Лжедмитрий звал к себе и послов Сигизмундовых: один Николай Олесницкий возвратился; другие спешили в Литву, не хотев быть свидетелями срамного торжества Марины, которая ехала к мнимому царю своему пышно и безопасно,

местами уже ему подвластными. Узнав, что она приближается, Самозванец велел палить из всех пушек; но Марина остановилась в шатрах за версту от Тушина: там было первое свидание, и не радостное, как пишут. Марина знала истину; знала верно, что убитый муж ее не воскрес из мертвых, и заблаговременно приготовилась к обману: с печалию однако ж увидела сего второго самозванца, гадкого наружностью, грубого, низкого душою — и, еще не мертвая для чувств женского сердца, содрогнулась от мысли разделять ложе с таким человеком. Но поздно! Мнишек и честолюбие убедили Марину преодолеть слабость. Условились, чтобы духовник воеводы Сендомир-ского, иезуит, тайно обвенчал ее с Лжедмитрием, который дал слово жить с нею как брат с сестрою, до завоевания Москвы. Наконец, 1 сентября Марина торжественно въехала в тушинский стан и лицедействовала столь искусно, что зрители умилялись ее нежностью к супругу: радостные слезы, объятия, слова, внушенные, казалось, истинным чувством, — все было употреблено для обмана и не бесполезно: многие верили ему, или по крайней мере говорили, что верят, и российские изменники писали к своим друзьям: «Дмитрий есть без сомнения истинный, когда Марина признала в нем мужа». Сии письма имели действие: из разных городов, из самого войска царского приехали к злодею дворяне, люди чиновные, стольники: князя Дмитрий Трубецкой, Черкасский, Алексей Сицкий, Засекины, Михайло Бутурлин, дьяк Грамотин, Третьяков и другие, которые знали первого Лжедмитрия и следственно знали обман второго. В числе сих немаловажных изменников находился и знатнейший вельможа дворецкий Отрепьева, князь Василий Рубец-Мосальский: сосланный воеводствовать в Кексгольм, он был вызван или привезен в Москву как человек подозрительный, видел себя в опале и с дерзостью явился на новом феатре злодейства. Другие, менее бессовестные, но малодушные, не ожидая ничего, кроме бедствий для царя, разъехались от него по домам; не тронулись и были ему до конца верны одни украинские дворяне и дети боярские, вопреки бунтам их отчизны клятой.

Видя страшное начало измен и ежедневное уменьшение войска, Василий решился устранить гордость народную: доселе не хотел слышать о вспоможении иноземном, велел своему знаменитому племяннику, князю Михаилу Скопину-Шуйскому, ехать к неприятелю Сигизмундову, Карлу IX, заключить с ним союз и привести шведов для спасения России! Уже царь мог без вины не верить отечеству, зараженному духом предательства — и лучший из воевод, хотя и юнейший, в годину величайшей опасности с печалию удалился от рати, думая, что он возвратится, может быть, уже поздно, не спасти царя, а только умереть последним из достойных россиян!.. Тогда же царь писал к государям Западной Европы, к королю датскому, английскому и к императору, о вероломстве Сигизмундовом, требуя их вспоможения или, по крайней мере, суда беспристрастного. Но не в таких обстоятельствах державы находят союзников ревностных: касаясь гибели, Россия могла быть только предметом любопытства или бесплодной жалости для отдаленной Европы!

Еще оказывая благородную неустрашимость, Василий искал если не геройства, то стыда в россиянах; собрал воинов и спрашивал, кто хочет стоять с ним за Москву и за царство? Говорил: «Для чего срамить себя бегством? Даю вам волю: идите, куда хотите! Пусть только верные останутся со мною!» Казалось, что воины ждали сего великодушного слова: требовали Евангелия и креста; наперерыв целовали его и клялись умереть за царя... а на другой и в следующие дни толпами бежали в Тушино... те, которые еще недавно служили верно Иоанну ужасному, изменяли царю снисходительному, передавались к бродяге и ляхам, древним неприятелям России, исполненным злобной мести и справедливого к ним

презрения! Чудесное исступление страстей, изъясняемое единственно гневом Божиим! Сей народ, безмолвный в грозах самодержавия наследственного, уже играл царями, узнав, что они могут быть избираемы и низвергаемы его властью или дерзким своевољством!

С таким ли войском мог Василий отважиться на решительную битву в поле? Быв дотолѣ защитником Москвы, он уже искал в ней защиты для себя: вступил со всеми полками в столицу, орошенную кровию Самозванца и ляхов, туда, где страх лютой мести должен был воспламенить и малодушных для отчаянного сопротивления. Все улицы, стены, башни, земляные укрепления пополнились воинами под начальством мужей думных, которые еще с видом усердия ободряли их и народ. Но не было уже ни взаимной доверенности между государственною властью и подданными, ни ревности в душах, как бы утомленных напряжением сил в непрестанном борении с опасностями грозными. Все ослабело: благоговение к сану царскому, уважение к синклиту и духовенству. Блеск Василиевой великодушной твердости затмевался в глазах страждущей России его несчастием, которое ставили ему в вину и в обман: ибо сей властолюбец, принимая скипетр, обещал благоденствие государству. Видели ревностную мольбу Василиеву в храмах; но Бог не внимал ей — и царь злосчастный казался народу царем неблагословенным, отверженным. Духовенство славilo высокую добродетель венценосца, и бояре еще изъясляли к нему усердие; но москвитяне помнили, что духовенство славilo и кляло Годунова, славilo и кляло Отрепьева; что бояре изъясляли усердие и к расстриге накануне его убиения. В смятении мыслей и чувств, добрые скорбели, слабые недоумевали, злые действовали... и гнусные измены продолжались.

Столица уже не имела войска в поле: конные дружины неприятельские, разъезжая в виду стен ее, прикрывали бегство московских изменников, воинов и чиновников, к Самозванцу; многие из них возвращались с уверением, что он не Димитрий, и снова уходили к нему. Злодейство уже казалось только легкомыслием; уже не мерзили сими обыкновенными беглецами, а шутили над ними, называя их перелетами. Разврат был столь ужасен, что родственники и ближние уговаривались между собою, кому оставаться в Москве, кому ехать в Тушино, чтобы пользоваться выгодами той и другой стороны, а в случае несчастия, здесь или там, иметь заступников. Вместе обедав и пиروвав (тогда еще пиروвали в Москве!) одни спешили к царю в Кремлевские палаты, другие к царику: так именовали второго Лжедмитрия. Взяв жалованье из казны московской, требовали иногo из тушинской — и получали! Купцы и дворяне за деньги снабдевали стан неприятельский яствами, сољю, платьем, оружием, и не тайно: знали, видели и молчали; а кто доносил царю, именовался наушником. Василий колебался: то не смел в крайности быть жестоким подобно Годунову, и спускал преступникам; то хотел строгостью унять их, и веря иногo клеветникам, наказывал невинных, к умножению зла. «Вельможи его, — говорит летописец, — были в смущении и в двоемыслии: служили ему языком, а не душою и телом; некоторые дерзали и словами язвить царя заочно, вопреки присяге и совести». Невзирая на то, Москва, наученная примером Отрепьева, еще не думала предать царя; еще верность хотя и сомнительная, одолевала измену в войске и в народе: все колебалось, но еще не падало к ногам Самозванца. Окруженная твердынями, наполненная воинами, столица могла не страшиться приступа, когда гордый Сапега, в сие время, тщетно силился взять и монастырскую ограду, где горсть защитников среди ужасов беззакония и стыда еще помнила Бога и честь русского имени.

Троицкая лавра Св. Сергия (в шестидесяти четырех верстах от столицы), прельщая ляхов

своим богатством, множеством золотых и серебряных сосудов, драгоценных камней, образов, крестов, была важна и в воинском смысле, способствуя удобному сообщению Москвы с Севером и Востоком России: с Новымгородом, Вологдою, Пермью, Сибирскою землею, с областю Владимирскою, Нижегородскою и Казанскою, откуда шли на помощь к царю дружины ратные, везли казну и запасы. Основанная в лесной пустыне, среди оврагов и гор, лавра еще в царствование Иоанна IV была ограждена (на пространстве шестисот сорока двух саженей) каменными стенами (вышиною в четыре, толщиною в три сажени) с башнями, острогом и глубоким рвом: предусмотрительный Василий успел занять ее дружинами детей боярских, Козаков верных, стрельцов, и с помощью усердных иноков снабдить всем нужным для сопротивления долговременного. Сии иноки — из коих многие, быв мирянами, служили царям в чинах воинских и думных — взяли на себя не только значительные издержки и молитву, но и труды кровавые в бедствиях отечества; не только, сверх ряса надев доспехи, ждали неприятеля под своими стенами, но и выходили вместе с воинами на дороги, чтобы истреблять его разъезды, ловить вестников и лазутчиков, прикрывать обозы царские; действовали и невидимо в станах вражеских, письменными увещаниями отнимая клеветов у Самозванца, трогая совесть легкомысленных, еще незакоснелых изменников и представляя им в спасительное убежище лавру, где число добрых подвижников, одушевленных чистою ревностию или раскаянием, умножалось. «Доколе, — говорили Лжедимитрию ляхи, — доколе свирепствовать против нас сим кровожадным вранам, гнездящимся в их каменном гробе? Города многолюдные и целые области уже твои, Шуйский бежал от тебя с войском, а чернцы ведут дерзкую войну с тобою! Рассыплем их прах и жилище!» Еще Лисовский, злодействуя в Переславской и Владимирской области, мыслил взять лавру: увидев трудность, прошел мимо, и сжег только посад Клементьевский, но Сапега, разбив князей Ивана Шуйского и Ромодановского, хотел чего бы то ни стоило овладеть ею.

Сия осада знаменита в наших летописях не менее Псковской, и еще удивительнее: первая утешила народ во время его страдания от жестокости Иоанновой; другая утешает потомство в страдании за предков, униженных развратом. В общем падении духа увидим доблесть некоторых, и в ней причину государственного спасения: казня Россию, Всевышний не хотел ее гибели и для того еще оставил ей таких граждан. Не устраним подробностей в описании дел славных, совершенных хотя и в пределах смиренной обители монашеской, людьми простыми, низкими званием, высокими единственно душою!

23 сентября Сапега, а с ним и Лисовский; князь Константин Вишневецкий, Тишкевичи и многие другие знатные паны, предводительствуя тридцатью тысячами ляхов, Козаков и российских изменников, стали в виду монастыря на Клементьевском поле. Осадные воеводы лавры, князь Григорий Долгорукий и Алексей Голохвастов, желая узнать неприятеля и показать ему свое мужество, сделали вылазку и возвратились с малым уроном, дав время жителям монастырских слобод обратить их в пепел: каждый зажег дом свой, спасая только семейство, и спешил в лавру. Неприятель в следующий день, осмотрев места, занял все высоты и все пути, расположился станом и начал укрепляться. Между тем лавра наполнилась множеством людей, которые искали в ней убежища, не могли вместиться в келиях и не имели крова: больные, дети, родильницы лежали на дожде в холодную осень. Легко было предвидеть дальнейшие, гибельные следствия тесноты, но добрые иноки говорили: «Св. Сергий не отвергает злосчастных» — и всех принимали. Воеводы, архимандрит Иоасаф и соборные старцы урядили защиту: везде расставили пушки;

назначили, кому биться на стенах или в вылазках, и князь Долгорукий с Голохвастовым первые, над гробом Св. Сергия, поцеловали крест в том, чтобы сидеть в осаде без измены. Все люди ратные и монастырские следовали их примеру в духе любви и братства, ободряли друг друга и с ревностью готовились к трапезе кровопролитной, пить чашу смертную за отечество. С сего времени пение не умолкало в церквах лавры, ни днем, ни ночью.

29 сентября Сапега и Лисовский писали к воеводам: «Покоритесь Димитрию, истинному царю вашему и нашему, который не только сильнее, но и милостивее лжецаря Шуйского, имея, чем жаловать верных, ибо владеет уже едва не всем государством, стеснив своего злодея в Москве осажденной. Если мирно сдадитесь, то будете наместниками Троицкого града и владетелями многих сел богатых; в случае бесполезного упорства падут ваши головы». Они писали и к архимандриту, и к инокам, напоминая им милость Иоанна к лавре, и требуя благодарности, ожидаемой от них его сыном и невесткою. Архимандрит и воеводы читали сии грамоты всенародно; а монахи и воины сказали: «Упование наше есть Святая Троица, стена и щит — Богоматерь, Святые Сергей и Никон — сподвижники: не страшимся!» В бранном ответе ляхам не оставили слова на мир; но не тронули изменника, сына боярского, Бессона Руготина, который привозил к ним Сапегины грамоты.

30 сентября неприятель утвердил туры на горе Волкуше, Терентьевской, Круглой и Красной; выкопал ров от Келарева пруда до Глиняного врага, насыпал широкий вал и с 3 октября, в течение шести недель, палил из шестидесяти трех пушек, стараясь разрушить каменную ограду; стены, башни тряслися, но не падали, от худого ли искусства пушкарей или от малости их орудий: сыпались кирпичи, делались отверстия и немедленно заделывались; ядра каленые летели мимо зданий монастырских в пруды, или гасли на пустырях и в ямах, к удивлению осажденных, которые, видя в том чудесную к ним милость Божию, укреплялись духом и в ожидании приступа все исповедались, чтобы с чистою совестью не робеть смерти; многие постриглись, желая умереть в сане монашеском. Иноки, деля с воинами опасности и труды, ежедневно обходили стены с святыми иконами.

Сапега готовился к первому решительному делу не молитвою, не покаянием, а пиром для всего войска. 12 октября с утра до вечера ляхи и российские изменники шумели в стане, пили, стреляли, скакали на лошадях с знаменами вокруг лавры, в сумерки вышли полками к турам, заняли дорогу Углицкую, Переславскую, и ночью устремились к монастырю с лестницами, щитами и тарасами, с криком и музыкою. Их встретили залпом из пушек и пищалей; не допустили до стен; многих убили, ранили, все другие бежали, кинув лестницы, щиты и тарасы. В следующее утро осажденные взяли сии трофеи и предали огню, славя Бога. — Не одолев силою, Сапега еще думал взять лавру угрозами и лестию: ляхи мирно подъезжали к стенам, указывали на свое многочисленное войско, предлагали выгодные условия; но чем более требовали сдачи, тем менее казались страшными для осажденных, которые уже действовали и наступательно. 19 октября, видя малое число неприятелей в огородах монастырских, стрельцы и козаки без повеления воевод спустились на веревках со стены, напали и перерезали там всех ляхов. Пользуясь сею ревностью, князь Долгорукий и Голохвастов тогда же сделали смелую вылазку с конными и пехотными дружинами к турам Красной горы, чтобы разрушить неприятельские бойницы; но в жестокой сече лишились многих добрых воинов. Никто не отдался в плен; раненых и мертвых принесли в лавру, всего более жалея о храбром чиновнике Брехове: он еще дышал, и был вместе с другими умирающими пострижен в монахи... В возмездие за верную службу царю земному, отечество передавало их в Образе Ангельском Царю Небесному.

Гордясь сим делом как победою, неприятель хотел довершить ее: в темную осеннюю ночь (25 октября), когда огни едва светились и все затихло в лавре, дремлющие воины встрепенулись от незапного шума: ляхи и российские изменники под громом всех своих бойниц, с криком и воплем, стремились к монастырю, достигли рва и соломою с берестом зажгли острог: яркое пламя озарило их толпы как бы днем, в цель пушкам и пищалям. Сильною стрельбою и гранатами осажденные побили множество смелейших ляхов и не дали им сжечь острога; неприятель ушел в свои законы, но и в них не остался: при свете восходящего солнца видя на стенах церковные хоругви, воинов, священников, которые пели там благодарственный молебен за победу, он устрасился нападения и бежал в стан укрепленный. Несколько дней минуло в бездействии.

Но Сапега и Лисовский в тишине готовили гибель лавре: вели подкопы к стенам ее. Угадывая сие тайное дело, князь Долгорукий и Голохвастов хотели добыть языков: сделали вылазку на Княжеское поле, к Мишутинскому врагу, где, разбив неприятельскую стражу, захватили литовского ротмистра Брушевского и без урона возвратились, не дав Сапеге преградить им пути. Расспрашивали чиновного пленника и пытали: он сказал, что ляхи действительно ведут подкоп, но не знал места. Воеводы избрали человека искусного в ремесле горном, монастырского слугу Корсакова и велели ему делать под башнями так называемые слухи, или ямы в глубину земли, чтобы слушать там голоса или стука людей копающих в ее недрах; велели еще углубить ров вне лавры, от востока к северу. Сия работа произвела две битвы кровопролитные: неприятель напал на копателей, но был отражен действием монастырских пушек. В другой сече за рвом, ноября 1, ляхи убили 190 человек и взяли несколько пленников; стеснили осажденных, не пускали их черпать воды в прудах вне крепости и приблизили свои окопы к стенам. Сердца уныли и в великодушных: видели уменьшение сил ратных; опасались болезней от тесноты и недостатка в хорошей воде; знали верно, что есть подкоп, но не знали где, и могли ежечасно взлететь на воздух. Тогда же несколько ядер упало в лавру: одно ударило в большой колокол, в церковь, и, к общему ужасу, раздробило святые иконы, пред коими народ молился с усердием; другим убило инокиню; третьим, в день Архангела Михаила, оторвало ногу у старца Корнилия: сей инок благочестивый, исходя кровию, сказал: «Бог архистратигом своим Михаилом отмстит кровь христианскую» — и тихо скончался. Тогда же между верными россиянами нашлись и неверные: слуга монастырский Селевин бежал к ляхам. Боялись его изветов, козней и тайных единомышленников: один пример измены был уже опасен. В сих обстоятельствах не изменилась ревность добрых старцев: первые на молитве, на страже и в битвах, они словом и делом воспламеняли защитников, представляя им малодушие грехом, неробкую смерть долгом христианским и гибель временную Вечным спасением.

Битвы продолжались. Осажденные сделали в земле ход, из-под стены в ров, с тремя железными воротами для скорейших вылазок; в темные ночи нападали на окопы неприятельские, хватали языков, допрашивали и сведали наконец важную тайну: тяжело раненный пленник козак дедиловский, умирая христианином, указал воеводам место подкопа: ляхи вели его от мельницы к круглой угольной башне нижнего монастыря. Укрепив сие место частоколом и турами, воеводы решились уничтожить опасный замысел Сапеги. Два случая ободрили их: меткою стрельбою им удалось разбить главную литовскую пушку, которая называлась трещерою и более иных вредила монастырю. Другое счастливое происшествие уменьшало силу неприятеля: 500 козаков донских с атаманом Епифанцем устыдились воевать святую обитель и бежали от Сапеги в свою отчизну. 9 ноября, за три

часа до света, взяв благословение архимандрита над гробом Св. Сергия, воеводы тихо вышли из крепости с людьми ратными и монахами. Глубокая тьма скрывала их от неприятеля; но как скоро они стали в ряды, сильный порыв ветра рассеял облака: мгла исчезла; ударили в осадный колокол, и все кинулись вперед, восклицая имя Св. Сергия. Нападение было с трех сторон, но стремились к одной цели: выгнали Козаков и ляхов из ближайших укреплений, овладели мельницею, нашли и взорвали подкоп, к сожалению, с двумя смельчаками (Шиловым и Слотом, клементьевскими земледельцами), которые наполнили его веществом горючим, зажгли и не успели спастись. Победители были еще не довольны: резались с неприятелем между его бойницами, падали от ядер и меча. Не слушаясь начальников, все остальные иноки и воины, толпа за толпою, прибежали из монастыря в пыл сечи, долго упорной. Несколько раз ляхи сбивали их с высот в лощины, гнали и трубили победу; но россияне снова выходили из оврагов, лезли на горы и наконец взяли Красную со всеми ее турами, немало пленников, знамена, 8 пушек, множество самопалов, ручниц, копий, палашей, воинских снарядов, труб и литавр; сожгли, чего не могли взять, и в торжестве, облитые кровию, возвратились при колокольном звоне всех церковей монастырских, неся своих мертвых, 174 человека и 66 тяжело раненных, а неприятельские укрепления оставив в пламени. Битва не пресекалась с раннего утра до темного вечера. 1500 российских изменников и ляхов, с панами Угорским и Мазовецким, легли около мельницы, прудов Клементьевского, Келарева, Конюшенного и Круглого, церковей нижнего монастыря и против Красных ворот (ибо ляхи, в середине дела имел выгоду, гнали наших до самой ограды). Иноки и воины хоронили тела с умилением и благодарностию; раненных покоили с любовию в лучших келиях, на иждивении лавры. Славил мужество дворян, Внукова и Есипова убитых, Ходырева и Зубова живых. Брат изменника и переметчика сотник Данило Селевин сказал: «хочу смертью загладить бесчестие нашего рода», и сдержал слово: пеший напал на дружину атамана Чики, саблею изрубил трех всадников и, смертельно раненный в грудь четвертым, еще имел силу убить его на месте. Другой воин Селевин также удивил храбростию и самых храбрых. Слуга монастырский, Меркурий Айгустов, первый достиг неприятельских бойниц и был застрелен из ружья литовским пушкарем, коему сподвижники Меркуриевы в то же мгновение отсекли голову. Иноки сражались везде впереди. — О сем счастливом деле архимандрит и воеводы известили Москву, которая праздновала оное вместе с лаврою.

Стыдясь своих неудач, Сапега и Лисовский хотели испытать хитрость; ночью скрыли конницу в оврагах и послали несколько дружин к стенам, чтобы выманить осажденных, которые действительно устремились на них и гнали бегущих к засаде; но стражи, увидев ее с высокой башни, звуком осадного колокола известили своих о хитрости неприятельской: они возвратились безвредно, и с пленниками.

Настала зима. Неприятель, большею частию укрываясь в стане, держался и в законах: воеводы троицкие хотели выгнать его из ближних укреплений и на рассвете туманного дня вступили в дело жаркое; заняв овраг Мишутин, Благовещенский лес и Красную гору до Клементьевского пруда, не могли одолеть соединенных сил Лисовского и Сапеги: были притиснуты к стенам; но подкрепленные новыми дружинами, начали вторую битву, еще кровопролитнейшую и для себя отчаянную, ибо уже не имели ничего в запасе. Монастырские бойницы и личное геройство многих дали им победу. «Св. Сергий, — говорит летописец, — о храбрил и невежд; без лат и шлемов, без навыка и знания ратного, они шли на воинов опытных, доспешных, и побеждали». Так житель села Молокова, именем

Суета, ростом великан, силою и душою богатырь, всех затмил чудесною доблестию; сделался истинным воеводою, увлекал других за собою в жестокую свалку; на обе стороны сек головы бердышем и двигался вперед по трупам. Слуга Пимен Тененев пустил стрелу в левый висок Лисовского и свалил его с коня. Другого знатного ляха, князя Юрия Горского, убил воин Павлов и примчал мертвого в лавру. Бились в рукопашь, резались ножами, и толпы неприятельские редели от сильного действия стенных пушек. Сапега, не готовый к приступу, увидев наконец вред своей запальчивости, удалился; а лавра торжествовала вторую знаменитую победу.

Но предстояло искушение для твердости. В холодную зиму монастырь не имел дров: надлежало кровию доставать их: ибо неприятель стерег дровосеков в рощах, убивал и пленил многих людей. Осажденные едва не лишились и воды: два злодея, из детей боярских, передались к ляхам и сказали Сапеге, что если он велит спустить главный внешний пруд, из коего были проведены трубы в ограду, то все монастырские пруды иссохнут. Неприятель начал работу, и тайно: к счастью, воеводы узнали от пленника и могли уничтожить сей замысел: сделав ночью вылазку, они умертвили работников и, вдруг отворив все подземельные трубы, водою внешнего пруда наполнили свои, внутри обители, на долгое время. — Нашлись и другие, гораздо важнейшие изменники: казначей монастырский, Иосиф Девочкин, и сам воевода Голохвастов, если верить сказанию летописца: ибо в великих опасностях или бедствиях, располагающих умы и сердца к подозрению, нередко вражда личная язвит и невинность клеветою смертоносною. Пишут, что сии два чиновника, сомневаясь в возможности спасти лавру доблестию, хотели спасти себя злодейством и через беглеца Селевина тайно условились с Сапегою предать ему монастырь; что Голохвастов думал, в час вылазки, впустить неприятеля в крепость; что старец Гурий Шишкин хитро выведал от них адскую тайну и донес архимандриту. Иосифу дали время на покаяние: он умер скоропостижно. Голохвастов же остался воеводою: следственно не был уличен ясно; но сия измена, действительная или мнимая, произвела зло: взаимное недоверие между защитниками лавры.

Тогда же открылось зло еще ужаснейшее. «Когда, — говорит летописец лавры, — бедствие и гибель ежедневно нам угрожали, мы думали только о душе; когда гроза начинала слабеть, мы обратились к телесному». Неприятель, изнуренный тщетными усилиями и холодом, кинул окопы, удалился от стен и заключился в земляных укреплениях стана, к великой радости осажденных, которые могли наконец безопасно выходить из тесной для них ограды, чтобы дышать свободнее за стенами, рубить лес, мыть белье в прудах внешних; уже не боялись приступов и только добровольно сражались, от времени до времени тревожа неприятеля вылазками: начинали и прекращали битву, когда хотели. Сей отдых, сия свобода пробудили склонность к удовольствиям чувственным: крепкие меды и молодые женщины кружили головы воинам; увещания и пример трезвых иноков не имели действия. Уже не берегли, как дотолле, запасов монастырских; роскошествовали, пировали, тешились музыкою, пляскою... и скоро оцепенели от ужаса.

Долговременная теснота, зима сырая, употребление худой воды, недостаток в уксусе, в пряных зельях и в хлебном вине произвели цингу: ею заразились беднейшие и заразили других. Больные пухли и гнили; живые смердели как трупы; задыхались от зловония и в келиях и в церквах. Умирало в день от двадцати до пятидесяти человек; не успевали копать могил; за одну платили два, три и пять рублей; клали в нее тридцать и сорок тел. С утра до вечера отпевали усопших и хоронили; ночью стон и вой не умолкали: кто издыхал, кто плакал над издыхающим. И здоровые шатались как тени от изнеможения, особенно священники, коих водили и держали под руки для исправления треб церковных. Томные и слабые, предвидя смерть от страшного недуга, искали ее на стенах, от пули неприятельской. Вылазки пресеклись, к злой радости изменников и ляхов, которые, слыша всегдашний плач в обители, всходили на высоты, взлезали на деревья и видели гибель ее защитников, кучи тел и ряды могил свежих, исполнились дерзости, подъезжали к воротам, звали иноков и воинов на битву, ругались над их бессилием, но не думали приступом увериться в оном, надеясь, что они скоро сдадутся или все изгибнут.

В крайности бедствия архимандрит Иоасаф писал к знаменитому келарю лавры, Аврамию Палицыну, бывшему тогда в Москве, чтобы он убедил царя спасти сию священную твердыню немедленным вспоможением: Авраамий убеждал Василия, братьев его, синклит, патриарха; но столица сама трепетала, ожидая приступа тушинских злодеев. Авраамий доказывал, что лавра может еще держаться только месяц и падением откроет неприятелю весь север России до моря. Наконец Василий послал несколько воинских снарядов и 60 Козаков с атаманом Останковым, а келар 20 слуг монастырских. Сия дружина, хотя и слабая числом, утешила осажденных: они видели готовность Москвы помогать им, и новою дерзостью — к сожалению, делом жестоким — явили неприятелю, сколь мало страшатся его злобы. Неосторожно пропустив царского атамана в лавру и захватив только четырех Козаков, варвар Лисовский с досады велел умертвить их пред монастырскою стеною. Такое злодейство требовало мести: осажденные вывели целую толпу литовских пленников и казнили из них 42 человека, к ужасу поляков, которые, гнушаясь виновником сего душегубства, хотели убить Лисовского, едва спасенного менее бесчеловечным Сапегою.

Бедствия лавры не уменьшились: болезнь еще свирепствовала; новые сподвижники, атаман Останков с козаками, сделались также ее жертвою, и неприятель удвоил заставы, чтобы лишить осажденных всякой надежды на помощь. Но великодушие не слабело: все готовились к смерти; никто не смел упомянуть о сдаче. Кто выздоравливал, тот отведывал сил своих в битве, и вылазки возобновились. Действуя мечом, употребляли и коварство. Часто ляхи, подъезжая к стенам, дружелюбно разговаривали с осажденными, вызывали их, давали им вино за мед, вместе пили и... хватали друг друга в плен или убивали. В числе таких пленников был один лях, называемый в летописи Мартиасом, умный и столь искусный в льстивом притворстве, что воеводы вверились в него как в изменника Литвы и в друга России: ибо он извещал их о тайных намерениях Сапеги; предсказывал с точностию все движения неприятеля, учил пушкарей меткой стрельбе, выходил даже биться с своими единоплеменниками за стеною и бился мужественно. Князь Долгорукий столь любил его, что жил с ним в одной комнате, советовался в важных делах и поручал ему иногда ночную стражу. К счастью, перебежал тогда в лавру от Сапеги другой пан литовский. Немко, от природы глухий и бессловесный, но в боях витязь неустрашимый, ревнитель нашей Веры и Св. Сергия. Увидев Мартиаса, Немко заскрежетал зубами, выгнал его из горницы, и с видом ужаса знаками изъяснил воеводам, что от сего человека падут монастырские стены. Мартиаса начали пытаться и сведали истину: он был лазутчик Сапегин, пускал к нему тайные письма на стрелах и готовился, по условию, в одну ночь заколотить все пушки монастырские. Коварство неприятеля, усиливая остервенение, возвышало доблесть подвижников лавры. Славнейшие изгибли: их место заступили новые, дотоле презираемые или неизвестные, бесчиновные, слуги, земледельцы. Так Анания Селевин, раб смиренный, заслужил имя Сергиева витязя делами храбрости необыкновенной: российские изменники и ляхи знали его коня и тяжелую руку; видели издали и не смели видеть вблизи, по сказанию летописца: дерзнул один Лисовский, и раненый пал на землю. Так стрелец Нехорошее и селянин Никифор Шилов были всегда путеводителями и героями вылазок; оба, единоборствуя с тем же Лисовским, обагрились его кровию: один убил под ним коня, другой рассек ему бедро. Стражи неприятельские бодрствовали, но грамоты утешительные, хотя и без воинов, из Москвы приходили: келарь Авраамий, душою присутствуя в лавре, писал к ее верным россиянам: «будьте непоколебимы до конца!» Архимандрит, иноки рассказывали о видениях и чудесах: уверяли, что Святые Сергий и Никон являются им с

благовестием спасения: что ночью, в церквах затворенных, невидимые лики Ангельские поют над усопшими, свидетельствуя тем их сан небесный в награду за смерть добродетельную. Все питало надежду и Веру, огонь в сердцах и воображении; терпели и мужались до самой весны.

Тогда целебное влияние теплого воздуха прекратило болезнь смертоносную, и 9 мая в новосвященном храме Св. Николая иноки и воины пели благодарственный молебен, за коим следовала счастливая вылазка. Хотели доказать неприятелю, что лавра уже снова цветет душевным и телесным здравием. Но силы не соответствовали духу. В течение пяти или шести месяцев умерло там 297 старых иноков, 500 новопостриженных и 2125 детей боярских, стрельцов, Козаков, людей даточных и слуг монастырских. Сапега знал, сколь мало осталось живых для защиты, и решился на третий общий приступ. 27 мая зашумел стан неприятельский: ляхи, следуя своему обыкновению, с утра начали веселиться, пить, играть на трубах. В полдень многие всадники объезжали вокруг стен и высматривали места; другие взад и вперед скакали, и мечами грозили осажденным. Вечеру многочисленная конница с знаменами стала на Клементьевском поле; вышел и Сапега с остальными дружинами, всадниками и пехотою, как бы желая доказать, что презирает выгоду нечаянности в нападении и дает время неприятелю изготавиться к бою. Лавра изготавилась: не только монахи с оружием, но и женщины явились на стенах с камнями, с огнем, смолою, известью и серою. Архимандрит и старые иеромонахи в полном облачении стояли пред алтарем и молились. Ждали часа. Уже наступила ночь и скрыла неприятеля; но в глубоком мраке и безмолвии осажденные слышали ближе и ближе шорох: ляхи как змеи ползли ко рву с стенобитными орудиями, щитами, лестницами — и вдруг с Красной горы грянул пушечный гром: неприятель завопил, ударил в бубны и кинулся к ограде; придвинул щиты на колесах, лез на стены. В сей роковой час остаток великодушных увенчал свой подвиг. Готовые к смерти, защитники лавры уже не могли ничего страшиться: без ужаса и смятения каждый делал свое дело; стреляли, кололи из отверстий, метали камни, зажженную смолу и серу; лили вар; ослепляли глаза известью; отбивали щиты, тараны и лестницы. Неприятель оказывал смелость и твердость; отражаемый, с усилием возобновлял приступы, до самого утра, которое осветило спасение лавры: ляхи и российские злодеи начали отступать; а победители, неутомимые и ненасытные, сделав вылазку, еще били их во рвах, гнали в поле и в лощинах, схватили 30 панов и чиновных изменников, взяли множество стенобитных орудий и возвратились славить Бога в храме Троицы. Сим делом важным, но кровопролитным только для неприятеля, решилась судьба осады. Еще держась в стане, еще надеясь одолеть непреклонность лавры совершенным изнеможением ее защитников, Сапега уже берег свое войско; не нападая, единственно отражал смелые их вылазки и ждал, что будет с Москвою. Ждала того и лавра, служа для нее примером, к несчастью, бесплодным.

Когда горсть достойных воинов-монахов, слуг и земледельцев, изнуренных болезнию и трудами, неослабно боролась с полками Сапеги, Москва, имея, кроме граждан, войско многочисленное, все лучшее дворянство, всю нравственную силу государства, давала владычествовать бродяге Лжедимитрию в двенадцати верстах от стен Кремлевских и досуг покорять Россию. Москва находилась в осаде: ибо неприятель своими разъездами мешал ее сообщениям. Хотя царские воеводы иногда выходили в поле, иногда сражались, чтобы очистить пути, и в деле кровопролитном, в коем был ранен гетман Лжедимитриев, имели выгоду: но не предпринимали ничего решительного. Василий ждал вестей от Скопина; ждал и ближайшей помощи, дав указ жителям всех городов северных вооружиться, идти в

Ярославль и к Москве, — велел и боярину Федору Шереметеву оставить Астрахань, взять людей ратных в низовых городах и также спешить к столице. Но для сего требовалось времени, коим неприятель мог воспользоваться, отчасти и воспользовался к ужасу всей России.

Не имея сил овладеть Москвою, не умея овладеть лаврою, Лжедимитрий с изменниками и ляхами послал отряды к Суздалью, Владимиру и другим городам, чтобы действовать обольщением, угрозами или силою. Надежда его исполнилась. Суздаль первый изменил чести, слушаясь злодея, дворянина Шилова: целовал крест Самозванцу, принял Лисовского и воеводу Федора Плещеева от Сапеги. Переславль Залесский очернил себя еще гнуснейшим делом: жители его соединились с ляхами и приступили к Ростову. Там крушился о бедствиях отечества добродетельный митрополит Филарет: не имея крепких стен, граждане предложили ему удалиться вместе с ними в Ярославль; но Филарет сказал, что не бегством, а кровию должно спасать отечество; что великодушная смерть лучше жизни срамной; что есть другая жизнь и венец Мучеников для христиан, верных царю и Богу. Видя бегство народа, Филарет с немногими усердными воинами и гражданами заключился в Соборной церкви: все исповедались, причастились Святых Таин и ждали неприятеля или смерти. Не ляхи, а братья единовверные, переславцы, дерзнули осадить святой храм, стреляли, ломились в двери, и диким ревом ярости ответствовали на голос митрополита, который молил их не быть извергами. Двери пали: добрые ростовцы окружили Филарета и бились до совершенного изнеможения. Храм наполнился трупами. Злодеи победители схватили митрополита и, сорвав с него ризы святительские, одели в рубище, обнажили церковь, сняли золото с гробницы Св. Леонтия и разделили между собою по жеребью; опустошили город, и с добычею святотатства вышли из Ростова, куда Сапега прислал воеводствовать злого изменника Матвея Плещеева. Филарета повезли в Тушинский стан, как узника, босого, в одежде литовской, в татарской шапке; но Самозванец готовил ему бесчестие и срам иного рода: встретил его с знаками чрезвычайного уважения, как племянника Иоанновой супруги Анастасии и жертву Борисовой ненависти; величал как знаменитейшего, достойного архипастыря и назвал патриархом: дал ему золотой пояс и святительских чиновников для наружной пышности, но держал его в тесном заключении как непреклонного в верности к царю Василию. Сей второй Лжедимитрий, наученный бедствием первого, хотел казаться ревностным чителем церкви и духовенства; учил лицемерию и жену свою, которая с благоговением приняла от Сапеги богатую икону Св. Леонтия, ростовскую добычу; уже не смела гнущаяся обрядами православия, молилась в наших церквях и поклонялась мощам Угодников Божиих. Еще притворствовались и хитрили для ослепления умов в век безумия и страстей неистовых!

Город за городом сдавался Лжедимитрию: Владимир, Углич, Кострома, Галич, Вологда и другие, те самые, откуда Василий ждал помощи. Являлась толпа изменников и ляхов, восклицая: «Да здравствует Димитрий!» и жители, ответствуя таким же восклицанием, встречали их как друзей и братьев. Добросовестные безмолвствовали в горести, видя силу на стороне разврата и легкомыслия: ибо многие, вопреки здравому смыслу, еще верили мнимому Димитрию! Другие, зная обман, изменяли от робости или для того, чтобы злодействовать свободно; приставали к шайкам Самозванца и вместе с ними грабили, где и что хотели. Шуя, наследственное владение Василиевых предков, и Кинешма, где защищался воевода Федор Бабарыкин, были взяты, разорены Лисовским; взята и верная Тверь: ибо лучшие воины ее находились с царем в Москве. Отряд легкой Сапегиной конницы вступил и

в отдаленный Белозерск, где издревле хранилась часть казны государственной: ляхи не нашли казны, но там и везде освободили ссыльных, а в их числе и злодея Шаховского, себе в усердные сподвижники. Ярославль, обогащенный торговлею английскою, сдался на условии не грабить его церквей, домов и лавок, не бесчестить жен и девиц; принял воеводу от Лжедмитрия, шведа греческой Веры, именем Лоренца Биугге, Иоаннова ливонского пленника; послал в тушинский стан 30 000 рублей, обязался снарядить 1000 всадников. Псков, знаменитый древними и новейшими воспоминаниями славы, сделался вдруг вертепом разбойников и душегубцев. Там снова начальствовал боярин Петр Шереметев, недолго быв в опале: верный царю, нелюбимый народом за лихоимство. Духовенство, дворяне, гости были также верны; но лазутчики и письма тушинского злодея взволновали мелких граждан, чернь, стрельцов, Козаков, исполненных ненависти к людям сановитым и богатым. Мятежниками предводительствовал дворянин Федор Плещеев: торжествуя числом, силою и дерзостью, они присягнули Лжедмитрию; вопили, что Шуйский отдает Псков шведам; заключили Шереметева и граждан знатнейших; расхитили достояние святительское и монастырское. Узнав о том, Лжедмитрий прислал к ним свою шайку: начались убийства. Шереметева удавили в темнице; других узников казнили, мучили, сажали на кол. В сие ужасное время сгорела знатная часть Пскова, и кучи пепла облились новою кровию: неистовые мятежники объявили дворян и богатых купцов зажигателями; грабили, резали невинных, и славили царя тушинского... Кто мог в сих исступлениях злодейства узнать отчизну Св. Ольги, где цвела некогда добродетель, человеческая и государственная; где еще за 26 лет пред тем жили граждане великодушные, победители Героя Батория, спасители нашей чести и славы?

Но кто мог узнать и всю Россию, где, в течение веков, видели мы столько подвигов достохвальных, столько твердости в бедствиях, столько чувств благородных? Казалось, что россияне уже не имели отечества, ни души, ни Веры; что государство, зараженное нравственною язвою, в страшных судорогах кончалось!.. Так повествует добродетельный свидетель тогдашних ужасов Авраамий Палицын, исполненный любви к злосчастному отечеству и к истине: «Россию терзали свои более, нежели иноплеменные: путеводителями, наставниками и хранителями ляхов были наши изменники, первые и последние в кровавых сечах: ляхи, с оружием в руках, только смотрели и смеялись безумному междуусобию. В лесах, в болотах непроходимых россияне указывали или готовили им путь и числом превосходным берегли их в опасностях, умирая за тех, которые обходились с ними как с рабами. Вся добыча принадлежала ляхам: они избирали себе лучших из пленников, красных юношей и девиц, или отдавали на выкуп ближним — и снова отнимали, к забаве россиян!.. Сердце трепещет от воспоминания злодейств: там, где стыла теплая кровь, где лежали трупы убиенных, там гнусное любострастие искало одра для своих мерзостных наслаждений... Святых юных инокинь обнажали, позорили; лишённые чести, лишались и жизни в муках срама... Были жены прельщаемые иноплеменниками и развратом; но другие смертью избавляли себя от зверского насилия. Уже не сражаясь за отечество, еще многие умирали за семейства: муж за супругу, отец за дочь, брат за сестру вонзал нож в грудь ляху. Не было милосердия: добрый, верный царю воин, взятый в плен ляхами, иногда находил в них жалость и самое уважение к его верности; но изменники называли их за то женами слабыми и худыми союзниками царя тушинского: всех твердых в добродетели предавали жестокой смерти; метали с крутых берегов в глубину рек, расстреливали из луков и самопалов; в глазах родителей жгли детей, носили головы их на саблях и копьях; грудных

младенцев, вырывая из рук матерей, разбивали о камни. Видя сию неслыханную злобу, ляхи содрогались и говорили: что же будет нам от россиян, когда они и друг друга губят с такою лютою? Сердца окаменели, умы омрачились; не имели ни сострадания, ни предвидения: вблизи свирепствовало злодейство, а мы думали: оно минует нас! или искали в нем личных для себя выгод. В общем кружении голов все хотели быть выше своего звания: рабы господами, чернь дворянством, дворяне вельможами. Не только простые простых, но и знатные знатных, и разумные разумных обольщали изменою, в домах и в самых битвах; говорили: мы блаженствуем; идите к нам от скорби к утехам!.. Гибли отечество и церковь: храмы истинного Бога разорялись, подобно капищам Владимирова времени: скот и псы жили в алтарях; воздухами и пеленами украшались кони, пили из потиров; мяса стояли на дискосах; на иконах играли в кости; хоругви церковные служили вместо знамен; в ризах иерейских плясали блудницы. Иноков, священников палили огнем, допытываясь их сокровищ; отшельников, схимников заставляли петь срамные песни, а безмолвствующих убивали... Люди уступили свои жилища зверям: медведи и волки, оставив леса, витали в пустых городах и весях; враны плотоядные сидели станицами на телах человеческих; малые птицы гнездились в черепахах. Могилы как горы везде возвышались. Граждане и земледельцы жили в дубравах, в лесах и в пещерах неведомых, или в болотах, только ночью выходя из них осушиться. И леса не спасали: люди, уже покинув звероловство, ходили туда с чуткими псами на ловлю людей; матери, укрываясь в густоте древесной, страшились вопля своих младенцев, зажимали им рот и душили их до смерти. Не светом луны, а пожарами озарялись ночи: ибо грабители жгли, чего не могли взять с собою, дома и все, да будет Россия пустынею необитаемою!»

Россия бывала пустынею; но в сие время не Батыевы, а собственные варвары свирепствовали в ее недрах, изумляя и самых неистовых иноплеменников: Россия могла тогда завидовать временам Батыевым, будучи жертвою величайшего из бедствий, разврата государственного, который мертвит и надежду на умилоствление небесное! Сия надежда питалась только великодушною смертию многих россиян: ибо не в одной лавре блистало геройство: сии, по выражению летописца, горы могил, всюду видимые, вмещали в себе персть мучеников верности и закона: добродетель, как Феникс, возрождается из пепла могилы, примером и памятию; там не все погибло, где хотя немногие предпочитают гибель беззаконию. С честью умирали и воины и граждане, и старцы и жены. В духовенстве особенно сияла доблесть. Мы видели мужество Филарета. Епископ Тверской, Феоктист, крестом и мечом вооруженный, до последнего издыхания боролся с изменою, и, взятый в плен, удостоился венца страдальческого. Архиепископ Суздальский, Галактион, не хотел благословить Самозванца, скончался в изгнании. Добродетельного коломенского святителя, Иосифа, злодеи влачили привязанного к пушке: он терпел и молил Бога образумить россиян. Святитель псковский, Геннадий, в тщетном усилии обуздать мятежников, умер от горести. Немногие из священников, как сказано в летописи, уцелели, ибо везде противились бунту.

Сей бунт уже поглощал Россию: как рассеянные острова среди бурного моря, являлись еще под знаменем московским вблизи лавры, Коломна, Переславль Рязанский, вдали Смоленск, Новгород Нижний, Саратов, Казань, города сибирские; все другие уже принадлежали к царству беззакония, коего столицею был тушинский стан, действительно подобный городу разными зданиями внутри одного, купеческими лавками, улицами, площадями, где толпилось более ста тысяч разбойников, обогащаемых плодами грабежа; где каждый день, с утра до вечера, казался праздником грубой роскоши: вино и мед лились из

бочек; мяса, вареные и сырые, лежали грудями, пресыщая и людей и псов, которые вместе с изменниками стекались в Тушино. Число сподвижников Лжедмитриевых умножилось татарами, приведенными к нему потешным царем Борисовым, державцем Касимовским, Ураз-Магметом, и крещеным ногайским князем Арасланом Петром, сыном Урусовым: оба, менее россиян виновные, изменили Василию; второй оставил и Веру христианскую и жену (бывшую княгиню Шуйскую), чтобы служить царику тушинскому, то есть грабить и злодействовать. Жилище Самозванца, пышно именуемое дворцом, наполнялось лицемерами благоговения, российскими чиновниками и знатными ляхами (между коими унижался и посол Сигизмундов, Олесницкий, выпросив у бродяги в дар себе город Белую). Там бесстыдная Марина с своею поруганною красотою наружно величалась саном театральной царицы, но внутренне тосковала, не властвуя, как ей хотелось, а раболепствуя, и с трепетом завися от мужа-варвара, который даже отказывал ей и в средствах блистать пышностью; там вельможный отец ее лобызал руку беглого попovichа или жида, приняв от него новую владенную грамоту на Смоленск, еще не взятый, и Северскую землю, с обязательством выдать ему (Мнишку) 300 000 рублей из казны московской, еще незавоеванной. Там, упоенный счастьем, и господствуя над Россией от Десны до Чудского и Белого озера, Двины и моря Каспийского — ежедневно слыша о новых успехах мятежа, ежедневно видя новых подданных у ног своих — стесняя Москву, угрожаемую голодом и предательством — Самозванец терпеливо ждал последнего успеха: гибели Шуйского, в надежде скоро взять столицу и без кровопролития, как обещали ему легкомысленные переметчики, которые не хотели видеть в ней ни меча, ни пламени, имея там дома и семейства.

Миновало и возвратилось лето: Самозванец еще стоял в Тушине! Хотя в злодейских предприятиях всякое замедление опасно, и близкая цель требует не отдыха, а быстрейшего к ней стремления; хотя Лжедмитрий, слишком долго смотря на Москву, давал время узнавать и презирать себя, и с умножением сил вещественных лишался нравственной: но торжество злодея могло бы совершиться, если бы ляхи, виновники его счастья, не сделались виновниками и его гибели, невольно услужив нашему отечеству, как и во время первого Лжедмитрия. России издыхающей помог новый неприятель!

Доселе король Сигизмунд враждовал нам тайно, не снимая с себя личины мирной, и содействуя самозванцам только наемными дружинами или вольницею: настало время снять личину и действовать открыто.

[1609 г.] Соединив, уже неразрывно, судьбу Марины и мнимую честь свою с судьбою обманщика, боясь худого оборота в делах его и надеясь быть зятю полезнее в королевской Думе, нежели в тушинском стане, воевода Сендомирский (в январе 1609 года) уехал в Варшаву, так скоро, что не успел и благословить дочери, которая в письмах к нему жаловалась на сию холодность. Вслед за Мнишком, надлежало ехать и послам Лжедмитриевым, туда, где все с живейшим любопытством занималась нашими бедствиями, желая ими воспользоваться и для государственных и для частных выгод: ибо еще многие благородные ляхи, пылая страстию удалства и корысти, думали искать счастья в смятенной России. Уже друзья воеводы Сендомирского действовали ревностно на сейме, представляя, что торжество мнимого Дмитрия есть торжество Польши; что нужно довершить оное силами республики, дать корону бродяге и взять Смоленск, Северскую и другие, некогда литовские земли. Они хотели, чего хотел Мнишек: войны за Самозванца, и — если бы Сигизмунд, признав Лжедмитрия царем, усердно и заблаговременно помог ему как союзнику новым войском: то едва ли Москва, едва ли шесть или семь городов, еще

верных, устояли бы в сей буре общего мятежа и разрушения. Что сделалось бы тогда с Россиею, вторичною гнусною добычею самозванства и его пестунов? могла ли бы она еще восстать из сей бездны срама и быть, чем видим ее ныне? Так, судьба России зависела от политики Сигизмундовой; но Сигизмунд, к счастью, не имел духа Баториева: властолюбивый с малодушием и с умом недальновидным, он не вразумился в причины действий; не знал, что ляхи единственно под знаменами российскими могли терзать, унижать, топтать Россию, не своим геройством, а Димитриевым именем чудесно обезоруживая народ ее слепотствующий, — не знал, и политикою, грубостязательною, открыл ему глаза, воспламенил в нем искру великодушия, оживил, усилил старую ненависть к Литве и, сделав много зла России, дал ей спастись для ужасного, хотя и медленного возмездия ее врагам непримиримым.

Уверяют, что многие знатные россияне, в искренних разговорах с ляхами, изъявляли желание видеть на престоле московском юного Сигизмундова сына, Владислава, вместо обманщиков и бродяг, безрассудно покровительствуемых королем и вельможными панями; некоторые даже прибавляли, что сам Шуйский желает уступить ему царство. Искренно ли, и действительно ли так объяснялись россияне, неизвестно; но король верил и, в надежде приобрести Россию для сына или для себя, уже не доброхотствовал Лжедмитрию. Друзья королевские предложили сейму объявить войну царю Василию, за убиение мирных ляхов в Москве и за долговременную бесчестную неволю послов республики, Олесницкого и Госевского; доказывали, что Россия не только виновна, но и слаба; что война с нею не только справедлива, но и выгодна; говорили: «Шуйский зовет шведов, и если их вспоможением утвердит власть свою, то чего доброго ждать республике от союза двух врагов ее? Еще хуже, если шведы овладеют Москвою; не лучше, если она, утомленная бедствиями, покорится и султану или татарам. Должно предупредить опасность, и легко: 3000 ляхов в 1605 году дали бродяге Московское царство; ныне дружины вольницы угрожают Шуйскому пленом: можем ли бояться сопротивления?» Были однако ж сенаторы благоразумные, которые не восхищались мыслию о завоевании Москвы и думали, что республика едва ли не виновнее России, дозволив первому Лжедмитрию, вопреки миру, ополчаться в Галиции и в Литве на Годунова и не мешая ляхам участвовать в злодействах второго; что Польша, быв еще недавно жертвою междоусобия, не должна легкомысленно начинать войны с государством обширным и многолюдным; что в сем случае надлежит иметь четыре войска: два против Шуйского и мнимого Димитрия, два против шведов и собственных мятежников; что такие ополчения без тягостных налогов невозможны, а налоги опасны. Им ответствовали: «Богатая Россия будет наша» — и сейм исполнил желание короля: не взирая на перемирие, вновь заключенное в Москве, одобрил войну с Россиею, без всякого сношения с Лжедмитрием, к горести Мнишка, который, приехав в отечество, уже не мог ничего сделать для своего зятя и должен был удалиться от двора, где только сожалели о нем, и не без презрения.

Сигизмунд казался новым Баторием, с необыкновенною ревностью готовясь к походу; собирал войско, не имея денег для жалованья, но тем более обещая, в надежде, что кончит войну одною угрозою, и что Россия изнуренная встретит его не с мечом, а с венцом Мономаховым, как спасителя. Узнав толки злословия, которое приписывало ему намерение завоевать Москву и силами ее подавить вольность в республике — то есть, сделаться обоих государств самодержцем — король окружным письмом удостоверил сенаторов в нелепости сих разглашений, клялся не мыслить о личных выгодах, и действовать единственно для блага

республики; выехал из Кракова в июне месяце к войску и еще не знал, куда вести оное; в землю ли Северскую, где царствовало беззаконие под именем Димитрия, или к Смоленску, где еще царствовали закон и Василий, или прямо к Москве, чтобы истребить Лжедимитрия, отвлечь от него и ляхов и россиян, а после истребить и Шуйского, как советовал умный гетман Жолкевский? Сигизмунд колебался, медлил — и наконец пошел к Смоленску: ибо канцлер Лев Сапега и пан Госевский уверили короля, что сей город желает ему сдаться, желая избавиться от ненавистой власти Самозванца. Но в Смоленске начальствовал доблей Шеин!

Границы России были отверсты, сообщения прерваны, воины рассеяны, города и селения в пепле или в бунте, сердца в ужасе или в ожесточении, правительство в бессилии, царь в осаде и среди изменников... Но когда Сигизмунд, согласно с пользою своей державы, шел к нам за легкою добычею властолюбия, в то время бедствия России, достигнув крайности, уже являли признаки оборота и возможность спасения, рождая надежду, что Бог не оставляет государства, где многие или немногие граждане еще любят отечество и добродетель.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ВАСИЛИЕВА ЦАРСТВОВАНИЯ

Г. 1608-1610

Первое счастливое дело сего времени было под Коломною, где воеводы царские, князь Прозоровский и Сукин, разбили пана Хмелевского. Во втором деле оказалось мужество и счастье юного, еще неизвестного стратига, коему Провидение готовило благотворнейшую славу в мире: славу Героя — спасителя отечества. Князь Димитрий Михайлович Пожарский, происходя от Всеволода III и князей Стародубских, царедворец бесчиновный в Борисово время и стольник при расстриге, опасностями России вызванный на феатр кровопролития, должен был вторично защитить Коломну от нападения Литвы и наших изменников, шедших из Владимира. Пожарский не хотел ждать их: встретил в селе Высоцком, в тридцати верстах от Коломны, и на утренней заре незапным, сильным ударом изумил неприятеля; взял множество пленников, запасов и богатую казну, одержал победу с малым уроном, явив не только смелость, но и редкое искусство, в предвестие своего великого назначения.

Тогда же и в иных местах судьба начинала благоприятствовать царю. Мятежники мордва, черемисы и Лжедимитриевы шайки, ляхи, россияне с воеводою князем Вяземским осаждали Нижний Новгород: верные жители обрекли себя на смерть; простились с женами, детьми и единодушною вылазкою разбили осаждающих наголову: взяли Вяземского и немедленно повесили как изменника. Так добрые нижегородцы воспрянули к подвигам, коим надлежало увенчаться их бессмертною, святою для самых отдаленных веков утешительною славою в нашей истории. Они не удовольствовались своим избавлением, только временным: сведав, что боярин Федор Шереметев в исполнение Василиева указа оставил наконец Астрахань, идет к Казани, везде смиряет бунт, везде бьет и гонит шайки мятежников, нижегородцы выступили в поле, взяли Балахну и с ее жителей присягу в верности к Василию; обратили к закону и другие низовые города, воспламеняя в них ревность добродетельную. Восстали и жители Юрьевца, Гороховца, Луха, Ремшы, Холуя, и под начальством сотника красного, мещан Кувшинникова, Нагавицына, Денгина и крестьянина Лапши разбили неприятеля в Лухе и в селе Дунилове: ляхи и наши изменники с воеводою Федором Плещеевым, сподвижником Лисовского, бежали в Суздаль. Победители взяли многих недостойных дворян, отправили как пленников в Нижний Новгород и разорили их дома.

Москва осажденная не знала о сих важных происшествиях, но знала о других, еще важнейших. Не теряя надежды усювестить изменников, Василий писал к жителям городов северных, Галича, Ярославля, Костромы, Вологды, Устюга. «Несчастливые! Кому вы рабски целовали крест и служите? Злодею и злодеям, бродяге и ляхам! Уже видите их дела, и еще гнуснейшие увидите! Когда своим малодушием предадите им государство и церковь; когда падет Москва, а с нею и святое отечество и Святая Вера: то будете ответствовать уже не нам, а Богу... есть Бог мститель! В случае же раскаяния и новой верной службы, обещаем вам, чего у вас нет и на уме: милости, льготу, торговлю беспощинную на многие лета». Сии письма, доставляемые усердными слугами гражданам обольщенным, имели действие; всего же сильнее действовали наглость ляхов и неистовство российских клеветов Самозванца, которые, губя врагов, не щадили и друзей. Присяга Лжедимитрию не спасала от грабежа; а народ, лишась чести, тем более стоит за имяние. Земледельцы первые ополчились на

грабителей; встречали ляхов уже не с хлебом и солью, а при звуке набата, с дрекольем, копьями, секирами и ножами; убивали, топили в реках и кричали: «Вы опустошили наши житницы и хлевы: теперь питайтесь рыбою!» Примеру земледельцев следовали и города, от Романова до Перми: свергали с себя иго злодейства, изгоняли чиновников Лжедмитриевых. Люди слабые раскаялись; люди твердые ободрились, и между ими два человека прославились особенною ревностью: знаменитый гость, Петр Строганов, и немец греческого исповедания, богатый владелец Даниил Эйлоф. Первый не только удержал Соль-Вычегодскую, где находились его богатые заведения, в неизменном подданстве царю, но и другие города, пермские и казанские, жертвуя своим достоянием для ополчения граждан и крестьян; второго именуют главным виновником сего восстания, которое встревожило стан тушинский и Сапегин, замешало царство злодейское, отвлекло знатную часть сил неприятельских от Москвы и лавры. Паны Тишкевич и Лисовский выступили с полками усмирять мятеж, сожгли предместье Ярославля, Юрьевец, Кинешму: Зборовский и князь Григорий Шаховской Старицу. Жители противились мужественно в городах; делали в селениях остроги, в лесах засеки; не имели только единодушия, ни устройства. Изменники и ляхи побили их несколько тысяч в шестидесяти верстах от Ярославля, в селении Даниловском, и пылая злобою, все жгли и губили: жен, детей, старцев — и тем усиливали взаимное остервенение. Верные россияне также не знали ни жалости, ни человечества в мести, одерживая иногда верх в сшибках, убивали пленных; казнили воевод Самозванцевых, Застолпского, Нащокина и пана Мартиаса; немца Шмита, ярославского жителя, сварили в котле за то, что он, выехав к тамошним гражданам для переговоров, дерзнул склонять их к новой измене. Бедствия сего края, душегубство, пожары еще умножились, но уже знаменовали великодушное сопротивление злодейству, и вести о счастливой перемене, сквозь пламя и кровь, доходили до Москвы. Уже Василий писал благодарные грамоты к добрым северным россиянам; посылал к ним чиновников для образования войска; велел их дружинам идти в Ярославль, открыть сообщение с городами низовыми и с боярином Федором Шереметевым; наконец спешить к столице.

Но столица была феатром козней и мятежей. Там, где опасались не измены, а доносов на измену — где страшились мести ляхов и Самозванца более, нежели царя и закона — где власть верховная, ужасаясь явного и тайного множества злодеев, умышленным послаблением хотела, казалось, только продлить тень бытия своего и на час удалить гибель — там надлежало дивиться не смятению, а призраку тишины и спокойствия, когда государство едва существовало и Москва видела себя среди России в уединении, будучи отрезана, угрожаема всеми бедствиями долговременной осады, без надежды на избавление, без доверенности к правительству, без любви к царю: ибо москвитяне, некогда усердные к боярину Шуйскому, уже не любили в нем венценосца, приписывая государственные злополучия его неразумию или несчастью: обвинение равно важное в глазах народа! Еще какая-то невидимая сила, закон, совесть, нерешительность, разномыслие хранили Василия. Желали перемены; но кому отдать венец? в тайных прениях не соглашались. Самозванцем вообще гнушались; ляхов вообще ненавидели, и никто из вельмож не имел ни столько достоинств, ни столько клеветов, чтобы обещать себе державство. Дни текли, и Василий еще сидел на троне, измеряя взорами глубину бездны пред собою, мысля о средствах спасения, но готовый и погибнуть без малодушия. Уже блеснул луч надежды: оружие царское снова имело успехи; лавра стояла непоколебимо; восток и север России ополчились за Москву, — и в сие время крамольники дерзнули явно, решительно восстать на царя, боясь

ли упустить время? боясь ли, чтобы счастливая перемена обстоятельств не утвердила Василиева державства?

Известными начальниками кова были царедворец князь Роман Гагарин, воевода Григорий Сунбулов (прощенный изменник) и дворянин Тимофей Грязной: знатнейшие, вероятно, скрывались за ними до времени. 17 февраля вдруг сделалась тревога: заговорщики звали граждан на лобное место; силою привели туда и патриарха Ермогена; звали и всех думных бояр, торжественно предлагая им свести Василия с царства и доказывая, что он избран не Россиею, а только своими угодниками, обманом и насилием; что сие беззаконие произвело все распри и мятежи, междоусобие и самозванцев; что Шуйский и не царь, и не умеет быть царем, имея более тщеславия, нежели разума и способностей, нужных для успокоения державы в таком волнении. Не стыдились и клеветы грубой: обвиняли Василия даже в нетрезвости и распутстве. Они умолчали о преемнике Шуйского и мнимом Димитрии; не сказали, где взять царя нового, лучшего, и тем затруднили для себя удачу. Немногие из граждан и воинов соединились с ними; другие, подумав, ответствовали им хладнокровно: «Мы все были свидетелями Василиева избрания, добровольного, общего; все мы, и вы с нами, присягали ему как государю законному. Пороков его не ведаем. И кто дал вам право располагать царством без чинов государственных?» Ермоген, презирая угрозы, заклинал народ не участвовать в злодействе, и возвратился в Кремль. Синклит также остался верным, и только один муж думный, старый изменник, князь Василий Голицын — вероятно, тайный благоприятель сего кова — выехал к мятежникам на Красную площадь; все иные бояре, с негодованием выслушав предложение свергнуть царя и быть участниками беззаконного веча, с дружинами усердными окружили Шуйского. Не взирая на то, мятежники вломились в Кремль; но были побеждены без оружия. В час опасный, Василий снова явил себя неустрашимым: смело вышел к их сонму; стал им в лицо и сказал голосом твердым: «Чего хотите? Если убить меня, то я пред вами, и не боюсь смерти; но свергнуть меня с царства не можете без Думы земской. Да соберутся великие бояре и чины государственные, и в моем присутствии да решат судьбу отечества и мою собственную: их суд будет для меня законом, но не воля крамольников!» Дерзость злодейства обратилась в ужас: Гагарин, Сунбулов, Грязной и с ними 300 человек бежали; а вся Москва как бы снова избрала Шуйского в государи: столь живо было усердие к нему, столь сильно действие оказанного им мужества!

К несчастью, торжество закона и великодушия было недолговременно. Мятежники ушли в Тушино для того ли, что доброжелательствовали Самозванцу, или единственно для своего личного спасения, как в место безопаснейшее для злодеев? Их бегством Москва не очистилась от крамолы. Муж знатный, воевода Василий Бутурлин, донес царю, что боярин и дворецкий Крюк-Колычев есть изменник и тайно сносится с Лжедимитрием. Измены тогда не удивляли: Колычев, быв верен, мог сделаться предателем, подобно Юрию Трубецкому и столь многим другим, но мог быть и нагло оклеветан врагами личными. Его судили, пытали и казнили на лобном месте. Пытали и всех мнимых участников нового кова и наполняли ими темницы, обещая невинным, спокойным гражданам утвердить их безопасность искоренением мятежников.

Но зло иного рода уже начинало свирепствовать в столице. Лишаемая подвозов, она истощила свои запасы; имела сообщение с одною Коломною и того лишилась: ибо рать Лжедимитриева вторично осадила сей город. Предвидев недостаток, алчные корыстолюбцы скупили весь хлеб в Москве и в окрестностях и ежедневно возвышали его цену, так что

четверть ржи стоила наконец семь рублей, к ужасу людей бедных. Тщетно Василий желал умерить дороговизну неслыханную, уставлял цену справедливую и запрещал безбожную; купцы не слушались: скрывали свое изобилие и продавали тайно, кому и как хотели. Тщетно царь и патриарх надеялись разбудить совесть и жалость в людях: призывали вельмож, купцов, богачей в храм Успения, и пред алтарем Всевышнего заклинали быть человеколюбивыми: не торговать жизнью христиан и спустить цену хлеба; не скупать его в большом количестве и тем не отнимать у бедных. Лицемеры со слезами уверяли, что у них нет запасов, и бессовестно обманывали, думая единственно о своей выгоде, как и во время дороговизны 1603 года. Народ впадал в отчаяние. Кричали на улицах: «Мы гибнем от царя злосчастного; от него кровопролитие и голод!» Люди, уверенные в обмане мнимого Димитрия, уходили к нему единственно для того, чтобы не умереть в Москве без пищи; другие толпами врывались в Кремль и вопили пред дворцом: «Долго ли нам сидеть в осаде и ждать голодной смерти?» Они требовали избавления, победы и хлеба — или царя счастливейшего! Василий не скрывался от народа: выходил к нему с лицом спокойным, увещал и грозил; смирял дерзость страждущих, но только на время. Радея о бедных, он убедил троицкого келаря Аврамия отворить для них московские житницы его обители: цена хлеба вдруг упала от семи до двух рублей. Сих запасов не могло стать надолго; но вопль умолк в столице, и счастливая весть ободрила Москву.

Князь Гагарин, первый из мятежников, ушедших к Самозванцу, несмотря на крамольство, имел душу: увидел, узнал Лжедмитрия и явился к царю с раскаянием; принес ему свою виновную голову; сказал, что лучше хочет умереть на плахе, нежели служить бродяге гнусному — и был помилован Василием: выведенный к народу, Гагарин именем Божиим заклинал его не прельщаться Дьявольским обманом, не верить злодею тушинскому, орудию ляхов, желающего единственно гибели России и святой церкви. Сии убеждения произвели действие, и еще несравненно более, когда Гагарин объявил москвитянам, что стан тушинский в сильной тревоге; что Лжедмитрий и ляхи сведали о соединении шведов с россиянами; что князь Михаил Скопин-Шуйский ведет их к столице и побеждает. Удивление радости изменило лица печальные: все славили Бога; многие устыдились своего намерения бежать в Тушино; укрепились в верности — и с того дня уже никто не уходил к Самозванцу.

Гагарин сказал истину о тревоге злодеев тушинских. Опишем начало подвигов знаменитого юноши, который в бедственные времена родился счастливым, и коему надлежало бы только жить, чтобы спасти царя, ознаменованного Судьбою для злополучия. Мы видели, как Михаил Шуйский, во время величайшей опасности, с горестию удалился от войска, чтобы искать защитников России вне России: прибыв в Новгород, где начальствовали боярин князь Андрей Куракин и царедворец Татищев, он немедленно доставил королю шведскому грамоту Василиеву; писал к нему и сам, писал и к его воеводам, финляндскому и ливонскому, Арвиду Вильдману и графу Мансфельду, требуя вспоможения и представляя им, что ляхи воцарением Лжедмитрия хотят обратить силы России на Швецию для торжества латинской Веры, будучи побуждаемы к тому папою, иезуитами и королем испанским. Ничто не было естественнее союза между шведским и российским венценосцами, искренними друзьями от их общей ненависти к ляхам. Надлежало единственно удостоверить Карла, что шведы еще найдут и могут утвердить Василия на престоле: для чего князь Михаил, следуя своему наказу и внушению политики, таил от Карла ужасные обстоятельства России; говорил только о частных в ней мятежах, об измене

тысяч осьми или десяти россиян, которые вместе с пятью или шестью тысячами ляхов злодействуют близ Москвы. Требовалось немало времени для объяснений. Секретарь Мансфельдов виделся с князем Михаилом в Новгороде, а воевода Головин, шурин Скопина, поехал в Выборг, где знатные чиновники шведские ждали его, чтобы условиться в мерах вспоможения. Между тем князь Михаил, желая спасти Москву и царя не одною рукою иноплеменников, мыслил ополчить всю северо-западную Россию, и грамотою убедительною звал к себе псковитян, хваля их древнюю доблесть; но псковитяне, уже хвалясь злодейством, ответствовали ему угрозою — и самые новгородцы оказывали расположение столь подозрительное, что князь Михаил решился искать усердия или безопасности в ином месте; вышел из Новгорода с Татищевым, дьяком Телепневым и малочисленною дружиною верных, и требовал убежища в Иванегороде: там их не приняли, ни в Орешке, где воевода, предатель боярин Михаиле Салтыков, считая Лжедмитрия победителем, уже именовал себя его наместником. В то время, когда Михаил, оставленный и некоторыми из робких спутников, при устье Невы думал в печали, что делать? явились послы от Новгорода с молением, чтобы он возвратился к Святой Софии. Митрополит Исидор и достойные россияне одержали там верх над беззаконием и встретили князя Михаила как утешителя, в лице его приветствуя отечество и верность; искренно клялись умереть за царя Василия, как предки их умирали за Ярослава Великого, и сведав, что воевода Лжедмитриев, Керносицкий, с ляхами и россиянами идет от Тушина к берегам Ильменя, готовились выступить в поле. Древний Новгород, казалось, воскрес с своим великодушием; к несчастью, ревность достохвальная имела действие зловерное.

Татищев, известный мужеством, вызвался вести передовой отряд к Бронницам; но князю Михаилу донесли, что сей царедворец лукавый замышляет предательство. Извет был важен, а князь Шуйский молод и пылок: он созвал воинов и граждан, объявил им донос и хотел с ними торжественно судить, уличить или оправдать виновного. Вместо суда народ в исступлении ярости умертвил Татищева, не дав ему сказать ни единого слова, к горести Михаила, увидевшего поздно, что народ, в кипении страстей, может быть скорее палачом, нежели судиею. Татищева, едва ли виновного, схоронили с честью в обители Св. Антония, и многие дворяне, вероятно устрешенные его судьбою, бежали из города, даже к неприятелю, который шел вперед невозбранно, занял Хутынский и другие окрестные монастыри, жег, грабил — и вдруг скрылся, услышав от пленников, что сильное войско вступило в село Грузино и спешит на помощь к Новугороду. Пленники обманули неприятеля: мнимое войско состояло единственно из тысячи областных жителей, ополченных дворянами Горихвостовым и Рязановым в Тихвине и за Онегою. Сии добрые россияне, будучи в шесть раз слабее Керносицкого, имели счастье без кровопролития избавить Новгород, где князь Михаил с нетерпением ждал вестей от Головина.

Вести были благоприятны. Король шведский словом и делом доказал свою искренность. Еще генералы его, Бое и Вильдман, не успели заключить договора с Головиным и дьяком Зиновьевым, а войско королевское уже стояло под знаменами в Финляндии. С обеих сторон не хотели тратить времени и 28 февраля подписали в Выборге следующие условия: «1) Мирный договор 1595 года возобновляется между Россиею и Швециею на веки веков. 2) Первой не вступаться в Ливонию. 3) Карл дает Василию 2000 конных и 3000 пеших ратников, а Василий 100 000 ефимков в месяц на их жалованье. 4) Сие войско в полном распоряжении князя Михаила Шуйского; должно занимать города единственно именем царским, и не может выводить пленников из России, кроме ляхов. 5) Съестные припасы

будут ему доставляемы по цене умеренной. 6) Царь взаимно обязывается помогать королю войском на Сигизмунда в Ливонии, куда открыт путь шведам из Финляндии чрез российские владения. 7) Ни та, ни другая держава без общего согласия не вольна мириться с Сигизмундом. 8) Царь, в знак признательности, уступает Швеции Кексгольм в вечное владение, но тайно до времени: ибо сия уступка может произвести сильное неудовольствие между россиянами. 9) Князь Михаил Шуйский дарит шведскому войску 5000 рублей не в счет определенного жалованья. — Сия грамота будет утверждена в Новгороде им, князем Шуйским, воеводою, боярином и ближним, приятелем царским, а в Москве самим царем».

26 марта уже вступил в Россию полководец шведский, Иаков Делагарди, сын Понтусов, юный, двадцатисемилетний витязь, ученик и сподвижник славного Морица Нассавского в долговременном кровопролитном борении за свободу Голландской республики. На границе встретил союзников воевода Ододуров, высланный князем Михаилом, и 2300 россиян, которые в первый раз увидели себя под одними знаменами с шведами и наемниками их, французами, англичанами, шотландцами, немцами и нидерландцами. Сии 5000 разноземцев, большею частию людей без отечества и нравственности, исполненных любви не к ратной чести, а к низкой корысти, шли спасать преемника монархов, ославленных в Европе и в Азии несметными их силами! Союзникам указали стан близ Новагорода, куда звали Делагарди и генералов его для свидания с князем Шуйским...

Там сии два полководца, оба юные, приветствовали друг друга с ласкою, с уважением взаимным. «Князь Михаил, — пишет современный шведский историк, — имел 23 года от рождения, прекрасную душу, ум не по летам зрелый, наружность, осанку приятную, искусство в битвах и в обхождении с иноземным войском. Делагарди сказал ему, что королю известны все ухищрения ляхов; что он прислал рать и готовит еще сильнейшую для вспоможения России, желая благоденствия царю и народу ее, а врагам их желая гибели. Князь Михаил, кланяясь, опустил руку до земли; изъявлял благодарность; уверял, что Россия усердна к царю и волнуема только малым числом изменников, коих легко одолеть единодушным действием союзников! Рассуждали, как действовать и с чего начать. Делагарди требовал вперед жалованья войску: князь Шуйский обещал немедленно выдать 8000 рублей, 5000 деньгами и 3000 соболями; утвердил (4 апреля) Выборгский договор и сам проводил Делагарди до ворот крепости».

Грязи и разлитие рек мешали походу. Шведский военачальник хотел ждать просухи, и для безопасного сообщения с Ливониею и Финляндиею, заняться прежде всего осадю Копорья, Иванягорода и Ямы, где царствовала измена: князь Михаил имел другую мысль. Еще до прибытия шведов воевода Осинин ходил из Новагорода с детьми боярскими и козаками к мятежному Пскову, разбил тамошних злодеев в поле и надеялся взять город; но Скопин велел ему возвратиться, чтобы не тратить времени в предприятиях частных, и склонил Делагарди немедленно идти к Москве. Воевода Чулков и шведский генерал Эверт Горн вступили в Русу, гнали изменников и ляхов до уезда Торопецкого, одержали (25 апреля) победу над Керносицким в селе Каменках, взяли 9 пушек, знамена и пленников. Порхов, Торопец сдались мирно — и Торжок другому воеводе, Чоглокову. Узнав, что пан Зборовский и князь Григорий Шаховской с тремя тысячами изменников и ляхов идут из Твери на Чоглокова, князь Михаил отрядил туда Головина и Горна: имея не более двух тысяч воинов, они сразились с неприятелем; Чоглоков сделал вылазку, и Зборовский, после дела кровопролитного, отступил к Твери.

Сам князь Михаил, отпев молебен в Софийском храме, исполненном древних

знаменитых воспоминаний, вывел (10 мая) главную рать. Новгород, некогда великий, столь многолюдный и воинственный, дал ему все, что мог: тысячи две подвижников неопытных! Но войско российское усилилось в Торжке (24 июня) новыми дружинами: князь Борятинский, воевода усердный и мужественный, привел туда 3000 детей боярских и земледельцев из Смоленских уездов, смилив на пути Дорогобуж и Вязьму. Союзники спешили к Твери; там засели Зборовский и Керносицкий, быв подкреплены тушинским войском. Ляхи и российские изменники вышли из города и сразились мужественно, во время сильного дождя, который препятствовал действию пальбы: неприятель, ударив с копьями на левое крыло шведов, обратил французов в бегство: немцы, финляндцы, россияне также дали тыл, — и хотя правое крыло, где начальствовал Делагарди, имело выгоду и втеснило ляхов в город; хотя сам воевода Зборовский раненый едва спасся от плена; но союзники отступили. Дождь лил целые сутки. В следующую ночь, когда ляхи беспечно спали в Остроге, князь Михаил тихо приблизился, напал и взял его без урона: восходящее солнце осветило там царские хоругви и кучи неприятельских тел. Юный полководец российский обнял Делагарди с живейшим чувством признательности за мужество шведов, которые хотели вломиться и в город, где остальные изменники и ляхи заключились; но князь Михаил, жалея людей, велел прекратить сечу кровопролитную и не нужную: ибо угадывал, что неприятель, уже слабый, или мирно сдастся на договор или бежит. Через несколько часов действительно ляхи и клеветы их ушли из Твери, до половины сожженной и наполненной трупами. Таким образом, князь Михаил в два месяца очистил все места от новгородских до московских пределов; думал скоро освободить и Москву, надеясь на ужас неприятелей и содействие войска царского. Доселе он мог быть доволен шведами. Карл IX писал к нашему духовенству, боярам, дворянам и купцам, что он готов всеми силами действовать для защиты их древней греческой Веры, вольности и льготы, — для истребления польской сволочи и бродяг, жалуемых ею в цари с умыслом изгубить знатнейшие роды, цвет и славу нашего отечества. Делагарди уклонялся от всякого сношения с ляхами, и в ответ на дружелюбную, лукавую грамоту Зборовского, писанную из Твери (11 июня) к шведским генералам о правах мнимого Димитрия, сказал: «мое дело воевать, а не рассуждать с вами о Димитриях». Тщетно и лазутчики Зборовского старались возмутить союзное войско: их ловили и казнили. Но чего не произвело обольщение, то произвела буйность. Оставив Тверь и шведов позади себя, князь Михаил шел к столице и сведал в Городне, что союзники идут не за ним, а назад к Новгороду! Сия неожиданная измена была следствием мятежа. Выступив из Твери, финляндцы первые объявили своему генералу, что не хотят идти в глубину России на верную гибель; что им не выдано полного жалованья; что вероломство московского народа всем известно; что жены и дети их без защиты дома. Французы, немцы, наконец и шведы также взволновались; не слушались генералов; бросили знамена. Делагарди обнажил меч, грозил — и должен был уступить мятежникам, чтобы не остаться военачальником без войска: он сам повел их к шведской границе, для прикрытия бунта жалуюсь, что россияне не исполняют договора: не сдают Кексгольма и не платят обещанных денег. Изумленный князь Михаил спешил удержать союзников нужных, хотя и ненадежных, и послал к ним Ододурова с убеждением не изменять чести, не срамить имени шведского, не выдавать друзей, в то время, когда неприятель, более раздраженный, нежели ослабленный, готовится к решительному делу. Сии представления и серебро, врученное наемникам корыстолюбивым, их усовестили: генерал Зоме с частью пехоты и конницы возвратился к князю Михаилу накануне величайшей для него опасности и славы. Здесь

подвиги юного героя уже связуются с происшествиями знаменитой Троицкой осады.

Еще Сапега стоял под лаврою: рассылал отряды, занимал или жег города, обуздывал или карал жителей, мешал сообщению Москвы с Востоком и Севером России и подкреплял Зборовского, чтобы отразить шведов. Между тем слух о движениях Скопина и Шереметева уже достиг лавры: защитники ее ждали следствий, надеялись и вдруг увидели необычайное волнение в неприятельском стане: Зборовский прибежал туда с остатком рассеянного войска и с вестью, что Тверь уже взята союзниками; прибежали и многие изменники, дворяне, дети боярские, которые изменою хотели единственно избавить свои поместья от грабежа, не думая служить царику тушинскому, и до того времени жили в них спокойно, но не дерзнули ждать князя Михаила. Все отряды возвратились к Сапеге: Лжедмитрий усилил его и часть тушинской рати, велел ему идти против Скопина и шведов. Ляхи, как обыкновенно, готовились к битве шумными играми, пили, веселились и дали знать троицкому воеводе Долгорукому, что они торжествуют победы: что шведы истреблены, а Скопин и Шереметев сдались. Их не слушали. Тогда подъехали к стенам два человека, некогда знаменитые на степени мужей государственных: боярин Салтыков (изгнанный из Орешка успехами князя Михаила) и думный дьяк Грамотин: оба уверяли, что междоусобная война уже прекратилась в России; что Москва встречает Дмитрия, и Шуйский с синклитом в его руках. Клевреты их, дворяне изменники, утверждали то же, прибавляя: «Не мы ли были с Шереметевым, а теперь служим Дмитрию? Кого еще ждете? Все у ног Иоаннова сына — и если одни будете противиться, то немедленно увидите здесь царя гневного со всем литовским войском, Скопиным и Шереметевым, для казни вашего послушания». Им ответствовали единогласно люди умные и простые (как говорит летописец): «Всевышний с нами, и никого не боимся. Хотите ли, чтобы мы вам верили? Скажите, что князь Михаил под Тверию телами литовскими и вашими сравнял Волгу с берегами и наплат зверей плотоядных: не усомнимся и восхвалим Бога! Ложь не победа: идти с мечом на меч и Господь рассудит виновного с правым!» Так еще мужались сии Герои верности, числом уже не более двухсот. Сапега не мог медлить, однако ж дозволил Зборовскому с его дружинами еще приступить к стенам обители, которую сей гордый лях, шутя над ним и Лисовским, уподоблял и гнезду ворон. Зборовский приступил ночью, стрелял, убил одну женщину на стене, и ничего более не сделав, удалился. Вероятно, что неприятель хотел в сию ночь не взять, а только устрашить лавру для своей безопасности: Сапега спешил к берегам Волги, вверив obleжание монастыря и хранение стана козакам, российским изменникам и немногим ляхам.

Не зная, что делается в Москве, но зная, что вся Россия полунощная, от Углича до Белого моря и Перми, уже снова верна царю, князь Михаил, исполненный надежды, но тем более осторожный, послал, для вестей к столице, чиновника Безобразова, а сам, не дерзая идти вперед с малыми силами, двинулся влево по течению Волги, к монастырю Колязину, для удобного сообщения с Ярославлем, богатым и многолюдным. Туда прибыл к нему царский дворянин Волуев, умертвитель Отрепьева, сказывая, что Москва цела и Василий еще державствует. Царь писал к Михаилу: «Слышим о твоём великом радении, и славим Бога. Когда ужасом или победою избавишь государство, то какой хвалы сподобишься от нас и добрых россиян! какого веселия исполнишь сердца их! Имя твоё и дело будут памятны во веки веков не только в нашей, но и во всех державах окрестных. А мы на тебя надежны, как на свою душу». — За вестью радостною следовала другая: Сапега, Зборовский, Лисовский и Лжедмитриев атаман Заруцкий находились уже близ Колязина, в селе Пирогове. Имея

едва ли тысяч десять собственных воинов и не более тысячи шведов, приведенных к нему генералом Зоме, князь Михаил решился однако ж встретить неприятеля, хотя и гораздо сильнейшего. Передовые рати сошлись на топких берегах Жабны: чиновники Головин, Борятинский, Волуев и Жеребцов отличились мужеством; втоптали неприятеля в болота и дали время князю Михаилу изготвиться, занять места выгодные, распорядить движения. Сапега напал стремительно, с громким воплем: россияне и шведы стояли твердо и сами нападали, где слабел неприятель. Пальба и сеча продолжались несколько часов. На закате солнца верные россияне, призывая имя Св. Макария Колязинского, двинулись вперед так дружно и сильно, что утомленные ляхи не могли удержать места битвы; их теснили до Рябова монастыря, и князь Михаил вступил в Колязин с пленниками и трофеями, не хваляся победою, но хваля единодушную доблесть своих и шведов, в надежде на успехи будущие и важнейшие. Он не гнал ляхов и не мешал им возвратиться к постыдной для них осаде Троицкой, готовясь быть избавителем и лавры и Москвы — и России, если бы Небо оставило ей сего Героя-юношу!

Там, на берегу Волги, в пустынных келиях Св. Макария, князь Михаил, оглашаемый церковным пением иноков и звуком труб воинских как Гений отечества, неусыпно бодрствовал день и ночь для спасения царства; сносился с городами северными, принимал от них дары, казну и воинов; поручил генералу Зоме устройство дружин, образование людей неопытных в ратном деле, и нетерпеливо ждал всех шведов для дальнейших предприятий. Но Деллагарди, увлеченный новым бунтом войска, опять шел к границе: послы Скопина настигли его в Крестцах; заплатили ему 6000 рублей деньгами, 5000 рублей соболями, и князь Михаил взял на себя, без утверждения царского, отдать Кексгольм шведам. В сих переговорах миновало недель шесть: Деллагарди пошел наконец к Колязину, где князь Михаил, не тревожимый изменниками и ляхами, усиливался ежедневно.

Видя пред собою Москву неодолимую, вокруг себя города уже неприятельские, пепелища, леса, пустыни, в коих изгнанные жители, воспламененные злобою, стерегли, истребляли ляхов малочисленных в их разъездах — будучи с севера угрожаем князем Михаилом, с востока Шереметевым, Лжедмитрий еще мыслил одним ударом кончить войну; взять силою, чего долго и тщетно ждал от измены и голода: взять Москву вместе с царем и царством. В сей надежде утвердил его пан Бобовский, который, прибыв к нему тогда из Литвы с дружиною удальцов, винил Рожинского в слабости духа, уверяя, что Москва спасается единственно бездействием тушинского войска и неминуемо падет от первого дружного приступа. Лжедмитрий дал ему несколько полков: хваляся наперед делом славным, Бобовский устремился к городу; но царские воеводы не допустили его и до предместия: вышли, напали, разбили — и Москва торжествовала свою первую блестящую победу; а скоро и вторую, еще важнейшую, над всею тушинскою силою. Сам Лжедмитрий, гетман Рожинский, атаман Заруцкий, все знатные изменники и бояре вели дружины на приступ (в день Троицы), и хотели сжечь деревянный город; но Василий успел выслать войско с князем Дмитрием Шуйским. Неприятель быстрым движением вломился в средину царских полков, смял конницу и замешал пехоту: тут с одной стороны воевода князь Иван Куракин, с другой князь Андрей Голицын и Борис Лыков, уже известные достоинствами ратными, напали на изменников и ляхов. Зачался бой, в коем, по уверению летописца, московские воины превзошли себя в блестящем мужестве, сражаясь, как еще не сражались дотоле с тушинскими злодеями; одолели, гнали их до Ходынки и взяли 700 пленников. Ужас неприятеля был так велик, что беглецы не удержались бы и в Тушине, если бы победители,

слишком умеренные, не остановились на Ходынке. Одним словом, москвитяне сами дивились своей храбрости, вселенной в них счастливыми вестями о восстании северной России, об успехах князя Михаила и войска низового, коего чиновник, дворянин Соловой, прибыл тогда к царю с донесением Шереметева. Сей боярин везде истреблял неприятеля и власть Лжедмитрия от Казани до Нижнего Новагорода; близ Юрьевца побил наголову Лисовского, отряженного Сапегою для усмирения Костромской области; мирно вступил в Муром и, взяв Касимов, освободил там многих верных россиян, заключенных изменниками. Довольный его службою, но не довольный медленностию, царь послал к нему князя Прозоровского с милостивым словом и с указом спешить к Москве. В то же время древняя столица Боголюбского обратилась к закону: жители Владимира снова присягнули царю — все, кроме воеводы Вельяминова, ревностного слуги Лжедмитриева. Народ велел ему исповедаться в церкви, вывел его на площадь, объявил врагом государства, убил камнем и с живейшим усердием принял воевод царских.

Уже без легкомыслия можно было предаваться надежде. Царство обмана падало: царство закона восстанавливалось. Образовались полки верных — стремились к одной цели, к Москве, почти освобожденной двумя важными успехами собственного оружия. Народ опомнился и радостными кликами приветствовал знамена любезного отечества и Святой Веры. Ждали только соединения сил, чтобы дружно наступить на гнездо злодейства, столь долго ужасное Тушино... и вдруг едва не впали в новое отчаяние!

Как изменники и ляхи в явном омрачении ума давали князю Михаилу спокойно готовить им гибель, так войско московское, худо веря своим победам, дало отдохнуть Самозванцу разбитому. Он усилился новыми толпами Козаков, вышедших из Астрахани с тремя мнимыми царевичами: Августом, Осиновиком и Лавром; первый назывался сыном, второй и третий внуками Иоанна Грозного. «Злодеи рабского племени, — говорит летописец, — холопы, крестьяне, считая Россию привольем наглых обманщиков, являлись один за другим под именем царевичей, даже небывалых, и надеялись властвовать в ней как союзники и ближние тушинского злодея». Но сами козаки, отбитые от верного Суратова воеводою Замятнею Сабуровым, с досады умертвили Осиновика на берегу Волги: Августа и Лавра велел повесить Лжедмитрий на московской дороге, чтобы их казнию засвидетельствовать свое небратство с ними. В опасностях не теряя дерзости — еще имея тысяч шестьдесят или более сподвижников — еще властвуя над знатною частию России южной и западной, от Тушина до Астрахани, пределов крымских и литовских — Самозванец тревожил нападениями слободы московские, перехватывал обозы на дорогах, теснил Коломну. Воевода его, лях Млоцкий, побил рязанцев, хотевших освободить сей город, им осажденный; а Лисовский, всегда храбрый, не всегда счастливый, загладил свои неудачи важным успехом. Винимый царем в медленности, Шереметев спешил из Владимира к Суздалью, еще неприятельскому, и стал на равнинах, где Лисовский ударом конницы смял всю его многочисленную, худо устроенную пехоту. Легло немалое число низовых жителей в битве кровопролитной и беспорядочной; с остальными Шереметев бежал к Владимиру. Москва узнала о том и смутилась. Народ уже не хотел верить и победам князя Михаила. В сие время голод снова усилился. Житницы Авраимевы истожились, и четверть хлеба опять возвысилась ценою от двух до семи рублей. Чернь бунтовала; с шумом стремилась в Кремль; осаждала дворец; кричала: «Хлеба! хлеба! или да здравствует Тушинский!»... Но в час величайшего волнения явился Безобразов с дружиною: сквозь разъезды неприятельские он благополучно достиг Москвы и вручил царю письмо от князя Михаила; а царь велел читать

оное всенародно, при звуке колоколов и пении благодарственного молебна во всех церквях. Князь Михаил писал, что Бог ему помогает. Исчезло отчаяние, сомнения и мятеж. Надежда на скорое избавление уменьшила и дороговизну с голодом. Новые вести еще более обрадовали Москву.

Ожидая Делагарди, князь Михаил хотел выгнать неприятеля из Переславля Залесского, чтобы беспрепятственно сноситься с Шереметевым и низовыми областями. Головин, Волуев и Зоме (1 сентября) ночью взяли сей город, убив 500 человек и пленив 150 шляхтичей Сапегиной рати. 16 сентября пришел наконец и Делагарди. Казна, доставленная Скопину усердием городов, дала ему средство удовлетворить вполне корыстолюбию шведов: им заплатили 15 000 рублей мехами и тем оживили их ревность. Полководцы, оба юные и пылкие духом, служили примером искреннего братства для воинов. 26 сентября князь Михаил и Делагарди двинулись вперед; оставили в Переславле сильную дружину и шли далее на юг; встретили, гнали малочисленных ляхов и заняли Александровскую Слободу, прославленную Иоанном. Там все еще напоминало его время; дворец, пять богатых храмов, чистые пруды, глубокие рвы и высокие стены, где Грозный искал безопасного убежища от России и совести. Место ужасов обратилось в место надежды и спасения. Там Михаил остановился; велел немедленно делать новые деревянные укрепления, выслал разъезды на дороги, открыл сообщение с Москвою и ежедневно писал к царю, чтобы условиться с ним в дальнейших действиях. Москва ожила изобилием. Уже с трех сторон везли к ней запасы: из Переславля, Владимира и Коломны: ибо лях Млодкий, сведав о вступлении союзников в Александровскую Слободу, удалился к Серпухову. Уже князь Михаил имел 18 000 воинов, кроме шведов; но зная, что к нему идут новые дружины из городов северных, хотел до времени только отражать неприятеля.

Между тем изнуренная лавра, все еще осаждаемая Сапегою, простирала руки к избавителю. Горсть ее неутомимых воителей еще уменьшилась в новых делах кровопролитных, хотя и счастливых. Узнав о Колязинской победе, они торжествовали ее дерзкими вылазками, били изменников и ляхов, отнимали у них запасы и стада. Князь Михаил дал чиновнику Жеребцову 900 воинов и велел силою или хитростию проникнуть в лавру: Жеребцов обманул неприятеля и, к радости ее защитников, без боя соединился с ними.

Тогда, встревоженный близостию князя Михаила и шведов, Сапега (18 октября) с 4000 ляхов вышел из Троицкого стана, чтобы узнать их силу; встретил передовую дружину россиян в селе Коринском и гнал ее до укреплений слободы. Тут было жаркое дело. Начали шведы, кончили россияне: Сапега уступил, если не мужеству, то числу превосходному — и возвратился к своей бесконечной осаде, как бы все еще надеясь взять лавру! Но он сам находился уже едва не в осаде: разъезды, высылаемые князем Михаилом из слободы, Шереметевым из Владимира и царем из Москвы, прерывали сообщения изменников и ляхов между лаврою и Тушиным; не пускали к ним ни гонцов, ни хлеба, портили дороги, делали засеки. К счастью князя Михаила, главные вожди польские, гетман Рожинский и Сапега, оба гордые, властолюбивые, не могли быть единомышленными: видя его опасное наступление, съехались для совета и расстались в жаркой ссоре, чтобы действовать независимо друг от друга: гетман ускакал назад в Тушино, а Сапега возобновил бесполезные приступы к лавре, почти на глазах князя Михаила, коего войско умножалось.

Уже Слобода Александровская как бы представляла Россию и затмевала Москву своею важностию. Туда стремились взоры и сердца сынов отечества; туда и воины, толпами и

порознь, конные и пешие, не многие в доспехах, все с мечом или копием и с ревностию. Новые дружины из Ярославля, боярин Шереметев из Владимира с низовою ратию, князья Иван Куракин и Лыков из Москвы с полками царскими присоединились к князю Михаилу. Ждали и сильнейшего вспоможения от Карла IX: Делагарди писал к нему, что должно победить Сигизмунда не в Ливонии, а в России. Все благоприятствовало юному Герою: доверенность царя и союзников, усердие и единокровие своих, смятение и раздор неприятелей. Наконец россияне видели, чего уже давно не видали: ум, мужество, добродетель и счастье в одном лице; видели мужа великого в прекрасном юноше и славили его с любовью, которая столь долго была жаждою, потребностью неудовлетворяемою их сердца, и нашла предмет столь чистый. Но сия любовь, способствуя успеху великого дела, избавлению отечества, имела и несчастное следствие.

Князь Михаил служил царю и царству по закону и совести, без всяких намерений властолюбия, в невинной, смиренной душе едва ли пленяясь и славою: не так мыслили за него другие, уже с бедственным навыком к переменам, низвержениям и беззакониям. Многим казалось, что если Бог восстановит Россию, то она в награду за свои великодушные усилия должна иметь царя лучшего, не Василия, который предал государство разбойникам, сравнивал Москву с Тушиным и едва, на главе слабой, удерживает венец, срываемый с него буйною чернию; а мысль о новом царе была мыслию о князе Михаиле — и человек, сильный духом, дерзнул всенародно изъявить оную. Тот, кто господством ума своего решил судьбу первого бунта, способствовал успехам и гибели опасного Болотникова, изменил Василию и загладил измену важными услугами, — не только не пристал ко второму Лжедмитрию, но и не дал ему Рязани — думный дворянин Ляпунов вдруг, и торжественно, именем России, предложил царство Скопину, называя его в льстивом письме единым достойным венца, а Василия осыпая укоризнами. Сию грамоту вручили князю Михаилу послы рязанские: не дочитав, он изодрал ее, велел схватить их как мятежников и представить царю. Послы упали на колени, обливались слезами, винули одного Ляпунова, клялися в верности к Василию. Еще более милосердый, нежели строгий, князь Михаил дозволил им мирно возвратиться в Рязань, надеясь, может быть, образумить ее дерзкого воеводу и сохранить в нем знаменитого слугу для отечества. Он сохранил Ляпунова, но не спас себя от клеветы: сказали Василию, что Скопин с удивительным великодушием милует злодеев, которые предлагают ему измену и царство. Подозрение гибельное уязвило Василиево сердце; но еще имели нужду в Герое, и злоба таилась.

Еще, не взирая на близость спасения, Москва тревожилась некоторыми удачами и дерзостию неприятеля. Млоцкий в набегах своих из Серпухова грабил обозы между Коломною и столицею. Там же явились многочисленные толпы разбойников с атаманом Салковым, хатунским крестьянином; присоединились к Млоцкому и побили воеводу, князя Литвинова-Мосальского, высланного царем очистить Коломенскую дорогу; а на Слободской злодействовал изменник князь Петр Урусов с шайками татар юртовских. Цена хлеба снова возвысилась в Москве; открылась даже и нечаянная измена. Царский атаман Гороховый, будучи с козаками и детьми боярскими в Красном селе на страже, ночью впустил в него отряд Лжедмитриев: верные дети боярские имели время спастись, а козаки передались к Самозванцу, выжгли Красное село и бежали в Тушино. В другую ночь такие же изменники подвели неприятеля, выше Неглинной, к деревянному городу и зажгли стены; но москвитяне, отбив злодеев, утушили огонь. Между тем разбойник Салков в пятнадцати верстах от столицы одержал верх над воеводою московским Сукиным, и занял

Владимирскую дорогу. Надлежало избрать лучшего стратега, чтобы одолеть сего второго Хлопка: выступил князь Дмитрий Пожарский, уже знаменитый, — встретил на берегах Пехорки и совершенно истребил его злую шайку; осталось только тридцать человек, которые, вместе с их атаманом, дерзнули явиться в Москве с повинною! Другие отряды царские прогнали Млоцкого к Можайску. — Из Слободы князя Лыков и Борятинский с россиянами и шведами ходили к Суздалью и думали взять его незапно, в темную ночь: там бодрствовал Лисовский и встретил их неустрашимо: они уклонились от битвы.

В то время, когда князь Михаил, умножая, образуя войско и щитом своим уже прикрывая вместе и лавру и столицу, готовился действовать наступательно — когда Москва, долго отлученная от России, снова соединялась с нею, как глава с телом, видя вокруг себя уже немногие города под знаменами Лжедмитрия — в то время новый неприятель, не с шайками бродяг и разбойников, но с войском стройным, с предводителями искусными, с силами целой, знаменитой державы, находился в недрах России и делал, что ему угодно, как бы не возбуждая ни малейшего внимания ни в Москве, ни в стане Александровском!.. Обращаемся к Сигизмунду. Василий не противился его вступлению в наше княжество Смоленское, ибо не имел сил противиться: оказалось, что сие вероломное нападение было для Василия лучшим средством избавиться от врага опаснейшего и ближайшего.

Веря слухам, что жители Смоленска нетерпеливо ждут Сигизмунда как избавителя, он (в сентябре месяце) подступил к сей древней столице княжества Мономахова с двенадцатью тысячами отборных всадников, пехотою немецкою, литовскими татарами и десятью тысячами Козаков запорожских; расположился станом на берегу Днепра, между монастырями Троицким, Спасским, Борисоглебским, и послал универсал, или манифест, к гражданам, объявляя, что Бог казнит Россию за Годунова и других властолюбцев, которые незаконно в ней царствовали и царствуют, воспалая междоусобие и призывая иноплеменников терзать ее недра; что шведы хотят овладеть Московским государством, истребить Веру православную и дать нам свою ложную; что многие россияне тайными письмами убеждали его (Сигизмунда), венценосца истинно христианского, брата и союзника их царей законных, спасти отечество и церковь; что он, движимый любовью, единственно снисходя к такому слезному молению, идет с войском и с помощью Богоматери избавить Россию от всех неприятелей; что жители Смоленска в знак душевной радости, должны встретить его с хлебом и солью. За мирное подданство Сигизмунд обещал им новые права и милости; за упрямство грозил огнем и мечом. На сию пышную грамоту ответствовали словесно воеводы, боярин Шеин и князь Горчаков, архиепископ Сергей, люди служивые и народ: «Мы в храме Богоматери дали обет не изменять государю нашему, Василию Иоанновичу, а тебе, литовскому королю, и твоим панам не раболепствовать во веки». Послав Сигизмундову грамоту в Москву, они писали к царю: «Не оставь сирот твоих в крайности. Людей ратных у нас мало.

Жители уездные не хотели к нам присоединиться: ибо король обманывает их вольностию; но мы будем стоять усердно». Воеводы советовались с дворянами и гражданами; выжгли посады и слободы; заключились в крепости и выдержали осаду, если не знаменитейшую Псковской или Троицкой, то еще долговременнейшую и равно блистательную в летописях нашей воинской славы.

Видя, что Смоленск надобно взять не красноречием, а силою, король велел громить стены пушками; но ядра или не достигали вершины косогора, где стоит крепость, или безвредно падали к подножию ее высоких, твердых башен, воздвигнутых Годуновым; а пальба осажденных, гораздо действительнейшая, выгнала ляхов из монастыря Спасского. Зная, вероятно, что в крепости более жен и детей, нежели воинов, Сигизмунд решился на приступ: 23 сентября, за два часа до света, ляхи подкрались к стене и разбили петардою Аврамовские ворота, но не могли вломиться в крепость. 26 сентября, также ночью, взяли острог Пятницкого конца; а в следующую ночь всеми силами приступили к Большим воротам: тут было дело кровопролитное, счастливое для осажденных, и неприятель, везде отбитый, с того времени уже не выходил из стана; только стрелял день и ночь в город, напрасно желая проломить стену, и вел подкопы бесполезные: ибо россияне, имея слухи, или ходы в глубине земли, всегда узнавали место сей тайной работы, сами делали подкопы и взрывали неприятельские с людьми на воздух. Историки польские отдают справедливость мужеству и разуму Шеина, также и блестящей смелости его сподвижников, сказывая, что однажды, среди белого дня, шесть воинов смоленских приплыли в лодке к стану маршала Дорогостайского, схватили знамя литовское и возвратились с ним в крепость. — Наступила зима. Сигизмунд, упрямством подобный Баторию, хотел непременно завоевать Смоленск; терял время и людей в праздной осаде, и думая свергнуть Шуйского, губил Самозванца!

Весть о вступлении Сигизмундовом в Россию встревожила не столько Москву, сколько Тушино, где скоро узнали, что шайки запорожцев, служа королю, берут города его именем, и

что Путивль, Чернигов, Брянск, вместе с иными областями Северскими, волею или неволею ему покорились, изменив Лжедмитрию. «Чего хочет Сигизмунд? — говорили тушинские и Сапегины ляхи с негодованием: — лишить нас славы и возмездия за труды; взять даром, что мы в два года приобрели своею кровию и победами! Северская земля есть наша собственность: из ее доходов Димитрий обещал платить нам жалованье — и кто же в ней теперь властвует? новые пришельцы, богатые грабежом; а мы остаемся в бедности, с одними ранами!» Так говорили чиновники и дворяне: воеводы же главные негодовали еще сильнее; лишаясь надежды разделить с Лжедмитрием все богатства державы Российской и привыкнув видеть в нем не властителя, а клеветра, не могли спокойно воображать себя под знаменами республики наравне с другими воеводами королевскими. Сапега колебался: Рожинский действовал и заключил с своими товарищами новый союз: они клялися умереть или воцарить Лжедмитрия, назвались конфедератами и послали сказать Сигизмунду: «Если сила и беззаконие готовы исхитить из наших рук достояние меча и геройства, то не признаем ни короля королем, ни отечества отечеством, ни братьев братьями!» Рожинский писал к своему монарху: «Ваше величество все знали, и единственно нам предоставляли кончить войну за Димитрия, еще более для республики, нежели для нас выгодную; но вдруг, неожиданно, вы являетесь с полками, отнимаете у него землю Северскую, волнуете, смущаете россиян, усиливаете Шуйского и вредите делу, уже почти совершенному нами!.. Сия земля нашею кровию увлажена, нашею славою блистает. В сих могилах, от Днепра до Волги, лежат кости моих храбрых сподвижников... Уступим ли другому Россию? Скорее все мы, остальные, положим также свои головы... и враг Димитрия, кто бы он ни был, есть наш неприятель!» Гетману Жолкевскому говорили послы конфедератов: «Издревле витязи республики, рожденные в недрах златой свободы, любили искать воинской славы в землях чуждых: так и мы своим мечом, истинным Марсовым ралом, возделывали землю Московскую, чтобы пожать на ней честь и корысть. Сколь же горестно нам видеть противников в единосемцах и братьях! В сей горести простираем руки к тебе, гетману отечественного воинства, нашему учителю в делах славы! Изъясни сенату, блюстителю законов и свободы, чего мы требуем справедливо: да удержит Сигизмунда»... Тут паны и дворяне королевские воплем негодования прервали дерзкую речь; велели послам удалиться, язвительно издевались над ними; спрашивали в насмешку о здоровье их государя Димитрия, о втором бракосочетании царицы Марии — и дали им, от имени Сигизмундова, следующий ответ письменный: «Вам надлежало не посылать к королю, а ждать его посольства: тогда вы узнали бы, для чего он вступил в Россию. Отечество наше конечно славится редкою свободою; но и свобода имеет законы, без коих государство стоять не может. Закон республики не дозволяет воевать и королю без согласия чинов государственных; а вы, люди частные, своевольным нападением раздражаете опаснейшего из врагов ее: вами озлобленный Шуйский мстит ей крымца-ми и шведами. Легко призвать, трудно удалить опасность. Хвалитесь победами; но вы еще среди неприятелей сильных... Идите и скажите своим клеветрам, что искать славы и корысти беззаконием, мятежничать и нагло оскорблять Верховную Власть есть дело не граждан свободных, а людей диких и хищных».

Одним словом, казалось, что не подданные с государем и государством, а две особенные державы находятся в жарком прении между собою и грозят друг другу войною! Изъясняясь с некоторою твердостью, Сигизмунд не думал однако ж быть строгим для усмирения крамольников, ибо имел в них нужду и надеялся вернее обольстить, нежели устрашить их: разведывал, что делается в Лжедмитриевом стане; узнал о несогласии Сапеги и

Зборовского с Рожинским, о явном презрении умных ляхов к Самозванцу, о желании многих из них, вопреки клятвенно утвержденному союзу между ними, действовать заодно с королевским войском, — и торжественно назначил (в декабре 1609) послов в Тушино: панов Стадницкого, князя Збараского, Тишкевича, с дружиною знатною. Он предписал им, что говорить воинам и начальникам, гласно и тайно; дал грамоту к царю Василию, доказывая в ней справедливость своего нападения, но изъявляя и готовность к миру на условиях, выгодных для республики; дал еще особенную грамоту к патриарху, духовенству, синклиту, дворянству и гражданству московскому, в коей, уже снимая с себя личину, вызывался прекратить их жалостные бедствия, если они с благодарным сердцем прибегнут к его державной власти, и королевским словом уверял в целостности нашего богослужения и всех уставов священных. В таком же смысле писал Сигизмунд и к россиянам, служащим мнимому Димитрию; а к Самозванцу писали только сенаторы, называя его в титуле яснейшим князем и прося оказать послам достойную честь из уважения к республике, не сказывая, зачем они едут в стан Тушинский.

Уже конфедераты, лишаясь надежды взять Москву, более и более опасаясь князя Михаила и страшась недостатка в хлебе, отнимаемом у них разъездами воевод царских, умерили свою гордость; ждали сих послов нетерпеливо и встретили пышно. Любопытный Самозванец вместе с Мариною смотрел из окна на их торжественный въезд в Тушино, едва ли угадывая, что они везут ему гибель! Рожинский советовал им представиться Лжедимитрию: Стадницкий и Збараский отвечали, что имеют дело единственно до войска — и, после великолепного пира, созвали всех ляхов слушать наказ королевский. Среди обширной равнины послы сидели в креслах: воеводы, чиновники, дворяне стояли в глубоком молчании. Сигизмунд объявлял, что извлекая меч на Шуйского за многие неприятельские действия россиян, спасает тем конфедератов, уже малочисленных, изнуренных долговременною войною и теснимых соединенными силами москвитян и шведов; ждет добрых сынов отечества под свои хоругви, забывает вину дерзких, обещает всем жалованье и награды. Выслушав речь посольскую, многие изъявили готовность исполнить волю Сигизмунда; другие желали, чтобы он, взяв Смоленск и Северскую землю от Димитрия, мирно возвратился в отечество, а войско республики присоединил к конфедератам для завоевания всего царства Московского. «Согласно ли с достоинством короля, — возражали послы, — иметь владенную грамоту на российские земли от того, кому большая часть россиян дает имя обманщика? и благоразумно ли проливать за него драгоценную кровь ляхов?» Конфедераты требовали по крайней мере двух миллионов золотых; требовали еще, чтобы Сигизмунд назначил пристойное содержание для мнимого Димитрия и жены его. «Вспомните, — ответствовали им, — что у нас нет Перуанских рудников. Удовольствуйтесь ныне жалованьем обыкновенным; когда же Бог покорит Сигизмунду великую державу Московскую, тогда и прежняя ваша служба не останется без возмездия, хотя вы служили не государю, не республике, а человеку стороннему, без их ведома и согласия». О будущей доле Самозванца послы не сказали ни слова. Вожди и воины просили времени для размышления.

Что ж делал Самозванец, еще окруженный множеством знатных россиян, еще глава войска и стана? Как бы ничего не зная, сидел в высоких хоромы тушинских и ждал спокойного решения судьбы своей от людей, которые назывались его слугами; упоенный сновидением величия, боялся пробуждения и смыкал глаза под ударом смертоносным. Уже давно терпел он наглость ляхов и презрение россиян, не смея быть взыскательным или строгим: так гетман вспыльчивый, в присутствии Лжедимитрия, изломал палку об его

любимца, князя Вишневецкого, и заставил царика бежать от страха вон из комнаты; а Тишкевич в глаза называл Самозванца обманщиком. Многие россияне, долго лицемерив и честив бродягу, уже явно гнушались им, досаждали ему невниманием, словами грубыми и думали между собою, как избыть вместе и Шуйского и Лжедмитрия. Сие спокойствие злодея, в роковой час оставленного умом и смелостию, способствовало успеху послов Сигизмундовых.

Они пригласили к себе знатнейших россиян Лжедмитриево стана и, вручив им грамоту Сигизмундову, изъяснили, что хотя король вступил в Россию с оружием, но единственно для ее мира и благоденствия, желая утишить бунт, истребить бесстыдного Самозванца, низвергнуть тирана вероломного (Шуйского), освободить народ, утвердить Веру и церковь. «Сии люди, — пишет историк польский, — угнетенные долговременным злосчастьем, не могли найти слов для выражения своей благодарности: печальные лица их осветились радостью; они плакали от умиления, читали друг другу письмо королевское, целовали, прижимали к сердцу начертание его руки, восклицая: не можем иметь государя лучшего!» Так замысел Сигизмундов на венец Мономахов был торжественно объявлен и торжественно одобрен россиянами; но какими? Сонмом изменников: боярином Михайлом Салтыковым, князем Василием Рубцом-Мосальским и клеветами их, вероломцами опытными, которые, нарушив три присяги, и нарушая четвертую, не усомнились предать иноплеменнику и Лжедмитрия и Россию, чтобы спастись от мести Шуйского, ранним усердием снискать благоволение короля и под сению нового царствующего Дома вкусить счастливое забвение своих беззаконий! В сей думе крамольников присутствовал, как пишут, и муж добродетельный, пленник Филарет, ее невольный и безгласный участник.

Уверенные в согласии тушинских россиян иметь царем Сигизмунда, послы в то же время готовы были вступить в сношение и с Василием, как законным монархом: доставили ему грамоту королевскую и, вероятно, предложили бы мир на условии возвратить Литве Смоленск или землю Северскую: чем могло бы удовольствоваться властолюбие Сигизмундово, если бы россияне не захотели изменить своему венценосцу. Но Василий, перехватив возмутительные письма королевские к духовенству, боярам и гражданам столицы, не отвечал Сигизмунду, в знак презрения: обнародовал только его вероломство и козни, чтобы исполнить негодования сердца россиян. Москва была спокойна; а в Тушине вспыхнул мятеж.

Дав конфедератам время на размышление, послы Сигизмундовы уже тайно склонили князя Рожинского и главных воевод присоединиться к королю. Не хотели вдруг оставить Самозванца, боясь, чтобы многолюдная сволочь тушинская не передалась к Василию: условились до времени терпеть в стане мнимое господство Лжедмитриево для устрашения Москвы, а действовать по воле Сигизмунда, имея главною целию низвергнуть Шуйского. Но ослепление и спокойствие бродяги уже исчезли: угадывая или сведав замышляемую измену, он призвал Рожинского и с видом гордым спросил, что делают в Тушине вельможи Сигизмундовы, и для чего к нему не являются? Гетман нетрезвый забыл лицемерие: отвечал бранью и даже поднял руку. Самозванец в ужасе бежал к Марине; кинулся к ее ногам; сказал ей: «Гетман выдает меня королю; я должен спастись: прости» — и ночью (29 декабря), надев крестьянское платье, с шутом своим, Петром Кошелевым, в навозных санях уехал искать нового гнезда для злодейства: ибо царство злодея еще не кончилось!

На рассвете узнали в тушинском стане, что мнимый Дмитрий пропал: все изумились. Многие думали, что он убит и брошен в реку. Сделалось ужасное смятение: ибо знатная

часть войска еще усердствовала Самозванцу, любя в нем атамана разбойников. Толпы с яростным криком приступили к гетману, требуя своего Димитрия и в то же время грабя обоз сего беглеца, серебряные и золотые сосуды, им оставленные. Гетман и другие начальники едва могли смирить мятежников, уверив их, что Самозванец, не убитый, не изгнанный, добровольно скрылся в чувстве малодушного страха, и что не бунтом, а твердостью и единодушием должно им выйти из положения весьма опасного. Не менее волновались и российские изменники, лишённые главы: одни бежали вслед за Самозванцем, другие в Москву; знатнейшие пристали к конфедератам и вместе с ними отправили посольство к Сигизмунду.

Между тем Марина, оставленная мужем и двором, не изменяла высокомерию и твердости в злосчастии; видя себя в стане под строгим надзором и как бы пленницею ненавистного ей гетмана, упрекала ляхов и россиян предательством; хотела жить или умереть царицею; ответствовала своему дяде, пану Стадницкому, который убеждал ее прибегнуть к Сигизмундовой милости и назвал в письме только дочерью Сендомирского воеводы, а не государынею московскою: «Благодарю за добрые желания и советы; но правосудие Всевышнего не даст злодею моему, Шуйскому, насладиться плодом вероломства. Кому Бог единожды дает величие, тот уже никогда не лишается сего блеска, подобно солнцу, всегда лучезарному, хотя и затмеваемому на час облаками». Она писала к королю: «Счастье меня оставило, но не лишило права властительского, утвержденного моим царским венчанием и двукратною присягою россиян»; желала ему успеха в войне, не уступая венца Мономахова, — ждала случая действовать и воспользовалась первым.

[1610 г.] Скоро сведения, где Лжедимитрий: он уехал в Калугу; стал близ города в монастыре и велел инокам объявить ее жителям, что король Сигизмунд требовал от него земли Северной, желая обратить ее в латинство, но получив отказ, склонил гетмана и все тушинское войско к измене; что его (Самозванца) хотели схватить или умертвить; что он удалился к ним, достойным гражданам знаменитой Калуги, надеясь с ними и с другими верными ему городами изгнать Шуйского из Москвы и ляхов из России или погибнуть славно за целость государства и за святость Веры. Дух буйности жил в Калуге, где оставались еще многие из сподвижников атамана Болотникова: они с усердием встретили злодея как государя законного, ввели в лучший дом, наделили всем нужным, богатыми одеждами, конями. Прибежали из Тушина некоторые ближние чиновники Самозванцев; пришел главный крамольник князь Григорий Шаховской с полками козаков из Царева-Займища, где он наблюдал движения Сигизмундовой рати. Составились дружины телохранителей и воинов, двор и правительство, достойное Лжецаря, коего первым указом в сем новом вертепе злодейства было истребление ляхов и немцев за неприятельские действия Сигизмунда и шведов: их убивали, вместе с верными царю россиянами, во всех городах, еще подвластных Самозванцу: Туле, Перемышле, Козельске; грабили купцов иноземных на пути из Литвы к Тушину. В Калуге утопили бывшего воеводу ее, ляха Скотницкого, подозреваемого Лжедимитрием в измене. Там же истерзали доброго окольного Ивана Ивановича Годунова, как усердного слугу Василиева. Взяв его в плен, свергнули с башни и еще живого кинули в реку; он ухватился за лодку: злодей Михайло Бутурлин отсек ему руку, и сей мученик верности утонул в глазах отчаянной жены своей, сестры Филаретовой. Быв дотол в некоторой зависимости от гетмана и других знатных клеветов, Самозванец уже мог действовать свободно, зверствовать до безумия, хвалясь особенно ненавистию ко всему нерусскому и говоря, что когда будет царем на Москве, то не

оставит в живых ни единого иноплеменника, ни грудного младенца, ни зародыша в утробе матери! И кровию ляхов обагренный, тогда же искал в них еще усердия к его злодейству!

В тушинском стане читали тайные грамоты Лжедмитриевы: Самозванец писал, что возвратится к своим добрым сподвижникам с богатою казною, если они дадут ему новую клятву в верности и накажут главных виновников измены. Прибыли и тайные послы его, лях Казимирский и Глазун-Плещеев: они внушали ляхам и козакам, что один Димитрий может обогатить их, имея еще владения обширные и миллионы готовые. Люди, сколько-нибудь благоразумные, не слушали; но бродяги, грабители снова взволновались, и еще более, когда Марина, пользуясь смятением, явилась между воинами с растрепанными волосами, с лицом бледным, с глубокою горестию и слезами; не упрекала, но трогала, видом и словами; убеждала не оставлять Димитрия, исполненного к ним любви и благодарности: не лишать себя праведного возмездия за труды, для него понесенные, — не обольщаться королевскою милостию, ничем незаслуженною и следственно ненадежною; ходила из ставки в ставку; каждого из чиновников называла именем, ласково приветствовала, молила соединиться с ее мужем. Все было в движении; стремились видеть и слушать прелестную женщину, красноречивую от живых чувств и разительных обстоятельств судьбы ее. Говорили: «Послы королевские нас обманули и разлучили с Димитрием! Где тот, за кого мы умирали? От кого будем требовать награды?» Еще гетман и воеводы наши средство обуздать ляхов; но донцы сели на коней и выступили полками из Тушина к Калуге. Гетман с своими латниками настиг их, изрубил более тысячи и заставил побежденных возвратиться.

Спокойствие было кратковременно. Не имев совершенного успеха в намерении взбунтовать тушинский стан и боясь мести гетмана, Марина, в одежде воина, с луком и за плечами, [11 февраля] ночью, в трескучий мороз ускакала верхом к мужу, провождаемая только слугою и служанкою. Поутру нашли в ее комнатах следующее письмо к войску: «Без друзей и ближних, одна с своею горестию, я должна спасать себя от наглости моих мнимых защитников. В упоении шумных пиров, клеветники гнусные равняют меня с женами презрительными, умышляют измену и ковы. Сохрани Боже, чтобы кто-нибудь дерзнул торговать мною и выдать меня человеку, которому ни я, ни мое царство не подвластны! Утесненная и гонимая, свидетельствуюсь Всевышним, что не престану блюсти своей чести и славы, и быв властительницею народов, уже никогда не соглашусь возвратиться в звание польской дворянки. Надеюсь, что храброе воинство не забудет присяги, моей благодарности и наград ему обещанных, удаляюсь». Сие письмо читали всенародно в Тушине благоприятели Марины и произвели желаемое действие: новый мятеж, еще сильнейший прежних. Неистовые, с обнаженными саблями окружив ставку гетмана, вопили: «Злодей! Ты выгнал злосчастную Марину твоею буйностию, в чаду высокоумия и пьянства! Ты, вероломец, подкупленный королем, чтобы обманом вырвать из наших рук казну московскую! Возврати нам Димитрия или умри, изменник!» Стреляли из пистолетов; хотели действительно убить Рожинского, выбрать иного начальника и немедленно идти к Самозванцу; но снова одумались, примирились с неустрашимым гетманом и дали ему слово ждать ответа королевского. «Ни за что не ручаюсь, — писал Рожинский к Сигизмунду, — если Ваше Величество не благоволите удовлетворить желаниям войска и бояр московских, с нами соединенных».

Сии желанья или требования были объявлены королю послами россиян и ляхов тушинских. В числе сорока двух первых находились Михаиле Салтыков и сын его Иван, князь Рубец-Мосальский и Юрий Хворостинин, Лев Плещеев, Молчанов (тот самый,

который в Галиции выдавал себя за Димитрия), дьяки Грамотин, Андронов, Чичерин, Апраксин и многие дворяне. Сигизмунд принял их (31 января) с великою пышностью, сидя на престоле, в кругу сенаторов и знатных панов. Седовласый изменник Салтыков говорил длинную речь о бедствиях России, о доверенности ее к королю, и замолчал от усталости. Сын его и дьяк Грамотин продолжали: один исчислил всех наших государей от Рюрика до Иоанна и Феодора; другой молил Сигизмунда быть заступником нашего православия и тем снискать милость Всевышнего. Наконец боярин Салтыков предложил венец Мономахов не Сигизмунду, но юному королевичу Владиславу; а Грамотин заключил изображением выгод, безопасности, благоденствия обеих держав, которые со временем будут единою под скиптром Владислава. Литовский канцлер Лев Сапега отвечал, что Сигизмунд благодарит за оказываемую ему честь и доверенность, соглашается быть покровителем Российской державы и церкви и назначит сенаторов для переговоров о деле столь важном.

Переговоры начались немедленно, и послы изменников тушинских сказали сенаторам: «С того времени, как смертью Иоаннова наследника извелось державное племя Рюриково, мы всегда желали иметь одного венценосца с вами: в чем может удостоверить вас сей думный боярин Михайло Глебович Салтыков, зная все тайны государственные. Препятствием были грозное властвование Борисово, успехи Лжедимитрия, незаконное воцарение Шуйского и явление второго Самозванца, к которому мы пристали, не веря ему, но от ненависти к Василию, и только до времени. Обрадованные вступлением короля в Россию, мы тайно снеслись с людьми знатнейшими в Москве, свести их единомыслие с нами и давно прибегнули бы к Сигизмунду, если бы ляхи Лжедимитриево тому не противились. Ныне же, когда вожди и войско готовы повиноваться законному монарху, объявившему нам чистоту своих намерений, — ныне смело убеждаем его величество дать нам сына в цари: ибо ему самому, государю иной великой державы, нельзя оставить ее, ни управлять Московскою чрез наместника. Вся Россия встретит царя вождельного с радостью; города и крепости отворят врата; патриарх и духовенство благословят его усердно. Только да не медлит Сигизмунд; да идет прямо к Москве и подкрепит войско, угрожаемое превосходными силами Скопина и шведов. Мы впереди: укажем ему путь и средства взять столицу; сами свергнем, истребим Шуйского, как жертву, уже давно обреченную на гибель. Тогда и Смоленск, осаждаемый с таким усилием тягостным, доселе бесполезным — тогда и все государство последует нашему примеру». Но, боясь ли, как пишут, вверить судьбу шестнадцатилетнего королевича народу, ославленному строптивостию и мятежами, или от личного властолюбия не расположенный уступить Московское царство даже и сыну, Сигизмунд изъяснился двусмысленно. Сенаторы его отвечали изменникам, что если Всевышний благословит доброе желание россиян; если грозные тучи, висящие над их державою, удалятся, и тихие дни в ней снова воссияют; если, в мире и согласии, духовенство, вельможи, войско, граждане все единодушно захотят Владислава в цари: то Сигизмунд конечно удовлетворит их общей воле — и готов идти к Москве, как скоро тушинская рать к нему присоединится.

В дальнейших объяснениях послы требовали, чтобы Владислав принял нашу Веру: им сказали, что Вера есть дело совести и не терпит насилия; что можно внушать и склонять, а не велеть. «Сии люди, — говорит польский историк, — мало заботились о правах и вольностях государственных: твердили единственно о церкви, монастырях, обрядах; только ими дорожили, как главным, существенным предметом, необходимым для их мира душевного и счастья». Именем королевским сенаторы письменно утвердили

неприкосновенность всех наших священных уставов и согласились, чтобы королевич, если Бог даст ему государство Московское, был венчан патриархом; обязались также соблюсти целостность России, ее законы и достояние людей частных; а послы клялись оставить Шуйского и Самозванца, верно служить государю Владиславу, и доколе он еще не царствует, служить отцу его. В то же время король писал к сенату, что Москва в смятении, и князь Михаил в раздоре с Василием; что должно пользоваться обстоятельствами, расширить владения республики и завоевать часть России или всю Россию! Не могли Салтыков и клеветы его быть слепыми: они видели, что король готовит царство себе, а не Владиславу; знали, что и Владислав не мог ни в коем случае принять нашего Закона: но ужасаясь близкого торжества Василиева, как своей гибели, и давно погрязнув в злодействах, не усомнились предать отечество из рук низкого Самозванца в руки венценосца иноверного; предлагали условия единственно для ослепления других россиян, и лицемерно восхищаясь мнимой готовностью Сигизмунда исполнить все их желания, громогласно благодарили его и плакали от радости. Пировали, обедали у короля, гетмана Жолкевского и Льва Сапеги. Сидя на возвышенном месте, король пил за здоровье послов: они пили за здоровье царя Владислава. Написали грамоты к воеводам городов окрестных, славя великодушие Сигизмунда, убеждая их присягнуть королевичу, соединиться с братьями ляхами, и некоторых обольстили: Ржев и Зубцов поддались царю новому, мнимому. Но знаменитый Шеин, уже пять месяцев осаждаемый в Смоленске, к его славе и бедствию королевского войска, истребляемого трудами, битвами и морозами, не обольстился: вызванный из крепости изменниками для свидания, слушал их с презрением и возвратился верным, непоколебимым.

Довольный тушинскими россиянами, Сигизмунд тем менее был доволен тушинскими ляхами, коих послы снова требовали миллионов, и хотели, чтобы он, взяв Московское государство, дал Марине Новгород и Псков, а мужу ее княжество особенное. Опасаясь раздражить людей буйных и лишиться их важного, необходимого содействия, король обещал уступить им доходы земли Северной и Рязанской, милостиво наделить Марину и Лжедмитрия, если они смирятся, и немедленно прислать в Тушино вельможу Потоцкого с деньгами и с войском, чтобы истребить или прогнать князя Михаила, стеснить Москву и низвергнуть Шуйского. Но сей ответ не успокоил конфедератов: не верили обещаниям; ждали денег — а Сигизмунд медлил и морил людей под стенами Смоленска; не присылал ни серебра, ни войска к мятежникам: ибо его любимец Потоцкий, к досаде гетмана Жолкевского, распорядив осадой, не хотел двинуться с места, чтобы отсутствием не утратить выгод временщика.

Вести калужские еще более взволновали конфедератов: там Лжедмитрий снова усиливался и царствовал; там явилась и жена его, славимая как героиня. Выехав из Тушина, она сбилась с дороги и попала в Дмитров, занятый войском Сапеги, который советовал ей удалиться к отцу. «Царица московская, — сказала Марина, — не будет жалкою изгнанницею в доме родительском», — и взяв у Сапеги немецкую дружину для безопасности, прискакала к мужу, который встретил ее торжественно вместе с народом, восхищенным ее красотой в убранстве юного витязя. Калуга веселилась и пировала; хвалилась призраком двора, многолюдством, изобилием, покоем, — а тушинские ляхи терпели голод и холод, сидели в своих укреплениях как в осаде или, толпами выезжая на грабеж, встречали пули и сабли царских или Михайловых отрядов. Кричали, что вместе с Димитрием оставило их и счастье; что в Тушине бедность и смерть, в Калуге честь и богатство; не слушали новых послов королевских, прибывших к ним только с ласковыми

словами; кляли измену своих предводителей и козни Сигизмундовы; хотели грабить стан и с сею добычею идти к Самозванцу. Но гетман, в последний раз, обуздал буйность страхом.

Уже князь Михаил действовал. Войско его умножилось, образовалось. Пришло еще 3000 шведов из Выборга и Нарвы. Готовились идти прямо на Сапегу и Рожинского, но хотели озаботить их и с другой стороны: послали воевод Хованского, Борятинского и Горна занять южную часть Тверской и северную Смоленской области, чтобы препятствовать сообщению конфедератов с Сигизмундом. Между тем чиновник Волуев с пятьюстами ратников должен был осмотреть вблизи укрепления Сапегины. Он сделал более: ночью (генваря 4) вступил в лавру, взял там дружину Жеребцова, утром напал на ляхов и возвратился к князю Михайлу с толпою пленников и с вестию о слабости неприятеля. Войско ревностно желало битвы, надеясь поразить Сапегу и гетмана отдельно. Но дерзость первого уже исчезла: будучи в несогласии с Рожинским, оставив Лжедмитрия и еще не пристав к королю, едва ли имея 6000 сподвижников, изнуренных болезнями и трудами, Сапега увидел поздно, что не время мыслить о завоевании монастыря, а время спасаться: снял осаду (12 генваря) и бежал к Дмитрову. Иноки и воины лавры не верили глазам своим, смотря на сие бегство врага, столь долго упорного! Оглядели безмолвный стан изменников и ляхов; нашли там множество запасов и даже немало вещей драгоценных; думали, что Сапега возвратится — и чрез восемь дней послали наконец инок Макарія со Святою водою в Москву, объявить царю, что лавра спасена Богом и князем Михаилом, быв 16 месяцев в тесном облежании. Уже сия не только святостию, но и славою редкою — любовию к отечеству и Вере преодолев искусство и число неприятеля, нужду и язву — обратив свои башни и стены, дебри и холмы в памятники доблести бессмертной — лавра увенчала сей подвиг новым государственным благодеянием. Россияне требовали тогда единственно оружия и хлеба, чтобы сражаться; но союзники их, шведы, требовали денег: иноки троицкие, встретив князя Михаила и войско его с любовию, отдали ему все, что еще имели в житницах, а шведам несколько тысяч рублей из казны монастырской. — Глубина снегов затрудняла воинские действия: князь Иван Куракин с россиянами и шведами выступил на лыжах из лавры к Дмитрову и под стенами его увидел Сапегу. Началось кровопролитное дело, в коем россияне блестящим мужеством заслужили громкую хвалу шведов, судей непристрастных; победили, взяли знамена, пушки, город Дмитров и гнали неприятеля легкими отрядами к Клину, нигде не находя ни жителей, ни хлеба в сих местах, опустошенных войною и разбоями. Предав ляхов тушинских судьбе их, Сапега шел день и ночь к калужским и смоленским границам, чтобы присоединиться к королю или Лжедмитрию, смотря по обстоятельствам.

До сего времени Сапега был щитом для Тушина, стоя между им и Слободою Александровскою: сведав о бегстве его — сведав тогда же, что воеводы, отряженные князем Михаилом, заняли Старицу, Ржев и приступают к Белому — конфедераты не хотели медлить ни часу в стане, угрожаемом вблизи и вдали царскими войсками; но смиренные ужасом, изъявили покорность гетману: он вывел их с распущенными знаменами, при звуке труб и под дымом пылающего, им зажженного стана, чтобы идти к королю. Изменники, клеветы Салтыкова, соединились с ляхами; гнуснейшие из них ушли к Самозванцу; менее виновные в Москву и в другие города, надеясь на милосердие Василиево или свою неизвестность, — и чрез несколько часов остался только пепел в уединенном Тушине, которое 18 месяцев кипело шумным многолюдством, величалось именем царства и боролось с Москвою! Жарко преследуемый дружинами князя Михаила, изгнанный из крепких стен Иосифовской обители и разбитый в поле мужественным Волуевым (который в сем деле

освободил знаменитого пленника Филарета), Рожинский, князь племени Гедиминова, еще юный летами, от изнурения сил и горести кончил бурную жизнь в Волоколамске, жалуясь на измену счастья, безумие второго Лжедмитрия, крамольный дух сподвижников и медленность Сигизмундову: полководец искусный, как уверяют его единоземцы, или только смелый наездник и грабитель, как свидетельствуют наши летописи. Смерть начальника рушила состав войска: оно рассеялось; толпы бежали к Сигизмунду, толпы к Лжедмитрию и Сапеге, который стал на берегах Угры, в местах еще изобильных хлебом, и предлагал своему государю условия для верной ему службы, сносясь и с Калугою. — Так исчезло главное, страшное ополчение удалцов и разбойников чужеземных, изменников и злодеев российских, быв на шаг от своей цели, гибели нашего отечества, и вдруг остановлено великодушным усилием добрых россиян, и вдруг уничтожено действиями грубой политики Сигизмундовой!.. Один Лисовский с изменником атаманом Просовецким, с шайками Козаков и вольницы, держался еще несколько времени в Суздале, но весною ушел оттуда в мятежный Псков, разграбив на пути монастырь Колязинский, где честный воевода Давид Жеребцов пал в битве. Наконец вся внутренность государства успокоилась.

Так успел Герой-юноша в своем деле великом! За 5 месяцев пред тем оставив царя почти без царства, войско в оцепенении ужаса, среди врагов и предателей — найдя везде отчаяние или зложелательство, но умев тронуть, оживить сердца добродетельною ревностию, собрать на краю государства новое войско отечественное, благовременно призвать иноземное, восстановить целостность России от запада до востока, рассеять сонмы неприятелей многочисленных и взять одною угрозою крепкие, годовые их станы — князь Михаил двинулся из лавры, им освобожденной, к столице, им же спасенной, чтобы вкусить сладость добродетели, увенчанной славою.

Россияне и шведы, одни с веселием, другие с гордостью, шли как братья, воеводы и воины, на торжество редкое в летописях мира. Царь велел знатным чиновникам встретить князя Михаила: народ предупредил чиновников; стеснил дорогу Троицкую; поднес ему [2 марта] хлеб и соль, бил челом за спасение государства Московского, давал имя отца отечества; благодарил и сподвижника его, Деллагарди. Василий также благодарил обоих, с слезами на глазах, с видом искреннего умиления. Казалось, что одно чувство всех одушевляло, от царя до последнего гражданина. Москва, быв еще недавно столицею без государства, окруженная неприятельскими владениями, смятенная внутренними крамолами, терзаемая голодом, и ввечеру не зная, кого утреннее солнце осветит в ней на престоле, законного ли венценосца российского или бродягу, клевету разбойников иноземных — Москва снова возвышала главу над обширным царством, простирая руку к Ильменю и к Енисею, к морю Белому и Каспийскому, — опираясь в стенах своих на легионы победоносные, и наслаждаясь спокойствием, славою, изобилием; видела в князе Михаиле виновника сей разительной перемены и не щадила ни его смирения, ни его безопасности: где он являлся, везде торжествовал и слышал клики живейшей к нему любви, естественной, справедливой, но опасной: ибо зависть, уже не окованная страхом, готовила жало на знаменитого подвижника России, и раздражаемая сим народным восторгом, тем более кипела ядом, в слепой злобе не предвидя, что будет сама его жертвою!

Еще не спаслось, а только спасалось отечество — и князь Михаил среди светлых пиров столицы не упоенный ни честью, ни славою, требовал указа царского довершить великое дело: истребить Лжедмитрия в Калуге, изгнать Сигизмунда из России, очистить южные пределы ее, успокоить государство навеки, имея все для успеха несомнительного: войско,

доблесть, счастье или милость Небесную. Но судьба Шуйского противилась такому концу благословенному: не в его бедственное царствование отечество наше должно было возродиться для величия!

НИЗВЕРЖЕНИЕ ВАСИЛИЯ И МЕЖДОЦАРСТВИЕ

Г. 1610-1611

В то время, когда всякой час был дорог, чтобы совершенно избавить Россию от всех неприятелей, смятенных ужасом, ослабленных разделением — когда все друзья отечества изъявляли князю Михаилу живейшую ревность, а князь Михаил живейшее нетерпение царю идти в поле — минуло около месяца в бездействии для отечества, но в деятельных происках злобы личной.

Робкие в бедствиях, надменные в успехах, низкие душою, трепетав за себя более нежели за отечество, и мысля, что все труднейшее уже сделано, — что остальное легко и не превышает силы их собственного ума или мужества, ближние царедворцы в тайных думах немедленно начали внушать Василию, сколь юный князь Михаил для него опасен, любимый Россию до чрезмерности, явно уважаемый более царя и явно в цари готовимый единомыслием народа и войска. Славя Героя, многие дворяне и граждане действительно говорили нескромно, что спаситель России должен и властвовать над нею; многие нескромно уподобляли Василия Саулу, а Михаила Давиду. Общее усердие к знаменитому юноше питалось и суеверием: какие-то гадатели предсказывали, что в России будет венценосец, именем Михаил, назначенный Судьбою умирить государство: «через два года благодатное воцарение Филаретова сына оправдало гадателей», — пишет историк чужеземный; но россияне относили мнимое пророчество к Скопину и видели в нем если не совместника, то преемника дяди его, к особенной досаде любимого Василиева брата, Дмитрия Шуйского, который мыслил, вероятно, правом наследия уловить державство: ибо шестидесятилетний царь не имел детей, кроме новорожденной дочери, Анастасии. Князь Дмитрий, духом слабый, сердцем жестокий, был первым наушником и первым клеветником: не довольствуясь истиною, что народ желает царства Михаилу, он сказал Василию, что Михаил в заговоре с народом, хочет похитить верховную власть и действует уже как царь, отдав шведам Кексгольм без указа государева. Еще Василий ужасался или стыдился неблагодарности: велел умолкнуть брату, — даже выгнал его с гневом; ежедневно приветствовал, честил героя — но медлил снова верить ему войско! Узнав о наветах, князь Михаил спешил изъясниться с царем; говорил спокойно о своей невинности, свидетельствуясь в том чистою совестью, службою верною, а всего более оком Всевышнего; говорил свободно и смело о безумии зависти преждевременной, когда еще всякая остановка в войне, всякое охлаждение, несогласие и внушение личных страстей могут быть гибельны для отечества. Василий слушал не без внутреннего смятения: ибо собственное сердце его уже волновалось завистию и беспокойством: он не имел счастья верить добродетели! Но успокоил Михаила ласкою; велел ему и думным боярам условиться с генералом Делагарди о будущих воинских действиях; утвердил договор Выборгский и Колязинский; обещал немедленно заплатить весь долг шведам.

Между тем умный Делагарди в частых свиданиях с ближними царедворцами заметил их худое расположение к князю Михаилу и предостерегал его как друга: двор казался ему опаснее ратного поля для Героя. Оба нетерпеливо желали идти к Смоленску и неохотно участвовали в пирах московских. 23 апреля [1610 г.] князь Дмитрий Шуйский давал обед Скопину. Беседовали дружественно и весело. Жена Дмитриева, княгиня Екатерина — дочь

того, кто жил смертоубийствами: Малюты Скуратова — явилась с ласкою и чашею пред гостем знаменитым: Михаил выпил чашу... и был принесен в дом, исходя кровию, беспрестанно лившеюся из носа; успел только исполнить долг христианина и предал свою душу Богу, вместе с судьбою отечества!.. Москва в ужасе онемела.

Сию незапную смерть юноши, цветущего здоровьем, приписали яду, и народ, в первом движении, с воплем ярости устремился к дому князя Дмитрия Шуйского: дружина царская защитила и дом и хозяина. Уверяли народ в естественном конце сей жизни драгоценной, но не могли уверить. Видели или угадывали злорадство и винили оное в злодействе без доказательств: ибо одна скоропостижность, а не род Михайловой смерти (напомнившей Борисову), утверждала подозрение, бедственное для Василия и его ближних.

Не находя слов для изображения общей скорби, летописцы говорят единственно, что Москва оплакивала князя Михаила столь же неутешно, как царя Феодора Иоанновича: любив Феодора за добродушие и теряя в нем последнего из наследственных венценосцев Рюрикова племени, она страшилась неизвестности в будущем жребии государства; а кончина Михайлова, столь неожиданная, казалась ей явным действием гнева Небесного: думали, что Бог осуждает Россию на верную гибель, среди преждевременного торжества вдруг лишив ее защитника, который один вселял надежду и бодрость в души, один мог спасти государство, снова ввергаемое в пучину мятежей без кормчего! Россия имела государя, но россияне плакали как сироты, без любви и доверенности к Василию, омраченному в их глазах и несчастным царствованием и мыслию, что князь Михаил сделался жертвою его тайной вражды. Сам Василий лил горькие слезы о Герое: их считали притворством, и взоры подданных убегали царя, в то время когда он, знаменуя общественную и свою благодарность, оказывал необыкновенную честь усопшему: отпевали, хоронили его великолепно, как бы державного: дали ему могилу пышную, где лежат наши венценосцы: в Архангельском соборе; там, в приделе Иоанна Крестителя, стоит уединенно гробница сего юноши, единственного добродетелию и любовью народною в век ужасный! От древних до новейших времен России никто из подданных не заслуживал ни такой любви в жизни, ни такой горести и чести в могиле!.. Именуя Михаила Ахиллом и Гектором российским, летописцы не менее славят в нем и милость беспримерную, уветливость, смирение Ангельское, прибавляя, что огорчать и презирать людей было мукою для его нежного сердца. В двадцать три года жизни успев стяжать (доля редкая!) лучезарное бессмертие, он скончался рано не для себя, а только для отечества, которое желало ему венца, ибо желало быть счастливым!

Все переменялось — и завистники Скопина, думав, что Россия уже может без него обойтись, скоро увидели противное. Союз между царем и царством, восстановленный Михаилом, рушился, и злополучие Василиево, как бы одоленное на время Михайловым счастьем, снова явилось во всем ужасе над государством и государем.

Надлежало избрать военачальника: избрали того, кто уже давно был нелюбим, а в сие время ненавидим: князя Дмитрия Шуйского. Россияне вышли в поле с унынием и без ревности: шведы ждали обещанных денег. Не имея готового серебра, Василий требовал его от иноков лавры; но иноки говорили, что они, дав Борису 15 000, расстриге 30 000, самому Василию 20 000 рублей, остальною казною едва могут исправить стены и башни свои, поврежденные неприятельскою стрельбою. Царь силою взял у них и деньги и множество церковных сосудов, золотых и серебряных для сплавки. Иноки роптали: народ изъявлял негодование, уподобляя такое дело святотатству. Одни шведы, изъявив участие в народной

скорби о Михаиле, ими также любимом, казались утешенными и довольными, получив жалованье — и Делагарди выступил вслед за князем Дмитрием к Можайску, чтобы освободить Смоленск. Ждали еще новых союзников, не бывалых под хоругвями христианскими: крымских царевичей с толпами разбойников, чтобы примкнуть к ним несколько дружин московских и вести их к Калуге для истребления Самозванца. Не думали о стыде иметь нужду в таких сподвижниках! Довольно было сил: недоставало только человека, коего в бедствиях государственных и миллионы людей не заменяют... Орошая слезами, искренними или притворными, тело Михаила, Василий погребал с ним свое державство, и два раза спасенный от близкой гибели, уже не спасся в третий!

Первая страшная весть пришла в Москву из Рязани, где Ляпунов, явный злодей царя, сильный духом более, нежели знатностию сана, не обольстив Михаила властолюбием беззаконным и предвидя неминуемую для себя опалу в случае решительного торжества Василиева, именем Героя верности дерзнул на бунт и междоусобие. Что Москва подозревала, то Ляпунов объявил всенародно за истину несомнительную: Дмитрия Шуйского и самого Василия убийцами, отравителями Скопина; звал мстителей и нашел усердных: ибо горестная любовь к усопшему Михаилу представляла и бунт за него в виде подвига славного! Княжество Рязанское отложилось от Москвы и Василия, все, кроме Зарайска: там явился племянник Ляпунова с грамотою от дяди; но там воеводствовал князь Дмитрий Михайлович Пожарский. Заслуживая будущую свою знаменитость и храбростию и добродетелию, князь Дмитрий выгнал гонца крамолы, прислал мятежную грамоту в Москву и требовал вспоможения: царь отрядил к нему чиновника Глебова с дружиною, и Зарайск остался верным. Но в то же время стрельцы московские, посланные к Шацку (где явился воевода Лжедмитриев, князь Черкасский, и разбил царского воеводу, князя Литвинова) были остановлены на пути Ляпуновым и передались к нему добровольно. Чего хотел сей мятежник! Свергнуть Василия, избавить Россию от Лжедмитрия, от ляхов, и быть государем ее, как утверждает один историк; другие пишут вероятнее, что Ляпунов желал единственно гибели Шуйских, имея тайные сношения с знатнейшим крамольником, боярином князем Василием Голицыным в Москве и даже с Самозванцем в Калуге, но недолго: он презрел бродягу, как орудие срамное, видя и без того легкое исполнение желаемого им и многими иными врагами царя несчастного.

Бунт Ляпунова встревожил Москву: другие вести были еще ужаснее. Князь Дмитрий Шуйский и Делагарди шли к Смоленску, а ляхи к ним навстречу. Доселе опасливый, нерешительный, Сигизмунд вдруг оказал смелость, узнав, что Россия лишилась своего Героя, и веря нашим изменникам, Салтыкову с клеветами, что сия кончина есть падение Василия, ненавистного Москве и войску. Еще Сигизмунд не хотел оставить Смоленск; но дав гетману Жолкевскому 2000 всадников и 1000 пехотных воинов, велел ему с сею горстию людей искать неприятеля и славы в поле. Гетман двинулся сперва к Белому, теснимому Хованским и Горном: имея 6500 россиян и шведов, они уклонились от битвы и спешили присоединиться к Дмитрию Шуйскому, который стоял в Можайске, отделив 6000 детей боярских с князем Елецким и Волуевым в Царево-Займище, чтобы там укрепиться и служить щитом для главной рати. Будучи вдесятеро сильнее неприятеля, Шуйский хотел уподобиться Скопину осторожностию: медлил и тратил время. Тем быстрее действовал гетман: соединился с остатками тушинского войска, приведенного к нему Зборовским, и (13 июня) подступил к Займищу; имел там выгоду в битве с россиянами, но не взял укреплений — и сведал, что Шуйский и Делагардин идут от Можайска на помощь к Елецкому и Волуеву.

Сподвижники гетмана смутились: он убеждал их в необходимости кончить войну одним смелым ударом; говорил о чести и доблести, а ждал успеха от измены: ибо клеветы Салтыкова окружали, вели его, — сносились с своими единомышленниками в царском войске, знали общее уныние, негодование и ручались Жолкевскому за победу; ручались и беглецы шведские, немцы, французы, шотландцы, являясь к нему толпами и сказывая, что все их товарищи, недовольные Шуйским, готовы передаться к ляхам. Шведы действительно, едва вышедши из Москвы, начали снова требовать жалованья и бунтовать: князь Дмитрий дал им еще 10 000 рублей, но не мог удовлетворить, ни сам Делагарди смирить сих мятежных корыстолюбцев: они шли нехотя и грозили, казалось, более союзникам, нежели врагам. Такие обстоятельства изъясняют для нас удивительное дело Жолкевского, еще более пронизательного, нежели смелого.

Оставив малочисленную пехоту в обозе у Займища, гетман ввечеру (23 июня) с десятью тысячами всадников и с легкими пушками выступил навстречу к Шуйскому, столь тихо, что Елецкий и Волуев не заметили сего движения и сидели спокойно в укреплениях, воображая всю рать неприятельскую пред собою; а гетман, принужденный идти верст двадцать медленно, ночью, узкою, худою дорогою, на рассвете увидел, близ села Клушина, между полями и лесом, плетнями и двумя деревеньками, обширный стан тридцати тысяч россиян и пяти тысяч шведов, нимало не готовых к бою, беспечных, сонных. Он еще ждал усталых дружин и пушек; зажег плетни и треском огня, пламенем, дымом пробудил спящих. Изумленные незапным явлением ляхов, Шуйский и Делагарди спешили устроить войско: конницу впереди, пехоту за нею, в кустарнике, — россиян и шведов особенно. Гетман с трубным звуком ударил вместе на тех и других: конница московская дрогнула; но подкрепленная новым войском, стеснила неприятеля в своих густых толпах, так что Жолкевский, стоя на холме, едва мог видеть хоругвь республики в облаках пыли и дыма. Шведы удержали стремление ляхов сильным залпом. Гетман пустил в дело запасные дружины; стрелял из всех пушек в шведов; напал на россиян сбоку — и победил. Конница наша, обратив тыл, смешала пехоту; шведы отступили к лесу; французы, немцы, англичане, шотландцы передались к ляхам. Сделалось неописанное смятение. Все бежало без памяти: сто гнало тысячу. Князя Шуйский, Андрей Голицын и Мезецкий засели было в стане с пехотою и пушками; но узнав вероломство союзников, также бежали в лес, усыпая дорогу разными вещами драгоценными, чтобы прелестию добычи остановить неприятеля. Делагарди — в искренней горести, как пишут, — ни угрозами, ни молением не удержав своих от бесчестной измены, вступил в переговоры: дал слово гетману не помогать Василию и, захватив казну Шуйского, 5450 рублей деньгами и мехов на 7000 рублей, с генералом Горном и четырьмястами шведов удалился к Новугороду, жалуясь на малодушие россиян столько же, как и на мятежный дух англичан и французов, письменно обещая царю новое вспоможение от короля шведского, а королю легкое завоевание северо-западной России для Швеции!

Но стыд союзников уменьшался стыдом россиян, которые, в бедственном ослеплении, жертвовали нелюбви к царю любовью к отечеству, не хотели мужествовать за мнимого убийцу Михайлова, думая, кажется, что победа ляхов губит только несчастного Василия, и гнусным бегством от врага слабого предали ему Россию. Без сомнения оказав ум необыкновенный, гетман хвалился числом своих и неприятелей, скромно уступал всю честь геройству сподвижников и всего искреннее славил ревность тушинских изменников, сына и друзей Михайла Салтыкова, которые находились в сей битве, действуя тайно, чрез

лазутчиков, на царское войско. Не многие легли в деле: один знатный князь Яков Борятинский пал, сражаясь; воевода Бутурлин отдался в плен. Гораздо более кололи, секли и топтали россиян в погоне. 11 пушек, несколько знамен, бархатная хоругвь князя Дмитрия Шуйского, его карета, шлем, меч и булава, также немало богатства, сукон, соболей, присланных царем для шведов, были трофеями и добычею ляхов. Несчастный князь Дмитрий скакал не оглядываясь, увязил коня в болоте, пеший достиг Можайска и, сказав гражданам, что все погибло, с сею вестью спешил к державному брату в столицу.

Деятельный гетман в тот же день возвратился к Займищу, где россияне, ночью, были пробуждены шумом и кликом: ляхи громогласно извещали их о следствиях Клушинской битвы. Князь Елецкий и Волуев не хотели верить: гетман на рассвете показал им царские знамена и пленников, требуя, чтобы они мирно сдались не ляхам, а новому царю своему, Владиславу, будто бы уже избранному знатною частию России. Елецкий и Волуев убеждали гетмана идти к Москве и начать с нею переговоры: им ответствовали: «когда вы сдадитесь, то и Москва будет наша». Волуев, более Елецкого властвуя над умами сподвижников, решил их недоумение: присягнул Владиславу, на условиях, заключенных Михайлом Салтыковым и клеветами его с Сигизмундом; другие также присягнули и вместе с ляхами, уже братьями, пошли к столице... Смелый в битвах, Жолкевский изъявил смелость и в важном деле государственном: он без указа королевского желал воцарить юного Владислава, по удостоверению изменников тушинских и собственному, что нет иного, лучшего, надежнейшего способа кончить сию войну с истинною славою и выгодю для республики! Гетман мирно занял Можайск и другие места окрестные именем королевича, везде гоня пред собою рассеянные остатки полков Шуйского.

В одно время столица узнала о сем бедствии и читала воззвание Жолкевского к ее жителям, распространенное в ней деятельными единомышленниками Салтыкова. «Виною всех ваших зол, — писал гетман, — есть Шуйский: от него царство в крови и в пепле. Для одного ли человека гибнуть миллионам? Спасение пред вами: победоносное войско королевское и новый царь благодатный: да здравствует Владислав!» Еще Василий, не изменяясь духом, верный твердости в злосчастьи, писал указы, чтобы из всех городов спешили к нему последние люди воинские, и в последний раз, для спасения царства; ободрял москвитян, давал деньги стрельцам; хотел писать к гетману, назначил гонца, но отменил, чтобы не унизиться бесполезно в таких обстоятельствах, когда не переговорами, а битвами надлежало спастися. Города не выслали в Москву ни одного воина: рязанский мятежник Ляпунов не велел им слушаться царя, вместе с князем Василием Голицыным крамольствуя и в столице, волнуемой отчаянием... Грозы внешние еще умножились: явился и Лжедмитрий в поле с бесстыдным Сапегою, который за несколько тысяч рублей, доставленных ему из Калуги, снова обязался служить злодею. Они надеялись предупредить гетмана и взять Москву, думая, что она в смятении ужаса скорее сдастся дерзкому бродяге, нежели ляхам. Сей подлый неприятель еще казался опаснейшим царю: сведав, что союзники, вызванные им из гнезда разбоев, сыновья хана, уже близ Серпухова, Василий отрядил туда знатных мужей: князя Воротынского, Лыкова и чиновника Измайлова с дружиною детей боярских и с пушками, чтобы вести их против Самозванца; но крымцы, встретив его в Боровском уезде, после дела кровопролитного ушли назад в степи, а Воротынский и Лыков едва спас лися бегством в Москву. Все кончилось для Василия! Снова торжествовал Самозванец; снова обратились к нему изменники и счастье. Сапегины ляхи осадили крепкий монастырь Пафнутиев, где начальствовали верный князь Михайло

Волконский и два предателя: первый сражался как Герой; но младшие чиновники Змеев и Челищев впустили неприятеля. Волконский пал в сече над гробом Св. Пафнутия (оставив для веков память своей доблести в гербе Боровска), а ляхи наполнили ограду и церковь трупами иноков, стрельцов и жителей монастырских. Коломна, дотоле непоколебимая в верности, вдруг изменила, возмущенная сотником Бобыниным. Не слушая доброго епископа Иосифа, народ кричал, что Василию уже не быть царем, и что лучше служить Димитрию, нежели Сигизмунду. Воеводы коломенские, бояре князь Туренин и Долгорукий, в ужасе сами присягнули обманщику: также и воевода коширский князь Ромодановский вместе с гражданами. Едва уцелел и Зарайск, спасенный твердостью князя Пожарского: видя бунт жителей и не страшась ни угроз, ни смерти, он с усердною дружиною выгнал их из крепости и восстановил тишину договором, заключенным с ними, остаться верными Василию, если Василий останется царем, или служить царю новому, кого изберет Россия. В сем случае ревностным сподвижником князя Дмитрия был достойный протоиерей Никольский. Но усмирение Зарайска не отвратило губительного мятежа в столице.

Лжедимитрий спешил к Москве и расположился станом в селе Коломенском, памятном первую славою юного князя Михаила, коего уже не имело отечество для надежды! Что мог предпринять царь злосчастный, побежденный гетманом и Самозванцем, угрожаемый Ляпуновым и крамолою, малодушием и зломыслием, без войска и любви народной? Рожденный не в век Катонов и Брутов, он мог предаться только в волю Божию: так и сделал, спокойно ожидая своего жребия и еще держась рукою за кормило государственное, хотя уже и бесполезное в час гибели; еще давал повеления, не внимаемые, не исполняемые, будучи уже более зрителем, нежели действователем с того времени, как узнали в Москве о бунте или неповиновении городов, видели под ее стенами знамена Лжедимитриево и ежечасно ждали Сигизмундовых с гетманом. Дворец опустел: улицы и площади кипели народом; все спрашивали друг у друга, что делается, и что делать? Ненавистники Василиевы уже громогласно требовали его свержения; кричали: «Он сел на престол без ведома земли Русской: для того земля разделилась; для того льется кровь христианская. Братья Василиевы ядом умертвили своего племянника, а нашего отца-защитника. Не хотим царя Василия!» Ни Самозванца, ни ляхов! прибавляли многие, благороднейшие духом, следуя внушению Ляпунова Рязанского, брата его Захарии и князя Василия Голицына. Они превозмогли числом и знатностью единомышленников; гнушаясь Лжедимитрием, думали усювестить его клеветов, чтобы усилиться их союзом, и предложили им свидание. Еще люди чиновные окружали злодея тушинского: князя Сицкий и Засекин, дворяне Нагой, Сунбулов, Плещеев, дьяк Третьяков и другие. Съехались в поле, у Даниловского монастыря, как братья; мирно рассуждали о чрезвычайных обстоятельствах государства и вернейших средствах спасения; наконец взаимно дали клятву, москвитяне оставить Василия, изменники предать им Лжедимитрия, избрать вместе нового царя и выгнать ляхов. Сей договор объявили столице брат Ляпунова и дворянин Хомутов, выехав с сонмом единомышленников на лобное место, где, кроме черни, находилось и множество людей сановных, лучших граждан, гостей и купцов: все громким кликом изъявили радость; все казались уверенными, что новый царь необходим для России. Но тут не было ни знатного духовенства, ни синклита: пошли в Кремль, взяли патриарха, бояр; вывели их к Серпуховским воротам, за Москвою-рекою, и в виду неприятельского стана — указывая на разьезды Лжедимитриевой конницы и на Смоленскую дорогу, где всякое облако пыли грозило явлением гетмана — предложили им избавить Россию от стыда и гибели, избавить Россию от Шуйского; соблюдали умеренность

в речах: укоряли Василия только несчастьем. Говорили, что «земля Северская и все бывшие слуги Лжедмитриевы немедленно возвратятся под сень отечества, как скоро не будет Шуйского, для них ненавистного и страшного; что государство бессильно только от разделения сил: соединится, усмирится... и враги исчезнут!» Раздался один голос в пользу закона и царя злосчастного: Ермогенов; с жаром и твердостью патриарх изъяснил народу, что нет спасения, где нет благословения свыше; что измена царю есть злодейство, всегда казнимое Богом, и не избавит, а еще глубже погрузит Россию в бездну ужасов. Весьма немногие бояре, и весьма не твердо, стояли за Шуйского; самые его искренние и ближние уклонились, видя решительную общую волю; сам патриарх с горестию удалился, чтобы не быть свидетелем дела мятежного, — и сия народная Дума единодушно, единогласно приговорила: «1) бить челом Василию, да оставит царство и да возьмет себе в удел Нижний-Новгород; 2) уже никогда не возвращать ему престола, но блюсти жизнь его, царицы, братьев Василиевых; 3) целовать крест всем миром в неизменной верности к церкви и государству для истребления их злодеев, ляхов и Лжедмитрия; 4) всею землею выбрать в цари, кого Бог даст; а между тем управлять ею боярам, князю Мстиславскому с товарищами, коих власть и суд будут священны; 5) в сей Думе верховной не сидеть Шуйским, ни князю Дмитрию, ни князю Ивану; 6) всем забыть вражду личную, месть и злобу; всем помнить только Бога и Россию». В действии беззаконном еще блистал призрак великодушия: щадили царя свергаемого и хотели умереть за отечество, за честь и независимость.

Послали к Василию, еще венценосцу, знатного боярина, его свояка, князя Ивана Воротынского, с главными крамольниками, Захарию Ляпуновым и другими, объявить ему приговор Думы. Дотоле тихий Кремлевский дворец наполнился людьми и шумом: ибо вслед за послами стремилось множество дерзких мятежников и любопытных. Василий ожидал их без трепета, вспоминая, может быть, невольно о таком же стремлении шумных сонмов под его собственным предводительством, к сему же дворцу, в день расстригиной гибели!.. Захария Ляпунов, увидев царя, сказал: «Василий Иоаннович! ты не умел царствовать: отдай же венец и скипетр». Шуйский отвечивал: «как смеешь!»... и вынул нож из-за пояса. Наглый Ляпунов, великан ростом, силы необычайной, грозил ему своею тяжкою рукою... Другие хотели сладкоречием убедить царя к повиновению воле Божией и народной. Василий отвергнул все предложения, готовый умереть, но венценосцем, и волю мятежников, испровергающих закон, не признавая народною. Он уступил только насилию, и был, вместе с юною супругою [17 июля], перевезен из палат Кремлевских в старый дом свой, где ждал участи Борисова семейства, зная, что шаг с престола есть шаг к могиле.

В столице господствовало смятение, и скоро еще умножилось, когда народ сведал, что тушинские изменники обманули московских. Ляпунов и клеветы его немедленно объявили первым, в новом свидании с ними у монастыря Даниловского, что Шуйский сведен с престола, и что Москва, вследствие договора, ждет от них связанного Лжедмитрия для казни. Тушинцы отвечивали: «Хвалим ваше дело. Вы свергнули царя беззаконного: служите же истинному: да здравствует сын Иоаннов! Если вы клятвопреступники, то мы верны в обетах. Умрем за Дмитрия!» Достоинно осмеянные злодеями, москвитяне изумились. Сим часом думал еще воспользоваться Ермоген: вышел к народу, молил, заклинал снова возвести Василия на царство; но убеждениям доброго патриарха не внимали: страшились мести Василиевой и тем скорее хотели себя успокоить.

Всеми оставленный, многим ненавистный или противный, не многим жалкий, царь сидел под стражею в своем боярском доме, где за четыре года пред тем, в ночном совете

знаменитейших россиян, им собранных и движимых, решилась гибель Отрепьева. Там, в следующее утро, явились Захария Ляпунов, князь Петр Засекин, несколько сановников с чудовскими иноками и священниками, с толпою людей вооруженных, и велели Шуйскому готовиться к пострижению, еще гнушаясь новым цареубийством и считая келию надежным преддверием гроба. «Нет! — сказал Василий с твердостью: — никогда не буду монахом» — и на угрозы отвечал видом презрения; но смотря на многих известных ему москвитян, с умилением говорил им: «Вы некогда любили меня... и за что возненавидели? за казнь ли Отрепьева и клеветов его? Я хотел добра вам и России; наказывал единственно злодеев — и кого не миловал?» Вопль Ляпунова и других неистовых заглушил речь трогательную. Читали молитвы пострижения, совершали обряд священный и не слышали уже ни единого слова от Василия: он безмолвствовал, и вместо его произносил страшные обеты монашества князь Туренин. Постригли и несчастную царицу, Марию, также безмолвную в обетах, но красноречивую в изъявлении любви к супругу: она рвалась к нему, стенала, называла его своим государем милым, царем великим народа недостойного, ее супругом законным и в рясе инок. Их разлучили силою: отвели Василия в монастырь Чудовский, Марию в Ивановский; двух братьев Василиевых заключили в их домах. Никто не противился насилию безбожному, кроме Ермогена: он торжественно молился за Шуйского в храмах, как за помазанника Божия, царя России, хотя и невольника; торжественно клял бунт и признавал иноком не Василия, а князя Туренина, который вместо его связал себя обетами монашества. Уважение к сану и лицу первосвященника давало смелость Ермогену, но бесполезную.

Так Москва поступила с венценосцем, который хотел снискать ее и России любовь подчинением своей воли закону, бережливостию государственною, беспристрастием в наградах, умеренностию в наказаниях, терпимостию общественной свободы, ревностию к гражданскому образованию — который не изумлялся в самых чрезвычайных бедствиях, оказывал неустрашимость в бунтах, готовность умереть верным достоинству монаршему, и не был никогда столь знаменит, столь достоин престола, как свергаемый с одного изменою: влекомый в келию толпою злодеев, несчастный Шуйский являлся один истинно великодушным в мятежной столице... Но удивительная судьба его ни в унижении, ни в славе, еще не совершилась!

Доселе властвовала беспрекословно сторона Ляпуновых и Голицына, решительных противников и Шуйского, и Самозванца, и ляхов: она хотела своего царя — и в сем смысле Дума писала от имени синклита, людей приказных и воинских, стольников, стряпчих, дворян и детей боярских, гостей и купцов, ко всем областным воеводам и жителям, что Шуйский, вняв челобитью земли Русской, оставил государство и мир, для спасения отечества; что Москва целовала крест не поддаваться ни Сигизмунду, ни злодею тушинскому; что все россияне должны восстать, устремиться к столице, сокрушить врагов и выбрать всю землю самодержца вождя. В сем же смысле отвечали бояре и гетману Жолкевскому, который, узнав в Можайске о Василиевом низвержении, объявил им грамотою, что идет защитить их в бедствиях. «Не требуем твоей защиты, — писали они: — не приближайся, или встретим тебя как неприятеля». Но Дума боярская, присвоив себе верховную власть, не могла утвердить ее в слабых руках своих, ни утишить всеобщей тревоги, ни обуздать мятежной черни. Самозванец грозил Москве нападением, гетман к ней приближался, народ вольничал, холопы не слушались господ и многие люди чиновные, страшась быть жертвою безначалия и бунта, уходили из столицы, даже в стан к Лжедмитрию, единственно для безопасности личной. В сих обстоятельствах ужасных

сторону Ляпуновых и Голицына превозмогла другая, менее благоприятная для народной гордости, хотя и менее лукавая: ибо ее главою был князь Федор Мстиславский, известный добродушием и верностию, чуждый властолюбия и козней.

В то время, когда Москва без царя, без устройства, всего более опасалась злодея тушинского и собственных злодеев, готовых душегубствовать и грабить в стенах ее, когда отечество смятенное не видало между своими ни одного человека, столь знаменитого родом и делами, чтобы оно могло возложить на него венец единодушно, с любовью и надеждою — когда измены и предательства в глазах народа унизили самых первых вельмож и два несчастные избрания доказали, сколь трудно бывшему подданному державствовать в России и бороться с завистью: тогда мысль искать государя вне отечества, как древние новгородцы искали князей в земле Варяжской, могла естественно представиться уму и добрых граждан. Мстиславский, одушевленный чистым усердием — вероятно, после тайных совещаний с людьми важнейшими — торжественно объявил боярам, духовенству, всем чинам и гражданам, что для спасения царства должно вручить скипетр... Владиславу. Кто мог сам и не хотел быть венценосцем, того мнение и голос имели силу; имели оную и домогательства единомышленников Салтыкова, особенно Волуева, и наконец явные выгоды сего избрания. Жолкевский, грозный победитель, делался нам усердным другом, чтобы избавить Москву от злодеев: он писал о том (31 июля) к Думе боярской, вместе с Иваном Салтыковым и Волуевым, которые сообщили ей договор тушинских послов с Сигизмундом и новейший, заключенный гетманом в Цареве-Займище для целости Веры и государства. Надеялись, что король пленится честью видеть сына монархом великой державы и дозволит ему переменить Закон, или Владислав юный, еще не твердый в догматах латинства, легко склонится к нашим и вопреки отцу, когда сядет на престол Московский, увидит необходимость единоверия для крепкого союза между царем и народом, возмужает в обычаях православия и, будучи уважаем как венценосец знаменитого державного племени, будет любим как истинный россиянин духом. Еще благородная гордость страшилась унижения взять невольню властителя от ляхов, молить их о спасении России и тем оказать ее постыдную слабость. Еще духовенство страшилось за Веру, и патриарх убеждал бояр не жертвовать церкви никаким выгодам государственным: уже не имея средства возвратить венец Шуйскому, он предлагал им в цари или князя Василия Голицына или юного Михаила, сына Филаретова, внука первой супруги Иоанновой. Духовенство благоприятствовало Голицыну, народ Михаилу, любезному для него памяти Анастасии, добродетелию отца и даже тезоименитством с усопшим Героем России... Так Ермоген бессмертный предвестия ей волю Небес! Но время еще не наступило — и гетман уже стоял под Москвою, на Сетуни, против Коломенского и Лжедмитрия: ни Голицын, крамольник в синклите и беглец на поле ратном, ни юноша, питомец келий, едва известный свету, не обещали спасения Москве, извне теснимой двумя неприятелями, внутри волнуемой мятежом; каждый час был дорог — и большинство голосов в Думе, на самом лобном месте, решило: «принять совет Мстиславского!»

Немедленно послали к гетману спросить, друг ли он Москве или неприятель? «Желаю не крови вашей, а блага России, — отвечал Жолкевский: — предлагаю вам державство Владислава и гибель Самозванца». Дали взаимно аманатов: вступили в переговоры, на Девичьем поле, в шатре, где бояре, князя Мстиславский, Василий Голицын и Шереметев, окольный князь Мезецкий и дьяки думные Телепнев и Луговской с честью встретили гетмана, объявляя, что Россия готова признать Владислава царем, но с условиями,

необходимыми для ее достоинства и спокойствия. Дьяк Телепнев, развернув свиток, прочитал сии условия, столь важные, что гетман ни в каком случае не мог бы принять их без решительного согласия королевского: король же не только медлил дать ему наказ, но и не отвечал ни слова на все его донесения после Клушинского дела, заботясь единственно о взятии Смоленска и с гордоотию являя гетмановы трофеи, знамена и пленников, Шеину непреклонному! Жолкевский, равно смелый и благоразумный, скрыв от бояр свое затруднение, спокойно рассуждал с ними о каждой статье предлагаемого договора: отвергал и соглашался королевским именем. Выслушав первое требование, чтобы Владислав крестился в нашу Веру, он дал им надежду, но устранил обязательство, говоря: «да будет королевич царем, и тогда, внимая гласу совести и пользы государственной, может добровольно исполнить желание России». Устранил, до особенного Сигизмундова разрешения, и другие статьи: «1) Владиславу не сноситься с папою о Законе; 2) утвердить в России смертную казнь для всякого, кто оставит греческую Веру для латинской; 3) не иметь при себе более пятисот ляхов; 4) соблюсти все титула царские (следственно Государя Киевского и Ливонского) и жениться на россиянке»; но все прочее, как согласное с договором Салтыкова и Волуева, было одобрено Жолкевским, хотя и не вдруг: ибо он с умыслом замедлял переговоры, тщетно ожидая вестей от короля; наконец уже не мог медлить, опасаясь нетерпения россиян и своих ляхов, готовых к бунту за невыдачу им жалованья, — и 17 августа подписал следующие достопамятные условия:

«1) Святейшему патриарху, всему духовенству и синклиту, дворянам и дьякам думным, стольникам, дворянам, стряпчим, жильцам и городским дворянам, головам стрелецким, приказным людям, детям боярским, гостям и купцам, стрельцам, козакам, пушкарям и всех чинов служивым и жилецким людям Московского государства бить челом великому государю Сигизмунду, да пожалует им сына своего, Владислава, в цари, коего все россияне единодушно желают, целуя святой крест с обетом служить верно ему и потомству его, как они служили прежним великим государям московским.

2) Королевичу Владиславу венчаться царским венцом и диадемою от святейшего патриарха и духовенства греческой церкви, как издревле венчались самодержцы российские.

3) Владиславу-царю блюсти и чтить святыя храмы, иконы и мощи целебные, патриарха и все духовенство; не отнимать имения и доходов у церквей и монастырей; в духовные и святительские дела не вступаться.

4) Не быть в России ни латинским, ни других исповеданий костелам и молебным храмам; не склонять никого в римскую, ни в другие веры, и жидам не въезжать для торговли в Московское государство.

5) Не переменять древних обычаев. Бояре и все чиновники, воинские и земские, будут, как и всегда, одни россияне; а польским и литовским людям не иметь ни мест, ни чинов: которые же из них останутся при государе, тем может он дать денежное жалованье или поместья, не стесняя чести московских, боярских и княжеских родов честию новых выходцев иноземных.

6) Жалованье, поместья и вотчины россиян неприкосновенны. Если же некоторые наделены сверх достоинства, а другие обижены, то советоваться государю с боярами и сделать, что уложат вместе.

7) Основанием гражданского правосудия быть Судебнику, коего нужное исправление и дополнение зависит от государя, Думы боярской и земской.

8) Уличенных государственных и гражданских преступников казнить единственно по осуждению царя с боярами и людьми думными; имение же казненных наследуют их невинные жены, дети и родственники. Без сего торжественного суда боярского никто не лишается ни жизни, ни свободы, ни чести.

9) Кто умрет бездетен, того имение отдавать ближним его или кому он прикажет; а в случае недоумения решить такие дела государю с боярами.

10) Доходы государственные остаются прежние; а новых налогов не вводить государю без согласия бояр, и с их же согласия дать льготу областям, поместьям и вотчинам разоренным в сии времена смутные.

11) Земледельцам не переходить ни в Литву, ни в России от господина к господину, и всем крепостным людям быть навсегда такими.

12) Великому государю Сигизмунду, Польше и Литве утвердить с великим государем Владиславом и с Россиєю мир и любовь навеки и стоять друг за друга против всех неприятелей.

13) Ни из России в Литву и Польшу, ни из Литвы и Польши в Россию не переводить жителей.

14) Торговле между обоими государствами быть свободною.

15) Королю уже не приступать к Смоленску и немедленно вывести войско из всех городов российских; а платеж из московской казны за убытки и на жалованье рати литовской и польской будет уставлен в договоре особенном.

16) Всех пленных освободить без выкупа, все обиды и насилия предать вечному забвению.

17) Гетману отвести Сапегу и других ляхов от Лжедмитрия, вместе с боярами взять меры для его истребления идти к Можайску, как скоро уже не будет сего злодея, и там ждать указа королевского.

18) Между тем стоять ему с войском у Девичьего монастыря и не пускать никого из своих людей в Москву, для нужных покупок, без дозволения бояр и без письменного вида.

19) Дочери воеводы Сендомирского, Марине, ехать в Польшу и не именоваться государынею Московскою.

20) Отправиться великим послам российским к государю Сигизмунду и бить челом, да крестится государь Владислав в Веру греческую, и да будут приняты все иные условия, оставленные гетманом на разрешение его королевского величества».

Итак россияне, быв недовольны собственным желанием царя Василия умерить самодержавие, в четыре года переменили мысли и хотели еще более ограничить верховную власть, уделяя часть ее не только боярам, в правосудии и в налогах, но и Земской думе в гражданском законодательстве. Они боялись не самодержавия вообще (как увидим в истории 1613 года), но самодержавия в руках иноплеменного, еще иноверного монарха, избираемого в крайности, неволью и без любви, — и для того предписали ему условия, согласные с выгодами боярского властолюбия и с видами хитрого Жолкевского, который, любя вольность, не хотел приучить наследника Сигизмундова, будущего монарха польского, к беспредельной власти в России.

Утвердив договорную грамоту подписям; и печатями — с одной стороны, Жолкевский и все его чиновники, а с другой, бояре — звали народ к присяге. Среди Девичьего поля, в сени двух шатров великолепных, стояли два алтаря, богато украшенные; вокруг алтарей духовенство, патриарх, святители, с иконами и крестами, за духовенством бояре и

сановники, в одеждах блестящих серебром и золотом; далее бесчисленное множество людей, ряды конницы и пехоты, с распущенными знаменами, ляхи и россияне. Все было тихо и чинно. Гетман с своими воеводами вступил в шатер, приблизился к алтарю, положил на него руку и дал клятву в верном соблюдении условий, за короля и королевича, Республику Польскую и Великое княжество Литовское, за себя и войско. Тут два архиерея, обратясь к боярам и чиновникам, сказали громогласно: «Волею святейшего патриарха, Ермогена, призываем вас к исполнению торжественного обряда: целуйте крест, вы, мужи думные, все чины и народ, в верности к царю и великому князю Владиславу Сигизмундовичу, ныне благополучно избранному, да будет Россия, со всеми ее жителями и достоянием, его наследственной державою!» Раздался звук литавр и бубнов, гром пушечный и клик народный: «Многие лета государю Владиславу! Да царствует с победою, миром и счастьем!» Тогда началась присяга: бояре и сановники, дворянство и купечество, воины и граждане, числом не менее трехсот тысяч, как уверяют, целовали крест с видом усердия и благоговения. Тогда изменники прежние, Иван Салков, Волуев и клеветы их, ревностные участники и главные пособники договора, об-нялись с москвитянами, уже как с братьями в общей измене Василию и в общем подданстве Владиславу!.. Гонцы от Думы боярской спешили во все города, объявить им нового царя, конец смутениям и бедствиям; а гетман великолепным пиром в стане угостил знатнейших россиян и каждого из них одарил щедро, раздав им всю добычу Клушинской битвы, коней азиатских, богатые чаши, сабли, и не оставив ничего драгоценного ни у себя, ни у своих чиновников, в надежде на сокровища московские. Первый вельможа, князь Мстиславский, отплатил ему таким же роскошным пиром и такими же дарами богатыми.

Одним словом, умный гетман достиг цели — и Владислав, хотя только Москвою избранный, без ведома других городов, и следственно незаконно, подобно Шуйскому, остался бы, как вероятно, царем России и переменил бы ее судьбу ослаблением самодержавия — и переменил бы тем, может быть, и судьбу Европы на многие веки, если бы отец не имел ум Жолкевского!

Но еще крест и Евангелие лежали на алтарях Девичьего поля, когда вручили гетману грамоту Сигизмундову, привезенную Федором Андроновым, печатником и думным дьяком, усердным слугою ляхов, изменником государства и православия: Сигизмунд писал к гетману, чтобы он занял Москву именем королевским, а не Владиславовым; о том же писал к нему и с другим, знатнейшим послом, Госевским. Гетман изумился. Торжественно заключить и бесстыдно нарушить условия; вместо юноши беспорочного и любезного представить России в венценосцы старого, коварного врага ее, виновника или питателя наших мятежей, известного ревнителя латинской Веры и братства иезуитского; действовать одною силою с войском малочисленным против целого народа, ожесточенного бедствиями, озлобленного ляхами, казалось гетману более, нежели дерзостью — казалось безумием. Он решился исполнить договор, утаить волю королевскую от россиян и своих сподвижников, сделать требуемое честью и благом республики, вопреки Сигизмунду и в надежде склонить его к лучшей политике.

Согласно с договором, надлежало прежде всего отвлечь ляхов от Самозванца. Сей злодей думал ослепить Жолкевского разными льстивыми уверениями: клялся царским словом выдать королю 300 000 золотых и в течение десяти лет ежегодно платить республике столько же, а королевичу 100 000 — завоевать Ливонию для Польши и Швецию для Сигизмунда — не стоять и за Северскую землю, когда будет царем; но Жолкевский, известив Сапегу, что

Россия есть уже царство Владислава, убеждал его присоединиться к войску республики, а бродягу упасть к ногам королевским, обещая ему за такое смирение Гродно или Самбор в удел. Послы гетмановы нашли Лжедмитрия в обители Угрешской, где жила Марина: выслушав их предложение, он сказал: «хочу лучше жить в избе крестьянской, нежели милостию Сигизмундовою!» Тут Марина вбежала в горницу; пылая гневом, злословила, поносила короля и с насмешкою промолвила: «Теперь слушайте мое предложение: пусть Сигизмунд уступит царю Димитрию Краков и возьмет от него, в знак милости, Варшаву!» Ляхи также гордились и не слушали гетмана, который, видя необходимость употребить силу, вместе с князем Мстиславским и пятнадцатью тысячами москвитян, выступил против своих мятежных единоплеменников. Уже начиналось и кровопролитие; но малочисленное и худое войско Лже-дмитриево не могло обещать себе победы: Сапега выехал из рядов, снял шапку пред Жолкевским, дал ему руку в знак братства — и чрез несколько часов все усмирилось. Ляхи и россияне оставили Лжедмитрия: первые объявили себя до времени слугами республики; последние целовали крест Владиславу, и между ими бояре князя Турецкого и Долгорукий, воеводы коломенские; а Самозванец и Марина ночью (26 августа) ускакали верхом в Калугу, с атаманом Заруцким, с шайкою Козаков, татар и россиян немногих.

Гетман действовал усердно: бояре усердно и прямодушно. Началось беспрекословно царствование Владислава в Москве и в других городах: в Коломне, Туле, Рязани, Твери, Владимире, Ярославле и далее. Молились в храмах за государя нового; все указы писались, все суды производились его именем; спешили изобразить оное на медалях и монетах. Многие радовались искренно, алкая тишины после таких мятежей бурных. Многие — и в их числе патриарх — скрывали горесть, не ожидая ничего доброго от ляхов. Всего более торжествовали старые изменники тушинские, первые имев мысль о Владиславе: Михайло Салтыков, князь Рубец-Мосальский и Федор Мещерский, дворяне Кологривов, Василий Юрьев, Молчанов, быв дотоле у Сигизмунда, явились в столице с видом лицемерного умиления, как бы великодушные изгнанники и страдальцы за любовь к отечеству, им возвращаемому милостию Божиею, их невинностию и добродетелию. Они целою толпою пришли в храм Успения и требовали благословения от Ермогена, который, велев удалиться одному Молчанову, мнимому еретику и чародею, сказал другим: «Благословляю вас, если вы действительно хотите добра государству; но если вы ляхи душою, лукавствуете и замышляете гибель православия, то клянусь именем церкви». Обливаясь слезами, Михайло Салтыков уверял, что государство и православие спасены навеки — уверял, может быть, непритворно, желая, чего желала столица вместе с знатною частью России: Владиславова царствования на заключенных условиях. Сам гетман не имел иной мысли, ежедневными письмами убеждая Сигизмунда не разрушать дела, счастливо совершенного добрым Гением республики, а бояр московских пленяя изображением златого века России под державою венценосца юного, любезного, готового внимать их мудрым наставлениям и быть сильным единственно силою закона. Жолкевский не хотел явно властвовать над Думою, довольствуясь единственно внушениями и советами. Так он доказывал ей необходимость изгладить в сердцах память минувшего общим примирением, забыть вину клеветов Самозванца, оставить им чины и дать все выгоды россиян беспорочных. Бояре не согласились, ответствуя: «возможно ли слугам обманщика равняться с нами?»... и сделали неблагоприятно, как мыслил Жолкевский: ибо многие из сих людей, оскорбленные презрением, снова ушли к Самозванцу в Калугу. Но гетман умел выслать из Москвы двух человек, опасаясь их знаменитости и тайного неудовольствия: князя Василия Голицына, одобренного духовенством искателя державы, и Филарета, коего сыну желали венца народ и лучшие граждане: оба, как устроил гетман, должны были в качестве великих послов ехать к Сигизмунду, чтобы вручить ему хартию Владиславова избрания, а Владиславу утварь царскую, — требовать их согласия на статьи договора, не решенные гетманом, и между тем служить королю аманатами; ответственность своею головою за верность россиян! Товарищами Филарета и Голицына были окольный князь Мезецкий, думный дворянин Сукин, дяки Луговский и Сыдавный-Васильев, архимандрит новоспасский Евфимий, келарь лавры Авраамий, угрешский игумен Иона и Вознесенский протоиерей Кирилл. Отпев молебен с коленопреклонением в соборе Успенском, дав послам благословение на путь и грамоту к юному Владиславу о величии и православии России, Ермоген заклинал их не изменять церкви, не пленяться мирскою лестиею — и ревностный Филарет с жаром произнес обет умереть верным. Сие важное, великолепное посольство, сопровождаемое множеством людей чиновных и пятьюстами воинских, выехало 11 сентября из Москвы... а чрез десять дней ляхи были уже в стенах Кремлевских!

Таким образом случилось первое нарушение договора, по коему надлежало гетману отступить к Можайску. Употребили лукавство. Опасаясь непостоянства россиян и желая

скорее иметь все в руках своих, гетман склонил не только Михаила Салтыкова с тушинскими изменниками, но и Мстиславского, и других бояр легкоумных, хотя и честных, требовать вступления ляхов в Москву для усмирения мятежной черни, будто бы готовой призвать Лжедмитрия. Не слушали ни патриарха, ни вельмож благоразумнейших, еще ревностных к государственной независимости. Впустили иноземцев ночью; велели им свернуть знамена, идти безмолвно в тишине пустых улиц, — и жители на рассвете увидели себя как бы пленниками между воинами королевскими: изумились, негодовали, однако ж успокоились, веря торжественному объявлению Думы, что ляхи будут у них не господствовать, а служить: хранить жизнь и достояние Владиславовых подданных. Сии мнимые хранители заняли все укрепления, башни, ворота в Кремле, Китае и Белом городе; овладели пушками и снарядами, расположились в палатах царских и в лучших домах целыми дружинами для безопасности. По крайней мере не дерзали своевольствовать, ни грабить, ни оскорблять жителей; избрали чиновников, для доставления запасов войску, и судей, для разбора всяких жалоб. Гетман властвовал, но только указами Думы; изъявлял снисходительность к народу, честил бояр и духовенство. Дворец Кремлевский, где пили и веселились сонмы иноплеменных ратников, уподоблялся шумной гостинице; Кремлевский дом Борисов, занятый Жолкевским, представлял благолепие истинного дворца, ежечасно наполняясь, как в Феодорово время, знатнейшими россиянами, которые искали там совета в делах отечества и милостей личных: так гетман именем царя Владислава дал первому боярину, князю Мстиславскому, не хотевшему быть венценосцем, сан конюшого и слуги. Утратив честь, хвалились тишиною, даром умного Жолкевского!

Довольные тем, что он не впустил Сапеги с шайками разбойников в столицу, выдав ему из царской казны 10 000 злотых и склонив его идти на зиму в Северскую землю, россияне спокойно видели несчастного Василия в руках ляхов: вопреки намерению бояр удалить сего невольного инока в Соловки, гетман послал его с литовскими приставами в Иосифовскую обитель, чтобы иметь в нем залог на всякий случай. Россияне снесли также избрание ляха Госевского в предводители осьмнадцати тысяч московских стрельцов, которые со времен расстриги, едва не спасенного ими, уже чувствовали свою силу и могли быть опасны для иноплеменников: Госевский снискал их любовь ласкою, щедростию и пирами. «Упорствовал в зложелательстве к нам, — пишут ляхи, — только осьмидесятилетний патриарх, боясь государя иноверного; но и его, уже хладное, загрубелое сердце смягчалось приветливостию и любезным обхождением гетмана, в частых с ним беседах всегда хвалившего греческую Веру, так что и патриарх казался наконец искренним ему другом». Ермоген был другом единственно отечества, и в глубокой старости еще пылал духом, как увидим скоро!

Утвердив спокойствие в Москве, и заняв отрядами все города Смоленской дороги для безопасного сношения с королем, гетман ждал нетерпеливо вестей из его стана; ждал согласия души слабой на дело смелое, великое — и решительно уверял бояр в немедленном прибытии к ним Владислава... Но Судьба, благословенная для России, влекла ее к другому назначению, готова ей новые искушения и новые имена для бессмертия!

Как несчастный царь Василий с своими братьями завидовал князю Михаилу Шуйскому, так Сигизмунд с своими панами завидовал гетману, хотя слава обоих великих мужей была славою их отечества и государя: ослепление страстей, удивительное для разума, и тем не менее обыкновенное в действиях человеческих! Недоброжелатели гетмановы, Потоцкие и друзья их, говорили королю: «Не успехи случайные, но правила твердые, внушаемые зрелую

мудростию, должны быть нам руководством в деле столь важном. Извлекая меч, ты, государь, объявил, что думаешь единственно о благе республики: теперь, имея случай распространить ее владения, можешь ли упустить его только для чести видеть сына на престоле Московском? Отдашь ли пятнадцатилетнего юношу, без советников и блюстителей, в руки людей упоенных духом мятежа и крамолы? Что ответствует за их верность и безопасность сего престола, облитого кровию? Не скажет ли народ твой, ревнитель свободы, что ты пленяешься властью самодержавною? Если же царство Российское столь завидно, то, взяв Смоленск, иди в Москву, и собственною рукою, как победитель, возьми ее державу!» Хотя рассудительные вельможи, Лев Сапега и другие, умоляли короля немедленно принять договор гетманов, немедленно отпустить Владислава в Москву, дать ему Жолкевского в наставники и легион поляков в блюстители, обогатить казну республики казною царскою, удовлетворить ею всем требованиям войска, — наконец утвердить вечный союз Литвы с Россиею; но король следовал мнению первых советников: хотел сам быть царем или завоевателем России — и в сем расположении ждал послов московских, Филарета и Голицына, коих личное избрание — то есть, удаление — должно было содействовать видам хитрого гетмана, но обратилось единственно во славу их великодушной твердости, без пользы для Литвы, без пользы и для России, кроме чести иметь таких мужей государственных!

Менее других веря гетману, или Сигизмунду, они еще с дороги известили Думу, что вопреки условиям ляхи грабят в уездах Осташкова, Ржева и Зубцова; что Сигизмунд велит дворянам российским присягать ему и Владиславу вместе, обещая им за то жалованье и земли. 7 октября послы увидели Смоленск и стан королевский, куда их не впустили: указали им место на пустом берегу Днепра, где они расположились в шатрах терпеть ненастье, холод и голод... Те, которые предлагали царство Владиславу, требовали пищи от Сигизмунда, жалуясь на бедность, следствие долговременных опустошений и мятежей в России; а вельможи литовские отвечали: «Король здесь на войне, и сам терпит нужду!» Представленные Сигизмунду (12 октября), Голицын, Мезецкий и дьяки, — один за другим, как обыкновенно — торжественными речами изъяснили вину своего посольства и, сказав, что Шуйский добровольно оставил царство, именем России били челом о Владиславе. Вместо короля гордо ответствовал канцлер Сапега: «Все вечный Бог богов назначил степени для монархов и подданных. Кто дерзает возноситься выше своего звания, того он казнит и низвергает: казнил Годунова и низвергнул Шуйского, венценосцев, рожденных слугами!.. Вы узнаете волю королевскую». И чрез несколько дней объявили им сию волю!

Как ни важны были статьи договора, устраненные Жолкевским; хотя патриарх и бояре в наказе, даном послам, велели им неотступно «требовать и молить слезно, чтобы королевич — находившийся тогда в Литве — принял греческую Веру от Филарета и смоленского епископа, ехал в Москву уже православный и тем отвратил соблазн, нетерпимый и в Польше, где государи должны быть всегда одной Веры с народом»: но царствование Владислава зависело единственно от согласия королевского на статьи, утвержденные гетманом: ибо россияне целовали крест первому без всякой оговорки, довольствуясь надеждою склонить его к своему Закону уже в царском сане. Главным делом для послов было возвратиться в Москву с Владиславом, дать отца сиротам, жизнь, душу составу государственному, полумертвому без государя... И что же? Вельможи королевские объявили им в самом начале переговоров, что Владислав малолетний не может устроить царства смятенного; что Сигизмунд должен прежде утишить оное и занять Смоленск, будто бы

преклонный к Лжедмитрию. Послы отвечали: «Королевич молод, но Бог устроит державу разумом его и счастьем, нашим радением и вашими советами, вельможи думные. Смоленск не имеет нужды в воинах иноземных: оказав столько верности во времена самые бедственные, столько доблести в защите против вас, изменит ли чести ныне, чтобы служить бродяге? Ручаемся вам душами за боярина Шеина и граждан: они искренне, вместе с Россиею, присягнут Владиславу». Для чего же и не Сигизмунду? возразили паны: государи суть земные Боги, и воля их священна. Вы оскорбляете короля своим недоверием, дерзая разделять отца с сыном: Смоленск должен присягнуть им обоим. Филарет и Голицын изумились. «Мы избрали Владислава, а не Сигизмунда, — сказали они, — и вы, избрав шведского принца в короли, не целовали креста родителю его, Иоанну». Сравнение нелепое! воскликнули паны: Иоанн не спасал нашей республики, как Сигизмунд спасает Россию: ибо, взяв Смоленск, древнюю собственность Литвы, пойдет с войском к Калуге, чтобы истребить Лжедмитрия и тем успокоить Москву, где еще не все жители усердствуют королевичу, — где много людей зломысленных и мятежных. «Нет надобности Сигизмунду, — говорили послы, — и для великого монарха унижительно идти самому против злодея калужского: пусть велит только Жолкевскому соединиться с россиянами, чтобы общими силами истребить его, как уставлено в договоре! Поход королевский внутрь государства разоренного еще умножил бы зло. Ты, Лев Сапега, бывал в России; знал ее богатство, многолюдство, цветущие города и селения: ныне осталась единственно тень их, пепелища, обгорелые стены; жители изгибли, отведены пленниками в Литву, разбежались в иные земли... А кто виною? ваши грабители еще более, нежели самозванцы: да удалятся же навеки, и Россия будет, что была, — по крайней мере в течение времени. Гнусный Лжедмитрий и без вашего содействия исчезнет. Упорнейшие из клеветов тушинских и целые города, обольщенные именем Дмитрия, возвратились под сень отечества, как скоро услышали о новом царе законном. Вы говорите о московских мятежниках: их не знаем, виде собственными глазами, что все, от мала до велика, и там и в других городах целовали крест Владиславу с живейшею радостью. Нет, синклит и народ немедленно казнили бы первого, кто дерзнул бы изменить святому обету верности. Одним словом, исполните только договор, утвержденный клятвою гетмана от имени короля и республики. Дело было кончено, к обоюдному удовольствию: не вымышляйте нового, чтобы нашедши не потерять и не каяться. В случае вероломства, какие откроются бедствия! Вы знаете, что государство Московское обширно: еще не все разрушено, не все пало; есть Новгород Великий, многолюдная земля Поморская и Низовая; есть царство Казанское, Астраханское и Сибирское! Не снесут обмана и восстанут... Господь да спасет и вас и нас от следствий ужасных!»

Послы велели дьяку читать гетмановы условия: паны не хотели слушать; но вдруг как бы одумались и, ссылаясь на сей договор, требовали миллионов в уплату жалованья королевскому и даже Сапегину войску. «За то ли, — спросил Голицын, — что Сапега, клевет низкого злодея, обнажил наши церкви, иконы, гробы Святых и пил кровь христиан? Да и войско королевское что сделало и делает в России? губит людей и достояние; какое право на мзду и благодарность? Но когда успокоится держава, тогда царь Владислав, патриарх, бояре и чины государственные условятся с Сигизмундом о вознаграждении ваших убытков. Договор помним; хотели напомнить его вам, и спрашиваем: дает ли король сына на престол Московский?»... Жалуется, сказали наконец паны (октября 23). Тут Филарет, Голицын, Мезецкий встали и поклонились до земли, изъявляя радость, славя мудрость

Сигизмундову и счастливое царствование Владислава; а Лев Сапега в ответ на статьи, не решенные гетманом, объявил королевским именем: 1) что в крещении и женитьбе Владислава волен Бог и Владислав; 2) что он не будет сноситься о Вере с папою; 3) что смертная казнь для отметников греческого исповедания в России утверждается; 4) что о числе ляхов, коим быть при особе царя, послы могут условиться с ним самим; 5) что все иные желанья и требования россиян предложатся сейму в Варшаве, где, с его согласия, король даст им сына в цари, но прежде заняв Смоленск, истребив Лжедмитрия и совершенно умирив Россию... Тут исчезла радость послов! Паны изъясняли им, что если бы Сигизмунд, не сделав ничего, выступил из России, то вольные ляхи и козаки, числом не менее восьмидесяти тысяч в ее пределах, соединились бы с Лжедмитрием; что король хочет Смоленска не для себя, а для Владислава: ибо оставит ему все в наследство, и Литву и Польшу; что смоленские граждане должны присягнуть королю единственно из чести! Но Филарет и Голицын, видя намерение Сигизмунда только манить Россию Владиславом и взять ее себе в добычу или раздробить, выразили негодование столь сильно, что гневные папы уже не хотели говорить с ними, воскликнув: «Конец терпению и Смоленску! На вас будет его пепел и кровь жителей!»

О сем худом успехе посольства сведения в Москве с равною горестию и бояре благонамеренные и гетман честолубивый, который, все еще уверяя их в непреходящем исполнении своего договора, решился употребить крайнее средство: оставить Москву, только им утишаемую, и лично объясниться с королем. Сами россияне удерживали, заклинали его не предавать столицы опасностям безначалия и мятежей. Пожав руку у князя Мстиславского, он сказал ему: «Еду довершить мое дело и спокойствие России»; а ляхам: «Я дал слово боярам, что вы будете вести себя примерно для вашей собственной безопасности; поручаю вам царство Владислава, честь и славу республики». Преемникам его, то есть истинным градоначальникам Москвы, надлежало быть ляху Госевскому, с усердною помощию Михайла Салтыкова и дьяка Федора Андронина, названного государственным казначеем. Устроив все для хранения тишины, Жолкевский сел в колесницу и тихо ехал Москвою, провождаемый синклитом и толпами жителей. Улицы и кровли домов были наполнены людьми. Везде раздавались громкие клики: желали ему счастливого пути и скорого возвращения! Сие торжество гетманово ознаменовалось делом бесславнейшим для Боярской думы: она выдала бывшего царя своего иноплеменнику! Жолкевский взял с собою двух братьев Василиевых — и народ московский любопытно смотрел, как их везли в особенных колесницах пред гетманом! Жене князя Дмитрия Шуйского дозволили ехать с мужем; а несчастную царицу удалили в Суздальскую девичью обитель. Гетман заехал в Иосифов монастырь, взял там самого Василия и в мирской, литовской одежде, как узника, повез к Сигизмунду! «О время стыда и бесчувствия! — восклицает современник: — Мы забыли Бога! Какой ответ дадим ему и людям? Что скажем чужим государствам себе в оправдание, самовольно отдав царство и царя в плен иноверным? Не многие злодействовали; но мы видели и терпели, не имея великодушия умереть за добродетель». Так лучшие россияне скорбели внутренно, и в искреннем негодовании готовились, еще не зная и не думая, к восстанию отчаянному: час приближался!

Гетмана встретили пышно воеводы королевские и сенаторы; говорили ему речи и славляли его как Героя. Жолкевский, вместе с трофеями, представил Сигизмунду и своего державного пленника в богатой одежде. Все взоры устремились на Василия, безмолвного и неподвижного. Хотели, чтобы он поклонился королю: Царь московский, отвечивал

Василий, не кланяется королям. Судьбами Всевышняго я пленник, но взят не вашими руками: выдан вам моими подданными изменниками. «Его твердость, величие, разум заслужили удивление ляхов, — говорит летописец: — и Василий, лишенный венца, сделался честью России». Он еще имел нужду в сей твердости, чтобы великодушно сносить неволю, и тем заплатить последний долг отечеству в удостоверение, что оно могло без стыда именовать его четыре года своим венценосцем!.. Изъявив гетману благодарность за мнимую славу иметь такого пленника и за мнимое взятие Москвы, король не хотел однако ж утвердить его договора. Напрасно Жолкевский доказывал, грозил: доказывал, что воцарением королевича Московская и Польская держава будут навеки единою к их обоюдному счастью и что никогда первая не признает Сигизмунда царем; грозил новою, жестокою, необозримою в бедствиях войною. Считая гетмана пристрастным к своему делу и жадным к личной славе, Сигизмунд не верил ему; твердил, что занятие Смоленска необходимо для блага республики и для его королевской чести; наконец велел самому Жолкевскому склонять послов московских к уступчивости миролюбивой.

С отчаянием в сердце гетман должен был исполнить королевскую волю; но, властвуя над собою, в переговорах с Филаретом и Голицыным казался убежденным в ее справедливости, и требовал от них Смоленска единственно в залог временный, для безопасного сообщения войска Сигизмундова с Литвою. «Вы боялись, — сказал он, — впустить нас и в Москву; а впустив, радовались! Не упорствуйте, или договор, заключенный мною с вами, столь благонамеренный, столь благословенный для обеих держав, уничтожится неминуемо. Король думает, что не взять Смоленска есть для него бесчестие; возьмет силою, и только из уважения к моему ходатайству медлит: секира лежит у корня!» Не хотели дать времени послам списаться с Москвою, говоря: «не Москва указывает королю, а король Москве»; требовали неукоснительного решения. В сих обстоятельствах Филарет и князь Голицын советовались с чиновниками и дворянами посольскими; желали знать мнение и смоленских детей боярских, которые приехали с ними, усердно служив Шуйскому до его низвержения. Все ответствовали: «Не вводить в Смоленск ни единого ляха. Если король дерзнет лить кровь, то она будет на нем, вероломном; им, не вами священный договор рушится». Дети боярские примолвили: «Наши матери и жены в Смоленске: пусть там гибнут; но города верного не отдавайте ляхам. И знайте, что вы не можете отдать его: защитники смоленские не послушаются вас как изменников». С твердостью отказав панам, Филарет и Голицын еще слезно заклинали их не испровергать дела гетманова и быть навеки братьями россиян; но тщетно! 21 ноября ляхи, новым подкопом взорвав Грановитую башню и часть городской стены, с немцами и козаками устремились к смоленской крепости; приступали три раза и были славно отражены Шеиным, в глазах Сигизмунда, гетмана и наших послов!.. Еще переговоры длились, хотя и бесполезно. Послы российские жили в тесном заключении: им не позволяли писать в Смоленск; мешали сношениям их с Москвою и с другими городами, так что они долгое время не имели никаких вестей, никаких предписаний от Думы боярской, слыша единственно от панов, что шведы воюют Россию, и Самозванец усиливается в Калуге, ожидая к себе крымцев и турков в сподвижники; что король датский готовится взять Архангельск; что все восстают, все идут на Россию; что она гибнет и может быть спасена только великодушным Сигизмундом.

Россия действительно гибла и могла быть спасена только Богом и собственною добродетелию! Столица, без осады, без приступа взятая иноплемениками, казалась нечувствительною к своему уничтожению и стыду. Бояре сидели в Думе и писали указы, но

слушаясь Госевского, который, уже зная Сигизмундову волю отвергнуть договор гетманов и предвидя следствия, употреблял все нужные меры для своей безопасности: высылал стрельцов из Москвы, чтобы уменьшить в ней число людей ратных; велел истребить все рогатки на улицах; запретил жителям носить оружие, толпиться на площадях, выходить ночью из домов, и везде усилил стражу. Выгнали дворян и богатейших купцов из Китая и Белого города за вал деревянного, чтобы в их домах поместить немцев и ляхов. Однако ж благоразумные предписания гетмановы исполнялись строго: не касались ни чести, ни собственности жителей, ни святыни церквей; наглость унимали и наказывали без милосердия. Один лях выстрелил в икону Богоматери, другой обесчестил девицу: их судили, и первого сожгли, а второго высекли кнутом. Еще тишина царствовала, и москвитяне пировали с ляхами, скрывая взаимное опасение и неприязнь, называясь братьями и нося камень за пазухою, как говорит историк-очевидец. Ляхи не верили терпению россиян, а россияне доброму намерению ляхов, видя их незаконное господство в столице, угодное только немногим знатным крамольникам: Салтыкову, Рубцу-Мосальскому и другим тушинским злодеям, которые хотя и предлагали иноплеменнику условия благовидные для нашей свободы, но вместо Владислава готовы были отдать Россию и Сигизмунду без всяких условий, чтобы под его державою спастись от праведной казни. Сильные мечом ляхов, они законодательствовали в робкой Думе, утверждая князя Мстиславского и других бояр слабых в надежде, что Сигизмунд даст им сына в цари, невзирая на свою медленность и требования несправедливые. Прошло около двух месяцев. Дума знала, что наши послы живут у короля в неволе; знала о приступе ляхов к Смоленску и все еще ждала Владислава! Долго молчал, король написал к ней, что он не продаст России в жертву злодею калужскому и гнусным его сообщникам: должен искоренить их, смирить мятежный Смоленск — и тогда возвратится в Литву, чтобы на сейме, в присутствии наших послов, утвердить договор московский. Между тем король от собственного имени давал указы Думе о вознаграждении бояр и сановников, к нему усердных: Салтыковых, Мосальского, Хворостинина, Мещерского, Долгорукого, Молчанова, печатника Грамотина и других, разоренных Шуйским: жаловал чины и места, земли и деньги; одним словом, уже действовал как властелин России, не имея ни тени права, — и Дума уважала его волю, как будто бы нераздельную с волею царя малолетнего! И люди знатные ездили из Москвы в стан королевский просить милостей, равно незаконных и срамных!.. Уже народ, менее Думы терпеливый, изъявлял досаду, не видя Владислава, и бояре, опасаясь мятежа, заклинали Сигизмунда удовлетворить сему нетерпению без отлагательства и без сейма: о Владиславе не было слуха, а король заботился единственно о взятии Смоленска!

В таком положении могла ли столица с ее мнимым правительством быть главою и душою государства? Все волновалось в неустройстве, без связи в частях целого, без единства в движениях. Областные жители, присягнув королевичу, с неудовольствием слышали о господстве ляхов в столице, с негодованием видели их чиновников, разосланных гетманом и Госевским для собрания дани на жалованье королевскому войску. Везде кричали: «Мы присягали Владиславу, а не гетману и не Госевскому!»

Жалобы еще удвоились от неистовства ляхов, которые вели себя благоразумно в одной Москве: презирая договор, они не только не выходили из наших городов, не только самовольствовали в них и грабили, но и жгли, мучили, убивали россиян. Где нет защиты от правительства, там нет к нему и повиновения. Новгородцы затворили ворота и долго не хотели впустить боярина Ивана Салтыкова, известного друга гетманова, присланного к ним

Думою с дружинами стрельцов, чтобы выгнать шведов из северной России: ибо союзник Делгагарди, после несчастной Клушинской битвы отступая к финляндским границам, уже действовал как неприятель; занял Ладогу, осадил Кексгольм и с горстию воинов мыслил отнять царство у Владислава, сам собою, без ведома Карлова, торжественно предлагая одного из шведских принцев нам в государи. Дав клятву новгородцам не вводить к ним ни одного ляха, Салтыков убедил их, как подданных Владиславовых, содействовать ему в изгнании шведов и в усмирении мятежников: вытеснил первых из Ладоги, но не мог выгнать из России, — ни смирить Пскова, где еще царствовало имя Лжедмитрия, и где злодействовал Лисовский, торгуя добычею разбоев и святотатства, пируя с жителями как с братьями и грабя их как неприятель. Великие Луки, занятые его сподвижником, изменником Просовецким, Яма, Иваньгород, Копорье, Орешек также упорствовали в верности к Самозванцу, от ненависти к ляхам. Сия ненависть произвела тогда еще новую, разительную измену. Знаменитая именем царства, Казань, в счастливейшие дни тушинского злодея быв верною Москве, вдруг пристала к нему, уже почти всеми отверженному и презренному! Ее чернь и граждане, сведав о вступлении гетмана в столицу, возмутились; объявили, что лучше хотят служить калужскому царьку, нежели зловерной Литве, и целовали крест Лжедмитрию, следуя внушению лазутчиков и слуг его, которые были им тогда посланы в Астрахань и находились в Казани. Воевода, славный любимец Иоаннов, Бельский, уговаривал народ не присягать ни Владиславу, ни Лжедмитрию, а будущему венценосцу московскому, без имени; стыдил, заклинал — и был жертвою яростной черни, подстрекаемой дьяком Шульгиным: Бельского схватили, кинули с высокой башни и растерзали — того, кто служил шести царям, не служа ни отечеству, ни добродетели; лукавствовал, изменял... и погиб в лучший час своей государственной жизни как страдалец за достоинство народа российского! Другой воевода казанский, боярин Морозов, и люди чиновные не дерзнули противиться ослепленным гражданам и вместе с ними писали к жителям северных областей, что Москва сделалась Литвою, а Калуга столицею отечества; что имя Дмитрия должно соединить всех истинных россиян для восстановления государства и церкви. Но казанцы присягнули уже тени!

Никем не тревожимый в Калуге и до времени нужный Сигизмунду как пугалище для Москвы, Самозванец, имея тысяч пять Козаков, татар и россиян, еще грозил и Москве и Сигизмунду, мучил ляхов, захватываемых его шайками в разъездах, и говорил: «Христиане мне изменили: итак, обращусь к магометанам; с ними завоюю Россию, или не оставлю в ней камня на камне: доколе я жив, ей не знать покоя». Он думал, как пишут, удалиться в Астрахань, призвать к себе всех донцов и ногаев, основать там новую державу и заключить братский союз с турками! Между тем веселился, безумствовал и, хваляся дружбою магометан, то ласкал, то казнил их, на свою гибель. Судьба его решилась незапно. Хан или царь касимовский Ураз-Магмет во время Лжедмитриева бегства из Тушина не пристал ни к ляхам, ни к россиянам, и с новым усердием явился к нему в Калуге: но сын ханский донес, что отец его мыслит тайно уехать в Москву, — и Лжедмитрий, без всякого исследования, велел палачам своим Михайлу Бутурлину и Михневу умертвить несчастного Ураз-Магмета и кинуть в Оку; а князя ногайского Петра Араслана Урусова, хотевшего мстить сыну-клеветнику, посадил в темницу. Через несколько дней освобожденный и снова ласкаемый Самозванцем, Араслан уже пылал злобою непримиримою и, выехав с ним на охоту (декабря 11), в месте уединенном прострелил его насквозь пулею, сказав: «я научу тебя топить ханов и сажать мурз в темницу», отсек ему голову и с ногами ушел в Тавриду, прославив себя

злодейским истреблением злодея, который едва не овладел обширнейшим царством в мире, к стыду России не имел ничего, кроме подлой души и безумной дерзости.

С вестию о сем убийстве прискакал в Калугу шут Лжедмитриев, Кошелев, быв свидетелем оною. Сделалось страшное смятение. Ударили в набат. Марина отчаянная, полунагая, ночью с зажженным факелом бегала из улицы в улицу, требуя мести — и к утру не осталось ни единого татарина живого в Калуге: их всех, хотя и невинных в Араслановом деле, безжалостно умертвили козаки и граждане. Обезглавленный труп Лжедмитриев с честью предали земле в Соборной церкви, и Марина, в отчаянии не теряя ни ума, ни властолюбия, немедленно объявила себя беременною; немедленно и родила... сына, торжественно крещенного и названного царевичем Иоанном, к живейшему удовольствию народа. Готовился новый обман; но россияне чиновные, которые еще находились между последними клеветами Самозванца: князь Дмитрий Трубецкой, Черкасский, Бутурлин, Микулин и другие, уже не хотели служить ни срамной вдове двух обманщиков, ни ее сыну, действительному или мнимому; целовали крест государю законному, тому, кто волею Божиею и всенародно утвердился на Московском престоле; дали знать о сем Думе боярской; овладели Калугою и взяли Марину под стражу.

Россия, казалось, ждала только сего происшествия, чтобы единодушным движением явить себя еще не мертвою для чувств благородных: любви к отечеству и к независимости государственной. Что может народ в крайности уничижения без вождей смелых и решительных? Два мужа, избранные Провидением начать великое дело... и быть жертвою оною, бодрствовали за Россию: один старец ветхий, но адамант церкви и государства — патриарх Ермоген; другой, крепкий мышцею и духом, стремительный на пути закона и беззакония — Ляпунов Рязанский. Первому надлежало увенчать свою добродетель: второму примириться с добродетелию. Ляпунов враждовал, Ермоген усердствовал несчастному Шуйскому: новые бедствия отечества согласили их. Оба, уступив силе, признали Владислава, но с условием — и не безмолвствовали, когда, нарушая договор, гетман овладел столицею. Сигизмунд давал указы от своего имени и громил Смоленск, а ляхи злодействовали в мнимом Владиславовом царстве. Ляпунов знал все, что делалось в королевском стане, где находился его брат в числе дворян с Филаретом и Голицыным. Сей человек дерзкий и лукавый — известный Захария, один из главных виновников Василиева низвержения, в личине изменника пировал с вельможными панами, грубо смеялся над послами, винил их в упрямстве, но обманывал ляхов: наблюдал, выведывал и тайно сносился с братом, как ревностный противник Владиславова царствования. Так и некоторые из послов, светские и духовные, лицемерно изъявляли доброжелательство к Сигизмунду и были милостиво уволены им в Москву, обещая содействовать в ней его видам: думный дворянин Сукин, дьяк Васильев, архимандрит Евфимий и келарь Авраамий; но возвратились единственно для того, чтобы огласить в столице и в России вероломство гетманово или Сигизмундово. Уже Ермоген в искренних беседах с людьми надежными, Ляпунов в переписке с духовенством и чиновниками областей, убеждал их не терпеть насилия иноплеменников. Убеждения действовали, негодование возрастало — и как скоро услышали москвитяне о смерти Лжедмитрия, страшилища для их воображения, то, радуясь и славя Бога, вдруг заговорили смело о необходимости соединиться душами и головами для изгнания ляхов. Тщетно Сигизмунд — уже зная, вероятно, о гибели Самозванца и ли-шась предлога оставаться в России, будто бы для его истребления — писал (от 13 декабря) к боярам, что «Владислав скоро будет в Москву, а войско королевское идет против

калужского злодея»: Россия уже не хотела Владислава! Дума, в своем ответе, благодарила Сигизмунда за милость, требуя однако ж скорости и прибавляя, что россияне уже не могут терпеть сиротства, будучи стадом без пастыря или великим зверем без главы: но патриарх, удостоверенный в единомыслии добрых граждан, объявил торжественно, что Владиславу не царствовать, если не крестится в нашу Веру и не вышлет всех ляхов из державы Московской. Ермоген сказал: столица и государство повторили. Уже не довольствовались ропотом. Москва, под саблею ляхов, еще не двигалась, ожидая часа; но в пределах соседственных блеснули мечи и копья: начали вооружаться. Город сносился с городом; писали и наказывали друг к другу словесно, что пришло время стать за Веру и Государство. Особенное действие имели две грамоты, всюду разосланные из Москвы: одна к ее жителям от уездных смолян, другая от москвитян ко всем россиянам. Смоленяне писали: «Обольщенные королем, мы ему не противились. Что же видим? гибель душевную и телесную. Святые церкви разорены; ближние наши в могиле или в узах. Хотите ли такой же доли? Вы ждете Владислава и служите ляхам, угождая извергам, Салтыкову и Андронову; но Польша и Литва не уступят своего будущего венценосца вам, оставленным изменами. Нет, король и сейм, долго думав, решились взять Россию без условий, вывести ее лучших граждан и господствовать в ней над развалинами. Восстаньте, доколе вы еще вместе и не в узах; поднимите и другие области, да спасутся души и царство! Знаете, что делается в Смоленске: там горсть верных стоит неуклонно под щитом Богоматери и разит сонмы иноплеменников!» Москвитяне писали к братьям во все города: «Не слухом слышим, а глазами видим бедствие неизглаголанное. Заклинаем вас именем Судии живых и мертвых: восстаньте и к нам спешите! Здесь корень царства, здесь знамя отечества, здесь Богоматерь, изображенная евангелистом Лукою; здесь светильники и хранители церкви, митрополиты Петр, Алексей, Иона! Известны виновники ужаса, предатели студные: к счастью, их мало; не многие идут во след Салтыкову и Андронову — а за нас Бог, и все добрые с нами, хотя и не явно до времени: святейший патриарх Ермоген, прямой учитель, прямой наставник, и все христиане истинные! Дадите ли нас в плен и в латинство?» — Кроме Рязани, Владимир, Суздаль, Нижний, Романов, Ярославль, Кострома, Вологда ополчились усердно, для избавления Москвы от ляхов, по мысли Ляпунова и благословиению Ермогена.

[1611 г.] Что же сделало так называемое правительство, Боярская дума, сведав о сем движении, признаке души и жизни в государстве истерзанном?.. Донесло Сигизмунду на Ляпунова, как на мятежника, требуя казни его брата и единомышленника, Захарии; велело послам, Филарету и Голицыну, уважать Сигизмундову волю и ехать в Литву к Владиславу, если так будет угодно королю; велело Шеину впустить ляхов в Смоленск; выслало даже войско с князем Иваном Куракиным для усмирения мнимого бунта во Владимире. Но Филарет и Голицын уже все знали и благоприятствовали великому начинанию Ляпунова; заметили, что грамота боярская не скреплена патриархом, и не хотели повиноваться; дали тайно знать и смоленскому воеводе, чтобы он не исполнял указы Думы, — и доблий Шеин отвечивал королевским панам: «исполните прежде договор гетманов»; длит время в сношениях с ними и ждал избавления, готовый и на славную гибель. С другой стороны войско союзных городов близ Владимира встретило и разбило Куракина. Сим междуособным кровопролитием рушилась государственная власть Думы, оттоле признаваемая единственно невольною Москвою. Ляпунов, остановив все доходы казенные и не велел пускать хлеба в столицу, всенародно объявил вельмож синклита богоотступниками, преданными славе мира и враждебному Западу, не пастырями, а губителями христианского

стада. Таковы действительно были Салтыков и клеветы его; не таковы Мстиславский и другие, единственно запутанные в их сетях, единственно слабодушные, и с любовью к отечеству без умения избрать для него лучшее в обстоятельствах чрезвычайных: страшась народных мятежей более, нежели государственного уничтожения, они думали спасти Россию Владиславом, верили гетману, верили Сигизмунду — не верили только добродетели своего народа и заслужили его презрение, уступив добрую славу трем из мужей думных, князьям Андрею Голицыну, Воротынскому и Засекину, которые не таили своего единомыслия с Ермогеном, обличали предательство или заблуждение других бояр и были отданы под стражу в виде крамольников.

Уже москвитяне, слыша о ревностном восстании городов, переменились в обхождении с ляхами: быв долго смиренны, начали оказывать неуступчивость, строптивость, дух враждебный и сварливый, как было пред гибелью расстриги. Кричали на улицах: «Мы по глупости выбрали ляха в цари, однако ж не с тем, чтобы идти в неволю к ляхам; время разделаться с ними!» В грубых насмешках давали им прозвание хохлов, а купцы за все требовали с них вдвое. Уже начинались ссоры и драки. Госевский требовал от своих благоразумия, терпения и неусыпности. Они бодрствовали день и ночь, не снимая с себя доспехов, ни седел с коней; ежедневно, три и четыре раза, били тревогу; имели везде лазутчиков; осматривали на заставах возы с дровами, сеном, хлебом и находили в них иногда скрытое оружие. Высылали конные дружины на дороги, перехватили тайное письмо из Москвы к областным жителям и сведали, что они в заговоре с ними и что патриарх есть глава его; что москвитяне надеются не оставить ни одного ляха живого, как скоро увидят войско избавителей под своими стенами. Не взирая на то, Госевский еще не смел употребить средств жестоких, ни обезоружить стрельцов и граждан, ни свергнуть патриарха; довольствовался угрозами, сказав Ермогену, что святость сана не есть право быть возмутителем. Более наглости оказали злодеи российские. Михайло Салтыков требовал, чтобы Ермоген не велел ополчаться Ляпунову. «Не велю, — отвечивал патриарх, — если увижу крещенного Владислава в Москве и ляхов, выходящих из России; велю, если не будет того, и разрешаю всех от данной королевичу присяги». Салтыков в бешенстве выхватил нож: Ермоген осенил его крестным знаменем и сказал громогласно: «Сие знамение против ножа твоего, да взыдет вечная клятва на главу изменника!» И взглянув на печального Мстиславского, примолвил тихо: «Твое начало: ты должен первый умереть за Веру и государство; а если пленишься кознями сатанинскими, то Бог истребит корень твой на земле живых — и сам умрешь какою смертию?» Предсказание исполнилось, говорит летописец: ибо Мстиславский никак не хотел одобрить народного восстания и писал от имени синклита грамоту за грамотою к королю, что обстоятельства ужасны и время дорого; что одна столица еще не изменяет Владиславу, а держава в безначалии готова разделиться; что Иваньгород и Псков, обольщенные генералом Делагарди, желают иметь царем шведского принца; что Астрахань и Казань, где господствует злочастье Магометово, умышляют предаться шаху Аббасу; что области низовые, степные, восточные и северные до пустынь сибирских возмущены Ляпуновым; но что немедленное прибытие королевича еще может все исправить, спасти Россию и честь королевскую. Изменники же, Салтыков и Андронов, звали в Москву не Владислава, а самого короля с войском, ответственю ему за успех, то есть за порабощение России обманом и насилием.

Но Сигизмунд, вопреки настоянию бояр и даже многих польских сенаторов, вопреки собственному обету, не думал отправить сына в Москву; не думал и сам идти к ней с

войском, как предлагали ему наши изменники; сильно, упорно хотел одного: взять Смоленск — и ничего не делал; писал только указы синклиту уже вместе, от себя и Владислава, именуя его однако ж не царем, а просто королевичем; уверял бояр и всю Россию, что желает ее мира и счастья, умиленный нашими бедствиями, и будучи ревностным заступником греческого православия; желает соединить ее с республикою узами любви и блага общего, под нераздельным державством своего рода; что виною всего зла есть упрямство Шеина и князя Василия Голицына, не желающих ни Владислава, ни тишины; что до усмирения Смоленска нельзя предпринять ничего решительного для успокоения государства. Между тем, как бы уже спокойно властвуя над Россиею, Сигизмунд непрестанно извещал Думу о своих милостях: производил дворян в стольники и бояре, раздавал имения, вершил дела старые, предписывал казне платить долги купцам иноземным еще за Иоанна, в то время когда указы ее были уже ничтожны для России; когда города один за другим восставали на ляхов; когда и жители Смоленской области стерегли, истребляли их в разъездах, тревожа нападениями и в стане, откуда многие россияне, дотоле служив королю, уходили служить отечеству: так Иван Никитич Салтыков, пожалованный в бояре Сигизмундом, мнимый доброхот его, мнимый противник Ермогена, Филарета и Голицына, с целою дружиною ушел к Ляпунову. Напрасно Госевский ждал вспоможения от короля: видя необходимость действовать только собственными силами, он выслал шайки днепровских Козаков и московского изменника Исаю Сунбулова воевать места рязанские. Ляпунов, имея еще мало рати, выгнал толпы неприятельские из Пронска, но чрез несколько дней был осажден ими в сем городе и спасен князем Дмитрием Пожарским, уже ревностным его сподвижником: обратив их в бегство, и скоро разбив наголову у Зарайска, добрый князь Дмитрий избавил вместе и Ляпунова от плена и землю Рязанскую от грабежа; блеснул новым лучом славы и, с чистою душою пристав к великому делу, дал ему новую силу... Козаки бежали в Украину, предвидя несгоду злодейства, а Сунбулов в Москву с худою вестиею для изменников и ляхов, устрашаемых и восстанием областей и ножами москвитян. Но Госевский хвалился презрением к россиянам: надеялся управиться с боязливою Москвою, вопреки неблагоприятию короля соблюсти ее как важное завоевание для республики и с малым числом удалых воинов победить многолюдную сволочь.

Рать Ляпунова и других областных начальников была действительно странною смесью людей воинских и мирных граждан с бродягами и хищниками, коими в сии бедственные времена кипела Россия, и которые искали единственно добычи под знаменами силы, законной или незаконной: грабив прежде с ляхами, они шли тогда на ляхов, чтобы также грабить, и более мешать, нежели способствовать добру. Так атаман Просовецкий, быв клеветом и став неприятелем Лисовского, имел даже близ Пскова кровопролитную с ним битву как разбойник с разбойником, вдруг явился в Суздаль как честный слуга России, привел к Ляпунову тысяч шесть Козаков и сделался одним из главных воевод народного ополчения! Всех звали в союз, чтобы только умножить число людей. Приняли князя Дмитрия Трубецкого, атамана Заруцкого и всю остальную дружину тушинскую: ибо сии долго упорные мятежники вдруг воспламенились усердием к государственной чести, отвергнули указ московских бояр, не дав клятвы в верности к Владиславу, и выгнали из Калуги посла их князя Никиту Трубецкого. Звали и бесстыдного Сапегу, который, не хотев удалиться в Северскую землю, писал из Перемышля к калужанам, что он служит не королю, не королевичу, а вольности, — не слушает бояр, убеждающих его идти на Ляпунова, и готов стоять за независимость России. Чего надлежало ждать и в святом предприятии от такого

несчастливого состава? не единства, а раздора и беспорядка. Но кто верил таинственной силе добра, мог чаять успеха благословенного, видя, сколь многие, и сколь ревностно шли умирать за отечество сирое, кинув дома и семейства. Раздор и беспорядок должны были уступить великодушию!

Около трех месяцев готовились — и наконец (в марте) выступили к Москве: Ляпунов из Рязани, князь Дмитрий Трубецкой из Калуги, Заруцкий из Тулы, князь Литвинов-Мосальский и Артемий Измайлов из Владимира, Просовецкий из Суздаля, князь Федор Волконский из Костромы, Иван Волынский из Ярославля, князь Козловский из Романова, с дворянами, детьми боярскими, стрельцами, гражданами, земледельцами, татарами и козаками; были на пути встречаемы жителями с хлебом и солью, иконами и крестами, с усердными кликами и пальбою; шли бодро, но тихо — и сия, вероятно невольная, неминуемая по обстоятельствам медленность имела для Москвы ужасное следствие.

В то время, когда ее граждане с нетерпением ждали избавителей, бояре, исполняя волю Госевского, в последний раз заклинали Ермагена удалить бурю, спасти Россию от междоусобия и Москву от крайнего бедствия: писать к Ляпунову и сподвижникам его, чтобы они шли назад и распустили войско. Ты дал им оружие в руки, говорил Салтыков: ты можешь и смирить их. «Все смирится, — отвечивал патриарх, — когда ты, изменник, с своею литвою исчезнешь; но в царственном граде видя ваше злое господство, в святых храмах Кремлевских оглашаясь латинским пением (ибо ляхи в доме Годунова устроили себе божницу), благословляю достойных вождей христианских утолить печаль отечества и церкви». Дерзнули наконец приставить воинскую стражу к непреклонному иерарху; не пускали к нему ни мирян, ни духовенства; обходились с ним то жестоко и бесчинно, то с уважением, опасаясь народа. В неделю Страстную дозволили Ермагену священнодействовать и взяли меры для обуздания жителей, которые в сей день обыкновенно стекались из всех частей города и ближних селений в Китай и Кремль, быть зрителями великолепного обряда церковного. Ляхи и немцы, пехота и всадники, заняли Красную площадь с обнаженными саблями, пушками и горящими фитилями. Но улицы были пусты! Патриарх ехал между уединенными рядами иноверных воинов; узду его ослати держал, вместо царя, князь Гундуков, за коим шло несколько бояр и сановников, унылых, мрачных видом. Граждане не выходили из домов, воображая, что ляхи умышляют незапное кровопролитие и будут стрелять в толпы народа безоружного. День прошел мирно; также и следующий. Госевский, имея только 7000 воинов против двух или трех сот тысяч жителей, не хотел кровопролития: ни москвитяне. Первый, слыша, что Ляпунов и Заруцкий уже недалеко, мыслил идти к ним навстречу и разбить их отдельно; а москвитяне, готовые к восстанию, откладывали его до появления избавителей. Но взаимная злоба вспыхнула, не дав ни Госевскому выступить из Москвы, ни воеводам российским спасти ее. Кто начал? Неизвестно; но вероятнее, ляхи, с досадою терпев насмешки, грубости жителей, и думая, что лучше управиться с ними заблаговременно, нежели поставить себя между их тайно острыми ножами и войском городов союзных, — наконец удовлетворяя своему алчному корыстолюбию разграблением богатой столицы. Так началось и свершилось ее бедствие ужасное.

19 марта, во вторник Страстной недели, в час Обедни, услышали в Китае-городе тревогу, вопль и стук оружия. Госевский прискакал из Кремля: увидел кровопролитие между ляхами и россиянами, хотел остановить, не мог, и дал волю первым, которые действовали наступательно, резали купцов и грабили лавки; вломились в дом к боярину верному, князю Андрею Голицыну, и бесчеловечно умертвили его. Жители Китая искали спасения в Белом городе и за Москвою-рекою: конные ляхи гнали, топтали, рубили их; но в Тверских воротах были удержаны стрельцами. Еще сильнейшая битва закипела на Сретенке: там явился витязь знаменитый, отряженный ли вперед Ляпуновым или собственною ревностию приведенный одушевить Москву: князь Дмитрий Пожарский. Он кликнул доблех, устроил дружины, снял пушки с башен и встретил ляхов ядрами и пулями, отбил и втоптал в Китай. Иван Бутурлин в Яузских воротах и Колтовский за Москвою-рекою также стали против них с воинами и народом. Бились еще в улицах Тверской, Никитской и Чертольской, на Арбате и Знаменке. Госевский подкреплял своих; но число россиян несравненно более умножалось: при звуке набата старые и малые, вооруженные дрекольем и топорами, бежали в пыл сечи; из окон и с кровель разили неприятеля камнями и чурками, дровами: стреляли из-за них и двигали сие укрепление вперед, где ляхи отступали. Уже москвитяне везде имели верх, когда приспел из

Кремля с немцами капитан Маржерет, верный слуга Годунова и расстриги, изгнанный Шуйским и принятый гетманом в королевскую службу: торгуя верностию и жизнью, сей честный наемник ободрил ляхов неустрашимостию и, некогда лир кровь свою за россиян, жадно облился их кровию. Битва снова сделалась упорною; многолюдство однако ж преодолевало, и москвитяне теснили неприятеля к Кремлю, его последней ограде и надежде. Тут, в час решительный, услышали голос: «огня! огня!» и первый вспыхнул в Белом городе дом Михайла Салтыкова, зажженный собственною рукою хозяина: гнусный изменник уже не мог иметь жилища в столице отечества, им преданного иноплеменнику! Зажгли и в других местах: сильный ветер раздувал пламя в лицо москвитянам, с густым дымом, несносным жаром, в улицах тесных. Многие кинулись тушить, спасать дома; битва ослабела, и ночь прекратила ее, к счастью изнуренного неприятеля, который удержался в Китае-городе, опираясь на Кремль. Там все затихло; но другие части Москвы представляли шумное смятение. Белый город пылал; набат гремел без умолку; жители с воплем гасили огонь, или бегали, искали, кликали жен и детей, забытых в часы жаркого боя. После такого дня, и предвидя такой же, никто не думал успокоиться.

Ляхи в пустых домах Китая-города, среди трупов, отдыхали; а в Кремле, при свете зарева, бодрствовали и рассуждали вожди их, что делать? Там еще находилось мнимое правительство российское с знатнейшими сановниками, воинскими и гражданскими: ужасаясь мысли желать победы иноплеменникам, дымящимся кровию москвитян, но малодушно боясь и мести своего народа, или не веря успеху восстания, Мстиславский и другие легкоумные вельможи, упорные в верности к Владиславу, были в изумлении и бездействии; тем ревностнее действовали изменники ожесточенные: прервав навеки связь с отечеством, заслужив его ненависть и клятву церковную, пылая адскою злобою и жаждою губительства, они сидели в сей ночной Думе ляхов и советовали им разрушить Москву для их спасения. Госевский принял совет — и в следующее утро 2000 немцев с отрядом конным вышли из Кремля и Китая в Белый город и к Москве-реке, зажгли в разных местах дома, церкви, монастыри и гнали народ из улицы в улицу не столько оружием, сколько пламенем. В сей самый час прискакали к стенам уже пылающего деревянного города от Ляпунова воевода Иван Плещеев, из Можайска королевский полковник Струе, каждый для вспоможения своим, оба с легкими дружинами, равными в силах, не в мужестве. Ляхи напали: россияне обратили тыл — и вождь первых, кликнув: «за мною, храбрые!» сквозь пыль и треск деревянных падающих стен вринулся в город, где жители, осыпаемые искрами и головнями, задыхаясь от жара и дыма, уже не хотели сражаться за пепелище: бежали во все стороны, на конях и пешие, не с богатством, а только с семействами. Несколько сот тысяч людей вдруг рассыпалось по дорогам к лавре, Владимиру, Коломне, Туле; шли и без дорог, вязли в снегу, еще глубоко; цепенели от сильного, холодного ветра; смотрели на горящую Москву и вопили, думая, что с нею исчезает и Россия! Некоторые засели в крепкой Симоновской обители ждать избавителей. Но оставленная народом и войском в жертву огню и ляхам, Москва еще имела ратоборца: князь Дмитрий Пожарский еще стоял твердо в облаках дыма, между Сретенкою и Мясницкою, в укреплении, им сделанном: бился с ляхами и долго не давал им жечь за каменную городскою стеною; не берег себя от пуль и мечей, изнемог от ран и пал на землю. Верные ему до конца немногие сподвижники взяли и спасли будущего спасителя России: отвезли в лавру... До самой ночи уже беспрепятственно губив огнем столицу, ляхи с гордостью победителей возвратились в Китай и Кремль, любоваться зрелищем, ими произведенным: бурным пламенным морем, которое, разливаясь

вокруг их, обещало им безопасность, как они думали, не заботясь о дальнейших, вековых следствиях такого дела и презирая месть россиян!

Москва пустая горела двое суток. Где угасал огонь, там ляхи, выезжая из Китая, снова зажигали, в Белом городе, в Деревянном и в предместьях. Наконец везде утухло пламя, ибо все сделалось пеплом, среди коего возвышались только черные стены, церкви и погреба каменные. Сия громада золы, в окружности на двадцать верст или более, курилась еще несколько дней, так что ляхи в Китае и Кремле, дыша смрадом, жили как в тумане — но ликовали: грабили казну царскую: взяли всю утварь наших древних венценосцев, их короны, жезлы, сосуды, одежды богатые, чтобы послать к Сигизмунду или употребить вместо денег на жалованье войску; сносили добычу, найденную в гостином дворе, в жилищах купцов и людей знатных; сдирали с икон оклады; делили на равные части золото, серебро, жемчуг, камни и ткани драгоценные, с презрением кидая медь, олово, холсты, сукна; рядились в бархаты и штофы; пили из бочек венгерское и мальвазию. Изобиловали всем роскошным, не имея только нужного: хлеба! Бражничали, играли в зернь и в карты, распутствовали и пьяные резали друг друга!.. А россияне, их клеветы гнусные или невольники малодушные, праздновали в Кремле Светлое Воскресение и молились за царя Владислава, с иерархом достойным такой паствы: Игнатием, угодником расстригиным, коего вывели из Чудовской обители, где он пять лет жил опальным иноком, и снова назвали патриархом, свергнув и заключив Ермогена на Кирилловском подворье. Сей муж бессмертный, один среди врагов неистовых и россиян презрительных — между памятниками нашей славы, в ограде, священной для веков могилами Димитрия Донского, Иоанна III, Михаила Шуйского — в темной келии сиял добродетелию как лучезарное светило отечества, готовое угаснуть, но уже воспламенив в нем жизнь и ревность к великому делу!

МЕЖДОЦАРСТВИЕ

Г. 1611-1612

Весть о бедствии Москвы, распространив ужас, дала новую силу народному движению. Ревностные иноки лавры, едва услышав, что делается в столице, послали к ней всех ратных людей монастырских, написали умиленные грамоты к областным воеводам и заклинали их угасить ее дымящийся пепел кровию изменников и ляхов. Воеводы уже не медлили и шли вперед, на каждом шагу встречая толпы бегущих москвитян, которые, с воплем о мести, примыкали к войску, поручая жен и детей своих великодушию народа. 25 марта ляхи увидели на Владимирской дороге легкий отряд россиян, Козаков атамана Просовецкого; напали — и возвратились, хвалясь победою. В следующий день пришел Ляпунов от Коломны, Заруцкий от Тулы; соединились с другими воеводами близ обители Угрешской и 28 марта двинулись к пепелищу московскому. Неприятель, встретив их за Яузскими воротами, скоро отступил к Китаю и Кремлю, где россияне, числом не менее ста тысяч, но без устройства и взаимной доверенности, осадили шесть или семь тысяч храбрецов иноземных, исполненных к ним презрения. Ляпунов стал на берегах Яузы, князь Дмитрий Трубецкий с атаманом Заруцким против Воронцовского поля, ярославское и костромское ополчение у ворот Покровских, Измайлов у Сретенских, князь Литвинов-Мосальский у Тверских, внутри обожженных стен Белого города. Тут прибыл к войску келарь Авраамий с Святою водою от лавры, оживить сердца ревностию, укрепить мужеством. Тут, на завоеванных кучах пепла водрузив знамена, воины и воеводы с торжественными обрядами дали клятву не чтить ни Владислава царем, ни бояр московских правителями, служить церкви и государству до избрания государя нового, не крамольствовать ни делом, ни словом, — блюсти закон, тишину и братство, ненавидеть единственно врагов отечества, злодеев, изменников, и сражаться с ними усердно.

Битвы начались. Делая вылазки, осажденные дивились несметности россиян и еще более умным распоряжениям их вождей — то есть Ляпунова, который в битве 6 апреля стяжал имя львообразного стратпига: его звучным голосом и примером одушевляемые россияне кидались пешие на всадников, резались человек с человеком, и втеснив неприятеля в крепость, ночью заняли берег Москвы-реки и Неглинной. Ляхи тщетно хотели выгнать их оттуда; нападали конные и пешие, имели выгоды и невыгоды в ежедневных схватках, но видели уменьшение только своих: во многолюдстве осаждающих урон был незаметен. Россияне надеялись на время: ляхи страшились времени, скудные людьми и хлебом. Госевский желал прекратить бесполезные вылазки, но сражался иногда невольно, для спасения кормовщиков, высылаемых им тайно, ночью, в окрестные деревни; сражался и для того, чтобы иметь пленников для размена. Известив короля о сожжении Москвы и приступе россиян к ее пепелищу, он требовал скорого вспоможения, ободрял товарищей, советовался с гнусным Салтыковым — и еще испытал силу души Ермогеновой. К старцу ветхому, изнуренному добровольным постом и тесным заключением, приходили наши изменники и сам Госевский с увещаниями и с угрозами: хотели, чтобы он велел Ляпунову и сподвижникам его удалиться. Ответ Ермогенов был тот же: «Пусть удалятся ляхи!» Грозили ему злою смертью: старец указывал им на небо, говоря: «боюсь Единого, там живущего!» Невидимый для добрых россиян, великий иерарх сообщался с ними молитвою; слышал звук

битв за свободу отечества, и тайно, из глубины сердца, пылающего неугасимым огнем добродетели, слал благословение верным подвижникам!

К несчастью, между сими подвижниками господствовало несогласие: воеводы не слушались друг друга, и ратные действия без общей цели, единства и связи, не могли иметь и важного успеха. Решились торжественно избрать начальника; но, вместо одного, выбрали трех: верные Ляпунова, чиновные мятежники тушинские князя Дмитрия Трубецкого, грабители-козаки атамана Заруцкого, чтобы таким зловещим выбором утвердить мнимый союз россиян добрых с изменниками и разбойниками, коих находилось множество в войске. Трубецкий, сверх знатности, имел по крайней мере ум стратига и некоторые еще благородные свойства, усердствуя оказать себя достойным высокого сана; Заруцкий же, вместе с ним выслужив боярство в Тушине, имел одну смелую предприимчивость для удовлетворения своим гнусным страстям, не зная ничего святого, ни Бога, ни отечества. Сии ратные триумвиры сделались и государственными: ибо войско представляло Россию. Они писали указы в города, требуя запасов и денег еще более, нежели людей: города повиновались, многолетствовали в церквах благоверным князьям и боярам, а в своих донесениях били челом синклиту великого Российского государства и давали, что могли. Казань, стыдясь своего заблуждения, снова присоединилась к отечеству, целовала крест быть в любви, в единодушии со всею землею и выслала дружины к Москве: области низовые и поморские также. Пришли и смоленские уездные дворяне и дети боярские, бежав от Сигизмунда. Ляхи гнались за ними и многих из них умертвили, как изменников: остальные тем ревностней желали участвовать в народном подвиге россиян. Пришел и Сапега с своими шайками и занял Поклонную гору, объявляя себя другом России. Ему не верили; предложения его выслушали, но отвергнули. Атаман разбойников, осыпанный пеплом наших городов, утучненный нашею кровию, хотел, как пишут, венца Мономахова: вероятнее, что он хотел миллионов, предлагая свои услуги. Не обольстив россиян, Сапега ударил на часть их стана против Лужников; отбитый, напал с другой стороны, близ Тверских ворот: не мог одолеть многолюдства, и, по совету Госевского, взяв от него 1500 ляхов в сподвижники и князя Григория Ромодановского в путеводители, удалился к Переславлю, чтобы грабить внутри России и тревожить осаждающих. Вслед за ним Ляпунов отрядил несколько легких дружин: Сапега разбил их в Александровской Слободе, осадил Переславль, жег, злодействовал, где хотел — и россияне московского стана, видя за собою дым пылающих селений, вдруг слышали, в Китае и Кремле, необыкновенный шум, громкие восклицания, звон колоколов, стрельбу из пушек и ружей: ждали вылазки, но узнали, что ляхи только веселились и праздновали счастливую честь о скором прибытии к ним гетмана с сильным войском — весть еще несправедливую, которая однако ж решила Ляпунова и товарищей его не медлить. Они изготовились в тишине, и за час до рассвета (22 мая) приступив к Китаю-городу, взяли одну башню, где находилось 400 ляхов. Место было важно: россияне могли оттуда громить пушками внутренность Китая. Госевский избрал смелых и велел им, чего бы то ни стоило, вырвать сию башню из рук неприятеля: с обнаженными саблями, под картечью, ляхи шли к ней узкою стеною, человек за человеком; кинулись на пушки, рубили, выгнали россиян и мужественно отбили все их новые приступы. В других местах Ляпунов, везде первый, и Трубецкой имели более успеха: очистили весь Белый город, взяли укрепления на Козьем болоте, башни Никитскую, Алексеевскую, ворота Тресвятские, Чертольские, Арбатские, везде после жаркого кровопролития. Через пять дней сдался им и Девичий монастырь с двумя ротами ляхов и пятьюстами немцев. В то же время россияне

сделали укрепления за Москвою-рекою, стреляли из них в Кремль и препятствовали сношению осажденных с Сигизмундом, от коего Госевский, стесненный, изнуряемый, с малым числом людей и без хлеба, ждал избавления.

Но король все еще думал только о Смоленске. Донесение Госевского о сожжении Москвы и наступательном действии многочисленного российского войска, полученное Сигизмундом вместе с трофеями (или с частью разграбленной ляхами утвари и казны царской), не переменяло его мыслей. Паны в новой беседе с Филаретом и Голицыным (8 апреля), жалея о несчастьи столицы, следствии ее мятежного духа, спрашивали их мнения о лучшем способе изгладить зло. С слезами отвечивал митрополит: «Уже не знаем! Вы легко могли предупредить сие зло; исправить едва ли можете». Послы соглашались однако ж писать к Ергогену, боярам и войску об унятии кровопролития, если Сигизмунд обяжется немедленно выступить из России: чего он никак не хотел, упорно требуя Смоленска, и в гневе велел им наконец готовиться к ссылке в Литву. «Ни ссылки, ни Литвы не боимся, — сказал умный дьяк Луговской: — но делами насилия достигнете ли желаемого?» Угроза совершилась: вопреки всему священному для государей и народов, взяли послов... еще мало: ограбили их как в темном лесу или в вертепе разбойников; отдали воинам, повезли в ладиях к Киеву; бесчестили, срамили мужей, винимых только в добродетели, в ревности ко благу отечества и к исполнению государственных условий!.. Один из ляхов еще стыдился за короля, республику и самого себя: Жолкевский. Сигизмунд предлагал ему главное начальство в Москве и в России. «Поздно!» — отвечивал гетман и с негодованием удалился в свои местности, мимо коих везли Филарета и Голицына: он прислал к ним, в знак уважения и ласки, спросить о здоровье. Знаменитые страдальцы написали к Жолкевскому: «Вспомни крестное целование: вспомни душу! В чем клялся ты московскому государству? и что делается? Есть Бог и вечное правосудие!»

Не страшась сего правосудия, король в письмах к боярам московским хвалился своею милостию к России, благодарил за их верность и непричастие к бунту Ергогена и Ляпунова, обещал скорое усмирение всех мятежей, а Госевскому скорое избавление, дозволяя ему употреблять на жалованье войску не только сокровища царские, но и все имение богатых москвитян — и возобновил приступы к Смоленску, снова неудачные. Шеин, воины его и граждане оказывали более, нежели храбрость: истинное геройство, безбоязненность неизменную, хладнокровную, нечувствительность к ужасу и страданию, решительность терпеть до конца, умереть, а не сдать. Уже двадцать месяцев продолжалась осада: запасы, силы, все истощилось, кроме великодушия; все сносили, безмолвно, не жалуясь, в тишине и в повиновении, львы для врагов, агнцы для начальников. Осталась едва пятая доля защитников, не столько от ядер, пуль и сабель неприятельских, сколько от трудов и болезней; смертоносная цинга, произведенная недостатком в соли и в уксусе, довершила бедствие — но еще сражались! Еще ляхи имели нужду в злодейской измене, чтобы овладеть городом: беглец смоленский Андрей Дедишин указал им слабое место крепости: новую стену, деланную в осень наскоро и непрочно. Сию стену беспрестанною пальбою обрушили — и в полночь (3 июня) ляхи вломились в крепость, тут и в других местах, оставленных малочисленными россиянами для защиты пролома. Бились долго в развалинах, на стенах, в улицах, при звуке всех колоколов и святом пении в церквах, где жены и старцы молились. Ляхи, везде одолевая, стремились к главному храму Богоматери, где заперлися многие из граждан и купцов с их семействами, богатством и пороховою казною. Уже не было спасения: россияне зажгли порох и взлетели на воздух с детьми, имением — и славою! От

страшного взрыва, грома и треска неприятель оцепенел, забыв на время свою победу и с равным ужасом видя весь город в огне, в который жители бросали все, что имели драгоценного, и сами с женами бросались, чтобы оставить неприятелю только пепел, а любезному отечеству пример добродетели. На улицах и площадях лежали груды тел сожженных. Смоленск явился новым Сагунтом, и не Польша, но Россия могла торжествовать сей день, великий в ее летописях.

Еще один воин стоял на высокой башне с мечом окровавленным и противился ляхам: доблий Шеин. Он хотел смерти; но пред ним плакали жена, юная дочь, сын малолетний: тронутый их слезами, Шеин объявил, что сдается вождю ляхов — и сдался Потоцкому. Верить ли летописцу, что сего Героя сковали цепями в стане королевском и пытали, доведываясь о казне смоленской, будто бы им сокрытой? Король взял к себе его сына; жену и дочь отдал Льву Сапеге; самого Шеина послал в Литву узником. — Пленниками были еще архиепископ Сергей, воевода князь Горчаков и 300 или 400 детей боярских. Во время осады изгибло в городе, как уверяют, не менее семидесяти тысяч людей; она дорого стоила и ляхам: едва третья доля королевской рати осталась в живых, огнем лишенная добычи, а с нею и ревности к дальнейшим подвигам, так что слушая торжественное благодарение Сигизмундово, за ее великое дело, и новые щедрые обеты его, воины смеялись, столько раз манимые наградами и столько раз обманутые. Но Сигизмунд восхищался своим блестящим успехом; дал Потоцкому грамоту на староство Каменецкое, три дни угощал сподвижников, велел изобразить на медалях завоевание Смоленска и с гордостью известил о том бояр московских, которые ответствовали, что сетуя о гибели единокровных братьев, радуются его победе над непослушными и славят Бога!.. Торжество еще разительнейшее ожидало Сигизмунд а, но уже не в России.

Историки польские, строго осуждая его неблагоразумие в сем случае, пишут, что если бы он, взяв Смоленск, немедленно устремился к Москве, то войско осаждающих, видя с одной стороны наступление короля, с другой смелого витязя Сапегу, а пред собою неодолимого Госевского, рассеялось бы в ужасе как стадо овец; что король вошел бы победителем в Москву, с Думою боярскою умирил бы государство, или дав ему Владислава, или присоединив оное к республике, и возвратился бы в Варшаву завоевателем не одного Смоленска, но целой державы Российской. Заключение едва ли справедливое: ибо тысяч пять усталых воинов, с королем мало уважаемым ляхами и ненавидимым россиянами, не сделали бы, вероятно, более того, что сделал после новый его военачальник, как увидим: не пременило бы судьбы, назначенной Провидением для России!

Сей военачальник, гетман литовский, Ходкевич, знаменитый опытностию и мужеством, дотоле действовав с успехом против шведов, был вызван из Ливонии, чтобы идти с войском к Москве, вместо Сигизмунда, который нетерпеливо желал успокоиться на лаврах и немедленно уехал в Варшаву, где сенат и народ с веселием приветствовали в нем Героя. Но блестящее торжество для него и республики совершилось в день достопамятный, когда Жолкевский явился в столице с своим державным пленником, несчастным Шуйским. Сие зрелище, данное тщеславию, надмевало ляхов от монарха до последнего шляхтича и было, как они думали, несомнительным знаком их уже решенного первенства над нами, концом долговременного борения между двумя великими народами славянскими. Утром (19 октября), при несметном стечении любопытных, гетман ехал Краковским предместьем ко дворцу с дружиною благородных всадников, с вельможами коронными и литовскими, в шестидесяти каретах; за ними, в открытой богатой колеснице, на шести белых

аргамаках, Василий, в парчовой одежде и в черной лисьей шапке, с двумя братьями, князьями Шуйскими, и с капитаном гвардии; далее Шеин, архиепископ Сергей и другие смоленские пленники в особенных каретах. Король ждал их во дворце, сидя на троне, окруженный сенаторами и чиновниками, в глубокой тишине. Гетман ввел царя-невольника и представил Сигизмунду. Лицо Василия изображало печаль, без стыда и робости: он держал шапку в руке и легким наклоном головы приветствовал Сигизмунда. Все взоры были устремлены на сверженного монарха с живейшим любопытством и наслаждением: мысль о превратностях Рока и жалость к злосчастью не мешала восторгу ляхов. Продолжалось молчание: Василий также внимательно смотрел на лица вельмож польских, как бы искал знакомых между ими, и нашел: отца Маринина, им спасенного от ужасной смерти, и в сию минуту счастливого его бедствием!.. Наконец гетман прервал безмолвие высокопарною речью, не весьма искреннею и скромною: «дивился в ней разительным переменам в судьбе государств и счастью Сигизмунда; хвалил его мужество и твердость в обстоятельствах трудных; славил завоевание Смоленска и Москвы; указывал на царя, преемника великих самодержцев, еще недавно ужасных для республики и всех государей соседственных, даже султана и почти целого мира; указывал и на Дмитрия Шуйского, предводителя ста осьмидесяти тысяч воинов храбрых; исчислял царства, княжения, области, народы и богатство, коими владели сии пленники, всего лишенные умом Сигизмундовым, взятые, повергаемые к ногам королевским... Тут (пишут ляхи) Василий, кланяясь Сигизмунду, опустил правую руку до земли и приложил себе к устам: Дмитрий Шуйский ударил челом в землю, а князь Иван три раза, и заливаясь слезами. Гетман поручал их Сигизмундову великодушию; доказывал историю, что и самые знаменитейшие венценосцы не могут назваться счастливыми до конца своей жизни, и ходатайствовал за несчастных».

Великодушие Сигизмунда состояло в обуздании мстительных друзей воеводы Сендомирского, которые пылали нетерпением сказать торжественно Василию, что «он не царь, а злодей и недостоин милосердия, изменив Димитрию, упоив стогны московские кровию благородных ляхов, обесчестив послов королевских, венчанную Марину, ее вельможного отца, и в бедствии, в неволе дерзая быть гордым, упрямым, как бы в посмеяние над судьбою»: упрек достохвальный для царя злополучного и несогласный с известием о мнимом уничтожении его пред королем! — Насытив глаза и сердце зрелищем лестным для народного самолюбия, послали Василия в Гостинский замок, близ Варшавы, где он чрез несколько месяцев (12 сентября 1612) кончил жизнь бедственную, но не бесславную; где умерли и его братья, менее твердые в уничтожении и в неволе. Чтобы увековечить свое торжество, Сигизмунд воздвигнул мраморный памятник над могилою Василия и князя Дмитрия в Варшаве, в предместьи Краковском, в новой часовне у церкви Креста Господня, с следующею надписью: «Во славу Царя Царей, одержав победу в Клушине, заняв Москву, возвратив Смоленск республике, пленив великого князя московского, Василия, с братом его, князем Дмитрием, главным воеводою российским, король Сигизмунд, по их смерти, велел здесь честно схоронить тела их, не забывая общей судьбы человеческой, и в доказательство, что во дни его царствования не лишались погребения и враги, венценосцы беззаконные!» — Во времена лучшие для России, в государство Михаила, Польша должна была отдать ей кости Шуйских; во времена еще славнейшие, в государство Петра Великого, отдала сему ревностному заступнику Августа II и другой памятник нашей незгоды: картину взятия Смоленска и Василиева позора в неволе, писанную искусным художником Долабеллою. Рукою могущества стерты знамения слабости!

Еще имея некоторый стыд, король не явил Филарета, Голицына и Мезецкого в виде пленников в Варшаве: их, вместе с Шеиным, томили в неволе девять лет, славных особенно для Филаретовой добродетели: ибо не только литовские единовѣрцы наши, но и вельможи польские, дивясь его твердости, разуму, великодушию, оказывали искреннее к нему уважение. Он дожил, к счастью, до свободы; дожил и знаменитый Шеин, к несчастью своему и к горести России!..

Между тем, невзирая на падение Смоленска, на торжество Сигизмундово и важные приготовления гетмана Ходкевича, воеводы московского стана имели бы время и способ одолеть упорную защиту Госевского, если бы они действовали с единомышленною ревностию; но с Ляпуновым и Трубецким сидел в совете, начальствовал в битвах, делил власть государственную и воинскую... злодей, коего умысел гнусный уже не был тайною. Атаман Заруцкий, сильный числом и дерзостию своих козаков-разбойников, алчный, ненасытный в любостыжании, пользуясь смутными обстоятельствами, не только хватал все, что мог, целые города и волости себе в добычу — не только давал козакам опустошать селения, жить грабежом, как бы в земле неприятельской, и плавал с ними в изобилии, когда другие воины едва не умирали с голоду в стане: но мыслил схватить и царство! Марина была в руках его: тщетно писал из Калуги жалобные грамоты к Сапеге, чтобы он спас ее честь и жизнь от свирепых россиян, сия бесстыдная кинулась в объятия козака, с условием, чтобы Заруцкий возвел на престол Лжедмитриева сына-младенца и, в качестве правителя, властвовал с нею! Что нелепое и безумное могло казаться тогда несбыточным в России? Лицемерно пристав к Трубецкому и Ляпунову — взяв под надзор Марину, переведенную в Коломну — имея дружелюбные сношения и с Госевским, обманывая россиян и ляхов, Заруцкий умножал свои шайки прелестию добычи, искал единомышленников, в пользу лжецаревича Иоанна, между людьми чиновными, и находил, но еще не довольно для успеха вероятного. Ков огласился — и Ляпунов пред приял, один, без слабого Трубецкого, если не вдруг обличить злодея в атамане многолюдных шаек, то обуздать его беззакония, которые давали ему силу.

Ляпунов сделал, что все дворяне, дети боярские, люди служивые написали челобитную к триумвирам о собрании Думы земской, требуя уставов для благоустройства и казни для преступников. К досаде Заруцкого и даже Трубецкого, сия Дума составила из выборных войска, чтобы действовать именем отечества и чинов государственных, хотя и без знатного духовенства, без мужей синклита. Она утвердила власть триумвиров, но предписала им правила; устала: «1) Взять поместья у людей сильных, которые завладели ими в мятежные времена без земского приговора, раздать скудным детям боярским или употребить доходы оных на содержание войска; взять также все данное именем Владислава или Сигизмунда, сверх старых окладов, боярам и дворянам, оставшимся в Москве с Литвою; взять поместья у всех худых россиян, не хотящих в годину чрезвычайных опасностей ехать на службу отечества или самовольно уезжающих из московского стана; взять в казну все доходы питейные и таможенные, незаконно присвоенные себе некоторыми воеводами (вероятно Заруцким). 2) Снова учредить ведомство поместное, казенное и дворцовое для сборов хлебных и денежных. 3) Уравнять, землями и жалованьем, всех сановников без разбора, где кто служил: в Москве ли, в Тушине или в Калуге, смотря по их достоинству и чину. 4) Не касаться имущества добрых россиян, убитых или плененных Литвою, но отдать его их семействам или соблности до возвращения пленников; не касаться также имущества церквей, монастырей и патриаршего; не касаться ничего, данного царем Василием в награду сподвижникам князя Михаила Скопина-Шуйского и другим воинам за верную службу. 5)

Назначить жалованье и доходы сановникам и детям боярским, коих поместья заняты или опустошены Литвою, и которые стоят ныне со всею землею против изменников и врагов. 6) Для посылок в города употреблять единственно дворян раненых и неспособных к бою, а всем здоровым возвратиться к знаменам. 7) Кто ныне умрет за отечество или будет изувечен в битвах, тех имена да внесутся в Разрядные книги, вместе с неложным описанием всех дел знаменитых, на память векам. 8) Атаманам и козакам строго запретить всякие разъезды и насилия; а для кормов посылать только дворян добрых с детьми боярскими. Кто же из людей воинских дерзнет грабить в селениях и на дорогах, тех казнить без милосердия: для чего восстановится старый московский приказ, разбойный или земский. 9) Управлять войском и землею трем избранным властителям, но не казнить никого смертью и не ссылать без торжественного земского приговора, без суда и вины законной; кто же убьет человека самовольно, того лишить жизни, как злодея. 10) А если избранные властители не будут радеть вседушно о благе земли и следовать уставленным здесь правилам или воеводы не будут слушаться их беспрекословно, то мы вольны всею землею переменить властителей и воевод, и выбрать иных, способных к бою и делу земскому».

Сию важную, уставную грамоту, ознаменованную духом умеренности, любви к общему государственному благу и снисхождения к несчастным обстоятельствам времени, подписали триумвиры (Ляпунов вместо Заруцкого, вероятно безграмотного), три дьяка, окольныйчиий Артемий Измайлов, князь Иван Голицын, Вельяминов, Иван Шереметев и множество людей бесчиновных от имени двадцати пяти городов и войска. Дали и старались исполнить закон; восстановили хотя тень правительства, бездушного в самодержавии без самодержца. Но Ляпунов уже занимался и главным делом: вопросом, где искать лучшего царя для одушевления России? Уже переменяя мысли, он думал, подобно Мстиславскому и другим, что сей лучший царь должен быть иноземец державного племени, без связей наследственных и личных, родственников и клеветов, врагов и завистников между подданными. Недоставало времени обзреть все державы христианские, искать далеко, сноситься долго: ближайшее казалось и выгоднейшим, обещая нам, вместо вражды, мир и союз. Ляхи нас обманули: мы еще могли испытать шведов, менее противных российскому народу. Ненависть к ляхам кипела во всех сердцах: ненависть к шведам была только историческим воспоминанием новгородским — и даже Новгород, как уверяют, мыслил в случае крайности поддаться скорее шведам, нежели Сигизмунду. Что предлагал Делагарди сам собою, того уже ревностно хотел Карл IX: дать нам сына в цари; уполномочил вождя своего для всех важных договоров с Россиею и писал к ее чинам государственным, что Сигизмунд, будучи орудием иезуитов или папы, желает властвовать над нею единственно для искоренения греческой Веры; что король испанский в заговоре с ними и намерен занять Архангельск или гавань Св. Николая; но что Россия в тесном союзе с Швециею может презирать и ляхов и папу и короля испанского. Россия видела шведов в Клушине! Могла однако ж извинять их неверность неверностию своих, и помнила, что они с незабвенным князем Михаилом освободили Москву. Ляпунов решился вступить в переговоры с генералом Делагарди.

Желая утвердить вечную дружбу с нами, шведы в сие время продолжали бессовестную войну свою в древних областях новгородских и, тщетно хотев взять Орешек, взяли наконец Кексгольм, где из трех тысяч россиян, истребленных битвами и цингою, оставалось только сто человек, вышедших свободно, с именем и знаменами: ибо неприятель еще страшился их отчаяния, сведав, что они готовы взорвать крепость и взлететь с нею на воздух! Дикие

скалы корельские прославились великодушием защитников, достойных сравнения с Героями лавры и Смоленска! К сожалению, новгородцы не имели такого духа и, хвалясь ненавистью к одному врагу, к ляхам, как бы беспечно видели завоевания другого: уже Делаярди стоял на берегах Волхова! Боярин Иван Салтыков, начальствуя в Новгороде, внутренне благоприятствовал, может быть, Сигизмунду: по крайней мере действовал усердно против шведов; но его уже не было. Сведая, что он намерен идти с войском к Москве, новгородцы встревожились; не верили сыну злодея и ревнителю Владислава царствования, опасаясь в нем готового сподвижника ляхов; призвали Салтыкова из Ладожского стана, удостоверили крестным обетом в личной безопасности — и посадили на кол, возбужденные к делу столь гнусному злым дьяком Самсоновым! Издыхая в муках, злосчастный клялся в своей невинности; говорил: «не знаю отца, знаю только отечество, и буду везде резаться с ляхами»... Жертва беззакония человеческого и правосудия Небесного: ибо сей юный, умный боярин в день Клушинской битвы усерднее других изменников способствовал торжеству ляхов и сраму россиян!.. На место Салтыкова Ляпунов прислал воеводу Бутурлина, а вслед за ним и князя Троекурова, думного дворянина Собакина, дьяка Васильева, чтобы немедленно условиться во всем с генералом Делаярди, который с пятью тысячами воинов находился уже близ Хутынской обители. Переговоры начались в его стане. «Судьба России, — сказал ему Бутурлин, — не терпит венценосца отечественного: два бедственных избрания доказали, что подданному нельзя быть у нас царем благословенным». Ляпунов хотел мира, союза с шведами и принца их, юного Филиппа, в государи; а Делаярди прежде всего хотел денег и крепостей в залог нашей искренности: требовал Орешка, Ладоги, Ямы, Копорья, Иванягорода, Гдова. «Лучше умереть на своей земле, нежели искать спасения такими уступками», — ответствовали российские сановники и заключили только перемирие, чтобы списаться с Ляпуновым. Наученный обманом Сигизмунда, сей властитель не думал делиться Россией с шведами; соглашался однако ж впустить их в Невскую крепость и выдать им несколько тысяч рублей из казны новгородской, если они поспешат к Москве, чтобы вместе с верными россиянами очистить ее престол от тени Владиславовой — для Филиппа. Все зависело от Делаярди, как прежде от Сигизмунда, — и Делаярди сделал то же, что Сигизмунд: предпочел город державе!.. Если бы он неукоснительно присоединился к нашему войску под столицю, чтобы усилить Ляпунова, разделить с ним славу успеха, истребить Госевского и Сапегу, отразить Ходкевича, восстановить Россию: то венец Мономахов, исторгнутый из рук литовских, возвратился бы, вероятно, потомству варяжскому, и брат Густава Адольфа или сам Адольф, в освобожденной Москве законно избранный, законно утвержденный на престоле Великою Думою земскою, включил бы Россию в систему держав, которые, чрез несколько лет, Вестфальским миром основали равновесие Европы до времен новейших!

Но Делаярди, снискав личную приязнь Бутурлина, бывшего гетманова пленника и ревностного ненавистника ляхов, вздумал, по тайному совету сего легкомысленного воеводы, как пишут — захватить древнюю столицу Рюрикову, чтобы возвратить ее московскому царю-шведу или удержать как важное приобретение для Швеции. Срок перемирия минул, и Делаярди, жалуюсь, что новгородцы не дают ему денег, изъявляют расположение неприятельское, укрепляются, жгут деревянные здания близ вала, ставят пушки на стенах и башнях, приблизился к Колмову монастырю, устроил войско для нападения, тайно высматривал места и дружелюбно угощал послов Ляпунова. Бутурлин с ним не разлучался, празднуя в его стане. Другие воеводы также беспечно пили в Новгороде;

не берегли ни стен, ни башен; жители ссорились с людьми ратными; купцы возили товары к шведам. Ночью с 15 на 16 июля Делагарди, объявив своим чиновникам, что враждебный Новгород, великий именем, славный богатством, не страшный силами, должен быть их легкою добычею и важным залогом, с помощью одного слуги изменника, Ивана Швала, внезапно вломился в западную часть города, в Чудинцовские ворота. Все спали: обыватели и стража. Шведы резали безоружных. Скоро раздался вопль из конца в конец, но не для битвы: кидались от ужаса в реку, спасались в крепость, бежали в поле и в леса; а Бутурлин Московскою дорогою с детьми боярскими и стрельцами, имев однако ж время выграбить лавки и дома знатнейших купцов. Сражалась только горсть людей под начальством головы стрелецкого, Василия Гаютина, атамана Шарова, дьяков Голенищева и Орлова; не хотела сдаться и легла на месте. Еще один дом на Торговой стороне казался недолимою твердынею: шведы приступали и не могли взять его. Там мужествовал протоиерей Софийского храма, Аммос, с своими друзьями, в глазах митрополита Исидора, который на стенах крепости пел молебны и, видя такую доблесть, издали давал ему благословение крестом и рукою, сняв с него какую-то эпитимию церковную. Шведы сожгли наконец и дом и хозяина, последнего славного новгородца в истории! Уже не находя сопротивления, они искали добычи; но пламя объяло вдруг несколько улиц, и воевода боярин князь Никита Одоевский, будучи в крепости с митрополитом, немногими детьми боярскими и народом малодушным, предложил генералу Делагарди мирные условия. Заключили, 17 июля, следующий договор, от имени Карла IX и Новагорода, с ведома бояр и народа московского, утверждая всякую статью крестным целованием за себя и потомство:

1) Быть вечному миру между обеими державами, на основании Теузинского договора. Мы, новгородцы, отвергнув короля Сигизмунда и наследников его, литву и ляхов вероломных, признаем своим защитником и покровителем короля шведского с тем, чтобы России и Швеции вместе противиться сему врагу общему и не мириться одной без другой.

2) Да будет царем и великим князем Владимирским и Московским сын короля шведского, Густав Адольф или Филипп. Новгород целует ему крест в верности, и до его прибытия обязывается слушать военачальника Иакова Делагарди во всем, что касается до чести упомянутого сына королевского и до государственного, общего блага; вместе с ним, Иаковом, утвердить в верности к королевичу все города своего княжества, оборонять их и не жалеть для того самой жизни. Мы, Исидор митрополит, воевода князь Одоевский и все иные сановники, клянемся ему, Иакову, быть искренними в совете и ревностными на деле; немедленно сообщать все, что узнаем из Москвы и других мест России; без его ведома не замышлять ничего важного, особенно вредного для шведов, но предостерегать и хранить их во всех случаях; также объявить добросовестно все приходы казенные, наличные деньги и запасы, чтобы удовлетворить войско, снабдить крепости всем нужным для их безопасности и тем успешнее смирить непослушных королевичу и Великому Новгороду.

3) Взаимно и мы, Иаков Делагарди и все шведские сановники, клянемся, что если княжество Новгородское и государство Московское признают короля шведского и наследников его своими покровителями, заключив союз, против ляхов, на вышеозначенных условиях: то король даст им сына своего, Густава или Филиппа, в цари, как скоро они единодушно, торжественным посольством, изъявят его величеству свое желание; а я, Делагарди, именем моего государя обещаю Новгороду и России, что их древняя греческая Вера и богослужение останутся свободны и невредимы, храмы и монастыри целы, духовенство в чести и в уважении, имение святительское и церковное неприкосновенно.

4) Области Новгородского княжества и другие, которые захотят также иметь государя моего покровителем, а сына его царем, не будут присоединены к Швеции, но останутся российскими, исключая Кексгольм с уездом; а что Россия должна за наем шведского войска, о том король, дав ей сына в цари и смирив все мятежи ее, с боярами и народом сделает расчет и постановление особенное.

5) Без ведома и согласия российского правительства не вывозить в Швецию ни денег, ни воинских снарядов и не сманивать россиян в шведскую землю, но жить им спокойно на своих древних правах, как было от времени Рюрика до Феодора Иоанновича.

6) В судах, вместе с российскими сановниками должно заседать такое же число и шведских для наблюдения общей справедливости. Преступников, шведов и россиян, наказывать строго; не укрывать ни тех, ни других, и в силу Теузинского договора, выдавать обидчиков истцам.

7) Бояре, чиновники, дворянство и люди воинские сохраняют отчины, жалованье, поместья и права свои; могут заслужить и новые, усердием и верностию.

8) Будут награждаемы и достойные шведы, за их службу в России, имением, жалованьем, землями, но единственно с согласия вельмож российских, и не касаясь собственности церковной, монастырской и частной.

9) Утверждается свобода торговли между обеими державами.

10) Козакам дерптским, ямским и другим из шведских владений открыть путь в Россию и назад, как было уставлено до Борисова царствования.

11) Крепостные люди, или холопы, как издревле ведется, принадлежат господам, и не могут искать вольности.

12) Пленники, российские и шведские, освобождаются.

13) Сии условия тверды и ненарушимы как для Новагорода, так и для всей Московской державы, если она признает государя шведского покровителем, а королевича Густава или Филиппа царем. О всем дальнейшем, что будет нужно, король условится с Россией по воцарении его сына.

14) Между тем, ожидая новых повелений от государя моего, я, Делагарди, введу в Новгород столько воинов, сколько нужно для его безопасности; остальную же рать употреблю или для смирения непослушных, или для защиты верных областных жителей; а княжеством Новгородским, с помощью Божиею, митрополита Исидора, воеводы князя Одоевского и товарищей его, буду править радетельно и добросовестно, охраняя граждан и строгостию удерживая воинов от всякого насилия.

15) Жители обязаны шведскому войску давать жалованье и припасы, чтобы оно тем ревностнее содействовало общему благу.

16) Боярам и ратным людям не дозволяется, без моего ведома, ни выезжать, ни вывозить своего имения из города.

17) Сии взаимные условия ненарушимы для Новагорода, и в таком случае, если бы, сверх чаяния, государство Московское не приняло оных: в удостоверение чего мы, воевода Иаков Делагарди, полковники и сотники шведской рати, даем клятву, утвержденную нашими печатями и рукоприкладством.

18) И мы, Исидор митрополит с духовенством, бояре, чиновники, купцы и всякого звания люди новгородские, также клянемся в верном исполнении договора нашему покровителю, его величеству Карлу IX и сыну его, будущему государю нашему, хотя бы, сверх чаяния, Московское царство и не приняло сего договора.

О Вере избираемого не сказано ни слова: Делагарди без сомнения успокоил новгородцев, как Жолкевский москвитян, единственно надеждою, что королевич исполнит их желание и будет сыном нашей церкви. В крайности обстоятельств молчала и ревность к православию! Думали только спастись от государственной гибели, хотя и с соблазном, хотя и с опасностью для Веры.

Шведы, вступив в крепость, нашли в ней множество пушек, но мало воинских и съестных припасов и только 500 рублей в казне, так что Делагарди, мыслив обогатиться несметными богатствами новгородскими, должен был требовать денег от короля: ибо войско его нетерпеливо хотело жалованья, волновалось, бунтовало, и целые дружины с распущенными знаменами бежали в Финляндию.

К счастью шведов, новгородцы оставались зрителями их мятежа, и дали генералу Делагарди время усмирить его, верно исполняя договор, утвержденный и присягою всех дворян, всех людей ратных, которые ушли с Бутурлиным, но возвратились из Бронниц. Сам же Бутурлин, если не изменник, то безумец, жив несколько дней в Бронницах, чтобы дожидаться там своих пожитков из Новгорода, им злодейски ограбленного, спешил в стан московский, вместе с Делагардиевым чиновником, Георгом Бромме, известить наших воевод, что шведы, взяв Новгород как неприятели, готовы как друзья стоять за Россию против ляхов.

Но стан московский представлялся уже не Россиею вооруженною, а мятежным скопищем людей буйных, между коими честь и добродетель в слезах и в отчаянии укрывались! — Один россиянин был душою всего и пал, казалось, на гроб отечества. Врагам иноплеменным ненавистный, еще ненавистнейший изменникам и злодеям российским, тот, на кого атаман разбойников, в личине государственного властителя, изверг Заруцкий, скрежетал зубами — Ляпунов действовал под ножами. Уважаемый, но мало любимый за свою гордость, он не имел, по крайней мере, смирения Михайлова; знал цену себе и другим; снисходил редко, презирал явно; жил в избе, как во дворце недоступном, и самые знатные чиновники, самые раболепные уставали в ожидании его выхода, как бы царского. Хищники, им унимаемые, пылали злобою и замышляли убийство в надежде угодить многим личным неприятелям сего величавого мужа. Первое покушение обратилось ему в славу; 20 Козаков, кинутых воеводою Плещеевым в реку за разбой близ Угрешской обители, были спасены их товарищами и приведены в стан московский. Сделался мятеж: грабители, вступаясь за грабителей, требовали головы Ляпунова. Видя остервенение злых и холодность добрых, он в порыве негодования сел на коня и выехал на Рязанскую дорогу, чтобы удалиться от недостойных сподвижников. Козаки догнали его у Симонова монастыря, но не дерзнули тронуть: напротив того убеждали остаться с ними. Он ночевал в Никитском укреплении, где в следующий день явилось все войско: кричало, требовало, слезно молило именем России, чтобы ее главный поборник не жертвовал ею своему гневу, Ляпунов смягчился, или одумался: занял прежнее место в стане и в совете, одолев врагов, или только углубив ненависть к себе в их сердце. Мятеж утих; возник гнусный ков, с участием и внешнего неприятеля. Имея тайную связь с атаманом-триумвиром, Госевский из Кремля подал ему руку на гибель человека, для обоих страшного: вместе умыслили и написали именем Ляпунова указ к городским воеводам о немедленном истреблении всех Козаков в один день и час. Сию подложную, будто бы отнятую у гонца бумагу представил товарищам атаман Заварзин: рука и печать казались несомнительными. Звали Ляпунова на сход: он медлил; наконец уверенный в безопасности двумя чиновниками, Толстым и Потемкиным, явился

среди шумного сборища Козаков; выслушал обвинения; увидел грамоту и печать; сказал: «писано не мною, а врагами России»; свидетельствовался Богом; говорил с твердостью; смыкал уста и буйных; не усовестил единственно злодеев: его убили, и только один россиянин, личный неприятель Ляпунова, Иван Ржевский, стал между им и ножами: ибо любил отечество; не хотел пережить такого убийства и великодушно принял смерть от извергов: жертва единственная, но драгоценная, в честь Герою своего времени, главе восстания, животворцу государственному, коего великая тень, уже примиренная с законом, является лучезарно в преданиях истории, а тело, искаженное злодеями, осталось, может быть, без христианского погребения и служило пищею вранам, в упрек современникам неблагодарным, или малодушным, и к жалости потомства!

Следствия были ужасны. Не умев защитить мужа силы, достойного стратига и властителя, войско пришло в неописанное смятение; надежда, доверенность, мужество, устройство исчезли. Злодейство и Заруцкий торжествовали; грабительства и смертоубийства возобновились, не только в селах, но и в стане, где неистовые козаки, расхитив имение Ляпунова и других, умертвили многих дворян и детей боярских. Многие воины бежали из полков, думая о жизни более, нежели о чести, и везде распространили отчаяние; лучшие, благороднейшие искали смерти в битвах с ляхами... В сие время явился Сапега от Переславля, а Госевский сделал вылазку: напали дружно, и снова взяли все от Алексеевской башни до Тверских ворот, весь Белый город и все укрепления за Москвою-рекою. Россияне везде противились слабо, уступив малочисленному неприятелю и монастырь Девичий. Сапега вошел в Кремль с победою и запасами. Хотя Россия еще видела знамена свои на пепле столицы, но чего могла ждать от войска, коего срамными главами оставались тушинский Лжебоярин и злодей, сообщник Марины, вместе с изменниками, атаманом Просовецким и другими, не воинами, а разбойниками и губителями?

И что была тогда Россия? Вся полуденная беззащитною жертвою грабителей ногайских и крымских: пепелищем кровавым, пустынею; вся юго-западная, от Десны до Оки, в руках ляхов, которые, по убиении Лжедмитрия в Калуге, взяли, разорили верные ему города: Орел, Болхов, Белев, Карачев, Алексин и другие; Астрахань, гнездо мелких самозванцев, как бы отделилась от России и думала существовать в виде особенного царства, не слушаясь ни Думы боярской, ни воевод московского стана; шведы, схватив Новгород, убеждениями и силою присвоивали себе наши северо-западные владения, где господствовало безначалие, — где явился еще новый, третий или четвертый Лжедмитрий, достойный предшественников, чтобы прибавить новый стыд к стыду россиян современных и новыми гнусностями обременить историю, — и где еще держался Лисовский с своими злодейскими шайками. Высланный наконец жителями из Пскова и не впущенный в крепкий Иваньгород, он взял Вороночь, Красный, Заволочье; нападал на малочисленные отряды шведов; грабил, где и кого мог. Тихвин, Ладога сдались генералу Делагарди на условиях новгородских; Орешек не сдавался...

Сергей Соловьев

ЦАРСТВОВАНИЕ БОРИСА ГОДУНОВА

1. *Избрание на престол Годунова.* На вопрос патриарха и бояр: «Кому приказываешь царство?» — умирающий Феодор отвечал: «Во всем царстве и в вас волен Бог: как Ему угодно, так и будет». По смерти Феодора поспешили присягнуть жене его, царице Ирине, чтоб избежать междуцарствия. Но Ирина отказалась от престола, уехала из дворца в Новодевичий монастырь, где и постриглась под именем Александры. Несмотря на то, дела производились ее именем, действительно же во главе правления стоял патриарх; ему, следовательно, принадлежал и первый голос в деле царского избрания, а Иов был самый ревностный приверженец Годунова. Итак, за Годунова был патриарх, за Годунова было долголетнее пользование царскою властью при Феодоре, доставлявшее ему большие средства, повсюду правительственные должности занимали люди, всем ему обязанные; при Феодоре он сам и родственники его приобретали огромное богатство, также и могущественное средство приобретать доброжелателей; за Годунова было то обстоятельство, что сестра его признавалась царицею правительствующею: кто же мимо родного брата мог взять скипетр из рук ее? Патриарх с духовенством, боярами и гражданами московскими отправился в Новодевичий монастырь просить царицу, чтоб благословила брата на престол, просили и самого Годунова принять царство, но он отказался, ибо хотел быть избран в цари всею Россиею, собором, на котором бы находились выборные из всех городов, советные люди, как тогда говорили. На соборе большинство составляли духовенство и дворянство второстепенное, которые были давно за Годунова или шли за мнением патриарха. 17 февраля 1598 года на соборе патриарх объявил, что, по его мнению, также по мнению всего духовенства, бояр и всех москвичей, мимо Бориса Феодоровича Годунова другого государя искать нечего, и советные люди отвечали, что их мнение такое же. Отправились опять к Годунову, который жил вместе с сестрою в Новодевичьем монастыре, и опять получили отказ. Тогда патриарх пошел в монастырь с крестным ходом и со множеством народа; патриарх с духовенством и боярами вошли в келью к царице и долго упрашивали ее со слезами, стоя на коленях, чтоб благословила брата на царство; на монастыре и около монастыря народ, стоя на коленях, вопил о том же. Царица наконец благословила, и Годунов принял царство. Говорят, будто народ пригнан был неволею, — грозили, что, если кто не пойдет, с того будут взыскивать деньги.

2. *Сношения царя Бориса с державами европейскими и азиатскими.* Так был избран в цари Борис Годунов. Царствование его относительно западных, самых опасных соседей, Польши и Швеции, началось при самых благоприятных обстоятельствах: эти державы, так недавно грозившие Москве страшным союзом своим под одним королем, теперь находились в открытой и ожесточенной вражде; шведы отказались повиноваться Сигизмунду Польскому и провозгласили королем своим дядю его Карла, в котором Сигизмунд, разумеется, видел похитителя своего престола. Оба государства, и Швеция и Польша, вследствие этого искали союза с Борисом, который, подобно Иоанну IV, не спускал глаз с Ливонии, считая прибалтийские берега необходимыми для своего государства. Приобрести эту желанную страну или часть ее было теперь легко, но для этого было средство прямое, решительное: заключить тесный союз с королем шведским и действовать с ним вместе против Польши. Но Годунов по характеру своему не был способен к средствам решительным, прямым и открытым. Он думал, что Швеция уступит ему Нарву, а Польша — Ливонию или часть ее, если только он будет грозить Швеции союзом с Польшею, а Польше — союзом с Швециею,

но этими угрозами он только раздражал и Швецию и Польшу, а не пугал их, обнаруживая политику мелочную, двоедушную. Он боялся войны: сам не имел ни духа ратного, ни способностей воинских, воеводам не доверял и потому хлопотал, чтоб Ливония сама поддалась ему, для чего поддерживал неудовольствие ее жителей против польского правительства, но эти средства, не подкрепляемые действиями прямыми и решительными, не вели ни к чему. Чтоб иметь наготове вассального короля для Ливонии, как Иоанн IV имел Магнуса, Борис вызвал в Москву шведского принца Густава, племянника королю Карлу: Годунов хотел также выдать за этого Густава дочь свою Ксению; но Густав не захотел отказаться от протестантизма и был отослан в Углич. Нужно было искать другого жениха Ксении между иностранными принцами, и жениха нашли в Дании: принц Иоанн, брат короля Христиана, согласился ехать в Москву, чтоб быть зятем царским и князем удельным. Иоанн был принят в Москве с большим торжеством, очень ласково от будущего тестя, но скоро потом сделалась у него горячка, от которой он и умер на двадцатом году жизни.

Отношения к Крыму были благоприятны: хан, живший не в ладу с султаном турецким, принуждаемый принимать участие в войнах последнего и видя, с другой стороны, могущество Москвы, невозможность приходить врасплох на ее украины, ибо в степях являлись одна за другою русские крепости, должен был смириться и соглашаться с московскими послами, которые объявили, что государь их не боится ни хана, ни султана, что рати его бесчисленны. Но если отношения к Крыму видимо принимали благоприятный оборот, то иначе шли дела за Кавказом: рано еще, не по силам было Московскому государству бороться в этих далеких краях с могущественными турками и персиянами. Александр Кахетинский, признавая себя слугою Бориса, сносился в то же время с сильным Аббасом, шахом персидским, и позволил сыну своему Константину принять магометанство, но и это не помогло: Аббас хотел совершенного подданства Кахетии и велел отступнику Константину убить отца и брата за преданность Москве. Преступление было совершено; с другой стороны, в Дагестане русские вторично утвердились было в Тарках, но турки вытеснили их отсюда, а кумыки перерезали при отступлении: 7000 русских пало вместе с воеводами, и владычество Москвы исчезло в этой стране.

3. Окончание борьбы с Кучумом Сибирским. В Закавказье Москва не могла защищать единоверцев своих от могущественных народов магометанских, зато беспрепятственно утверждалась ее власть за Уральскими горами. В Сибири Кучум был еще жив и не переставал враждовать против русских. В 1598 году за ним погнался воевода Воейков, нашел Кучума на реке Оби и поразил; семейство Кучума попало в плен к русским, старик сам-третей ушел в лодке вниз по Оби. В этой решительной битве у русских было 400, а у Кучума 500 человек войска! Лишенный всех средств противиться далее, Кучум ушел к ногаям и был там убит. Русские продолжали строить города в Сибири, заводить хлебопашество; кроме служилых людей и хлебопашцев в новопостроенные сибирские города переводились из других городов и купцы; проводились дороги.

4. Распоряжение Бориса относительно крестьян и просвещения. Что касается внутренних распоряжений Годунова в Европейской России, то он определил, сколько крестьянин должен платить землевладельцу и сколько работать на него, позволил временно переход крестьян от мелких землевладельцев к мелким же, но не к богатым, чтоб последние не могли переманивать крестьян от бедных. Годунов старался облегчить народ от податей, старался о распространении просвещения. Он хотел вызвать из-за границы ученых людей и основать школы, где бы иностранцы учили русских людей разным языкам. Но духовенство

не согласилось на это. Тогда Борис придумал другое средство: уже давно был обычай посылать русских молодых людей в Константинополь учиться там по-гречески; теперь царь хотел сделать то же относительно других стран и языков: выбрали несколько молодых людей и отправили их учиться — одних в Любек, других в Англию, некоторых во Францию и Австрию. Борис очень любил иностранцев, составил из немцев, преимущественно из ливонцев, отряд войска; немцы эти получали большое жалованье и поместья; покровительствовал иностранным купцам, иностранных медиков своих держал, как бояр. Такое расположение царя к иностранцам, убеждение в превосходстве их над русскими относительно просвещения, убеждение в необходимости учиться у них возбудило в некоторых русских желание подражать иностранцам и начать это подражание со внешнего вида: и свои и чужие говорят о пристрастии русских к иноземным обычаям и одеждам во время Годунова, о введении обычая брить бороды.

5. Начало смуты; доносы и опалы. Для большинства русского народа Борис в два первых года своего царствования оставался таким же, каким был во время правления своего при царе Феодоре, т. е. «наружностью и умом всех людей превосходил, много устроил в Русском государстве похвальных вещей; старался искоренять разбои, воровства, корчемства, но не мог искоренить; был он светлодушен, милостив и нищелюбив, но в военном деле был неискусен. Цвел он добродетелями, и если б зависть и злоба не помрачили его добродетелей, то мог бы древним царям уподобиться. Он принимал доносы от клеветников на невинных, отчего возбудил против себя негодование вельмож всей русской земли; отсюда поднялось на него много бед, которые и привели его к гибели». Таким образом, по свидетельству современников, вся беда для Годунова произошла оттого, что он не мог уподобиться древним царям, не имел достаточно величия духа, чтоб, восшедши на престол, позабыть все старые боярские свои вражды, унизился до страха пред своими прежними соперниками, страдал мелкою болезненною подозрительностью; эту подозрительность и враждою он раздражил против себя вельмож, которые и были виновниками его падения. Первая опала от подозрительного Бориса постигла Богдана Бельского, известного нам по смуте в начале царствования Феодора, сосланного вследствие этой смуты и возвращенного из ссылки Годуновым. Царь послал Бельского строить в степи город Борисов; Бельский, будучи очень богат, не щадил издержек для угощения ратных людей, строивших город, бедным из них давал деньги, платье и этим заслужил от них громкие похвалы. Это старание Бельского приобрести народную любовь, — старание, увенчавшееся успехом, возбудило подозрительность и злобу Бориса, тем более что Бельский был человек действительно подозрительный; Бельского схватили и сослали в один из дальних городов в тюрьму. Подозрительность Бориса разыгралась. Желая знать, что говорят о нем знатные люди и не умышляют ли чего-нибудь дурного, он начал поощрять холопей к доносам на господ своих. Доносчики получали награды, и язва эта быстро разлилась, заразила людей всех званий; следствиями доносов были пытки, казни, заточения; ни при одном государе таких бед никто не видал, говорят современники. Подан был донос на Романовых от дворового человека одного из них, Александра Никитича. Романовых забрали под стражу вместе со всеми родственниками и приятелями их, пытали, пытали и людей их, но не могли ничего сведать. В 1601 году старшего из Романовых, Федора Никитича, постригли под именем Филарета и сослали в Антониев Сийский монастырь; жену его Аксинию Ивановну, урожденную Шестову, также постригли под именем Марфы и сослали в один из заонежских погостов; Александра Никитича Романова сослали к Белому морю, Михайлу Никитича — в Пермскую

область, Ивана Никитича — в Пелым, Василия Никитича — в Яренск; мужа сестры их, князя Бориса Черкасского, с женою и с племянником ее, сыном Федора Никитича, маленьким Михаилом (будущим царем), — на Белоозеро. Только двое из братьев пережили свое несчастье — Филарет и Иван Никитич; остальные померли от жестокости приставов, отправленных с ними в места заточения.

6. Голод и разбои. В то время как доносчики свирепствовали в Москве, страшное физическое бедствие постигло Россию: от сильных неурожаев в продолжение трех лет, с 1601 до 1604, сделался голод небывалый, к которому присоединилось еще моровое поветрие. За голодом и мором следовали разбои: люди, спасавшиеся от голодной смерти, составляли шайки, чтоб вооруженною рукою кормиться на счет других. Преимущественно эти шайки составлялись из холопей, которыми наполнены были дома знатных и богатых людей. Во время голода, найдя обременительным для себя кормить толпу холопей, господа выгоняли их от себя; число этих холопей, лишенных приюта и средств к пропитанию, увеличилось еще холопами опальных бояр, Романовых и других, ибо этих холопей Годунов запретил всем принимать к себе. Эти люди, из которых многие были привычны к военному делу, шли к границам, в северскую Украину (нынешние губернии Орловская, Курская, Черниговская), которая уже и без того была наполнена людьми, ждавшими только случая начать неприятельские действия против государства; еще царь Иоанн IV, желая умножить народонаселение этой страны людьми воинственными, способными защитить ее от татар и поляков, позволял преступникам спасаться от наказания бегством в украинские города. Вследствие всего этого теперь, после голода, образовались в Украине многочисленные разбойничьи шайки, от которых не было проезда не только по пустым местам, но и под самую Москву; атаманом их был Хлопка Косолап. Царь выслал против них войско под начальством воеводы Ивана Басманова, который сошелся с Хлопкою под Москвою; разбойники бились отчаянно и убили Басманова; несмотря на то, царское войско одолело их; полумертвого Хлопку взяли в плен, товарищей его, пробиравшихся назад в Украину, ловили и вешали, но в Украине было много им подобных — черная роль ее только что начиналась, начинали ходить слухи о Самозванце.

7. Появление Самозванца. В последних годах XVI века появился в Москве бойкий, смысленый, грамотный молодой человек, сирота, сын галицкого служилого человека Богдана Отрепьева Юрий. Он проживал во дворах вельмож, подозрительных царю, а поэтому сам сделался подозрителен. Беда грозит молодому человеку, он спасается от нее пострижением под именем Григория, скитается из монастыря в монастырь, попадает наконец в Чудов и поступает даже к патриарху Иову для книжного письма. Но здесь дерзкие речи, что он будет царем на Москве, навлекли на него новую беду; царь Борис велел одному дьяку сослать Отрепьева в Кириллов Белозерский монастырь, но дьяк не исполнил царского приказа, молодой монах убежал из Чудова монастыря и после долгих странствований по польских владениях он скинул с себя монашескую рясу, поучился немного в школе города Гащи, потом побывал у казаков запорожских и наконец поступил в службу к польскому вельможе князю Адаму Вишневецкому, которому при первом удобном случае открыл, что он московский царевич Димитрий, сын царя Иоанна Васильевича, спасенный от убийц, подосланных Годуновым, которые вместо него убили другого, подставленного ребенка.

8. Успехи Самозванца в Польше. Вишневецкий поверил, и весть о московском царевиче, чудесно спасшемся от смерти, быстро распространилась между соседними

панами, которые начали принимать Отрепьева с царскими почестями; у одного из них, сандомирского воеводы Юрия Мнишка, жившего в Самборе, Самозванцу очень понравилась дочь Марина. Мнишки были ревностные католики; принятие католицизма всего более помогало Отрепьеву, ибо становило на его сторону духовенство польское и особенно могущественных иезуитов; Лжедмитрий позволил францисканским монахам обратить себя в католицизм. В начале 1604 года Мнишек привез Лжедмитрия в Краков, где папский нунций Рангони представил его королю Сигизмунду. Король находился в большом затруднении: с одной стороны, ему хотелось помочь Самозванцу и таким образом завести смуту в Московском государстве; с другой стороны, страшно было нарушить перемирие, оскорбить могущественного Годунова, который мог жестоко отомстить Польше за свою обиду наступательным союзом с Швециею. Сигизмунд решился употребить такую хитрость: он признал Отрепьева московским царевичем, хотя и не публично, назначил ему ежегодное содержание, но не хотел помогать ему явно войском от имени правительства польского, а позволил вельможам частным образом помогать царевичу. Вести дело поручено было Мнишку, который с торжеством привез царевича в Самбор, где тот предложил руку свою Марине. Предложение было принято, но свадьба отложена до утверждения Димитрия на престоле московском.

9. *Меры Годунова против Лжедмитрия.* Мнишек собрал для будущего зятя 1600 человек всякого сброда в польских владениях, но подобных людей было много в степях и окраинах Московского государства; следовательно, сильная помощь ждала Самозванца впереди. Московские беглецы, искавшие случая безопасно и с выгодой возвратиться в отечество, первые приехали к нему и провозгласили истинным царевичем; донские казаки, стесненные при Борисе более чем когда-либо прежде, откликнулись также немедленно на призыв Лжедмитрия. Как скоро Лжедмитрий объявился в Польше, то слухи об нем начали с разных сторон приходить в Москву. Борис объявил прямо боярам, что это они подставили Самозванца, и начал принимать меры против страшного врага, которого нельзя было сокрушить одною военною силою. Отправлены были грамоты в Польшу к королю, вельможам, воеводам пограничным с объявлением, что тот, кто называет себя царевичем Димитрием, есть беглый монах Отрепьев. В Москве патриарх Иов и князь Василий Шуйский уговаривали народ не верить слухам о царевиче; патриарх проклял Гришку Отрепьева со всеми его приверженцами и разослал по областям грамоты с известием об этом проклятии и с увещанием не верить спасению царевича. Но средства эти оказались тщетными: северская Украина волновалась от подметных грамот Лжедмитриевых; воеводы царские прямо говорили, что «трудно воевать против природного государя» (т. е. против Димитрия); в Москве на пирах пили здоровье Димитрия.

10. *Вступление Лжедмитрия в московские пределы.* В октябре 1604 года Лжедмитрий вошел в области Московского государства. Северские города начали ему сдаваться, не сдался один Новгород Северский, где засел воевода Петр Федорович Басманов, любимец царя Бориса. Борис выслал войско под начальством первого боярина, князя Мстиславского, который сошелся с войсками Самозванца под Новгородом Северским; несмотря на малочисленность своего войска в сравнении с войском царским, Самозванец разбил Мстиславского, ибо у русских, пораженных сомнением — не сражаются ли они против законного государя? — не было рук для сечи, как говорят очевидцы. Так как Мстиславский был ранен в битве, то вместо него начальствовать над войском был прислан князь Василий Иванович Шуйский. Самозванец 21 января 1605 года ударил на царское

войско при Добрыничах, но, несмотря на храбрость необыкновенную, потерпел поражение вследствие многочисленности пушек в царском войске. Годунов сильно обрадовался, думал, что дело с Самозванцем кончено, но радость его не была продолжительна, ибо скоро пришли вести, что Самозванец не истреблен, а усиливается; 4000 донских казаков явились к нему в Путивль, где заперся он, а между тем московские воеводы ничего не сделали, не пользовались своею победою.

11. *Смерть Бориса и провозглашение Лжедмитрия царем.* В таком нерешительном положении находились дела, когда 13 апреля 1605 года умер царь Борис скоропостижно. После него остался сын Феодор, которого все свидетельства единогласно осыпают похвалами как молодого человека, наученного всякой премудрости, ибо действительно отец успел дать ему хорошее по времени и по средствам образование. Жители Москвы спокойно присягнули Феодору. К войску вместо Шуйского, отозванного в Москву, отправлен был Басманов, прославившийся защитою Новгорода Северского. Но Басманов увидал, что ничего нельзя было сделать с войском, которое и прежде не имело рук от недоумения, а теперь еще более было ослаблено нравственно вследствие смерти Бориса. Видя это, видя, что воеводы, самые способные, могшие придать одушевление войску, не хотят Годунова, Басманов решился изменить сыну своего благодетеля и вместе с князьями Голицыными (Васильем и Иваном Васильевичами) и Михаилом Глебовичем Салтыковым 7 мая объявил войску, что истинный царь есть Димитрий, и полки без сопротивления провозгласили его государем.

Самозванец двинулся по дороге в Москву, где 1 июня Плещеев и Пушкин возмутили народ и свели с престола царя Феодора; скоро приехали в Москву из стана Самозванца князья Василий Голицын и Василий Масальский, свергнули патриарха Иова, разослали в заточение Годуновых и родственников их и зверски умертвили царя Феодора Борисовича и мать его, царицу Марью; царица Ксения Борисовна осталась в живых и после была пострижена под именем Ольги.

ЦАРСТВОВАНИЕ ЛЖЕДИМИТРИЯ

20 июня 1605 года Лжедмитрий с торжеством въехал в Москву. Богдан Бельский, снова возвращенный в Москву, торжественно с Лобного места свидетельствовал перед народом, что новый царь есть истинный Димитрий. Но другое втихомолку свидетельствовал князь Василий Шуйский: он поручил одному купцу и одному лекарю разглашать в народе, что новый царь — самозванец. Басманов узнал о слухах, узнал, от кого они идут, и донес царю. Шуйский был схвачен, и Лжедмитрий отдал дело на суд собору из духовенства, вельмож и простых людей; собор осудил Шуйского на смерть; уже был он выведен на место казни, как прискакал гонец с объявлением помилования; Шуйского вместе с братьями сослали в галицкие пригороды, но, прежде нежели они достигли места ссылки, их возвратили в Москву, отдали имение и боярство.

Известить области о восшествии на престол нового царя должен был патриарх; так как Иов был свергнут, то на его место возвели рязанского архиепископа Игнатия, родом грека, который первый из архиереев признал Лжедмитрия истинным царем. Но признание Игнатия не могло окончательно утвердить нового царя на престоле; это могло сделать только признание матери, царицы Марфы. Ее привезли в Москву, Лжедмитрий встретил ее в селе Тайнинском, имел свидание наедине, в шатре, после чего народ был свидетелем взаимных нежностей матери и сына. Вскоре по приезде матери Лжедмитрий венчался на царство по обыкновенному обряду, причем объявлены были милости мнимым

родственникам царским, гонимым при Годунове, Нагим и Романовым. Филарет Никитич Романов был сделан ростовским митрополитом.

Не проходило дня, в который бы царь не присутствовал в думе, где удивлял бояр здравым смыслом, находчивостью при решении трудных дел, начитанностью; указывая на невежество бояр, он обещал позволить им ездить в чужие земли для образования; объявил, что хочет держать народ в повиновении не строгостью, но щедростью. Если и на Годунова сильно жаловались за то, что он очень любил иностранцев, отчего началось подражание иностранным обычаям, то гораздо больше поводов к подобным жалобам подавал Лжедмитрий, который, побывав сам на чужой стороне, пристрастился к тамошним обычаям и по живости природы своей не мог сообразоваться с церемонною, сидячею жизнью прежних царей. Желание как можно скорее видеть невесту свою в Москве, равно как желание быть в союзе с католическими державами для общей войны против турок заставляли Лжедмитрия дорожить дружбою польского короля Сигизмунда, но он не хотел для этой дружбы жертвовать выгодами своего государства: так, в угоду королю он не только не хотел отказаться от титула царя, но еще принял титул императора, объявил, что не уступит ни клочка русской земли Польше; в сношениях с папою Лжедмитрий также уклонялся от обязательства ввести католицизм в Московское государство. Несмотря на то, приезд в Москву Марины Мнишек со множеством поляков, которые вели себя дерзко, женитьба царя на польке некрещеной возбуждали неудовольствие в Москве, которым спешил воспользоваться князь Василий Шуйский вместе с другими боярами. Шуйский по горькому опыту знал, что нельзя подвинуть народа против царя одним распушением слухов о самозванстве, знал, что большинство московского народа предано Лжедмитрию как государю доброму и ласковому, и потому начал действовать с большою осторожностью. Особенно надеялся он на осмнадцатитысячное войско, собранное под Москвою царем для предполагавшегося похода на Крым; для безопасности же от большинства москвичей, преданных Лжедмитрию, заговорщики положили по первому набату броситься во дворец, с криком: «Поляки бьют государя!» — окружить царя как будто для защиты и убить его. Несмотря, однако, на эту осторожность и хитрость, умысел легко мог бы не иметь успеха, если бы заговорщикам не помогла необыкновенная доверчивость Лжедмитрия, который смеялся над поляками, уведомлявшими его о народном волнении, не хотел принимать никаких доносов от немецких телохранителей и пренебрег всеми мерами осторожности.

17 мая 1606 года около четырех часов утра раздался набат в Москве, и толпы заговорщиков хлынули на Красную площадь, где уже сидели на конях бояре. Шуйский повел народ в Кремль «на злого еретика», как он выразился. Лжедмитрий проснулся от набата и выслал Басманова справиться, в чем дело. Басманов в отчаянии прибежал назад к царю, крича, что вся Москва собралась на него. Когда уже бояре вошли во дворец, то Басманов вышел к ним и стал уговаривать их не выдавать народу Лжедмитрия, но был убит. Лжедмитрий увидел, что сопротивление бесполезно, выскочил из окна и разбился. Стрельцы, стоявшие на карауле, подняли его, привели в чувство и приняли было его сторону, но заговорщики закричали: «Пойдем в Стрелецкую слободу, истребим семейства стрельцов, если они не хотят нам выдать обманщика». Стрельцы испугались и сказали боярам: «Спросим царицу: если она скажет, что он не сын ей, то Бог в нем волен». Сам Лжедмитрий требовал, чтоб спросили мать его или вывели его на Лобное место и дали объясниться с народом. Но объясниться ему не дали; пришел князь Голицын и сказал, что царица Марфа называет своим сыном того, который убит в Угличе, а от этого отрекается.

Тогда Лжедмитрия убили и труп его вместе с трупом Басманова выставили на Красной площади в маске с дудкою и волынкою. Между тем другие толпы народа били поляков. Тесть самозванца Мнишек с родственниками, равно как послы королевские, приехавшие на свадьбу, были спасены боярами, Марину также не тронули и отвезли из дворца к отцу.

Тот, кто назывался царем Димитрием, был убит; начали думать об избрании нового царя. Виднее всех бояр московских по уму, энергии, знатности рода были два князя, Василий Иванович Шуйский и Василий Васильевич Голицын; оба имели сильные стороны, но Голицын не мог с успехом бороться против Шуйского, который гораздо больше выдался вперед в последнее время; он был первым обличителем самозванца, главою заговора, вождем народа против злого еретика. Для людей, совершивших последний переворот, кто мог быть лучшим царем, как не вождь их в этом деле? Бояре хотели созвать выборных из всех городов, чтоб по совету всей земли избран был государь такой, который был бы всем люб. Но Шуйский не хотел дожидаться собора, не будучи уверен, что собор кончится в его пользу, ибо дело истребления самозванца, которым он прославился, было дело чисто московское, да и не все москвичи его одобряли. 19 мая утром на Красной площади толпился народ, точно так же как и 17 мая. Вышли бояре и духовенство и предложили избрать патриарха (ибо Игнатий был свергнут как приверженец Лжедмитрия) и разослали грамоты для созвания советных людей из городов на собор, который должен избрать государя. Но в народе закричали, что царь нужнее патриарха, а царем должен быть князь Василий Иванович Шуйский. Этому крику никто не смел противоречить, и Шуйский был провозглашен царем, после чего в патриархи был избран Гермоген, митрополит казанский.

ЦАРСТВОВАНИЕ ВАСИЛИЯ ИОАННОВИЧА ШУЙСКОГО

1. *Причины новых смут.* Вступивши на престол, Шуйский целовал крест, что ему, «не осудя истинным судом с боярами своими, никого смерти не предавать, вотчин, двор и имения у братьев, жены и детей преступника не отнимать, если они не виноваты, доносов ложных не слушать, но исследовать всякое дело как можно обстоятельнее, а ложных доносчиков казнить, смотря по вине, какую возвели на другого». Разослана была по областям грамота от имени бояр и всех людей московских с известием о гибели Лжедмитрия и возведении на престол Шуйского. В этой грамоте говорилось, что Гришка Отрепьев овладел царством с бесовской помощью, всех людей прельстил чернокнижеством. Но эта странная грамота могла произвести только недоумение в жителях областей: недавно извещали их из Москвы, что Годунов свергнут истинным царем Дмитрием; теперь уверяют, что этот Дмитрий был обманщик, злодей, еретик и чернокнижник; объявляют, что он погиб за свое злодейство; но как погиб? — это остается тайной; объявляют, что избран новый царь; но как и кем? — неизвестно; советные люди из областей не участвовали в избрании Шуйского: новый царь сел на престол тайком от земли, с нарушением формы уже священной, по которой царь, не по наследству вступающий на престол, должен был выбираться по совету всей земли, а не одних москвичей. Таким образом, эта известительная грамота Шуйского породила только неудовольствие и недоверчивость; не доверяя человеку, который без ведома всех сел на престол, не знали, кому теперь верить, и наступило Смутное время.

Но если в областях были недовольны, то много недовольных было и в Москве. Народ был недоволен тем, что с воцарением Шуйского бояре стали иметь гораздо больше власти, чем сам царь; некоторые из бояр были недовольны, потому что сами хотели быть на престоле; другие не хотели видеть царем Шуйского по прежним отношениям; люди, участвовавшие в гибели Лжедмитрия и провозгласившие царем Шуйского, были недовольны, потому что Шуйский был скупой старик и не осыпал их милостями. Но все эти недовольные не могли отважиться прямо на свержение Шуйского, ибо некого было выставить лучшего на его место. Для всех недовольных нужен был предлог к восстанию, нужно было лицо, во имя которого можно было действовать, лицо столь могущественное, чтоб могло свергнуть Шуйского, и вместе столь ничтожное, чтоб не могло быть препятствием для достижения каждому своей цели; одним словом, нужен был самозванец: Шуйского можно было свергнуть только так, как свергнут был Годунов. Но кроме недовольных московских, желавших иметь предлог к восстанию против Шуйского, самозванец чрезвычайно понравился казакам, которые увидели в нем средство мучить государство и жить безнаказанно на его счет; еще при жизни Лжедмитрия терские казаки (жившие на реке Терек) провозгласили одного из своих, муромца Илью Коровина, царевичем Петром, сыном царя Феодора Иоанновича, которого будто бы Годунов подменил на девочку Феодосию. Но кроме этого царевича Петра скоро явился опять и дядя его, царь Дмитрий.

2. *Восстание южных областей в пользу самозванца.* 17 мая, когда заговорщики были заняты истреблением самозванца и поляков, один из приверженцев Лжедмитрия, Молчанов, успел скрыться из дворца, из Москвы и направил путь к литовским границам, везде распуская по дороге слухи, что он царь Дмитрий, спасающийся от убийц. В самой Москве в народе пошли слухи о возможности этого спасения; маска, надетая на лицо мертвого Лжедмитрия, подала повод к толкам, что тут скрывалась подстановка; тем более

могли верить в спасение Димитрия жители областей, которые ничего не знали. Сам Шуйский видел, что ему нельзя разуверить народ касательно слухов о спасении Лжедимитрия и что гораздо благоразумнее вооружиться против прав его, дабы самозванец, и спасшийся, по мнению некоторых, от убийц, оставался все же самозванцем. Для этого Шуйский велел с большим торжеством перенести из Углича в Москву мощи царевича Димитрия и сам нес их всю Москву до Архангельского собора, прославляя святость невинного младенца, павшего под ножами убийц, но в Москве помнили очень хорошо, что этот же самый Шуйский объявил, что царевич умертвил сам себя в припадке падучей болезни.

Шуйскому не верили. Народ был в недоумении; опять, как при появлении первого самозванца, он был поражен нравственным бессилием, ибо человек недоумевающий, неуверенный не способен к действию твердому и решительному. Но в то время как у добрых были отняты таким образом руки, у злых, обрадовавшихся смуте, руки развязывались на злые дела. Возмутилась северская Украина по призыву путивльского воеводы, князя Григория Шаховского; там, в северской стране, подле Шаховского начинает играть важную роль Иван Болотников, прежде бывший холопом и теперь недавно возвратившийся из татарского плена. Болотников обратился к подобным себе, обещая волю, богатство и почести под знаменами Димитрия, и под эти знамена начали стекаться преступники, спасшиеся в Украину от наказания, беглые холопы и крестьяне, казаки; к ним приставали в городах посадские люди и стрельцы. Они начали в городах хватать воевод и сажать их в тюрьмы; крестьяне и холопы начали нападать на господ своих, мужчин убивали, жен и дочерей заставляли выходить за себя замуж. Царские войска, высланные против Болотникова, были поражены, боярский сын Пашков возмутил Тулу, Венев и Каширу; воевода Сунбулов и дворянин Прокофий Ляпунов возмутили княжество Рязанское. На востоке, по Волге, в Перми, Вятке, восстали также крестьяне, холопы, инородцы; поднялась за Лжедимитрия и отдаленная Астрахань.

3. Борьба Шуйского с Болотниковым и появление второго Лжедимитрия. Болотников переправился за Оку, снова разбил царских воевод в семидесяти верстах от Москвы, беспрепятственно приблизился к самой столице и стал в селе Коломенском, подметными письмами поднимая московскую чернь против высших сословий. Царствование Шуйского казалось конченным, но дворяне, соединившиеся с Болотниковым, Ляпунов и Сунбулов с товарищами, увидели, с кем у них общее дело, и поспешили отделиться; они предпочли снова служить Шуйскому и явились с повинною в Москву, где были приняты с радостью и награждены. Тверь, Смоленск остались верны царю Василию и прислали своих ратных людей к нему на помощь. Племянник царский, молодой даровитый воевода князь Михайла Васильевич Скопин-Шуйский, поразил Болотникова благодаря особенно отступлению от него Пашкова с дворянами. Болотников принужден был бежать на юг и заперся в Туле, куда пришли к нему казацкий самозванец Лжепетр и Шаховский. Тогда Шуйский принял меры решительные: он собрал до 100 000 человек войска и в мае 1607 года сам повел его осаждать Тулу. Осажденные писали в Польшу к друзьям Мнишека, чтоб те выслали им непременно какого-нибудь Лжедимитрия, и второй Лжедимитрий наконец явился. Какого он был происхождения — носились разные слухи, но верного между ними не было ни одного; известно об нем только то, что он был человек умный, грамотный и глубоко развращенный. Он открылся жителям Стародуба, те провозгласили его тотчас же государем, и вся северская страна последовала их примеру. Около самозванца начала собираться

дружина, умножавшаяся выходцами из Литвы; но с этою малочисленною дружиною Лжедмитрий не мог идти на освобождение Тулы, и участь ее была решена: удручаемые голодом, осажденные принуждены были сдаться; Шаховского сослали в пустынь на Кубенское озеро, Болотникова утопили, Лжепетра повесили.

4. *Самозванец в Тушине.* Шуйский с торжеством возвратился в Москву, а между тем самозванец усиливался: к нему пришел из Литвы знаменитый наездник Лисовский, спасающийся от смертной казни, которая грозила ему в отечестве, пришло несколько знатных панов, из которых князь Рожинский сделался гетманом у самозванца; пришли казаки запорожские, донские — последние под начальством Заруцкого. Но казакам было мало одного самозванца; у них явилось их несколько под разными именами, все сыновья и внуки Иоанна Грозного. Эти мелкие самозванцы пропадали без вести, а главный начал успешно свои действия. Весною 1608 года самозванец с гетманом своим Рожинским двинулся к Болхову, поразил здесь царское войско и поспешно пошел к Москве, где в это время шли переговоры о мире между боярами и послами короля польского: заключено было трехлетнее перемирие, с тем что Шуйский отпускает в Польшу Мнишек с дочерью и всех задержанных после убиения самозванца поляков, а король обязывается отозвать всех поляков, поддерживающих второго самозванца, и вперед никаким самозванцам не верить и за них не вступаться; Юрию Мнишеку не признавать зятем второго Лжедмитрия, дочери своей за него не выдавать, и Марине не называться московскою государынею. Посланники королевские послали сказать Рожинскому и товарищам его об этих условиях перемирия, но те отвечали, что ничьего приказа слушаться не хотят. 1 июня Лжедмитрий приблизился к Москве и расположился станом по Волоколамской дороге, в селе Тушине, между реками Москвою и Восточною. В битве под самою Москвою на реке Ходынке самозванец потерпел неудачу; несмотря на то, и для Шуйского мало было утешительного в будущем: ни один поляк не оставлял тушинского стана — напротив, приходили один за другим новые отряды, между прочими пришел Ян Сапега, староста усвятский, которого имя вместе с именем Лисовского получило такую знаменитость в нашей истории. Но нужнее всех этих подкреплений для самозванца было присутствие Марины в его стане. Узнав, что в исполнение договора Мнишек с дочерью отпущены в Польшу, Лжедмитрий послал перехватить их на дороге, что и было исполнено; старый Мнишек решил продать дочь Тушинскому вору за богатые обещания, и Марина волею-неволею должна была играть роль царицы в Тушине, роль незавидную, потому что вор обходился с нею очень грубо.

5. *Успехи тушинцев на севере.* Если со стороны поляков было такое явное нарушение договора, если вор утверждался в Тушине с польскою помощью, то Шуйскому естественно было обратиться с просьбою о помощи ко врагу Польши и короля ее Карлу IX Шведскому, тем более что последний уже давно предлагал эту помощь. Царь отправил племянника своего, князя Скопина-Шуйского, в Новгород, где он и начал переговоры со шведами относительно вспомогательных войск. Но в то время как шведы еще только обещали пособить Шуйскому, поляки самозванцевы действовали в пользу своего союзника под Москвою и на севере. Сапега, хотевший действовать отдельно, пошел к Троицкому монастырю и осадил его вместе с Лисовским. Сапега и Лисовский думали скоро управиться с монастырем, но встретили сильное сопротивление: все приступы их были отбиты, осадные работы уничтожены, причем монахи ревностно помогали ратным людям, составлявшим гарнизон укрепленного монастыря. Троицкий монастырь благодаря религиозному одушевлению защитников святого места, защитников гроба чудотворцева от хищных

иноверцев держался, но многие другие города северные достались в руки тушинцам, захваченные врасплох среди смуты, недоумения, сомнений, овладевших гражданами. Так, захвачены были Суздаль, Владимир, Переяславль Залесский, Ростов; в последнем городе тушинцы захватили митрополита Филарета и отослали его самозванцу, который велел провозгласить его патриархом. Ростовские беглецы смутили и напугали жителей Ярославля, лучшие из которых, покинув дома, разбежались, остальные отправили повинную в Тушино. Двадцать два города присягнули царю тушинскому, по большей части неволею, застигнутые врасплох, увлекаемые примером других городов, в тяжком недоумении, на чьей стороне правда.

6. Восстание народа на севере против тушинцев. Но скоро из этого недоумения жители городов и сел были выведены поведением тушинцев, которые прежде всего думали о деньгах, врывались в дома знатных людей, в лавки к купцам, брали товары без денег, обижали народ на улицах, поборам не было конца. Услыхав об этих насилиях, жители отдаленных северных городов, еще не занятых тушинцами, начали пересылать друг другу грамоты с убеждением поразмыслить, повременить присягою Димитрию; Лжедимитрием, самозванцем, вором они его не называют, ибо не знают на этот счет ничего верного. Если положение городских жителей было тяжело, то еще тягостнее было положение сельских жителей: казаки не знали меры своим неистовствам, вследствие чего крестьянские восстания против тушинцев вспыхнули в разных местах; начали один за другим восставать против них и города.

7. Борьба Москвы с Тушином. В это время, когда северные города, выведенные из терпения насилиями тушинцев, изгоняют их, истребляют воевод, верных Лжедимитрию, как врагов Московского государства (ибо вопрос о государях, о законности того или другого из них по-прежнему не решен для жителей городов), снаряжают ратных людей на помощь этому государству, царь московский Василий продолжает бороться с соседом своим, царем тушинским. Мы видели, что сначала под знамена самозванца собрались люди из самых низких слоев народонаселения: крестьянин шел к самозванцу для того, чтоб не быть больше крестьянином, чтоб получить выгоднейшее положение, стать помещиком вместо прежнего своего помещика; но теперь, когда подле старой столицы, Москвы, поднялась другая столица, Тушино, с своим особым царем, у которого был свой двор, свое войско, свое управление, то сильное движение произошло во всех сословиях: торговый человек шел из Москвы в Тушино, чтобы сделаться приказным человеком, дьяком; подьячий шел, чтоб сделаться думным дворянином; наконец, люди значительные, князья, но молодые, не надеявшиеся по разным обстоятельствам когда-либо или скоро подвинуться к высшим чинам, шли в Тушино, где тотчас получали желаемое. Было два царя, московский и тушинский, оба нуждались в слугах, и вот нашлось много людей, которым показалось выгодным удовлетворять требованиям обеих сторон и получать двойную плату. Некоторые, поцеловавши крест в Москве Шуйскому, уходили в Тушино, целовали там крест Лжедимитрию и, взявши у него жалованье, возвращались назад в Москву; Шуйский принимал их ласково, давал награды за раскаяние, но скоро узнавал, что эти раскаявшиеся опять отправились в Тушино требовать жалованья от самозванца. Такие люди получили название перелетов, от легкости, с какой переходили из Москвы в Тушино и обратно. Собирались родные и знакомые, обедали вместе, а после обеда одни отправлялись во дворец к царю Василию, а другие ехали в Тушино.

Шуйского вообще не любили в Москве, но добрые граждане не хотели менять его на

какого-нибудь боярина, тем менее на царя тушинского, ибо хорошо знали, чем грозит торжество вора. Вот почему попытки свергнуть Шуйского не удавались, хотя царь жил в постоянной тревоге. Но зато и тушинский царь не был более спокоен; вся зима 1608–1609 годов прошла в смутах и бунтах, что и мешало вору действовать решительно против Москвы; на весну взбунтовались войсковые слуги, поставили сами себе начальников, ходили по областям и грабили, а к господам своим в Тушино не хотели возвратиться; для укрощения бунтовщиков надобно было выслать целые роты; притом силы самозванца были разделены, разные отряды его войска действовали в разных местах. Под Москвой поэтому происходили битвы частные, но мелкие. Летом 1609 года произошла значительная битва между речками Ходынкою и Химкою: сначала поляки были победители, но потом русские оправились и прогнали их. Эта битва была последним важным делом между Москвою и Тушином, потому что с двух сторон союзники и враги шли избавить Москву от Тушина.

8. *Движение князя Скопина-Шуйского.* От Новгорода шел к Москве князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский с 5000 шведов, которых прислал на помощь царю Василию король Карл IX; шведы были под начальством генерала Деллагарди; в благодарность за эту помощь Шуйский должен был уступить Швеции город Корелу с уездом и обязался вечным союзом против Польши. Весною 1609 года Скопин начал наступательные движения на тушинцев, очистил от них Старую Русу, Торопец, Торжок, Порхов, Орешек, воевода которого, Михайла Глебович Салтыков, приверженец обоих самозванцев, ушел в Тушино. Поразив тушинцев в двух битвах, Скопин приближался к Москве, куда с другой стороны, с востока, шел боярин Шереметев, также приводя города в подданство царю Василию. Таким образом, север очищался, и главные рати Шуйского с востока и запада сходились к Москве, чтоб под ее стенами дать решительный бой царю тушинскому. Самозванец был сильно встревожен, но гроза поднималась над ним еще и с другой стороны.

9. *Вступление польского короля в пределы Московского государства и следствия этого вступления для Тушина.* В начале царствования Шуйского королю польскому Сигизмунду, угрожаемому дома сильным возмущением подданных, было не до Москвы. Но возмущение это окончилось торжеством короля, который имел теперь возможность заняться делами внешними, а между тем в дела Московского государства вмешалась Швеция, держава, ему враждебная, и Шуйский заключил с Карлом IX вечный союз против Польши. При таких обстоятельствах Сигизмунд не мог оставаться более в покое; с другой стороны, послы польские, возвратившиеся из Москвы, уверяли короля, что бояре за него, что стоит только ему показаться с войском в пределах московских, как бояре заставят Шуйского отказаться от престола и провозгласят царем королевича Владислава, сына Сигизмундова. Но, имея власть сильно ограниченную, король Сигизмунд не мог заботиться только о своих фамильных интересах; он прежде всего должен был дать обещание сенату и сейму, что в предстоящей войне с Москвою будет заботиться только о выгодах государства польского. Вот почему Сигизмунд спешил приобрести для Польши какое-нибудь важное место в московских владениях. Таким местом был Смоленск, издавна предмет спора между Москвою и Литвою. Сигизмунда уведомляли, что воевода смоленский Шеин и жители охотно сдадутся ему; особенно торопил короля Лев Сапега, канцлер литовский, и 21 сентября 1609 года король стоял под стенами Смоленска. Сигизмунд послал в Смоленск грамоту, в которой писал, что пришел не для пролития крови русской, но для защиты русских людей и будет стараться больше всего о сохранении православной русской веры. Но смольнян нельзя было обмануть подобными уверениями; как соседи Литвы, они хорошо

знали, что в ней делается, как там Сигизмунд из ревности к католицизму позволял притеснять православную русскую веру; они отвечали королю, что у них дано обещание: за православную веру, за святые церкви и за царя всем помереть, а литовскому королю и его панам отнюдь не поклониться. С самого начала осада Смоленска пошла неудачно для короля: приступ был отбит, подкопы не удавались.

Не Смоленск, но Тушино испытало на себе весь вред от королевского похода: когда здесь узнали об этом походе, то началось сильное волнение; поляки кричали, что Сигизмунд пришел затем, чтоб отнять у них заслуженные награды и воспользоваться выгодами, которые они приобрели своею кровью и трудами. Приехали в Тушино послы Сигизмундовы с требованием, чтоб все поляки оставили Лжедмитрия и соединились с войском королевским. Начались переговоры, сопровождавшиеся сильными волнениями; от этих переговоров зависела вся будущность Лжедмитрия, а между тем на него, называвшегося царем, никто не обращал внимания; польские вожди, поставленные в неприятное положение, срывали на нем сердца, бранились с ним, грозили побоями. Тогда Лжедмитрий решился бежать из Тушина и вечером, переодевшись в крестьянское платье, уехал в Калугу. После отъезда самозванца Рожинскому с товарищами ничего больше не оставалось, как вступить в соглашение с королем. Но в Тушине было много русских: что им было теперь делать? Двинуться за самозванцем они не могли: поляки бы их не пустили; да и трудно им было надеяться, что самозванец успеет поправить свои обстоятельства. Они не могли решиться просить помилования у Шуйского, променять положение верное на участь, еще неизвестную даже и в случае помилования. Русским тушинцам, как и польским, оставался один выход — вступить в соглашение с королевскими послами, которые убеждали их отдаться под покровительство Сигизмундово. Они приняли это покровительство и отправили своих уполномоченных под Смоленск, к королю.

31 января 1610 года послы от русских тушинцев были торжественно представлены королю; явились люди разных чинов: тут был и боярин Михайла Глебович Салтыков; тут были князья и дьяки; между дьяками первое место занимал Грамотин, человек самой подозрительной нравственности, но грамотный, ловкий, смысленый делец; тут был и Федор Андронов, бывший московский кожевник, поднявшийся в Смутное время, умевший приблизиться к первому Лжедмитрию, умевший найти почетное место и при втором в Тушине. Эти люди объявили, что согласны признать царем московским сына королевского Владислава, и написали условия: неприкосновенность православной русской веры; неприкосновенность прав высших сословий; перемена законов зависит от бояр и всей земли; никого не казнить, не осудя прежде с боярами и думными людьми; людей великих чинов невинно не понижать, а меньших людей возвышать по заслугам. В этом последнем условии сказались влияние дьяков и людей, подобных Андронову, которых было много в тушинском стане; незнатные, выхваченные бурями Смутного времени снизу наверх, хотят удержать свое положение и требуют, чтоб новое правительство возвышало людей низших сословий по заслугам, которые они ему окажут. Выговорено было и другое любопытное условие, в котором видно влияние Салтыкова и других приверженцев первого Лжедмитрия, видно влияние долгого пребывания русских в Тушине вместе с чужеземцами, — выговорено, что для науки вольно каждому из народа московского ездить в другие государства христианские. Но, выговорив для себя свободный выезд за границу, тушинцы вытребовали, чтоб переход крестьянский был запрещен и чтоб король не давал вольности холопам.

Между тем в Тушине продолжалось волнение; Марина тайком убежала из стана сперва к

Сапеге, который снял осаду Троицкого монастыря в начале 1610 года и расположился в Дмитрове; отсюда уже Марина отправилась в Калугу к мужу, который не терял еще надежды, поддерживаемый преимущественно казаками. Наконец, в первых числах марта 1610 года Рожинский зажег тушинский стан или, скорее, город и пошел по дороге к Волоколамску. Так Москва без битвы освободилась от Тушина; скоро и Сапега оставил Дмитров и двинулся также к Волоколамску, вследствие чего князь Скопин мог беспрепятственно вступить в Москву.

10. *Торжество Скопина и смерть его.* Знаменитому воеводе было не более 24 лет от роду. В один год приобрел он себе славу, которую другие полководцы приобретали подвигами жизни многолетней, и, что еще важнее, приобрел сильную любовь всех добрых граждан, желавших земле успокоения от смут; в то время как старый нелюбимый дядя его Василий не мог ничего сделать для государства, сидя в осаде, и вследствие этого бездействия исчезал для земли, самая видная, царственная деятельность принадлежала Скопину: с его именем для добрых граждан связана была надежда на избавление, на лучшее будущее. Наружность и характер Скопина много содействовали также приобретению любви народной: это был красивый молодой человек, обнаруживший светлый ум, зрелость суждения не по летам, в деле ратном искусный, храбрый и осторожный вместе, ловкий в обхождении с иностранцами; кто знал его, все отзывались об нем как нельзя лучше. Таков был человек, которому, по-видимому, суждено было очистить Московское государство от воров и поляков, поддержать колебавшийся престол старого дяди, примирить русских людей с фамилией Шуйских, упрочить ее на престоле царском, ибо по смерти бездетного Василия голос всей земли не мог не указать на любимца народного. Но если граждане спокойные, найдя себе точку опоры в племяннике царском, для блага земли и самого Скопина должны были терпеливо дожидаться кончины царя Василия, чтоб законно возвести на престол своего избранника, чистого от нареканий в искательствах властолюбивых, то не хотел спокойно дожидаться этого Ляпунов, не умевший сдерживать своих порывов, не сознававший необходимости средств чистых для достижения цели высокой, для прочности дела. Ляпунов отправил к Скопину посланников, которые поздравили его царем от имени Ляпунова и подали грамоту, наполненную укоризнами против царя Василия. В первую минуту Скопин разорвал грамоту и велел схватить присланных, но потом позволил им упросить себя и отослал их назад в Рязань, не донеся в Москву. Этим воспользовались, чтоб заподозрить Скопина в глазах дяди.

21 марта 1610 года Скопин с Делгарди имел торжественный въезд в Москву и был встречен москвичами с восторгом. Царь Василий встретил племянника также очень ласково, но иначе вел себя брат царский, князь Димитрий Иванович Шуйский, который считал себя наследником престола и, увидав себе страшного соперника в Скопине, возненавидел его. Делгарди, слыша толки о зависти и ненависти, остерегал Михаила, уговаривал его как можно скорее оставить Москву и выступить к Смоленску против Сигизмунда, положение которого было вовсе не блестящее: Смоленск не сдавался, северские города нужно было брать с большими усилиями, со страшною резнею. Рожинский с тушинскими поляками, остановившийся в Иосифовом Волоколамском монастыре, умер там; после его смерти поляки были вытеснены из монастыря русскими и шведскими их союзниками, причем должны были покинуть русских, выведенных ими из Тушина, и в том числе митрополита Филарета, который, таким образом, получил возможность уехать в Москву. Одна часть этих тушинских беглецов ушла к Лжедмитрию в Калугу, другая

решилась соединиться с королем, но самозванец и Сигизмунд оба не много выигрывали от этой помощи; первый видел московские отряды под самую Калугою, а король, который поспешил под Смоленск с малыми силами в надежде на смуты, терзавшие Московское государство, теперь должен был бояться неравной борьбы с врагами сильными и раздраженными. Видя опасность, он попытался было войти в переговоры с московским царем, но Василий, ободренный благоприятным оборотом дел, отклонил их. Счастье, впрочем, улыбнулось Шуйскому на очень короткое время.

23 апреля князь Скопин на пиру у князя Воротынского занемог кровотечением и после двухнедельной болезни умер. Пошел общий, хотя неосновательный слух об отраве, и преступление было приписано князю Димитрию Шуйскому; подозревали и самого царя Василия. Смерть Скопина и это подозрение были гибельны для Шуйского, ибо один Скопин был крепкою связью между царем и народом, поддерживая в последнем надежду на лучшее будущее. Но теперь будущее для народа нисколько уже не связывалось с фамилиею Шуйских: царь Василий стар и бездетен, брата его Димитрия и прежде не любили, не уважали, а теперь обвиняли в отравлении племянника. Когда, таким образом, смертью Скопина порвана была связь русских людей с Шуйскими, когда взоры многих невольно и тревожно обращались в разные стороны, ища опоры для будущего, раздался голос, призывавший к выходу из тяжелого положения: то был голос знакомый, голос Ляпунова. Рязанский воевода поднимается против Шуйского, требует его свержения, в Калуге заводит переговоры с самозванцем, в Москве совещается с князем Василием Васильевичем Голицыным, который сильно желает занять престол по свержении Шуйского.

11. *Сведение царя Василия с престола.* В то время когда уже Ляпунов поднял восстание в Рязани, войско московское вместе с вспомогательным шведским отрядом выступило против поляков по направлению к Смоленску. Кто же был главным воеводою? Князь Димитрий Шуйский, обвиняемый в отравлении племянника, не любимый и без того за гордость, презираемый за изнеженность! Король, узнав о выступлении этого войска, отправил навстречу к нему гетмана Станислава Жолкевского, который напал на Шуйского 24 июня при деревне Клушине и благодаря особенно измене иностранных союзников Шуйского разбил последнего наголову. После этой победы Жолкевский, провозглашая царем королевича Владислава, пошел к Москве, а с другой стороны спешил к ней из Калуги самозванец, надеявшийся, что москвичи в крайности скорее поддадутся ему, чем признают царем польского королевича. Захар Ляпунов, брат Прокофия, уже волновал Москву; 17 июля толпы народа собрались на Красной площади, отсюда за теснотою места двинулись за Москву-реку, к Серпуховским воротам, и здесь бояре и всякие люди приговорили бить челом царю Василию Ивановичу, чтоб он царство оставил, потому что кровь многая льется, в народе говорят, что он государь несчастлив, и не хотят его города украинские, которые отступили к вору. Василий должен был согласиться с этим приговором, выехал из дворца в свой прежний боярский дом. Но этим не удовольствовались: 19 июля Захар Ляпунов с товарищами насильно постригли его в монахи и свезли в Чудов монастырь, постригли также и жену его; двоих братьев посадили под стражу.

МЕЖДУЦАРСТВИЕ

1. *Провозглашение царем королевича Владислава.* По свержении Шуйского во главе правительства стала дума боярская; все должны были присягать — до избрания нового царя повиноваться боярам. Но где было взять нового царя? Большинство, и большинство огромное, не хотело поляка Владислава, чернь благоприятствовала Лжедмитрию, но знатные и средние люди не хотели о нем и слышать как о воре, царе казацком. Патриарх Гермоген требовал избрания царя из вельмож русских, предлагал им князя Василия Васильевича Голицына или четырнадцатилетнего Михаила Феодоровича Романова, сына митрополита Филарета Никитича. Но это желание выбрать царя из своих не могло на этот раз осуществиться: в Можайске стоял гетман Жолкевский, требуя, чтоб Москва признала царем Владислава, а в селе Коломенском стоял Лжедмитрий. Временному правительству московскому не было возможности отбиваться от Жолкевского и Лжедмитрия вместе, особенно когда у последнего были приверженцы между низшим народонаселением города, некогда было созывать собор для избрания царя всею землею, надобно было выбирать из двоих готовых искателей престола, Лжедмитрия и Владислава. Узнавши, что приверженцы Лжедмитрия хотят впустить его войско тайно в Москву, первый боярин, князь Мстиславский, послал сказать Жолкевскому, чтоб тот шел немедленно под столицу. Когда он подошел под Москву, то начались переговоры между ним и боярами. Жолкевский объявил, что он согласен только на те условия избрания Владислава, которые были приняты русскими тушинцами под Смоленском, но так как бояре требовали, чтоб королевич принял православие до приезда своего в Москву, то это условие положено было передать на решение короля. 27 августа происходила торжественная присяга московских жителей королевичу Владиславу, но чрез два дня после этой присяги приехал из-под Смоленска Федор Андронов с письмом от короля, который требовал от гетмана, чтоб Московское государство было упрочено за ним самим, а не за сыном его. Вслед за Андроновым приехал поляк Гонсевский с подробнейшим наказом для гетмана, но не только сам гетман, даже и Гонсевский, узнав положение дел, счел невозможным исполнить желание короля, которого одно имя, по собственному признанию поляков, было ненавистно московскому народу. Жолкевский не обнаружил ни в чем намерений королевских, исполнил свое обещание, данное боярам, отогнал самозванца от Москвы опять в Калугу и начал настаивать на скорейшее отправление послов к Сигизмунду для испрошения Владислава в цари и для окончательного улажения дела. Это посольство давало гетману случай удалить из Москвы подозрительных людей, на которых патриарх указывал народу как на достойных занять престол. Жолкевский уговорил Голицына принять на себя посольство: удалив из Москвы, отдавши в руки королевские искателя престола, гетман удалил с тем вместе самого видного по способностям и деятельности боярина, с остальными легче было управиться. Михаил Феодорович Романов был еще очень молод, его нельзя было включить в посольство, и потому Жолкевский постарался, чтоб послом от духовенства назначили отца Михайлова, митрополита Филарета, как человека, соединявшего в себе высокоость сана с знатностью происхождения, чего не имели другие архиереи.

2. *Посольство Филарета Никитича и князя Б. Б. Голицына к королю; вступление поляков в Москву; отъезд Жолкевского и переговоры великих послов с панамы под Смоленском.* Филарет и Голицын отправились под Смоленск к королю; Жолкевский остался под Москвою с небольшим своим войском, остался в положении очень опасном: он

видел, что русские только вследствие крайней необходимости согласились принять на престол иноземца и никогда не согласятся принять иноверца, а Сигизмунд никогда не согласится позволить сыну принять православие. Но самозванец помогал гетману: из страха пред простым народом, который не переставал обнаруживать расположение свое к Лжедмитрию, бояре сами предложили Жолкевскому ввести польское войско в Москву; патриарх сначала сильно этому противился, но потом уступил, и ночью с 20 на 21 сентября поляки тихо вступили в Москву. Жолкевский для собственной выгоды хотел предотвратить всякое враждебное столкновение между поляками и русскими: решение распрей между ними предоставлено было равному числу судей из обоих народов, суд был беспристрастный и строгий. Гетман привлек к себе стрельцов обходительностью, подарками и угощениями, подружился с патриархом. Несмотря, однако, на все эти приятные отношения и ловкие меры, Жолкевский знал, что восстание вспыхнет при первой вести о нежелании короля отпустить Владислава в Москву, знал, что эта весть может придти очень скоро, и потому поспешил уехать из Москвы, оставя на свое место Гонсевского. Гетман взял с собою к королю сверженного царя Василия Шуйского с двоими его братьями из опасения, чтоб они смут не наделали.

Двое других подозрительных лиц, Филарет и Голицын, были уже под Смоленском во власти короля, в совете которого было решено не отпускать Владислава в Москву на том основании, что он еще молод, требует искусного воспитания, которое трудно получить в Москве, по той же молодости не способен успокоить внутренние волнения; выбранный по необходимости, будет свержен при первом удобном случае, а главное побуждение к свержению уже готово — иноверие. Положено было не отказывать русским прямо в королевиче, поманить обещаниями, оставляя правление за королем. На этом основании паны объявили великим послам Филарету и Голицыну, что король не может отпустить своего пятнадцатилетнего сына в Москву, хочет прежде сам успокоить Московское государство, после чего паны начали настаивать на самом важном для Польши — чтоб Смоленск сдался на имя королевское. Послы никак не хотели на это согласиться, требовали, чтоб Владислав немедленно был отпущен в Москву, ибо только такой немедленный приезд его туда уничтожит недоверчивость и прекратит все смуты. Время проходило в бесполезных спорах, причем паны, раздражаемые самою несправедливостью своих требований, позволяли себе жесткие выходки против послов. Приезд гетмана Жолкевского под Смоленск нисколько не подвинул дела. Видя непреклонность главных послов, обратились к второстепенным, обещаниями склонили некоторых изменить своему делу, бросить главных послов и отправиться в Москву, чтоб там действовать в пользу короля. Хотели поколебать и думного дьяка Томилу Луговского, суля милости королевские, предлагали ему ехать под Смоленск и уговаривать его жителей к сдаче. Но Томила остался непреклонен и отвечал: «Как мне это сделать и вечную клятву на себя навести? Не только Господь Бог и люди Московского государства мне за это не потерпят, и земля меня не понесет. Я прислан от Московского государства в челобитчиках, и мне первому соблазн ввести? По Христову слову, лучше навязать на себя камень и вринуться в море. Присланы мы к королевскому величеству не о себе промышлять и челом бить, но о всем Московском государстве».

3. Поведение Салтыкова и Андропова в Москве; восстание восточных городов против Владислава и смерть второго Лжедмитрия. Но не все так думали, как Томила Луговской. Первый боярин, князь Мстиславский, принял от короля сан конюшего; другие писали униженные письма к литовскому канцлеру Льву Сапеге, чтоб похлопотал об них у

короля; многие отправились сами к королю под Смоленск бить челом о милостях: до нас дошло множество грамот Сигизмундовых, жалованных разным русским людям на поместья, звания, должности. Таким образом, временное правительство московское, дума боярская, молча согласилось признать короля правителем до приезда Владислава; большая часть бояр, впрочем, этим и ограничивалась, но не ограничивался этим Михайла Глебович Салтыков, который прямо вел дело к тому, чтоб царем был провозглашен не Владислав, а Сигизмунд. Но одного Салтыкова было мало, а потому в Смоленском стане признали полезным принять услуги и другого рода людей, именно тех тушинцев, которые готовы были на все, чтоб только выйти из толпы. Виднее всех этих людей был Федор Андронов; он умел приблизиться к королю и к его советникам до такой степени, что король приказал московским боярам сделать его государственным казначеем. Андронов в этом новом звании служил верою и правдою королю; все требования Гонсевского он исполнял беспрекословно; лучшие вещи из казны царской были отосланы к королю; некоторые взял себе Гонсевский; Андронов постарался также, чтоб на всех главных местах управления посажены были его тушинские товарищи.

Бояре сильно оскорбились, когда увидели рядом с собою в думе торгового мужика Андропова с важным званием казначея; особенным бесчестием для себя считали они то, что этот торговый мужик осмеливался говорить против старых бояр — Мстиславского, Воротынского, — распоряжался всем, пользуясь полной доверенностью короля и Гонсевского. Но если сердились Мстиславские, Воротынские, Голицыны, то еще больше сердился на Андропова боярин Салтыков, который за свою преданность королю хотел играть главную роль и должен был, однако, делиться властью с торговым мужиком. Между этими людьми немедленно же началось соперничество, они доносили друг на друга канцлеру Льву Сапеге, причем каждый выставлял свои заслуги королю и королевству Польскому в прошедшем, свое радение для будущего; так, Салтыков писал Сапеге: «Пусть король идет в Москву не мешкая, распустив слух, что идет на вора в Калуге. Как будет король в Можайске, то отпиши ко мне сейчас же, а я бояр и всех людей приведу к тому, что пришлют бить челом королю, чтоб пожаловал в Москву, государство сына своего очищал и на вора наступал». Но Салтыков встречал сильное сопротивление своим замыслам в патриархе, который, блюдя за выгодами Церкви, никак не хотел согласиться на призвание короля в Москву. Народ стоял на стороне патриарха, и, чем яснее обнаруживались замыслы Сигизмунда и его русских клеветов, тем сильнее становилось волнение в пользу вора калужского. По подозрению в сношениях с Лжедмитрием поляки посадили под стражу князя Андрея Голицына (брата Василия Васильевича), Ивана Михайловича Воротынского и Засекина. Казань и Вятка явно присягнули самозванцу и разослали грамоты по другим городам, убеждая их сделать то же самое. Но города переписывались о присяге Лжедмитрию, когда уже его не было в живых: 11 декабря он был убит крещеным татаринном Петром Урусовым, который поклялся отомстить ему за служилого татарского царя касимовского, умерщвленного по приказу Лжедмитрия.

4. *Первое общее восстание против поляков.* Смерть вора была вторым поворотным событием в истории Смутного времени, считая первым вступление короля Сигизмунда в пределы Московского государства, — вступление, поведшее, с одной стороны, к уничтожению тушинского стана, с другой — к свержению Шуйского. Теперь, по смерти самозванца, у короля и московских приверженцев его не было более предложения требовать дальнейшего движения Сигизмундова в русские области. Лучшие люди в Москве и по

областям, которые согласились призвать царем Владислава только из страха покориться казацкому царю, теперь освобождались от этого страха и могли действовать свободнее против поляков. Как только в Москве узнали, что вор убит, то русские люди обрадовались и стали друг с другом говорить, как бы всей земле, всем людям соединиться и стать против литовских людей, чтоб они из земли Московской вышли все до одного. Салтыков и Андронов писали к Сигизмунду, что патриарх призывает к себе всяких людей явно и говорит: если королевич не крестится в христианскую веру и все литовские люди не выйдут из Московской земли, то королевич нам не государь; такие же слова патриарх и в грамотах писал во многие города, а москвичи всякие люди хотят стоять против поляков. Но и тут, при всеобщей готовности стоять против поляков, первый двинулся Ляпунов в Рязани. И другие города начали опять переписываться друг с другом, увещевать друг друга стать за веру православную, вооружиться на поляков, грозящих ей гибелью. Первые подали голос жители волостей смоленских, занятых, опустошенных поляками. Смольняне писали, что они покорились полякам, дабы не лишиться православного христианства и не подвергнуться конечной гибели, и, несмотря на то, подвергаются ей: вера поругана, церкви разорены, все разграблено. Москвичи, получив эту грамоту, разослали ее в разные города с приложением собственной увещательной грамоты. Области поднялись на этот призыв к соединению для защиты веры, собирались под знамена служилые люди, дворяне и дети боярские, горожане складывались и давали им содержание.

5. Причины неудачи первого ополчения. Несмотря, однако, на сильное одушевление и ревность к очищению государства от врагов иноверных, предприятие не могло иметь успеха по двум причинам: во-первых, потому, что во главе его становился Ляпунов, человек страстный, не могший принести свои личные отношения в жертву общему делу. Выдвинутый бурями Смутного времени на высокое место, стремясь страстно к первенству, Ляпунов ненавидел людей, которые загораживали ему дорогу, опираясь на свое прежнее значение, на значение своих предков. Ставши главным вождем ополчения, он не только не хотел сделать никакой уступки людям знатным, но находил особенное удовольствие унижать их, величаясь перед ними своим новым положением, и тем самым возбуждать негодование, вражду, смуты. Другою, еще более важною причиною неуспеха было то, что Ляпунов, издавна неразборчивый в средствах, и теперь, при восстании земли для очищения государства, для установления порядка, подал руку — кому же? — врагам всякого порядка, людям, жившим смутой, — казакам. С ним соединились казаки, бывшие под начальством Заруцкого, Просовецкого, князя Димитрия Тимофеевича Трубецкого — все тушинских бояр и воевод. Трубецкой и Заруцкий приглашали отовсюду казаков, обещая крепостным людям волю и жалованье.

6. Сожжение Москвы. В это время, когда и дворяне, и казаки с разных сторон, с разными целями спешили к Москве, Салтыков с товарищами предложил боярам просить короля, чтоб отпустил Владислава в Москву; к великим послам Филарету и Голицыну написать, чтоб отдались во всем на волю королевскую, а к Ляпунову — чтоб не затевал восстания. Бояре согласились, но не согласился Гермоген. «Положиться на королевскую волю, — говорил он, — значит целовать крест самому королю, а не королевичу, и я таких грамот не благословляю вам писать, а к Прокофью Ляпунову напишу, что если королевич на Московское государство не будет, в православную христианскую веру не крестится и Литвы из Московского государства не выведет, то благословляю всех идти под Москву и помереть за православную веру». Салтыков начал бранить Гермогена и вынул даже нож; но патриарх,

перекрестив его, сказал: «Крестное знамение да будет против твоего окаянного ножа, будь ты проклят в сем веке и в будущем!» Таким образом, приказ послам положиться во всем на волю королевскую был отправлен за подписью одних бояр, без патриарховой. На этом основании Филарет и Голицын отказались исполнить приказ; они говорили: «Отпускали нас патриарх, бояре и все люди Московского государства, а не одни бояре; теперь мы стали безгосударны, и патриарх у нас человек начальный, без патриарха теперь о таком великом деле советовать непригоже». Видя непоколебимость этого начального человека, поляки посадили его под стражу, никого не велели пускать к нему, всем русским людям в Москве запретили ходить с оружием, а сами сильно вооружались, предвидя осаду. 19 марта 1611 года, во вторник на Страстной неделе, поляки начали принуждать извозчиков, чтоб шли помогать им тащить пушки на башню. Извозчики не согласились, начался спор, крик; немцы, находившиеся в польской службе, думая, что началось народное восстание, ринулись на толпу и стали бить русских; поляки последовали примеру немцев, и началась страшная резня безоружного народа в Китай-городе, где погибло до 7000 человек; но в Белом городе русские имели время собраться, вооружиться, прогнали неприятеля в Кремль и Китай, причем важную помощь народу оказал князь Димитрий Михайлович Пожарский, прославившийся при Шуйском защитой Зарайска от Лжедмитрия. Загнанные в Кремль и Китай-город, обхваченные со всех сторон восставшим народонаселением, поляки зажгли Москву в нескольких местах, и весь город, кроме Кремля и Китая, выгорел. Но поляки торжествовали недолго среди пепла и развалин московских: 25 марта, в понедельник на Святой неделе, ополчение Ляпунова, Заруцкого и других воевод, в числе 100 000 человек, подошло к Москве и осадило неприятеля, который вскоре был приведен в бедственное положение по недостатку съестных припасов.

7. Заточение Филарета и Голицына и взятие Смоленска. В то же время под Смоленском паны вымогали на послых Филарете и Голицыне, чтоб они согласились впустить поляков в Смоленск; те не согласились, и 12 апреля их схватили, ограбили и отправили в заточение в Мариенбург, в Пруссию. 3 июня Смоленск был взят приступом после геройского сопротивления жителей, которое сами поляки сравнивают с сопротивлением сагунтинцев. Шеина пытали, отправили в оковах в Литву. Радость о взятии Смоленска была неописанная в Литве и Польше; думали, что этим взятием все кончено; забыли, что в Москве горсть поляков осаждена многочисленным неприятелем. Вместо того чтоб тотчас же идти к ним на помощь, король принужден был распустить войско и отправился на сейм в Варшаву, куда повезли и пленного царя московского Василия Шуйского с братьями; давши народу варшавскому невиданное зрелище — торжественный въезд пленного московского царя, Шуйских заключили в Гостыньском замке, где Василий Иванович с братом Димитрием скоро умерли.

8. Смерть Ляпунова. Осажденные в Москве поляки остались без помощи и были спасены только раздором, господствовавшим в стане осаждавших. 30 июня 1611 года «Московского государства разных земель царевичи (татарские), бояре, окольные и всякие служилые люди, которые стояли за дом Пресвятой Богородицы и за православную христианскую веру, приговорили и выбрали всею землею бояр и воевод: князя Димитрия Тимофеевича Трубецкого, Ивана Мартыновича Заруцкого да думного дворянина Прокофья Петровича Ляпунова, чтоб они строили землю и всяким земским и ратным делом промышляли; если же они всяких земских и ратных дел делать не станут, то всею землею вольно их переменить, а на их место выбрать других, поговоря со всею землею». Но между

этими избранными троеначальниками была великая ненависть и гордость, ни один не хотел быть меньше другого, всякий хотел один владеть. Ляпунов попрекал Трубецкому и Заруцкому Тушином, от гордости его отецким детям много позора было: не только дети боярские, но и сами бояре должны были приходиться к нему на поклон и стояли у его избы долгое время, никого к себе прямо не пускал, а к казакам был очень жесток, и за то была на него ненависть большая. Этой ненавистью воспользовался Гонсевский, чтоб погубить Ляпунова, который был ему опаснее всех других воевод как воевода дворянский, а не казацкий и как человек, который превосходил своих товарищей способностями и энергиею. На одной из стычек поляки взяли в плен донского казака, который был побратимом атамана Заварзина; Заварзин начал стараться, как бы освободить товарища, и выпросил у Гонсевского позволение повидаться с ним и переговорить. Гонсевский воспользовался этим случаем, велел написать грамоту от имени Ляпунова, в которой тот писал во все города: «Где поймут казака — бить и топить». Под руку Ляпунова искусно было подписано на грамоте, которую пленный казак отдал Заварзину, а Заварзин, возвратившись в стан, показал ее казакам. Казаки, по обычаю своему, собрались в круге, куда вызвали Ляпунова, и стали кричать, что он изменник; Ляпунов отрекался, что он грамоты не писал; начался спор и кончился тем, что Ляпунов лежал мертвый под казацкими саблями; с ним вместе убили Ивана Никитича Ржевского, который был Ляпунову большой недруг, но тут, видя его правду, за него стал и умер с ним вместе.

Со смертью Ляпунова дворяне остались без вождя во власти казаков; многие из них были побиты, многие изувечены, другие разъехались по домам; нашлись и такие, которые купили у Заруцкого воеводства и разные другие должности и отправились по городам наверстывать заплаченные деньги; казаки ездили по дорогам станицами, грабили и побивали.

9. Взятие Новгорода шведами и появление третьего самозванца. В то время, когда казаки убийством Ляпунова и разогнанием лучших дворян остановили успехи ополчения под Москвою, на северо-западе Новгород Великий достался в руки шведам. После Клушинского сражения Делгарди отступил со своим отрядом на северо-запад, и когда Москва присягнула врагу короля его, Владиславу Польскому, то начал враждебно действовать против русских, забирать их города. Но когда произошло восстание против Владислава и поляков, то вожди ополчения завели сношения со шведами насчет избрания в цари одного из сыновей Карла IX. Переговоры затянулись, потому что и шведы, подобно полякам, требовали прежде всего денег и городов, а между тем в Новгороде происходили смуты, ссоры между воеводами, подавшие Делгарди надежду овладеть городом. Надежда исполнилась: в ночь на 16 июля по указанию одного изменника шведы вошли в Новгород так, что никто не видал, общего сопротивления не было, частные геройские сопротивления не помогли: в одном месте выставили сильное сопротивление стрелецкий голова Гаютин, дьяк Голенищев, Орлов и казачий атаман Шаров с сорока казаками; в другом — софийский протопоп Аммос, погибший в пламени со всеми своими товарищами. Новгород покорился шведам с условием, что один из сыновей королевских будет царем русским, но обязался признать покровителем своим самого короля. В Новгороде были шведы, в Псковской области явился новый самозванец, Лжедмитрий; подмосковное ополчение Трубецкого и Заруцкого продолжало осаду, битвы происходили здесь с переменным счастьем: литовский гетман Ходкевич, пришедший осенью на помощь к осажденным, не мог ничего сделать и отступил после нескольких не очень удачных для себя сшибок; неудача его происходила оттого, что у него было всего 2000 войска, да и это войско делилось на партии. Бояре,

осажденные вместе с поляками в Кремле, видели, что только немедленное прибытие короля или королевича с войском может спасти их, и потому отправили к Сигизмунду новое посольство, составленное из князя Юрия Никитича Трубецкого и Михайлы Глебовича Салтыкова, готовых удовлетворить всем требованиям королевским. Но русские люди в областях ждали спасения не от короля из Польши и не от казаков, стоящих под Москвою: гибель Ляпунова открыла им глаза насчет казаков, и они решились покончить с ними. Так, жители Казани писали пермичам: «Под Москвою, господа, поборника по Христовой вере Прокофья Петровича Ляпунова казаки убили, но мы согласились: быть всем в соединении, за Московское и Казанское государство стоять, дурного ничего друг над другом не делать, быть всем по-прежнему, казаков в города не пускать, стоять на том крепко до тех пор, пока Бог даст на Московское государство государя, а выбрать нам государя всюю землею; если же казаки станут выбирать государя одни по всей воле, то нам такого государя не хотеть».

10. *Троицкие грамоты.* Таким образом, смерть Ляпунова не привела в отчаяние русских людей; нравственные силы народа были напряжены по-прежнему, и по-прежнему раздавались увещания к единодушному стоянию за веру отцовскую. Прежде призывал к восстанию за веру начальный человек, патриарх; теперь не было его слышно из темницы кремлевской, но вместо грамот патриарших шли призывные грамоты от властей Троицкого Сергиева монастыря, от архимандрита Дионисия и келаря Авраамия Палицына. Смиранный и уступчивый, когда дело шло о нем самом, Дионисий шел впереди, обнаруживал необыкновенную твердость, когда дело шло о благе общем, о служении страждущим. Когда Москва была разорена и казаки свирепствовали в окрестных областях, толпы беглецов, изломанных, обожженных, истерзанных, с разных сторон устремились к Троицкому монастырю. Приведенные в отчаяние множеством этих несчастных, монахи, слуги и крестьяне монастырские не знали что делать; Дионисий воодушевил их и заставил подавать деятельную помощь несчастным: монастырь Троицкий превратился в больницу и богадельню, а в келье архимандричьей сидели писцы борзые, сочиняли увещательные послания и рассылали по городам и полкам, призывая к очищению земли.

11. *Минин и Пожарский.* В октябре 1611 года увещательная троицкая грамота явилась в Нижнем Новгороде; когда в соборной церкви протопоп прочел ее пред всем народом, то земский староста (градский глава) мясной торговец Кузьма Минич Сухорукий начал говорить: «Если мы захотим помочь Московскому государству, то нечего нам жалеть имения, не пожалеем ничего: дома свои продадим, жен и детей заложим и будем бить челом — кто бы вступился за православную веру и был у нас начальником». Положено было скликать служилых людей и собирать деньги им на жалованье. Но прежде чем скликать ратных людей, надобно было найти воеводу. В это время в Суздальской области жил воевода, известный князь Димитрий Михайлович Пожарский, долечивавшийся от ран, полученных им при разорении Москвы. Минин снесся с ним, уладил дело и сказал народу, что не за кем больше посылать, кроме князя Пожарского. На просьбу нижегородцев Пожарский отвечал: «Рад я вашему совету, готов хоть сейчас ехать, но выберите прежде из посадских людей, кому со мною у такого великого дела быть и казну собирать». Когда нижегородцы отвечали, что у них нет на примете такого человека, то Пожарский сказал: «Есть у вас Кузьма Минин, бывал он человек служилый, ему это дело за обычай». Тогда нижегородцы стали бить челом Кузьме, чтоб принял за дело; Минин отказывался до тех пор, пока нижегородцы не сдались на всю его волю, пока не написали приговора, что не пожалеют ничего для великого дела.

12. *Пожарский в Ярославле*. Как скоро разнеслось везде, что нижегородцы поднялись и готовы на всякие пожертвования, то ратные люди стали собираться к ним отовсюду. Пожарский с нижегородцами разослал повсюду грамоты, в которых говорилось: «Теперь мы, Нижнего Новгорода всякие люди, идем на помощь Московскому государству; к нам приехали из многих городов дворяне, и мы приговорили имение свое и дома с ними разделить, жалованье им дать. И вам бы, господа, также идти на литовских людей поскорее. От казаков ничего не опасайтесь: как будем все в соборе, то всей землей совет учиним и вора́м ничего дурного сделать не дадим. Непременно быть бы вам с нами в одном совете и на поляков идти вместе, чтоб казаки по-прежнему рати не разогнали». Так кончился 1611 год и начался 1612-й. Весть о новом ополчении добрых граждан встревожила одинаково и осажденных поляков в Москве, и осаждающих казаков. Поляки прислали к Гермогену русских людей, которые стали его уговаривать отписать к нижегородскому ополчению, чтоб не ходило под Москву; Гермоген отвечал: «Да будут благословенны те, которые идут для очищения Московского государства, а вы, изменники, будьте прокляты». Скоро после этого Гермоген скончался (17 февраля 1612 года) от недостатка в пище. В то время как добрые граждане приговорили пожертвовать всем для успокоения государства, казаки подмосковного стана приговорили присягнуть третьему, псковскому самозванцу и послать отряды на север, чтоб мешать нижегородскому ополчению. Но Пожарский предупредил казаков и в первых числах апреля занял Ярославль, важный пункт, обеспечивающий соединение с северными областями. Скоро пришла весть, что подмосковное ополчение отказалось от третьего самозванца, который был схвачен в Пскове, но ополчение Пожарского должно было надолго остановиться в Ярославле: во-первых, надобно было подождать ратных людей, шедших из отдаленных областей, потом нужно было выгнать казацкие шайки, разбойничавшие в северных уездах, нужно было обезопасить себя и от шведов, занимавших Новгород. С казаками управились силой; шведов положено было манить переговорами насчет избрания одного из их королевичей в цари русские. Для прекращения внутренних смут, споров между начальными людьми о старшинстве вызван был в посредники бывший ростовский митрополит Кирилл, которому и удалось утишить распри. Но когда все уладилось и ополчение готово было выступить из Ярославля, Пожарский чуть-чуть не погиб от ножа убийцы вследствие казацкого заговора.

13. *Пожарский в Москве*. Понятно, с каким чувством после этого Пожарский и все ополчение должны были выступать в поход под Москву, где под видом союзников должны были встретить убийц. К счастью, число казаков под Москвой очень уменьшилось: Заруцкий с преданными ему казаками покинул стан, взял в Коломне Марину с маленьким ее сыном Иваном, которого она имела от тушинского вора, и пошел на юго-восток, к степям, приволью казаков и самозванцев. Число поляков, сидевших в Кремле и в Китай-городе, также очень уменьшилось: многие из них самовольно оставили службу и ушли в Польшу; уехал и Гонсевский, на место которого принял начальство Струсь. Но зато опять шел к Москве гетман Ходкевич; Пожарский упредил его и 18 августа подошел к Москве. Трубецкой с казаками требовали, чтоб новое ополчение стало с ними вместе; но ратные люди, пришедшие с Пожарским, помнили участь Ляпунова и объявили: «Отнюдь нам вместе с казаками не стаивать». Вечером 21 августа явился под Москву и Ходкевич. Чтоб загородить ему дорогу в Кремль, русское войско стало по обоим берегам Москвы-реки — Пожарский на левом, Трубецкой на правом. 22-го числа гетман напал на Пожарского, но был отбит; 24-го он двинулся по правой стороне реки к Кремлю; казаки в решительную

минуту отказались биться и ушли в свой стан, но троицкий келарь Авраамий Палицын успел уговорить их вступить в дело; тогда общими усилиями дворян и казаков, и особенно благодаря смелому движению Минина с отборным отрядом, дело кончилось в пользу русских: Ходкевич был отбит и ушел к литовским границам, не успев снабдить осажденных съестными припасами.

14. *Очищение Китай-города и Кремля от поляков.* 22 октября казаки пошли на приступ и взяли Китай-город. В Кремле поляки держались еще месяц, терпя страшный голод, заставлявший есть человеческое мясо; наконец сдались на условия, чтоб им была оставлена жизнь. Сперва были выпущены из Кремля бояре — князя Мстиславский, Воротынский, Иван Никитич Романов с племянником Михаилом Феодоровичем; потом вышел Струсь с товарищами, а 27 ноября ополчение и народ с торжеством вошли в очищенный от врагов Кремль. Трубецкой и Пожарский после отбития Ходкевича жили согласно и вместе управляли делами, потому что Пожарский, не будучи нисколько похож на Ляпунова, отличался скромностью и уступил Трубецкому первенство как старшему по чину: Трубецкой был боярин, а Пожарский — стольник. Но казаки Трубецкого не давали покоя дворянам Пожарского; пропивая и проигрывая все получаемое, казаки были постоянно бедны, постоянно требовали жалованья и волновались в случае отказа, кричали, что побьют начальных людей; едва между ними и дворянами не дошло до боя.

15. *Неудачный поход короля Сигизмунда против Москвы и избрание царя Михаила Феодоровича Романова.* Ратные люди, думая, что с очищением Кремля все кончено, начали разъезжаться из Москвы, как вдруг пришла весть, что сам король Сигизмунд идет с войском к столице. В Москве сильно испугались, ибо ни войска, ни съестных припасов в достаточном количестве для осады не было. Страх, впрочем, был непродолжителен: король с тем небольшим войском, какое у него было, не мог даже взять и Волоколамска и ушел назад в Польшу. Отступление Сигизмунда дало досуг заняться избранием царя всею землею. Разосланы были грамоты по городам, чтоб присланы были в Москву духовные власти и выборные из дворян, детей боярских, торговых, посадских и уездных людей; чтоб выбраны были лучшие люди, крепкие и разумные, и чтоб духовенство и эти выборные договорились в своих городах накрепко и взяли у всяких людей полные договоры насчет царского избрания. Когда выборные съехались, назначен был трехдневный пост, после которого начались соборы. Положили прежде всего не выбирать иностранцев, выбирать своих, русских; тут начались козни, смуты и волнения: всякий хотел по своей мысли делать, всякий хотел своего, некоторые хотели сами престола, подкупали и засылали; образовались партии, но ни одна из них не брала верх; наконец произнесено было имя, которое согласило всех, имя Михаила Феодоровича Романова. 21 февраля 1613 года был последний собор: каждый чин подал письменное мнение, и все эти мнения найдены сходными, все чины указывали на одного человека — Михаила Феодоровича. Пошли несколько духовных лиц и один боярин на Лобное место и спросили у народа, наполнявшего Красную площадь, кого он хочет в цари. «Михаила Феодоровича Романова», — был ответ.

Василий Ключевский

ЛЕКЦИЯ XLII

Скрытые причины Смуты открываются при обзоре событий Смутного времени в их последовательном развитии и внутренней связи. Отличительной особенностью Смуты является то, что в ней последовательно выступают все классы русского общества, и выступают в том самом порядке, в каком они лежали в тогдашнем составе русского общества, как были размещены по своему сравнительному значению в государстве на социальной лестнице чинов. На вершине этой лестницы стояло боярство; оно и начало Смуту.

ЦАРЬ БОРИС. Царь Борис законным путем земского соборного избрания вступил на престол и мог стать основателем новой династии как по своим личным качествам, так и по своим политическим заслугам. Но бояре, много натерпевшиеся при Грозном, теперь при выборном царе из своей братии не хотели довольствоваться простым обычаем, на котором держалось их политическое значение при прежней династии. Они ждали от Бориса более прочного обеспечения этого значения, т. е. ограничения его власти формальным актом, «чтобы он государству по предписанной грамоте крест целовал», как говорит известие, дошедшее от того времени в бумагах историка XVIII в. Татищева. Борис поступил с обычным своим двоедушием: он хорошо понимал молчаливое ожидание бояр, но не хотел ни уступить, ни отказать прямо, и вся затеянная им комедия упрямого отказа от предлагаемой власти была только уловкой с целью уклониться от условий, на которых эта власть предлагалась. Бояре молчали, ожидая, что Годунов сам заговорит с ними об этих условиях, о крестоцеловании, а Борис молчал и отказывался от власти, надеясь, что земский собор выберет его без всяких условий. Борис перемолчал бояр и был выбран без всяких условий. Это была ошибка Годунова, за которую он со своей семьей жестоко поплатился. Он сразу дал этим чрезвычайно фальшивую постановку своей власти. Ему следовало всего крепче держаться за свое значение земского избранника, а он старался приспособиться к старой династии по вымышленным завещательным распоряжениям. Соборное определение смело уверяет, будто Грозный, поручая Борису своего сына Федора, сказал: «По его преставлении тебе приказываю и царство сие». Как будто Грозный предвидел и гибель царевича Димитрия, и бездетную смерть Федора. И царь Федор, умирая, будто «вручил царство свое» тому же Борису. Все эти выдумки — плод приятельского усердия патриарха Иова, редактировавшего соборное определение. Борис был не наследственный вотчинник Московского государства, а народный избранник, начинал особый ряд царей с новым государственным значением. Чтобы не быть смешным или ненавистным, ему следовало и вести себя иначе, а не пародировать погибшую династию с ее удельными привычками и предрассудками. Большие бояре с князьями Шуйскими во главе были против избрания Бориса, опасаясь, по выражению летописца, что «быти от него людям и себе гонению». Надобно было рассеять это опасение, и некоторое время большое боярство, кажется, ожидало этого. Один сторонник царя Василия Шуйского, писавший по его внушению, замечает, что большие бояре, князья Рюриковичи, сродники по родословцу прежних царей московских и достойные их преемники, не хотели избирать царя из своей среды, а отдали это дело на волю народа, так как и без того они были при прежних царях велики и славны не только в России, но и в дальних странах. Но это величие и славу надобно было обеспечить от произвола, не признающего ни великих, ни славных, а обеспечение могло состоять

только в ограничении власти избранного царя, чего и ждали бояре. Борису следовало взять на себя почин в деле, превратив при этом земский собор из случайного должностного собрания в постоянное народное представительство, идея которого уже бродила, как мы видели (лекция XL), в московских умах при Грозном и созыва которого требовал сам Борис, чтобы быть всенародно избранным. Это примирило бы с ним оппозиционное боярство и — кто знает? — отвратило бы беды, постигшие его с семьей и Россию, сделав его родоначальником новой династии. Но «проныр лукавый» при недостатке политического сознания перехитрил самого себя. Когда бояре увидели, что их надежды обмануты, что новый царь расположен править так же самовластно, как правил Иван Грозный, они решили тайно действовать против него. Русские современники прямо объясняют несчастья Бориса негодованием чиновников всей Русской земли, от которых много напастных зол на него восстало. Чужая глухая ропот бояр, Борис принял меры, чтобы оградить себя от их козней: была сплетена сложная сеть тайного полицейского надзора, в котором главную роль играли боярские холопы, доносившие на своих господ, и выпущенные из тюрем воры, которые, шныряя по московским улицам, подслушивали, что говорили о царе, и хватали каждого, сказавшего неосторожное слово. Донос и клевета быстро стали страшными общественными язвами: доносили друг на друга люди всех классов, даже духовные; члены семейств боялись говорить друг с другом; страшно было произнести имя царя — сыщик хватал и доставлял в застенки. Доносы сопровождались опалами, пытками, казнями и разорением домов. «Ни при одном государе таких бед не бывало», по замечанию современников. С особенным озлоблением накинулся Борис на значительный боярский кружок с Романовыми во главе, в которых, как в двоюродных братьях царя Федора, видел своих недоброжелателей и соперников. Пятерых Никитичей, их родных и приятелей с женами, детьми, сестрами, племянниками разбросали по отдаленным углам государства, а старшего Никитича, будущего патриарха Филарета, при этом еще и постригли, как и жену его. Наконец, Борис совсем обезумел, хотел знать домашние помыслы, читать в сердцах и хозяйничать в чужой совести. Он разослал всюду особую молитву, которую во всех домах за трапезой должны были произносить при заздравной чаше за царя и его семейство. Читая эту лицемерную и хвастливую молитву, проникаешься сожалением, до чего может потеряться человек, хотя бы и царь. Всеми этими мерами Борис создал себе ненавистное положение. Боярская знать с вековыми преданиями скрылась по подворьям, усадьбам и дальним тюрьмам. На ее место повывезли из щелей неведомые Годуновы с товарищи и завистливой шайкой окружили престол, наполнили двор. На место династии стала родня, главой которой явился земский избранник, превратившийся в мелкодушного полицейского труса. Он спрятался во дворце, редко выходил к народу и не принимал сам челобитных, как это делали прежние цари. Всех подозревая, мучась воспоминаниями и страхами, он показал, что всех боится, как вор, ежеминутно опасющийся быть пойманным, по удачному выражению одного жившего тогда в Москве иностранца.

ЛЖЕДИМИТРИЙ I. В гнезде наиболее гонимого Борисом боярства с Романовыми во главе, по всей вероятности, и была высижена мысль о самозванце. Винили поляков, что они его подстроили; но он был только испечен в польской печке, а заквашен в Москве. Недаром Борис, как только услышал о появлении Лжедмитрия, прямо сказал боярам, что это их дело, что они подставили самозванца. Этот неведомый кто-то, воссевший на московский престол после Бориса, возбуждает большой анекдотический интерес. Его личность доселе остается

загадочной, несмотря на все усилия ученых разгадать ее. Долго господствовало мнение, идущее от самого Бориса, что это был сын галицкого мелкого дворянина Юрий Отрепьев, в иночестве Григорий. Не буду рассказывать о похождениях этого человека, вам достаточно известных. Упомяну только, что в Москве он служил холопом у бояр Романовых и у князя Черкасского, потом принял монашество, за книжность и составление похвалы московским чудотворцам взят был к патриарху в книгописцы и здесь вдруг с чего-то начал говорить, что он, пожалуй, будет и царем на Москве. Ему предстояло за это заглохнуть в дальнем монастыре; но какие-то сильные люди прикрыли его, и он бежал в Литву в то самое время, когда обрушились опалы на романовский кружок. Тот, кто в Польше назвался царевичем Димитрием, признавался, что ему покровительствовал В. Щелкалов, большой дьяк, тоже подвергавшийся гонению от Годунова. Трудно сказать, был ли первым самозванцем этот Григорий или кто другой, что, впрочем, менее вероятно. Но для нас важна не личность самозванца, а его личина, роль, им сыгранная. На престоле московских государей он был небывалым явлением. Молодой человек, роста ниже среднего, некрасивый, рыжеватый, неловкий, с грустно-задумчивым выражением лица, он в своей наружности вовсе не отражал своей духовной природы: богато одаренный, с бойким умом, легко разрешавшим в Боярской думе самые трудные вопросы, с живым, даже пылким темпераментом, в опасные минуты доводившим его храбрость до удалства, податливый на увлечения, он был мастер говорить, обнаруживал и довольно разнообразные знания. Он совершенно изменил чопорный порядок жизни старых московских государей и их тяжелое, угнетательное отношение к людям, нарушал заветные обычаи священной московской старины, не спал после обеда, не ходил в баню, со всеми обращался просто, обходительно, не по-царски. Он тотчас показал себя деятельным управителем, чуждался жестокости, сам вникал во все, каждый день бывал в Боярской думе, сам обучал ратных людей. Своим образом действий он приобрел широкую и сильную привязанность в народе, хотя в Москве кое-кто подозревал и открыто обличал его в самозванстве. Лучший и преданнейший его слуга П. Ф. Басманов под рукой признавался иностранцам, что царь — не сын Ивана Грозного, но его признают царем потому, что присягали ему, и потому еще, что лучшего царя теперь и не найти. Но сам Лжедмитрий смотрел на себя совсем иначе: он держался как законный, природный царь, вполне уверенный в своем царственном происхождении; никто из близко знавших его людей не подметил на его лице ни малейшей морщины сомнения в этом. Он был убежден, что и вся земля смотрит на него точно так же. Дело о князьях Шуйских, распространявших слухи о его самозванстве, свое личное дело, он отдал на суд всей земли и для того созвал земский собор, первый собор, приблизившийся к типу народнопредставительского, с выборными от всех чинов или сословий. Смертный приговор, произнесенный этим собором, Лжедмитрий заменил ссылкой, но скоро вернул ссыльных и возвратил им боярство. Царь, сознававший себя обманщиком, укравшим власть, едва ли поступил бы так рискованно и доверчиво, а Борис Годунов в подобном случае, наверное, разделался бы с попавшимися келейно в застенке, а потом переморил бы их по тюрьмам. Но, как сложился в Лжедмитрии такой взгляд на себя, это остается загадкой столько же исторической, сколько и психологической. Как бы то ни было, но он не усидел на престоле, потому что не оправдал боярских ожиданий. Он не хотел быть орудием в руках бояр, действовал слишком самостоятельно, раз* вивал свои особые политические планы, во внешней политике даже очень смелые и широкие, хлопотал поднять против турок и татар все католические Державы с православной Россией во главе. По временам он ставил на вид своим советникам в думе, что они ничего

не видали, ничему не учились, что им надо ездить за границу для образования, но это он делал вежливо, безобидно. Всего досаднее было для великородных бояр приближение к престолу мнимой незнатной родни царя и его слабость к иноземцам, особенно к католикам. В Боярской думе рядом с одним кн. Мстиславским, двумя князьями Шуйскими и одним кн. Голицыным в звании бояр сидело целых пятеро каких-нибудь Нагих, а среди окольных значились три бывших дьяка. Еще более возмущали не одних бояр, но и всех москвичей своевольные и разгульные поляки, которыми новый царь наводнил Москву. В записках польского гетмана Жолкевского, принимавшего деятельное участие в московских делах Смутного времени, рассказана одна небольшая сцена, разыгравшаяся в Кракове, выразительно изображающая положение дел в Москве. В самом начале 1606 г. туда приехал от Лжедмитрия посол Безобразов известить короля о вступлении нового царя на московский престол. Справив посольство по чину, Безобразов мигнул канцлеру в знак того, что желает поговорить с ним наедине, и назначенному выслушать его пану сообщил данное ему князьями Шуйскими и Голицыными поручение — попенять королю за то, что он дал им в цари человека низкого и легкомысленного, жестокого, распутного мота, недостойного занимать московский престол и не умеющего прилично обращаться с боярами; они-де не знают, как от него отделаться, и уж лучше готовы признать своим царем королевича Владислава. Очевидно, большая знать в Москве что-то затевала против Лжедмитрия и только боялась, как бы король не заступился за своего ставленника. Своими привычками и выходками, особенно легким отношением ко всяким обрядам, отдельными поступками и распоряжениями, заграничными сношениями Лжедмитрий возбуждал против себя в различных слоях московского общества множество нареканий и неудовольствий, хотя вне столицы, в народных массах популярность его не ослабевала заметно. Однако главная причина его падения была другая. Ее высказал коновод боярского заговора, составившегося против самозванца, кн. В. И. Шуйский. На собрании заговорщиков накануне восстания он откровенно заявил, что признал Лжедмитрия только для того, чтобы избавиться от Годунова. Большим боярам нужно было создать самозванца, чтобы низложить Годунова, а потом низложить и самозванца, чтобы открыть дорогу к престолу одному из своей среды. Они так и сделали, только при этом разделили работу между собою: романовский кружок сделал первое дело, а титулованный кружок с кн. В. И. Шуйским во главе исполнил второй акт. Те и другие бояре видели в самозванце свою ряженую куклу, которую, подержав до времени на престоле, потом выбросили на задворки. Однако заговорщики не надеялись на успех восстания без обмана. Всего больше роптали на самозванца из-за поляков; но бояре не решались поднять народ на Лжедмитрия и на поляков вместе, а разделили обе стороны и 17 мая 1606 г. вели народ в Кремль с криком: «Поляки бьют бояр и государя». Их цель была окружить Лжедмитрия будто для защиты и убить его.

В. ШУЙСКИЙ. После царя-самозванца на престол вступил кн. В. И. Шуйский, царь-заговорщик. Это был пожилой, 54-летний боярин небольшого роста, невзрачный, подслеповатый, человек неглупый, но более хитрый, чем умный, донельзя изолгавшийся и изынтриганившийся, прошедший огонь и воду, выдавший и плаху и не попробовавший ее только по милости самозванца, против которого он исподтишка действовал, большой охотник до наушников и сильно побаивавшийся колдунов. Свое царствование он открыл рядом грамот, распубликованных по всему государству, и в каждом из этих манифестов заключалось по меньшей мере по одной лжи. Так, в записи, на которой он крест целовал, он

писал: «Поволил он крест целовать на том, что ему никого смерти не предавать, не осудя истинным судом с боярами своими». На самом деле, как сейчас увидим, целуя крест, он говорил совсем не то. В другой грамоте, писанной от имени бояр и разных чинов людей, читаем, что по низложению Гришки Отрепьева Освященный собор, бояре и всякие люди избирали государя «всем Московским государством» и избрали князя Василия Ивановича, всея Руси самодержца. Акт говорит ясно о соборном избрании царя, но такого избрания не было. Правда, по низвержении самозванца бояре думали, как бы сговориться со всей землей и вызвать в Москву из городов всяких людей, чтобы «по совету выбрать государя такого, который бы всем был люб». Но князь Василий боялся городских, провинциальных избирателей и сам посоветовал обойтись без земского собора. Его признали царем келейно немногие сторонники из большого титулованного боярства, а на Красной площади имя его прокричала преданная ему толпа москвичей, которых он поднял против самозванца и поляков; даже и в Москве, по летописцу, многие не ведали про это дело. В третьей грамоте от своего имени новый царь не побрезговал лживым или поддельным польским показанием о намерении самозванца перебить всех бояр, а всех православных крестьян обратить в люторскую и латынскую веру. Тем не менее воцарение кн. Василия составило эпоху в нашей политической истории. Вступая на престол, он ограничил свою власть и условия этого ограничения официально изложил в разосланной по областям записи, на которой он целовал крест при воцарении.

ПОДКРЕСТНАЯ ЗАПИСЬ В. ШУЙСКОГО. Запись слишком сжата, неотчетлива, производит впечатление спешного чернового наброска. В конце ее царь дает всем православным христианам одно общее клятвенное обязательство судить их «истинным, праведным судом», по закону, а не по усмотрению. В изложении записи это условие несколько расчленено. Дела о наиболее тяжких преступлениях, караемых смертью и конфискацией имущества преступника, царь обязуется вершить непременно «с бояры своими», т. е. с думой, и при этом отказывается от права конфисковать имущество у братья и семьи преступника, не участвовавших в преступлении. Вслед за тем царь продолжает: «Да и доводов (доносов) ложных мне не слушать, а сыскивать всякими сысками накрепко и ставить с очей на очи», а за ложный донос по сыску наказывать смотря по вине, взведенной на оболганного. Здесь речь идет как будто о деяниях менее преступных, которые разбирались одним царем, без думы, и точнее определяется понятие истинного суда. Так, запись, по-видимому, различает два вида высшего суда: суд царя с думой и единоличный суд царя. Запись оканчивается условием особого рода: царь обязуется «без вины опалы своей не класти». Опала, немилость государя, падала на служилых людей, которые чем-либо вызывали его недовольство. Она сопровождалась соответственными неисправности опального или государеву недовольству служебными лишениями, временным удалением от двора, от «пресветлых очей» государя, понижением чина или должности, даже имущественной карой, отобранием поместья или городского подворья. Здесь государь действовал уже не судебной, а дисциплинарной властью, охраняющей интересы и порядок службы. Как выражение хозяйской воли государя, опала не нуждалась в оправдании и при старомосковском уровне человечности подчас принимала формы дикого произвола, превращаясь из дисциплинарной меры в уголовную кару: при Грозном одно сомнение в преданности долгу службы могло привести опального на плаху. Царь Василий дал смелый обет, которого потом, конечно, не исполнил, опалиться только за дело, за вину, а для

разыскания вины необходимо было установить особое дисциплинарное производство.

ЕЕ ХАРАКТЕР И ПРОИСХОЖДЕНИЕ. Запись, как видите, очень односторонняя. Все обязательства, принятые на себя царем Василием по этой записи, направлены были исключительно к ограждению личной и имущественной безопасности подданных от произвола сверху, но не касались прямо общих оснований государственного порядка, не изменяли и даже не определяли точнее значения, компетенции и взаимного отношения царя и высших правительственных учреждений. Царская власть ограничивалась советом бояр, вместе с которым она действовала и прежде; но это ограничение связывало царя лишь в судебных делах, в отношении к отдельным лицам. Впрочем, происхождение подкрестной записи было сложнее ее содержания: она имела свою закулисную историю. Летописец рассказывает, что царь Василий тотчас по своем провозглашении пошел в Успенский собор и начал там говорить, чего искони веков в Московском государстве не важивалось: «Целую крест всей земле на том, что мне ни над кем ничего не делати без собору, никакого дурна». Бояре и всякие люди говорили царю, чтобы он на том креста не целовал, потому что в Московском государстве того не повелось; но он никого не послушал. Поступок Василия «оказался боярам революционной выходкой: царь призывал к участию в своей царской судебной расправе не Боярскую думу, исконную соотрудницу государей в делах суда и управления, а земский собор, недавнее учреждение, изредка созываемое для обсуждения чрезвычайных вопросов государственной жизни. В этой выходке увидели небывалую новизну, попытку поставить собор на место думы, переместить центр тяжести государственной жизни из боярской среды в народное представительство. Править с земским собором решался царь, побоявшийся воцариться с его помощью. Но и царь Василий знал, что делал. Обязавшись пред товарищами накануне восстания против самозванца править «по общему совету* с ними, подкинутый земле кружком знатных бояр, он являлся царем боярским, партийным, вынужденным смотреть из чужих рук. Он, естественно, искал земской опоры для своей некорректной власти и в земском соборе надеялся найти противовес Боярской думе. Клятвенно обязуясь перед всей землей не карать без собора, он рассчитывал избавиться от боярской опеки, стать земским царем и ограничить свою власть учреждением, к тому непривычным, т. е. освободить ее от всякого действительного ограничения. Подкрестная запись в том виде, как она была обнародована, является плодом сделки царя с боярами. По предварительному негласному уговору царь делил свою власть с боярами во всех делах законодательства, управления и суда. Отстояв свою думу против земского собора, бояре не настаивали на обнародовании всех вынужденных ими у царя уступок: с их стороны было даже неблагоприятно являть всему обществу, как чисто удалось им ошипать своего старого петуха. Подкрестная запись усиленно отмечала значение Боярской думы только как полномочной соотрудницы царя в делах высшего суда. В то время высшему боярству только это и было нужно. Как правительственный класс, оно делило власть с государями в продолжение всего XVI в.; но отдельные лица из его среды много терпели от произвола верховной власти при царях Иване и Борисе. Теперь, пользуясь случаем, боярство и спешило устранить этот произвол, оградить частные лица, т. е. самих себя, от повторения испытанных бедствий, обязав царя призывать к участию в политическом суде Боярскую думу, в уверенности, что правительственная власть и впредь останется в его руках в силу обычая.

ЕЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ. При всей неполноте своей подкрестная запись царя Василия есть новый, дотоле небывалый акт в московском государственном праве: это — первый опыт построения государственного порядка на основе формально ограниченной верховной власти. В состав этой власти вводился элемент, или, точнее, акт, совершенно изменявший ее характер и постановку. Мало того, что царь Василий ограничивал свою власть: крестной клятвой он еще скреплял ее ограничение и являлся не только выборным, но и присяжным царем. Присяга отрицала в самом существе личную власть царя прежней династии, сложившуюся из удельных отношений государя-хо-зяина: разве домохозяева присягают своим слугам и постояльцам? Вместе с тем царь Василий отказывался от трех прерогатив, в которых наиболее явственно выражалась эта личная власть царя. То были: 1) «опала без вины», царская немилость без достаточного повода, по личному усмотрению; 2) конфискация имущества у непричастной к преступлению семьи и родни преступника — отказом от этого права упразднялся старинный институт политической ответственности рода за родичей; наконец, 3) чрезвычайный следственно-полицейский суд по доносам с пытками и оговорами, но без очных ставок, свидетельских показаний и других средств нормального процесса. Эти прерогативы составляли существенное содержание власти московского государя, выраженное изречениями деда и внука, словами Ивана III: кому хочу, тому и дам княжение, и словами Ивана IV: жаловать своих холопей вольны мы и казнить их вольны же. Клятвенно страшивая с себя эти прерогативы, Василий Шуйский превращался из государя холопов в правомерного царя подданных, правящего по законам.

ВТОРОЙ СЛОЙ ПРАВЯЩЕГО КЛАССА ВСТУПАЕТ В СМУТУ. Но боярство, как правительственный класс, в продолжение Смуты не действовало единодушно, раскололось на два слоя: от первостепенной знати заметно отделяется среднее боярство, к которому примыкают столичное дворянство и приказные дельцы, дьяки. Этот второй слой правящего класса деятельно вмешивается в Смуту с воцарением Василия. Среди него и выработался другой план государственного устройства, тоже основанный на ограничении верховной власти, но гораздо шире захватывавший политические отношения сравнительно с подкрестной записью царя Василия. Акт, в котором изложен этот план, составлен был при следующих обстоятельствах. Царем Василием мало кто был доволен. Главными причинами недовольства были некорректный путь В. Шуйского к престолу и его зависимость от кружка бояр, его избравших и игравших им как ребенком, по выражению современника. Недовольны наличным царем — стало быть, надобен самозванец: самозванство становилось стереотипной формой русского политического мышления, в которую отливало всякое общественное недовольство. И слухи о спасении Лжедмитрия I, т. е. о втором самозванце, пошли с первых минут царствования Василия, когда второго Лжедмитрия еще не было и в заводе. Во имя этого призрака уже в 1606 г. поднялись против Василия Северская земля и заокские города с Путивлем, Тулой и Рязанью во главе. Мятежники, пораженные под Москвой царскими войсками, укрылись в Туле и оттуда обратились к пану Мнишку в его мастерскую русского самозванства с просьбой выслать им какого ни на есть человека с именем царевича Дмитрия. Лжедмитрий II, наконец, нашелся и, усиленный польско-литовскими и казацкими отрядами, летом 1608 г. стоял в подмосковном селе Тушине, подводя под свою воровскую руку самую сердцевину Московского государства, междуречье Оки — Волги. Международные отношения еще более осложнили ход московских дел. Я упоминал уже о вражде, шедшей тогда между Швецией и Польшей из-за того, что у

выборного короля польского Сигизмунда III отнял наследственный шведский престол его дядя Карл IX. Так как второго самозванца хотя и негласно, но довольно явно поддерживало польское правительство, то царь Василий обратился за помощью против тушинцев к Карлу IX. Переговоры, веденные племянником царя князем Скопиным-Шуйским, окончились посылкой вспомогательного шведского отряда под начальством генерала Делагарди, за что царь Василий принужден был заключить вечный союз со Швецией против Польши и пойти на другие тяжкие уступки. На такой прямой вызов Сигизмунд отвечал открытым разрывом с Москвой и осенью 1609 г. осадил Смоленск. В тушинском лагере у самозванца служило много поляков под главным начальством князя Рожинского, который был гетманом в тушинском стане. Презируемый и оскорбляемый своими польскими союзниками, царик в мужицком платье и на навозных санях едва ускользнул в Калугу из-под бдительного надзора, под каким его держали в Тушине. После того Рожинский вступил в соглашение с королем, который звал его поляков к себе под Смоленск. Русские тушинцы вынуждены были последовать их примеру и выбрали послов для переговоров с Сигизмундом об избрании его сына Владислава на московский престол. Посольство состояло из боярина Мих. Гл. Салтыкова, из нескольких дворян столичных чинов и из полудюжины крупных дьяков московских приказов. В этом посольстве не встречаем ни одного яркознатного имени. Но в большинстве это были люди не худых родов. Заброшенные личным честолюбием или общей смутой в бунтовской полурусский-полупольский тушинский стан, они, однако, взяли на себя роль представителей Московского государства, Русской земли. Это была с их стороны узурпация, не дававшая им никакого права на земское признание их фиктивных полномочий. Но это не лишает их дела исторического значения. Общение с поляками, знакомство с их вольнолюбивыми понятиями и нравами расширило политический кругозор этих русских авантюристов, и они поставили королю условием избрания его сына в цари не только сохранение древних прав и вольностей московского народа, но и прибавку новых, какими этот народ еще не пользовался. Но это же общение, соблазняя москвичей зрелищем чужой свободы, обостряло в них чувство религиозных и национальных опасностей, какие она несла с собою: Салтыков заплакал, когда говорил перед королем о сохранении православия. Это двойственное побуждение сказалось в предосторожностях, какими тушинские послы старались обезопасить свое отечество от призываемой со стороны власти, иноверной и иноплеменной.

ДОГОВОР 4 ФЕВРАЛЯ 1610 г. Ни в одном акте Смутного времени русская политическая мысль не достигает такого напряжения, как в договоре М. Салтыкова и его товарищей с королем Сигизмундом. Этот договор, заключенный 4 февраля 1610 г. под Смоленском, излагал условия, на которых тушинские уполномоченные признавали московским царем королевича Владислава. Этот политический документ представляет довольно разработанный план государственного устройства. Он, во-первых, формулирует права и преимущества всего московского народа и его отдельных классов, во-вторых, устанавливает порядок высшего управления. В договоре прежде всего обеспечивается неприкосновенность русской православной веры, а потом определяются права всего народа и отдельных его классов. Права, ограждающие личную свободу каждого подданного от произвола власти, здесь разработаны гораздо разностороннее, чем в записи царя Василия. Можно сказать, что самая идея личных прав, столь мало заметная у нас прежде, в договоре 4 февраля впервые выступает с несколько определенными очертаниями. Все судятся по

закону, никто не наказывается без суда. На этом условии договор настаивает с особенной силой, повторительно требуя, чтобы, не сыскав вины и не осудив судом «с бояры всеми», никого не карать. Видно, что привычка расправляться без суда и следствия была особенно болезненным недугом государственного организма, от которого хотели излечить власть возможно радикальнее. По договору, как и по записи царя Василия, ответственность за вину политического преступника не падает на его невиновных братьев, жену и детей, не ведет к конфискации их имущества. Совершенной новизной поражают два других условия, касающихся личных прав: больших чинов людей без вины не понижать, а малочиновных возвышать по заслугам; каждому из народа московского для науки вольно ездить в другие государства христианские, и государь имущества за то отнимать не будет. Мелькнула мысль даже о веротерпимости, о свободе совести. Договор обязывает короля и его сына никого не отводить от греческой веры в римскую и ни в какую другую, потому что вера есть дар божий и ни совращать силой, ни притеснять за веру не годится: русский волен держать русскую веру, лях — ляхскую. В определении сословных прав тушинские послы проявили меньше свободомыслия и справедливости. Договор обязывает блюсти и расширять по заслугам права и преимущества духовенства, думных и приказных людей, столичных и городских дворян и детей боярских, частью и торговых людей. Но «мужикам хрестьянам» король не позволяет перехода ни из Руси в Литву, ни из Литвы на Русь, а также и между русскими людьми всяких чинов, т. е. между землевладельцами. Холопы остаются в прежней зависимости от господ, а вольности им государь давать не будет. Договор, сказали мы, устанавливает порядок верховного управления. Государь делит свою власть с двумя учреждениями, земским собором и Боярской думой. Так как Боярская дума вся входила в состав земского собора, то последний в московской редакции договора 4 февраля, о которой сейчас скажем, называется думою бояр и всей земли. В договоре впервые разграничивается политическая компетенция того и другого учреждения. Значение земского собора определяется двумя функциями. Во-первых, исправление или дополнение судного обычая, как и Судебника, зависит от «бояр и всей земли», а государь дает на то свое согласие. Обычай и московский Судебник, по которым отправлялось тогда московское правосудие, имели силу основных законов. Значит, земскому собору договор усваивает учредительный авторитет. Ему же принадлежал и законодательный почин: если патриарх с Освященным собором, Боярская дума и всех чинов люди будут бить челом государю о предметах, не предусмотренных в договоре, государю решать возбужденные вопросы с Освященным собором, боярами и со всею землей «по обычаю Московского государства». Боярская дума имеет законодательную власть: вместе с ней государь ведет текущее законодательство, издает обыкновенные законы. Вопросы о налогах, о жалованье служилым людям, об их поместьях и вотчинах решаются государем с боярами и думными людьми; без согласия думы государь не вводит новых податей и вообще никаких перемен в налогах, установленных прежними государями. Думе принадлежит и высшая судебная власть: без следствия и суда со всеми боярами государю никого не карать, чести не лишать, в ссылку не ссылать, в чинах не понижать. И здесь договор настойчиво повторяет, что все эти дела, как и дела о наследствах после умерших бездетно, государю делать по приговору и совету бояр и думных людей, а без думы и приговора бояр таких дел не делать.

МОСКОВСКИЙ ДОГОВОР 17 АВГУСТА 1610 г. Договор 4 февраля был делом партии или класса, даже нескольких средних классов, преимущественно столичного

дворянства и дьячества. Но ход событий дал ему более широкое значение. Племянник царя Василия князь М. В. Скопин-Шуйский со шведским вспомогательным отрядом очистил от тушинцев северные города и в марте 1610 г. вступил в Москву. Молодой даровитый воевода был желанным в народе преемником старого бездетного дяди. Но он внезапно умер. Войско царя, высланное против Сигизмунда к Смоленску, было разбито под Клуши-ном польским гетманом Жолневским. Тогда дворяне с Захаром Ляпуновым во главе свели царя Василия с престола и постригли. Москва присягнула Боярской думе как временному правительству. Ей пришлось выбирать между двумя соискателями престола: Владиславом, признания которого требовал шедший к Москве Жолкевский, и самозванцем, тоже подступавшим к столице в расчете на расположение к нему московского простонародья. Боясь вора, московские бояре вошли в соглашение с Жолкевским на условиях, принятых королем под Смоленском. Однако договор, на котором 17 августа 1610 г. Москва присягнула Владиславу, не был повторением акта 4 февраля. Большая часть статей изложена здесь довольно близко к подлиннику; другие сокращены или распространены, иные опущены или прибавлены вновь. Эти пропуски и прибавки особенно характерны. Первостепенные бояре вычеркнули статью о возвышении незнатных людей по заслугам, заменив ее новым условием, чтобы «московских княжеских и боярских родов приезжими иноземцами в отечестве и в чести не теснить и не понижать». Высшее боярство зачеркнуло и статью о праве московских людей выезжать в чужие христианские государства для науки: московская знать считала это право слишком опасным для заветных домашних порядков. Правящая знать оказалась на низшем уровне понятий сравнительно со средними служилыми классами, своими ближайшими исполнительными органами — участь, обычно постигающая общественные сферы, высоко поднимающиеся над низменной действительностью. Договор 4 февраля — это целый основной закон конституционной монархии, устанавливающий как устройство верховной власти, так и основные права подданных, и притом закон, совершенно консервативный, настойчиво оберегающий старину, как было прежде, при прежних государях, по стародавнему обычаю Московского государства. Люди хватаются за писанный закон, когда чувствуют, что из-под ног ускользает обычай, по которому они ходили. Салтыков с товарищами живет первостепенной знати чувствовали совершившиеся перемены, больше ее терпели от недостатка политического устава и от личного произвола власти, а испытанные перевороты и столкновения с иноземцами усиленно побуждали их мысль искать средств против этих неудобств и сообщали их политическим понятиям более широты и ясности. Старый колеблющийся обычай они и стремились закрепить новым, писанным законом, его осмыслявшим.

ПРОВИНЦИАЛЬНОЕ ДВОРЯНСТВО И ЗЕМСКИЙ ПРИГОВОР 30 ИЮНЯ 1611 г.

Вслед за средним и высшим столичным дворянством вовлекается в Смуту и дворянство рядовое, провинциальное. Его участие в Смуте становится заметным также с начала царствования Василия Шуйского. Первым выступило дворянство заокских и северских городов, т. е. южных уездов, смежных со степью. Тревоги и опасности жизни вблизи степи воспитывали в тамошнем дворянстве боевой, отважный дух. Движение поднято было дворянами городов Путивля, Венева, Каширы, Тулы, Рязани. Первым поднялся еще в 1606 г. воевода отдаленного Путивля князь Шаховской, человек неродовитый, хотя и титулованный. Его дело подхватывают потомки старинных рязанских бояр, теперь простые дворяне, Ляпуновы и Сунбуловы. Истым представителем этого удалого полустепного дворянства был

Прокофий Ляпунов, городской рязанский дворянин, человек решительный, заносчивый и порывистый; он раньше других чувствовал, как поворачивает ветер, но его рука хваталась за дело прежде, чем успевала подумать о том голова. Когда кн. Скопин-Шуйский только еще двигался к Москве, Прокофий послал уже поздравить его царем при жизни царя Василия и этим испортил положение племянника при дворе дяди. Товарищ Прокофья Сунбулов уже в 1609 г. поднял в Москве восстание против царя. Мятежники кричали, что царь — человек глупый и нечестивый, пьяница и блудник, что они восстали за свою братию, дворян и детей боярских, которых будто бы царь с потаковниками своими, большими боярами, в воду сажает и до смерти побивает. Значит, это было восстание низшего дворянства против знати. В июле 1610 г. брат Прокофья Захар с толпой приверженцев, все неважных дворян, свел царя с престола, причем против них были духовенство и большие бояре. Политические стремления этого провинциального дворянства недостаточно ясны. Оно вместе с духовенством выбирало на престол Бориса Годунова на зло боярской знати, очень радело этому царю из бояр, но не за бояр и дружно восстало против Василия Шуйского, царя чисто боярского. Оно прочило на престол сперва кн. Скопина-Шуйского, а потом кн. В. В. Голицына. Впрочем, есть акт, несколько вскрывающий политическое настроение этого класса. Присягнув Владиславу, московское боярское правительство отправило к Сигизмунду посольство просить его сына на царство и из страха перед московской чернью, сочувствовавшей второму самозванцу, ввело отряд Жолкевского в столицу; но смерть вора тушинского в конце 1610 г. всем развязала руки, и поднялось сильное народное движение против поляков: города списывались и соединялись для очищения государства от иноземцев. Первым восстал, разумеется, Прокофий Ляпунов со своей Рязанью. Но, прежде чем собравшееся ополчение подошло к Москве, поляки перерезались с москвичами и сожгли столицу (март 1611 г.). Ополчение, осадив уцелевшие Кремль и Китай-город, где засели поляки, выбрало временное правительство из трех лиц, из двух казацких вождей, кн. Трубецкого и Заруцкого, и дворянского предводителя Прокофья Ляпунова. В руководство этим «троена-чальникам» дан был приговор 30 июня 1611 г. Главная масса ополчения состояла из провинциальных служилых людей, вооружившихся и продовольствовавшихся на средства, какие были собраны с людей тяглых, городских и сельских. Приговор составлен был в лагере этого дворянства; однако он называется приговором «всей земли», и троена-чальников выбирали будто бы «всею землею». Таким образом, люди одного класса, дворяне-ополченцы, объявляли себя представителями всей земли, всего народа. Политические идеи в приговоре мало заметны, зато резко выступают сословные притязания. Выборные трое-начальники, обязанные «строить землю и промышлять всяким земским и ратным делом», однако, по приговору ничего важного не могли сделать без лагерного всеземского совета, который является высшей распорядительной властью и присволяет себе компетенцию гораздо шире земского собора по договору 4 февраля. Приговор 30 июня больше всего занят ограждением интересов служилых людей, регулируя их отношения поземельные и служебные, говорит о поместьях, вотчинах, а о крестьянах и дворовых людях вспоминает только для того, чтобы постановить, что беглые или вывезенные в Смутное время люди должны быть возвращены прежним владельцам. Ополчение два с лишком месяца простояло под Москвой, еще ничего важного не сделало для ее выручки, а уже выступило всевластным распорядителем земли. Но когда Ляпунов озлобил против себя своих союзников казаков, дворянский лагерь не смог защитить своего вождя и без труда был разогнан казацкими саблями.

УЧАСТИЕ НИЗШИХ КЛАССОВ В СМУТЕ. Наконец, вслед за провинциальными служилыми людьми и за них цепляясь, в Смуту вмешиваются люди «жилицкие», простонародье тяглое и нетяглое. Выступив об руку с провинциальными дворянами, эти классы потом отделяются от них и действуют одинаково враждебно как против боярства, так и против дворянства. Зачинщик дворянского восстания на юге князь Шаховской, «всей крови заводчик», по выражению современника-летописца, принимает к себе в сотрудники дельца совсем недворянского разбора: то был Болотников, человек отважный и бывалый, боярский холоп, попавшийся в плен к татарам, испытанный и турецкую каторгу и воротившийся в отечество агентом второго самозванца, когда он еще не имелся налицо, а был только задуман. Движение, поднятое дворянами. Болотников повел в глубь общества, откуда сам вышел, набирал свои дружины из бедных посадских людей, бездомных казаков, беглых крестьян и холопов — из слоев, лежавших на дне общественного склада, и натравлял их против воевод, господ и всех власть имущих. Поддержанный восставшими дворянами южных уездов, Болотников со своими сбродными дружинами победоносно дошел до самой Москвы, не раз побив царские войска. Но здесь и произошло разделение этих на минуту и по недоразумению соединившихся враждебных классов. Болотников шел напролом: из его лагеря по Москве распространялись прокламации, призывавшие холопов избивать своих господ, за что они получают в награду жен и имения убитых, избивать и грабить торговых людей; вора и мошенникам обещали боярство, воеводство, всякую честь и богатство. Прокофий Ляпунов и другие дворянские вожди, присмотревшись, с кем они имеют дело, что за народ составляет рать Болотникова, покинули его, передались на сторону царя Василия и облегчили царскому войску поражение сбродных отрядов. Болотников погиб, но его попытка всюду нашла отклик: везде крестьяне, холопы, поволжские инородцы — все беглое и обездоленное поднималось за самозванца. Выступление этих классов и продлило Смуту, и дало ей другой характер. До сих пор это была политическая борьба, спор за образ правления, за государственное устройство. Когда же поднялся общественный низ, Смута превратилась в социальную борьбу, в истребление высших классов низшими. Самая кандидатура поляка Владислава имела некоторый успех только благодаря участию, принятому в Смуте низшими классами: степенные люди, скрепя сердце, соглашались принять королевича, чтобы не пустить на престол вора тушинского, кандидата черни. Польские паны в 1610 г. говорили на королевском совете под Смоленском, что теперь в Московском государстве простой народ поднялся, встал на бояр, чуть не всю власть в руках своих держит. Тогда всюду обнаружилось резко социальное разъединение, всякий значительный город стал ареной борьбы между низом и верхом общества; повсюду «добрые», зажиточные граждане говорили, по свидетельству современника, что лучше уж служить королевичу, чем быть побитыми от своих холопей или в вечной неволе у них мучиться, а худые люди по городам вместе с крестьянами бежали к вору тушинскому, чая от него избавления от всех своих бед. Политические стремления этих классов совсем неясны; да едва ли и можно предполагать у них что-либо похожее на политическую мысль. Они добивались в Смуте не какого-либо нового государственного порядка, а просто только выхода из своего тяжелого положения, искали личных льгот, а не сословных обеспечений. Холопы поднимались, чтобы выйти из холопства, стать вольными казаками, крестьяне — чтобы освободиться от обязательств, какие привязывали их к землевладельцам, и от крестьянского тягла, посадские люди — чтобы избавиться от посадского тягла и поступить в служилые или приказные люди. Болотников призывал под свои знамена всех, кто хотел добиться воли, чести и богатства.

Настоящим царем этого люда был вор тушинский, олицетворение всякого беспорядка и беззакония в глазах благонамеренных граждан.

Таков был ход Смуты. Рассмотрим ее главные причины и ближайшие следствия.

ЛЕКЦИЯ XLIII

Объяснить причины Смуты — значит указать обстоятельства, ее вызвавшие, и условия, так долго ее поддерживавшие. Обстоятельства, вызвавшие Смуту, нам уже известны: это было насильственное и таинственное пресечение старой династии и потом искусственное восстановление ее в лице самозванцев. Но как эти поводы к Смуте, так и глубокие внутренние ее причины возымели свою силу только потому, что возникли на благоприятной почве, возделанной тщательными, хотя и непредусмотрительными, усилиями царя Ивана и правителя Бориса Годунова в царствование Федора. Это было тягостное, исполненное тупого недоумения настроение общества, какое создано было неприкрытыми безобразиями опричнины и темными годуновскими интригами.

ХОД СМУТЫ. В ходе Смуты вскрываются ее причины. Смута была вызвана событием случайным — пресечением династии. Вымирание семьи, фамилии, насильственное или естественное, — явление, чуть не ежедневно нами наблюдаемое, но в частной жизни оно мало заметно. Другое дело, когда кончается целая династия. У нас в конце XVI в. такое событие повело к борьбе политической и социальной, сначала к политической — за образ правления, потом к социальной — к усобице общественных классов. Столкновение политических идей сопровождалось борьбой экономических состояний. Силы, стоявшие за царями, которые так часто сменялись, и за претендентами, которые боролись за царство, были различные слои московского общества. Каждый класс искал своего царя или ставил своего кандидата на царство; эти цари и кандидаты были только знаменами, под которыми шли друг на друга разные политические стремления, а потом разные классы русского общества. Смута началась аристократическими происками большого боярства, восставшего против неограниченной власти новых царей. Продолжали ее политические стремления столичного гвардейского дворянства, вооружившегося против олигархических замыслов первостатейной знати, во имя офицерской политической свободы. За столичными дворянами поднялось рядовое провинциальное дворянство, пожелавшее быть властителем страны; оно увлекло за собою неслужилые земские классы, поднявшиеся против всякого государственного порядка, во имя личных льгот, т. е. во имя анархии. Каждому из этих моментов Смуты сопутствовало вмешательство казацких и польских шаек, донских, днепровских и вислинских отбросов московского и польского государственного общества, обрадовавшихся легкости грабежа в замутившейся стране. В первое время боярство пыталось соединить классы готового распасться общества во имя нового государственного порядка; но этот порядок не отвечал понятиям других классов общества. Тогда возникла попытка предотвратить беду во имя лица, искусственно воскресив только что погибшую династию, которая одна сдерживала вражду и соглашала непримиримые интересы разных классов общества. Самозванство было выходом из борьбы этих непримиримых интересов. Когда не удалась, даже повторительно, и эта попытка, тогда, по-видимому, не оставалось никакой политической связи, никакого политического интереса, во имя которого можно было бы предотвратить распадение общества. Но общество не распалось: расшатался лишь государственный порядок. Когда надломились политические скрепы общественного порядка, оставались еще крепкие связи рациональные и религиозные: они и спасли общество. Казацкие и польские отряды, медленно, но постепенно вразумляя разоряемое ими население, заставили, наконец, враждующие классы общества соединиться не во имя

какого-либо государственного порядка, а во имя национальной, религиозной и простой гражданской безопасности, которой угрожали казаки и ляхи. Таким образом, Смута, питавшаяся рознью классов земского общества, прекратилась борьбой всего земского общества со вмешавшимися во внутреннюю усобицу сторонними силами, противоземской и чуженародной.

ГОСУДАРСТВО — ВОТЧИНА. Видим, что в ходе Смуты особенно явственно выступают два условия, ее поддерживавшие: это — самозванство и социальный разлад. Они и указывают, где надо искать главных причин Смуты. Я уже имел случай (лекция ХLI) отметить одно недоразумение в московском политическом сознании: государство, как союз народный, не может принадлежать никому, кроме самого народа; а на Московское государство и московский государь, и народ Московской Руси смотрели как на вотчину княжеской династии, из владений которой оно выросло. В этом вотчинно-династическом взгляде на государство я и вижу одну из основных причин Смуты. Указанное сейчас недоразумение было связано с общей скудостью или неготовностью политических понятий, далеко отстававших от стихийной работы народной жизни. В общем сознании, повторю уже сказанное, Московское государство все еще понималось в первоначальном удельном смысле, как хозяйство московских государей, как фамильная собственность Калитина племени, которое его завело, расширяло и укрепляло в продолжение трех веков. На деле оно было уже союзом великорусского народа и даже завязывало в умах представление о всей Русской земле как о чем-то целом; но мысль еще не поднялась до идеи народа как государственного союза. Реальными связями этого союза продолжали служить воля и интерес хозяина земли. И надобно прибавить, что такой вотчинный взгляд на государство был не династическим притязанием московских государей, а просто категорией тогдашнего политического мышления, унаследованной от удельного времени. Тогда у нас и не понимали государства иначе, как в смысле вотчины, хозяйства государя известной династии, и, если бы тогдашнему заурядному московскому человеку сказали, что власть государя есть вместе и его обязанность, должность, что, правя народом, государь служит государству, общему благу, это показалось бы путаницей понятий, анархией мышления. Отсюда понятно, как московские люди того времени могли представлять себе отношение государя и народа к государству. Им представлялось, что Московское государство, в котором они живут, есть государство московского государя, а не московского или русского народа. Для них были нераздельными понятиями не государство и народ, а государство и государь известной династии; они скорее могли представить себе государя без народа, чем государство без этого государя. Такое воззрение очень своеобразно выразилось в политической жизни московского народа. Когда подданные, связанные с правительством идеей государственного блага, становятся недовольны правящей властью, видя, что она не охраняет этого блага, они восстают против нее. Когда прислуга или постояльцы, связанные с домохозяином временными условными выгодами, видят, что они этих выгод не получают от хозяина, они уходят из его дома. Подданные, поднимаясь против власти, не покидают государства, потому что не считают его чужим для себя; слуга или квартирант, недовольный хозяином, не остается в его доме, потому что не считает его своим. Люди Московского государства поступали как недовольные слуги или жильцы с хозяином, а не как непослушные граждане с правительством. Они нередко роптали на действия правившей ими власти; но, пока жила старая династия, народное недовольство ни разу не доходило до

восстания против самой власти. Московский народ выработал особую форму политического протеста: люди, которые не могли ужиться с существующим порядком, не восставали против него, а выходили из него, «брели розно», бежали из государства. Московские люди как будто чувствовали себя пришельцами в своем государстве, случайными, временными обывателями в чужом доме; когда им становилось тяжело, они считали возможным бежать от неудобного домовладельца, но не могли освоиться с мыслью о возможности восставать против него или заводить другие порядки в его доме. Так, узлом, связывавшим все отношения в Московском государстве, была не мысль о народном благе, а лицо известной династии, и государственный порядок признавался возможным только при государе именно из этой династии. Потому, когда династия пресеклась и, следовательно, государство оказалось ничьим, люди растерялись, перестали понимать, что они такое и где находятся, пришли в брожение, в состояние анархии. Они даже как будто почувствовали себя анархистами поневоле, по какой-то обязанности, печальной, но неизбежной: некому стало повиноваться — стало быть, надо бунтовать.

ВЫБОРНЫЙ ЦАРЬ. Пришлось выбирать царя земским собором. Но соборное избрание по самой новизне дела не считалось достаточным оправданием новой государственной власти, вызывало сомнения, тревогу. Соборное определение об избрании Бориса Годунова предвидит возражение людей, которые скажут про избирателей: «Отделимся от них, потому что они сами себе поставили царя». Кто скажет такое слово, того соборный акт называет неразумным и проклятым. В одном очень распространенном памфлете 1611 г. рассказывается, как автору его в чудесном видении было поведено, что сам господь укажет, кому владеть Российским государством; если же поставят царя по своей воле, «навек не будет царь». В продолжение всей Смуты не могли освоиться с мыслью о выборном царе; думали, что выборный царь — не царь, что настоящим, законным царем может быть только прирожденный, наследственный государь из потомства Калиты, и выборного царя старались пристроить к этому племени всякими способами, юридическим вымыслом, генеалогической натяжкой, риторическим преувеличением. Бориса Годунова по его избранию духовенство и народ торжественно приветствовали как наследственного царя, «здравствоваша ему на его государеве вотчине», а Василий Шуйский, формально ограничивший свою власть, в официальных актах писался «самодержцем», как титуловались природные московские государи. При такой неподатливости мышления в руководящих кругах появление выборного царя на престоле должно было представляться народной массе не следствием политической необходимости, хотя и печальной, а чем-то похожим на нарушение законов природы: выборный царь был для нее такой же несообразностью, как выборный отец, выборная мать. Вот почему в понятие об «истинном» царе простые умы не могли, не умели уложить ни Бориса Годунова, ни Василия Шуйского, а тем паче польского королевича Владислава: в них видели узурпаторов, тогда как один призрак природного царя в лице пройдохи неведомого происхождения успокаивал династически-легитимные совести и располагал к доверию. Смута и прекратилась только тогда, когда удалось найти царя, которого можно было связать родством, хотя и не прямым, с угасшей династией: царь Михаил утвердился на престоле не столько потому, что был земским всенародным избранником, сколько потому, что доводился племянником последнему царю прежней династии. Сомнение в народном избрании, как в достаточном правомерном источнике верховной власти, было немаловажным условием, питавшим Смуту, а это сомнение вытекало из укоренившегося в

умах убеждения, что таким источником должно быть только вотчинное преемство в известной династии. Потому это неуменье освоиться с идеей выборного царя можно признать производной причиной Смуты, вышедшей из только что изложенной основной.

ТЯГЛОВОЙ СТРОЙ ГОСУДАРСТВА. Я отметил социальный разлад как одну из резко выразившихся особенностей Смутного времени. Этот разлад коренился в тягловом характере московского государственного порядка, и это — другая основная причина Смуты. Во всяком правомерно устроенном государственном порядке предполагается как одна из основ этой правомерности надлежащее соответствие между правами и обязанностями граждан, личными или сословными. Московское государство XVI в. в этом отношении отличалось пестрым совмещением разновременных и разнохарактерных социально-политических отношений. В нем не было ни свободных и полноправных лиц, ни свободных и автономных сословий. Однако общество не представляло безразличной массы, как в восточных деспотиях, где равенство всех покоится на общем бесправии. Общество расчленено, делится на классы, сложившиеся еще в удельные века. Тогда они имели только гражданское значение: это были экономические состояния, различавшиеся занятиями. Теперь они получили политический характер: между ними распределялись специальные, соответствовавшие их занятиям государственные повинности. Это еще не сословия, а простые служебные разряды, на должностном московском языке называвшиеся чинами. Государственная служба, падавшая на эти чины, не была для всех одинакова: одна служба давала подлежащим ей классам большую или меньшую власть распоряжаться, приказывать; другим классам их служба оставляла только обязанность повиноваться, исполнять. На одном классе лежала обязанность править, другие классы служили орудиями высшего управления или отбывали ратную службу, третьи несли разные податные обязанности. Неодинаковой расценкой видов государственного служения создавалось неравенство государственного и общественного положения разных классов. Низшие слои, на которых лежали верхние, разумеется, несли на себе наибольшую тяжесть и, конечно, тяготились ею. Но и высший правительственный класс, которому государственная служба давала возможность командовать другими, не видел прямого законодательного обеспечения своих политических преимуществ. Он правил не в силу присвоенного ему на то права, а фактически, по давнему обычаю: это было его наследственное ремесло. Московское законодательство вообще было направлено прямо или косвенно к определению и распределению государственных обязанностей, но не формулировало и не обеспечивало ничьих прав, ни личных, ни сословных; государственное положение лица или класса определялось лишь его обязанностями. То, что в этом законодательстве похоже на сословные права, было не что иное, как частные льготы, служившие вспомогательными средствами для исправного отбывания повинностей. Да и эти льготы давались классам не в целом их составе, а отдельным местным обществам по особым условиям их положения. Известное городское или сельское общество получало облегчение в налогах или изъятие в подсудности, но потребности установить общие сословные права городского или сельского населения в законодательстве еще не заметно. Само местное сословное самоуправление с его выборными властями основано было на том же начале повинности и соединенной с ней ответственности личной, своею головой, или общественной, целым миром; оно, как мы видели, было послушным орудием централизации. Правами обеспечиваются частные интересы лиц или сословий. В московском государственном порядке господство начала

повинности оставляло слишком мало места частным интересам, личным или сословным, принося их в жертву требованиям государства. Значит, в Московском государстве не было надлежащего соответствия между правами и обязанностями ни личными, ни сословными. Кое-как уживались с тяжелым порядком под гнетом внешних опасностей, при слабом развитии личности и общественного духа. Царствование Грозного с особенной силой дало обществу почувствовать этот недостаток государственного строя. Произвол царя, беспричинные казни, опалы и конфискации вызвали ропот, и не только в высших классах, но и в народной массе, «тугу и ненависть на царя в миру», и в обществе проснулась смутная и робкая потребность в законном обеспечении лица и имущества от усмотрения и настроения власти.

ОБЩЕСТВЕННАЯ РОЗНЬ. Но эта потребность вместе с общим чувством тяжести государственного порядка сама по себе не могла бы привести к такому глубокому потрясению государства, если бы не пресекалась династия, это государство построившая. Она служила венцом в своде государственного здания; с ее исчезновением разрывался узел, которым сдерживались все политические отношения. Что прежде терпеливо переносили, покоряясь воле привычного хозяина, то казалось невыносимым теперь, когда хозяина не стало. В записках дьяка И. Тимофеева читаем картинную притчу о бездетной вдове богатого и властного человека, дом которого расхищает челядь покойника, вышедшая из «своего рабского устройства» и предавшаяся своеволию. В образе такой беспомощной вдовы публицист представил положение своей родной земли, оставшейся без «природного» царя-хозяина. Тогда все классы общества поднялись со своими особыми нуждами и стремлениями, чтобы облегчить свое положение в государстве. Только наверху общества этот подъем происходил не так, как внизу его. Верхние классы старались законодательным путем упрочить и расширить свои сословные права даже на счет нижних классов; в этих последних незаметно сословного интереса, стремления приобрести права или облегчить тягости для целых классов. Здесь каждый действовал в свою голову, спеша выйти из тяжелого положения, в какое поставила его суровая и неравномерная разверстка повинностей, и перескочить в другое, более льготное состояние или захватом урвать что-нибудь у зажиточных людей. Наблюдательные современники усиленно отмечают как самый резкий признак Смуты это стремление общественных низов прорваться наверх и столкнуть оттуда верховников. Один из них, келарь А. Палицын, пишет, что тогда всякий стремился подняться выше своего звания, рабы хотели стать господами, люди невольные перескакивали к свободе, рядовой военный принимался боярствовать, люди сильные разумом ставились ни во что, «в прах вменяемы бываху» этими своевольниками и ничего не смели сказать им неугодного. Встреча столь противоположных стремлений сверху и снизу неминуемо вела к ожесточенной классовой вражде. Эта вражда — производная причина Смуты, вызванная к действию второю, основной. Почин в этом разрушении общественного порядка наблюдатели-современники приписывают вершинам общества, высшим классам и прежде всего новым, ненаследственным носителям верховной власти, хотя уже Грозный своей опричниной подал ободрительный пример в этом деле. Зло упрекая царя Бориса в надменном намерении перестроить земский порядок и обновить государственное управление, эти наблюдатели винят его в том, что за наущничество он начал поднимать на высокие степени хуторных людей, непривычных к правительственному делу и безграмотных, едва умевших подписывать деловой акт, медленно кое-как проволочить по

бумаге свою трясущуюся руку, точно чужую. Этим он поселил ненависть в знатных и опытных дельцах. Так же поступали и другие следовавшие за ним неистинные цари. Порицая за это, наблюдатели с сожалением вспоминают прежних природных государей, которые знали, какому роду какую честь и за что давать, «худородным же ни». Еще больше неурядицы внес царь Борис в общество, устройством доносов подняв холопов на господ, а боярскими опалами выгнав на улицу толпы челяди опальных бояр и этим заставив ее броситься в раз-бой. И царь Василий обеими руками сеял общественную смуту, одним указом усилив прикрепление крестьян, а другими стеснив господскую власть над холопами. Высшие классы усердно содействовали правительству в усилении общественного разлада. По свидетельству А. Палицы-на, при царе Федоре вельможами, особенно из родни и сторонников правителя Годунова, а по примеру их и другими овладела неистовая страсть к порабощению, стремление заманивать к себе в кабалу всякими средствами и кого ни попало. Но настал трехлетний голод (1601–1604 гг.), и господа, не желая или будучи не в состоянии кормить нахватанную челядь, выгоняли ее без отпускных из своих домов, а когда голодные холопы поряжались к другим господам, прежние преследовали их за побег и снос.

САМОЗВАНСТВО. В неблагоприятном образе действий правительства и общества, так печально поддержанном самой природой, вскрылась такая неурядица общественных отношений, такой социальный разброд, с которым по пресечении династии трудно было сладить обычными правительственными средствами. Эта вторая причина Смуты, социально-политическая, в соединении с первой, династической, сильно, хотя и косвенно, поддержала Смуту тем, что обострила действие первой, выразившейся в успехах самозванцев. Поэтому самозванство можно признать тоже производной причиной Смуты, вышедшей из совокупного действия обеих коренных. Вопрос, как могла возникнуть самая идея самозванства, не включает в себе какого-либо народно-психологического затруднения. Таинственность, какую окружена была смерть царевича Димитрия, породила противоречивые толки, из которых воображение выбирало наиболее желательные, а всего более желали благополучного исхода, чтобы царевич оказался в живых и устранил тягостную неизвестность, которой заволакивалось будущее. Расположены были, как всегда в подобных случаях, безотчетно верить, что злодейство не удалось, что провидение и на этот раз постояло на страже мировой правды и приготовило возмездие злодеям. Ужасная судьба царя Бориса и его семьи была в глазах встревоженного народа поразительным откровением этой вечной правды божией и всего более помогла успеху самозванства. Нравственное чувство нашло поддержку в чутье политическом, столько же безотчетном, сколько доступном по своей безотчетности народным массам. Самозванство было удобнейшим выходом из борьбы непримиримых интересов, взбудораженных пресечением династии: оно механически, насильственно соединяло под привычной, хотя и поддельной, властью элементы готового распасться общества, между которыми стало невозможно органическое, добровольное соглашение.

ВЫВОДЫ. Так можно объяснить происхождение Смуты. Почвой для нее послужило тягостное настроение народа, общее чувство недовольства, вынесенное народом из царствования Грозного и усиленное правлением Б. Годунова. Повод к Смуте дан был пресечением династии со следовавшими затем попытками искусственного ее восстановления в лице самозванцев. Коренными причинами Смуты надобно признать

народный взгляд на отношение старой династии к Московскому государству, мешавший освоиться с мыслью о выборном царе, и потом самый строй государства с его тяжелым тягловым основанием и неравномерным распределением государственных повинностей, порождавшим социальную рознь: первая причина вызвала и поддерживала потребность воскресить погибший царский род, а эта потребность обеспечивала успех самозванства; вторая причина превратила династическую интригу в социально-политическую анархию. Смуте содействовали и другие обстоятельства: образ действий правителей, становившихся во главе государства после царя Федора, конституционные стремления боярства, шедшие вразрез с характером московской верховной власти и с народным на нее взглядом, низкий уровень общественной нравственности, как ее изображают современные наблюдатели, боярские опалы, голод и мор в царствование Бориса, областная рознь, вмешательство казаков. Но все это были не причины, а или только симптомы Смуты, или условия, ее питавшие, но ее не породившие, или, наконец, следствия, ею же вызванные к действию.

Смута является на рубеже двух смежных периодов нашей истории, связанная с предшествующим своими причинами, с последующим — своими следствиями. Конец Смуте был положен вступлением на престол царя, ставшего родоначальником новой династии: это было первое ближайшее следствие Смуты.

ВТОРОЕ ОПОЛЧЕНИЕ. В конце 1611 г. Московское государство представляло зрелище полного видимого разрушения. Поляки взяли Смоленск; польский отряд сжег Москву и укрепился за уцелевшими стенами Кремля и Китая-города; шведы заняли Новгород и выставили одного из своих королевичей кандидатом на московский престол; на смену убитому второму Лжедмитрию в Пскове уселся третий, какой-то Сидорка; первое дворянское ополчение под Москвой со смертью Ляпунова расстроилось. Между тем страна оставалась без правительства. Боярская дума, ставшая во главе его по низложению В. Шуйского, упразднилась сама собою, когда поляки захватили Кремль, где сели и некоторые из бояр со своим председателем кн. Мстиславским. Государство, потеряв свой центр, стало распадаться на составные части; чуть не каждый город действовал особняком, только пересылаясь с другими городами. Государство преобразилось в какую-то бесформенную, мятущуюся федерацию. Но с конца 1611 г., когда изнемогли политические силы, начинают пробуждаться силы религиозные и национальные, которые пошли на выручку гибнувшей земли. Призывные грамоты архимандрита Дионисия и келаря Авраамия, расходившиеся из Троицкого монастыря, подняли нижегородцев под руководством их старосты мясника Кузьмы Минина. На призыв нижегородцев стали стекаться оставшиеся без дела и жалованья, а часто и без поместий служилые люди, городовые дворяне и дети боярские, которым Минин нашел и вождя, князя Дмитрия Михайловича Пожарского. Так составилось второе дворянское ополчение против поляков. По боевым качествам оно не стояло выше первого, хотя было хорошо снаряжено благодаря обильной денежной казне, самоотверженно собранной посадскими людьми нижегородскими и других городов, к ним присоединившихся. Месяца четыре ополчение устроялось, с полгода двигалось к Москве, пополнялось по пути толпами служилых людей, просивших принять их на земское жалованье. Под Москвой стоял казацкий отряд кн. Трубецкого, остаток первого ополчения. Казаки были для земской дворянской рати страшнее самих поляков, и на предложение кн. Трубецкого она отвечала: «Отнюдь нам вместе с казаками не стаивать». Но скоро стало видно, что без поддержки казаков ничего не сделать, и в три месяца стоянки под Москвой

без них ничего важного не было сделано. В рати кн. Пожарского числилось больше сорока начальных людей все с родовитыми служилыми именами, но только два человека сделали крупные дела, да и те были не служилые люди: это — монах А. Палицын и мясной торговец К. Минин. Первый по просьбе кн. Пожарского в решительную минуту уговорил казаков поддержать дворян, а второй выпросил у кн. Пожарского 3–4 роты и с ними сделал удачное нападение на малочисленный отряд гетмана Хоткевича, уже подбиравшегося к Кремлю со съестными припасами для голодавших там соотчичей. Смелый натиск Минина приободрил дворян-ополченцев, которые вынудили гетмана к отступлению, уже подготовленному казаками. В октябре 1612 г. казаки же взяли приступом Китай-город. Но земское ополчение не решилось штурмовать Кремль; сидевшая там горсть поляков сдалась сама, доведенная голодом до людоедства. Казацкие же атаманы, а не московские воеводы отбили от Волоколамска короля Сигизмунда, направлявшегося к Москве, чтобы воротить ее в польские руки, и заставили его вернуться домой, Дворянское ополчение здесь еще раз показало в Смуту свою малопригодность к делу, которое было его сословным ремеслом и государственной обязанностью.

ИЗБРАНИЕ МИХАИЛА. Вожди земского и казацкого ополчения князь Пожарский и Трубецкой разослали по всем городам государства повестки, призывавшие в столицу духовные власти и выборных людей из всех чинов для земского совета и государственного избрания. В самом начале 1613 г. стали съезжаться в Москву выборные всей земли. Мы потом увидим, что это был первый бесспорно всесословный земский собор с участием посадских и даже сельских обывателей. Когда выборные съехались, был назначен трехдневный пост, которым представители Русской земли хотели очиститься от грехов Смуты перед совершением такого важного дела. По окончании поста начались совещания. Первый вопрос, поставленный на соборе, выбирать ли царя из иноземных королевских домов, решили отрицательно, приговорили: ни польского, ни шведского королевича, ни иных немецких вер и ни из каких неправославных государств на Московское государство не выбирать, как и «Маринкина сына». Этот приговор разрушал замыслы сторонников королевича Владислава. Но выбрать и своего природного русского государя было нелегко. Памятники, близкие к тому времени, изображают ход этого дела на соборе не светлыми красками. Единомыслия не оказалось. Было большое волнение; каждый хотел по своей мысли делать, каждый говорил за своего; одни предлагали того, другие этого, все разноречили; придумывали, кого бы выбрать, перебирали великие роды, но ни на ком не могли согласиться и так потеряли немало дней. Многие вельможи и даже невельможи подкупали избирателей, засылали с подарками и обещаниями. По избрании Михаила соборная депутация, просившая инокиню-мать благословить сына на царство, на упрек ее, что московские люди «измалодушествовались», отвечала, что теперь они «наказались», проучены, образумились и пришли в соединение. Соборные происки, козни и раздоры совсем не оправдывали благодушного уверения соборных послов. Собор распался на партии между великородными искателями, из которых более поздние называют князей Голицына, Мстиславского, Воротынского, Трубецкого, Мих. Ф. Романова. Сам, скромный по отчеству и характеру, князь Пожарский тоже, говорили, искал престола и потратил немало денег на происки. Наиболее серьезный кандидат по способностям и знатности, кн. В. В. Голицын, был в польском плену, кн. Мстиславский отказывался; из остальных выбирать было некого. Московское государство выходило из страшной Смуты без героев;

его выводили из беды добрые, но посредственные люди. Кн. Пожарский был не Борис Годунов, а Михаил Романов — не кн. Скопин-Шуйский. При недостатке настоящих сил дело решалось предрассудком и интригой. В то время как собор разбивался на партии, не зная, кого выбрать, в него вдруг пошли одно за другим «писания», петиции за Михаила от дворян, больших купцов, от городов Северской земли и даже от казаков; последние и решили дело. Видя слабосилие дворянской рати, казаки буйствовали в освобожденной ими Москве, делали, что хотели, не стесняясь временным правительством Трубецкого, Пожарского и Минина. Но в деле царского избрания они заявили себя патриотами, решительно восстали против царя из чужеземцев, намечали, «примеривали» настоящих русских кандидатов, ребенка, сына вора тушинского, и Михаила Романова, отец которого Филарет был ставленник обоих самозванцев, получил сан митрополита от первого и провозглашен патриархом в подмосковном лагере второго. Главная опора самозванства, казачество, естественно, хотело видеть на престоле московском или сына своего тушинского царя, или сына своего тушинского патриарха. Впрочем, сын вора был поставлен на конкурс несерьезно, больше из казацкого приличия, и казаки не настаивали на этом кандидате, когда земский собор отверг его. Сам по себе и Михаил, 16-летний мальчик, ничем не выдававшийся, мог иметь мало видов на престол, и, однако, на нем сошлись такие враждебные друг другу силы, как дворянство и казачество. Это неожиданное согласие отразилось и на соборе. В самый разгар борьбы партий какой-то дворянин из Галича, откуда производили первого самозванца, подал на соборе письменное мнение, в котором заявлял, что ближе всех по родству к прежним царям стоит М. Ф. Романов, а потому его и надобно выбрать в цари. Против Михаила были многие члены собора, хотя он давно считался кандидатом и на него указывал еще патриарх Гермоген, как на желательного преемника царя В. Шуйского. Письменное мнение галицкого городского дворянина раздражило многих. Раздались сердитые голоса: кто принес такое писание, откуда? В это время из рядов выборных выделился донской атаман и, подошедши к столу, также положил на него писание. «Какое это писание ты подал, атаман?» — спросил его кн. Д. М. Пожарский. «О природном царе Михаиле Федоровиче», — отвечал атаман. Этот атаман будто бы и решил дело: «прочетше писание атаманское и бысть у всех согласен и единомыслен совет», — как пишет один бытописатель. Михаила провозгласили царем. Но это было лишь предварительное избрание, только наметившее соборного кандидата. Окончательное решение предоставили непосредственно всей земле. Тайно разослали по городам верных людей выведать мнение народа, кого хотят государем на Московское государство. Народ оказался уже достаточно подготовленным. Посланные возвратились с донесением, что у всех людей, от мала и до велика, та же мысль: быть государем М. Ф. Романову, а опричь его никак никого на государство не хотеть. Это секретно-полицейское дознание, соединенное, может быть, с агитацией, стало для собора своего рода избирательным плебисцитом. В торжественный день, в неделю православия, первое воскресенье великого поста, 21 февраля 1613 г., были назначены окончательные выборы. Каждый чин подавал особое письменное мнение, и во всех мнениях значилось одно имя — Михаила Федоровича. Тогда несколько духовных лиц вместе с боярином посланы были на Красную площадь, и не успели они с Лобного места спросить собравшийся во множестве народ, кого хотят в царя, как все закричали: «Михаила Федоровича».

РОМАНОВЫ. Так соборное избрание Михаила было подготовлено и поддержано на

соборе и в народе целым рядом вспомогательных средств: предвыборной агитацией с участием многочисленной родни Романовых, давлением казацкой силы, негласным дознанием в народе, выкриком столичной толпы на Красной площади. Но все эти избирательные приемы имели успех потому, что нашли опору в отношении общества к фамилии. Михаила вынесла не личная или агитационная, а фамильная популярность. Он принадлежал к боярской фамилии, едва ли не самой любимой тогда в московском обществе. Романовы — недавно обособившаяся ветвь старинного боярского рода Кошкиных. Давно, еще при вел. кн. Иване Даниловиче Калите, выехал в Москву из «Прусские земли», как гласит родословная, знатный человек, которого в Москве прозвали Андреем Ивановичем Кобылой. Он стал видным боярином при московском дворе. От пятого сына его, Федора Кошки, и пошел «Кошкин род», как он зовется в наших летописях. Кошкины блистали при московском дворе в XIV и XV вв. Это была единственная нетитулованная боярская фамилия, которая не потонула в потоке новых титулованных слуг, нахлынувших к московскому двору с половины XV в. Среди князей Шуйских, Воротынских, Мстиславских Кошкины умели удержаться в первом ряду боярства. В начале XVI в. видное место при дворе занимал боярин Роман Юрьевич Захарьин, шедший от Кошкина внука Захария. Он и стал родоначальником новой ветви этой фамилии — Романовых. Сын Романа Никита, родной брат царицы Анастасии, — единственный московский боярин XVI в., оставивший на себе добрую память в народе: его имя запомнила народная былина, изображая его в своих песнях о Грозном благодушным посредником между народом и сердитым царем. Из шести сыновей Никиты особенно выдавался старший, Федор. Это был очень добрый и ласковый боярин, щеголь и очень любознательный человек. Англичанин Горсей, живший тогда в Москве, рассказывает в своих записках, что этот боярин непременно хотел выучиться по-латыни, и по его просьбе Горсей составил для него латинскую грамматику, написав в ней латинские слова русскими литерами. Популярность Романовых, приобретенная личными их качествами, несомненно, усилилась от гонения, какому они подверглись при подозрительном Годунове; А. Палицын даже ставит это гонение в число тех грехов, за которые бог покарал землю русскую Смутой. Вражда с царем Василием и связи с Тушином доставили Романовым покровительство и второго Лжедмитрия и популярность в казацких таборах. Так двусмысленное поведение фамилии в смутные годы подготовило Михаилу двустороннюю поддержку, и в земстве и в казачестве. Но всего больше помогла Михаилу на соборных выборах родственная связь Романовых с прежней династией. В продолжение Смуты русский народ столько раз неудачно выбирал новых царей, и теперь только то избрание казалось ему прочно, которое падало на лицо, хотя как-нибудь связанное с прежним царским домом. В царе Михаиле видели не соборного избранника, а племянника царя Федора, природного, наследственного царя. Современный хронограф прямо говорит, что Михаила просили на царство «сродственного его ради союза царских искр». Недаром Авраамий Палицын зовет Михаила «избранным от бога прежде его рождения», а дьяк И. Тимофеев в непрерывной цепи наследственных царей ставил Михаила прямо после Федора Ивановича, игнорируя и Годунова, и Шуйского, и всех самозванцев. И сам царь Михаил в своих грамотах обычно называл Грозного своим дедом. Трудно сказать, насколько помог избранию Михаила ходивший тогда слух, будто царь Федор, умирая, устно завещал престол своему двоюродному брату Федору, отцу Михаила. Но бояр, руководивших выборами, должно было склонять в пользу Михаила еще одно удобство, к которому они не могли быть равнодушны. Есть известие, будто бы Ф. И. Шереметев писал в Польшу кн. Голицыну: «Миша — де

Романов молод, разумом еще не дошел и нам будет поваден». Шереметев, конечно, знал, что престол не лишит Михаила способности зреть и молодость его не будет перманентна. Но другие качества обещали показать, что племянник будет второй дядя, напоминая его умственной и физической хилостью, выйдет добрым, кротким царем, при котором не повторятся испытания, пережитые боярством в царствование Грозного и Бориса. Хотели выбрать не способнейшего, а удобнейшего. Так явился родоначальник новой династии, положивший конец Смуте.

Дмитрий Иловайский

ПОЛЬСКИЕ КОЗНИ И НАЧАЛО САМОЗВАНСТВА

Адский замысел против Московского государства — замысел, плодом которого явилось самозванство — возник и осуществился в среде враждебной польской и ополяченной западнорусской аристократии. Три фамилии были главными зачинщиками и организаторами этой гнусной польской интриги: коренные католики Мнишки, незадолго изменившие православию Сапеги и стоявшая уже на пути к ополячению или окатоличению семья Вишневецких. Литовский канцлер Лев Сапега желал внести смуту в Московское государство, чтобы ею могла воспользоваться Речь Посполитая; следовательно, действовал в видах политических. Юрий Мнишек, воевода Сендомирской, руководился по преимуществу личными интересами; этот старый интриган хотел поправить свое расстроенное состояние и блистательным образом пристроить одну из своих дочерей. А два брата Вишневецких, Адам и Константин, по-видимому, вовлеклись в интригу по свойству с Мнишками. Адам еще держался православия, но отличался распущенными нравами; брат же его Константин, женатый на Урсуле Мнишковне, успел уже перейти в католичество.

Идея самозванства вытекала почти сама собою из тех обстоятельств, в которых находилась тогда Московская Русь. Эта идея уже носилась в воздухе со времен трагической смерти царевича Димитрия, которая, без сомнения, продолжала служить в народе предметом разнообразных толков и пересудов. От них недалеко было и до появления легенды о чудесном спасении, которому так склонна верить всякая народная толпа, особенно недовольная настоящим, жаждущая перемен, и прежде всего перемены правительственных лиц. Мы знаем, что Борису Годунову и по характеру своему, и по разным другим обстоятельствам не удалось ни приобрести народное расположение, ни примирить с необычайным возвышением своей фамилии старые боярские роды. Всякому постороннему наблюдателю была очевидна шаткость его положения и непрочность новой династии, еще не успевшей пустить корней в стране. Мысль выставить против Годуновых хотя бы одну тень прирожденного наследника престола должна была представиться очень соблазнительною; успех казался легко достижимым. Идея самозванства, по всей вероятности, немалое время носилась в разных головах и внутри Московского государства, и вне его пределов, пока осуществилась на деле. Гораздо удобнее могла она осуществиться, конечно, не внутри государства, а в такой соседней и неприязненной ему стране, какою была Речь Посполитая с ее своевольным панством и хищным украинским казачеством. Здесь уже и прежде практиковались опыты выставлять самозванцев для соседей, а именно для Молдо-Валахии. Во второй половине XVI века не один смельчак, назвавший себя сыном или родственником какого-либо умершего господаря, добывал, хотя бы и на короткое время, господарский престол с помощью вольных казацких дружин. (К числу таких самозванцев принадлежали известные Ивоня и названный его брат Подкова.) Праздная, бурная часть польско-русской шляхты и казацкая вольница представляли готовый материал для всякого отчаянного предприятия, в случае успеха обещавшего богатую добычу и громкую славу. Если для добывания господарского престола какой-нибудь Молдавии претенденты собирали здесь тысячи смельчаков, то сколько же можно было найти их для такого заманчивого предприятия, как завоевание московского царского престола!

Кто был первый самозванец, принявший на себя имя царевича Димитрия, может быть, со временем объяснится какою-нибудь счастливою находкою, а может быть, навсегда останется тайною для истории. Есть глухое известие, которое называет его побочным сыном

Стефана Батория, — известие само по себе достойное внимания; но мы не можем ни принять его, ни отвергнуть за недостатком более положительных данных. Можем только заключить, что, по разным признакам, это был уроженец Западной Руси, и притом шляхетского происхождения. В какой религии он был воспитан, трудно сказать: может быть, в православной; а возможно, что он принадлежал к Реформации и даже к столь распространенному тогда в Литовской Руси арианству. Во всяком случае, на историческую сцену молодой Самозванец выступил из среды бедного шляхетства, которое наполняло дворы богатых польских и западнорусских панов, нередко переходя на службу от одного из них к другому. Это был хотя и легкомысленный, но несомненно даровитый, предприимчивый и храбрый человек, с сильно развитой фантазией и склонностью к романтическим приключениям. Сдается нам, что и самый толчок к столь отчаянному предприятию, самая мысль о самозванстве явилась у него не без связи с романтическими отношениями к Марине, дочери Сендомирского воеводы, у которого некоторое время он, по-видимому, находился на службе. Возможно, что кокетливая, честолюбивая полька, руководимая старым интриганом-отцом, вскружив голову бедному шляхтичу, сама внушила ему эту дерзкую мысль. Как бы то ни было, сие столь обильное последствиями предприятие, по нашему крайнему разумению, получило свое таинственное начало в семье Мнишков и было ведено с их стороны весьма ловко. Очевидно, они рассчитывали в случае удачи воспользоваться всеми ее выгодами, а в случае неудачи остаться по возможности в стороне. Самое объявление названного царевича должно было совершиться не в их доме, а в другом, хотя и родственном, именно у Вишневецких, притом не у католика Константина Вишневецкого, женатого на Урсуле, младшей сестре Марины, и, следовательно, слишком близкого к семье Мнишков, а у его православного двоюродного брата Адама. Урсула, конечно, была в этой интриге усердным агентом своей старшей сестры, которая в ожидании московской короны успела уже сделаться зрелой девою.

Неизвестно, каким способом Мнишки сумели привлечь к своей интриге литовского канцлера Льва Сапегу; а еще вероятнее, что он-то и был первым начинателем замысла и самих Мнишков натолкнул на это предприятие. Во всяком случае, его близкое участие в сей интриге не подлежит сомнению. Как сановник, ведавший иноземные сношения, он хорошо знал положение дел в Московском государстве; имел случай наблюдать его и собственными глазами, так как был послом в Москве еще в царствование Федора Ивановича. Радея интересам Речи Посполитой и своей новой религии, т. е. католичеству, он сделался ярким врагом Московской Руси и хотел широко воспользоваться обстоятельствами для своих политических видов. Можно смело предположить, что он не только поощрил интригу Мнишков, но явился главным ее двигателем, заставив втайне действовать имевшиеся в его распоряжении государственные средства. В ноябре 1600 года, как известно, Лев Сапега вторично прибыл в Москву в качестве великого посла от польско-литовского короля Сигизмунда III к недавно воцарившемуся в Москве Борису Годунову для переговоров о вечном мире. Но при сем он выставил такие невозможные требования и держал себя так надменно, что вызвал большие споры и пререкания с московскими боярами. Долго, около девяти месяцев, Годунов задерживал это посольство — как оказалось потом, задерживал на свою голову, — пока заключено было двадцатилетнее перемирие. Несмотря на строгий присмотр, которым окружено было посольство, Сапега сумел войти в какие-то тайные сношения с некоторыми противными Годунову дьяками и боярами, вообще разведать и подготовить, что было нужно для дела Самозванца. Мало того, есть полное основание

полагать, что сам этот будущий Самозванец участвовал в огромной польской свите (заклучавшей в себе до 900 человек) и таким образом имел возможность ознакомиться с Москвою, ее двором, населением и разными порядками. По-видимому, он продлил свое пребывание здесь и после отъезда посольства, бродил по Московской Руси в товариществе с несколькими монахами, переодетый чернецом, и при помощи каких-то доброхотов благополучно перебрался назад за литовский рубеж, сквозь пограничные русские заставы.

В числе помянутых бродячих монахов, вместе с ним или отдельно от него ушедших за литовский рубеж, находился и тот Григорий Отрепьев, которого потом московское правительство объявило лицом, тождественным с первым Лжедмитрием. Тождество сие, по тщательному пересмотру вопроса, оказывается ложным. Тем не менее бегство Отрепьева из Москвы и его прямое участие в деле Самозванца едва ли подлежат сомнению; хотя и нет пока возможности достаточно выяснить его истинную роль в этом деле. Известно только, что Юрий Отрепьев был родом из галицких боярских детей, в детстве остался сиротою после отца Богдана, оказался способным при обучении грамоте, в юности появился в Москве, жил некоторое время в услужении у бояр Романовых и их свойственника князя Черкасского. Затем он становится монахом, приняв имя Григория, и попадает в Чудов монастырь, где постригся дед его Замятия; там вскоре его посветили в дьяконы. Своею грамотностию и сочинением канонов чудотворцам Григорий обратил на себя внимание самого патриарха Иова, который взял его к себе; потом даже брал его с собою в царскую думу, где он наблюдал придворные и правительственные порядки Московского государства (чем и мог впоследствии быть полезен Самозванцу). Но молодой Отрепьев любил выпить и был не в меру болтлив. Какие-то похвальбы или неосторожные речи о смерти царевича Димитрия, о возможности того, что царевич спасся от убийц и скоро объявится, навлекли на него подозрение. Донесли о том патриарху; последний не дал веры; тогда донесли самому царю Борису. Тот велел дьяку Смирному-Васильеву сослать нескромного монаха под начало в Соловки за его якобы занятия чернокнижеством. Но у Григория нашлись заступники; дьяк не спешил исполнить приказ, а потом о нем забыл. Узнав о грозящей опасности, Отрепьев бежал из Москвы вместе с двумя другими чернецами, Варлаамом и Мисаилом Повадиным. После разных странствий и приключений беглецы перебрались за Литовскую границу, побывали в Киевском Печерском монастыре, потом жили некоторое время в Остроге у известного князя Константина-Василия Острожского. Отсюда Григорий отправился к пану Гойскому в его местечко Гошу, которая тогда славилась своею арианскою школою. А затем след Григория как бы пропадает из глаз истории. Вскоре в Западной Руси объявился человек, назвавший себя царевичем Димитрием.

Весьма возможно, что во время пребывания Сапегина посольства в Москве какие-то посредники привлекли Отрепьева к задуманному предприятию и свели его с тем шляхтичем, который готовился принять на себя имя Димитрия. Может быть, Отрепьев сделался его руководителем в странствованиях и в ознакомлении с Московскою Русью, а также одним из агентов для распространения вести о чудесном спасении царевича Димитрия. По некоторому известию, тот же Отрепьев из Литвы, и, конечно, не один, ездил на Дон, чтобы поднять казаков на помощь мнимому царевичу; а сам этот мнимый царевич, по-видимому, в это время ездил на Запорожье с тою же целью. Наконец, имеем довольно достоверное известие, что Григорий Отрепьев сопровождал Лжедмитрия при его походе в Московское государство.

Темные слухи о какой-то интриге, переплетенной с именем и судьбою царевича, рано

дошли до Бориса и сильно его смутили. Едва ли не в связи с ними воздвигнуто было известное гонение на семью Романовых, а так же их родственников и свойственников Черкасских, Репниных, Сицких и др. Гонение это началось как раз во время Сапегина посольства. Предлогом для того, как известно, послужили мешки с какими-то подозрительными кореньями, якобы найденными в кладовой одного из братьев Романовых. Точно так же впоследствии, когда гласно объявился названный Димитрий, Борис, узнав, что дьяк Смирной-Васильев не исполнил его повеления относительно Григория Отрепьева, придумал для наказания дьяка совсем иной предлог: царь велел проверить дворцовую казну; на Смирнова при этом сделали большой начет, подвергли его пражежу и забили до смерти.

Итак, 1600–1601 годы были эпохой первых, неясных слухов о самозванческой интриге. Та же эпоха отмечена несомненным переломом в поведении царя Бориса: он становится крайне подозрителен, поощряет шпионство и доносы, ищет и преследует своих тайных врагов. Очевидно, помянутые слухи подействовали на него крайне раздражающим образом. Современные свидетельства говорят, что, не решаясь прибегать к явным казням, он приказывает изводить подозреваемых людей разными другими способами: их морили голодом в тюрьмах, забивали палками, спускали под лед и т. п. Борис стал недоверчиво относиться к соседям; особенно опасался поляков и ожидал оттуда грозы; ибо с западного рубежа уже приходили зловещие слухи о близком появлении Димитрия. Эти опасения и тревожные слухи сообщались окружающим, а от них проникали и в народ. По Москве стали ходить рассказы о разных видениях и знамениях, предвещавших ужасные беды со стороны Польши. Страшный голод, угнетавший в то время население, казался только началом великих бедствий, долженствовавших разразиться над Русскою землею.

Человек, принявший на себя имя царевича Димитрия, объявился приблизительно во второй половине 1603 года. Объявился он в числе слуг богатого западнорусского вельможи князя Адама Вишневецкого, в его местечке Брагине, которое было расположено недалеко от Днепра, почти на самом пограничье с Московскою Северщиной. Названный Димитрий представлял из себя хотя молодого человека, но уже не первой молодости, — бывшего по крайней мере на пять лет старше убитого царевича. Небольшого роста, худощавый, но крепко сложенный, он отличался физической силою и ловкостью в военных упражнениях; у него были рыжеватые волосы, серые глаза, смуглое некрасивое лицо; зато он обладал звучным голосом, даром слова и притом не лишен был некоторого образования. Вообще он был способен при случае производить впечатление и убеждать, увлекать за собой других. Те, которые выставили его, без сомнения приняли в расчет все эти качества.

Объявление названного царевича произошло как бы случайно. По этому поводу существуют разные рассказы, более или менее сомнительного свойства. Так, по одному известию, молодец сказался опасно больным и позвал для предсмертной исповеди священника; а сему последнему за великую тайну сообщил, что он не тот, за кого его принимают, и просил после его смерти прочесть скрытый под постелью свиток, который все разъяснит. Священник сообщил о сем самому пану, т. е. князю Адаму; а тот поспешил, конечно, взять указанный свиток и узнал из него, что в числе его слуг скрывался не кто иной, как сам московский царевич Димитрий, якобы чудесным образом спасенный от гибели, которую готовил ему Борис Годунов. Обрадованный князь Адам тотчас начал оказывать всевозможные почести мнимобольному, который, разумеется, не замедлил выздороветь. По другой басне, открытие произошло в бане, где князь Адам, за что-то рассердясь на слугу, ударил его. Тот горько заплакал и сказал, что если бы князь знал, кто он

такой, то иначе обращался бы с ним. И затем по настоянию пана открыл ему свое царственное происхождение. Само собой разумеется, что объявление мнимого царевича должно было произойти вследствие той или другой случайности, заранее условленной между Вишневецким и другими главными действующими лицами. Рассказ Лжедмитрия о его спасении и последующей судьбе заключался в немногих словах: какой-то приближенный человек или его доктор, узнав о готовившейся царевичу гибели, подменил его на ночь другим мальчиком, который и был убит вместо него. Затем доброхоты царевича скрыли его куда-то и воспитывали в неизвестности; потом он под видом чернеца странствовал по монастырям, пока не ушел в Литву. Не говоря уже о небывалом ночном убийстве, никаких точных указаний на лица и обстоятельства, никаких достоверных подробностей он не мог представить; только показывал золотой крест, украшенный драгоценными камнями и будто бы данный его крестным отцом, покойным князем Ив. Фед. Мстиславским. И, однако, вся эта явно сочиненная, нелепая басня имела потом полный успех; ибо нашла весьма благоприятную для себя почву и как бы отвечала на потребность времени. Даже некоторые телесные отличия или приметы Самозванца и те пошли в дело; у него оказалась бородавка на щеке, родимое пятнышко на правом плече и одна рука короче другой. Эти приметы объявлены принадлежавшими маленькому царевичу Димитрию, и с них начато было удостоверение в его подлинности.

Распустив по окрестностям известие о новоявленном царевиче, Адам Вишневецкий спешил как бы поделиться своею радостью с братом Константином и из Брагина сам повез мнимого Димитрия к нему на Волынь, где были обширные поместья Вишневецких и самое гнездо фамилии — замок Висневец, расположенный на берегах Горыни. Здесь устроена была следующая комедия, с помощью канцлера Льва Сапегы. У сего последнего находился в услужении какой-то беглый москвитин, называвший себя Юрием Петровским. Он говорил о себе, будто бывал в Угличе и видал маленького царевича. Вишневецкие призвали его и показали ему названного Димитрия. Слуга как только осмотрел вышеуказанные приметы, так и воскликнул: «Да, это истинный царевич Димитрий!» Константин Вишневецкий тоже недолго мешкал у себя с новооткрытым царевичем и повез его в Червонную Русь к своему тестю Юрию Мнишку, в замок Самбор. Этот деревянный замок был расположен в прекрасной местности, на верхнем течении Днестра, и служил средоточием королевских столовых имений того края или так называемой «экономии». Мнишек, в молодые годы вместе с братом Николаем бывший любимцем и самым приближенным человеком короля Сигизмунда II Августа, под старость сумел втереться в милость Сигизмунда III, получил от него воеводство Сендомирское, староство Львовское и управление Самборской экономией.

Старый интриган ловко разыграл радушного хозяина, удивленного и обрадованного прибытием столь неожиданного и высокого гостя. Повторилась та же комедия с приметами. В Самборе оказался слуга, при осаде Пскова попавший в московский плен и будто бы во время своего плена выдавший царевича Димитрия. Теперь он признал его в неожиданном госте. Потом стали приезжать разные московские выходцы, бежавшие в Литву при Иване IV или при Годунове, и так как им не было никакого интереса отрицать басню, на которой настаивали в Самборе, то они охотно подтверждали признание. (Например, братья Хрипуновы.) Названный Димитрий замешкался здесь на продолжительное время, что несомненно выдает значение Самборского воеводского двора как главного очага интриги. Мнишек стал приглашать окрестных панов с их семьями и задавал пиры в честь мнимого царевича, стараясь как можно более сделать его известным, расположить в его пользу

польско-русскую шляхту и подготовить ее участие в его предприятии. От многочисленных гостей не скрывалось его настойчивое ухаживание за панной Мариной Мнишковной, которая играла, конечно, роль царицы самборских празднеств и балов, питая сладкую надежду вскоре сделаться царицею московскою. По наружности своей Марина была под стать Лжедмитрию, ибо отнюдь не представляла из себя какой-либо выдающейся красавицы; небольшого роста, худенькая брюнетка или шатенка, с довольно неправильными чертами лица, она привлекала внимание мужчин парюю пригожих глаз, живостью характера и истинно польскою кокетливостью.

Пока молодежь предавалась здесь танцам и веселью, а старшее поколение упивалось венгерским, шла деятельная работа по разным тайным сношениям. С одной стороны, верные агенты ездили к донским и запорожским казакам поднимать их на службу названому царевичу, обещая великие и щедрые награды, а с другой, велись усердные переговоры с Краковским королевским двором.

Без прямого покровительства и содействия короля трудно, почти невозможно было рассчитывать на успешный исход предприятия. Коноводы его повели на Сигизмунда III приступы с двух сторон. С одной стороны действовали внушения канцлера Сапеги и некоторых единомышленных с ним сановников, например, виленского епископа Венедикта Войны и краковского воеводы Николая Зебжидовского. Они представили королю те выгоды, которые могла получить Речь Посполитая в случае удачи от человека, посаженного ею на престол Московского государства, а в случае неудачи — от имевшей произойти там смуты. Главным образом, конечно, имелось в виду отторжение от Москвы областей Северной и Смоленской, входивших когда-то в состав великого княжества Литовского. Лично для Сигизмунда являлась надежда отвлечь Москву от союза с его дядею Карлом, захватившим шведский престол, и даже с ее помощью воротить себе этот престол. С другой стороны, начинатели дела постарались затронуть известную католическую ревность Сигизмунда III и обратились к помощи высшего духовенства. У Мнишка и тут были сильные связи; так кардинал-епископ краковский Бернард Мацейовский приходился родственником и начал охотно помогать ему в сем деле. Еще важнее то, что Мнишку удалось приобрести усердного себе пособника в лице папского нунция Клавдия Рангони. Юрий Мнишек писал к нему сам, заставлял писать и Лжедмитрия. Рангони пока не отвечал последнему, но письма его сообщал в Рим при своих донесениях. В первых сообщениях, отправленных в ноябре 1603 года, нунций приводит слышанную им от самого короля басню о чудесном спасении царевича, по-видимому не настаивая на ее достоверности. Сам папа Климент VIII отнесся к ней вначале недоверчиво и написал на донесении нунция: «это вроде воскресшего короля португальского» (известного Лжесебастиана). Тем не менее католичество и папство не могли, конечно, устоять против указанной Мнишком столь соблазнительной перспективы, как распространение только что введенной в Западной Руси церковной унии и на всю Восточную Русь посредством будущего самодержавного царя, выражающего явную склонность немедленно перейти в католицизм. По сему вопросу начались деятельные переговоры между Краковом и Самбором, с одной стороны, и между Краковом и Римом, с другой, в смысле благоприятном для Самозванца. Из роли наблюдателя Рангони скоро перешел к роли усердного его сторонника.

При всей недалекости своей Сигизмунд III понимал, что имеет дело с грубым обманом; однако уступил помянутым внушениям и позволил вовлечь себя в это гнусное дело. Свое участие он начал как бы с соблюдением некоторой осторожности. В январе

следующего, 1604 года от Краковского двора послан был в Самбор для поверки личности Димитрия какой-то ливонец, будто бы некогда находившийся у него в услужении в Угличе. Произошла новая комедия взаимного признания. Названный Димитрий узнал якобы своего бывшего слугу; а сей последний узнал Димитрия по его отличительным знакам, особенно по его неровной длины рукам. По некоторым известиям, и этот лжесвидетель был подставлен все тем же Львом Сапегой. После того, по приглашению короля, в марте 1604 года, Лжедимитрий вместе с Константином Вишневецким прибыл в Краков, где остановился в доме Мнишка. Вскоре туда же приехал сам хозяин и также усердно начал задабривать влиятельных лиц, знакомя их с мнимым царевичем, стараясь ласкательством и угощениями привлечь их на его сторону. 13-го марта Мнишек давал пир для сенаторов. На этом пиру Рангони впервые увидел Лжедимитрия. В его донесении Риму, по поводу первого впечатления, уже заметно явное пристрастие. «Димитрий, — пишет он, — молодой человек с хорошо выдержкой, смуглым лицом и большим пятном на носу против правого глаза; белая продолговатая кисть руки указывает на его высокое происхождение; он смел в речах, а в его поступках и манерах отражается поистине что-то великое».

Спустя два дня после того, покровители Самозванца, с папским нунцием во главе добились самого важного: Лжедимитрий был принят королем на аудиенции. На ней присутствовали только немногие сановники, каковы: вице-канцлер, надворный маршал, королевский секретарь, виленский епископ Война и тот же нунций Рангони. Сендомирский воевода сопровождал своего будущего зятя во дворец; но во время аудиенции оставался в передней комнате. Король с горделивою осанкою, имея шляпу на голове, стоял, опершись одною рукою на маленький столик; а другую протянул вошедшему Лжедимитрию. Тот смиренно ее поцеловал; а затем пробормотал несколько бессвязных фраз о своих правах на московский престол и своем спасении от козней Годунова. Оправясь от первого смущения, мнимый царевич начал просить короля о помощи и даже напомнил ему, как он сам родился узником (во время заключения его отца Иоанна, гонимого своим братом королем шведским Эрихом) и как много претерпел в своем детстве. Сигизмунд дал ему знак удалиться; после чего несколько времени совещался с нунцием и вельможами. Мнимого царевича позвали снова, и тут вице-канцлер Пстроконский держал к нему ответную речь такого содержания: король соизволил объявить, что верит словам просителя, признает его истинным царевичем Димитрием, намерен назначить ему денежное вспоможение и разрешает ему искать совета и помощи у королевских дворян. Лжедимитрий выслушал этот ответ в почтительной позе, с наклоненной головой и сложенными на груди руками. Подействовали ли на дерзкого обманщика сухость и торжественность королевского приема, вместе с сознанием своего ничтожества, или он ожидал более существенных знаков внимания, только Самозванец пришел еще в большее смущение, так что не сказал ни слова, и нунций за него обратился к королю с выражением благодарности.

Хотя король не обещал прямой государственной помощи, да и не мог ее обещать без согласия сейма, однако, благодаря означенной аудиенции, предприятие Лжедимитрия делало большой шаг вперед: он был признан царевичем, мог теперь свободно вербовать себе сторонников и готовить военную экспедицию. Спустя несколько дней он вместе с Мнишком сделал парадный визит папскому нунцию уже как московский царевич; причем толпы народа сбежались посмотреть на иноземного принца, который привлекал общее внимание вследствие успевших уже распространиться толков о его чудесном спасении. Мнимый царевич благодарил нунция за его ходатайство перед королем и просил о таком же перед

римским престолом, изъявляя свое глубокое уважение к святейшему отцу и обещая заодно с другими европейскими государями вооружиться против врагов св. креста (турок), когда он воссядет на своем наследственном троне. Нунций похвалил его чувства; но не преминул напомнить, что пора исполнить его обещание и перейти в лоно католической церкви. Лжедмитрий не заставил себя долго убеждать, и его обращение вскоре совершилось при помощи известных мастеров этого дела, т. е. отцов иезуитов.

Трудно сказать с точностию, когда именно иезуитский орден вмешался в сию польскую интригу. Если верить известию, выходящему из среды самого ордена, то Лжедмитрий впервые вошел в сношения с несколькими иезуитами только по приезде в Краков и при посредстве самборского священника Помаского. Этот Помаский и некоторые монахи францисканского ордена или бернардины, как их называли в Польше, подготовили Лжедмитрия к принятию католицизма; а иезуитам нунций поручил собственно довершить его обращение. Дело это не представляло никакой трудности; ибо Самозванец отлично понимал, что только под сим условием он мог рассчитывать в Польше на покровительство и помощь со стороны короля и могущественного духовенства. А потому он сам шел навстречу католическим убеждениям и, ни во что сам не веруя серьезно, показывал вид, что очень занят вопросом об истинной Церкви, что склонен признать таковою католичество, только его будто бы волнуют некоторые сомнения, которые он желал бы рассеять. По его просьбе воевода краковский Зебжидовский устроил ему в своем доме свидание с двумя иезуитскими патерами, Гродзицким и Савицким; но свидание это было обставлено таинственностью, чтобы не возбуждать подозрений со стороны тех русских людей, которые уже успели пристать к Самозванцу и состояли в его свите. В беседе с иезуитами Лжедмитрий высказал свои сомнения относительно трех известных пунктов: догмата о происхождении Св. Духа от Отца и Сына, причастия под одним видом и папы как заместника Христова. Произошли довольно оживленные прения; причем иезуиты заметили, что названный царевич в значительной степени напитан арианскою ересью. Несмотря на многие его возражения, разумеется, они постарались устранить все его сомнения и недоумения, так что в конце беседы он казался убежденным их доводами и высказал желание ввести святую унию в Московском государстве, когда воссядет на отцовском престоле. Однако хитрый Самозванец сдался не вдруг. Потребовалось еще новое его прение с иезуитами, которое происходило в доме отцов бернардинов. Тут он изъявил наконец желание исповедаться и причаститься по католическому обряду в самый день наступавшей Пасхи. Все эти тайные переговоры и беседы велись под руководством нунция, которому иезуиты подробно обо всем доносили. В обсуждении дела принимали участие главнейшие из членов иезуитского ордена, находившихся в Кракове, в том числе знаменитый проповедник Петр Скарга и духовник короля Фридрих Барщ, кроме того, воевода Зебжидовский, сделавшийся усердным покровителем Самозванца. По просьбе этого плута воевода устроил ему тайное свидание с патером Савицким, которого тот выбрал себе в духовные отцы.

В Кракове существовало братство Милосердия; оно было основано Скаргою, и в нем участвовали некоторые знатнейшие сановники. В последние дни Страстной недели братчики имели обычай одеваться в рубище и собирать милостыню для своего братства. Зебжидовский как член его, а вместе с ним Лжедмитрий, переодетые нищими и прося милостыню, пробрались 17-го апреля в Страстную субботу к церкви св. Варвары, находившейся в ведении иезуитской коллегии. Здесь настоятель церкви, патер Савицкий, исповедал Самозванца. Патер сам рассказывает в своих записках, что перед исповедью,

желая рассеять сомнения в подлинности царевича (господствовавшие в польском обществе), красноречиво убеждал его открыть все свои тайные помыслы, если хочет получить Божью помощь в своем трудном предприятии. Лжедмитрий смутился было при этих словах; но скоро овладел собою и начал уверять в правоте своего дела; затем, упав на колени, стал каяться в грехах своих. Получив разрешение от них по правилам католической церкви, он соединился с Зебжидовским, который ожидал его на хорах; приняв снова вид нищих, они воротились домой.

Спустя несколько дней, т. е. на Святой неделе, 24-го апреля, Самозванец имел вторую аудиенцию у короля, прощальную; причем получил от него разные подарки, как-то: золотую цепь на шею с медальонным его портретом и куски шитой золотом и серебром парчи на платье. Кроме того, король назначил ему ежегодную пенсию или субсидию в 4000 злотых, которую Мнишек должен был выплачивать из доходов Самборской экономии — субсидия не особенно щедрая; но король извинялся тем, что пока не может дать более, а разве увеличить ее впоследствии. Самозванец униженно благодарил за милости. Из королевского дворца по заранее условленному плану он отправился к нунцию как бы для того, чтобы проститься с ним, а в самом деле, чтобы тайком от своей русской свиты принять из его рук причастие. Его вместе с Мнишком провели в одну из внутренних комнат, где уже были приготовлены алтарь и все принадлежности для исполнения католической мессы, которую нунций и совершил торжественно; ему прислуживали два капеллана; кроме них, был еще только патер Савицкий. Во время служения Рангони причастил Лжедмитрия и совершил над ним обряд миропомазания. По окончании мессы алтарь вынесли. Нунций подарил новообращенному восковое позолоченное изображение Агнца и 25 венгерских золотых. Самозванец горячо благодарил его, выражал большую радость о своем обращении; обещал ввести унию на место «греческой схизмы» в своем государстве и, упав на колени, хотел облобызать ноги нунция как представителя его святейшества папы, не имея возможности облобызать их у него самого. Рангони, однако, не допустил мнимого царевича до такого унижения, а поспешил его поднять и заключить в свои объятия. При сем Самозванец вручил ему свое послание к Клименту VIII, которое было им написано по-польски, а патером Савицким переведено на латинский язык. В послании этом повторялись те же выражения радости о своем присоединении к святой римской церкви и те же обещания ввести унию в московском народе по достижении прародительского престола; для чего мнимый царевич умолял святейшего папу не лишать его своей поддержки и милости.

В наружном рвении к католической церкви наш неопит, ищущий московского престола, пошел еще дальше. Он выразил нунцию свое якобы тяжкое недоумение по следующему поводу. По существующему в Москве обычаю, новый царь после обряда коронации принимает св. Причастие из рук патриарха; как теперь ему поступить, т. е. принять ли таинство из рук схизматика? По такому важному вопросу Рангони отказался выразить собственное мнение, а обещал донести о том в Рим. (Откуда впоследствии получился ответ отрицательный.) Зато он собственной властью разрешил ему по постам кушать скоромное; так как постное оказывалось вредным для его драгоценного здоровья. Далее, Самозванец просил назначить к нему в Москву священника из среды иезуитов, и нунций озаботился сообщить о том их польскому провинциалу. Вообще расставанье было трогательное: с той и другой стороны выражены самые теплые чувства, пожелания и надежды. Надобно отдать справедливость лицедейскому таланту молодого Лжедмитрия и дипломатическому искусству его руководителя старого Мнишка: им удалось опутать, провести и заставить

служить своим личным целям даже таких знаменитых, искушенных в политической интриге деятелей, каковы римская курия и иезуитский орден. Этих деятелей, очевидно, подкупали преданность католичеству со стороны новообращенного искателя приключений и его якобы искренние обещания ввести унию в Московском государстве; хотя в подлинность его царского происхождения тогда в Кракове едва ли кто верил, и многие поляки открыто называли его Самозванцем; о чем помянутый патер Савицкий записал в своем дневнике.

Ввиду невыгодных толков о новоявленном московском царевиче, сам Сигизмунд III, как ни подстрекали его светские и особенно духовные покровители Лжедмитрия, затруднялся выступить в этом случае открыто и решительно. Он попытался заручиться согласием наиболее влиятельных сенаторов и разослал им письмо, приглашая их высказать свои мнения о деле царевича; причем указывал на те выгоды, которые могла бы извлечь из него Речь Посполитая. Но ответы, полученные им, большею частью оказались или уклончивые, или прямо неблагоприятные: сенаторы не советовали рисковать вмешательством в это дело и ради какого-то сомнительного претендента нарушить недавно заключенное перемирие с Москвою, утвержденное торжественною присягою. Король по преимуществу старался склонить в пользу предприятия коронного канцлера и гетмана Яна Замойского и думал пленить его мыслию о будущем тесном союзе с московским царем, о его помощи против шведов и особенно против турок, столь еще грозных христианскому миру; причем внушал, что такое щекотливое дело не следует подвергать публичному обсуждению на сейме. Но маститый государственный человек решительно высказался и против подлинности Дмитрия, и против нарушения перемирия; он советовал, во всяком случае, отложить это дело до ближайшего сейма, который имел открыться в январе следующего, 1605 года. Тщетно Юрий Мнишек несколько раз принимался писать Замойскому, убеждая его оказать участие московскому царевичу, в подлинности которого будто бы не следует сомневаться, и толковал о выгодах, могущих произойти от того для Речи Посполитой. Руководимый Мнишком, Лжедмитрий тоже обращался к Замойскому с униженною просьбою о помощи. Канцлер отвечал Мнишку уклончиво, а письма Самозванца оставил без ответа. Кроме Замойского, открытыми противниками дерзкого предприятия заявили себя известный ревнитель православия, киевский воевода, престарелый Константин Острожский и сын его Януш, краковский каштелян. К противникам сего предприятия, хотя и не столь решительным, принадлежали родственник Замойского, товарищ его по гетманству, т. е. польный коронный гетман Станислав Жолкевский, воевода брацлавский князь Збаражский и некоторые другие. Но покровители превосходили их числом, искусством в интриге и усердием в этом деле. Напомним, что, кроме Мнишков и Вишневецких, тут действовали нунций Рангони, кардинал-епископ Мацейовский, литовский канцлер Сапега, виленский каштелян Иероним Ходкевич, виленский епископ Война и брат его литовский подканцлер, воевода краковский Зебжидовский, коронный подканцлер Пстроконский и еще некоторые менее важные сановники; притом они имели на своей стороне короля.

Итак, в конце апреля 1604 года Лжедмитрий с Мнишком воротился в Самбор, и здесь в течение нескольких месяцев они занимались приготовлениями к походу, т. е. вербовкою военных людей, их снаряжением и организацией, производившимися по преимуществу на средства Мнишков и Вишневецких. Сборным пунктом нанятых людей сделался Львов, главный город Русского воеводства; ибо Юрий Мнишек в числе своих санов имел и львовское староство. Рядом с этими приготовлениями в Самборском замке пошла опять празднества и угощение оркестной шляхты; при сем хозяин уже не скрывал своих

отношений к мнимо высокому гостю как к своему будущему зятю. А с сим последним он заключил формальные письменные условия, на основании которых соглашался жертвовать своим состоянием при добывании ему московского престола, а когда он сядет на этот престол, то выдать за него свою дочь Марину. До нас дошли две таких договорных грамоты, в которых Самозванец именуется «Димитрием Ивановичем, Божию милостию царевичем Великой России, Углицким и пр.». Одной из них, данной в мае 1604 года, он, по достижении престола, обязывает: 1) уплатить воеводе Сендомирскому миллион злотых на покрытие его долгов и на расходы по снаряжению панны Марины в Москву; причем доставить ей из московской царской казны драгоценности и столовое серебро; 2) прислать торжественное посольство польскому королю с просьбою дать его согласие на брак с Мариною; 3) отдать ей в полное владение Великий Новгород и Псков со всеми их уездами и населением; 4) предоставить ей полную свободу вероисповедания с правом держать при себе латинских священников и строить латинские костелы в своих владениях; 5) ввести в своем государстве римскую веру. В другой грамоте, данной в июне, Самозванец идет еще далее по части раздробления своего будущего государства: он обязывается отдать своему тестю, Юрию Мнишку, часть Смоленской и Северской земли; причем упоминается о какой-то предшествующей грамоте, по которой остальная часть этих земель уступалась королю и польской Речи Посполитой.

Эти документы ясно свидетельствуют, до какой степени простиралось легкомыслие и Самозванца, и его пособников-руководителей, с королем Сигизмундом во главе, — которые принялись делить шкуру еще не затравленного медведя. Очевидно, Лжедмитрий не стеснялся ничем по части обязательств: он уже так далеко зашел в своем отчаянном предприятии, что ничего не оставалось, как обещать направо и налево самые неисполнимые вещи, лишь бы не останавливаться и идти вперед.

Посмотрим теперь, как эти события отозвались в Москве.

Когда пришла сюда весть, что в Литве уже открыто объявился царевич Димитрий, царь Борис, по выражению летописца, ужаснулся. Он понял всю грозившую ему опасность и почувствовал, как заколебалась под ним почва. Едва ли эта весть была для него неожиданностью; при своей крайней подозрительности и благодаря многочисленным шпионам он мог заранее к ней приготовиться. Тем не менее она произвела страшное впечатление, и при всей изворотливости своей Борис не мог придумать ни одной действительной меры для борьбы с надвигавшейся грозой. Первым старанием его было по возможности скрыть грозную весть от народа и для того прекратить почти всякие сообщения с литовским зарубежьем. Около того времени в Смоленской области распространилось моровое поветрие, и по сему случаю учреждены были заставы по дорогам, ведущим из этой области в Москву. Борис воспользовался тем же предлогом и велел умножить заставы так, чтобы из Литвы не переходило никаких вестей в пограничные области. В то же время он разослал многих лазутчиков провеживать о Самозванце. Слухи о нем распространились уже за пределы Польши. Так император Германский в июне 1604 года через особого посланника извещал Бориса, как союзного себе государя, о появлении в Польше Димитрия и о той помощи, которую поляки намерены ему оказать; вообще советовал быть осторожным. Борис принял посла с обычною торжественностью и велел благодарить императора за предупреждение; но прибавил, что Димитрия давно нет на свете, а это какой-то обманщик, с помощью которого поляки думают возмутить его государство, но которого он может уничтожить одним пальцем.

Разумеется, такой ответ был только маскою равнодушия и презрения. В действительности Борис сильно тревожился и совсем лишился покоя. Никакие запрещения и наказания не прекращали проникших в народ толков о появлении Димитрия. Умножились только доносы и тайные казни. Всякий, кто неосторожно говорил о Димитрии, подвергался жестоким пыткам и обрекался на жалкую смерть со всем своим семейством и родными, если верить известию современника-иноземца. Отсюда народное недовольство и ропот против Бориса все более возрастали и сгущали тучи, нависшие над его домом. Особенно усилилась его подозрительность в отношении бояр; он предполагал их участие в приготовлении Самозванца и прямо говорил, что это их дело.

Верный сын своего века, Борис не был чужд грубому суеверию. В Москве при какой-то часовне в землянке жила юродивая по имени Елена, которую народная молва наделяла даром предсказания. Борис тайком и смиренно посетил ее пещеру, чтобы спросить о своей судьбе. Юродивая взяла обрубок дерева, призвала попов, велела служить панихиду над этим обрутком и кадить ему. Царь в ужасе удалился. Черные мысли и всякие сомнения терзали его до того, что иногда он сам готов был усомниться в смерти царевича Димитрия. Чтобы успокоить себя с этой стороны, он велел тайно привезти из дальнего монастыря в Москву мать царевича инокиню Марфу; ездил к ней с патриархом в девичий Воскресенский монастырь; потом призвал ее к себе и, запершись в спальне, допрашивал ее, жив ее сын или нет. Если верить иноземному свидетельству, Марфа замаялась и отвечала, что она не знает. При этом допросе присутствовала супруга Бориса Марья Григорьевна, как истая дочь Малюты Скуратова отличавшаяся жестокосердием и мстительностью, а потому имевшая вредное влияние на своего мужа. Ответ Марфы привел ее в ярость; она схватила горящую свечу и с ругательствами бросилась к старице, чтобы выжечь ей глаза; муж с трудом ее удержал. Тогда возмущенная Марфа будто бы сказала, что сын ее еще жив. Борис велел отвезти ее в другой монастырь и стеречь еще строже.

Трудно сказать, откуда произошло в Москве ложное мнение о личности Самозванца: было ли правительство само введено в заблуждение собственными неудачными лазутчиками или оно действовало умышленно. Первое нам кажется вероятнее. Побег в Литву чудовского монаха Григория Отрепьева с несколькими товарищами и его тайное участие в деле Самозванца повели к тому, что в Москве Борис и его приближенные сего беглого монаха начали отождествлять с названным Димитрием. Чтобы удостовериться в том, царь послал в Литву гонцом Смирного-Отрепьева, который приходился родным дядею Григория; но послал не от своего имени, а от имени бояр для переговоров с важнейшими литовскими сановниками, в особенности с канцлером Львом Сапегою и воеводою виленским Христофором Радивилом (в Москве еще не знали, что последний уже умер). В грамотах, привезенных Смирным, говорилось только о некоторых пограничных недоразумениях. Исполнив официальное поручение, гонец просил канцлера о свидании наедине; вероятно, московское правительство догадывалось о роли сего последнего в деле Самозванца и желало тем или другим способом склонить его на свою сторону. Сапега отвечал, что он не может вести переговоры о пограничных делах без своих товарищей, т. е. других королевских комиссаров. Тогда Смирной вынужден был словесно объявить протест московского правительства против нарушения перемирия помощью, которую польский король оказывал человеку, принявшему на себя имя Димитрия; называл Самозванца своим племянником и для уличения его требовал очной с ним ставки, а если он окажется истинным сыном Ивана IV, то обещал присягнуть ему. Но подвергать подобному следствию личность названного

Димитрия было совсем не в интересах его покровителей и руководителей. Напротив, в их интересах было поддерживать заблуждение московских правителей и тем заставлять их делать ложные шаги. Возможно, также, что покровители опасались каких-либо козней, например, подосланных убийц. Есть известие, что против ложного Димитрия совершено было несколько неудавшихся покушений; после чего поляки стали тщательно его оберегать. Как бы то ни было, Сапега ответил, что на такое следствие нужно не только разрешение короля, но и согласие сейма, до собрания которого и надобно отложить дело. Смирной так и уехал, не выдав Самозванца.

В Москве этот отказ истолковали как подтверждение своей догадки, что Самозванец есть Григорий Отрепьев и что его побоялись свести на очную ставку с собственным дядею. Сего последнего Борис, вместо обычной в подобных случаях опалы, стал, напротив, держать в чести как средство уличить Самозванца. Здесь не оставили без внимания отсрочку вопроса до ближайшего сейма, и спустя несколько месяцев, в январе следующего, 1605 года, когда собрался этот сейм в Варшаве, явился послом от Бориса дворянин Постник Огарев и представил королю грамоту, в которой, кроме разбора пограничных дел, царь жаловался на помощь Самозванцу и прямо требовал или казни, или выдачи дьякона-расстриги, принявшего на себя имя царевича Димитрия; причем излагалась история его бегства из Москвы.

На этом сейме между прочими делами обсуждалось и дело Самозванца; целая партия сенаторов (с Замойским во главе) шумела против помощи, ему оказанной, и против нарушения перемирия. Замойский прямо смеялся над рассказами о том, что в Угличе был убит другой мальчик, вместо царевича. «Помилуй Бог! — говорил он, — это комедия Плавта или Теренция, что ли? Вероятное ли дело: велеть кого убить, а потом не посмотреть, тот ли убит или кто другой. Если никто не смотрел, действительно ли убит и кто убит, то можно было подставить для этого козла или барана». Назначили целую комиссию из сенаторов для переговоров с Огаревым. Так как в этой комиссии участвовали коронный канцлер Ян Замойский, Януш Острожский и князь Збаражский, то Огарев мог надеяться на успех своего посольства. Но в той же комиссии, кроме епископа Войны и виленского каштеляна Ходкевича, участвовал и литовский канцлер Лев Сапега, который, конечно, не допустил до гибели дело рук своих. В конце концов Сапега, от имени короля, ответил Огареву, что Речь Посполитая не думала нарушать перемирие; что не король, а частные лица и особенно запорожские казаки помогают претенденту и что сей последний находится уже не в польских пределах, а в московских, где его пусть и ловит московское правительство.

Около того же времени, когда Самозванец уже вошел в московские пределы, царь Борис решил объявить всенародно об Отрепьеве. По его желанию патриарх разослал в епархии и монастыри грамоту, в которой излагалась все та же история Гришки и его бегства из Чудова монастыря с чернецами Варлаамом и Мисаилом в Литву, где его видели еще два московских инок Пимен и Венедикт, да третий посадский человек Степанко Иконник, которые показали о том при допросе на освященном соборе. В Литве — говорила грамота — Гришка уклонился в ересь и «по сатанинскому учению, по Вишневецких князей воровскому умышлению и по королевскому велению учил называться князем Димитрием». Патриарх извещал, что он со всем освященным собором предал расстригу Отрепьева вечному проклятию и повелевает его впредь везде проклинать. Послали также соборные грамоты к литовскому и польскому духовенству, и особую князю Константину Острожскому, с обличением Самозванца и увещанием действовать против него. Но это были запоздалые меры, принятые в разгар ошеломляющих успехов ложного Димитрия. Прежде нежели появились патриаршие послания, в Северной Украине уже распространились подметные грамоты от имени якобы спасенного царевича, которые призывали народ отложиться от Годунова, незаконно похитившего престол, и присягать своему законному государю. Крепкие заставы не помешали этим подметным грамотам; их провозили в мешках с хлебом, который тогда в большом количестве шел из Литвы в Московское государство по причине неурожаев в последнем. Не помогло также и всенародное на Лобном месте свидетельство князя Василия Шуйского о том, что истинный царевич Димитрий умер в Угличе и что он

сам был при его погребении. Народные умы при общем тогда недовольстве недоверчиво относились ко всем подобным увещаниям и свидетельствам и, наоборот, легко поддавались уверениям в спасении царевича. Волнение умов, как это бывает перед грозными событиями, еще более усиливалось разными странными явлениями, которые принимались как предзнаменования грядущих смут и бедствий. Так, по ночам видели огненные столпы на небе, сталкивавшиеся друг с другом; иногда вдруг показывались два, три солнца или две, три луны; страшные бури срывали верхи колоколен и городских ворот; слышался ужасный вой волков, которые большими стаями бродили по окрестностям Москвы; а в самой столице поймали несколько черно-бурых лисиц, забежавших из лесов. Особенно сильное впечатление произвело появление кометы весною 1604 года. Смущенный Борис обратился к одному иноземцу-астрологу и, посредством дьяка Афанасия Власьева, спрашивал его мнение об этом явлении. Тот будто бы ответил ему: «Тебе грозит великая опасность».

Первые, кто откликнулись на призыв Самозванца к вооруженной помощи ему, были донские и волжские казаки.

Около того времени, как нарочно, произошли у них столкновения с московским правительством. Выведенный из терпения их разбоями и нападениями на торговые волжские караваны, Борис начал принимать против них строгие меры и даже приходивших в какой-либо город по своим надобностям велел хватать и сажать в тюрьмы. В свою очередь, эти меры ожесточили казаков; они подняли явный бунт; между прочим, напали на царского родственника окольного Степана Годунова, плывшего в Астрахань, и разбили его конвой, так что сам он с трудом спасся бегством.

Руководители Самозванца хорошо знали сии обстоятельства, и посланные ими агенты нашли полное сочувствие у казаков; как мы видели, есть известие, что в числе этих агентов находился и Григорий Отрепьев; кроме того, к ним ездил шляхтич Свирский. Казаки стали собираться в поход, а наперед отправили для разведок несколько человек с двумя атаманами, Андреем Корелой и Михаилом Нежекожей. Эти казацкие уполномоченные застали Самозванца в Кракове. Видя, что его признают за истинного царевича с одной стороны король и некоторые вельможи, а с другой, разные собравшиеся около него русские беглецы, они, не долго думая, послали объявить войску, чтобы не сомневалось и шло на помощь названому Димитрию против ненавистного Бориса. Казаками в этом случае двигали, конечно, не столько убеждения в подлинности царевича, сколько его обещания щедрых наград и надежда на богатую добычу при взятии московских городов. В то же время и с таким же успехом агенты Самозванца или, точнее, его покровителей волновали казаков запорожских и подобными же обещаниями поджигали их идти с ним на Московское государство.

Нельзя сказать, чтобы производившаяся во Львове вербовка ратных людей шла быстро и успешно. А между тем львовские обыватели и окрестные жители уже начали тяготиться пребыванием у них буйной вольницы, которая обижала мирное население, и послали жалобу о том королю. Сигизмунд отправил коморника для принятия строгих мер; но так как сам он втайне покровительствовал предприятию Самозванца, то коморник сумел прибыть во Львов тогда, когда Лжедмитрий и Мнишек с набранною вольницею уже выступили в поход. Это произошло в половине августа 1604 года. Спустя недели две, отряды собрались в червоно-русском местечке Глиняны, где им произведен был смотр и дана окончательная организация. Тут насчитали всего 1100 всадников и 500 пехотинцев. Всадники, по польскому обычаю, устроены были в хоругви (эскадроны), заключающие в себе по несколько

сот коней. Одна из пяти образовавшихся хоругвей находилась под личным предводительством Самозванца; другою начальствовал молодой Мнишек (сын Юрия), староста Саноцкий. А старый воевода Сендомирский на рыцарском коле (офицерской сходке) провозглашен гетманом, т. е. общим предводителем всего войска. К 1600 польско-русской шляхты и посполства присоединилось некоторое количество московских перебежчиков, а затем и передовой отряд донских казаков в 2000 человек; так что всего войска набралось около 4000.

Казаки явились не с пустыми руками: они привезли с собою московского дворянина Петра Хрущова, который отправлен был к ним царем Борисом уговорить их, чтобы не приставали к названому царевичу, а служили бы ему, Борису. Схваченный ими и заключенный в оковы, Хрущов как только увидал Самозванца, так упал ему в ноги, якобы узнав в нем истинного царевича Димитрия. Самозванец освободил его от оков и стал расспрашивать о московских делах. Хрущов рассказывал: что подметные письма царевича производят большое смущение в народе и даже между знатными людьми; что многие готовы отстать от Бориса; что некоторые уже претерпели казнь, ибо пили за здоровье царевича; что Борис часто бывает болен, а одну ногу волочит так, как будто разбит параличом; что он сам ускорила кончину своей сестры вдовствующей царицы Ирины, которая будто бы не хотела благословить на царство его сына, и т. п. Особенно любопытно было следующее его сообщение. На пути из Москвы к Дону Хрущов встретился с воеводами Петром Шереметевым и Михайлом Салтыковым, которые были посланы с войском в Ливны для обороны от набега крымских татар. Приглашенный одним из воевод на обед, а другим на ужин, Хрущов сообщил им о своем поручении к донским казакам. Тогда Шереметев сказал, что теперь он догадывается об истине: под предлогом татар, их посылают против царевича. «Но, — будто бы прибавил он, — трудно будет воевать против прирожденного государя».

Из Глинян маленькое войско Самозванца двинулось по направлению к Киеву уже с разными воинскими предосторожностями, разделенное на отряды. В середине шли Самозванец и Юрий Мнишек с несколькими хоругвями, по левой стороне латные копейники или тяжелая гусарская конница, по правой менее тяжелая или так наз. «пятигорцы» и легкая конница или казаки; сторожевые посты впереди и назади войска держали казаки. Подобные предосторожности приняты были ввиду угроз краковского каштеляна князя Януша Острожского; он говорил, что не пропустит за границу государства толпу людей, вооружившихся самовольно и шедших нарушить мир с соседней державой. Януш, очевидно, действовал по соглашению с канцлером Яном Замойским, а также с киевским воеводою, т. е. своим престарелым отцом князем Константином. Так как в их распоряжении находилось несколько тысяч хорошего войска, то ополчение Самозванца очень боялось нападения, не спало по целым ночам и держало наготове коней. Юрий Мнишек в это время усиленно рассылал гонцов с просьбами и к Замойскому, что-бы он удержал Острожского, и к нунцию Рангони, чтобы тот повлиял на Замойского. Просьбы его были услышаны. А главным образом, конечно, подействовали тайные внушения короля, Льва Сапеги и других покровителей Самозванца. Он беспрепятственно достиг Днепра под Киевом. Только все лодки и паромы оказались угнанными по приказу князя Острожского, и это обстоятельство на несколько дней задержало переправу, пока собраны были перевозочные средства.

За Днепром войско Самозванца вскоре вступило в благодатные земли московской Северной Украины. Тут оно было усилено еще несколькими тысячами казаков, донских и

украинских, а также северских перебежчиков. Первая московская крепость, лежавшая на пути, был г. Моравск (древний Моравийск) на берегу Десны, снабженный пушками и обороняемый несколькими сотнями ратных людей. Для Самозванца наступила критическая минута: многое зависело от первой встречи, от первого препятствия; окажутся ли справедливыми донесения шпионов и клеветов о том, что украинское население с нетерпением ждет его как своего законного государя?

Действительность превзошла ожидания.

Подметные грамоты и тайные агенты так подготовили благодатную почву, что едва под стенами Моравска появился передовой казацкий отряд с требованием сдачи, как чернь, собравшись на сходку, решила покориться. Она связала воевод (Ладыгина и Безобразова), выдала их и присягнула на верность Димитрию. Самозванец с торжеством вступил в крепость. Отсюда он двинулся к Чернигову. То был довольно большой и хорошо укрепленный город. Точно так же подошел передовой двухтысячный отряд казаков и потребовал сдачи. Сначала ратные люди ответили пушечными выстрелами и многих убили; но чернь и здесь возмутилась и отворила городские ворота. Воевода князь Татев хотел было обороняться в замке; но когда казаки и чернь пошли на приступ, стрельцы связали воеводу и сдались. Казаки воспользовались оказанным, хотя и слабым, сопротивлением и принялись грабить город, как бы взятый ими с бою. Тщетно жители послали жалобу Самозванцу, а сей последний отрядил поляков с приказом оберегать граждан: пока они прибыли, казаки, как хищные коршуны, успели все разграбить и опустошить. Разгневанный Самозванец велел возратить жителям все пограбленное, грозя в противном случае ударить на казаков; но дело окончилось возвращением небольшой части добычи. В замке, однако, нашлось казны на несколько тысяч рублей, которые поступили в раздел между польскими хоругвями. Был уже конец октября месяца. Самозванец с своим войском отдыхал целую неделю в лагере под Черниговом; а затем лесным краем двинулся к следующей подесненской крепости, Новгороду-Северскому.

Тут ждала его первая неудача.

Лжедимитрию помогали, с одной стороны, шатость украинского северского населения, еще некрепкого Москве и тянувшего отчасти к Западной Руси, а с другой, вялость или прямые измены местных московских воевод, не любивших царя Бориса. Сей последний вздумал было переменить некоторых начальников, но слишком поздно, когда враг уже вошел в его землю. Так, в Чернигов он отправил боярина князя Никиту Трубецкого и окольного Петра Басманова. Они прибыли после сдачи Чернигова, а потому засели в Новгороде-Северском и начали готовить его к обороне. Тут выдвинулся своей энергией и знанием военного дела второй воевода, Басманов, который сделался действительным начальником. Этот Басманов был сын Федора, когда-то любимца Ивана Грозного, и брат воеводы, погибшего в битве с разбойником Хлопкою. Он показал, что мог сделать даже один решительный и храбрый человек, несмотря на окружавшие шатость и колебание. Басманов выжег посады, а жителей перевел в замок, который имел более 500 стрельцов гарнизона и вооружен был тяжелыми орудиями. Посланные вперед для переговоров поляки и русские изменники пытались склонить ратных людей к сдаче якобы законному государю. Басманов, сам стоя на стене с зажженным фитилем подле пушки, отвечал, что их государь и великий князь Борис Федорович находится в Москве, а что пришедший с поляками есть вор и обманщик. Лжедимитрий велел копать траншеи и плести туры, за которыми поставил несколько бывших у него легких полевых орудий, и открыл пальбу по городу. В то же время

его польские гусары или латники сошли с коней и двинулись на приступ; но, встреченные дружным огнем из пушек и пищалей, отступили. Поляки вздумали сделать ночной приступ; они тихо подошли к крепости, прикрываясь дощатыми забралами на катках; за ними шло 300 человек с приметом, т. е. соломою и хворостом, чтобы зажечь деревянные стены. Но русские вовремя заметили опасность и усиленною пальбою из своих орудий вновь отбили неприятелей; последние отступили с большим уроном. Лжедмитрий пришел в уныние и начал роптать на поляков, говоря, что он имел лучшее мнение об их мужестве. Задетое за живое этим упреком рыцарство кричало, чтобы он не порочил польской славы и что он увидит польскую доблесть, когда придется встретить неприятеля в открытом поле, да и крепость не устоит: пусть только сделает пролом в стене.

Среди таких пререканий вдруг начали приходить хорошие вести в лагерь Самозванца.

Его шпионы и клеветы, разосланные с новыми увещательными грамотами, действовали успешно. Северщина продолжала волноваться и явно переходить на его сторону. Почти все Посемье разом отложилось от Бориса. Сначала поддались Самозванцу жители Путивля, возмущенные вторым воеводою, князем Масальским; а первого воеводу, Салтыкова, привели связанным в лагерь под Новгород. Дня через два явились с покорностью из Рыльска, потом из Курска, Севска и всей Комарицкой волости; поддались Кромы. Обыкновенно посланцы этих городов приводили с собою связанных воевод, которые затем большею частию вступали в службу Самозванца. За ними покорились украинные места Белгород, Оскол, Валуйки, Ливны, Борисов и некоторые другие. Призванные из покоренных городов вооруженные отряды усилили войско Самозванца. Из Путивля привезли несколько тяжелых орудий, стали ими громить Новгород-Северский; последнему приходилось плохо; начались перебежки к неприятелю. Басманов не унывал; он отстреливался, вступал в переговоры, требовал двухнедельного срока для сдачи крепости; а сам ждал выручки от царской рати. Эта рать давно уже стояла под Брянском, но ничего не предпринимала. Она была небольшая, трехполковая; главный ее воевода князь Димитрий Иванович Шуйский не решался двинуться с места и требовал подкреплений.

А в Москве меж тем занимались сочинением увещательных грамот, проклинанием Гришки Отрепьева, отправкою гонцов в соседние страны и т. п. Наконец, уже ввиду грозных успехов Самозванца, Борис принялся за решительные военные меры. По областям разосланы указы о скорейшем сборе служилых людей, под угрозой всяких наказаний и лишения имений ослушникам. С каждых 200 четвертей пахотной земли приказано было помещикам и вотчинникам выставлять ратника с конем, доспехом и запасом. Та же мера распространена была на имущества патриарха, митрополитов, архиепископов, епископов и монастырей, т. е. все они должны были выслать вооруженных людей сообразно с количеством своей земли. Но тут ясно сказалось, как упало ратное дело в царствование миролюбивого Бориса Годунова, особенно после страшного голода и других бедствий его времени. При всех стараниях и угрозах, под Брянском успели собрать только от 40 до 50 тысяч войска, которое разделили на пять полков. Назначенный главным воеводою князь Федор Иванович Мстиславский наконец двинул это наскоро собранное, нестройное ополчение на выручку Новгорода-Северского. К Самозванцу меж тем успело прийти еще несколько вновь сформированных отрядов из Польши и Литвы, куда он отправил значительную царскую казну, как говорят, везенную в северские города московскими купцами в медовых бочках и перехваченную им на дороге. Когда царская рать приблизилась, Самозванец вывел свое войско из лагеря и, отрядив часть казаков против Басманова, сам смело выступил навстречу

москвитянам, 21 декабря 1604 года. По некоторому известию, он произнес ободряющую, витиеватую речь к войску. Сначала битва была нерешительна; но рядом стремительных атак несколько гусарских хоругвей сломили наше правое крыло, предводимое князьями Димитрием Шуйским и Михаилом Кашиным; левое крыло обрушилось на центр и произвело замешательство. Тщетно Мстиславский пытался удержать бегущих и восстановить порядок; израненный, он упал с коня и едва был спасен от плена стрелецкою дружиною. Лжедимитрий, по неопытности своей, пропустил минуту, чтобы ударить всеми силами. Поэтому победа его была нерешительная, хотя поляки и хвастали, что при малой своей потере побили до 4000 москвитян. Царская рать отошла к Стародубу-Северскому и стала ожидать там новых подкреплений.

Вскоре после битвы к Самозванцу явились давно ожидаемые им запорожцы, и в большом числе. Но вслед за тем он лишился главной своей опоры: польско-литовских дружин. Наступила зима; дружины эти терпели от стужи и всяких неудобств. Они с ужасом увидели, что дело принимает серьезный оборот; триумфальное шествие вдруг прекратилось; приходилось осаждать крепкие города и давать отчаянные битвы. А тут еще, вместо богатой добычи, названный Димитрий не платил им и условленного жалованья. Последнее обстоятельство и послужило поводом к разрыву. Рыцарство потребовало уплаты, иначе грозило уйти назад; Самозванец находился в затруднении, имея для того слишком мало денег. На беду хоругвь пана Фредра склонила его тайком уплатить только ей одной: она не двинется, и другие роты, по ее примеру, тоже останутся. Вышло наоборот: другие роты, узнав об этой проделке, взбунтовались. Самозванца бранили позорными словами, даже сорвали с него соболью ферязь, которую русские выкупили потом за 300 золотых. Напрасно он ездил от одной хоругви к другой и умолял не оставлять его. Они ушли; только по несколько человек от каждой остались. Вместе с хоругвями поехал обратно и нареченный их гетман Юрий Мнишек. Последние события, очевидно, смутили его, и он начал сомневаться в успехе; притом военные труды и лишения очень не по сердцу пришлись старому подагрику; он решил вовремя убраться восвояси. Благовидным предлогом к тому послужило присланное от короля повеление возвратиться всем полякам в отечество. Такое послание дано было вследствие посольства Постника Огарева для отклонения от польского правительства обвинения в соучастии с Самозванцем, и, конечно, все понимали, что это только формальность. Тем не менее Мнишек им воспользовался. Клевреты Лжедимитрия, однако, уговорили еще часть поляков воротиться к нему с дороги; так что при нем осталось их до 1500 человек. Главная сила его войска теперь заключалась в казаках, преимущественно запорожцах. Если верить некоторым известиям, последних собралось около него до двенадцати тысяч; из них восемь конных, остальные пешие; они привезли с собою 12 исправных пушек. Самозванец снял осаду Новгорода-Северского и отвел свое войско на отдых в Комарицкую волость, обильную хлебом, медом и всякими съестными припасами; сам он засел в ее главном пункте, в укрепленном Севске. Гетманом на место уехавшего Мнишка был назначен Адам Дворжицкий.

Борис только стороною узнал о неудачной битве под Новгородом-Северским и послал изъявить воеводам свое неудовольствие; Мстиславскому, однако, велел передать свое милостивое слово и отправил одного из придворных врачей для лечения его ран. С новыми подкреплениями к нему царь прислал князя Василия Ивановича Шуйского, никогда не отличавшегося военными талантами; хотя Шуйскому велено быть вторым воеводою, но, за болезнь Мстиславского, ему на первых порах пришлось играть роль главного начальника.

С прибытием подкреплений численность царской рати возросла приблизительно до 60 тысяч. От Стародуба воеводы двинулись к Севску. Лжедмитрий, с своей стороны, выступил им навстречу. У него было от 15 до 20 тысяч. После нескольких схваток между передовыми отрядами главная битва произошла приблизительно 20 января у деревни Добрыничи, недалеко от Севска, на реке Севе. Самозванец разделил свое войско на три части: сам стал во главе гусарской и русской конницы; второй отряд составили 8000 конных запорожцев, а третий — 4000 пеших казаков, которые с орудиями поставлены в резерве. Сидя на карем аргамаке, Лжедмитрий обнажил палаш и поскакал с своим отрядом; стремительным ударом он опрокинул одно крыло москвитян; потом повернул на главную рать, на которую запорожцы скакали с другой стороны. Ядро этой рати составляли стрельцы, т. е. лучшая часть царского войска. Они выставили впереди себя сани с сеном и, выждав приближение неприятельской конницы, из-за этого подвижного укрепления дали по ней дружный залп, который дымом своим покрыл поле битвы. Громкий залп и густой дым привели нападающих в замешательство; а запорожцы дрогнули и обратились в бегство. Оставшись без поддержки, поляки тоже повернули назад коней. Москвитяне преследовали разбитого неприятеля; тут встретила их казацкая пехота с орудиями; она почти вся погибла; но мужественным сопротивлением дала время Лжедмитрию спастись с остатками своей дружины. Он ускакал в Рыльск; а оттуда удалился в Путивль. С отчаяния он даже хотел бежать в Польшу; но, по русским известиям, путивляне удержали его; ибо не ждали никакой пощады со стороны Бориса. Они имели перед собою пример Комарицкой волости, где после Добрыничей царское войско, вместо усердного преследования неприятеля, встало и принялось казнить жителей за их измену, насиловать женщин, жечь дворы и гумна; чем возбудило в северском населении еще большую ненависть к Борису. Затем оно двинулось к Рыльску; но Самозванца здесь уже не было; а рыльщане успели получить от него подкрепление и приготовиться к обороне. Царская рать, постояв недели две под Рыльском и ничего не сделав, двинулась назад по ложному слуху о приближении сильного войска из Польши. Она снова расположилась в Комарицкой волости и снова начала свирепствовать над ее жителями.

С известием о победе под Добрыничами, с пленными поляками и отбитыми знаменами отправлен был молодой дворянин Михаил Борисович Шеин (впоследствии знаменитый смоленский воевода). Годунов очень обрадовался, велел звонить в колокола, петь благодарственные молебны, торжественно показывать народу пленных и трофеи; Шеина наградили званием окольного воеводы, воеводам послал в награду золотые, а простым ратникам велел раздать 10 000 рублей. Особенно щедро одарил он двух предводителей наемной немецкой дружины, Розена и Маржерета, отличившихся в той же битве. Но вскоре пришло известие, что победоносное войско упустило из своих рук Самозванца и что последний вновь усиливается. Царь очень огорчился и послал воеводам строгий выговор. Бояре, в свою очередь, оскорбились, и, по словам русской летописи, «с той поры многие начали думать, как бы царя Бориса избыти». А Годунов делал один промах за другим. В такую трудную пору, когда на театре военных действий нужнее всего были люди энергичные и решительные, он вздумал особенно наградить Басманова за его мужественное поведение; для чего вызвал его (и князя Трубецкого) в Москву, устроил ему пышную встречу, пожаловал саном боярина, хорошим поместьем, деньгами, дорогими сосудами; между прочим, подарил ему золотое блюдо, наполненное червонцами. Мало того, если верить иностранному свидетельству, когда дела снова приняли дурной оборот, он призвал к себе Басманова и,

увещевая продолжать верную службу, обещал за уничтожение Самозванца отдать ему руку своей дочери Ксении, а в приданое за ней царства Казанское и Астраханское. Едва ли, однако, Басманов вполне поверил сему; ибо то же самое обещание дано было и князю Мстиславскому, когда Борис отправлял его против Лжедмитрия. Но, главное, осыпая Басманова милостями, царь держал его в Москве в самое нужное время и даже не пользовался его советами, а продолжал слушать наветы и внушения своего родственника и самого доверенного человека Семена Годунова, ненавистного народу исполнителя тайных казней.

Меж тем главные воеводы, Мстиславский и Шуйский, получив строгий выговор за бездействие, покинули Комарицкую волость и двинулись на соединение с Федором Ивановичем Шереметевым, который осаждал Кромь. Тут в московской рати явно обнаружились нелюбовь к Борису и шатость умов, которые мешали всякому решительному успеху. Ничтожный городок, обороняемый жителями и несколькими стами донских казаков, около двух месяцев сопротивлялся сравнительно огромному войску и отбивал все его приступы. Современники удивлялись подвигам казачьего атамана Корелы и выставляли его каким-то колдуном. Но его удачная оборона более объясняется нерадением осаждавших воевод. Так четырехтысячное подкрепление, состоявшее из донских казаков и русских изменников, сумело пробраться в город мимо лагеря осаждающих. Измена уже гнездилась в царской рати. Последняя сделала приступ и сожгла деревянные стены Кром, так что город был почти взят; осажденные удалились в острог и там продолжали отстреливаться. Но тут один из воевод, Михаил Глебович Салтыков, не спросясь главных начальников, вдруг велел отступить ратникам, уже стоявшим на городском валу. Такой изменнический поступок его Мстиславский и Шуйский оставили безнаказанным. После того осажденные снова заняли вал; казаки стали копать под ним землянки, в которых укрывались от огня осаждавших; а по временам делали удачные вылазки. Воеводы не предпринимали более ничего решительного, ограничиваясь обложением и ожидая сдачи кромлян от голода. Был Великий пост; наступило таяние снегов; время стояло сырое; в царском войске, терпевшем лишения и всякие неудобства, открылись болезни; особенно свирепствовал понос. Эти бедствия еще более способствовали его бездействию и упадку духа. Борис прислал своих врачей с лекарствами, благодаря которым болезни стали уменьшаться.

Затянувшаяся осада Кром дала Самозванцу возможность вполне оправиться от своего поражения под Добрыничами и выжидать благоприятного момента.

Пребывая в хорошо укрепленном Путивле, он деятельно занимался набором и устройством своего войска. Поляки после поражения снова хотели его покинуть и уже двинулись на родину; но некоторые польские его клеветы отправились за ними и упростили их большею частью воротиться. Из них было опять сформировано несколько хоругвей. В то же время, по совету некоторых русских изменников, Лжедмитрий с особым усердием занимался рассылкою своих грамот или манифестов, в которых снова рассказывал басню о своем спасении в Угличе и убеждал народ, особенно ратных людей, служить ему как своему законному государю. Грамоты сии не остались без последствий: передавшиеся украинские города пребыли ему верны, а некоторые вновь перешли на его сторону, так что в его руках находилось до 18 городов. Из них многие ратные люди откликнулись на призыв и собрались под его знаменами. Между прочим, из Царьборисова пришло 500 стрельцов в своих красных кафтанах. Прибыли также новые дружины донцов и терских казаков или собственных пятигорцев. Для вящего убеждения русских людей в том, что Борис ложно назвал его

расстригою Гришкою Отрепьевым, Самозванец призвал в Путивль настоящего Григория Отрепьева и показывал его народу.

С своей стороны Годунов продолжал бороться против Самозванца грамотами и тайными кознями. Так в Путивль явились три монаха, которые имели при себе увещательные к народу и духовенству письма от царя и патриарха. Царь требовал, чтобы путивляне взяли обманщика живым или мертвым и отправили в Москву, если хотят заслужить прощение; а патриарх предавал проклятию ослушников и изменников. Но монахи были схвачены, представлены Лжедмитрию и подвергнуты пытке. Один из них не выдержал мучений и, если верить иноземному свидетельству, открыл, что в сапоге его товарища спрятан страшный яд и что двое из русских знатных людей, окружавших названного Дмитрия, уже вошли в заговор о его отравлении. Эти двое заговорщиков будто бы потом сами сознались в своем умысле и были выданы гражданам Путивля, которые, привязав их к столбу, расстреляли из луков и пищалей. Сознавшийся монах помилован, а товарищи его брошены в тюрьму.

В Путивле Лжедмитрий, при всех военных заботах и занятиях, имел много праздного времени, которое он задумал употребить с пользою. Когда он выступал в поход из Самбора, то просил иезуитского провинциала в Польше и Литве дать ему двух патеров для совершения церковных треб в польском отделе его ополчения. Тот отрядил из ближней к Самбору Ярославской коллегии иезуитов Николая Чировского и Андрея Лавицкого, которые во время похода ревностно отправляли католическое богослужение в особой палатке и исполняли разные требы при войске. И вот в Путивле весною 1605 года Лжедмитрий вдруг призывает обоих патеров и, в присутствии трех русских бояр, высказывает свое горячее желание заняться с ними школьным учением. По его словам, наилучшее достоинство государя составляют две вещи: знание военного искусства и основательное знакомство с науками. Иезуиты возражали, указывая на неудобное время и на ожидавшие его трудности при изучении основных элементов древнего языка. Самозванец настаивал и назначил следующий день для начала. Патеры явились в условленный час; причем Лавицкий держал том Квинтильяна, который успел достать у какого-то польского воина. Самозванец взял книгу и, повертев ее в руках, просил что-нибудь прочесть, перевести и объяснить. Ему отвечали, что так вдруг нельзя, а надобно сначала заняться предварительным учением. Решили, что Чировский каждое утро будет преподавать ему один час философию, а Лавицкий столько же времени будет учить его после обеда риторике. И Лжедмитрий целых три дня усердно предавался сим занятиям, в присутствии некоторых русских и поляков из своей свиты; причем удивлял своих учителей острою памятью и быстрым пониманием. Но затем, очевидно, у него не хватило терпения. Под предлогом каких-то возникших по сему поводу и невыгодных для него толков, он отложил учебные занятия до другого времени и потом более к ним не возвращался. Вместо сих занятий, он нередко беседовал с иезуитами о том, как, воцарясь в Москве, немедленно начнет заводить школы, коллегии и академии, в которых наставники, конечно, будут набираться по преимуществу из них же, т. е. иезуитов. А между тем Самозванец пользовался их услугами для сочинения латинских писем, которые посылал нунцию Рангони и кардиналу-епископу Мацеевскому. Пример его, однако, не остался без подражателей: если верить тем же патерам, некоторые из русских приходили к ним и просили научить их читать и писать по-латыни; в числе таких желающих учиться был и один русский священник.

Вынужденное бездействие и выжидательная роль начали уже тяготить Самозванца и

окружавших его, как вдруг в Путивле получено было известие о внезапной кончине Бориса Годунова. После того события пошли ускоренным ходом.

ЛЖЕДИМИТРИЙ I НА МОСКОВСКОМ ПРЕСТОЛЕ

Несмотря на свои нестарые годы, Борис уже страдал разными недугами; по некоторым известиям у него была сильная подагра, а по другим и водяная. Тяжелые заботы и огорчения, испытанные после появления Самозванца, окончательно подорвали его здоровье. Вопреки неограниченной власти и могуществу, он видел свое бессилие справиться с этим страшным призраком, видел постоянные крамолы, неохоту воевод сражаться за него и даже прямую измену. Недостойное поведение их под Кромами и новое усиление Самозванца, без сомнения, терзали его душу и не давали ему покою, хотя наружно он старался сохранять вид бодрости и спокойствия. 13 апреля, после торжественного приема иноземных послов (датских), Борис угощал их в Золотой палате; но едва встал из-за стола, как у него открылось сильнейшее кровотечение из носу, рта и ушей. Тщетно врачи пытались остановить кровь. Через два часа он скончался, едва успев постричься в иноки с именем Боголепа. Такая внезапная кончина, естественно, не осталась без разных толков и догадок; прошел слух, повторенный и некоторыми иностранцами, будто Годунов принял яду — слух по всем признакам недостоверный.

Борис умер 53 лет от роду, после царствования, продолжавшегося с небольшим семь лет. Хотя сам он, как говорят, будто бы не умел ни читать, ни писать, тем не менее оказывал большое уважение к образованию вообще и особенно заботился о книжном учении своего сына Феодора. Для себя лично недостаток грамотности он восполнял своею опытностью, огромною памятью и другими умственными дарованиями. Но печальные, смущавшие его обстоятельства царствования не дозволили ему вполне развернуть свои выдающиеся правительственные способности. А подозрительность и доступность злым наветам своей жены и родственника Семена Годунова сделали из него тирана и лишили его народного расположения. Поэтому кончина его была встречена в Москве с явным равнодушием. На следующий день его погребли в Архангельском соборе; а народ начали приводить к присяге на верность новому царю, шестнадцати летнему Федору Борисовичу, вместе с его матерью Марьей Григорьевной и сестрой Ксенией Борисовной. Разослали гонцов по городам с присяжными листами, по которым служилые люди, между прочим, давали клятву никого иного не хотеть на государство Московское, ни Симеона Бекбулатовича, ни того вора, который называет себя князем Димитрием Углицким.

Новый государь Федор Борисович вместе с цветущей, красивой наружностью, по словам современников, соединял и ум, и доброе сердце, и значительные книжные сведения; но, при крайней молодости и неопытности, ему недоставало главного: мужества и энергии. Тщательно воспитывая сына, Борис совсем упустил из виду обстоятельства времени. В спокойную эпоху, при упроченном престолонаследии, из юного Феодора мог выйти хороший правитель, подающий подданным пример добрых семейных нравов; но теперь более всего требовались решительность и воинская отвага. Вместо того, чтобы сесть на коня и, окружив себя опытными воеводами, явиться во главе царской рати, Федор Борисович неподвижно оставался в кремлевских палатах, продолжая оказывать сыновнее повиновение своей матери. Марья Григорьевна и сделалась собственно правительницею государства, не имея к тому никаких способностей и пользуясь недоброю славою в народе. Вместо энергичных мер новое правительство занималось исполнением старых обычаев; например, раздавало щедрую милостыню на помин о царе Борисе и заставляло служить панихиды во всех монастырях; а относительно борьбы со Лжедимитрием семья Годуновых всю надежду

свою возложила на одного человека: на Петра Басманова. Его наконец отправили начальствовать войском, осаждавшим Кромы, взяв с него клятву, что он будет служить Феодору так же верно, как служил его отцу. Однако и в этом случае поступили согласно старому обычаю: чтобы не нарушать местнических счетов, Басманов назначен был собственно товарищем воеводы большого полку; а титул этого воеводы дан князю Михаилу Петровичу Катыреву-Ростовскому, человеку знатному родом, но незначительному по способностям и характеру. Ф.И. Мстиславский и оба брата Шуйские отозваны в Москву, под предлогом занять первые места в Боярской думе, чтобы помогать юному государю своими советами.

Вместе с Басмановым и Катыревым-Ростовским отправлен был новгородский митрополит Исидор, чтобы привести ратных людей к присяге. От рати зависела теперь судьба царствующего дома, и Годуновы с беспокойством ожидали от него вестей. Ратные люди беспрепятственно присягнули, хотя и с неравным состоянием духа: одни печалились о смерти Бориса, другие ей радовались. Митрополит Исидор воротился в Москву с доброю вестью об учиненной присяге. Но скоро пришли известия другого рода.

Трудно сказать, что, собственно, побудило Басманова к измене. Вероятнее всего, на него подействовали с одной стороны та шатость в умах и тот дух розни, которые он нашел в войске, а с другой — народное нерасположение к Годуновым и правительственная их неспособность, которую он близко видел в Москве; таким образом он мог уже заранее считать их дело проигранным. Вероятно, и личное его честолюбие не надеялось добиться первой роли в государстве, имея перед собою целую лестницу местнических счетов с знатнейшими боярами и целую толпу Годуновской родни. К тому же недалёковидные правители, отозвав из войска честного Мстиславского и братьев Шуйских, оставили при нем самых ненадежных воевод, каковы два брата князя Голицыны, крайне нерасположенные к Годуновым, и уже явно изменявший им Михаил Глебович Салтыков. Эти воеводы своими внушениями, кажется, повлияли на решимость Басманова и вошли с ним в тайное соглашение или просто в заговор, чтобы действовать в пользу Самозванца. Кроме сих главных лиц, в войске оказалось немало и второстепенных начальников, не скрывавших своей ненависти к Годуновской семье и принявших участие в заговоре. Среди сих последних особенно выдавались братья Ляпуновы, стоявшие во главе рязанских дворян и детей боярских. Но заговорщики пока скрывали свой замысел, потому что было много и приверженцев царствующего дома; а в числе воевод под Кромами находился один из Годуновых, Иван. Опасались они также четырехтысячного наемного отряда, состоявшего из иноземцев, большею частью немцев, которые доселе верно служили царю.

Получив радостные вести о смерти Бориса и колебании войска, Лжедмитрий все еще не решался лично выступить из Путивля; а отправил только передовой отряд из трех польских хоругвей и трехтысячной русской дружины, под начальством поляка Запорского, на помощь Кромам. Приблизясь к городу, Запорский, по некоторым иностранным известиям, употребил обычную тогда хитрость: он послал одного московского переметчика с письмом к осажденным; а в этом письме от имени названного Димитрия извещал о прибытии к нему 40 000 вспомогательного польского войска и скором своем пришествии. Посланный намеренно попался в плен и представил русским воеводам означенное письмо, которое и произвело большое смущение; оно еще более усилилось, когда в лагерь прибежал сторожевой русский отряд, разбитый Запорским. По-видимому, Басманов и его единомышленники воспользовались именно этими обстоятельствами, чтобы исполнить

свой замысел. Они склонили на свою сторону начальника иноземцев лифляндца фон Розена. Он первый с своею дружиною перешел из лагеря на другую сторону реки Кромы и выстроился там в боевой порядок. За ним двинулись те полки, которые уже были подготовлены заговорщиками. Тогда Басманов, став посреди моста, обратился к остальному войску и призывал его идти на службу своему прирожденному государю Димитрию Ивановичу. В лагере произошли чрезвычайное смятение и беспорядок: одни бежали за реку и присоединялись к изменившим полкам; другие хотели оставаться верными присяге; произошла страшная сумятица, сопровождавшаяся междоусобной сечей. При возникшей давке на мосту сей последний обрушился; отчего смятение еще увеличилось. В это время Корела с своими казаками вышел из крепости и ударил на часть войска, верную Годуновым. Она рассеялась в бегстве. Иван Годунов и другие упорствующие воеводы были перевязаны. (Князь Василий Голицын сам велел себя связать.) Некоторые воеводы, не хотевшие изменять, в том числе Катырев-Ростовский и князь Телятевский, с небольшим числом ратных людей успели отступить и ушли в Москву.

Так окончилась трехмесячная жалкая осада Кром, и дело Самозванца окончательно восторжествовало.

Гонцы от Запорского известили Лжедмитрия о счастливом для него событии. А от царского войска прибыла к нему депутация, имевшая во главе князя Ивана Голицына, «с объявлением подданства и послушания». В половине мая он выступил из Путивля под Кромы, встречаемый по дороге перешедшими на его сторону воеводами (Голицын, Салтыков, Басманов, Шереметев) и другими знатными людьми с изъявлениями своей покорности. Обещая им свои милости, он, однако, еще не совсем доверял русской рати, ожидавшей его под Кромами, и значительную часть служилых людей на время распустил по домам; а с остальными направился к Москве через Орел, Тулу и Серпухов. Попутные города уже не сопротивлялись, а встречали его как своего государя. Однако он продолжал соблюдать осторожность и на стоянках обыкновенно располагался с своими польскими отрядами в некотором отдалении от русского лагеря, окружая себя усиленной стражей. В то же время он усердно рассылал на север и восток свои грамоты к русскому народу с известиями о своем воцарении и обещаниями разных льгот и милостей тем, которые окажут ему преданность, и угрожал своим гневом непокорным.

В столице господствовала совершенная растерянность после того, как пришла весть об измене войска и явились из него беглецы. Думные бояре большею частию замыслили измену и вели себя двусмысленно; а Годуновы и их клеветы пытались мерами строгости поддержать повиновение; так они перехватывали людей, приезжавших с грамотами от Лжедмитрия, и подвергали их истязаниям. Чернь сохраняла еще наружное спокойствие; но купцы и вообще состоятельные граждане не доверяли этому спокойствию и заблаговременно старались припрятать деньги, дорогие вещи и товары в подпольях, по монастырям и в других безопасных местах, опасаясь всеобщего грабежа в случае народного бунта. Правительство, между прочим, попыталось привести столицу в оборонительное состояние и приказало подвозить орудия к городским стенам и валам. Но эти воинственные приготовления шли очень вяло и возбуждали насмешки среди черни. Сия последняя ожидала только внешнего толчка, чтобы выступить на сцену действия.

Такой толчок был дан прибытием двух дворян, Пушкина и Плещеева, которых Лжедмитрий послал из Тулы с своею грамотою. Эти посланцы избегли участи своих предшественников; они явились не прямо в столицу, а сначала в подмосковную слободу

Красное Село, обитаемую торговым и ремесленным людом. Возмущенные их речами и грамотою, красносельцы большою шумною толпою отправились с ними к Лобному месту. Тщетно Годуновы высылали военных людей, чтобы остановить и рассеять толпу; по дороге она росла как лавина и наконец запрудила Красную площадь. Плещеев и Пушкин взошли на помост Лобного места и оттуда читали грамоту, обращенную к московским боярам, дворянам, приказным и торговым людям. В этой грамоте ложный Димитрий, именуя себя великим государем и царским величеством, напоминал присягу, данную Ивану IV и его чадам; затем повторял басню о своем спасении в Угличе, говорил о захвате престола Борисом Годуновым, «не ставил в вину» служилым людям то, что они доселе стояли против своего прирожденного государя по неведению, «бояся казни»; теперь же приказывал им, «помня Бога и православную веру», прислать к нему с челобитьем архиереев, бояр, гостей и лучших людей; за что обещал служилых жаловать вотчинами, а гостям и торговым людям учинить облегчение в пошлях и податях. В противном случае грозил праведным судом Божиим и своей царской опалой. В той же грамоте Самозванец говорил о многих ратях, русских, литовских и татарских, с которыми шел к Москве, о том, что города московские и поволжские уже добились ему челом, что ногаи предлагали прийти к нему на помощь, но он отказался, «не хотя видети разорение в христианстве». Очевидно, грамота была составлена людьми умелыми и опытными, так что затрагивала почти все важнейшие струны народного чувства.

Когда окончилось чтение, в народе поднялись крики и произошло величайшее смятение. Тщетно пришедшие из дворца бояре пытались его успокоить; их голоса терялись в общем шуме. «Буди здрав царь Димитрий Иванович!», «Долой Годуновых!» — кричали вожаки. Мятеж разразился с неудержимою силою. Толпа бросилась в Кремль, оттеснила стрелецкую стражу и ворвалась в царский дворец. Федора Борисовича с матерью и сестрою схватили, посадили на простую телегу и отвезли в их прежний боярский дом. Затем начался неистовый грабеж в домах Годуновых, их родственников Сабуровых, Вельяминовых и всех их известных приверженцев; досталось при этом и многим другим зажиточным людям; особенно пострадали придворные немецкие врачи. Рассказывают, что когда чернь хотела проникнуть в царские погреба, изобильно снабженные разными винами и напитками, Богдан Бельский, один из немногих опальных бояр, возвращенных Федором Борисовичем из ссылки, остановил толпу, сказав, что нечем будет угощать царя Димитрия Ивановича и его ближних, и указал ей на погреба немецких докторов Бориса, бывших его главными советниками и наушниками. Чернь послушалась и бросилась грабить дома ненавистных ей докторов, так что эти разбогатевшие люди в один миг лишились всего движимого имущества и сделались почти нищими. Из разбитых погребов выкатывали бочки с вином, и работали около них так усердно, что, по иностранным известиям, в этот день от 50 до 100 человек опились до смерти. Годуновы, их родственники и свойственники взяты под стражу и отданы за приставы.

В следующие дни от московских всяких чинов людей составлена была повинная грамота, приглашавшая названного Димитрия прибыть в Москву и занять прародительский престол.

Лжедимитрий, однако, замедлил свое пребывание в Туле. Прежде вступления в столицу он хотел по возможности обеспечить за собой признание всем государством; для чего продолжал рассылать по городам известительные грамоты о своем восшествии на прародительский престол, прилагая к ним форму присяги, которую жители должны были ему приносить. Меж тем в Тулу на поклон новому царю приехали из Москвы

первостатейные бояре, в том числе Мстиславский и братья Шуйские; а с Дона на службу к нему пришла новая толпа казаков. Самозванец начал вести себя как бы истинный государь, уверенный в своем неоспоримом праве: он принял казаков ласковее и допустил их к своей руке, прежде чем бояр, за то, что первые гораздо ранее последних признали его царевичем и оказали ему помощь.

Была и еще причина, почему Лжедмитрий медлил своим прибытием в столицу. Федор Борисович, хотя сверженный с престола и лишенный свободы, был еще жив и при случае мог послужить предметом движения со стороны Годуновских приверженцев. А во главе духовенства стоял еще патриарх Иов, заявивший себя столь ревностным поборником сверженной династии. Поэтому в Москву отправились из Тулы с тайными приказаниями два князя, Василий Голицын и Рубец Мосальский. По прибытии их прежде всего был насильно сведен с патриаршего престола Иов и отправлен в старицкий Богородицкий монастырь. На его место назначен рязанский архиепископ Игнатий, родом грек, который прежде других архиереев признал Самозванца и явился к нему на поклон. Годуновых, их родственников и свойственников из Москвы разослали в заточение по разным городам. Ненавистного народу Семена Годунова посадили в Переяславскую тюрьму и там его уморили. В заключение покончили с юным Федором Борисовичем и его матерью. В их дом явились некие Молчанов и Шерефединов с тремя дюжими стрельцами. Марью Григорьевну задушили без труда; но Федор Борисович оказал отчаянное сопротивление, прежде чем его убили. Красавицу Ксению сохранили в живых — для гнусной потехи Самозванца. Народу объявили, что бывшая царица Марья и ее сын сами лишили себя жизни посредством отрав. Прах царя Бориса вынули из Архангельского собора и погребли в Варсонофьевском монастыре, что на Сретенке; подле него положили тела жены и сына.

Спустя дней десять после этой трагедии, 20 июня 1605 года совершилось торжественное вступление Лжедмитрия в столицу. Стояла прекрасная летняя погода. Шествие открывали польские хоругви; их тщательно вычищенные латы и оружие ярко блистали на солнце; трубачи и барабанщики потрясали воздух звуками своих инструментов. За ними шли попарно русские стрельцы; ехали нарядные царские кареты, запряженные шестерней, и вели лучших царских коней. Потом следовали: конный отряд боярских детей в праздничных кафтанах, сопровождаемый громом бубнов и набатов, и духовенство в светлых ризах с хоругвями, образами и евангелиями, имея во главе нареченного патриарха Игнатия. Лжедмитрий ехал верхом на статном коне в золотом кафтане, окруженный боярами и окольными. Шествие замыкали отряды казаков, татар и опять поляков. Все московское и окрестное население радостными кликами приветствовало того, кого оно в простоте сердца считало истинным сыном Ивана Грозного и называло своим ясным солнышком. Не только улицы и площади были полны народом; он теснился на кровлях домов и даже церквей. Самозванец приветливо кланялся на обе стороны. Вступление его в столицу, однако, не обошлось без некоторых случайностей. Так, когда он ехал по мосту, наведенному через Москву-реку от Стрелецкой Слободы в Китай-город, вдруг поднялся вихрь с такою пылью, которая заслепила глаза, и это явление некоторыми было принято за дурное предзнаменование. Не понравилось многим истым москвичам и то обстоятельство, что на Лобном месте, где духовенство встретило нового царя с образами и церковным пением, польские трубачи и литаврщики своими инструментами заглушали это пение; а потом, когда он сошел с коня и стал обходить кремлевские соборы, туда следовали за ним пестрою беспорядочною толпою всякие иноземцы его свиты, поляки, немцы, угры. В Архангельском

соборе, искусившийся в лицемерии, Самозванец припал ко гробу своего мнимого отца и сказал несколько трогательных слов, проливая слезы. Наконец он вступил в царский дворец. Мнимый его бывший дядька Богдан Бельский вышел на Лобное место. Обратясь к народу, он клялся, что это истинный сын Ивана Грозного, и увещевал беречь его, любить, служить ему верою и правдою. Весь этот день Москва дрожала от непрерывного звона своих многочисленных колоколов.

Так произошло воцарение польско-литовского бродяги на московском престоле.

Первые действия нового царя в Москве, как и естественно, состояли в раздаче наград и всяких милостей, преимущественно тем, которые пострадали при Годуновых. Так мнимые его родственники Нагие были возвращены из ссылки и пожалованы боярским саном вместе с Шереметевым, Голицыным, Салтыковым, Масальским и некоторыми воеводами, ранее других передавшимися на его сторону. Людей менее знатных он произвел в окольные чины, в том числе дьяков Василия Щелкалова и Афанасия Власьева, известный его агент Гаврило Пушкин сделан думным дворянином, а мнимый его дядька Богдан Бельский «великим» оружничим. Особое внимание оказано было знаменитой семье Романовых, столь сильно пострадавшей от Бориса. Из пяти братьев, в живых оставались только двое: Иван Никитич и насильно постриженный Феодор, теперь инок Филарет. Их вызвали из ссылки и воротили им конфискованные имущества; Ивана Никитича пожаловали саном боярина, а старца Филарета посвятили в сан Ростовского митрополита; бывшая его супруга, теперь инокиня Марфа, с сыном Михаилом поселилась в костромском Ипатьевском монастыре, который принадлежал к епархии Филарета. Тела Романовых, умерших в изгнании, перевезли в Москву и здесь похоронили. Возвратили из ссылки и престарелого слепца Симеона Бекбулатовича, бывшего когда-то титулярным царем московским. Награды посыпались на многих чиновников, и в особенности на войско: жалованье служилым людям было удвоено. Самозванец велел уплатить и все частные долги своего мнимого отца Ивана IV. Если верить одному польскому свидетельству, он истратил тогда из московской казны до семи с половиною миллионов рублей — сумма по тому времени громадная.

Все в Москве, казалось, ликовали; знатные и незнатные спешили изъявлять свою преданность царю. Но среди сего ликования против него уже составлялся тайный заговор» руководимый князем Василием Ивановичем Шуйским. Ему, конечно, более чем кому другому была известна смерть истинного Дмитрия, и теперь, когда Годуновы были свержены, а Мстиславский отстранялся от всяких притязаний на престол, Шуйский считал за собою ближайшее на него право и, не медля ни минуты, начал подготавливать почву для свержения Лжедмитрия и своего возвышения. По ночам он собирал у себя доверенных лиц, преимущественно из московского торгового сословия, убеждал их в самозванстве нового царя и поручал им эту истину распространять в народе. Кто именно был Самозванец, вероятно, он сам не знал; а потому схватился за готовое уже мнение о нем как о расстриге Гришке Отрепьеве, который был предан проклятию высшим русским духовенством, и одно это обстоятельство должно было сильно действовать на умы народа при малейшем сомнении в истинности царевича. Впечатление должно было еще усилиться внушениями, что вор-расстрига передался ляхам и намерен «разорить христианскую веру», т. е. ввести латинство. Но затеянное дело оказалось несвоевременным и неискусно направленным. Клевреты Шуйского, в том числе московский купец Федор Конев, действовали без надлежащей осторожности, и притом встретили мало сочувствия: народная масса находилась еще под обаянием рассказов о чудесном спасении и подвигах царевича и, после

нелюбимого Годунова, предавалась радости видеть на престоле прямого потомка своего исконного царского рода. Толки о самозванстве царя дошли до Басманова, который донес о них Лжедмитрию; клеветы Шуйского были схвачены и под пытку во всем признались. Схватили братьев Шуйских и также подвергли их пристрастному допросу. Лжедмитрий отказался сам произнести приговор и отдал их дело на суд собору, составленному из духовенства, бояр и людей всяких чинов. Собор, отчасти раболепствуя перед новым царем, отчасти разделяя народное увлечение, приговорил Василия Шуйского к смертной казни, а его братьев Димитрия и Ивана к ссылке.

В конце июня (следовательно, с небольшим через неделю после описанного торжества) князя Василия Ивановича взвели на эшафот, окруженный густыми рядами стрельцов и казаков, около которых теснились народные толпы. Теперь Басманов вместе с Салтыковым назначенный в приставы при Шуйском разъезжал на коне и читал народу грамоту с изложением тяжких вин осужденного боярина. После неудачного заговора Шуйский решился по крайней мере мужественно сложить свою голову перед народом.

«Братия, — воскликнул он, — умираю за правду и за веру христианскую!» Палач уже взялся за топор, как вдруг из Кремля прискакал всадник с криком: «Стой!» Самозванец даровал жизнь осужденному и казнь заменил ссылкой, Басманов громко прославил милосердие молодого государя, и довольный народ разошелся с пожеланиями ему здоровья и долголетия. Кто подвиг Самозванца на это прощение, в точности неизвестно; но, очевидно, около него нашлись ходатаи за родовитого боярина. А, главное, сам Лжедмитрий, упоенный чрезвычайным успехом и знаками народной преданности, еще находился в каком-то восторженном настроении, так что носился тогда с особой теорией царского милосердия. Когда приближенный его секретарь поляк Ян Бучинский советовал ему не щадить Шуйских, то он отвечал, что дал обет не проливать христианской крови и что перед ним два способа удержать царство: или быть мучителем, или всех миловать и жаловать, не щадя казны. Он выбрал второй способ. Шуйских отправили в ссылку, а имения их отобрали на государя. Но, спустя несколько месяцев, Самозванец совершенно их простил и возвратил ко двору.

Приближенные люди советовали ему скорее совершить торжественное венчание на царство, чтобы упрочить себя на престоле; ибо тогда он будет иметь священное значение в глазах народа. Но Самозванец не хотел приступить к обряду прежде прибытия мнимой матери, присутствие которой и признание его своим сыном должны были закрепить за ним царственное происхождение в тех же глазах. Старица Марфа проживала в убогой Выксинской пустыни (на Шексне). Казалось бы, ее прибытие должно было предшествовать возвращению всех других лиц, сосланных Годуновым, и самому вступлению Лжедмитрия в столицу; однако со времени признания его Москвою протекло около двух месяцев до приезда вдовствующей царицы. Приходилось посылать к ней своих клеветов и вести тайные переговоры, чтобы вынудить ее согласие на признание Лжедмитрия своим сыном. Очевидно, не вдруг согласилась Марфа на обман; потребовались и просьбы, и обещания всяких благ, и даже угрозы тайным убийством. Старица не устояла и наконец дала свое согласие. Тогда за нею отправлено было из Москвы торжественное посольство, во главе с юным Михаилом Скопиным-Шуйским, который только что был пожалован саном «великого» мечника. 18 июля Самозванец, окруженный блестящим двором, встретил свою мнимую мать в селе Тайнинском. Ее ввели в роскошно убранный шатер, где Лжедмитрий несколько минут говорил с нею наедине; причем опять с угрозами заклинал ее не обличать обмана. Выйдя из шатра, они нежно обнимались и целовались, ввиду многочисленной

народной толпы; Самозванец посадил Марфу в карету и пошел подле нее с открытою головою; потом сел на коня, поскакал вперед и вновь встретил ее уже при въезде в Кремль. Он проводил ее в женский Вознесенский монастырь, где для нее были приготовлены и украшены особые комнаты. После того лжецарь посещал ее почти ежедневно и вообще показывал себя самым почтительным сыном. Но, при всех наружных знаках почтения, Самозванец не особенно доверял Марфе и окружил ее так, чтобы устранить всякие сношения ее с боярами: несчастная старица очутилась в золотой клетке.

21 июля происходило торжественное венчание Самозванца на царство в Успенском соборе со всеми обычными обрядами. Венчание сие совершал Игнатий, за несколько дней до того так же торжественно посвященный в сан патриарха. Когда после обряда новый царь принимал во дворце поздравления от всех придворных чинов и наемных польских жолнеров, из толпы последних выступил иезуит Чировский; поцеловав руку Лжедмитрия, он посреди глубокого молчания сказал ему от имени поляков приветственную речь на польском языке; что немало удивило русских бояр. Но Самозванцу эта напыщенная речь, по-видимому, очень понравилась, и он сам переводил боярам ее смысл. За поздравлениями следовал роскошный пир.

Почти годовое правление Лжедмитрия, как и следовало ожидать, носит на себе печать явного влияния его польского воспитания и его легкомыслия. Так Боярскую думу он начал преобразовывать по образцу польского Сената. Прежде высшее московское духовенство приглашалось царем в Думу только в важных случаях; Лжедмитрий хотел присутствие здесь патриарха и других архиереев сделать постоянным, назначая им места по старшинству. Также по польским образцам он учредил должности великого конюшего, великого дворецкого, далее великих оружничего, мечника, подчашего, кравчего, сокольничего, секретаря и надворного подскарбия или казначея; в последние две назначил Афанасия Власьева. Он охотно сам председательствовал в Думе, где, по свидетельству иноземцев, любил блеснуть своим остроумием, прекращая долгие прения бояр и быстро (хотя бы неосновательно) решая запутанные дела; причем не упускал случая упрекнуть их в невежестве или указать на чужие земли, которые им следует посещать, чтобы научиться там уму-разуму. Вообще обхождение этого неблаговоспитанного выскочки с русскими боярами, дьяками и чиновниками было очень неровное: то он дружился с ними и обходился запанибрата, то ругал их и даже бил палкою в минуты вспыльчивости. Ища народной любви, он велел объявить, что сам будет два раза в неделю, по средам и субботам, принимать челобитные на дворцовом крыльце; запретил в приказах брать посулы; допустил гораздо более свободы в торговле и промышленности равно для русских и иноземцев. Подобные меры в сущности являлись скороспелыми и мало обдуманними. Пристрастные иноземные свидетельства вообще хвалят его доступность и простоту в обращении, его деятельность и подвижность; говорят, что, вместо обычного на Руси спанья после обеда, он часто выходил из дворца один или сам-друг, посещал аптеки, лавки с изделиями из дорогих металлов и т. п. Вероятно, так запросто он разгуливал только вначале; а потом, ввиду некоторых обнаруженных заговоров и опасных толков, он ездил по столице, окруженный своими телохранителями-иноземцами.

Чтобы показать доверие московитянам, Лжедмитрий на первых порах начал распускать казацкие и наемные отряды, в том числе и польский; но скоро спохватился и стал формировать их вновь. Между прочим, он учредил трехсотенную иноземную гвардию, набранную преимущественно из немцев: первая сотня была конная и состояла под

командою француза Якова Маржерета, уже служившего капитаном в наемном немецком отряде при Борисе Годунове (автора любопытных записок о России); две другие сотни представляли пеших алебардщиков; одною начальствовал датчанин Кнутсон, а другою шотландец Альберт Вандеман. Эти сотни получали богатое жалованье, одеты были в роскошные бархатные или парчовые плащи и цветные суконные кафтаны немецкого покроя; вооружение их было украшено серебром и позолотою. Они постоянно содержали внутренний дворцовый караул и сопровождали царя при его выездах. Кроме иноземцев, он держал постоянно в сборе от двух до трех тысяч стрельцов для охраны своего дворца и своей особы.

Если Самозванец к чему действительно обнаруживал влечение и усердие, это к военному делу, в котором он кое-что понимал. Приготовляясь начать войну против турок и татар, он велел отлить много новых пушек и мортир, которые отправлял в Елец и вообще на южные украины. А, главное, он обратил внимание на военные упражнения или на обучение войска; устраивал примерные сражения, примерную осаду и оборону крепостей. С сею целью он велел построить подвижную крепостицу на колесах (род гуляй-города), которая предназначалась для действия против татар. Она была снаружи раскрашена изображениями слонов и разных чудовищ, способных испугать татарских всадников и коней. На окнах был изображен вход в ад, извергавший пламя, а под ними виднелись чертовы головы с отверстою пастью, в которую вставлялись небольшие пушки или пищали. Москвичи с удивлением смотрели на это сооружение и называли его «адам». Зимой Лжедмитрий поместил его на льду Москвы-реки и посылал поляков, одних защищать, а других осаждать сию крепостцу. Однажды он соорудил укрепление из снегу и льда и велел оборонять его русским, а немцам и полякам брать приступом; вместо оружия служили снежные комки. При сем он не утерпел, сам стал во главе иноземцев и взял с бою укрепление; после чего похвалялся, что он также завоюет у турок Азов. Русские были оскорблены и обвиняли иноземцев в том, что они вместо снегу зажали в кулак куски железа. Вообще легкомысленный Самозванец слишком усердно выказывал перед народом свою ловкость и молодечество. Он любил скакать на бешеных конях, на охоте сам гонял с собаками за волком или лисицею; а однажды на медвежьей травле хотел самолично выйти на медведя с рогатиной и только по усиленным просьбам вельмож оставил свое намерение. Подобные подвиги производили странное впечатление на народ: с одной стороны русские, как любители всякой удали, хвалили молодого царя; а с другой, привыкшие к торжественности и величию, которыми окружали себя их государи, они считали такие подвиги некоторым унижением царского достоинства.

Не довольствуясь кремлевскими царскими палатами, Самозванец затеял подле них, еще ближе к Москве-реке, постройку нового дворца, деревянного, состоявшего собственно из двух отдельных, но соединенных между собою зданий: одно предназначал для себя, а другое для будущей царицы. Здания сии он украсил по своему польскому вкусу: стены были обиты дорогою парчою и рытым бархатом, все гвозди, крюки и дверные петли густо вызолочены, печи выложены зелеными изразцами, оконные и дверные занавеси сделаны из материй, затканых золотом, и т. п. У входа в новый дворец, к удивлению и соблазну подданных, поставлено было большое медное изваяние мифологического пса или цербера с тремя головами, которые при помощи особого механизма могли открывать свои пасти и бряцать зубами. Под этим дворцом были выведены разные потаенные ходы, на случай опасности. Вообще Самозванец, как забубенная польская голова, вместе с чрезвычайной

расточительностью обнаружил ненасытную жажду роскоши и удовольствий. Он сыпал вокруг себя наградами и подарками, а также постоянно накапливал разных драгоценных сосудов, украшений, шелковых тканей и других товаров у немецких, польских и еврейских торговцев, в большом числе приехавших по его приглашению в Москву, Любя сам одеваться роскошно и часто менять свои наряды, он требовал подобной роскоши от бояр, дворян и даже простых людей. Русский современник с иронией замечает: «Невесты с какой радости все ходили по улицам веселые как женихи в золоте, серебре и чужестранной багрянице; а перед его лицом служащие ему украшались многоценным камением и дорогим бисером и никого он не хотел видеть смиренно-ходящим».

Самозванец жил широко и весело; во дворце часто играли польские музыканты, шли пиры, попойки и оживленные танцы. Он сам устроил несколько русских свадеб и пользовался ими как удобным предлогом к новым пирам и празднествам. Между прочим, с князя Ф.И. Мстиславского он не только снял годуновское запрещение жениться, но и сам выбрал ему невесту из семьи своих мнимых родственников Нагих, и подарил ему дом Бориса Годунова. Но в чем особенно сказались крайняя распущенность и легкомыслие сего польского исчадия, так это в необузданном любострастии. Не довольствуясь злосчастною Ксенией Борисовной, он постоянно требовал все новых и новых жертв своего разврата. Михаил Молчанов, известный негодяй и убийца Годуновых, служил усердно ему на сем поприще: с помощью своих агентов он разыскивал красивых девушек, которых покупал деньгами или брал силою и тайными ходами приводил к своему повелителю. Самые монастыри не были пощажены, многие молодые монахини попали в число его жертв. Говорят, после смерти Лжедмитрия оказалось до 30 женщин, которые по его вине готовились сделаться матерями. Наряду с близким его наперсником князем Василием Масальским, Петр Басманов, выступивший в Новгороде-Северском героем на историческое поприще, теперь играл роль главного соучастника в сих оргиях и низкого угодника тому, кого он сам признавал лжецарем. Один немец, пользовавшийся его доверием, раз в присутствии немецкого купца спросил мнение Басманова о названом Димитрии. «Он жалует вас, немцев, более чем все прежние государи, — отвечал Басманов. — Молитесь о нем; хотя он и не истинный царевич; но мы ему присягнули; да лучшего царя нам и не найти».

Среди своего праздничного царствования Самозванцу пришлось, однако, серьезно подумать о том, как расплатиться с своими благодетелями, которые выдвинули его из темноты и ничтожества и возвели на такой высокий, мировой пост, каким является московский престол. От сражавшихся за него казаков и польских жолнеров он мог еще отделаться денежными наградами, но и то не вполне. Многие поляки или ополяченные западноруссы, получив эти награды, остались ими недовольны, ибо рассчитывали на гораздо большее; они не спешили возвращаться на родину и большею частию проматывали полученное жалованье тут же в Москве, а потом вновь поступали на службу к Лжедмитрию. Несравненно труднее было расквитаться с главными его благодетелями, т. е. Мнишками, королем Сигизмундом и Римскою курией. Обещания и обязательства, которые он надавал им во время своей кандидатуры, по большей части оказались неисполнимыми в действительности: как ни был легкомыслен Лжедмитрий, но он хорошо сознавал всю невозможность приступить к введению унии в Московское государство или к отделению от него нескольких областей, ради удовлетворения папы и короля. С этой стороны хотя он значительно изменил тон, но пришлось еще хитрить, лицемерить и выигрывать время;

только относительно Мнишков он остался верен своим обязательствам, хотя и далеко не в полном их размере.

С польскими отрядами, как мы видели, в Москву прибыли два иезуитских патера, Лавицкий и Чировский, те самые, у которых он еще недавно, во время своего путивльского сидения, начал было учиться философии и риторике. Их тайная надежда на продолжение такой же близости и на руководство им в делах религиозных не оправдалась. Наиболее приближенными и доверенными советниками Самозванца сделались не эти два патера, а два брата Бучинских, Станислав и Ян, его частные секретари, оба протестанты. Они-то и сочиняли ему теперь латинские послания к папе и другие дипломатические документы. Посредством их он иногда сносился и с самими патерами. С последними при удобном случае он любил возобновлять разговоры о невежестве московского народа, о необходимости его просветить; для чего намеревался завести коллегии и академии, разумеется, по польскому образцу; а иезуиты, конечно, рассчитывали на свое будущее руководство этими коллегиями и академиями, т. е. на воспитание московского юношества в духе греко-римской унии. Но Самозванец признавал нужным пока не возбуждать разных опасений со стороны своих подданных, а потому исполнение названных намерений откладывал в долгий ящик. Меж тем Римская курия отнюдь не желала довольствоваться ожиданиями и, по своему обыкновению, думала ковать железо, пока горячо.

Мы имеем ряд писем нового тогда папы Павла V как к самому Лжедмитрию, так и к другим прикосновенным лицам. Папа то поздравляет Самозванца с благополучным окончанием его предприятия и восшествием на трон предков, увещевая при сем неизменно сохранить свое католическое исповедание; то поручает его вниманию нескольких кармелитских монахов, которые отправлялись в Персию через Московию; то воздает хвалу Сигизмунду III за помощь, оказанную Димитрию Московскому; то пишет кардиналу Мацеевскому или Юрию Мнишку, внушая им заботу о поддержании верности Римской церкви в новом московском царе. Нунций Рангони, с своей стороны, тоже осыпает Лжедмитрия письменными поздравлениями и пожеланиями; кроме того, отправляет к нему в августе 1605 года своего капеллана аббата Пратисоли с письмом и подарками, состоящими из разных священных предметов; таковы: распятие, вновь отпечатанная латинская библия, икона Реджийской Богоматери, четки с медалью-индульгенцией, каковые давались обыкновенно победителю, и пр. В письме своем нунций намекает на то, что недавнюю победою и блестящим успехом названный Димитрий обязан своему обращению в католичество и прямо напоминает о его обещании ввести унию. Самозванец, с своей стороны, на послания святейшего отца шлет почтительные и любезные ответы, подписываясь его «послушнейшим сыном» (*Sanctitatis Vestrae obsequentis-simus filius Demetrius etc.*). В то же время чрез своего секретаря Яна Бучинского, отправленного в Краков по вопросу о браке с Мариною Мнишек, он просит нунция Рангони, между прочим, поддержать его настояния о цесарском титуле и союзе с римским (т. е. германским) императором. А в декабре 1605 года он отправляет в Рим уже прямо к его святейшеству послом от себя патера Андрея Лавицкого, который по дороге должен был остановиться в Кракове и передать особые письма нунцию. Краковские иезуиты были немало удивлены, увидя своего товарища в одеянии русского священника, с бородою, длинными волосами и греческим крестом на груди: так иезуитские патеры преобразились в Москве, чтобы избегать народного внимания и неудовольствия.

Лавицкий имел поручение хлопотать у его святейшества о трех главных статьях: во-

первых, устроить при его посредстве союз или коалицию московского царя с римским императором и польским королем для общей войны против турок; во-вторых, поддержать царя перед польским королем по вопросу о присвоении Димитрием императорского титула, и в-третьих, наконец, наградить нунция Рангони кардинальским достоинством. И в Кракове, и в Риме король, нунций, папа, министры слушали с умилением и заставляли повторять рассказы Лавицкого о чудесных приключениях и необычайном успехе Самозванца. Но особых последствий его посольство не имело. Папские ответы Лжедмитрию были написаны в том же ласковом отеческом тоне, но содержали в себе уклончивые фразы относительно цесарского титула и заключения союза с римским императором: он советовал царю, не дожидаясь союзников, первому напасть на турок и победить их. Главный же припев всех этих писем состоял в том, что «одна только есть вера католическая» и главная обязанность царя это «просветить свое царство» и явиться вторым Константином. При сем папа советует не доверяться еретикам, а слушать людей умных и благочестивых; особенно поручает его доверию того же отца Лавицкого, который, конечно, получил в Риме нужные по сему предмету наставления. А просьба о кардинальском достоинстве для нунция Рангони, очевидно, сочтена была за неуместное присвоение себе привилегий, которыми пользовались только самые могущественные католические государи, и потому пройдена полным молчанием.

Римская курия очень желала иметь сношения с Москвою не чрез польского нунция, а непосредственно чрез особого уполномоченного. Но она опасалась возбудить неудовольствие при Краковском дворе, который из политических своих видов всегда противился непосредственным связям Москвы с Римом. После разных колебаний и проектов на сей счет, решено было наконец отправить в Москву послом от папского престола Александра Рангони, который приходился племянником нунцию Клавдию Рангони, следовательно, не мог носить характера особого, вполне независимого от польской нунциатуры, уполномоченного. Александр Рангони прибыл в Москву в феврале 1606 года и был принят Лжедмитрием в торжественной аудиенции, при которой присутствовали не одни бояре, но также и патриарх с высшим духовенством. С той и другой стороны были сказаны разные учтивости. После сего приема Самозванец через Бучинского извинялся перед папским послом в том, что прием был сухой и чисто официальный, из опасения возбудить неудовольствие московских бояр, и уверял, что он питает все те же чувства глубокого сыновнего уважения к святейшему отцу. Потом он выразил желание, чтобы папа прислал ему опытных светских лиц, могущих занять место секретарей и советников в делах управления, кроме того, несколько искусных инженеров, военных техников и инструкторов. В донесении своем Рангони советует исполнить сию просьбу; так как, по слухам, Бучинский вместе с некоторыми своими единоверцами поляками и московскими англичанами старается сблизить Димитрия с протестантами и затевает снарядить посольство в Англию для набора там инженеров и разных техников-еретиков. Сверх того, Лжедмитрий просил папу способствовать его дипломатическим сношениям не только с римским императором, но также с королями испанским и французским. Вообще в переговорах с папским послом он обнаружил некоторое дипломатическое искусство; так что Александр Рангони вскоре уехал из Москвы довольный оказанным ему вниманием, снабженный любезными письмами и обещаниями, которые способны были поддержать надежды и вождедения Римской курии, хотя не заключали никаких определенных обязательств. Но вскоре эта курия стала замечать явное равнодушие Самозванца к религиозным вопросам и начала беспокоиться за успех

своего дела в Московии. Особенно не могло ей понравиться пожертвование с его стороны трехсот рублей (собоями) в город Львов для окончания соборного Успенского храма, в феврале 1606 года; причем обратившимся к нему за помощью священникам и дьяконам сего храма он отвечал грамотою, в которой заявлял себя «несумненным и непоколебимым в истинной правой вере Греческого закону».

Не менее щекотливыми оказались отношения к польскому королю, который, очевидно, считал Лжедмитрия своим посаженным на московском престоле, почти своим вассалом, и ожидал теперь исполнения его обязательств. От Сигизмунда приехал в Москву посланником староста велижский Александр Гонсевский, который имел поручение явно поздравить Самозванца с восшествием на престол, а тайно напомнить ему некоторые его обещания, между прочим, относительно союза против Карла Шведского и заключения под стражу его племянника королевича Густава. При сем, чтобы напугать Самозванца, посланник сообщил ходивший в Польше слух, будто Борис Годунов не умер, а спасся бегством в Англию. Но это детское пуганье не произвело никакого действия. С своей стороны, чтобы показать полную независимость, сразу стать на равную ногу с королем и предупредить излишние притязания, Лжедмитрий придрался к старому и спорному вопросу о царском титуле. Он выразил неудовольствие на то, что королевская грамота называла его не царем, а только государем и великим князем; мало того, изъявил притязание на императорский титул и стал сам себя величать «непобедимым цесарем», следовательно, ставил московскую корону на высшую ступень сравнительно с польскою. Но его нареченная невеста Марина Мнишек еще находилась в Польше, и король мог воспрепятствовать ее браку. Поэтому Самозванец пока не настаивал на своих притязаниях и отпустил Гонсевского с любезным ответом. Он также поручил Александру Рангони уверить короля в своей к нему преданности и признательности, но при этом просить, чтобы король не требовал от него обещанной уступки областей до тех пор, пока власть его прочно утвердится в Московской земле. Посылая грамоту с извещением о своем вступлении на московский престол Карлу герцогу Зюдермандскому, захватившему шведскую корону, Лжедмитрий в той же грамоте увещевал Карла вернуть корону Сигизмунду как законному государю Швеции. А другого претендента на сию корону, королевича Густава, человека гордого и своенравного, из Углича перевел в Ярославль и велел содержать там как пленника.

Отношения польские в сие время тесно связались с делом женитьбы Самозванца на Марине Мнишек; к чему мы и обратимся.

В октябре 1606 года (сентябрьского) Самозванец отправил послом в Польшу «великого секретаря» и казначея Афанасия Власьева, который из русских людей, наряду с Басмановым и Масальским, был наиболее приближенным к нему советником и угодником или «тайноглагольником», как называет его один русский летописец. Власьев прибыл в Краков, окруженный блестящею, многочисленною свитою из конных дворян; за ним следовал большой обоз со скарбом и дорогими подарками. Он остановился в доме Мнишка и вскоре имел торжественную аудиенцию у короля, на которой говорил о желании своего государя заключить с ним тесный союз против турок. Только на второй аудиенции он приступил к главной цели своего посольства, т. е. изложил просьбу о королевском дозволении вступить московскому царю в брак с Мариною Мнишковною. Сигизмунд III дал свое согласие.

12 ноября состоялось торжественное обручение Марины; причем лицо московского царя представлял его посол. На церемонии присутствовал король с сыном Владиславом и сестрою, носившею титул шведской королевны. Обручение совершал родственник невесты кардинал-епископ Мацеевский. За церемонией последовали пир и танцы. Власьев во время обряда и пира обратил на себя общее внимание ратными выходками наивности и раболепия. Например, на обычный вопрос священнодействовавшего — «не обещал ли царь на ком жениться прежде Марины?» — он отвечал: «а почему я знаю; он мне этого не говорил». И, только после настоятельных требований ответить прямо, прибавил: «если бы обещал другой

невесте, то не слал бы меня сюда». Когда же нужно было соединить руки жениха и невесты, он, чтобы не прикоснуться голою рукою к руке своей будущей государыни, предварительно обернул собственную платком; обручальный перстень совсем не решился надеть себе на палец, а положил его в карман. За столом, сидя подле Марины, он не хотел дотронуться до кушанья, говоря, что «холопу не годится есть с государями», как ни внушали ему, что он представляет лицо самого царя. С своей стороны, посол остался очень не доволен тем, что при окончании бала Юрий Мнишек подвел свою дочь к королю, вместе с нею упал пред ним на колени и благодарил за его милости. Власьев видел в этом умаление царского достоинства, так как Марину теперь уже называли московскою царицею. Зато привезенные им роскошные подарки царской невесте, ее отцу, брату и другим родственникам произвели на поляков сильное впечатление: очевидно, Самозванец не жалел московской казны для удовлетворения их жадности и тщеславия. Тут были кони в красивых уборах, оправленных самоцветными камнями, драгоценные меха, целые пуды жемчугу, венецианские бархаты, турецкие атласы, персидские ковры, золотые часы с флейтистами и трубачами, также золотые корабль, павлин и бык, служивший вместо ларца, серебряный пеликан и пр.

Марина после обручения уехала в Промник в сопровождении своего отца и московского посла. Последние воротились оттуда в Краков, чтобы присутствовать при бракосочетании самого короля, который, будучи вдов, вступил тогда во второй брак с сестрой своей покойной супруги австрийской эрцгерцогиней Констанцией.

В январе приехал в Польшу другой посол от Самозванца, его частный секретарь Ян Бучинский, который привез большие суммы Мнишкам для уплаты их долгов. Он вручил 200 000 злотых воеводе Сендомирскому и 50 000 его сыну, старосте Саноцкому, а Марине новые подарки, состоявшие из золотых и бриллиантовых украшений. Но присланных сумм далеко не хватало на покрытие долгов. Вскоре Самозванец прислал еще 100 000 злотых; но и этого оказалось мало. Нареченный его тесть не стыдился вымогать деньги у посла Власьева, и, за его поручительством, набирать товары у московских купцов, торговавших в Польше. Посредством Бучинского Лжедмитрий убеждал Мнишков испросить для Марины от папского нунция разрешение при обряде ее будущего коронования в Москве принять св. причастие из рук патриарха — без чего невозможно было бы исполнить и самый обряд, а также посещать греко-русскую церковь, поститься в среду вместо субботы и ходить с покрытою головою, как это в обычае у русских замужних женщин. Такие просьбы произвели неприятное впечатление; по сему поводу завязалась целая переписка между Краковом и Римом, и последний никак не соглашался на подобные уступки. Но Самозванец мало тревожился сим несогласием. Он в это время беспокоился и приходил в нетерпение от того, что его нареченная супруга с своим отцом медлили и все откладывали свой приезд в Москву и что она не отвечала на его страстные письма.

Как ни были обрадованы и польщены Мнишки успехом Самозванца и блеском царской короны на голове Марины, как ни были они тщеславны и предприимчивы, однако что-то мешало им спокойно довериться этой удаче и спешить в такую полуварварскую страну, какую рисовалась их воображению Московия. Зная тайну самозванства, очевидно, они выжидали, чтобы время показало, насколько прочен этот почти сказочный успех, насколько названный Димитрий твердо уселся на престоле. И тем более сомнение могло закрасться в их душу, что из Москвы стали приходить вести и слухи для него неблагоприятные; а в Польше общественное мнение продолжало относиться к нему неблагоприятно.

Первыми распространителями дурных слухов были польские жолнеры, покинувшие

службу Лжедмитрия и воротившиеся в Польшу. Эти ненасытные люди бранили его за неуплату им всего обещанного и заслуженного жалования и вообще отзывались о нем с презрением. Некоторые русские выходцы, признавшие его на первых порах истинным царевичем, теперь за тайну сообщали своим польским приятелям, что в Москве уже проведали самозванство царя и ему грозит беда. Но поляки менее других способны были хранить подобные тайны, и они скоро разглашались. Вельможи, которые и прежде противились предприятию Самозванца, теперь стали громко бранить его за неблагодарность Польше и притязание на необычные титулы. Они упрекали короля, зачем он помогал сему проходимцу вместо того, чтобы пожертвовать им и получить за него большие выгоды от Бориса Годунова. Есть свидетельство, что и сами московские бояре уже обращались в это время к королю с подобными жалобами. Получив известие о совершившемся обручении Марины, Лжедмитрий послал гонцом дворянина Ивана Безобразова с благодарственными грамотами к королю и Мнишку и с уведомлением о снаряжении большого московского посольства в Польшу. Этот Безобразов оказался тайным агентом князя Шуйского, по совету которого он и был назначен гонцом. Исполнив официальное поручение, Безобразов секретно довел до Сигизмунда, что бояре, особенно князья Шуйские и Голицыны, сетуют на короля, который дал им в цари человека неблагородного, легкомысленного и распутного; поэтому они хотят свергнуть его с престола, а на его место желали бы посадить королевича Владислава. Это последнее желание было хитро придумано: оно должно было польстить королю и связать его по отношению к названным боярам. С его стороны пока последовал уклончивый ответ при посредстве канцлера Сапеги, который теперь уже мог предвкушать плоды своей политической интриги при виде смуты, наступавшей в Московском государстве. Говорят еще, будто около того же времени сама царица-старица Марфа, при посредстве одного ливонского пленника, поручила какому-то шведу довести до сведения Сигизмунда, что она невольно признала обманщика своим сыном, что Самозванец хотел останки ее истинного сына выбросить из Углицкой церкви как подложные и только по ее усиленным просьбам оставил его в покое. Неизвестно, давала ли Марфа действительно подобное поручение к Сигизмунду или — что вероятнее — оно явилось интригою тех же бояр, но что она спасла тело царевича Дмитрия от поругания — это подтверждается и другим свидетельством.

Замечательно в отношении польского ставленника на Москве нерешительное и непоследовательное поведение как польско-литовского короля, так и самой польско-литовской аристократии. Когда приехал Власьев и просил Сигизмунда о разрешении на брак Марины с названным Дмитрием, говорят, король советовал не спешить сим браком и намекнул, что царь московский мог бы найти себе невесту более знатную; причем имел в виду собственную сестру королевну шведскую. Однако, зная тайну самозванства, он не настаивал на своем желании и легко согласился на брак Марины. Еще любопытнее, что в то время, как известная боярская группа уже доносила из Москвы о близком свержении Лжедмитрия и выдвигала кандидатуру на московский престол королевича Владислава, в самой Польше вдруг возник вопрос о кандидатуре сего Лжедмитрия на польско-литовский престол. Партия панов, недовольная Сигизмундом III, особенно восставала против его намерения вступить во вторичный брак с австрийскою принцессою, сестрою его покойной супруги. Во-первых, брак со свояченицей считался несогласным с уставами Церкви (хотя в этом отношении уже имелся пример Сигизмунда II); а во-вторых, столь тесные связи с Габсбургскою династиею были противны национальному чувству многих поляков, которые

не без основания опасались возраставшего немецкого влияния. Когда же, несмотря на значительную оппозицию, Сигизмунд III настоял на своем и женился на эрцгерцогине Констанции, ропот усилился. Некоторые вожаки оппозиции тогда вошли в тайные сношения с Лжедмитрием и предлагали ему польскую корону; они мечтали таким способом осуществить давнюю мысль о соединении Польско-Литовского государства с Московским. Самозванец с свойственным ему легкомыслием поощрял подобный замысел. К довершению возникшей отсюда путаницы, сношения сии не остались тайною для короля, и канцлер Лев Сапега говорил против них в Сенате.

Сендомирский воевода, конечно, знал об этих переговорах, и ему могла уже мерещиться польская корона на голове его дочери. Но он знал и обратную сторону медали, т. е. до него доходили и все дурные вести о Лжедмитрии. Очевидно, сомнения закрадывались в его душу, и у него постоянно возникал вопрос, прочен ли его нареченный зять на московском престоле; поэтому он и дочь его не спешили своим отъездом. Отвечая на просьбы Самозванца, Мнишек приводил разные предлоги для замедления; например, ссылаясь на свое нездоровье, а в особенности жаловался на недостаток денег. В одном дошедшем до нас письме он говорит также о дурных слухах, распространяемых недоброжелателями насчет его зятя, и, между прочим, просит его отдалить от себя «известную царевну Борисову дочь». Просьба сия была вскоре исполнена. Ксению Борисовну постригли в монахини под именем Ольги и отправили в дальний монастырь. Участь ее была самая жалкая: после смерти Лжедмитрия в течение Смутного времени ее переводили из одного монастыря в другой, и она подвергалась самым грубым оскорблениям.

Тщетно Самозванец хлопотал о том, чтобы совершить бракосочетание с Мариной в мясоед между Святками и Масленицей; почему гонцы его часто скакали из Москвы в Самбор и обратно. Тщетно его посол Власьев торопил Мнишков, для чего неоднократно писал им и сам приезжал в Самбор. Пропустив зимний путь, Мнишки должны были переждать весенний разлив вод. Выведенный из терпения Лжедмитрий в начале марта сухо уведомлял, что если воевода и его дочь будут долее медлить, то они едва ли застанут его в Москве, ибо после Пасхи он намерен отправиться в лагерь к войску, собиравшемуся на южной Украине, и там пробудет целое лето. Недели две спустя, он узнал, что тесть и невеста наконец выехали в путь, следовательно, еще до получения его последнего письма. Обрадованный, он спешил извиниться в этом письме и сделать все нужные распоряжения, чтобы облегчить им дорогу. Разлив вод еще не прекратился, и дороги оказались весьма в плохом состоянии. Путешествие Мнишков совершалось медленно, и тем более, что их сопровождала весьма многочисленная свита, всего до 2000 человек, с огромным обозом. Кроме дяди Марины старосты Красноставского и ее брата старосты Саноцкого, с ними ехали и другие родственники, каковы Константин Вишневецкий, Стадницкий, Тарлы и пр. А каждый знатный пан имел при себе, кроме слуг, целый вооруженный отряд из пехоты и всадников. В обозе находилось еще несколько армянских купцов с своими товарами. По Московской земле высоких путешественников принимали везде торжественно: священники и народ выходили с иконами и хлебом-солью; в городах дарили им соболей; дети боярские и стрельцы выстраивались в праздничном наряде. Из окрестных мест сгоняли крестьян, чтобы строить или чинить мосты и гати. Время от времени встречали их бояре, присланные из Москвы с новыми подарками, с каретами, конями, палатками и т. п.

Путешественники проехали Смоленск и Вязьму. В последнем городе воевода Сендомирский отделился от дочери и с частию своей свиты поехал вперед. 24 апреля он

имел торжественный въезд в Москву. Басманов выехал к нему навстречу за город, одетый в шитое золотом гусарское платье, во главе отряда дворян и детей боярских. Воеводу поместили в бывшем доме Бориса Годунова, недалеко от царского дворца. На другой день Самозванец принимал своего тестя и его родственников в парадной аудиенции, в так наз. Золотой палате, сидя на роскошно украшенном троне, в полном царском облачении, в присутствии Боярской думы; причем по правую сторону от него сидел патриарх с несколькими архиереями. По сторонам трона стояли четыре рынды; великий мечник держал обнаженный меч. Воевода сказал приветственную речь столь трогательную, что Самозванец, по словам одного польского свидетельства, «плакал как бобр, поминутно утирая платком свои глаза». Великий секретарь Афанасий Власьев держал за него ответ. После чего гости подходили и целовали у него руку. По окончании сей церемонии отправились в придворную церковь, где отслушали богослужение; а затем последовало пиршество, устроенное уже в новом деревянном дворце. В следующие дни в этом дворце происходили ночные пиры и попойки, сопровождаемые польскою музыкой и танцами; причем Самозванец являлся то одетый по-московски, то в богатом гусарском наряде. Тешил он своих гостей и звериной травлей; для чего в одном подгородном селе собраны были разные звери.

2 мая совершился наконец торжественный въезд в Москву нареченной царицы; понятно, что Лжедмитрий обставил его самым великолепным образом. Марина ехала в большой карете, оправленной серебром, с царскими гербами, запряженной 10–12 белыми конями в яблоках наподобие леопардов или тигров; каждого коня вел особый конюх. По пути расставлены были шпалерами блестящие отряды из польских рот, немецких алебардчиков, московских дворян, стрельцов и казаков. Самозванец лично расставлял войска и давал наставления боярам, назначенным к встрече, но сам он смотрел на въезд, скрываясь в толпе. Любопытно, что при вступлении нареченной царицы в Москву, когда она ехала между Никитскими и Кремлевскими воротами, внезапно поднялся вихрь и заглушил звуки набатов, труб и литавр, как это было при въезде Лжедмитрия; что многими сочтено было за дурное предзнаменование. Марину поместили пока в Вознесенском монастыре подле мнимой царской матери, где приготовили для того богато убранные комнаты. В тот же день, но несколько ранее, въехали во главе многочисленной вооруженной свиты польские послы Олесницкий, каштелян Малагоский, и Гонсевский, староста Велижский, которые нагнали Марину уже под Москвою: они имели своим официальным назначением присутствовать от лица короля на торжестве царского бракосочетания. Для такого большого количества понаехавших поляков, конечно, требовалось найти соответствующее помещение, и многие московские обыватели принуждены были уступить часть своих домов этим беспокойным и притязательным гостям. Поляки не довольствовались тем, что явились, покрытые панцирями, вооруженные с головы до ног, но еще привезли в своих повозках большие запасы огнестрельного и холодного оружия. При виде этих запасов, наиболее степенные москвичи не особенно увеселялись постоянно гремевшею польскою музыкой, и сердца их исполнились тревожных ожиданий.

На следующий день во дворце происходила торжественная аудиенция польских послов. Она была обставлена точно так же и сопровождалась теми же обрядами, как и недавний прием царского тестя; только прошла не так ровно и гладко. Имея теперь дорогую ему Марину в своих руках, Самозванец решил с самого начала обострить вопрос о своем титуле, чтобы дать отпор дальнейшим притязаниям польского короля, а вместе с тем поднять себя в

глазах своих московских подданных. Когда после приветственной речи Олесницкий хотел вручить ему королевскую грамоту, Лжедимитрий чрез великого секретаря Власьева отказался принять ее, так как на ней не только не было царского титула, но стояла простая надпись: «Князю всея Руси». Слушая возражения Олесницкого, он не утерпел и, вопреки обычаю, самолично вступил с ним в длинные пререкания. Однако в конце не выдержал своей роли и велел Власьеву принять грамоту с оговоркой, что впредь сего не сделает. После взаимных приветствий и целования царской руки, послы предложили от себя разные подарки, а именно золотые цепи, кубки, ковры и коней. Когда же они воротились на посольский двор, им торжественно принесли яства и напитки в раззолоченной посуде.

По отношению к Марине Лжедимитрий вел себя как человек страстно в нее влюбленный. Так как ей не нравились московские яства, то он прислал польского повара, которому приказал отдать ключи от царских погребов и кладовых. А чтобы она не скучала монастырской тишиной, посылал забавлять ее музыкантов, песенников и скоморохов, что, конечно, являлось немалым соблазном для обитательниц Воскресенского монастыря. Он продолжал осыпать подарками невесту и ее родственников. Так однажды поднес ей ларец с драгоценностями на целых полмиллиона рублей. А ее отцу в это время подарил еще 100 000 золотых и сани, обитые бархатом с красною усаженною жемчугом попоною для коня и с ковром, подбитым соболями; козлы были окованы серебром; а запряженный в сани белый конь имел по обеим сторонам хомута по сороку самых лучших соболей; дуга и оглобли были обтянуты красным бархатом и перевиты серебряною проволокой. Меж тем делались обширные приготовления к свадьбе и коронации. Лжедимитрий решил соединить оба обряда вместе, но так, чтобы коронация Марины предшествовала их свадьбе. За день до сей церемонии поздно вечером невеста, при свете факелов, между рядами придворных алебардчиков и стрельцов, переехала в новый царский дворец, где и заняла приготовленные для нее покои.

Вопреки русскому обыкновению, день венчания был выбран в четверг 8 мая, следовательно, накануне пятницы и притом праздника св. Николая. Но обряд совершен был с сохранением почти всех старых обычаев. Жених и невеста были одеты в роскошный русский наряд. Из Грановитой палаты в торжественной процессии шествовали они в Успенский собор, сопровождаемые русскими и польскими дворянами, посреди алебардчиков и отборных стрельцов. Во избежание тесноты в собор впустили только близкую свиту и затворили двери. Тут на возвышенном помосте приготовлены были три кресла: среднее, самое высокое и украшенное, служило тронем для жениха, по левую сторону для невесты, а по правую, наименее высокое, для патриарха. С подобающими молитвами Игнатий возложил на невесту царскую корону и бармы на ее плечи. После того все трое заняли свои места на означенных креслах. Бояре и прочая свита подходили к Марине, чтобы поздравить ее и поцеловать руку. Затем следовала литургия, во время которой патриарх причастил Марину Св. Тайн и помазал муром по греческому обряду. По окончании литургии совершен был обряд свадебного венчания. Новобрачные в той же торжественной процессии воротились во дворец. В дверях Мстиславский осыпал их золотыми монетами. Потом стали бросать деньги в толпу; что произвело в ней большое движение и даже драку. По свидетельству иностранцев, будто некоторые русские бояре не стыдились принимать участие в этой ловле монет, тогда как польские пань не обращали на них внимания, и когда одному из панов упали на шляпу два червонца, он гордо стряхнул их на землю. Наступал уже вечер, и в этот день ограничились только угощением молодых.

Места посаженного отца и матери занимали князь Ф.И. Мстиславский и его жена. Роль тысяцкого на свадьбе исполнял князь В.И. Шуйский, а друзьями назначены его брат князь Димитрий, двое Нагих и пан Тарло; свахами были их жены.

Большой свадебный пир состоялся на следующий день. Но он был несколько омрачен размолвкой с польскими великими послами. Будучи приглашены к обеду, они на основании своих инструкций потребовали, чтобы им дано было место за царским столом подобное тому, какое Афанасий Власьев имел в Кракове за королевским столом в день обручения. По сему поводу возникли опять пререкания; ибо Самозванец решительно отказал в этом требовании: так как по московскому обычаю царь обедал один за особым столом на возвышенном месте, а теперь вместе с царицей. К послам пришел Афанасий Власьев и сказал им, что он сидел за королевским столом, потому что за тем же столом сидели послы папский и цесарский. «А наш цесарь, — заметил Власьев, — выше всех христианских монархов; у него каждый поп папа». После такой выходки послы наотрез отказались ехать на обед в этот день. Они обратились с жалобой к воеводе Сендомирскому; тот взялся быть посредником между ними и своим зятем. Переговоры велись еще целые два дня. Наконец дело уладилось на том, что воскресеньем 11 мая старший посол Олесницкий получил за большим обедом особый стол, пониже царского места; а Гонсевский сел на первом месте за тем столом, где помещались польские гости. Во время пира гремела музыка, а после него следовали танцы. Самозванец являлся то в русском наряде, то в гусарском; Марина одевалась большею частию в польский костюм. Веселые пиры с танцами и маскарадами повторялись теперь почти ежедневно; а правительственные заботы отложены были в сторону. Оба, и Самозванец, и Марина, упоенные успехом и наслаждениями, находились в каком-то чаду. Тем ужаснее было пробуждение этой легкомысленной четы.

Само собой разумеется, что ликование московского народа, простодушно поверившего в подлинность и чудесное спасение царевича, и надежды, возбужденные новым царем, не могли длиться долгое время. Сомнение и разочарование должны были наступить скоро; ибо трудно было скрыть общественный обман от стольких пронизательных или враждебных глаз. Главный толчок к разоблачению обмана, естественно, исходил из той боярской группы, которая могла, ради свержения ненавистных Годуновых, признать Самозванца временно, но никак не помириться с его царствованием. Во главе этой партии с самого начала явилась семья Шуйских. Первая попытка их, как мы видели, не удалась, и сами они едва спаслись. Однако начатые ими тайные внушения продолжали бродить в русском обществе и вызывать неблагоприятные для Самозванца толки, которые в свою очередь повели за собою некоторые розыски и человеческие жертвы. Хотя бояре и высшее духовенство, познакомясь ближе с мнимым Димитрием, едва ли продолжали считать его Гришкою Отрепьевым; но им не было никакого расчета опровергать раз пущенную в народ молву об этом тождестве; напротив, в их интересах было ее поддерживать и распространять. Слово «расстрига» переходило из уст в уста и многих приводило в негодование, а некоторых подвигало на обличение и самопожертвование. Самозванец с свойственною ему непоследовательностию, забыв о намерении упрочить себя милостями и прощением, стал прибегать к тюрьме и казням. Так погибли дворянин Петр Тургенев и купец Федор Калачник, которым отрубили голову на площади. Когда вели их на казнь, Калачник кричал народу: «Приняли вы на себя образ антихристов и поклонились его посланному; тогда уразумеете, когда все от него погибнет!» Но большинство народа еще верило в названного Димитрия и отвечало: «Поделом вам!» Толки о самозванстве царя и его неуважении к вере

проникли и в среду придворных стрельцов; о чем в январе 1606 года донесли Басманову, а тот Лжедмитрию. Сей последний велел собраться стрельцам на внутреннем дворе без оружия; вышел к ним, окруженный алебардщиками, и держал речь, в которой красно и бойко упрекал их в измене и убеждал в своей подлинности. Смущенные стрельцы завопили, чтобы им указали изменников. Им указали семь человек, заранее намеченных; товарищи тотчас бросились на них, как звери, и голыми руками растерзали их на части.

Однако толки о «расстриге», его дружбе с поляками и намерении искоренить православную веру не прекращались. Некто дьяк Тимофей Осипов, движимый ревностью к вере, решился обличить лжецаря и приготовился к мученичеству. Он несколько дней постился и молился; потом, причастившись Св. Тайн, пришел в царские палаты и пред всеми сказал Самозванцу: «Ты воистину Гришка Отрепьев, расстрига, а не цесарь непобедимый, ни царев сын Дмитрий, но греху раб!» Раздраженный Самозванец велел его вывести и убить; но впечатления, произведенного сим подвигом, он не мог уничтожить. Престарелый и слепой Симеон Бекбулатович явился также ревнителем православия и увещевал людей крепко стоять за веру. Самозванец велел его отвезти в Кирилло-Белозерский монастырь и там постричь в монахи.

Легкомысленное поведение Лжедмитрия, его частое пренебрежение к русским обычаям, распутство и явное предпочтение поляков русским в конце концов должны были вызвать общее неудовольствие и усилить толки о его самозванстве. Трое братьев Шуйских едва только были прощены и воротились в Москву, как снова принялись устраивать обширный заговор, находя, что сам Лжедмитрий значительно для того подготовил почву. Душою сего дела был все тот же князь Василий Иванович, старший из братьев, который одновременно сумел вкратце в доверие Самозванца и попасть в число самых близких к нему бояр и советников. Особенно усердную помощь нашел он в духовенстве, которое, кроме религиозной ревности, было возбуждено еще слухами о намерении лжецаря отобрать у него многие имущества для того, чтобы употребить их на войну с турками и татарами. Заговор уже достаточно созрел; но вожаки медлили исполнением. Князь Шуйский ждал прибытия Мнишков и царской свадьбы. Он предвидел, что внимание Самозванца будет отвлечено свадебными торжествами, а в это время новоприбывшие поляки не преминут подлить масла в огонь народной ненависти. Говорят также, что бояре-заговорщики, возмущенные расточительностью лжецаря и его бесчисленными подарками Мнишкам, рассчитывали отнять назад большую часть сих драгоценностей, которую те, по всей вероятности, привезут с собою в Москву. Все эти расчеты почти вполне оправдались. Едва польские гости водворились в Москве, как начались их частые столкновения с жителями. Буйные поляки презрительно обходились с туземцами и при случае позволяли себе насилия над их женами; причем не щадили и самих боярынь. Начались кровавые драки. Та и другая сторона обращалась с жалобами к правителю. Некоторые поляки проведали кое-что о заговоре и пытались предупредить Самозванца; но тщетно. На основании предыдущих примеров он слишком уверился в своей прочности; а главное, теперь ему было некогда думать и заботиться о чем-либо, кроме забав и праздников своего медового месяца.

Известна легенда о человеке, который за наслаждения земной жизни продал свою душу дьяволу, а потом, когда пришел час расплаты, пытался тем или другим способом от нее избавиться. Нечто подобное приходилось испытывать Самозванцу, от которого расплаты требовали со всех сторон еще прежде, чем он успел осмотреться в своем новом положении. Между прочим, нелегко ему было изворачиваться перед назойливыми притязаниями

Иезуитского ордена и Римской курии.

В свите Мнишков прибыл в Москву знакомый Лжедмитрию патер Савицкий, еще недавний участник его обращения в католическую веру. Он имел поручение от папы и нунция подействовать на лжецаря, напомнить ему данные обязательства и указать на его явные от них уклонения. Но Савицкому пришлось ждать, пока тот удостоил его интимной аудиенции. Это случилось за два дня до его гибели. Лжедмитрий принял иезуита наедине в своей спальне. Савицкий поцеловал его руку, поздравил с благополучным вступлением на престол и вручил ему некоторые подарки, присланные папою и генералом Иезуитского ордена, кроме того, и папскую индульгенцию. Хозяин повел беседу, ходя с гостем по комнате. Последний вкрадчивым тоном начал речь о делах религии и напомнил обещания. Уклоняясь от прямого ответа, Самозванец завел свой обычный разговор о школах и выразил намерение основать в Москве иезуитскую коллегию, которая должна приготовить русских учителей для будущих школ. Потом он вдруг переменял разговор и стал распространяться о войске, которое собрал уже в количестве 100 000 человек. Затем прибавил, что еще не решил, против кого вести это войско, против неверных или кого другого, и тут же начал жаловаться на польского короля, который не признает его титулов. Иезуит старался рассеять его неудовольствие и, пользуясь минутою, просил даровать ему свободный доступ к царской особе во всякое время. Лжедмитрий охотно согласился, позвал тотчас своего секретаря Бучинского и отдал ему приказание всякий раз докладывать о приходе патера. Обещая в другой раз поговорить обо всем подробнее, он отделался от гостя под тем предлогом, что ему нужно спешить к своей матери. Это было первое и последнее свидание с ним патера Савицкого в Москве.

Неслыханная удача и чад удовольствий до того ослепили Самозванца, что он упорно отказывался верить в существование какого-то заговора, несмотря на предостережения, обращенные к нему с разных сторон. Многие из более сметливых поляков, находившихся на царской службе, ясно заметили угрожающее отношение к ним русских и понимали, что с этой стороны что-то затевается. По их просьбе царский тесть накануне самой трагедии пошел к своему зятю и от имени товарищей умолял его принять меры против грозившей опасности. Но тот поручил своему секретарю уверить их, что никакой опасности нет и что он даже велит строго наказывать распространителей тревожных слухов. Проживавшие в Москве немцы, которые более дружили с поляками, чем с русскими, и успели лучше узнать сих последних, также предупреждали поляков; а один из немцев, тоже накануне рокового дня, пробрался к лжецарю и подал ему записку, в которой уведомлял, что на следующий день назначено исполнение злодейского умысла. Таким образом с польским проходимцем повторилось почти то же самое, что произошло с знаменитым римским Цезарем. Самозванец, прочитав записку, разорвал ее и бросил. Все эти предостережения, по-видимому, его только раздражали, и он еще более упорствовал в своем ослеплении.

Меж тем заговорщики пользовались всяким удобным случаем и всяким промахом Самозванца, чтобы возбуждать народ. Венчание Марины дало особенно обильную пищу неблагоприятным толкам. Русские вообще косо смотрели на иностранцев, посещавших православное богослужение; а тут еще поляки, присутствовавшие на церковных торжествах, вели себя крайне неосторожно; они громко болтали, смеялись, становились задом к алтарю, дремали, прислонясь к св. иконам или, скучая стоянием, садились прямо на пол, водили с собою в церковь собак и т. п. Русские возмущались тем, что царь все это позволяет. Особенно смущал всех брак его с католичкой или некрещеной полькой; ибо по русским

народным понятиям того времени иноверцы, хотя и христиане, переходя в православие, должны были вновь креститься. Поэтому слухи о том, что царь передался папизму и намерен искоренить православную веру, получали как бы подтверждение в глазах народа. Из среды освященного собора, руководимого угодником лжецаря патриархом Игнатием, в это время выделились два мужа, митрополит казанский Гермоген и коломенский епископ Иосиф, которые открыто порицали брак царя с иноверкою. Самозванец разгневался и собирался подвергнуть их тяжкому наказанию, но не успел. А народ стал смотреть на них как на истинных пастырей и достойных поборников православия. Главные заговорщики по ночам сходились в доме Василия Шуйского, тут совещались и получали должные наставления о том, как действовать в народе. Мы сказали, что князь Василий Иванович, ведя заговор в широких размерах, умел в то же время вкрасться в доверенность Самозванца и сделаться одним из главных советников. А советы его и единомышленных ему бояр преимущественно клонились к тому, чтобы усыпить всякое подозрение со стороны лжецаря, истолковать всякое столкновение русских с поляками или хмельным состоянием, или каким-либо простым недоразумением и уверить его, что поляки и немцы, доносившие о признаках близкого бунта, слишком преувеличивают и только понапрасну беспокоят государя, столь любимого своим народом, такие уверения очень льстили тщеславию Лжедмитрия и достигали своей цели. После князей Шуйских и Голицыных, наиболее видным деятелем среди заговорщиков явился думный дворянин Михаил Игнатьевич Татищев, незадолго прощенный лжецарем. Во время Великого поста за столом у сего последнего подали жареную телятину. Князь Василий Шуйский почтительно напомнил, что русские вообще не употребляют телятины, а тем более постом. Когда Самозванец стал возражать, Татищев вмешался и противоречил так резко, что тот выгнал его из-за стола и велел сослать в Вятку. Басманов выпросил ему прощение, которое он получил на праздник Пасхи. Это прощение, однако, не смягчило Татищева, который, подобно Шуйскому, сделался теперь одним из ревностных вожаков заговора. Есть известие, что бояре-участники постановили между собою следующий уговор: по свержении Самозванца вести управление общим советом и кого из них выберут царем, тот никому не будет мстить за прежние досады.

На вечер ближайшего воскресенья, 18 мая, Марина, ни о чем не думавшая, кроме удовольствий, назначила большой маскарад во дворце и со своими фрейлинами была занята приготовлением костюмов. А супруг ее в этот день предполагал устроить военную потеху: в поле за Сретенскими воротами он велел приготовить деревянный, укрепленный валом, городок, который намеревался брать приступом. Несколько пушек уже были отправлены из столицы на место будущей потехи. Этими приготовлениями заговорщики воспользовались как нельзя лучше для своих замыслов. В народе пущен был слух, что расстрига под видом потехи хочет заманить московских бояр в западню, чтобы перебить их, а потом уже беспрепятственно творить свою волю и вводить латинство в Московском государстве. Говорили далее, что двадцать главных бояр, начиная с Мстиславского и Шуйских, были расписаны между польскими начальниками: каждый из сих поляков во время шумной потехи должен был убить назначенного ему боярина. А остальных бояр и лучших московских людей будто бы предполагалось перевязать и отправить пленниками к польскому королю. Как нимало вероятен был подобный слух, однако он нашел себе веру и произвел большое волнение в умах. При всем народном разочаровании и разных недоумениях, вызванных поведением лжецаря, еще многие москвичи оставались ему

преданы и недоверчиво относились к толкам о его самозванстве. Поэтому заговорщики на последнем совещании положили в решительную минуту поднять народ под разными предложениями: одни должны были кричать: «В Кремль! Поляки хотят убить царя!» А другие кричали бы: «Поляки избивают бояр».

Как ни был беспечен Самозванец, однако все труднее и труднее становилось скрывать от него и его главных наперсников существование обширного заговора. Поэтому бояре решили не откладывать далее его исполнения, и, под предлогом предупредить якобы предстоящее их избиение во время военной потехи, они назначили канун сего дня, т. е. субботу, раннее утро. Для обороны дворца, кроме немецких алебардчиков имелось под рукою до 5000 поляков и до 10 000 преданных стрельцов. Ввиду этих сил заговорщики с своей стороны приняли разные меры и военные предосторожности. В пятницу московские лавки, торгующие порохом и свинцом, отказывали полякам в продаже сих предметов под предлогом, что все вышли. Поздним вечером бояре ввели в город осмнадцать тысяч ратных людей, которые собраны были в окрестностях для похода на южную Украину и отправку которых они намеренно задерживали. Эта рать заняла ворота Белого города с приказом никого не пропускать. Наконец те бояре, которые в сей вечер дежурили или пировали во дворце, именем государя отпустили по домам большую часть алебардчиков, так что их осталось на карауле только 30 человек. Вооруженное ядро, на которое опирались заговорщики, составляли дворяне и дети боярские, московские и особенно новгородские; так как у Шуйских продолжались их старые приятельские связи с Великим Новгородом. Дворянам-участникам заговора обещаны были в награду новые поместья и доходные места.

Таковы были приготовления к московской кровавой заутрене, и она беспрепятственно совершилась.

17 мая на рассвете ясного утра конная толпа бояр, дворян и детей боярских, с князем Василием Шуйским во главе, въехала в Кремль и прежде всего остановилась перед Успенским собором, принося горячую молитву об успехе начатого предприятия. В эту минуту раздался звон набатного колокола, сначала у пророка Илии подле Гостиных рядов; за ним пошли звонить во многих церквях и монастырях, как кремлевских, так и городских. По улицам города скакали и бегали отряженные заговорщиками люди, призывая народ. Один кричал, что Кремль горит, другой звал на защиту православной веры, третий на защиту царя или бояр, и все от поляков. Со всех сторон бежал народ, вооруженный чем попало, самопалом, луком, копьем, саблей, рогатиною или топором, кто пешком, кто на коне, а служилые люди в доспехах и полном вооружении. Одна часть народа устремилась в Кремль; а другая стала обступать те дома, которые были заняты поляками, чтобы не дать им возможности собраться вместе или поспешить также в Кремль. Внезапно пробужденные поляки хватили оружие и сели на коней; но чернь везде преграждала им дорогу, ставя поперек улиц рогатки; где не хватало рогаток, она вынимала бревна из мостовой и воздвигала баррикады. Таким образом ни одному польскому отряду не удалось пробиться в Кремль на защиту лжецаря и его супруги.

Держа в одной руке крест, в другой меч, Василий Шуйский от Успенского собора, не теряя времени, повел собравшуюся около него мятежную толпу прямо на дворец. «Помоги Господи и Пресвятая Богородица на злого еретика и поганую Литву! — восклицал он. — Отцы и братия, постраждете за православную веру!»

Во дворце только что все успокоилось после ночи, проведенной в пиршестве и танцах. Самозванный царь, кажется, не успел еще заснуть, когда услышал звон набата. Он послал

спросить, что это значит. «Пожар» — отвечал кто-то из бояр или дворян, остававшихся во дворце. Но когда шум и крики приближавшейся толпы сделались слышны, наперсник Самозванца Басманов вышел посмотреть и увидел, что весь двор наполнился вооруженными людьми, которые уже бежали по лестницам и ломались в двери. На его вопрос, что им нужно, послышались ругательства и крики: «Выдай нам плута и обманщика!» Басманов, приказав алебардщикам никого не впускать, бросился назад и закричал Лжедимитрию: «Мятеж! Требуют твоей головы. Спасайся». В это время кто-то из заговорщиков проскочил сквозь стражу и, увидя Самозванца, сказал: «Ну, безвременный царь, проспался ли ты? Что же не выходишь к народу и не даешь ему отчета?» Басманов схватил со стены царский палаш и разрубил голову дерзкому. А Лжедимитрий выбежал в сени, выхватил меч у одного немца-телохранителя и, грозя им мятежникам, кричал: «Я вам не Борис». Однако выстрелы заставили его уйти назад. Басманов же появился на крыльце и начал уговаривать мятежников. Тут Михайло Татищев, недавно прощенный по его ходатайству, обругал его скверными словами и первый нанес ему удар ножом; другие dokonчили. Тело его тотчас сбросили с высокого крыльца на показ народу. Мятежники вырубали несколько досок в стене и ворвались в палаты. Оробевшие алебардщики отступили во внутренние покои, заперев за собою двери; но и сии последние скоро пали под ударами топоров. Алебардщикам предложили пощаду под условием выдать оружие; они сдались и тем сохранили свою жизнь.

Между тем Лжедимитрий поспешил в покои Марины, чтобы предупредить ее об опасности. Сам он стал перебегать из комнаты в комнату, спасаясь от искавших его повсюду мятежников. Впопыхах он забыл о потайном ходе в подземелье или не попал в него, и наконец выпрыгнул в окно с высоты нескольких сажен; причем разбился и вывихнул себе ногу, так что не мог встать.

Марина, полуодетая, в испуге сбежала вниз под своды; но, не найдя там безопасного места, неузнанная, опять пробралась наверх, подвергаясь толчкам и ругательствам. Чернь, неистово грабившая дворец, стала ломать двери и в ее покои. Около нее собрались польские камерфрейлины, а ее камердинер Осмульский с саблею в руке отстаивал вход, пока не пал пораженный выстрелами. Его геройская оборона дала время подоспеть боярам, которые избавили польских дам от дальнейших оскорблений и грабежа черни. Благодаря своему небольшому росту и худобе, Марина спряталась под юбку своей старой толстой гофмейстерины. На вопрос бояр, куда девался царь, женщины отвечали незнанием, а относительно царицы гофмейстерина сказала, что она успела уйти в дом своего отца воеводы. Бояре оставили в покое старуху; но молодых полек разделили между собою и отослали в свои дома (где — по словам одного иностранца — будто бы через год они сделались матерями). В эту минуту пришло известие, что Самозванец найден, и бояре поспешили уйти.

Стрельцы, стоявшие на карауле у Чертольских (Пречистенских) ворот, услышали стоны Самозванца, находившегося в бессознательном состоянии; подбежали к нему, отлили его водою и положили поблизости на каменный фундамент дворца. Придя в себя, он взмолился о защите; причем обещал отдать им в награду жен и поместья бояр. Стрельцы решились его оборонять, и, когда подошли мятежники, то встретили их выстрелами, так что некоторых положили на месте. Толпа остановилась. Тут подошли бояре и, видя упорство караула, закричали: «Пойдем в Стрелецкую слободу; перебьем всех жен и детей этих негодяев, если они не хотят нам выдать плута и обманщика!» Стрельцы смутились и отошли в сторону.

Несчастливого лжецаря схватили и внесли в нижний этаж дворца. Толпа принялась его бить и издеваться над ним. «Говори, такой-сякой, кто ты родом и кто твой отец?» Самозванец отвечал: пусть спросят его мать или пусть выведут его на Лобное место и там он все скажет народу. Очевидно, он хватался за соломинку и думал выиграть несколько лишних минут для своего спасения. Но заговорщики, в особенности Шуйский, понимали всю опасность дальнейшего замедления; ибо народная масса, все еще неразобравшая, в чем дело, и в большинстве думавшая, что она восстала только против поляков, легко могла поддаться испытанному обаянию его слова и стать на защиту лжецаря. Пришел князь Голицын и объявил, что царица-инокиня отрекается от него и называет своим сыном того, кто убитый лежит в Угличе. Тогда из толпы вышли два боярских сына, Иван Воейков и Григорий Валуев, с ружьями. «Что еще толковать с еретиком! Вот я благословлю этого польского свистуна!» С этими словами Валуев и товарищ его выстрелили Самозванцу в упор; другие бросились колоть его ножами и рубить саблями. Надвигавший со всех сторон народ во время предшествующей сцены не мог за теснотою проникнуть внутрь дворца и спрашивал, что такое говорит Димитрий; ему отвечали, что тот винится в своем самозванстве. Обезображенный его труп сбросили с крыльца на труп Басманова со словами: «Ты любил его живого, не расставайся и с мертвым!» Потом их обоих потащили на Красную площадь.

Проходя мимо Вознесенского монастыря, толпа остановилась и послала спросить царицу-инокиню Марфу: точно ли убитый ее сын? Говорят, она ответила: «Об этом надобно было спрашивать, пока он еще был жив; а теперь он уже не мой». По другому свидетельству, она прямо объявила, что это не ее сын. Вообще равнодушием, которое в это утро Марфа обнаружила к участи названного Димитрия, она достаточно ясно подтвердила, что этот человек был ей совершенно чужой. По всей вероятности, своим поведением, неуважением к Церкви и дружбою с поляками он окончательно ей опротивел, и весьма возможно, что князь Шуйский успел заручиться ее молчаливым согласием на бунт.

Все утро, как в Кремле и Китай-городе, так и в других местах, где только находились поляки, кипел бой и совершались дикие сцены убийства и грабежа при непрерывном звоне колоколов и неистовых криках толпы. Везде поляки, захваченные врасплох, гибли под ударами разъяренной черни и подвергались совершенному ограблению. Одни из них отчаянно защищались, другие вступали в переговоры и соглашались выдать оружие под условием пощады, но большею частью потом были вероломно умерщвляемы. Москвичи в этот день дали полную волю своей злобе, накипевшей против иноземцев, и уподобились кровожадным зверям, согласно с своей славянской природой, добродушной в мирном житейском быту и способной к страшному ожесточению в минуту борьбы и расправы. Между прочим, народная ярость обрушилась на несчастных, ни в чем не повинных польских музыкантов, которых было избито несколько десятков человек. По-видимому, музыка, сопровождавшая пиры и потехи Самозванца с поляками, сделалась особенно ненавистна народу. Наибольшее количество поляков погибло на Никитской улице, где была размещена свита Марины. Там же, где они успевали собраться в значительные группы или где были расположены отрядами, как люди хорошо вооруженные, искусные в военном деле и подвижные отчаянием, оборонялись успешно. Воевода Сендомирский, занимавший с своею свитою дом Годунова в Кремле по соседству с дворцом, запер у себя все входы и приготовил своих слуг к обороне; но его спасли сами бояре; они не замедлили приставить к нему стрелецкую стражу, которая обороняла его от нападения черни. Сын воеводы староста Саноцкий, стоявший в другом доме, с своею свитою храбро оборонялся от черни, пока не подоспели бояре и также не спасли его. Польские послы Олесницкий и Гонсевский, занимавшие с целым отрядом Посольский двор, изготовились было к отчаянной обороне; но московский народ уважил их достоинство послов и оставил их в покое; к тому же для их охраны было прислано 500 стрельцов. Многие поляки из соседних местностей успели пробраться к ним на Посольский двор и тем спаслись.

Особенно ожесточенный бой кипел на окраине города около того дома, где стоял князь Константин Вишневецкий с своими двумя сотнями жолнеров. Они метко отстреливались от штурмующей черни и многих из нее положили на месте. Москвичи притащили пушку; но неискусный пушкарь навел ее так низко, что ядро попало в собственную их толпу и вырвало из нее целую улицу. И тут бой прекратился только тогда, когда явился сам князь Шуйский и уговорил Вишневецкого сдаться, поклявшись в его сохранности. Шуйскому помогали князь Мстиславский, Иван Никитич Романов, Шереметев, князь Ромодановский и некоторые другие бояре, которые, разъезжая по городу, старались везде прекратить кровопролитие и успокоить народ. После полудня наконец им удалось это сделать, и кровь перестала литься. Страшный шум и крики мало-помалу сменились на улицах мертвою тишиною, и только валявшиеся повсюду трупы свидетельствовали о недавней отчаянной резне. Трудно определить количество жертв, по причине самых разноречивых показаний. Приблизительно

число убитых поляков простиралось до 2000, да и русских пало по крайней мере половина сего числа. Дня два лежали трупы; псы терзали их; площадные лекаря вырезывали из них жир. Наконец бояре велели убирать мертвых; их относили в загородные убогие дома, там копали ямы и наскоро погребали. В числе убитых поляков оказались и другие иноземцы. Между прочими погибли несколько немецких купцов и ювелиров, которые, по приглашению Самозванца, с дорогими товарами прибыли в Москву, в надежде на большую прибыль. Иные немецкие купцы успели спастись, но вследствие грабежа черни потеряли свои товары и понесли большие убытки.

Народная масса, поклоняющаяся всякому, особенно чрезвычайному успеху, как известно, с переменою счастья быстро меняет свои чувства. Еще накануне бояре опасались народной преданности Лжедмитрию; а теперь его обезображенный труп лежал на площади на небольшом столе (около него на земле распростерт был труп Басманова), и неразумная чернь вволю издевалась над ним как над расстригою и еретиком. Одни положили ему на грудь грязную маску, говоря: «Вот твой бог!» Найденные во дворце маски простолюдины сочли за изображение каких-то богов. Другие совали ему в рот дудку со словами: «Долго мы тебя тешили, теперь сам нас позабавь»; третьи вонзали в него свои ножи или секли его плетями, приговаривая: «Сгубил ты наше царство и разорил казну!» Но некоторые богобоязливые люди плакали, смотря на такое поругание. По прошествии трех дней, когда весь народ ясно мог убедиться в смерти Самозванца, его отвезли за Серпуховские ворота и зарыли в убогом доме. (Басманова выпросили родственники и честно погребли у храма Николы Мокрого.) Но в народе появились слухи о каких-то знамениях над его могилою; а тут еще внезапный мороз повредил полевые всходы. Суеверные люди объяснили такое явление тем, что убитый был чернокнижник и колдун. Известно, что Гришка Отрепьев с самого начала был объявлен чернокнижником; чем и объяснялась его необыкновенная удача. А против колдунов главным средством считался огонь; поэтому, спустя несколько дней труп вынули из могилы и сожгли его (по некоторым сказаниям в той самой подвижной крепости, которая называлась «адам»); а прах развеяли по полю. Некоторые известия прибавляют, что им зарядили пушку и выстрелили в ту сторону, откуда он пришел.

ВАСИЛИЙ ШУЙСКИЙ И ЛЖЕДИМИТРИЙ II

Когда прекратилась кровавая московская заутреня, тотчас сам собою представился неотложный вопрос о замещении праздного Московского престола.

Для решения сего вопроса Боярская дума хотела было разослать по городам призывные грамоты, чтобы собрать Великую земскую думу. Но Василий Шуйский не для того клал свою голову на плаху и поднял народный мятеж, чтобы терпеливо ждать земского избрания и предоставлять свободное поле для интриг своим соперникам, особенно князьям Голицыным. Он спешил ковать железо, пока оно горячо. На третий день, т. е. 19 мая, рано поутру собралась шумная толпа около Лобного места, бояре и духовенство вышли к ней и начали было говорить о созвании Великой земской думы для избрания царя, а до того времени предлагали поставить нового патриарха. Но толпа закричала, что царь нужнее патриарха: надобно избрать царя, а он уже сам назначит, кому быть патриархом. Тут некоторые из бояр и дворян стали прямо указывать на князя Шуйского, посредством которого Бог избавил православный народ от еретика и расстриги. Толпа их поддержала и крикнула: «Да будет князь Василий Иванович царем и великим князем всея Руси!» Бояре и духовенство не посмели противоречить и стали поздравлять нового государя. Находившийся налицо в числе бояр Шуйский в сопровождении той же толпы с площади отправился в Успенский собор, чтобы принести благодарение Богу за свое избрание и немедленно принять присягу от бояр и думных людей. Но он не ограничился ее принятием от Боярской думы; а тут же сам дал необычную дотоле у московских самодержцев присягу в том, что без боярского приговора никого не будет осуждать на смертную казнь, и, если кто будет осужден, то у невинных его родственников и семьи имущества и животов не отнимать, доносов тайных не слушать и обвинителям давать очную ставку с обвиняемым.

На следующий день по городам посланы были известительные грамоты; в них сообщалось, во-первых, об избавлении от вора, еретика и расстриги Гришки Отрепьева, который хотел разорить Московское государство, искоренить православную веру и побить всех бояр и думных людей, и, во-вторых, об избрании на царство Василия Ивановича «всем освященным собором, боярами, дворянами, детьми боярскими и всякими людьми Московского государства», причем выставлялись его права на Российский престол как прямого потомка Александра Невского. К сим грамотам присоединены были не только обычные крестоцеловальные записи, по которым население должно присягать новому государю, но и записи с названною сейчас необычною присягою самого государя. Летописец говорит, будто бояре в Успенском соборе отговаривали от нее Шуйского, «потому что в Московском государстве того не повелось», но он их не послушал. Может быть, некоторые бояре или по родственным связям, или просто для виду отговаривали его; но если вспомнить известие о взаимном условии главных заговорщиков, то можем предполагать, что и эта присяга заранее была вменена в обязанность тому, на кого падет избрание. В ней слишком ясно слышится желание бояр ограничить власть человека, вышедшего из их среды и оградить себя от возврата жестокой тирании Ивана Грозного и губительной подозрительности Бориса Годунова. Это самоограничение царской власти, а еще более избрание царя одной Москвой без согласия всей земли (хотя в грамотах говорилось об избрании «всякими людьми Московского государства») возбудили неблагоприятные для Шуйского толки в народе и отчасти содействовали непрочности его престола. Впрочем, такая непрочность скорее объясняется другими трудными обстоятельствами времени, а

также личными качествами. Напомним, что избрание Годунова Великою земскою думою не упрочило престол за его домом. Во всяком случае, по словам некоторых иностранцев, бояре при Шуйском более имели власти, чем сам царь.

1 июня происходило торжественное царское венчание в Успенском соборе с обычными обрядами. Его совершал митрополит новгородский Исидор, за отсутствием патриарха. Ставленник Самозванца Игнатий был низведен Василием Ивановичем с престола и заключен в Чудов монастырь; а прежний патриарх Иов хотя еще был жив, но совсем ослеп. Поэтому собор епископов 25 мая выбрал нового патриарха, именно казанского митрополита Гермогена, навлекшего на себя немилость Самозванца и сосланного им в свою епархию. Ко дню царского венчания нареченный патриарх еще не успел прибыть в Москву. Вопреки обычаю, это венчание не сопровождалось щедрыми наградами и милостями. Шуйский справедливо указывал на то, что безмерная расточительность ложного Дмитрия совершенно истощила царскую казну; тем не менее служилый класс остался недоволен и обвинял нового царя в скупости и неблагодарности. Кроме того, Василий Иванович сделал следующую важную ошибку: тех бояр, дьяков и дворян, которые были известны преданностью Самозванцу, он поспешил удалить из Москвы, отправить их воеводами в дальние города, например: князя Василия Масальского в Корелу, Михаила Салтыкова в Иван-город, Богдана Бельского в Казань, Афанасия Власьева в Уфу, князя Григория Шаховского в Путивль, Андрея Телятевского в Чернигов. Этою мерою он сам способствовал будущему отпадению от него многих областей. У некоторых дворян он даже отнял поместья и вотчины, чем явно нарушил помянутое обещание: никому не мстить за прежние обиды.

Однако были приняты и некоторые вполне благоразумные меры. Таковою в особенности является перенесение мощей царевича Дмитрия Угличского.

Уже вместе с известительными и присяжными грамотами нового царя была разослана городам покаянная грамота от царицы инокини Марфы. Тут она рассказывала, как Самозванец прельстил ее признать его своим сыном; а настоящий ее сын, убитый, лежит у Угличе. Когда же пошел слух о том, будто названный царь Дмитрий спасся во время погрома 17 мая и убежал из Москвы, царь Василий поспешил торжественно перевезти в столицу тело убиенного царевича. Для сего отправлены были в Углич из духовенства ростовский митрополит Филарет, астраханский архиепископ Феодосий, архимандриты Сергей Спасский и Авраамий Андроньевский, а из бояр князь Иван Мих. Воротынский, Петр Никитич Шереметев и двое Нагих. Они отписали в Москву, что нашли мощи благоверного царевича Дмитрия в целости, только в некоторых местах немного повредились; на нем жемчужное ожерелье, кафтан, камчатная шитая золотом и серебром рубашка и тафтяной, также шитый золотом и серебром, убрус в левой руке, а в правой горсть орехов, которыми он тешился, когда его убили. 3 июня привезли мощи в Москву. Царь с инокиней Марфой, со всем освященным собором, с боярами и всем народом встретили их с крестным ходом и колокольным звоном у ворот Белого города и про-водили в Архангельский собор, где положили в открытой раке, в приделе Ивана Предтечи. Тут в соборе царица-ино-киня перед духовенством и боярами повинилась царю в том, что под угрозами мучительства и смерти так долго терпела обман Самозванца и просила ей тот поневольный грех простить. Царь и весь освященный собор Марфу простили, и молили Бога, чтобы Он ее душу от такого великого греха освободил. О всем том составлена была особая грамота и разослана в города; в ней сообщалось также, что поставленные в Архангельском соборе мощи святого отрока-мученика проявили обычные в таком случае чудеса, т. е.

исцеление больных и расслабленных. Новоявленному мученику сочинены были стихирьы и каноньы и установленьы церковньыя памяти. Ся новодворенная в Москвѣ святаыня несомненно подействовала на умы и воображеніе столичныхъ жителей, и вообще немало способствовала успеху последующей обороны москвичей отъ втораго Лжедмитрія.

Межъ темъ правительство царя Василя Ивановича озабочено было вопросомъ, что дѣлать съ поляками, оставшимися в живыхъ отъ погрома. Решено было изъ нихъ до 700 человекъ, простыхъ и незнатныхъ, отпустить въ отечество; а знатныхъ людей съ частью ихъ свиты удержать в Москвѣ въ качествѣ заложниковъ на случай отместки со стороны Польши. Точно такъ же царь и бояре не соглашались отпустить королевскихъ пословъ Олесницкаго и Гонсевскаго, несмотря на ихъ настойчивыя просьбы. Пословъ со свитою оставили в столицѣ; тогда какъ другихъ знатныхъ поляковъ разослали по городамъ. Князя Вишневецкаго съ его людьми отправили в Кострому, Стадницкихъ съ некоторыми панами в Ростовъ, а потомъ в Вологду и Белоозеро, пана Тарла съ иными в Тверь, Казановскаго в Устюгъ; а Юрія Мнишка съ дочерью Мариною, съ братомъ, сыномъ и со свитою, простирившеюся до 375 человекъ, послали в Ярославль подъ прикрытіемъ 300 стрельцовъ. В городахъ пленныя поляки строго охранялись стражею и жителями подъ надзоромъ приставовъ. В то же время Шуйскій отправилъ князя Волконскаго и дьяка Иванова къ польскому королю съ известіемъ о своемъ восшествіи на престолъ, съ жалобою на помощь, оказанную Речью Посполитою Самозванцу вопреки договорамъ, и съ извиненіями в томъ, что многіе поляки, возбуждивъ своимъ поведеніемъ противъ себя народъ, пали жертвою мятежа. В Москвѣ опасались, конечно, жестокой мести со стороны Польши. Но тамъ происходили тогда собственныя внутреннія смуты: начался известный рокошъ или бунтъ краковскаго воеводы Зебжидовскаго и литовскаго магната Януша Радиви-ла; этотъ рокошъ на время отвлекъ вниманіе короля отъ прямого вмѣшательства в московскія дѣла. Сигизмундъ ограничился пока выраженіемъ неудовольствія на избиеніе поляковъ и задержаніе польскихъ пословъ, и съ своей стороны также задержалъ русское посольство.

Народное движеніе противъ Шуйскаго началось тамъ же, гдѣ оно разразилось и противъ Годунова, т. е. на Северской украинѣ.

Уже спустя нѣсколько дней послѣ кровавой московской заутрени, сталъ распространяться и волновать москвичей слухъ, будто названный Димитрій вновь спасся отъ смерти и опять убежалъ в Литву. Первымъ виновникомъ сего слуха считается известный клеветникъ Самозванца Михаилъ Молчановъ, который утромъ 17 мая съ двумя поляками взялъ лучшихъ скакуновъ изъ царской конюшни и погналъ къ Литовской границѣ, распуская на пути слухъ о спасеніи Димитрія, а мѣстами принимая на себя его имя. Онъ укрылся в Самборъ къ супругѣ Юрія Мнишка. Главнымъ зачинщикомъ новой смуты явился князь Григорій Шаховской, котораго царь Василій послалъ воеводою в Путивль, по-видимому, не подозревая в немъ одного изъ тайныхъ своихъ враговъ и завистниковъ. Шаховской собралъ жителей Путивля и объявилъ имъ, что Димитрій живъ и пока скрывается отъ убійцъ, посланныхъ Шуйскимъ. Если в самой Москвѣ, видевшей трупъ убитаго Самозванца, слухъ о его спасеніи находилъ многихъ доверчивыхъ людей, то естественно, что в областяхъ онъ принимался съ гораздо большимъ доверіемъ, а въ особенности в Северщинѣ: она гордилась темъ, что недавно поставила царя на Москвѣ и сохраняла преданность Лжедмитрію, а потому крайне была недовольна известіемъ о его убиеніи.

Путивляне первыя отложились отъ Василя Шуйскаго и подняли знамя мятежа. Ихъ примеру быстро последовали другіе северскія города, т. е. Моравскъ, Черниговъ, Стародубъ, Новгородъ-Северскій, Кромы. Подобно князю Шаховскому, весьма деятельное участіе в этомъ мятежѣ принялъ князь Андрей Телятевскій, воевода Черниговскій. Мятежники, однако,

потребовали, чтобы спасшийся Димитрий явился среди них. Зачинщики находились в затруднении. Шаховской звал Молчанова; но тот не решился взять на себя эту роль, с одной стороны опасаясь участи Самозванца, с другой имея в виду, что многим москвичам он был очень хорошо известен; следовательно, обман вышел бы слишком явный. Зато Молчанов же, как говорят, нашел человека, который скоро сумел придать восстанию широкий и грозный характер. Это был Иван Болотников.

Холоп князя Телятевского, обладавший отважным духом и богатырским сложением, Болотников в юности был взят в плен татарами, которые продали его туркам; у последних он в оковах работал на галерах; потом как-то освободился и попал в Венецию. Оттуда он пробрался в отечество и дорогою остановился в Польше, где узнал о московских событиях последнего времени. Услыхав, будто Димитрий спасся бегством из Москвы и живет в Самборе, Болотников явился сюда и, не зная в лицо убитого Самозванца, легко принял Молчанова за Димитрия и предложил ему свои услуги. Молчанов, играя перед ним роль Димитрия, взял с него присягу в верной службе, назначил его своим главным воеводою, дал денег и отправил с письмом в Путивль к князю Шаховскому. Последний принял его с почетом и вверил ему начальством над мятежной ратью. Вскоре удачными действиями он оправдал доверие, и восстание пошло еще быстрее. К Северской уже присоединилась южная или Тульская Украина с городами Тула, Серпухов, Кашира, Венев; особенно важно было для мятежников отложение от Шуйского города Ельца, где Самозванец успел собрать большие военные запасы для задуманной им войны с татарами и турками. На Тульской Украине во главе мятежников стал боярский сын Истома Пашков. За нею, во имя мнимого Димитрия, поднялась Рязанская область, которая еще помнила о своей самобытности и соперничестве с Москвою. Здесь предводителями мятежников явились дворяне Сумбулов и братья Ляпуновы. За рязанцами встала часть Поволжья. Там особенно сильный мятеж разразился в Астрахани, где главою восстания сделался сам воевода князь Иван Дмитриевич Хворостинин; а дьяк Афанасий Карпов, пытавшийся усмирить мятежников, был умерщвлен с некоторыми лучшими людьми. Возмутилась Мордва, и, соединясь со скопищем русских крестьян, осадила Нижний. Возмутились земли Вятская и Пермская.

В самой Москве слухи о спасении Димитрия вызывали сильное волнение в умах черни; в то же время против Шуйского стала действовать крамола его соперников, как прежде против Годунова и Лжедимитрия. Однажды на воротах некоторых бояр, а также иностранцев появилась надпись, что царь отдает народу на разграбление дома сих изменников. Около них стала собираться буйная толпа, которую с трудом разогнали. В другой раз кто-то созвал чернь перед дворцом под предлогом, что царь хочет говорить с народом. Выходя из дворца к обедне, Шуйский увидал эту толпу, и, узнав, в чем дело, начал плакать и укорять окружавших его бояр в том, что они строят против него ковы и хотят низвести его с престола. В порыве негодования он даже снял с себя царскую шапку и вместе с посохом отдал ее близ стоявшим, восклицая: «Если я негоден, выбирайте другого!» Однако тотчас опомнился и, взяв обратно знаки власти, сказал с горечью: «Мне уж надоели эти козни. Если почитаете меня царем, то накажите виновных». Все окружающие стали уверять его в своей преданности. Чернь опять разогнали; причем схватили пятерых крикунов, которых потом били кнутом на площади и сослали. Однако крамолы не прекратились; а волнение умов еще усилилось при появлении подметных писем, которые именем спасшегося Димитрия угрожали москвичам мстью за их измену своему государю. Бояре, посланные во главе царских войск против мятежников, действовали вяло и

показывали мало усердия сражаться за Шуйского. Это обстоятельство также способствовало первым успехам мятежников, как и прежде при Годунове. А именно, князя Трубецкой, Барятинский и Воротынский, отряженные еще в начале восстания и не наблюдавшие никакой связи друг с другом, потерпели полную неудачу. Первый, осадивший Кромь, был разбит Болотниковым; а Воротынский, стоявший под Ельцом, услышав об отступлении и рассеянии полков Трубецкого, тоже отступил; его дворяне и дети боярские на пути также стали разъезжаться по домам. Эти неудачи царских воевод собственно и ускорили помянутое выше широкое распространение мятежа.

Болотников усердно рассылал всюду грамоты, в которых именем царя Дмитрия обещал холопам и крестьянам вольность и разрешал им грабеж богатых людей. Поэтому чернь везде охотно к нему приставала и толпы его быстро росли; а когда с ним соединились отряды Пашкова и мятежных рязанцев, он очутился во главе многочисленной рати, которую смело повел прямо на Москву. Царские воеводы пытались загородить ему дорогу. Но только юный племянник Василия Михаил Скопин-Шуйский имел удачную стычку с отрядом мятежников на берегах Пахры; а в главной битве, у села Троицкого, московское войско под начальством князя Мстиславского потерпело решительное поражение. В октябре 1607 года Болотников расположился станом и укрепился острогом в селе Коломенском, в семи верстах от столицы, которую и начал держать в осаде. Московские власти поспешили расставить на стенах тяжелые орудия и сделали все приготовления к обороне; составили списки всем молодым людям старше 16 лет и вооружили их; послали просить помощи во все города, а московское население вновь привели к присяге на верность царю Василию. Часть войска расположилась вне стен подле Данилова монастыря в укрепленном обозе. Пытаясь возмутить жителей против Шуйского, Болотников, по своему обычаю, обратился к московской черни с подметными листами, в которых приказывал холопам побивать своих бояр, а их имение и жен брать себе, гостей и торговых людей грабить; призывал их также в свое ополчение, обещая отличившихся награждать боярством, воеводством и другими высшими званиями. Но это наглое обращение к самым низким страстям и побуждениям сильно возбудило домовитую часть населения; оно поняло, что от мятежников, в случае их успеха, никакой пощады ожидать нельзя и потому решило мужественно обороняться. Те же подметные листы подорвали сочувствие к Болотникову у многих соединившихся с ним дворян и детей боярских. Они с омерзением увидели себя в товариществе с ворами, разбойниками, беглыми холопами и воровскими казаками, которые объявляли войну не Шуйскому только, но даже таким священным началам, как общественный порядок, семья и собственность. А между тем, хотя все распоряжения шли от имени спасшегося и будто бы законного государя, Дмитрий все еще не появлялся.

Первыми отложились от Болотникова Сумбулов и Ляпунов с своими рязанцами. Они ушли в столицу и били челом о прощении Василию Ивановичу. Чтобы привлечь и других мятежников, царь принял их ласково, а Ляпунова даже наградил званием думного дворянина. В то же время некоторые северные и западные области, которые остались верными царю Василию, отозвались на его призыв и прислали ему ратных людей на помощь; между прочим, пришли дружины стрельцов и даточных людей из Холмогор с Северной Двины и из Смоленска. Тогда московские власти ободрились, решили выйти в поле и всеми силами сразиться с неприятелем. Чтобы укрепить дух войска, по желанию царя, патриарх Гермоген соборно служил молебен у гробницы царевича Дмитрия, освятил воду и окропил ею ратных людей; после чего взяли покров с гробницы и в торжественной

процессии понесли его к Калужским воротам. Сам царь сел на коня и со скипетром в руке, окруженный воеводами, выехал в поле. Войско действительно одушевилось и храбро вступило в бой с полчищами Болотникова у деревни Котлов, 2 декабря. Несмотря на отчаянное сопротивление, мятежники были разбиты; из главных московских воевод особенно отличился здесь царский племянник Михаил Васильевич Скопин-Шуйский. Победе москвитян много помогло то обстоятельство, что во время боя Истома Пашков со своим отрядом перешел на сторону Шуйского; присоединяясь к мятежникам, он надеялся играть первую роль и очень неохотно принужден был уступить ее Болотникову. Пашков и его товарищи с клятвами начали уверять москвичей, что никакого Димитрия они не видели, что их обманывали и что Димитрий, конечно, убит. Это уверение подействовало, и многие, сомневавшиеся в смерти Димитрия, укрепились в верности Василию.

Болотников заперся в своем Коломенском остроге; целые три дня царские воеводы тщетно пытались разбить его пушечными снарядами и зажечь калеными ядрами. Как при осаде Кром, казаки и холопы укрывались от падавших снарядов в землянках, а каленые ядра тушили мокрыми кожами. Наконец воеводы устроили ядра с какою-то хитростию («с некоею мудростию») и зажгли острог. Тогда мятежники покинули его и побежали; причем множество их было отчасти избито, отчасти взято в плен. С остатками своих полчищ Болотников удалился в Калугу; а часть их заперлась в Веневе и Туле. Захваченные в плен мятежники наполнили собою все московские тюрьмы, так что не было более места, куда их девать. Царские воеводы двинулись вслед за уходившими толпами. Во время их отступления часть казаков засела в деревне Заборье (под Серпуховом), окружила себя тройным рядом саней, наполненных снегом, политым водою, и отчаянно оборонялась за этим ледяным укреплением. Однако Скопин-Шуйский принудил их наконец сдаться под условием пощады. Добровольно сдавшихся Шуйский велел щадить; а взятых с оружием в руках предавал казни. Один иноземец говорит, что на Москве их ежедневно топили сотнями. Это обстоятельство заставляло мятежников оказывать самое отчаянное сопротивление; так что многие из них предпочитали взорвать себя на воздух, а не сдаваться. Отсюда междоусобие приобретало все более и более ожесточенный характер.

После поражения Болотникова некоторые отпавшие области начали возвращаться к покорности царю Василию. По обычаю своему, он спешил новыми церковными торжествами и напоминаниями о Самозванце произвести впечатление на народ и тем подкрепить свой колеблющийся престол. Во-первых, он велел тела Бориса Годунова, его жены и сына вынуть из могил у Варсонофьевского монастыря, торжественно перенести в Троицкую Лавру и там похоронить с царским великолепием. Во время погребального шествия за гробом своих родителей и брата ехала несчастная царевна-инокиня Ксения в закрытых санях, со слезами и обычными причитаниями. Во-вторых, Василий Иванович вызвал из Старицы в Москву слепого престарелого патриарха Иова. В Успенском соборе после молебна подана была ему челобитная от торговых людей и черного народа с просьбою разрешить им клятвопреступление перед Борисом и Федором Годуновыми, которым они изменили ради Самозванца. На это челобитье от имени обоих патриархов, Иова и Гермогена, читана была грамота, в которой снова повторялось сказание о убиении царевича Димитрия, воцарении Годунова, пришествии Лжедимитрия и его злодеяниях, а в заключение патриархи прощали и разрешали народу грех его клятвопреступления. Нельзя сказать, чтобы подобные торжества с участием архиереев и всего освященного собора не действовали на умы набожных москвичей. Но они слишком мало отражались в областях, где

партия мятежников или «воров» — как их тогда называли московские грамоты — в это время снова усилилась. Осада Калуги, в которой заперся Болотников, затянулась. Чтобы избавиться от опасного врага, Василий Шуйский был не прочь прибегнуть к чрезвычайной мере, несогласной с его царским достоинством. Он принял предложение лекаря-немца Фидлера отравить предводителя воровских шаек; взял с него страшную клятву, дал ему коня и 100 талеров, обещая щедрые награды в случае успеха. А Фидлер, прибыв в Калугу, все открыл Болотникову.

Царским войском, осаждавшим этот город, начальствовал князь Мстиславский, а в товарищах у него был князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский. Видя безуспешное действие пушек и мортир, воеводы придумали устроить примет, которым надеялись зажечь деревянные городские стены. Для сего они велели сложить целый вал из дров и хворосту; а затем, перебрасывая дрова вперед, осаждающие постепенно придвигали вал к стенам, причем сами находились под его же прикрытием. Но из царского войска были частые перебежчики, которые извещали обо всем Болотникова, и тот принял свои меры. Он сделал подкопы, с помощью их взорвал ближайшую часть вала и зажег его; а так как в это время ветер подул в сторону осаждающих, то, пользуясь их смятением от дыма и пламени, Болотников сделал вылазку и побил много людей. Однако осада продолжалась, и в городе открылась сильная нужда в съестных припасах. В таком отчаянном положении Болотников послал в Путивль к князю Шаховскому с новою просьбою о немедленной помощи. Шаховской уже не раз подкреплял воров; теперь же, не имея более готовой силы у себя под руками, нашел ее в другом месте: он отправил гонца звать так называемого Лжепетра с его казаками.

Еще в царствование Лжедмитрия I, и по его примеру, среди терских казаков появился самозванец, принявший на себя имя небывалого царевича Петра. Они сочинили басню о том, что у царя Федора Ивановича родился сын Петр, которого верные бояре подменили дочерью и тайно воспитали, опасаясь козней Бориса Годунова. По выбору товарищей, хотевших подобно донским казакам воспользоваться смутю и поживиться на счет Московского государства, эту роль Лжепетра принял на себя молодой казак Илейка, родом из Мурома. Он послал грамоту о себе Лжедмитрию, которого называл своим дядею. Тот отвечал ласково и приглашал его в Москву, где, конечно, готовил ему западню. Лжепетр с большою толпою казаков поплыл вверх по Волге и уже был за Свияжском, когда получил известие о гибели мнимого дяди. Тогда казаки повернули назад и дорогою занялись разбоем и грабежами. Потом они ушли на Дон, где и зазимовали. Тут нашли их посланцы Шаховского. Лжепетр немедленно отправился в Путивль во главе полчища, состоявшего из казаков терских, донских и волжских; потом к нему присоединились еще запорожцы; так что у него оказалось войска более 10 000 человек. По дороге этот казацкий Самозванец взял и разграбил несколько городов, в том числе Цареборисов; причем зверски замучил некоторых попавших в его руки воевод и дворян, например, Михаила Сабурова, князей Приимкова Ростовского, Щербатова, Долгорукова и других. А князя Андрея Бахтеярова, бывшего прежде путивль-ским воеводою, он не только убил, но и опозорил его боярскую честь, взяв его дочь себе в наложницы. В Путивле он соединился с князем Шаховским, и отсюда они двинулись в Тулу, а на помощь Болотникову отрядили часть войска под начальством князя Телятевского. Услыхав о том, Мстиславский из-под Калуги навстречу Телятевскому выслал князей Татова и Черкасского с 17 000 человек. На речке Пчельне они сразились с ворами, но пали в битве, а полки их обратились в бегство. Прибыв под Калугу,

беглецы эти распространили смятение в царском войске. Болотников воспользовался минутой, сделал отчаянную вылазку и нанес поражение осаждавшей рати; часть ее перешла на сторону мятежников. Только мужество Скопина-Шуйского и Истомы Пашкова спасло ее от совершенного разгрома; покинув тяжелые орудия и съестные запасы, она отступила к Боровску. Это происходило весной 1607 года.

Болотников из Калуги двинулся к Туле; соединился с Лжепетром и снова готовился идти на Москву. Ввиду такой опасности царь Василий обнаружил на сей раз необычную ему решимость и воинственную предприимчивость. Он объявил, что сам выступает против воров, и разослал всюду грамоты с строгими приказами о сборе служилых и даточных людей. Монастырские и церковные вотчины также должны были выставить ратников. Патриарх приказал во всех храмах служить молебны об успехе царского оружия, а Болотникова, Самозванца и их сообщников торжественно предавать проклятию. Из Москвы одушевление распространилось в областях; немало также действовал страх за имущество и общественный порядок, угрожаемые разбойничьими полчищами. Царь Василий лично выступил в походе во главе почти стотысячного ополчения. Передовой полк его под начальством князей Голицына и Лыкова недалеко от Каширы на речке Восме встретился с передовым отрядом воров, предводителем которого был Телятевский, и разбил его наголову; в этой битве отличился Прокопий Ляпунов с своими рязанцами. Царские войска двинулись прямо на Тулу, и в конце июня обступили этот город, в котором засели все главные вожаки мятежников, т. е. Болотников, Лжепетр, Шаховской и Телятевский, имея 20 000 отборных казаков и других ратников с большим количеством военных и съестных запасов.

Руководимые и одушевляемые Болотниковым, осажденные оборонялись долго и упорно. Когда же обнаружился недостаток продовольствия, они порезали коней и всех животных, ели кошек и всякую падаль, но не хотели и слышать о сдаче. Царская рать начинала уже терять надежду на взятие города и стала падать духом. Открылись побег и отъезды. Между прочими, служилые татарские князья Петр и Александр Урусовы со многими мурзами покинули царский стан и уехали в Крым. Из Северной Украины приходили вести, что там собирается новая туча в лице второго Лжедмитрия, который готовился идти на выручку Тулы.

Вдруг неожиданное обстоятельство помогло Василию.

Некто муромский боярский сын Фома Сумин-Кровков посредством разрядного дьяка подал царю челобитную, в которой просил дать ему посохи, обещая запрудить реку Упу и потопить город Тулу. Его предложение сначала вызвало насмешки, однако было принято. Он велел каждому ратнику принести по мешку или плетенке с землею; затем отобрал людей, знающих мельничное дело, и начал из земли, дерева, хворосту и соломы строить плотину, чтобы перегородить реку Упу ниже города, расположенного на ее низменных берегах. По мере изготовления плотины, вода стала подниматься, проникла в острог, а потом и в город. Наконец самые дворы были затоплены, немногие оставшиеся запасы продовольствия погибли и все тайные подвозы прекратились. В Туле настал голод. Тульские «сидельцы» постепенно начали выходить и бить челом Василию о прощении. Наконец на самый праздник Покрова Богородицы, 1 октября, все туляне сдались, выговорив себе общее помилование, которое царь обещал им под присягою. Иноземцы рассказывают, что Болотников подъехал к царской ставке, сошел с коня, положил саблю себе на шею, и, ударив в землю челом, сказал Василию: «Я исполнил свою клятву и верно служил тому, кто называет себя Димитрием; но он меня выдал, и теперь я в твоей власти. Если хочешь моей

головы, вели ее отрубить; а если оставишь мне жизнь, то я буду служить тебе так же верно». Василий Иванович, по-видимому, не придавал значения этим словам; да и трудно было тогда доверять подобным людям; притом бояре и дворяне посмотрели бы очень косо на помилование человека, заявившего себя их злейшим врагом. Болотников, Илейка Муромец, казачий атаман Нагиба и несколько десятков взятых с ними немцев были под стражею отправлены в Москву. Здесь Илейку повесили. Болотникова послали в Каргополь и там его утопили. А пленных немцев (в том числе помянутого лекаря Фидлера) сослали в Сибирь. Но князя Телятевский и Шаховской как знатные люди были пощажены. Последний — по летописному выражению «всей крови заводчик» — воспользовался тем, что перед сдачею Тулы воры посадили его в тюрьму за ложные обещания скорой помощи от Димитрия, и уверял Шуйского, будто пострадал за намерение ему покориться. Царь сделал вид, что поверил ему, и отправил его на Кубенское озеро в Каменную Пустынь.

По городам немедленно были разсланы царские грамоты с известием о великой победе над мятежниками и с приказанием читать эти грамоты в соборном храме, петь благодарственные молебны и производить трехдневный колокольный звон. Уже наступила глубокая осень. Покончив с долгой и трудной осадой, Шуйский распустил по домам большую часть утомленного войска и воротился в Москву, куда въехал торжественно, при колокольном звоне, в колеснице, обитой красным сукном и запряженной четырьмя белыми конями. Отсюда он ездил в Троице-Сергиеву Лавру, чтобы принести св. Угоднику благодарственную молитву за тульскую победу и просить его заступления против других грозивших врагов. В следующий затем мясоед, в январе месяце, пятидесятилетний невзрачный и подслеповатый царь Василий, по благословию патриарха Гермогена, сочетался браком с княжною Марьей Петровной Буйносовой-Ростовской, с которою был помолвлен еще при Лжедмитрии I: он надеялся получить от нее наследника престола и таким образом упрочить свою династию.

Во время Тульской осады на сцену действия выступил наконец и второй Лжедмитрий, именем которого действовали Шаховской, Болотников и другие вожаки восстания Северской и Южной Украины против Василия Шуйского.

Второй Лжедмитрий объявился приблизительно в том же краю, где и первый, только не по ту сторону московско-литовского рубежа, а по сю, т. е. в московских пределах, именно в Стародубе-Северском. Край сей в то время признавал своим царем не Василия Шуйского, а мнимо-спасшегося Лжедмитрия; следовательно, принявшему на себя его имя уже не было нужды объявляться за литовским рубежом. Так как проживавший в Самборе у жены Юрия Мнишка Молчанов сам отказался взять на себя эту опасную роль или был найден для нее непригодным, то приятелям и родственникам сей фамилии пришлось употребить довольно много времени, чтобы отыскать и подготовить другое лицо. Вопрос о том, кто был второй Самозванец и кто его выдвинул, представляется еще более темным, чем вопрос о первом Самозванце. Но мы едва ли будем далеки от истины, если предположим, что и тут орудовала приблизительно та же польская интрига и почти те же лица, как и в предыдущем случае. По всей вероятности, за отсутствием мужских представителей фамилии Мнишков и Константина Вишневецкого находившихся в московском плену, действовали тот же родственник и тот же пособник, которые участвовали в создании первого Самозванца, т. е. литовский канцлер Лев Сапега и Адам Вишневецкий, двоюродный брат Константина. Первый по-прежнему интриговал с вedomа и тайного согласия короля, руководил делом через других, и, как увидим, косвенно обнаружил свое участие тем, что вскоре выставил

своего двоюродного брата Яна Сапегу на главном театре действия; а второй, горевший нетерпением освободить брата и Мнишков или отомстить за них, лично привел свою дружину на помощь Самозванцу.

Относительно личности второго Лжедмитрия исторические источники приводят разные показания; но большинство их сводится к тому, что происхождением он был из Белоруссии и, по-видимому, попович. Зная польский язык, он, в противоположность первому Лжедмитрию, хорошо знал и русскую грамоту, и весь церковный крут. А некоторые известия считают его крещеным евреем, который был знаком с Талмудом и вообще с еврейскою письменностию. Одно такое известие прибавляет, что его звали Богданком, что он находился в числе слуг первого Лжедмитрия и был им употребляем для сочинения русских писем; поэтому знал многие его тайны; а после его гибели бежал обратно в Литовскую Русь. Здесь он проживал некоторое время в Могилеве. Священники в Западной Руси обыкновенно при своих церквях содержали маленькие школы для обучения детей грамоте. Такую школу в Могилеве имел протопоп церкви св. Николая; он нанял Богданка учителем в свою школу и обращался с ним по-приятельски. Но сластолюбивый наставник стал слишком назойливо ухаживать за женою протопопа; за что был больно наказан и прогнан. Он исчез из Могилева, скитался по разным местам, сидел даже в тюрьме по подозрению в шпионстве и потом вдруг объявился в Стародубе. По всей вероятности, в это именно время состоялось тайное соглашение его с агентами Мнишков, Вишневецких и Сапегов, т. е. тех польских и западнорусских панов, которые для своих целей искали преемника или заместителя первому Лжедмитрию. По наружности новый Самозванец хотя и мало походил на своего предшественника, однако несколько его напоминал; зато резко отличался от него своею неотесанностию, дурными манерами и грубым языком; впрочем, не уступал ему склонностию к распутству. Помянутые вельможи — покровители приставили к нему ментором шляхтича Меховецкого, который учил его хорошим манерам и собирал для него военную дружину. Меховецкий отправил Самозванца с несколькими агентами вперед в Стародуб; а сам выжидал, какой оборот примет его дело в Северщине. Стародуб, может быть, избрали потому, что первый Лжедмитрий, хорошо знакомый другим северским городам, по-видимому, не бывал в Стародубе, и следовательно, жителей его легче было обмануть человеку, принявшему то же имя.

Тут Самозванец сначала явился под видом московского боярина Нагого, дяди царя Димитрия; а товарищем при нем находился подьячий Алексей Рукин. Они распространяли слухи, что Димитрий жив и скоро придет в Северскую землю, в сопровождении пана Меховецкого и вооруженного отряда всадников. Когда же стародубцы, наскучив ожиданием (и может быть, направленные ловкими агентами), схватили их обоих и под пытку начали расспрашивать Рукина, сей последний, как бы не стерпя пытки, указал на мнимого Нагого, говоря, что это и есть настоящий Димитрий. Стародубцы очень обрадовались, с торжеством отвели Самозванца в крепость и окружили его почестями. В это время в Стародубе же находился один из донских атаманов, Иван Мартынович Заруцкий, впоследствии занявший очень видное место между деятелями Смутной эпохи. Он был происхождением западнорусс (из Тарнополя) и, очевидно, православный по вере. Еще в детстве он был уведен пленником в Орду, вырос там и ушел оттуда к донским казакам. В качестве одного из их атаманов он прибыл на службу к первому Лжедмитрию; а после его смерти пристал к мятежным шайкам, воевавшим против Шуйского. Во время Тульской осады Заруцкого, как человека усердного и расторопного, Болотников послал разыскать Димитрия и поторопить его

прибытием на помощь. Когда второй Лжедмитрий объявился народу, этот Заруцкий — разумеется, не случайно очутившийся в Стародубе, а действовавший по предварительному уговору — немедленно представился ему, подал письмо от тульских сидельцев и вообще признал его царем Димитрием. Вслед затем прибыл Меховецкий с несколькими наемными хоругвями польско-русской конницы. Собралось также несколько тысяч мятежников северян; ибо почти вся Северщина поспешила к нему пристать. Таким образом Самозванец очутился во главе значительной военной силы. Он выступил в поход и отправил под Тулу к царю Василию посланца с требованием уступить ему несправедливо захваченный престол. Любопытно, что посланец сей, принадлежавший к сословию боярских детей, прибыл в царский стан и уверял всех в истинности Димитрия; подверженный жестокой огненной пытке, он с твердостью принял смерть.

Лжедмитрий II взял Карачев, занял Брянск и Козельск; но высланные против него отряды остановили его успехи. Очевидно, он далеко не обладал воинственным пылом и удалью своего предшественника; притом поляки, хорошо зная его самозванство, относились к нему с пренебрежением, нередко бунтовали и грозили его покинуть. Между тем Тула сдалась Василию. После некоторых движений и переходов Самозванец удалился в Орел, где стал ожидать подкреплений из Польши и Литвы. И действительно, вскоре прибыли к нему: Адам Вишневецкий с 2000 конницы, паны Тышкевич, Хмелевский, Будило, Зборовский, Веламовский, Руцкий, Казановский и многие другие. Около того времени в Польше окончился победою короля рокош, поднятый Зебжидовским и Радивилом; множество шляхтичей, принимавших в нем участие и теперь оставшихся без дела, скитались близ московских границ; почему легко было набирать из них военные отряды. Самый многочисленный отряд, в 4000 человек, привел Самозванцу западнорусский князь Роман Рожинский. Фамилия Рожинских была связана дружбою с фамилией Вишневецких, и князь Роман сохранял еще православие, так же как и князь Адам. Этот Роман Рожинский был человек храбрый, искусный в военном деле, но слишком преданный крепким напиткам. Он начал с того, что отнял предводительство польскими и западнорусскими дружинами у Меховецкого, а потом во время какой-то ссоры собственноручно его убил. Он заставил рыцарское коло выбрать себя гетманом и сделался главным руководителем Самозванца. Заруцкий отправился на Дон и привел несколько тысяч казаков. Пришли и запорожцы. Из казацких начальников вскоре выдвинулся западнорусский шляхтич Лисовский, который за участие в рокоше и другие проступки был осужден на банницию, т. е. изгнание из отечества.

Самозванство в то время на Руси вошло в какую-то моду; особенно пользовались им казаки как поводом для своих грабительских подвигов. После казни Лжепетра один за другим появлялись новые самозванные царевичи, так что число их дошло до десяти. Одни называли себя сыновьями Федора Ивановича, кто Федором, кто Клементом, Савелием, Ерофеем и пр.; в Астрахани некто назвался Лаврентием, сыном царевича Ивана Ивановича; другой объявился там же и выдавал себя за Августа, сына самого Ивана Грозного от четвертой его супруги Анны Колтовской. Со Лжефедором казаки пришли было на помощь к Лжедмитрию II, когда тот стоял под Брянском. Однако последний не признал в нем своего племянника и приказал казнить. Также казнил он пришедших после самозванцев — Лаврентия и Августа. Тогда и другие подобные самозванцы вскоре исчезли бесследно.

Когда у Лжедмитрия II собралось большое войско из польских, казацких и северских дружин, он весною 1608 года стал готовиться к походу на Москву. Высланная против него рать находилась под начальством неспособного царского брата Димитрия Шуйского и

тайного недоброжелателя Шуйских князя Василия Голицына. Под Волховом они потерпели поражение. После того, в мае месяце, Самозванец поспешно двинулся к столице. По примеру Болотникова он старался привлечь на свою сторону в особенности черный народ; а потому в своих грамотах разрешал крестьянам брать себе земли бояр, присягнувших Шуйскому, и даже силою жениться на их дочерях. Подобные грамоты производили действие в украинских областях: крестьяне волновались, а дворяне и дети боярские покидали поместья и с своими семьями уезжали в Москву. Оставшись без служилых людей, области эти легко переходили в руки Самозванца, и ополчение его умножалось приливом черни. Зато столица наполнилась служилыми людьми, которые из чувства самосохранения решились стоять за Шуйского. Впрочем, изменники встречались даже в среде боярского сословия. Так в войске, которое стояло на берегах речки Незнани, на дороге между Калугою и Москвою, под начальством Михаила Скопина-Шуйского и Ивана Никитича Романова, трое князей, Катырев, Троекуров и Трубецкой, подговаривали ратников к измене. Их схватили и отправили в Москву; но царь (согласно своей присяге при воцарении) опять не решился казнить знатных людей, а разослал по тюрьмам; казни подверглись только некоторые второстепенные начальники. В отношении же простых людей Василий Шуйский отнюдь не отличался милосердием: современники рассказывают о постоянных и многочисленных казнях попадавших в его руки русских ратников, сражавшихся за Самозванца; их без пощады вешали, а особенно много топили в Москве-реке. Весною после половодья на лугах и полях оставалась масса трупов, изъеденных щуками и другими рыбами, покрытых раками и червями. Они разлагались и заражали воздух.

Самозванец или собственно Рожинский обошел войско Скопина-Шуйского, с Калужской дороги перешел на Волоколамскую и приблизился к Москве с северной стороны. Сначала он думал расположиться в селе Тайнинском, чтобы отрезать столицу от северных областей, остававшихся верными царю Василию; но увидел сам себя отрезанным от южных и западных украин, откуда ожидал подвозов и подкреплений. Поэтому, после некоторых передвижений и мелких стычек, Рожинский подвинулся на запад и выбрал местом лагеря лежащее в 12 верстах от столицы село Тушино, то есть угол, образуемый рекой Москвою и ее левым притоком Сходнею. Самозванец велел свозить из окрестных деревень лес и строить жилища, копать рвы и насыпать валы, так что лагерь его скоро обратился в укрепленное предместье Москвы. У него было здесь семь или восемь тысяч отборного польско-литовского войска, тысяч десять казаков донских и запорожских, и несколько десятков тысяч всякого русского сброда. Меж тем, по царскому приказу, Скопин-Шуйский с своей трехполковою ратью пришел с берегов Незнани и расположился на Ходынском поле, т. е. между Тушином и Москвою; а сам царь Василий с дворовым полком и стрельцами стал у него в тылу на Ваганькове, здесь окопался и расставил вокруг наряд или орудия. В городе оставалось еще достаточное количество ратников для обороны стен, снабженных множеством пушек и пищалей. Вначале перевес сил, очевидно, был на стороне Шуйского; но слабая их сторона заключалась в шатости умов и склонности к изменам. Он не мог вполне на них полагаться; а потому прибег к переговорам.

Еще в предыдущем 1607 году Сигизмунд III отправил в Москву новое посольство с паном Витовским и князем Друцким-Соколинским во главе. Они должны были поздравить Шуйского с восшествием на престол, а главное, просить об отпуске как прежних послов, Олесницкого и Гонсевского, так и всех поляков, задержанных после убиения Лжедмитрия, в том числе Мнишков с их свитой. Сих последних Василий еще до прихода второго Самозванца велел из Ярославля перевести снова в Москву. По настоянию новых послов он позволил им видаться не только с прежними послами, но и с Мнишками. Бояре завязали переговоры о мире; но обе стороны долго не могли сойтись в условиях. Приход Самозванца их ускорил. Василий даже позволил Рожинскому сноситься с польским посольством, надеясь, что по заключении мира поляки уйдут в отечество. Но он еще мало знал польское вероломство. Люди, приходившие от Рожинского к послам, тщательно высматривали состояние укреплений как в городе, так и в Ходынском стане, и начальник их не замедлил воспользоваться полученными сведениями. Московская рать сначала соблюдала все меры предосторожности; день и ночь бодрствовала неусыпная стража, доспехи и кони содержались наготове. Но мало-помалу бдительность ослабела, особенно вследствие толков о скором заключении мира. Тогда Рожинский однажды на заре ударил на сонный Ходынский стан, разгромил его, захватил обоз и много пушек. Но стоявший на Ваганькове царь выслал своим на помощь ближних людей, с собственными дворовыми отрядами, и те после жестокой битвы прогнали ляхов до речки Химки. Такое вероломство, однако, не помешало заключению договора, который состоялся на следующих главных условиях: в течение трех лет и одиннадцати месяцев соблюдается перемирие, во время которого будет приступлено к утверждению прочного мира; обе стороны остаются при том, чем владеют; князю Рожинскому и его товарищам немедленно воротиться в отечество; воеводу Сендомирского и всех задержанных поляков освободить; Марине впредь не именовать себя московскою царицею и пр.

Василий поспешил исполнением договора, скрепленного обоюдною присягою; вместе с послами он отпустил Мнишков и других панов с их свитой под прикрытием отряда, которым начальствовал князь Владимир Долгорукий. Но поляки нисколько не думали исполнять договор. Никто из них не покинул Тушинского лагеря. Из него вышли 2000 конницы только для того, чтобы перехватить Мнишков на дороге в Литву. Этим отрядом начальствовали Александр Зборовский и Ян Стадницкий.

Чтобы избежать городов, перешедших на сторону Лжедмитрия II, поляков повезли не прямо на Смоленск, а кружным путем через Углич и Тверь. Целый месяц ехали они по местам пустынным, болотистым или до того лесистым, что дорогу иногда приходилось прокладывать топорами; причем путники терпели большой недостаток в продовольствии. Среди самих поляков существовало разногласие. Одни паны желали избежать встречи с тушинскими отрядами, чтобы поскорее воротиться на родину; они знали, что из Тушина разсланы были в западные города грамоты с приказанием задержать отпущенных из Москвы панов и литовских послов и посадить их под стражу. Другие, наоборот, втайне ожидали погони и желали попасть в руки тушинцев. Во главе последних стояли Мнишки и старший из первых послов, Олесницкий. Кончилось тем, что обе стороны заспорили между собою и разделились. Гонсевский и вторые послы с частию русского конвоя переправились через Волгу и потом благополучно достигли литовского рубежа; а Мнишки и Олесницкий нарочно замедлили свое движение и направились прямо на Смоленск. Русский конвой, ввиду многочисленной и вооруженной польской свиты, не решился действовать силою и

также разделился. Недалеко от крепости Белой отряд Зборовского нагнал вторую партию поляков (по-видимому, имея от нее тайные уведомления); после небольшой стычки русский конвой рассеялся; Олесницкий и Мнишки со свитой попали в руки тушинцев. (Вторая половина августа 1608 года.)

В это самое время из Литвы вступил в пределы Московского государства известный своею воинскою отвагою Ян Петр Сапега, староста Усвятский, родственник литовского канцлера, по всей вероятности, подвигнутый его же внушениями. Он собрал до 7000 ратников и вел их на помощь Тушинскому вору (как прозвали его русские) или царiku (как называли его поляки). Сей последний прислал литовскому искателю приключений обещание великих наград; только просил, чтобы он не позволял своим воинам грабить Московскую землю. Случайно Сапега стоял станом неподалеку от того места, где Зборовский захватил названную польскую партию. Узнав о том, Марина отдалась под покровительство Сапеги; он взял ее под свою охрану, и все вместе направились к Тушину. По дороге в местах, передавшихся Самозванцу, Марину встречали с почестями как свою царицу. Между Мнишками и Лжедмитрием II втайне завязались деятельные переговоры.

Доселе, вследствие разноречивых слухов, Марина еще могла мечтать о том, что, может быть, ее мужу действительно удалось как-нибудь спастись от смерти. Но теперь всякая надежда должна была исчезнуть. Возлюбленный супруг не только не спешил к ней на встречу, но стал присылать разных лиц, которые прямо потребовали от нее, чтобы она публично признала его своим мужем; нашлись и словоохотливые поляки, которые сообщили ей о нем разные неутешительные подробности. Женское чувство заговорило в честолюбивой польке, и она отвечала отказом. Сапега стоял около Тушина отдельным лагерем, и тут целую неделю тянулись переговоры с Самозванцем. Рожинский и сам Сапега уговаривали Марину уступить необходимости. Наконец прибегли к помощи старого Мнишки. Царик обещал ему выполнить обязательства своего предшественника, т. е. кроме большой суммы денег, отдать ему Северское княжество, когда утвердится на московском престоле. Старый интриган вновь продал свою дочь и убедил ее согласиться. Ему помог иезуит, уверив ее, что она должна жертвовать собою для блага Римской церкви. После того состоялась торжественная встреча ввиду всего войска. Марина преодолела свое отвращение к Тушинскому вору и бросилась ему в объятия. Тот же иезуит тайно их обвенчал. При сем Марина выговорила условие, чтобы царик не пользовался супружескими правами, пока не завладеет Москвою; но это условие потом не было соблюдено. Юрий Мнишек, пожив несколько времени в Тушинском лагере, воротился в Польшу. Впоследствии, когда дело его нового зятя не подвигалось вперед и Сигизмунд III сам задумал поход в Московскую землю, Мнишек по требованию короля прекратил даже переписку с дочерью и, по-видимому, оставил ее на произвол судьбы; на что Марина горько жаловалась ему в своих письмах.

В то время как Тушинский вор осаждал Москву, в областях кипела борьба между его сторонниками и населением, оставшимся верным царю Василию. На Рязанскую землю царик еще до прихода своего под Москву послал Лисовского с толпою казаков и русских воров. Тот засел в Зарайске. Главный вождь рязанцев Прокопий Ляпунов незадолго до того был сильно ранен в ногу при осаде Пронска, который передался на сторону Самозванца. Поэтому в товарищах с рязанским воеводою князем Ив. Андр. Хованским на Лисовского вместо Прокопа пошел брат его Захар; но сей последний не владел его талантами, а отличался только буйным нравом и пьянством. Лисовский воспользовался неустройством рязанского ополчения и разбил его наголову. После того он напал на Коломну, взял ее

приступом и разграбил. Отсюда он двинулся к Москве и соединился с Тушинским воеводой, имея под своим начальством до 30 000 человек разного сброда и ведя взятого им в плен коломенского епископа Иосифа, которого велел привязать к пушке. (Этот Иосиф вместе с Гермогеном не одобрял брака первого Самозванца с Мариной.) В Москве решили помешать соединению Лисовского с Тушином, и навстречу первому царь послал трехполковое войско под главным начальством князя Ивана Семеновича Куракина. В битвах Смутной эпохи этот Куракин, наряду с Михаилом Скопиным и немногими другими боярами, выдается военными способностями. Он сошелся с неприятелем на берегах Москвы у Медвежьего брода и поразил его, так что Лисовский только с остатком своего полчища достиг Тушинского лагеря. Епископ Иосиф был освобожден из плена, и самая Коломна вновь занята царским отрядом. Таким образом, сообщение Москвы с Рязанской Украиной и главная часть этой Украины остались в руках Шуйского.

Прибытие Яна Сапеги значительно усиливало Тушинского вора. Теперь около него собралось тысяч пятнадцать хорошо вооруженных поляков и западноруссов; казаков было вдвое более того. Запорожцы массами двинулись тогда в Московское государство, как хищные птицы, почуявшие падаль. Вместе с русскими изменниками количество всех отрядов, стоявших под знаменами второго Лжедмитрия, заключало в себе до 100 000 человек. Но не было одного общего предводителя, не было единодушия. Скоро обнаружилось, что Рожинский не мог ужиться в согласии с гордым Сапегою, который не хотел ему подчиниться и думал гетманствовать в войске царика. Чтобы избежать дальнейшего соперничества, решено было дать Сапеге отдельное начальство. Ему поручили взятие Троице-Сергиевой Лавры, которая служила главным опорным пунктом для поддержания связи между Москвою и северными Волжскими областями, для получения отсюда подвозов и подкреплений. Сама по себе она привлекала жадность поляков накопленными в ней богатствами, и они надеялись захватить их в свои руки. Кроме того, сия обитель важна была своим духовным влиянием на народ, который питал к ней особое уважение, и кого она признавала царем, того он считал более законным. Когда Сапега выступил из Тушина, царь Василий задумал повторить с ним то же, что недавно удалось сделать с Лисовским, и выслал против него также трехполкную рать, числом свыше 30 000 человек. Но главное начальство над нею он вверил Ивану Шуйскому, одному из своих неспособных братьев. Москвитяне ударили на неприятеля около села Рахмана и вначале одержали верх; поляки дрогнули; сам Сапега ранен пулею в лицо. Но тогда он с несколькими запасными хоругвями гусар и пятигорцев произвел отчаянную атаку, от которой москвитяне в свою очередь смешались и затем обратились в бегство. Большая часть ратников после этого поражения разъехалась по домам, и воеводы воротились в столицу с немногими людьми. А победитель продолжал свое движение на Троицкую Лавру.

Поражение под Рахмановом произвело большое смятение в столице. Многие служилые люди, собранные из разных областей, пришли в уныние и стали покидать Москву: частью они возвращались в свои уезды, частью уходили в Тушино. Василий Иванович захотел устыдить малодушных и объявил, что там он намерен сидеть в осаде, но что никого не удерживает; кто хочет служить ему, пусть служит, а кто не хочет, пусть уходит. Духовенство принялось вновь (кажется, в третий раз) приводить москвичей к присяге на верность царю Василию. Никто, конечно, не объявлял заранее о своей измене, и все служилые люди давали присягу. Она, однако, не помешала многим дворянам и детям боярским вскоре потом уехать в Тушино. В числе отъехавших находилось и несколько знатных людей, каковы князья

Дмитрий Тимофеевич Трубецкой, Дмитрий Мамстрюкович Черкасский, Сицкий, Засекины и др. В Тушине подобные изменники встречали ласковый прием, получали жалованные грамоты на поместья и вотчины, награждались саном боярина, окольного и т. п. В случае же какого недовольствия уехавшие возвращались потом в Москву с видом раскаяния. Царь Василий при своих стесненных обстоятельствах не смел их наказывать, а напротив, должен был миловать и даже награждать. Пожив в Москве, некоторые потом уходили опять в Тушино. Подобные «перелеты» — как их называли современники — иногда по несколько раз совершали свои переходы из одного лагеря в другой и оставались безнаказанными. В Москве даже многие семьи старались кого-либо из родственников своих посылать на службу в Тушино, чтобы иметь себе защитников и ходатаев на случай торжества Тушинского вора. Летописец говорит, что бывали иногда такие случаи: люди сидят вместе за одной трапезой в царствующем граде; после же трапезы одни едут в царские палаты, а другие скачут в тушинские таборы. Так обыкновенно падает общественная нравственность в подобные смутные времена, когда никто не может поручиться за завтрашний день.

Немалую роль играла в этих изменах и корысть. Как знатные люди уходили в Тушино и выпрашивали там себе титулы и поместья, так многие торговые люди тайком уезжали туда же с своими товарами, и, взяв за них хорошую цену, опять возвращались в город. И вот, меж тем как в столице во всем испытывали недостаток и нужду, в Тушине, наоборот, имели во всем изобилие, щеголяли в нарядных одеждах и жили весело. Отряды фуражиров рыскали по окрестным областям, насильно забирали у жителей скот, живность, хлеб, овес, сено и всякие припасы, которые привозили в Тушино. Поляки заставляли русских возить себе вино, пиво и мед, и постоянно бражничали. Не было также недостатка в женщинах, ибо вместе с припасами забирали по городам и селам красивых женщин и девушек. Ляхи не только забирали женщин у простолюдинов, но нередко отнимали их у начальных русских людей, перешедших на сторону Лжедмитрия, и потом возвращали только за большой выкуп. Презрение их к русским изменникам было столь велико, что они позволяли себе такие проделки: возьмут выкуп, а пленницу все-таки не отдадут и требуют вторичного выкупа, или после выдачи ее засылают на пути засаду и только что освобожденную пленницу опять отнимают силою оружия. Бывали, по словам летописца, и другие случаи: жены и девицы так свыкались с своими насильниками, что не хотели расстаться с ними, и, будучи выкуплены, сами к ним убегали.

Летописец — современник (Палицын) с глубоким негодованием говорит о поведении русских изменников. Они так усердствовали ляхам и литве, что в сражениях становились впереди и заслоняли их своею грудью. Когда ляхи брали в плен какого-либо доброго воина из царской рати, они оставляли его в живых и сохраняли; но если он попадал в плен к русским изменникам, то последние бросались на него, как дикие звери, и разносили по суставам, так что сами поляки содрогались от их зверства; а изменники называли таковых «худяками» и «жонками» за их мягкосердие. На походах, когда встречались непроходимые лесистые и болотистые места, ляхи иногда становились в тупик и не знали, как быть; но русские изменники спешили для них наводить мосты и гати или прокладывать тропинки и таким образом их проводили. И вот какие-нибудь две-три сотни ляхов или литвы (т. е. западноруссов), которых гораздо многочисленнейшие русские изменники могли бы в таких глухих местах истребить всех до единого, идут благополучно поодиночке вдоль тропинок, находясь как бы под охраною русских людей. А когда случится разграбить какое село или город, то всю лучшую добычу поляки берут себе и даже забранное русскими отнимают у

них. И всякое насилие, учиненное ими, изменники переносят благодушно. С тупым равнодушием русские воры смотрели, как ляхи и западноруссы, державшиеся или латинской веры, или какой реформатской схизмы, грабили и оскверняли монастыри и святые храмы, запирали в них скот, брали ризы на свои одежды, воздухи и шитые пелены употребляли вместо попон или дарили их на наряды своим блудницам; пили и ели из церковных сосудов; иноков и священников мучили всякими пытками, допрашивая, где спрятаны сокровища; а потом предавали их смерти или заставляли исполнять на себя всякие черные работы: молоть хлеб, колоть дрова, носить воду, мыть грязные порты, ходить за конями, стеречь скот и т. п. Мало того, во время бражничанья заставляли на свою потеху таких «святолепных» мужей петь срамные песни и плясать; а непослушных умерщвляли.

По части грабительства и опустошения с русскими ворами могли поспорить только казаки: чего не могли унести с собою, то предавали уничтожению; если это было жито какое, его или жгли, или сыпали в воду, в грязь, топтали конями; дома и утварь если не жгли, то рубили на части, чтобы ни жить в них, ни пользоваться ими никто не мог. А людей истребляли разными варварскими способами: свергали с высоких городских башен, бросали с крутого берега в речную глубину, привязав камень на шею, расстреливали из луков и самопалов, перебивали пополам голени; маленьких детей бросали в огонь перед очами родителей, разбивали о пороги и углы или втыкали на копья и сабли. Красивых жен и девиц, а также скромных иноков насильно уводили в свои станы; но многие из них, чтобы не подвергнуться осквернению, налагали на себя руки или бросались в реку и топились. Особенно свирепствовали холопы: следуя разрешению Тушинского вора, они издевались над бывшими своими господами, и, связав их, перед ними насильно уводили их жен и сестер. Вообще современник-летописец не пожалел самых мрачных красок, чтобы изобразить бедственное состояние Московской Руси в Смутную эпоху.

Оба соперника, боровшиеся тогда за московский престол, оказывались гораздо ниже своего положения: Тушинский царик был игрушкой в руках поляков; а царем Василием Шуйским бояре «играли как детищем», по выражению того же летописца. Согласно с обычаями времени и своим личным характером, Шуйский то обращался к заступничеству Церкви и св. угодников, то прибегал к грубому суеверию. Например, если верить иноземному свидетельству, он собирал колдунов; по их совету приказывал вырезать младенцев из чрева беременных женщин, а также убивать коней, чтобы достать их сердце, и все это зарывать в землю около того места, где стояло царское войско, и будто бы оно оставалось невредимо, пока не выступало за черту. В то же время в столице распускались слухи о чудесных видениях, которых удостаивался тот или другой благочестивый человек: ночью в каком-либо храме виделся яркий свет или слышались поющие голоса, или являлась сама Богородица, которая умоляла Христа пощадить стольный город и не предавать его в руки врагов, и Он обещал, если люди покаются. Вследствие чего налагался пост и пелись молебны. Эти рассказы и молебствия несомненно действовали на воображение и чувство набожных москвичей и многих укрепляли в твердом стоянии против Тушинского вора. Самые «перелеты» иногда поддерживали их твердость: из Тушинского лагеря они приносили полную уверенность в самозванстве этого вора и говорили, что он ничего общего не имеет с первым названным Димитрием. Особенное впечатление произвело громогласное объявление о том князя Василия Масальского, который из Тушина с раскаянием воротился на службу царю Василию. А общее убеждение в самозванстве в свою очередь еще более укрепляло почитание мощей царевича Димитрия и вселяло веру в заступничество сего

нового угодника.

Когда началась осада столицы Тушинским вором, многие области отпали от Шуйского, а оставшиеся верными колебались. Повсюду замечалась шатость, везде гнездилась измена. В таких обстоятельствах он вспомнил, как шведский король Карл IX неоднократно предлагал ему свою помощь для борьбы с общим их врагом, Польшею. Тогда, во время Болотникова, московский царь надеялся собственными силами управиться с мятежниками и отклонил все предложения. Теперь обстоятельства значительно изменились к худшему, и Шуйский уже сам обратился с просьбою о помощи к шведскому правительству. Для переговоров со шведами и для набора северо-западного ополчения он еще в начале Тушинской осады отправил в Новгород и Псков своего племянника Михаила Скопина-Шуйского с дьяком Сыдавным Зиновьевым и стольником Семеном Головиным, который приходился шурином Скопину; ибо незадолго до того сей последний вступил в брак с сестрою Семена, Александрою Васильевною Головиной.

Хотя новгородцы, хранящие традиционную приязнь к роду Шуйских, приняли Скопина ласково; однако ему пришлось преодолевать большие препятствия, чтобы выполнить свое поручение. В Швецию он отправил своего шурина Головина и дьяка Сыдавного; а сам остался для сбора ополчения. В Новгороде он успел собрать небольшую дружину; но Псков именно в это время отложился. Там все еще существовала старая вражда между большими и меньшими людьми. Вражда сия особенно оживилась при корыстолюбивом псковском воеводе Петре Никитиче Шереметеве и обострилась по следующему поводу.

Василий Иванович потребовал со Пскова 900 рублей денежного вспоможения. Деньги эти были собраны с гостей и меньших людей по раскладке. Для доставки их в Москву гости прибрали пять вожakov противной им партии, Федора Умойся Грязью, Ерему Сыромятника и т. д.; а в то же время отправили тайную грамоту, извещавшую, что меньшие люди казны от себя не дали и что эти посланцы суть главные их вожаки, которые царю добра не хотят. Вследствие такого доноса четверо из них в Москве были осуждены на казнь; а пятый, Ерема Сыромятник, не был вписан в грамоту по желанию Петра Шереметева, на которого он много работал даром. Известно, что Василий Шуйский, весьма снисходительный к знатным, простых людей не щадил, и четверо осужденных псковичей уже были выведены на площадь для казни; но тут вступились за них служившие в Москве псковские стрельцы и упростили царя о помиловании, ручаясь за них своими головами. Весть о сем событии произвела во Пскове сильное смятение; меньшие люди поднялись на больших; по их требованию, воевода Шереметев засадил в тюрьму семь человек гостей. Однако смятение все возрастало. Так как большие люди оставались верны Шуйскому, то меньшие стали склоняться на сторону Тушинского самозванца. Когда многих взятых в плен тушинцев разослали по городам, новгородцы топили их в Волхове, а псковичи, наоборот, кормили, поили и вообще жалели их. Лукавый Самозванец с пленными обращался иначе, чем Шуйский; так попавшие в его руки стрельцы из Псковской области были им обласканы, приведены к присяге и отпущены домой с грамотой, которая убеждала их сограждан покориться своему якобы законному государю. Эта мера имела успех; а ей помогло еще то обстоятельство, что царский воевода Петр Шереметев и царский дьяк Иван Грамотин, отличавшиеся корыстолюбием и неправосудием, были очень нелюбимы во Пскове.

Сначала возмутились псковские пригороды. Под начальством тушинского воеводы Федора Плещеева они подступили к самому Пскову. А тут еще из Новгорода пришло требование, чтобы псковичи соединились с немцами (шведами) и вместе с ними шли на

освобождение Москвы; тогда как во Пскове еще не угасла старинная ненависть к немцам вообще. Псковские меньшие люди наконец тоже возмутились; они отворили ворота Плещееву, посадили его у себя воеводою, присягнули Тушинскому вору и начали жестоко преследовать больших людей.

Псковский мятеж отразился и в Новгороде. Здесь также начались раздоры между лучшими людьми и простонародьем. Видя шатость в умах, Скопин, по совету воеводы, известного Михаила Игнатьевича Татищева, выступил из Новгорода в пригороды; но и там происходило то же волнение. Прежде всего Скопин направился в крепкий Ивангород; но дорогою получил известие, что последний присягнул Самозванцу. Скопин пошел к Орешку; но сидевший там воеводою известный Мих. Глеб. Салтыков не впустил его в город. Скопин двинулся к устью Невы, откуда хотел уже ехать в Швецию; но к нему прибыло посольство из Новгорода, состоящее из пятиконецких старост, с известием, что митрополиту Исидору удалось умиротворить граждан, и с приглашением вернуться. Скопин поспешил опять в Новгород. Вскоре из Швеции прибыл сюда королевский секретарь Моне Мартенсон и заключил с ним предварительный договор о вступлении в царскую службу пятитысячного вспомогательного отряда с платою по 100 000 ефимков (рейхсталеров) в месяц.

Тушинское лжеправительство встревожилось, когда получило известие о событиях в Новгороде. Решено было отправить туда сильный отряд под начальством полковника Кернозицкого, с целью завладеть этим важным городом. Кернозицкий по дороге захватил Тверь и Торжок. Скопин с своей стороны вознамерился выслать отряд к Бронникам навстречу неприятелю, Татищев сам вызвался его вести. Но он был нелюбим новгородцами по той же причине, как и другие московские воеводы, т. е. за притеснения и вымогательства. Некоторые граждане донесли Скопину, что Татищев недаром вызывается идти на Кернозицкого, что он задумал соединиться с ним и стать на сторону Лжедмитрия. Скопин не хотел взять на себя решение по такому важному обвинению; он собрал ратных людей и, в присутствии Татищева, объявил им о доносе. Тут недоброжелатели сего последнего подстрекнули толпу, и она, бросившись на воеводу, тотчас его умертвила, без всякого исследования дела. Таким образом вопрос о доносе остался неразъясненным, и юный вождь мог упрекнуть себя в неосмотрительном поступке. Он велел с честью похоронить воеводу в Антониеве монастыре, а имущество его продать с публичного торгу. Так жалко погиб один из наиболее видных деятелей первой половины Смутного времени. Устрашенные его участью и своеволием толпы, некоторые дворяне и дети боярские уехали из Новгорода и передались Самозванцу. Высылка отряда расстроилась; Кернозицкий беспрепятственно подошел к Новгороду и стал в Хутыньском монастыре. Но в это время на помощь новгородцам шли крестьяне из волостей. В Тихвине они собрались под начальством Горихвостова; из заонежских погостов их вел Розанов. Тихвинцы дошли до Грузина; тут несколько ополченцев попали в плен к полякам и на их расспросы сказали, что за ними идет большая рать. Смущенный такою вестью, Кернозицкий отступил от Новгорода и расположился в Старой Русе; чем дал Скопину возможность спокойно дожидаться прибытия шведской помощи.

В северных областях Московского государства в то время кипела деятельная борьба между двумя сторонами: царя Василия и Тушинского царика. Одни города продолжали держаться Шуйского, а другие добровольно или насильно приставали к Самозванцу. Вместе с городом обыкновенно переходил к нему и уезд, т. е. сельское население следовало за городским. Покорением северного Поволжья распоряжался не Рожинский, занятый

московскою осадю, а другой тушинский гетман, более деятельный и предприимчивый Сапега, стоявший под Троицею, следовательно, ближе к Поволжью. Он посылал туда отряды, составленные обыкновенно из небольшого числа поляков и гораздо большего количества казаков и русских изменников. Между ближайшими к нему городами прежде других сдался Суздаль. Здесь даже сам архиепископ Галактион подал гражданам пример измены — пример тогда довольно частый среди игумнов и священников, но очень редкий среди высшего русского духовенства. Потом сдался Владимир-Залесский, воевода которого Иван Годунов изменил Шуйскому и также присягнул Самозванцу. Точно так же без сопротивления сдался отряду поляков и казаков Переяславль-Залесский. Мало того, переяславцы соединились с сим отрядом и вместе пошли на Ростов. Не имея надежных укреплений, ростовцы лучшие люди решили бежать в Ярославль и приглашали к тому же своего митрополита Филарета (Федора Никитича Романова). Но сей последний увещевал их остаться и мужественно стоять за свою веру и за своего государя, объявив им, что он не покинет храма Пречистой Богородицы и Ростовских чудотворцев. Многие не послушали его и ушли в Ярославль. Тогда Филарет созвал оставшихся граждан в соборный храм, облекся в святительские одежды и велел священникам причастить народ, а двери храма запереть ввиду приближавшихся врагов. Филарет, стоя у дверей, начал увещевать переяславцев, чтобы они отстали от ляхов и обратились к своему законному государю. Но враги выломали двери и стали избивать народ. С митрополита сорвали облачение, одели его в худое платье, покрыли его голову татарской шапкой и отдали под стражу. Собор разграбили; причем серебряную раку св. Леонтия ляхи разрубили на части и разделили между собою по жребию. Золотая риза с его образа досталась потом Сапеге, который передал ее Марине. Согласно с помянутым выше русским летописцем, свои воры, т. е. переяславцы, свирепствовали при избиении народа и разорении города Ростова более ляхов. Ростовцев погибло тогда до 2000 человек. Когда митрополита Филарета привезли в тушинские таборы, Самозванец принял его ласково как своего мнимого родственника и возвел в патриаршее достоинство, чтобы иметь собственного патриарха и противопоставить его Гермогену. Из Тушина потом рассылались грамоты от имени «нареченного» патриарха Филарета, которого держали, однако, под крепкою стражею. В своем трудном положении сей муж, по словам русского летописца, «будучи разумен, не преклонялся ни на десно, ни на шуюе; но пребыл тверд в правой вере». По известию же иностранца-современника, он не противился оказанным ему почестям, даже вынул из своего жезла драгоценный яхонт и подарил его Лжедмитрию.

Участь Ростова устрасила другие поволжские города. Так, хорошо укрепленный, многолюдный и богатый Ярославль сдался добровольно тушинскому отряду. Жители его как русские, так английские и немецкие гости, с воеводою князем Барятинским во главе, присягнули Лжедмитрию, выговорив себе условие, что поляки не тронут их имущества, ни жен и дочерей; собрали 30 000 рублей для отсылки в Тушино, обязались снарядить туда же тысячу всадников и доставить известное количество съестных припасов. Поляки, однако, не соблюдали договора и, вошедши в город, принялись грабить и обижать граждан. Затем Шуя, Кинешма, Кострома, Галич, Вологда, Муром, Молога, Углич, Кашин, Белозерск и некоторые другие города большею частию сдались добровольно по одним увещательным грамотам, а частию были покорены силою и подверглись разорению; причем особенно успешно действовал с своими шайками полковник Лисовский. Воеводы в эти покоренные города обыкновенно назначались Са-пегою. Между прочим, он назначил двоих Плещеевых: Федора в Суздаль, а Матвея в Ростов. При сдаче сих городов освобождались заключенные

там пленные поляки и русские изменники. В это же время из Каменной Пустыни выпущен был известный князь Григорий Шаховской, который и поспешил вновь поступить на службу к Самозванцу. На сторону второго Лжедмитрия передались и некоторые поволжские инородцы, именно Мордва и Горная Черемиса, а также хан касимовский Ураз-Магомет. Немало воевод и дворян явилось тогда во главе измены и перешло на сторону Самозванца; после чего они унижались перед ним и его гетманами, особенно перед Сапегою, которого просили ходатайствовать о пожаловании их вотчинами и поместьями, и просьбы их иногда исполнялись. Тушинский царик до того вошел в свою роль, что начал раздавать города и волости в кормление литовским панам и казацким атаманам; например, он дал Заруцкому Тотьму и Чаронду. Только немногие города остались верны своей присяге и отстояли себя силою оружия. Так тушинцы двукратно пытались овладеть городом Коломною, весьма важным по своему положению и значению. Но вовремя извещенный царь Василий посылал туда помощь, которая успешно отбивала врагов. При втором их нападении сюда послан был прославившийся впоследствии князь Димитрий Михайлович Пожарский, который нанес поражение тушинцам за 30 верст от Коломны у селя Высоцкого.

Любопытно при сем наблюдать поведение заволжских городов, наиболее отдаленных, куда, однако, достигали увещательные грамоты Лжедмитрия о покорности. Например, Устюг Великий и Сольвычегодск пересылались между собою и советовались, как им поступить в том или другом случае. Устюжане советовали не торопиться изъявлением покорности Тушинскому царю, а, благодаря своей отдаленности, подождать, чья сторона возьмет; если же, чего не дай Боже, одолеет Тушинский, тогда можно будет послать к нему с повинною. Вычегодцы, имея семью Строгановых во главе, последовали сему совету. Таким образом наряду с двумя боровшимися сторонами явилась еще третья, нейтральная, явно сочувственная более царю Василию, но робевшая перед разбойничьим характером стороны Лжедмитрия. Хотя большинство городов и покорилось сему последнему, однако власть его над ними лишена была прочности и готова была рушиться при всяком удобном случае; ибо скоро делалась тягостною и ненавистною. Причина тому заключалась в бесконечных поборах, в наглom поведении и грабительстве как литовских людей, так и русских воров. Между тем как царское правительство, отрезанное от северных областей таборами Тушинским и Троицким, могло посылать туда только увещательные грамоты, напоминать о верности православию и законному государю, просить о присылке ратных людей на помощь, из Тушина во все подчиненные места приезжали толпы разного рода сборщиков, которые привозили похвальные грамоты покорившимся с обещанием разных милостей и льгот, но в то же время угнетали население тяжелыми поборами денег и всяких припасов на содержание лжецаря и его войска. При этом случалось иногда, что сборщики, отправленные из Тушина, в каком-нибудь месте сталкивались со сборщиками, посланными из-под Троицы от Сапеги, и между ними происходили споры.

Итак к зиме 1609 года за Василием Шуйским оставались еще наиболее значительные города Московского государства, каковы столица, Коломна, Переяславль-Рязанский, Казань, Нижний, Смоленск. Кроме сих городов, чрезвычайно важным опорным пунктом законного правительства явилась знаменитая Троицкая Лавра: обложенная врагами, она представляла тогда отраднй оазис посреди областей, охваченных изменою и мятежом.

ТРОИЦКАЯ ОСАДА И СКОПИН-ШУЙСКИЙ

Сапега подошел к Троицкой Лавре 23 сентября 1609 года. Все его сбродное войско, состоявшее из поляков, казаков и русских изменников, простиралось до 30 000 человек. С Сапегою пришли князь Константин Вишневецкий, братья Тышкевичи, пан Казановский и др. Из отдельных начальников этого скопища наиболее выдающимся явился Александр Лисовский, которого полк составлен был преимущественно из казаков. Неприятель возвестил свое пришествие несколькими пушечными выстрелами; а затем при звуках музыки обошел кругом монастыря, обозревая окрестности и отыскивая удобные места для лагерей. Сапега с главными силами расположился на западной стороне, по Дмитровской дороге; а Лисовский с своим полком стал на юго-восточной, у Терентьевской рощи, между дорогами Московскою и Александровскою. Другие дороги, например, Переяславская и Углицкая, были преграждены особыми сторожевыми отрядами. Вожди немедля принялись укреплять оба лагеря острогом, т. е. рвом и валом с бревенчатым частоколом и пушками; а в остроге ставили теплые избы, ввиду приближавшегося осеннего и зимнего времени.

Лавра, расположенная в холмистой овражистой местности на берегах речки Кончуры, окружена довольно массивною каменною стеною, имеющею вид неправильного четырехугольника, длиною немного более версты. Высота стены, вместе с зубцами, простирается до четырех сажень, а толщина ее три сажени. В стене устроены каморы и бойницы или амбразуры для выстрелов в два, местами в три яруса. По углам и по бокам возвышалось до 12 башен, одни глухие, другие с воротами (Конюшенная, Красная, Водяная и пр.). С юга и запада к стенам примыкали пруды, которые затрудняли подступы с этой стороны. Монастырские слободы и предместья при появлении неприятеля, по обычаю, были выжжены; вне стены сохранили только дворы Пивной и Конюшенный, укрепленные тыном и опиравшиеся на речку Кончуру. Благодаря своим обширным земельным имуществам и многим селам, монастырь имел возможность заблаговременно приготовить большие склады хлеба и всяких запасов. Но расходовать их приходилось с великою бережливостью вследствие скопившегося населения. Крестьяне выжженных слобод и других окрестных селений вместе с женами и детьми искали спасения в стенах монастыря; отчего произошла здесь великая теснота. Многие крестьяне привезли свои хлебные запасы и пригнали скот, который еще более увеличивал сию тесноту. Но собственно ратных людей было немного: несколько десятков дворян и детей боярских и несколько сотен стрельцов и казаков составляли привычное к оружию ядро гарнизона; а затем вооружены были монастырские слуги и крестьяне, способные к бою. Все монахи, нестарые и неувечные, также взялись за оружие; между ними было немало людей, прежде служивших в войске и, следовательно, опытных в военном деле (подобно Пересвету и Ослябе, монахам-витязям времен св. основателя Лавры). Таким образом все число монастырских ратников приблизительно простиралось до 3000 человек. Их разделили на две части: одна назначена для постоянной охраны стен и башен; а другая должна была производить вылазки и в случае нужды заменять убыль или подкреплять первую. Дворяне и опытные в военном деле иноки поставлены сотенными начальниками или головами над вооруженными слугами и крестьянами. Женщины исполняли разные работы, а в минуты крайней опасности помогали оборонять стены. Последние были снабжены пушками и пищальями, расставленными преимущественно в нижних или подошвенных бойницах. Порох, свинец и разное оружие тоже были припасены в значительном количестве.

Гарнизонам начальствовали, по обычаю, двое воевод: первым или главным был князь Григорий Борисович Долгоруков, еще недавно в качестве путивльского воеводы усердно служивший первому Лжедмитрию, которого, по-видимому, он считал истинным царевичем; а вторым или его товарищем был дворянин Алексей Иванович Голохвастов. Воеводы эти не отличались ни взаимным расположением, ни надежной преданностью царю Василию. Но святое место одушевляло защитников общим религиозным рвением. Архимандрит Иосаф своими увещаниями сумел еще усилить это рвение; в начале осады он привел к присяге всех ратных людей, начиная с воевод, и при гробе угодника Сергия заставил их целовать крест на том, что крепко, «без измены», до последней капли крови стоять против врагов отечества и православной веры.

Любопытно, что в стенах Лавры мы встречаем также инокинь, в числе которых находились и две представительницы прежних царских семей, а именно: старицу Марфу, бывшую титулярную ливонскую королеву Марью Владимировну, двоюродную племянницу Грозного, и Ольгу (Ксению) Борисовну Годунову. Эти знатные монахини занимали в монастыре особые помещения, окружены были прислужницами и пользовались более обильным содержанием из царских житниц и погребов.

Обложив монастырь, Сапега сначала пытался подействовать на его защитников двумя грамотами: одна убеждала воевод и служилых людей, а другая архимандрита с братией покориться их «прирожденному» государю Димитрию Ивановичу; его именем обещали всякие милости, грозя в противном случае взять замок силою и предать смерти всех непокорных. Грамоты привез в монастырь боярский сын Безсон Рутотин. Воеводы и дворяне учинили совет с архимандритом и братией; после чего написали общий ответ, заключавший в себе презрительный отказ покориться «ложному царю и латыне иноверным».

Сапега начал осадные работы. Приготовили туры на колесах, т. е. подвижные башенки, прикатили их на заранее намеченные пункты, вооружили мортирами и пушками, окопали рвами и окружили валом. Таким образом устроено было девять батарей. 3 октября из них открыли огонь, стали метать бомбы и каменные ядра. Несмотря на продолжительную и частую пальбу, орудия неприятельские, вследствие их малого калибра, причиняли немного вреда монастырским укреплениям. Снаряды большею частью не долетали до стен, и падали в пруды, ямы и другие пустые места; а которые попадали в стены, производили лишь незначительное сотрясение и осыпание, хотя неприятели старались метить в одни и те же пункты, чтобы учинить проломы. Пальба продолжалась около десяти дней. Сапега надеялся, что она достаточно подготовила решительный удар. 13 октября он устроил в своих таборах большое пиршество, сопровождавшееся скачками и потешною стрельбою; а ночью повел свое полупьяное полчище на приступ. Со всех сторон его ратники устремились к монастырским стенам с лестницами, катя перед собою тарасы или деревянные щиты на колесах. Но осажденные не дремали; стоя у бойниц в нижних каморах или за зубцами стены, они встретили нападающих дружною стрельбою из пушек и пищалей и побили их значительное количество. Неприятель смутился и побежал назад, побросав лестницы и тарасы. Поутру гарнизон забрал их и разрубил на дрова. Спустя несколько времени Сапежинцы сделали новую попытку ночного приступа; причем предварительно, посредством хвороста и соломы, зажгли Пивной двор с его деревянным острогом. Но этот пожар, вместо помощи, оказал им вред. Пламя осветило окрестность, а вместе с нею и ряды нападающих. Осажденные открыли по ним сильный огонь из наряду, а с башен бросали на них начиненные порохом кувшины («козы со огнем спущающе», — говорит летописец

осады); пожар Пивного двора успели погасить. Сапежинцы опять со стыдом отступили.

Эти отбитые приступы весьма ободрили осажденных. Архимандрит с братией совершил крестный ход по стенам и творил благодарственные молебны. Но вдруг радость и надежда сменились унынием. Воеводы сделали удачную вылазку в Мишутинский овраг, где стояли заставою роты Брушевского и Сумы с товарищами; разбили их и взяли в плен самого ротмистра Брушевского. Его подвергли пытке, чтобы узнать о действиях и намерениях неприятеля. Ротмистр с пытки показал следующее: во-первых, Сапега хвалится взять монастырь во что бы ни стало и разорить его до основания, хотя бы для сего пришлось стоять под ним год и два, и три; а во-вторых, ведутся подкопы под городовую стену и некоторые башни, но где именно, того он не знает. Известие о подкопе смутило и самых храбрых, а другие с ужасом представляли себе момент, когда они взлетят на воздух. Воеводы приказали вне стен копать глубокий ров, а внутри рыть колодцы или так наз. «слухи», чтобы найти и перенять подкоп. Работы велись под руководством искусного в сем деле троцкого служки Власа Корсакова. Но долго они оставались безуспешными. На вылазках осажденные брали в плен литовских людей и расспрашивали под пытками; но никто из них не указал место подкопов. Многие стали готовиться к смерти и спешили причаститься. Иноки старались ободрить унывших людей надеждою на Божью помощь и на заступничество местных угодников св. Сергия и св. Никона; появились обычные рассказы о видениях и чудесах; сам архимандрит возвестил, что ему во время дремоты явился св. Сергей, приказал молиться и обещал спасение. Действительно, вскоре после того на вылазке взяли одного раненого дедиловского казака. Под пыткою он сказал, что знает, где ведутся подкопы; воеводы повели его по городской стене, и он указал место; после чего умер, успев покаяться и причаститься св. Тайн. Против указанного места тотчас стали возводить внутренний острог, т. е. деревянную стену со рвом, валом и с пушками, чтобы приготовить новое укрепление, когда часть стены с прилегающими башнями будет взорвана. Из неприятельских таборов перебежал в монастырь казак Ивашка Рязанец и подтвердил предыдущие известия о подкопах.

Меж тем Сапега распорядился продвинуть туры или батареи ближе к стенам и усилить бомбардирование; снаряды стали падать уже среди обители, убивать людей и причинять некоторые повреждения храмам; что вместе с ожиданием взрыва подкопов усилило тревогу и уныние между осажденными. Воеводы сделали приготовления к большим вылазкам, а также приказали отыскать и расчистить тайник или скрытый под стеною ход из Сушильной башни во внешний ров. 9 ноября еще до рассвета этим ходом вышел отряд ратных людей и притаился во рву; из Пивного двора выступил и укрылся в луковом огороде другой отряд; третий, состоявший частью из конницы, двинулся из Конюшенных ворот; иноки-воины, распределенные по отрядам, ободряли ратников и сообщали им, что на этот день военным кликом должно служить: святой Сергей! По троекратному удару в осадный колокол отряды дружно устремились на неприятельские линии. Но они встретили храбрый отпор. В тот день осажденным удалось взять несколько орудий; но подкопа они не уничтожили. Такие же большие вылазки возобновлялись и следующие два дня. Только на третий день посчастливилось найти устье главного подкопа, который был уже наполнен порохом, но не закрыт с наружной стороны. Два кlementьевских крестьянина, Шилов и Слата, вскочили в него и подожгли порох. Подкоп взорвало, причем уничтожило все работы, не причинив вреда монастырским стенам. Храбрые крестьяне не успели вовремя уйти и погибли. Таким образом, главная цель сих больших вылазок была достигнута. Осажденные теперь могли

вдохнуть свободно. Кроме подкопа, часть неприятельских батарей также была уничтожена, многие орудия и всякого рода оружие забрано в монастырь, а туры и тарасы изрублены на дрова. Однако успех этот дорого им стоил: в течение сих трех дней осажденные хотя избили порядочное количество неприятелей, но и сами потеряли около 350 убитыми и ранеными; в числе павших были храбрые головы или предводители отрядов Иван Внуков и Иван Есипов, а также служка Данило Селевин, начальствовавший сотнею ратников. Последний добровольно искал смерти. За несколько времени перед тем его родной брат Осип Селевин изменил, и, «забыв Господа Бога» — как говорит летописец — ушел в литовские таборы. Данило по сему поводу подвергся укорам и насмешкам. Не желая терпеть их долее, он объявил, что хочет умереть за измену брата. Во время вылазки Данило вступил в бой с казаками атамана Чики; будучи весьма силен и ловко владея мечом, он изрубил много врагов. Какой-то литовский всадник ударил его копьем в грудь; Данило срубил его своим мечом; но и сам стал изнемогать от раны, так что его отнесли в монастырь, где он перед смертью принял иноческий образ. На том же бою атаман Чика смертельно ранил в голову Ивана Внукова из самопала; перед кончиною Внуков и другие смертельно раненные также постриглись в иноки.

С известием об удачных вылазках воеводы послали в Москву к царю сына боярского Скоробогатова.

Наступало суровое зимнее время. Потеряв часть народа и надежду на подкоп, Сапега прекратил бомбардирование и осаду обратил в облежание, рассчитывая взять местность голодом, болезнями или изменою. Укрепясь острогами в своих таборах, построив избы и землянки, сапежинцы не терпели и недостатка в припасах, постоянно получая их из соседних областей, признавших власть Лжедмитрия. Число осаждавших часто менялось и падало иногда тысяч до десяти, потому что Сапега должен был посылать отряды для борьбы с царскими воеводами и для завоевания городов или верных Шуйскому, или присягнувших уже Самозванцу, но потом отпавших. Сам Лисовский большую часть времени проводил в этих предприятиях. В монастыре также число защитников значительно уменьшилось. Однако вылазки их не прекращались всю зиму; только они производились небольшими партиями, имевшими назначение при случае отбивать продовольствие, провозимое в таборы Сапеги, или нарубить дров в соседних рощах. С той и другой стороны были перебежчики, которые сообщали о положении дела; так что каждая сторона знала, что делалось в другой. Из монастыря однажды перебежали два боярских сына, переяславцы, которые научили неприятеля разрыть плотину пруда, лежавшего у Водяной башни, спустить его в речку Кончурю и таким образом перенять воду у осажденных. Но взятые затем пленники на пытке указали на эту опасность. Тогда осажденные поспешили воду из сего пруда провести в другой, выкопанный посреди монастыря. Но в чем особенно они нуждались, так это в топливе. По-видимому, в сем отношении осадное и монастырское начальство сделало промах, не заготовив достаточные склады дров, хотя окрестности Лавры покрыты были густыми лесами, а может быть, именно по этой причине: чего много под руками, о том люди обыкновенно менее всего заботятся. Неприятель знал эту нужду осажденных и сторожил их попытки к ее удовлетворению; а потому поиски за дровами постоянно сопровождалась потерей людей; так что каждую принесенную охапку дров или хворосту в монастыре привыкли встречать вопросом: кого она стоила или чьею кровью куплена? Иногда поедят пищи, сваренной на подобном топливе, и говорят: «Сегодня мы напитались кровью таких-то наших братьев, а завтра другие напитаются нашею».

Вообще положение осажденной Лавры в это время было очень тяжелое. С наступлением зимы все, располагавшиеся на открытом воздухе, должны были перебраться в теплые помещения; отчего происходила крайняя теснота. Спертый, пропитанный миазмами воздух, недостаток воды, грязь и нечистоты, кишачие насекомыми, способствовали развитию разных болезней, особенно цинги, сыпей и поносов. Открылась большая смертность: каждый день хоронили по несколько десятков трупов; с утра и до ночи раздавались плач и похоронное пение. Болел и умирал более всего крестьянский люд, как наиболее тесно, грязно помещенный и дурно питаемый. А из ратных людей многие в это печальное время предавались разгулу, т. е. пьянству и разврату. Последнему способствовало, конечно, скопление крестьянских женщин: при тесноте им некуда было укрыться; даже родильницы производили детей у всех на глазах, по словам летописца. Ратные люди, пользуясь своим значением, позволяли себе и другие излишества; так они не берегли съестные припасы; брали на свою долю лишние хлебы и продавали их другим; из-за чего входили в препирательства с монахами, которые старались расходовать припасы бережно и расчетливо, ввиду затянувшейся осады.

Некоторые акты сообщают нам по сему поводу любопытные подробности, относящиеся к монастырскому хозяйству и к содержанию осажденных в то время.

Стрельцы послали царю жалобную грамоту на старцев, которые их плохо кормят: дают пушной хлеб на шестнадцать человек, да еще вырезают из него середку, рыбу дают только два раза в неделю, а раненым и больным не дают еды и питья вдосталь. На эту жалобу монастырские соборные старцы отписали в Москву, что то неправда; что в хлебы к ржаной муке только немного примешивалось ячной и то без мякины, а кормили досыта в келарской; но так как стрельцы насильно брали хлебы и продавали, то перед ними стали класть по четверти хлеба на четверых к обеду и столько же к ужину; а что раненым и больным ежедневно дают на человека из хлебни мягкий хлеб, из поварни щи и братскую кашу, а из келарской по звену рыбы; питье же им выдается из царского погреба, охраняемого печатями. На братью монастырскую сначала шло три ествы, щи, каша и звено рыбы, а теперь только по две ествы, без меду и без пива, так что и день Сергия Чудотворца праздновали только житным квасом; оловянники и кувшины с медом и квасом давали только воеводам, а по кельям отнюдь не носили.

Монастырские служки, отправлявшие ратную службу, также жаловались царю на скудость содержания и невыдачу денежного жалованья. Старцы писали на это, что за истощением монастырской казны они собирали с братии по рублю или по полтине с человека, еще занимали где можно, и роздали стрельцам по полтора рубля, ярославцам и галичанам по три рубля, троицким слугам по рублю, а крестьянам осадным стенным по полтине. На требование служек, чтобы им давали еду одинаковую с братией, старцы отвечают, что им предлагали есть в общей трапезе, но они просят себе еству по кельям; ибо что в трапезе ставится на четверых, то по кельям пойдет на одного; так как у иных жены и дети, а у иных женки (возлюбленные); хотя и семьям их посылаются хлеб и каша из поварни. Наконец по недостатку дров и солоду даже квас перестали варить, так что братия пьет воду, ест сухари и хлеб, а калачей давно уже не видит. Братия безустанно трудится: одни работают в хлебне, сеют муку, месят квашню, пекут хлебы, в поварне варят еству; а другие день и ночь несут ратную службу наравне с осадными людьми. Запасов, особенно ржи, вообще оставалось немного, овса еще довольно, только негде его молоть, потому что мало жерновов. Но, главное, великая нужда в топливе; кровли, сени, чуланы — все это уже

сожжено, теперь жгут житницы. В заключение старцы умоляют государя прислать на помощь ратных людей, пороху, свинцу и стрел.

Это сообщение о состоянии монастыря относится уже к лету 1609 года, т. е. к последнему периоду осады, когда запасы были на исходе, и монастырь с трудом держался против неприятеля; хотя самое тяжелое, т. е. зимнее, время уже прошло; осажденные снова могли свободно вздохнуть на свежем воздухе, и потому смертность между ними значительно ослабела.

Ко всем помянутым невзгодам осадного времени присоединились еще измены, внутренние несогласия и рознь между самими начальниками. В этом отношении любопытно краткое письмо Ольги Борисовны Годуновой к одной своей тетке в конце марта 1609 года. Она пишет, что больна со всеми старицами, и не чает живота, с часу на час ожидая себе смерти, потому что у них в осаде «шатость и измена великая», а моровое поветрие такое, что всякий день хоронят по 20, по 30 и больше, а кто и жив, так все обезножили (от цинги пухли ноги). Но в июле того же года служанка царевны — инокиня Соломонида пишет своей матери об успешно отбитом большом приступе накануне Петрова дня и сообщает, что мор у них унялся, но людей осталось менее трети. О себе самой служанка сообщает, что по милости Ольги Борисовны не терпит никакой нужды и что царевна пожаловала рубль на похороны одного их знакомого (Дмитрия Кашпирова), а то было нечем схоронить.

Слова Ольги Борисовны о шатости и великой измене на деле оказались преувеличением. Но из них мы видим, что среди осажденных развились подозрительность и взаимное недоверие по причине действительных случаев измены и передачи себя на сторону неприятеля. Выше сказано, что одним из первых изменников был монастырский служка Оська Селевин. Впоследствии в тайных изменнических сношениях с ним обвинили монастырского казначея Иосифа Девочкина и старицу Марфу Владимировну, бывшую титулярную королеву Ливонскую. По доносу некоторых монахов главный воевода Долгоруков велел схватить Девочкина и подвергнуть пытке; но каких признаний добились от него, в точности не известно. Этот случай возбудил сильную распрю: часть соборных старцев и сам архимандрит оскорблялись таким самоуправством над их казначеем и называли донос клеветой. К ним пристал и второй воевода Голохвастов, вообще не ладивший с Долгоруковым. А другая часть старцев приняла сторону сего последнего и обвинителей. Эта сторона в июле 1609 года послала в Москву жалобу на то, что архимандрит с единомышленными старцами положили на них ненависть и потому стали плохо кормить как их, так и ратных людей. А про старицу Марфу Владимировну писали, что она с изменником Оською Селевиным отправляла грамоты к «вору» (Лжедмитрию), называя его своим «братом», к Рожинскому и к Сапеге, которых будто бы благодарила за помощь; что своему соумышленнику Иосифу Девочкину она ежедневно посылает от собственного стола пироги, блины и меды, которые берет из царских погребов; что ее люди ему прислуживают, по ночам топят на него баню и пр. Про Голохвастова они писали, будто он замышляет отнять у Долгорукова крепостные ключи и уговаривал монастырских слуг и мужиков не выдавать ему на пытку казначея Девочкина. Такое обвинение подтверждал и сам Долгоруков в своей отписке знаменитому келарю Авраамиию Палицыну с просьбою довести о том до сведения государя. Из его письма выходит, будто Голохвастов поднимал против него чернь, которая уже собиралась толпою с оружием в съезжей избе, но что дворяне, дети боярские и вообще служилые люди остались ему верны, и потому мятеж не

удался.

Девочкин вскоре умер. Трудно сказать, насколько было правды в тех обвинениях, которым он подвергся. Главный доносчик на него дьякон и головщик левого клироса Гурий Шишкин хлопотал чрез своего покровителя келаря Палицына о том, чтобы самому получить место казначея, следовательно, действовал небескорыстно. Авраамий Палицын, довольно подробно изложивший историю Троицкой осады, жил тогда не в Лавре, а в Москве на Троицком подворье в Богоявленском монастыре, где он вел разнообразные дела своей обители, ходатайствуя о них перед высшими властями или отстаивая в судах ее иски. Он вполне поверил доносам Шишкина на Девочкина и даже на Голохвастова, тем более что эти доносы поддерживал сам первый воевода Долгоруков. Но в Москве, несмотря на внушения келаря, по-видимому, не придавали большого значения троицким доносам и пререканиям, и Голохвастов спокойно оставался на своем месте до конца осады. Василий Иванович Шуйский, стесненный тушинцами, даже не спешил исполнить просьбы Долгорукова и Палицына о скорейшей присылке помощи ратными людьми и военными запасами. Оказывать эту помощь он предоставлял северо-восточным областям и воеводам. Только благодаря убеждениям патриарха Гермогена царь послал 60 казаков с атаманом Сухова-Останкова и 20 пудов пороху; да келарь Палицын присоединил к ним 20 человек с Троицкого подворья. В половине февраля 1609 года этот небольшой отряд успел пробраться сквозь неприятельские таборы и войти в монастырь. Только четыре человека из них были захвачены, и Лисовский приказал их казнить. За это Долгоруков велел в виду неприятелей казнить 42 пленных литвинов (западноруссов) и 19 казаков. Если верить повествователю Троицкой осады, поляки и казаки были так озлоблены сими казнями, что едва не убили самого Лисовского, и только Сапега его спас. Прибытие такой незначительной помощи, конечно, не оказало заметного влияния на ход обороны и не могло возместить страшную убыль в ратных людях.

Оборона Лавры продолжалась, однако, с неослабной энергией. Ибо над всеми невзгодами и печалью защитников высоко стояла их вера в помощь Божью и заступление св. Сергия; святость места в минуты крайней опасности возбуждала в них воинственное одушевление и горячее желание отстоять его от поругания иноверными врагами. Архимандрит и старцы продолжали питать это одушевление усердными молитвами, увещаниями и легендами о чудесных видениях. Таковые видения объявлял иногда сам архимандрит Иоасаф, а большею частию о них повествовал инок-пономарь Иринарх. То являлся ему св. Сергий и приказывал возвестить братии, чтобы не унывала, что скоро придет помощь от царя Василия; то ученик Сергия св. Никон предстал ему во сне и повелел, чтобы болящие терли себя новым снегом, который выпадет в эту ночь, и, по словам летописца, те, которые с верою исполняли сие повеление, получали облегчение.

Укрепленные верою, некоторые защитники монастыря из простолюдинов отличились поистине богатырскими подвигами. О них летописец (Палицын) сообщает нам любопытные подробности. Так между даточными людьми был один крестьянин прозванием Суета, великан ростом и силою, но неопытный в военном деле, нехрабрый и неумелый боец; что навлекало на него насмешки. Однажды во время большой вылазки он объявил: «Сегодня или умру, или получу большую славу». И действительно, он принялся так рубить своим бердышом, что поразил многих врагов, защищенных бронею, и с кучкою пеших товарищей отбил в одном месте целый полк Лисовского. В том же бою отличились троицкие служки Пимен Тененев и Михаил Паглов; первый ранил в лицо из лука самого Лисовского, так что

тот свалился с коня; а второй убил пана Юрия Горского, избил многих ляхов, пытавшихся отнять его тело, и овладел им вместе с конем. Прославились еще своими подвигами московский стрелец Нехорошко и клементьевский крестьянин Никифор Шилов. Но особенно «охрабрил» (по выражению летописца) чудотворец Сергей троицкого слугу Анания Селевина, выезжавшего в поле на быстром коне. Поляки и русские изменники так его боялись, что избегали близко встретиться с ним и старались убить его издали, т. е. застрелить; но тщетно. Тогда поляки решили обратить свои выстрелы на его коня; вследствие чего на разных вылазках конь его был ранен шесть раз, а от седьмой раны пал. Анания принужден был сражаться пеший. Тут его ранили из пищали в большой палец ноги и раздробили всю плюсну. Нога его распухла, но он продолжал ратоборствовать. Его опять ранили в ту же ногу и разбили колено. Нога отекала до пояса, и Анания оттого скончался.

По истечении зимы военные действия оживились, так что весной и летом 1609 года с одной стороны возобновились приступы поляков, с другой усилились вылазки осажденных. Вследствие приходивших с северо-запада известий об успешных действиях Скопина-Шуйского и союзного шведского отряда, Сапега и Лисовский уже в конце зимы стали готовиться к решительным приступам. Между прочим, в таборах Лисовского приготовили большие подвижные щиты или тарасы, сделанные из двойных бревен с отверстиями для стрельбы; каждый щит утвердили на четырех санях, которые должны были тащить к стенам на своих лошадях мужики, собранные из окрестных волостей. Кроме того, Сапега требовал подкреплений из Тушинского лагеря или из «больших таборов», как называли его русские. Но Лжедмитрий также туго оказывал помощь осаждавшим Троицкий монастырь, как и царь Василий осажденным, отзываясь тем, что ему самому приходится плохо ввиду успехов царского северо-западного ополчения.

Второй большой приступ произведен был ночью на 28 мая. Неприятель скрытно подвезли к станам бревенчатые щиты на колесах и всякие «приступные козны» или «стенобитные хитрости»; приставили лестницы и полезли на стены, а ворота стали бить «проломными ступами» или таранами. Но осажденные уже знали о предстоящем приступе и приготовились. Из нижних или подошвенных боев встретили нападающих огнем пушек и пищалей, а сверху стен бросали на них бревна и камни, обливали кипятком с калом, горящею смолою и серою и засыпали им глаза толченою известью. Ратным людям при сем помогали и женщины. Архимандрит с оснащенный собором в это время пел молебны в соборном Троицком храме. Приступ продолжался всю ночь. Когда рассвело, неприятель, видя большие понесенные им потери, со стыдом отступил. Осажденные сделали вылазку, перебили и взяли в плен многих отсталых. Тарасы, лестницы и ступы проломные забрали в монастырь и употребили их на дрова, а пленных ляхов и русских воров приставили к жерновам и заставили их молоть зерно. Спустя ровно месяц 28 июня Сапега возобновил отчаянный приступ с теми же приемами и с таким же неуспехом. На сей раз неприятелю удалось было зажечь часть острога у Пивного двора; но осажденные вовремя его погасили. Пришлось опять отступать с большою потерей. Осажденные снова сделали вылазку и забрали к себе все «стенобитные хитрости». Так окончился и третий большой приступ. В нем участвовал с своим полком пан Зборовский, присланный сюда на помощь из Тушина. По рассказу русского летописца осады, до приступа он укорял Сапегу и Лисовского за их «бездельное стояние» под таким лукошком, как Троицкая Лавра; а после приступа те в свою очередь с насмешкою спрашивали Зборовского: «Почему же ты не одолел этого лукошка?»

После того осада еще продолжалась; но подобные приступы уже не повторялись; хотя

число защитников страшно уменьшилось. Если верить летописцу, в монастыре оставалось не более 200 человек, годных к бою: более 2000 ратных людей уже пало или умерло от болезней. Но и число осажденных тоже сильно уменьшилось, и не столько от руки троицких защитников, сколько от необходимости рассылать отряды в разные стороны для сбора продовольствия и для поддержания покорности в соседних областях.

Многие города, прежде покорившиеся Лжедмитрию, теперь отложились от него, били и прогоняли тушинцев и начали помогать царской стороне. Причиной тому были невыносимые поборы и притеснения от ляхов и русских воров, особенно беспощадные грабежи и разорения от казаков. Толчком к этому движению послужили известия о приближении Скопина-Шуйского, об успешных действиях Федора Шереметева, Алябьева и других царских воевод. Восстание поволжских и северных городов против Лжедмитрия началось еще зимою и усилилось весною 1609 года. Так постепенно отложились от него Галич, Кострома, Устюжна, Кинешма, Вологда, Белоозеро, Бежецкий Верх, Кашин, Ярославль, Шуя, Владимир Залесский, Муром, Устюг и другие. Некоторые присягнувшие Самозванцу воеводы пытались противостоять этому движению и подвергались народной казни. Так костромичи жестоко истязали Дмитрия Масальского и потом его утопили. Во Владимире народ схватил своего воеводу Вельяминова и отвел его в соборную церковь, чтобы он исповедался (поновился, как сказано в летописи). Соборный протопоп после исповеди вывел его из церкви и сказал: «Сей есть враг Московскому государству». Граждане всем «миром» осудили его на смерть и побили камнями. Отложившиеся от Самозванца города и волости большею частью должны были выдерживать ожесточенную борьбу с его полчищами. Из Тушинских и Троицких таборов отправлялись отряды для их нового покорения и наказания. Одни города удачно отбивались или вовремя получали помощь — кто от волостных жителей, кто от соседних городов и царских воевод; а другие снова попадали в руки тушинцев или сапежинцев и подвергались конечному разорению. В особенности пострадали от Лисовского вновь взятые им Галич, Кострома и Кинешма.

Очищению Среднего Поволжья от воров много содействовал царский воевода Федор Иванович Шереметев, двоюродный брат Петра Никитича, погибшего во Пскове жертвою мятежа.

Еще во время Болотникова, когда Астрахань отложилась от Василия Шуйского и приняла сторону мятежников, послан был туда с ратными людьми Шереметев. Но он не мог взять Астрахань и укрепился на острове Балчике (или Балдинском), где рать его терпела от болезней и недостатка съестных припасов, и в то же время отбивала нападения изменившегося астраханского воеводы князя Хворостинина. Когда Тушинский вор осадил Москву и возмутилась большая часть Поволжья, Шереметев получил приказ идти на помощь. Он покинул Балчик, двинулся вверх по Волге и остановился в Казани. Здесь он промедлил целую зиму. Хотя сам город Казань пребыл верным Василию, но земли Казанская и Вятская находились в очень смутном состоянии; ибо многие недавно покоренные инородцы сего края, т. е. татары, мордва, черемисы и чуваша, пользовались критическим положением государства, поднимали мятежи, провозглашали царем Лжедмитрия и заодно с русскими ворами нападали на немногие русские города, рассеянные в том краю. Шереметев посылал в разные стороны ратных голов с отрядами против мятежников, ходил и сам на них; так он отнял у них город Чебоксары и освободил от осады Свияжск. Только в начале лета он с 3500 ратных людей прибыл в Нижний, который уже несколько раз успел выдержать осаду и отбить толпы мордвы и черемис. Во все

Смутное время этот город оставался неизменно верен законному государю и служил самым надежным оплотом Московского государства в северо-восточном краю. Еще до прихода Шереметева второй (по князе Репнине) нижегородский воевода Алябьев отличился своими походами и поисками против городов и волостей, передавшихся Тушинскому царю. С прибытием Шереметева очищение Среднего Поволжья от воров пошло успешнее. Из Нижнего Шереметев двинулся к Москве рекой Окой на города Муром и Касимов. Хан касимовский Ураз-Магомет явился ревностным сторонником Лжедмитрия, и доселе попытки царских воевод к его усмирению оканчивались поражениями. Шереметев взял Касимов приступом. Тут прибыли к нему из Москвы князь Семен Прозоровский и Иван Чепчугов с благодарственным словом от царя за верную службу, но вместе и с выговором за то, что он идет слишком мешкотно на помощь Москве и Троицкой Лавре.

Москва испытывала тогда двойное бедствие: тушинцы теснили ее извне, а смуты угнетали внутри. Ближайшим поводом к последним служил недостаток продовольствия. Пока коломенская дорога не была совершенно закрыта, из Рязанской области продолжались подвозы съестных припасов. Но Лжедмитрий с Рожинским вновь попытались отнять этот путь, чтобы выморить Москву голодом. Зимой 1609 года из тушинских таборов отправлен был полковник Млоцкий с отрядом, который осадил Коломну и отрезал ее от Москвы. Между тем как тушинцы плавали в изобилии, даже собаки не успевали пожирать внутренности животных, в столице наступила страшная дороговизна. При таких обстоятельствах неудовольствие против Шуйского в народе, конечно, возросло. Противная ему партия думала воспользоваться тем для его свержения. Но открыто выступили не знатные люди, а второстепенные, именно князь Роман Гагарин, известный рязанский дворянин Григорий Сумбулов и Тимофей Грязной. 17 февраля, собрав толпу буянов, они явились в Кремль, пришли в Боярскую думу и звали бояр на площадь. Но те уклонились и разъехались по домам. На площадь вышел только один князь Василий Голицын, прежде ревностный соучастник в заговоре против первого Лжедмитрия, а теперь соперник Шуйского и претендент на престол. Мятежники отправились в Успенский собор и звали патриарха. Гермоген вышел на Лобное место и спрашивал толпу, что ей нужно. Вожаки начали кричать: «Царь побивает и сажает в воду нашу братию дворян и детей боярских, а их жен и детей (истребляет) втайне, и таких побитых уже с две тысячи. Вот и теперь нашу братию повели сажать в воду». Патриарх потребовал, чтобы назвали их имена; но заговорщики отвечали общими местами. Гермоген упрекал их во лжи и клевете. (Однако мы знаем, что Шуйский потопил много изменников.) Затем заговорщики начали громко читать грамоту, составленную русскими отщепенцами в Тушинском лагере. В этой грамоте говорилось, что «князя Василия Шуйского выбрали на царство одной Москвой, а иные города того не ведают, и князь Шуйский нам не-люб; ради его льется кровь и земля не умирается, а потому на его место надо выбрать иного царя».

На эту грамоту патриарх Гермоген ответил пространным и сильным словом.

«Доселе Москве, — говорил он, — ни Новгород, ни Казань, ни Астрахань, ни Псков и ни которые города не указывали, а указывала Москва всем городам. Государь царь и великий князь Василий Иванович всея Руси возлюблен, избран и поставлен Богом и всеми русскими властями, и московскими бояры, и вами дворяны, и всякими людьми всех чинов и всеми православными Христианы, и изо всех городов на его царском избрании и поставлении были в те поры люди многие и крест ему целовали вся земля, что ему государю добра хотети, а лиха и не мыслити; а вы, забыв крестное целование, немногими людьми

восстали на царя, хотите его без вины с царства свести, а мир того не хочет, да и не ведает, да и мы с вами в тот совет не приставаем же». Далее патриарх укорял мятежников в клятвопреступлении, в измене вере и государству, и доказывал им, что если кровь льется и земля не умирается, то делается волею Божиею, а не царским хотением.

Слова архипастыря подействовали на народ. Притом большинство московских граждан ясно сознавало, что если выбирать между Тушинским воров и царем Василием, то последний все-таки служил представителем законной власти и государственного порядка, тогда как с понятием о тушинцах уже соединялось понятие о грабежах и насилиях с одной стороны, о грубом обмане и самозванстве с другой. Поэтому никто не пристал к толпе мятежников. Тщетно с Лобного места она шумно потекла во дворец, думая напугать царя Василия и принудить его к отречению. Около него успели собраться начальники ратных людей. Царь мужественно встретил толпу и сказал ей, что если его хотят убить, то он готов принять смерть, но что свести его с престола без согласия бояр и всей земли никто не может. Смущенные вожаки бежали в Тушино; с ними уехало до 300 человек.

Неудача этого мятежа настолько ободрила Шуйского, что он поступил с несвойственной ему решительностью, когда донесли ему о заговоре, во главе которого стал боярин Ив. Фед. Крюк-Колычов и на котором решено было убить царя в день Вербного воскресенья (вероятно, во время церковной процессии). Колычов, был подвергнут пытке, никого не указал, и потому казнен один; некоторые предполагаемые его сообщники заключены в тюрьму. Однако ропот и волнение в Москве не прекращались. Уважение к царю настолько упало, что служилые и черные люди с криком и воплем приходили к Шуйскому и спрашивали его: до каких пор им сидеть в осаде? Хлеб дорогой, промыслов никаких нет и купить не на что. Царь вступил с ними в переговоры и просил сроку только до Николина весеннего дня, потому что на помощь к нему идет с одной стороны Скопин-Шуйский с новгородским ополчением и шведами, с другой Шереметев с понизовою ратью, а с третьей союзник его крымский хан с своей ордою.

О дороговизне, существовавшей тогда в Москве дают понятие следующие показания современников: в конце февраля четверть сырой ржи стоила один рубль, а сухой 40 алтын, воз сена три рубля и выше. А в начале мая рожь поднялась до полутора и до двух рублей; гороху и крупы гречневой четверть стоила три рубля, овса от 40 алтын до рубля, «добрый» воз сена четыре рубля, корова яловица от 10 до 20 рублей, полот ветчины два рубля. По недостатку топлива, на дрова разбирали дворы опальных людей. Эти цены, как ни высоки они для того времени, показывают, что все-таки торговля съестными припасами не прекращалась и что существовали еще значительные запасы. На дороговизну влияла также жадность богатых хлеботорговцев, которые прятали свои запасы и пускали в продажу только небольшое количество, выжидая еще большего возвышения цен. И действительно, четверть ржи дошла наконец до семи рублей. Тщетно царь убеждал купцов не прятать хлеба; купцы с своей стороны уверяли, что у них запасы истощились. Тогда царь и патриарх обратились к келарю Троицкого монастыря Авраамиию Палицыну, и последний (если верить его собственному рассказу) помог делу. У него на Троицком подворье при Богоявленском монастыре оставались еще порядочные запасы ржи, и он вдруг пустил ее в продажу по два рубля. Купцы с своей стороны принуждены были также понизить цену. Когда же прекратилась продажа монастырского хлеба, рожь опять поднялась в цене. Царь снова обратился к келарю; на возражение сего последнего, что монастырские люди на подворье сами могут остаться без пищи, Шуйский обещал выдавать им из собственной казны на

покупку хлеба, если цена его даже удесятерится. Палицын послушался и отпустил на рынок еще 200 мер из монастырских житниц, чем снова понизил цену.

Около того же времени из Тушина прибежал в Москву вышеупомянутый князь Гагарин. Он раскаялся в своей измене, и всенародно говорил, что в Тушине сидит истинный вор и что все зло идет от польского короля, который хочет искоренить православную веру. Его речи, наряду с вестями о скором приходе Скопина-Шуйского с иноземною помощью, благотворно повлияли на умы и многих удержали от измены, т. е. от переезда в Тушино. А что касается сношений Москвы с городами, то царь Василий деятельно поддерживал эти сношения, несмотря на осаду. Он постоянно рассылал грамоты с увещанием отстать от вора или крепко держаться законного правительства, помогать царским воеводам людьми и обо всем с ними советоваться; извещал о каждом своем успехе и походе Скопина; расточал похвалы верным и обещал награды. Грамоты его проносились сквозь неприятельские посты помощью разных хитростей; например, зимою они клеивались в лыжи посланцев.

Предводители тушинцев ясно видели перемену обстоятельств в пользу Василия; а потому, не дожидаясь прихода Скопина со шведами, решились на новую попытку овладеть Москвою. В таборах Самозванца оставалось тогда мало войска; ибо значительная часть его стояла в ближних городах или занималась усмирением восставших областей. Рожинский стянул какие можно было отряды и вывел из обозов свою пехоту и конницу. Но в Москве уже знали о его намерении и приготовились. 5 июня в Духов день на берегах Ходынки тушинцы встретились с Московским ополчением; польская конница ринулась на московскую; последняя расступилась и открыла гуляй-городки, т. е. подвижные укрепления на колесах, вооруженные пушками. Эти гуляй-городки открыли пальбу в лицо полякам, а московская конница ударила на них с боков. Тушинцы были разбиты; москвитяне их преследовали, и только Заруцкий с донцами помешал царскому войску ворваться в таборы. Спустя три недели Рожинский возобновил попытку большого приступа, и тушинцам удалось зажечь внешнюю или деревянную стену. Они уже опрокинули московскую конницу и потеснили пехоту. Но на помощь последним пришли мужественные воеводы, с одной стороны князь Ив. Сем. Куракин, с другой князь Андрей Вас. Голицын и Борис Мих. Лыков. Битва длилась целый день, и, по замечанию летописца, в течение всей осады москвичи не дрались с такою храбростию, как в этот день. Тушинцы были вновь разбиты; многие из них во время битвы попали в Москву-реку и потонули. После того попытки больших приступов прекратились. Осада еще продолжалась; но в Москве уже все надеялись на близкое от нее избавление. Вскоре удалось освободить и важный путь Коломенский. Хотя Прокопий Ляпунов, очистивший от воров рязанские города, и был отбит Млоцким от Коломны; но слухи о приближении с одной стороны шведов, с другой крымцев, с третьей Шереметева заставили Млоцкого 17 июля покинуть блокаду Коломны и отступить к Серпухову. Спустя неделю Крымский калга-султан действительно приблизился к Коломне в качестве союзника царя Василия; но потом он повернул домой, вероятно, довольствуясь награбленною добычею и полонем и нисколько не желая вступать в битвы с отрядами Лжедмитрия.

Зато слухи о победоносном приближении Скопина-Шуйского оправдались.

Шведское правительство того времени немало было озабочено успехами поляков в Московской земле: в случае их окончательного торжества, оно должно было рассчитывать на дальнейшее совместное действие Польши и Москвы против Швеции; а это обстоятельство грозило не только потерю занятой шведами Эстонии и части Ливонии, но и лично Карлу IX потерю шведского престола. Кроме того, Карл сильно желал воспользоваться обстоятельствами, чтобы расширить пределы своего королевства со стороны Московии. Посему он очень охотно отозвался на просьбу Михаила Скопина-Шуйского о военной помощи. Он даже послал новгородцам грамоту с уведомлением о скором прибытии сей помощи и с увещанием мужественно стоять против польских и литовских людей за Московское государство и свою «старую Греческую веру». В том же духе некоторые пограничные шведские начальники писали в московские северные монастыри и города. В конце февраля 1609 года в Выборге был подписан окончательный договор, с одной стороны, русскими послами стольником Семеном Головиным и дьяком Сыдавным Зиновьевым, с другой — шведскими уполномоченными. Сей договор подтверждал обязательство шведского короля выставить вспомогательное войско из 2000 конницы и 3000 пехоты, а сверх того сколько можно будет набрать. Кроме определенной денежной платы, Василий Иванович Шуйский в вознаграждении за помощь не только отказывался от русских притязаний на Ливонию, но и отдавал шведам пограничный город Корелу (Кексгольм) с уездом. Вместе с тем обе стороны заключили оборонительный союз против Польши, так что в случае нужды Шуйский должен был помогать своим войском Карлу IX, и никто из них обоих не мог заключить отдельного мира с польским королем. Договор довольно обстоятельно определял положение шведского вспомогательного войска в русских пределах. Так шведы обязались не допускать своих ратных людей причинять какие-либо насилия и грабежи жителям; с литовскими пленниками они могли поступать как им угодно, но русских пленников должны были отдавать на откуп и т. д. По смыслу договора все это вспомогательное войско поступало в ведение князя Михаила Скопина-Шуйского. Последний чрез своих уполномоченных вручил шведским поверенным около 5000 рублей в виде задатка наемному войску, но не в зачет его будущего жалованья. Для сдачи города Корелы положен был срок в несколько месяцев с условием взять из церкви все образа и всю церковную утварь, а из крепости пушки, пищали и военные снаряды, и, кроме того, вывести тех жителей, которые пожелают уйти на Русь. Долгий срок, очевидно, назначен был с тем расчетом, чтобы прежде посмотреть, какой толк будет от шведской помощи и стоит ли она того, чтобы ради нее поступиться хотя и одним уголком Русской земли — черта, заслуживающая похвалы и подражания, особенно если вспомним, в каких трудных обстоятельствах находились тогда и царь Шуйский, и все Московское государство.

В следующем месяце марте вспомогательное войско уже вступило в русские пределы. Сверх условленных 5000, оно заключало еще несколько тысяч человек, и было набрано из наемников разных наций, каковы шведы, французы, шотландцы, немцы и даже русские охотники. Все это были люди хорошо вооруженные и обученные, состоявшие под командою опытных, надежных военачальников; таковы: Эверт Горн, Христиерн Зоме, Аксель Курк и Андрей Бойе. А во главе стоял молодой, но уже прославившийся воинскими подвигами Яков Делагарди, сын известного французского выходца Понтуса Делагарди и племянницы Карла IX (незаконной дочери его предшественника и брата Иоанна). В ранней молодости он сражался с поляками в Ливонии и даже побывал у них в плену; а потом изучил военное искусство преимущественно в Голландии под руководством принца Морица Нассаусского.

На границе шведов встретил воевода Иванис Ададуров с небольшим русским отрядом.

Появление шведского вспомогательного войска немедленно повлияло на ход событий, некоторые северные города покинули Самозванца и перешли на сторону Шуйского, например, Орешек, откуда воевода его Мих. Глеб. Салтыков уехал в Тушино. Оставив, по просьбе Скопина, главные силы в Тесове, Делагарди 30 марта вступил в Новгород, где ему оказана торжественная встреча. Тут оба молодые вождя, русский и шведский, сблизились, и вскоре между ними завязалась дружба, основанная на взаимном уважении. Скопин-Шуйский произвел на шведов приятное впечатление своею сановитою наружностью, приветливостью и разумным поведением. Главное затруднение, встретившееся на первых же порах, состояло в недостатке денег на уплату шведам жалованья; так как московская казна была пуста. Скопин усердно рассылал грамоты в северные области, с настоятельным требованием о сборе и присылке денег или вместо них соболей, сукон, тафты и других товаров, годных для уплаты иноземным ратным людям. Некоторые города поспешили исполнить требование, и часть жалованья была уплачена. Делагарди думал прежде заняться очищением городов, признававших Лжедмитрия, например Ямы, Копорья, Ивангорода; но Скопин не хотел терять на них времени и торопил его идти на освобождение столицы от осады; после чего другие места сами собой отпали бы от Самозванца. Прежде всего надобно было очистить путь к Москве, который заслонял Кернозицкий, все еще стоявший в Старой Русе. Делагарди выслал передовой отряд под начальством Эверт Горна; Скопин присоединил к нему и русский отряд, предводимый Головиным и Чулковым. Кернозицкий сжег Русу и ушел; однако шведо-русский отряд настиг его и наголову разбил около села Каменки. Тогда ближние города, Торопец, Холм, Великие Луки, Ржев и некоторые другие, покинули стороны Тушинского вора, принесли повинную и присягнули Шуйскому. Только в пользу мятежного Пскова Скопин сделал исключение и послал войско, чтобы овладеть сим важным пунктом. Была надежда покончить с ним в короткое время, с помощью партии лучших людей, которые сносились с Новгородом и звали царских воевод. Но эта надежда не оправдалась.

15 мая 1609 года во Пскове произошел страшный пожар, который захватил и самый Кром с Троицким собором; порох, хранившийся в погребах под городскими стенами взорвало; причем часть стены и башен обрушилась. Однако это бедствие не прекратило внутренней борьбы партий: меньшие люди, стрельцы и казаки продолжали свирепствовать против больших людей, т. е. бояр, дворян и гостей. Казачий атаман Корсаков, державший стражу на Новгородской дороге, прислал в город весть о приближении новгородско-шведского отряда. Но большие люди схватили посланца и засадили его в тюрьму. Ничего не подозревая, псковичи всем народом отправились 28 мая встречать икону Богородицы, которую в этот день приносили из Печерского монастыря. Вдруг позади их послышались пушечные и ружейные выстрелы. Новгородско-шведский отряд спешил войти в Великие ворота, которые лучшие люди нарочно оставили отворенными. Но атаман Корсаков встретил подступавших ружейным огнем; а со стен загремел пушечный наряд; особенно псковские стрельцы своим храбрым сопротивлением удержали московское войско, пока народ успел войти в город и принять участие в битве. Видя неудачу, царское войско остановилось в селе Любатове. Казачий гонец, освобожденный из тюрьмы, рассказал, как лучшие люди помешали ему дать весть. Тогда в городе произошло сильное волнение. Один священник, пытавшийся бежать в Любатово, был схвачен и подвергнут пытке. Он оговорил других; их также пытали; те оговорили третьих. На этих пытках присутствовали самозванцев

воевода Жировой-Засекин и дьяк Иван Лутовский. Но от них власть уже перешла к меньшим посадским людям и стрельцам. Из среды последних выдался зычным голосом и дикою энергией некто Тимофей, прозванием Кудекуша Трепец, который и подчинил себе толпу, так что стал указывать воеводам и начальным людям. По словам летописца, многие бояре и дворяне, уличенные в тайных сношениях с Новгородом, были мучимы; им ломали ребра, жгли их на костре. Мятежная чернь восстановила прежний вечевой быт Пскова: часто звонили в колокол и собирали народ на вече, где крикуны играли главную роль. Тщетно новгородцы и шведы приходили из Любатова и затевали бой с псковичами; последние храбро отбивали их нападения. Скопин-Шуйский, не желая развлекать свои силы и тратить время на осаду Пскова, предоставил его самому себе, и отозвал свой отряд.

Меж тем весть о поражении Кернозицкого произвела сильную тревогу в Тушинских таборах. Чтобы прикрыть дорогу из Новгорода в Москву, посланы были Зборовский и известный князь Григорий Шаховской с 3000 поляков и русских. Они подступили к Торжку; начальствовавший здесь воевода Чеглоков спешил уведомить о том Скопина, прося помощи. Скопин и Деллагарди, стоявшие в это время около Крестецкого Яма, наперед себя отрядили к Торжку стольника Головина и Эверта Горна с 2000 русских и шведов. Этот отряд напал на Зборовского и Шаховского. Бой длился с переменным успехом; наконец тушинцы отступили и засели в Твери. Когда прибыли к Торжку Скопин и Деллагарди, то вместо Зборовского и Шаховского они встретили здесь 3000 смолян с князем Яковом Барятинским и Семеном Адауровым, которых, по требованию царя, смоленский воевода Шеин послал на помощь Скопину и которые уже успели отобрать у тушинцев города Дорогобуж, Вязьму и Белую. Зборовский из Твери прислал письмо Деллагарди, убеждающее его оставить неправую сторону Шуйского и перейти на службу к якобы законному государю Димитрию. Деллагарди дал ему резкий и колкий ответ. Соединясь в Твери с Кернозицким, Зборовский храбро вступил в бой со шведами и русскими. Проливной дождь испортил огнестрельные снаряды в шведском войске; оно не выдержало натиска польской конницы, расстроилось и ушло в свой лагерь. Дождь шел и на другой день. Считая себя победителями, поляки расположились в Твери и предались беспечности. На это обстоятельство верно рассчитали Скопин и Деллагарди, и на третий день, 13 июля, ранним утром напали на Тверской острог. Захваченные врасплох, поляки были разбиты наголову, изгнаны из острога, и отступили, потеряв пушки и знамена. Только часть их, засевшая в кремле, успела отбить приступы русских и шведов. Верный своей системе не терять времени на осаду крепостей и, рассчитывая, что неприятели сами покинут этот кремль, Скопин двинулся далее. Но тут между союзниками произошел разлад.

И вообще нелегко было поддерживать порядок и повиновение в разноплеменном сброде наемников, а при данных обстоятельствах эта задача оказалась очень трудною. Недостаток в деньгах поневоле заставил московское правительство замедлить уплатою условленного содержания; к сему присоединились и другие неудовольствия. Шведы, между прочим, жаловались на вероломство русских, которые под Тверью стали грабить обоз союзников в то время, когда сии последние сражались с поляками. Наемники вдруг объявили, что они не хотят идти в глубь Московского государства, и повернули назад. Тщетно Деллагарди вместе с своими офицерами старался утишить волнение и победить упорство солдат. Чтобы не отделиться от войска, он принужден был сделать вид, что сам держит сторону недовольных. Ушедшему вперед Скопину он послал требование уплатить жалованье наемникам и немедля сдать город Корелу; а сам вошел в Тверь, которую поляки успели уже очистить. Однако

мятежное войско не хотело оставаться здесь; Деллагарди принужден был отойти далее назад и остановился под Торжком. Только Христиерн Зоме с отрядом в 1000 человек пошел на соединение со Скопиным. Сей последний ввиду таких неблагоприятных обстоятельств уклонился от прямого пути к столице, перешел на левый берег Волги и направился к Калязину монастырю, чтобы соединиться там с отрядами, шедшими к нему из северных городов под предводительством Вышеславцева и Жеребцова. Здесь он остановился на некоторое время. Сознавая главный недостаток русской рати, большею частью набранной прямо от сохи, а потому не умевшей сражаться в открытом поле с более опытными в военном деле хоругвями, Скопин при помощи Зоме усердно принялся обучать своих ратников военным построениям и искусству владеть оружием. А между тем он вел деятельные переговоры с Деллагарди и употреблял все усилия уладить дело со шведским вспомогательным войском. Чтобы достать средства на уплату жалованья, из Москвы и Калязина рассылались по городам грамоты с настойчивым требованием о присылке денег, соболей и товаров. Это требование не осталось тщетным; мало-помалу казна стала собираться и жалованье шведам начали уплачивать. Между прочим, Соловецкий монастырь прислал около 17 000 рублей; богатые сольвычегодские граждане Строгановы также прислали значительные суммы. Только пермичи в эту эпоху выделились из среды северных городов своими уклончивыми ответами и нежеланием жертвовать на общее государственное дело.

В Тушине знали о раздоре шведов с русскими и радовались. Когда же пришли известия о готовившемся их примирении, там задумали разбить Скопина до прихода шведов. Дело это было поручено Сапеге совместно с Зборовским. Они двинулись из-под Троицы с войском, состоявшим из 12 000 поляков и казаков, и надеялись легко одолеть 20-тысячное ополчение Скопина. При их приближении Скопин выслал на правый берег Волги отряд с Бярятинским, Головиным, Валуевым и Жеребцовым. 18 августа на болотистых берегах речки Жабни эти воеводы вступили в битву с тушинцами, и, пользуясь местностью, удержались до прибытия самого Скопина и Зоме с главными силами. Битва была очень упорна и продолжалась до солнечного заката. Обучение, хотя и краткое, русских военному искусству принесло свои плоды. Поляки с удивлением увидели их стойкость в открытом поле и жестоко обманулись в расчете разбить Скопина, чтобы уничтожить надежду на него московских и троицких сидельцев. Вознося горячие молитвы преподобному Макарию Калязинскому, русские мужественно наступали и наконец сломали врагов. Поляки побежали и были преследуемы до своего лагеря у Рябой Пустыни, где они укрылись, благодаря наступившей темноте, а потом и совсем ушли, Сапега под Троицу, Зборовский в Тушино. Победители воротились в Калязин монастырь. Здесь Скопин пробыл еще несколько времени, пока переговоры его и царя Василия с Деллагарди окончились благополучно. Шведский вождь, по требованию своих солдат отступивший еще далее, к Новгороду, наконец с помощью присланных денег убедил их снова двинуться вперед, и тем более что получил повеление от короля в том же смысле. Но за ним последовала только меньшая часть; а большая часть наемников или сама покинула его, или по настоянию своему была отпущена им на родину. Чтобы пополнить убыль, он послал несколько офицеров в Нарву и Выборг вербовать свежие отряды. В конце сентября Деллагарди прибыл в Калязин и соединился со Скопиным, который встретил его торжественно и роздал его воинам дорогих мехов почти на 20 000 рублей.

Вести о победоносном приближении Скопина оживили московских граждан и троицких защитников надеждою на скорое освобождение. Но это освобождение все еще замедлилось.

Вместо того, чтобы спешить к Москве, Скопин с своими союзниками двинулся к Александровской Слободе, выбил оттуда отряд Сапежинцев и засел в этом хорошо укрепленном городе. Несмотря на свою молодость, он не рвался и не выходил из пределов осторожности и предусмотрительности. Главные силы Лжедмитрия представляли все еще многочисленных, хорошо вооруженных и опасных противников; было бы не совсем благоразумно вступить с ними в решительную битву, рискуя разом потерять все приобретенные выгоды. Скопин воспользовался важным положением Александровской Слободы и отрезал тушинцев от северных областей, откуда они получали свое продовольствие. Еще до занятия Слободы шурин его Головин врасплох захватил Переяславль и прогнал оттуда поляков, чем отрезал от Сапеги Лисовского, стоявшего в Ростове. Лисовский отошел в Суздаль. В конце октября 1610 года (сентябрьского стиля) оба гетмана, Рожинский и Сапега, попытались было соединенными силами выбить Скопина из Александровской Слободы, но не могли выманить его в открытое поле, и без успеха воротились в свои таборы.

Александровская Слобода на некоторое время сосредоточила на себе общее внимание: Москва и Троица со дня на день ожидали отсюда своего освобождения; а враги со страхом смотрели на постепенное усиление здесь Скопина-Шуйского, к которому с разных сторон шли царские воеводы на подкрепление. Так сюда прибыл давно ожидаемый Федор Ив. Шереметев с низовою ратью, а из Москвы от царя пришли подкрепления с двумя боевыми воеводами, князьями Куракиным и Лыковым. Пришел и отряд («станция») рязанцев. Но при нем оказались посланцы от Прокопия Ляпунова с недобрыми грамотами. Пылкий, нетерпеливый Ляпунов в этих грамотах спешил выразить то, что у многих русских людей того времени было не только на уме, но и на языке. Обаяние личности Скопина и его военные успехи возбудили желание и надежду, что именно он будет наследником московского престола после бездетного и нелюбимого Василия Шуйского. А Ляпунов пошел еще далее: ждать смерти Василия казалось ему слишком долго; в своих грамотах он осыпал царя разными укоризнами и прямо предлагал Скопину возложить на себя корону и взять в свои руки скипетр. Честный юноша был возмущен таким предложением, велел схватить посланцев и думал отправить их в Москву как преступников. Едва умолили они отпустить их в Рязань, ссылаясь на то, что действовали под угрозами Ляпунова. Скопин думал просто предать это дело забвению и не донес о нем дяде. Но нашлись другие доносчики, которые передали его в Москве, конечно, с разными прикрасами, и сумели внушить царю подозрение на племянника. Вознегодовали на него и братья Василия, Иван, а в особенности Димитрий, который сам рассчитывал наследовать московский престол. Таковы были последствия ревности не по разуму со стороны Ляпунова.

Очищение ближайших городов и дорог, ведущих в Москву, от тушинских шаек продолжалось. Выше мы видели, что Млоцкий с своим отрядом оставил осаду Коломны и отошел к Серпухову. Но руководимые им воровские шайки все еще держали Коломенский путь в своих руках и не пропускали запасы в столицу. Военное движение в те времена овладело не одними городами, но также и селами. Крестьяне во многих местах составляли отряды и действовали одни под знаменем Шуйского, другие Лжедмитрия. Некоторые из их предводителей выдвигались своею удалью, а чаще своею свирепостью. Так на Коломенской дороге во главе воровских шаек появился какой-то хатунский мужик Салков, напомнивший несколько Ивана Болотникова. По приказу царя коломенский воевода князь Василий Масальский собрал большие запасы продовольствия для столицы и сам провожал обоз с

значительную ратною силою. Но Салков соединился с Млоцким; около Бронниц они напали на Масальского, разбили его и отняли запасы, а чего не могли увезти, то сожгли. Царь Василий распорядился, чтобы по Коломенской дороге строили острожки, под прикрытием которых шел бы провиант в столицу. Но эта мера оставалась безуспешною, пока в той стороне свирепствовал Салков с своими шайками. Он не ограничился Коломенской дорогой; но, приблизясь к Москве, стал прерывать сообщения по Владимирской и другим соседним дорогам. Высланный против него воевода Сукин не имел успеха. Только князю Димитрию Михайловичу Пожарскому удалось наконец наголову поразить Салкова на реке Пехорке, на Владимирской дороге. Салков после того с немногими оставшимися у него людьми явился в столицу и принес повинную царю Василию. По-видимому, царь поступил с ним милостивее, чем с Болотниковым. Вскоре Млоцкий был также побит и от Серпухова отошел к Можайску.

Когда вокруг Скопина собрались почти все свободные ратные силы, он начал последний акт своего похода, т. е. движение от Александровской Слободы к Троице и к Москве. Но и тут не думал предоставить дело открытой решительной битве, исход которой мог зависеть от разных случайностей, и тем более, что наемное шведское войско все еще ожидало свежих отрядов и действовало пока в незначительном количестве. Поэтому Делагарди разделял осторожность Скопина, и оба вместе они выработали план подвигаться вперед с помощью лесных засек и острожков: для первых рубили и сваливали деревья, которые служили закрытием для стрелков и затрудняли атаки польской конницы; а временные острожки или городки строились при движении в более открытых местах, укреплялись валом со рвом и вбитым на валу частоколом. Как только тушинцы после неудачной атаки уйдут назад, царское войско переходило на другой удобный пункт и опять строило там или засеку, или городок. Таким образом оно все более и более теснило неприятеля и прекращало подвозы ему съестных припасов.

Прежде Москвы от осады освобождена была Троицкая Лавра. Имея впереди себя Сапегу, а в тылу Лисовского, который стоял тогда в Суздале, Скопин отрядил вперед воеводу Жеребцова с 900 ратников. Обложение было уже так слабо или так беспечно, что воевода, незамеченный неприятелем, вошел в монастырь. За ним прибыл Григорий Валуев с 500 человек. Соединясь с уцелевшими троицкими защитниками, они сделали большую и удачную вылазку одновременно в разных пунктах. Это была последняя битва под стенами Лавры. Угрожаемый главными силами Скопина, Сапега 12 января 1610 года снял осаду и отошел к Дмитрову. После шестнадцатимесячного осадного томления Лавра наконец вздохнула свободно. Вскоре сюда прибыл сам князь Скопин и с великою честью был встречен иноками. Они открыли его войску свои житницы, в которых оставались еще кое-какие запасы; а шведским наемникам выдали несколько тысяч рублей из монастырской казны.

За Лаврою наступила очередь освобождения от тушинцев и для самой столицы. Это освобождение совершилось легче, чем можно было ожидать, благодаря политическим осложнениям, вновь возникшим со стороны Польши.

При Краковском дворе, откуда велись важнейшие интриги против Московского государства, конечно, внимательно следили за всем, что здесь происходило. Главная цель этих интриг, заключавшаяся в возбуждении смут и внутренних междоусобий, была вполне достигнута. Государство разодрано на две беспрерывно изменявшиеся части: одна стояла за Василия Шуйского, другая за Лжедмитрия II. Польские и казацкие шайки, под рукой

направляемые на Восточную Русь, беспрепятственно разоряли, истребляли русское население и готовили завоевание если не всей Московской земли, то значительной ее части. Польский король, недавно покончивший с внутренним рокошем, выжидал теперь удобного момента, когда можно будет воспользоваться сею подготовкою и самому торжественно, официально выступить в роли вершителя русских судеб. Хотя второй Лжедмитрий, в сущности, был таким же орудием польской интриги, как и первый; однако король и паны-рада не особенно хлопотали о его окончательной победе над Шуйским и водворении на московском престоле. Пример первого Самозванца показал, что в таком случае расчеты на даровое приобретение обширных областей могут оказаться ошибочными; с другой стороны, второй Самозванец являлся слишком известным и грубым обманом, чтобы польско-литовский король без явного унижения своего достоинства мог входить с ним в какие-либо дипломатические сношения, а тем более заключать политические трактаты и союзы. Третья причина относительного равнодушия к нему могла быть церковная: Римская курия, Иезуитский орден и высшее польское духовенство потратили много усилий и хлопот на помощь первому, окатоличенному, Самозванцу, и должны были разочароваться в своих на него надеждах. Второй Самозванец не только не был католиком, напротив, он, по-видимому, старался показывать свою приверженность к православию. Во всяком случае, совсем незаметно, чтобы католическое духовенство принимало в нем такое же деятельное участие, как в его предшественнике. Еще менее могло быть побуждений у польского правительства поддерживать сторону Шуйского и желать ему решительной победы, хотя официально оно продолжало сноситься с ним как с законным государем; причем делало вид, что польско-литовские и запорожские дружины, воевавшие Московскую Русь, действовали самовольно, вопреки всем запрещением и препятствиям, будто бы от него исходившим. Но вот в московские дела вмешалась враждебная Польше Швеция, и стала помогать восстановлению законных прав, законного порядка. Борьба обоих соседей за Ливонию в то время затихала в Балтийском крае; но поляки хорошо понимали, что эта борьба переносится шведами на поля Московии. А главное, они с великим негодованием увидели, как вместе с успехами соединенных сил Скопина и Делагарди из польских когтей начала ускользать столь верно рассчитанная добыча. Тогда в Кракове решено было не медлить долее, и Сигизмунд III стал готовиться к самоличному вторжению в московские пределы, прежде чем Шуйский мог окончательно восторжествовать над своим противником и восстановить государственный порядок в Московской земле.

Тут представился важный вопрос: какую ближайшую задачу должен преследовать польский король?

Этот вопрос возник вследствие кандидатуры королевича Владислава на московский престол, кандидатуры, выставленной частью московских бояр еще при жизни первого Лжедмитрия, а во время наступившей Смуты все более и более приобретающей между ними сторонников. По некоторым известиям при Краковском дворе шли теперь горячие споры и обстоятельные рассуждения о том: объявить ли сию кандидатуру немедля и идти собственно на завоевание московского престола для Владислава или повременить с нею, а прежде заняться покорением тех областей, которые еще недавно принадлежали Польско-Литовскому королевству, но были отторгнуты от него во времена Ивана III и Василия III, т. е. Северной и Смоленской?

По-видимому, решение колебалось то в ту, то в другую сторону. В конце концов возобладала вторая задача, без сомнения в связи с следующими соображениями и

обстоятельствами.

Во-первых, польское правительство хорошо сознавало, что москвитяне, сажая на свой престол королевича, неизбежно потребуют от него перемены религии в пользу православия; а такая перемена вызвала бы сильное столкновение с Римской курией; на что Сигизмунд как ревностный папист и католик был отнюдь не способен. Следовательно, предстояло еще изыскать средства для устранения великого затруднения с этой стороны. Во-вторых, королевич в качестве московского царя был бы поставлен в крайне неудобное положение перед своими подданными, если бы начал царствование отдачею некоторых областей соседнему государству; следовательно, отторжение сих областей от Москвы, во всяком случае, должно было предшествовать занятию Владиславом московского престола. Пример первого Лжедмитрия ясно говорил, что царствование его в самом начале могло окончиться трагически, если им слишком резко будут нарушены церковные и государственные интересы его будущих подданных. Наконец поляки имели перед глазами яркие примеры своих королевичей, занимавших соседние престолы, но без особых выгод для Речи Посполитой. Так Ягайловичи в XV и начале XVI столетия занимали престолы Венгрии и Чехии; но династия их там не утвердилась, и Польша от того не усилилась. Это не то что цепкие немецкие династии, самыми видными представителями которых служат австрийские Габсбурги. Очевидно, по зрелом обсуждении вопроса в кругу некоторых сенаторов и ближних советников, Сигизмунд III решил прежде всего как можно более отвоевать областей у Московского государства для Речи Посполитой, а затем, смотря по обстоятельствам, посадить ли сына на московский престол или еще лучше самому занять его и таким образом под одною короною соединить Польшу, Литву и Москву, и потом их общими силами добывать наследственную Швецию. Сей последний план наиболее улыбался иезуитам, вообще католическому духовенству; ибо не только о перемене религии в таком случае не могло быть речи, но и представлялось гораздо более возможности ввести излюбленную унию в Восточной Руси так же, как она была введена в Западной. Представлялось также возможным Сигизмунду восстановить свои права в Швеции, воротить ее в лоно католической церкви. Одним словом, перед ним открывались широкие церковные и политические горизонты.

Было и еще одно обстоятельство, также несколько отклонявшее короля от немедленного объявления кандидатуры Владислава на московский престол и посылки королевича с войском в пределы Московии: это усиленные ходатайства Юрия Мнишка совместно с посланцами Лжедмитрия и тушинских поляков. Кандидатура Владислава, само собою разумеется, прежде всего должна была устранить Самозванца, опиравшегося на польское войско, а Мнишек, конечно, принимал близко к сердцу интересы своей дочери и ее мужа. От их имени он давал королю клятвенные обещания, что если зять его займет Москву, то выполнит условие об отдаче полякам Северской и Смоленской земли — условие, заключенное еще первым Лжедмитрием, — лишь бы король не посылал своего сына. Ходатайства Мнишка поддерживал его влиятельный родственник краковский епископ Берnard Мацевский. Весьма возможно, что в сем случае он также находил некоторую поддержку себе у своего старого соумышленника в деле польско-русской интриги и начального автора Московской смуты, т. е. у литовского канцлера Льва Сапеги, который хотя тайно, но несомненно продолжал играть роль главного покровителя самозванщины в Московской Руси. Притом, если у Мнишка под Москвою находились дочь и зять, то у Сапеги на их службе пребывал его двоюродный брат. Сапега, однако, стоял выше личных,

корыстных интересов Мнишка, и если оставлял в покое Самозванца, то только до тех пор, пока считал его полезным для польского дела вообще. Кроме поддержки некоторых вельмож, старый Мнишек успешно интриговал и на сейме в том же смысле, т. е. против посылки королевича в Москву.

Прежде чем осуществить свои заманчивые цели и обнять широкие горизонты, Сигизмунду III пришлось считаться с суровой действительностью, т. е. с своею жалкою королевскою властью и польским безнарядьем: надобно было хлопотать о согласии сейма на войну с Москвою и об изыскании для нее средств. Впрочем, сейм на этот раз легко согласился с тем, что не следует упускать удобного времени для нанесения удара исконной сопернице Польши, и тем более, что король обязался не преследовать никаких династических целей и не имеет на первом плане московскую кандидатуру Владислава, а имеет в виду одну пользу Речи Посполитой. В сенате против войны возражали только три, четыре человека; а в посольской избе совсем не возражали и молча согласились на так наз. эксцепту, т. е. на освобождение в военное время от известных судебных позвов всех тех, которые будут служить под королевскими знаменами. Эта привилегия обыкновенно заставляла записываться в войско многих шляхтичей, угрожаемых судебными процессами, особенно со стороны своих кредиторов. Затем начались сборы денег, военных и съестных припасов, вербовка и вооружение жолнеров и стягивание их в намеченные пункты.

Любопытно, что о сих намерениях и приготовлениях польского правительства в Москве получились своевременные и довольно верные сведения, преимущественно из Смоленска. Сидевшие здесь воеводы Мих. Борис. Шеин, князь Петр Ив. Горчаков и дьяк Никон Алексеев зорко следили за всем, что происходило по ту сторону рубежа, посредством своих «лазучников», которые ходили в порубежные литовские города, добывали там вести от своих «сходников» или местных обывателей, подкупленных московскими деньгами и дорогими мехами. Но, очевидно, тут действовал не один подкуп, а часто влияли симпатии единоверия и единоплеменности. Не забудем, что за литовским рубежом жило русское и православное население, среди которого можно было встретить много людей, более сочувствующих страданиям Московской Руси, чем польско-казацким насилиям и неправдам. Шеин узнавал и передавал в Москву не только о том, что делалось за рубежом, но и о том, что творилось в Тушинских таборах под Москвою. Не только западнорусские жолнеры, но также западнорусские купцы, побывавшие в этих таборах со своими товарами, возвращались на родину и рассказывали о всем там виденном и слышанном. Между прочим, в марте 1609 года воротившиеся жолнеры сообщали такую весть о Тушине: «Крутиголова Димитрий, что зовется цариком, хочет оттуда идти прочь и стать на новом месте, потому что весною смрад и вонь задушат войско; а по просухе хочет добывать Москву огнем». Но воротившиеся торговцы говорили, что «вор хочет бежать, потому что боится Рожинского и казаков; так как ему нечем платить жалованье войску». В то же время вести из-за рубежа сообщали, что столько-то пехоты и конницы собралось под Могилевом и Оршею, но что еще неизвестно, идут ли они добывать Смоленск или двинутся мимо него на Москву; что казаки запорожские в числе 7000 собрались в Каневе, Переяславе и Черкасах и просят у короля идти под Смоленск; что стараниями Сендомирского воеводы поход королевича на Москву отменен; что из Орши купцы хотят ехать в Смоленск, но их не следует сюда впускать, потому что между ними много (польских) лазутчиков, которые намерены произвести здесь смуту, и пр. Один из западно-русов, сообщавших подобные вести, пишет смоленским воеводам: «Пожалуйста, пришлите мне доброго самородного бобра, ибо за прежнее мое

письмо к нам меня слово обошло (стали обвинять), так надобно в очи закинуть (или рот заткнуть)». В мае того же года, судя по донесениям лазутчиков, Сигизмунд приказал Мнишку смирно сидеть дома и под страхом смертной казни не ходить в Московское государство; в то же время он вообще запретил литовским людям ходить туда в одиночку. Очевидно, система беспорядочных действий отдельными кучками прекращалась. Король собирал людей под свое личное начальство и готовил войну серьезную, наступательную.

В пограничном с Смоленскою областью литовском городе Велиже сидел старостою пан Александр Корвин Гонсевский, один из бывших в Москве польско-литовских послов, задержанных там после убиения первого Лжедмитрия. По возвращении в отечество он, пылая мщением, явился в числе самых рьяных подстрекателей короля к войне с Москвою. Прежде чем выступил король, Гонсевский уже открыл неприязненные действия, не стесняясь существовавшим перемирием, в заключении которого он сам участвовал. Предводимые его братом Симоном и московскими изменниками Хрипуновыми, отряды вольницы, разорив пограничную засеку, вторглись в соседние смоленские волости (Щучейскую и Порецкую), пограбили их и побрали в плен многих крестьян. Тщетно Шеин писал жалобы Гонсевскому на его людей и требовал удовлетворения. Тот с своей стороны объявил, будто эти волости на основании перемирного договора должны отойти к Литве.

Во время приготовления к королевскому походу возник вопрос, куда именно направить его и с какой области начать завоевания, с Смоленской или Северской. Польный коронный гетман Жолкевский советовал идти в Северскую землю, овладение которой не представит большого труда, ибо крепости там деревянные; тогда как хорошо укрепленный Смоленск может остановить движение короля, если не захочет сдаться добровольно. Но король склонился на сторону тех, которые советовали идти на Смоленск. На этом пути особенно настаивали тот же пан Гонсевский и канцлер Лев Сапега. Первый извещал короля, что лучшая часть смоленского гарнизона ушла с князем Барятинским и Ададуровым к Михаилу Скопину и что смольняне, по всей вероятности, сдадутся добровольно. Встретив Сигизмунда в Минске, Жолкевский напрасно спорил и указывал на слишком позднее время года для начатия осады, если Смоленск вздумает сопротивляться. Сапега торопил походом; в Орше он отделился от главных сил, и с собственными ротами пехоты и несколькими сотнями конницы двинулся к Смоленску, чем побудил другие части войск и самого короля идти вслед за собою.

16 сентября 1610 года (по сентябрьскому или русскому стилю того времени) Сигизмунд III с главными силами прибыл под Смоленск и началась знаменитая осада сего города.

Предпринимая столь несправедливую войну, король пытался, однако, оправдать свое вторжение в глазах европейских дворов; а потому послал свои объяснения императору германскому Матвию и некоторым другим государям. Тут он выставил на вид старые права Литвы на Северское и Смоленское княжества, уверяя, будто Смоленск был захвачен Москвою помощью обмана; говорил, что действует во славу Божию, ради умножения католической церкви и для блага всего христианства; указывал на московские смуты, которыми могли воспользоваться враги христианства турки и татары, а также и островитяне (англичане), имевшие возможность проникнуть сюда морским путем. От папы Сигизмунд просил для своего предприятия особого святого благословения, которое и было ему прислано. При самом вступлении своем в пределы Московского государства, Сигизмунд подписал универсал, обращенный к жителям Смоленска. Тут он говорит о бедственном состоянии и междоусобиях Московской земли, происшедших оттого, что после Федора

Ивановича на престоле являлись люди не царского рода, захватившие его насильем и обманом; уверял, что многие московские люди били ему челом о спасении своего государства и что он идет не для пролития крови, а для обороны православной русской веры (I); почему и приглашал жителей встретить его с хлебом-солью.

Полученный из Смоленска ответ должен был на первых порах разочаровать Сигизмунда и его ближних советников. Воеводы, поговоря с архиепископом Сергием, с служилыми и посадскими людьми, отписали, что смольняне положили обет в соборном храме Богородицы «за истинную православную христианскую веру, за святые церкви и государя царя и великого князя Василия Ивановича всея Руси всем помереть, а литовскому королю и его панам отнюдь не поклониться». Таким образом, вызванные обещаниями некоторых изменников, расчеты на добровольное покорение смольнян не оправдались, и пришлось силою оружия добывать сей западный оплот Московского государства.

В это трудное, критическое время судьба послала смольнянам мужественного воеводу в лице боярина Михаила Борисовича Шеина, который и явился героем упорной обороны, надолго задержавшей короля у смоленских стен. Смоленск расположен на обоих холмистых берегах Днепра; причем самый город или крепость лежит на левом берегу, а часть городских посадов и слобод на правом. Шеин уговорил жителей сжечь свои беззащитные посады и слободы, а самим перебраться с семьями в крепость, и всем способным к бою стать в ряды ее защитников. Каменные стены крепости, построенные Борисом Годуновым, отличались прочностью и основательностью. Они обнимали более пяти верст протяжения и заключали в себе до 38 круглых и четверугольных башен, часть которых была с воротами. Стены имели три сажени толщины и до пяти сажен вышины; в них поделаны амбразуры или бои в три обычные яруса: подошвенный, средний и верхний. По стенам было размещено более 300 пушек, тюфяков и разнообразных пищалей; при них в достаточном количестве имелись порох, железные и каменные ядра. Продовольствие заготовлено было также в изобилии. Только мало было опытных ратных людей для обороны такого обширного пространства; ибо отправка трехтысячного отряда на помощь Скопину Шуйскому весьма ослабила смоленский гарнизон. Деятельный воевода сумел до известной степени восполнить этот недостаток. В городе оставалось почти такое же количество ратных людей, т. е. детей боярских, стрельцов, казаков, воротников, затинщиков и пр. По требованию Шеина духовенство всех жителей вновь привело к присяге крепко стоять и обороняться против врагов до последней крайности; а затем он на каждый отдел укреплений назначил головами или начальниками по три, по четыре человека из боярских детей и лучших посадских людей; а черные сотни и слобожан велел расписать по несколько десятков на каждый отдел стены в помощь ратным людям, да по несколько человек при каждом орудии в помощь пушкарям и затинщикам. Другие посадские и слобожане расписаны были по отделам для содержания ночных караулов в крепости под ведением двух земских старост (Горбачова и Гапянова). Следовательно, каждый занял свое место и отправлял сторожевую и ратную службу. Таким образом набралось всех способных к бою, но большую часть плохо вооруженных, тысяч до семивосьми; а все население крепости со стариками, женами и детьми можно считать от 30 до 40 тысяч. В узкой полосе между крепостью и рекой расположилась еще толпа ближних крестьян, ради пастьбы своего скота; но потом эти люди и скот отчасти попали в руки неприятелей. Большинство же окрестных поселян бежало в леса, где, однако, неприятельские фуражиры отыскивали их и отнимали у них скот.

Осаждавшее войско числом своим вначале немного превышало осажденную рать, с тою,

однако, разницею, что оно состояло из опытных хорошо вооруженных конников (гусар, пятигорцев, казаков) и некоторого количества наемной немецкой пехоты. В открытом поле защитники Смоленска не могли бы стоять против них; но за укреплениями они оказали чисто русскую стойкость и неодолимость. Все подсылки, письменные и словесные, пытавшиеся при помощи разных изменников склонить смольнян к сдаче, остались тщетными как вследствие бодрости и предупредительных мер со стороны воеводы, так и вследствие одушевления самих граждан. Религиозная ревность в борьбе с врагами православия, а также неистовства, производимые тогда поляками и казаками в Русской земле, возбуждали в жителях воинственный пыл, а страх видеть от них поругание своих жен и дочерей в особенности усиливал этот пыл. При таком настроении смольняне горячо молились о небесной помощи во своих храмах Богу, Пречистой Богородице и местным угодникам Меркурию, Авраамию и Ефрему. Живою и чувствительною связью с Москвой и царем Шуйским служили тогда их братья и родственники, находившиеся в войске Скопина под начальством князя Барятинского и Ададунова; письменные сношения с ними немало поддерживали верность смольнян и их усердие к обороне. Но тщетно архиепископ смоленский Сергей и воеводы писали царю Василию о недостатке ратных людей и просили помощи. Пока Тушинский вор стоял под Москвой, царь не мог послать войска, а только посылал увещательные грамоты. Смольнянам пришлось ограничиться собственными средствами обороны, и тем более, что крестьяне Смоленского уезда, обольщенные королевскими грамотами о вольности, не послушали воеводского приказания, в осаду не пошли и даточных людей не прислали. Мало того, крестьяне соседних волостей, побуждаемые польскими и литовскими фуражирами, стали возить в королевский лагерь съестные припасы, так что во время осады неприятель не имел недостатка в продовольствии.

Королевское войско окружило город несколькими отрядами. Главные же его силы расположились в укрепленном лагере над Днепром. Начальствующие над ними лица, а именно король, гетман Жолкевский, канцлер Сапега, каштелян перемышльский Стадницкий и др. поместились в ближних загородных монастырях, Троицком, Спасском, Борисоглебском, Архангельском и Духовском. Впрочем, Сапега, обеспокоенный выстрелами из крепости, вскоре покинул Спасский монастырь и велел построить себе дом подалее в днепровской долине. К северу от крепости за Днепром стоял лагерь воеводы брацлавского Яна Потоцкого и его брата; а на пепелище городского посада окопался с своим отрядом литовский маршал Дорогостайский. Выше по Днепру, около Духовского монастыря, расположились особым табором пришедшие вскоре запорожцы. А один из главных виновников похода на Смоленск, пан Гонсевский, с отдельным отрядом осадил ближайшую к Смоленску крепость Белую.

Осаждавшие поставили пушки и принялись обстреливать стены; но по отсутствию мортир и орудий большого калибра (пока их не подвезли из Риги) пальба эта мало вредила осажденным, которые с своей стороны живо отвечали из своих пушек и пищалей. Немецкая пехота начала копать траншеи, чтобы приблизиться к стенам. Недели через две они настолько приблизились, что король решил сделать ночной приступ, с помощью петард. Его повели на двое ворот, Копытецкие и Аврамьевские. Но эти ворота были защищены снаружи деревянными срубами; так что неприятелю пришлось прокрадываться узкими, тесными закоулками. Ему удалось прислонить к воротам доски с петардами («медяные болваны с зельем», по выражению русского источника) и зажечь их. Ворота были выбиты, и несколько десятков воинов ворвались уже в крепость. Но они скоро были вытеснены; ибо никто их не

подкрепил: за треском петард и орудий, назначенный для приступа отряд не уловил момента; а помянутые срубы препятствовали ему видеть, что за ними происходило; трубачи не подали условленного сигнала, и отряд отступил. Разрушенные ворота смольняне немедля завалили песком и камнями, а потом укрепили их палисадами, и усилили при них стражу. Также неудачны были попытки нечаянного приступа, произведенные и в следующие ночи.

Эти первые неудачи смутили осаждающих и ободрили осажденных. После неудачных приступов поляки прибегли к другому обычному средству: к подкопам. Но и тут их попытки оказались тщетны; ибо основания смоленских стен были так искусно устроены, что имели под собой тайные ходы или слухи, благодаря которым каждый подкоп своевременно был замечен и уничтожен контрминою. Король и канцлер Сапега неоднократно возобновляли попытки обольстить осажденных своими увещательными грамотами и обещаниями всяких милостей. Смольняне оставались глухи к сим увещаниям. Поэтому волею-неволею пришлось вести правильную, долгую осаду и быть постоянно настороже; ибо осажденные делали частые вылазки, побуждаемые к тому в особенности нуждою в дровах и воде; они обыкновенно по ночам производили эти вылазки, под прикрытием которых рубили деревья в соседних рощах и делали запасы воды из Днепра. Хотя на помощь королю пришло до 30 000 запорожцев, т. е. поднялся едва не весь Запорожский кош: но они постоянно менялись в числе, так как не любили подчиняться военной дисциплине, приходили и уходили, когда им вздумается, и более занимались набегами на разные московские области, чем Смоленскою осадю. Видя недостаточность своих сил, Сигизмунд и его главные советники решили привлечь на королевскую службу те польские войска, которые тогда стояли под Москвою и Троицею, т. е. тушинцев и сапежинцев, служивших Лжедмитрию II; для чего стали снаряжать особое посольство от короля под Москву.

Вступление короля в русские пределы произвело большой ропот среди польских отрядов, состоявших в службе Самозванца: они поняли, что делу Лжедмитрия приходит конец, а следовательно, и все обещанные им награды обращались в мыльные пузыри. Рожинский отнюдь не желал расстаться с своим гетманством и надеждами на великие приобретения; он собрал на рыцарское коло полковников, ротмистров и товарищей (офицеров), и помощью сильной, запальчивой речи склонил его новою присягою подкрепить свой союз или конфедерацию. Главные условия сей конфедерации состояли в том, чтобы не отступать от названного Дмитрия, пока не посадят его на московский престол и пока не получат сполна все обещанное им жалованье. Рожинский сам отправился под Троицу и предлагал Сапеге подписать заключенную конфедерацию; но Сапега уклонился, вероятно, по своему соперничеству с Рожинским, а еще вероятнее по тайному согласию с своим старшим родственником, великим канцлером Литовским. Рожинский отправил даже посольство от Тушинского табора к Сигизмунду под Смоленск с грамотою, в которой излагались разные дерзкие требования; но они встретили решительный отказ. В то же время и Сапега прислал посольство от своих полков, по наружности с подобными же требованиями; но секретно он сообщал о своей готовности подчиниться воле короля и давал ему некоторые советы относительно начатой войны.

Резкий ответ, полученный от Сигизмунда, смутил тушинских поляков, и между ними скоро возникли разногласия по сему поводу. Некоторые агенты, под благовидным предлогом прибывшие из-под Смоленска, своими внушениями склонили многих на королевскую сторону. К тому же соперничество между предводителями усилилось и переходило в явную вражду. Например, Зборовский, воротившийся после своего поражения под Тверью, так рассорился с Рожинским, что имел с ним поединок, из которого вышел цел только благодаря крепкому панцирю. При таких обстоятельствах в декабре 1610 (сентябрьского) года прибыло под Москву торжественное королевское посольство, имея во главе несколько знатных панов, каковы: Станислав Стадницкий, князь Збаражский, Скумин, Домарацкий и Казановский. Их сопровождал довольно значительный военный отряд; но по

недостатку продовольствия в Тушинском лагере, большая часть его осталась в Можайске; а несколько сот отборных гусар прибыли с послами. Сии последние имели полномочие вступить в переговоры не только с поляками и русскими, служившими Самозванцу, но также с духовными и гражданскими чинами Москвы и с самим царем Шуйским, если он согласится на уступку областей. Только к Лжедмитрию им не было дано никаких поручений; ибо король считал ниже своего достоинства вступать с ним в какие-либо сношения. Послы были встречены на некотором расстоянии от Тушина Зборовским со свитою, а близ него самим Рожинским, который, отзываясь нездоровьем, сидел в санях. Самозванец вместе с Мариной из окна своего жилища смотрел на этот торжественный въезд. Послы остановились у Рожинского, который задал в честь их большой пир. Начались долгие переговоры, для которых выбраны были по два комиссара от каждого польско-тушинского полка; пригласили также комиссаров и от сапезинцев. Сначала тушинцы выставили требование, чтобы король, взяв земли Смоленскую и Северскую, сам ушел назад, а войска свои прислал им на помощь для завоевания всего Московского царства. Потом стали требовать, чтобы им было заплачено 2 000 000 злотых; но по мере посольских увещаний все сбавляли свои требования. В то же время велись переговоры с русскими боярами, служившими Лжедмитрию, и с духовенством, во главе которого стоял митрополит Филарет. От имени короля им обещали сохранение и защиту православной церкви. Но попытки послов вступить в переговоры с Шуйским остались тщетными.

Во время сих переговоров Самозванец, видя, что на него не обращают никакого внимания, чувствовал свое жалкое положение. Он попытался спросить Рожинского, о чем идут речи с королевскими послами. Гетман и без того обращавшийся с ним дерзко и надменно, находился, по обычаю, в нетрезвом состоянии; он обругал Самозванца безвестным бродягой и еще худшими словами; сказал, что ему нет дела до послов, и грозил его прибить. Тогда Богданка не стал более медлить и ждать, пока решат его участь. Ночью он тайком, переодетый в крестьянское платье, в навозных санях выбрался из лагеря, вдвоем с своим шутом Кошелевым, и затем в сопровождении отряда московских воров и казаков уехал в хорошо укрепленную Калугу, жители которой приняли его и окружили почестями как будто настоящего своего государя. Известный князь Григорий Шаховской, находившийся с казаками неподалеку от Царева Займища, по призыву Самозванца поспешил прибыть в Калугу со своим отрядом.

Велика была тревога, которая произошла в Тушинском лагере на следующее утро, когда узнали, что Самозванец куда-то пропал. Вместе с ним пропали все надежды поляков на обещанные награды и на дальнейшее широкое приволье, которым они пользовались под его знаменем в Московской земле. Вспыхнул бунт. Многие с обнаженными саблями бросились к Рожинскому и чуть не убили его, обвиняя в пропаже Самозванца. Едва удалось ему с помощью некоторых полковников и королевских послов утишить мятеж. Другие бунтовщики бросились грабить Самозванцев скарб и делить между собою найденные в нем золото, серебро, меха, столовую посуду и пр. Вскоре, однако, в лагере появились его агенты с письмами: Лжедмитрий жаловался на главных начальников, особенно на Рожинского, требовал их казни и, по обыкновению, обещал богатые награды тем полякам, которые останутся верны данной ему присяге и снова вступят в его службу. Эти жалобы и обещания произвели новые волнения и распри в лагере, и, хотя распространение писем запрещено было под страхом смертной казни, однако агенты Самозванца продолжали проникать в лагерь и соблазнять ляхов льстивыми словами. Притом Марина также не оставалась в

бездействии и лично старалась подействовать на многих поляков, умоляя их не изменять ее названному супругу. Она продолжала держать тон московской царицы и с негодованием отвергла предложение королевских послов воротиться в Польшу и пользоваться там доходами, которые король обещал ей пожаловать. В таком же тоне писала она королю под Смоленск; причем настаивала на своих мнимых царственных правах, и вообще решительно отказывалась воротиться в свое прежнее состояние дочери Сендомирского воеводы. По сему поводу она отвечала своему родственнику пану Стадницкому, одному из королевских послов: «Ваша милость должна помнить, что кого Бог раз осиял блеском царственного величия, тот не потеряет этого блеска, как солнце не теряет его от случайно заслонившего его облака». Пока поляки вели переговоры с послами и колебались между службою своему королю или Самозванцу, казаки нисколько не были расположены переходить на службу чуждого им государя и начали понемногу уходить из Тушина в Калугу. Среди московских бояр, дворян, дьяков и других служилых людей, находившихся в Тушине, после бегства Лжедмитрия обнаружилось разногласие: одна часть их стала также уходить в Калугу, а другая решила не разрывать союза с поляками и заодно с ними вступила в переговоры с королевскими комиссарами.

Следствием сих переговоров было отправление соединенного русско-польского посольства из Тушина под Смоленск к Сигизмунду III. Тушинских поляков отправилось несколько человек с паном Хрущинским во главе; кроме них поехал Стравинский от сапежинцев. А от русских послано было 42 человека; во главе их стояли: боярин Михаил Глебович Салтыков с сыном Иваном, князь Василий Рубец-Масальский, Федор Мещерский и Юрий Хворостинин, дьяк Иван Грамотин, дворяне Михаил Молчанов, Тимофей Грязной, московский купец Федор Андронов и др. Посольство сие прибыло под Смоленск во второй половине января 1610 года и было торжественно встречено при въезде в королевский лагерь. Русские изменники, по замечанию поляка-очевидца, были богато одеты и сидели на хороших татарских лошадях. Спустя три дня, они были приняты королем в присутствии сенаторов и военных начальников. Первым выступил Михайло Салтыков. Он поцеловал у короля руку, поздравил его с прибытием в Московскую землю, благодарил за обещанные милости и выразил желание русского народа поддаться под его охрану. По русским дипломатическим обычаям того времени, старый Салтыков вдруг остановился и предоставил продолжать речь своему сыну Ивану. Сей последний ударил челом королю от имени патриарха Филарета и всего духовенства с благодарностию за его намерение водворить мир и тишину в Русской земле; после чего вкратце перечислил русских государей до Федора Ивановича включительно, сказал и о незаконных похитителях престола.

За ним говорил князь Масальский, а потом дьяк Грамотин. Последний высказал самую суть дела: от имени духовенства, бояр, дворян и всех московских людей он бил челом королю, чтобы дал им на царство королевича Владислава и сохранил бы неприкосновенными их древнюю греческую веру. Тут снова заговорил старый Салтыков и с плачем повторил просьбу о сохранении в целости обрядов Православной церкви; затем просил назначить сенаторов для переговоров с послами. На эти речи от имени короля дал милостивый ответ московским людям литовский канцлер Лев Сапега с обещанием ни в чем не нарушать их совести и веры.

Полчаса спустя, справляли посольство польские делегаты. Они изъявили преданность королю и желание служить ему вместо чуждого им Лжедмитрия; но при этом подали довольно длинный список своих требований, более или менее трудно выполнимых, каковы:

по овладении Москвой исполнение всего обещанного им Лжедимитрием, а до того времени уплата жалованья по крайней мере за три четверти, отдача Марине обещанных ей областей, а самому Лжедимитрию удельного Русского княжества, и т. п. Им отвечал именем короля коронный под канцлер Крыский с обещанием рассмотреть их требования.

После того открылись переговоры московских послов с польско-литовскими сенаторами, под руководством под-канцлера Крыского. Предметом сих переговоров служили условия, на которых москвичи предлагали свой престол королевичу Владиславу. Поляки старались быть любезными и делали вид, что вполне согласны отпустить в Москву Владислава; но главное затруднение состояло в требовании русских, чтобы он принял православие. После двухнедельных переговоров наконец пришли к соглашению и от имени короля составили договор, заключающий в себе 18 пунктов. В сем договоре вопрос о принятии Владиславом православия совсем обойден, а давалось только согласие, чтобы он был коронован в Москве русским патриархом. Греческая вера должна остаться «ни в чем ненарушимою». Всякий католик может входить в православный храм, но смиренно, а не в шапках и не с собаками (как делали тогда ляхи на Руси), и во время службы не сидеть. Для людей римской веры надобно выстроить в Москве хотя один костел; но ни король, ни сын его не будут никого принуждать к переходу из греческой веры в римскую. Далее подтверждались имения и права как церковей и духовенства, так бояр и всех служилых людей. Суд обещан по старине на основании Судебника. Провинившегося судит государь с боярами и думными людьми; причем невинные родственники не отвечают за его вину и остаются при своих имуществах; без боярского суда никого не карать, чести, поместий и вотчин не отнимать; людей вельможных без вины не понижать, а меньших без заслуг не возвышать. В этих условиях ясно проглядывает новая (после возведения Шуйского) попытка московских чинов оградить себя на будущее время от повторения жестокой тирании Грозного, т. е. попытка к ограничению самодержавия Боярскою думою. Права служилого сословия подтверждаются также запрещением крестьянских переходов и обещанием не давать вольности холопам. В других условиях со стороны москвичей видно опасение некоторых явлений, от которых страдала Русь Западная, а именно: при полной свободе московским купцам ездить в Польшу и Литву, а польским и литовским в Москву, жидам воспрещается въезд в Московское государство под каким бы то ни было предлогом. Польским и литовским панам не дозволялось давать воеводства и другие уряды по городам; но поместьями и вотчинами награждать можно.

Король делал вид, что согласен на все эти условия, и по окончании переговоров дал русским послам пир в своей ставке; причем пил за их здоровье. Но по всем признакам об исполнении договора он думал менее всего; на что указывает, между прочим, и та присяга, к которой приведено было русское посольство: оно клялось впредь до воцарения Владислава повиноваться его отцу Сигизмунду как своему государю. Но тщетно Сигизмунд хотел немедля воспользоваться сею присягою и, при посредстве тушинских послов, потребовал от Шеина сдачи Смоленска. Напрасно Салтыков с товарищами склонял его к этой сдаче, ссылаясь на новый договор. Шеин отказал наотрез.

Гораздо более затруднений встретилось при переговорах с делегатами тушинских поляков. Не получая удовлетворительного ответа на свои требования, они обратились с упреками и с угрозой мести к своим русским товарищам, которые вначале обязались не отделять своих интересов. Русское посольство принуждено было ходатайствовать за поляков. Наконец и с ними покончили, представив на их требования обширный, но мало

содержательный королевский ответ. Им обещано богатое вознаграждение, но в будущем, когда уладятся московские дела; а в случае какого затруднения предоставлено требовать уплаты своего жалованья с княжеств Северского и Рязанского. Касательно Марины король также оставлял за ней ее права; но о них де будет речь в свое время. Он даже обещал принять во внимание интересы и положение Самозванца, если сей последний «будет держать себя смиренно и не портить дела его королевского величества». Для окончательного соглашения с тушинскими поляками и для подкрепления их король обещал отправить с отрядом Яна Потоцкого воеводу Брацлавского, с которым обещал также прислать значительную сумму денег для уплаты войску. В то время, как делегаты Рожинского и тушинских поляков вели себя довольно дерзко и предъявляли высокомерные требования, уполномоченный Яна Сапеги, наоборот, действовал мягко и от имени своего начальника хлопотал главным образом о возможно скорейшем прибытии подкреплений; так как сапеженцы были сильно теснимы Скопиным, а Рожинский им не помогал.

Меж тем в Тушинском лагере продолжались распри и волнения, которые поддерживали приезжавшие из Калуги агенты Самозванца, совместно с Мариной. Сия последняя, по словам польских писателей, прибегала даже к приемам отчаянного кокетства, чтобы подействовать на польские и казацкие сердца. Так она являлась среди воинов бледная с распущенными волосами и со слезами на глазах умоляла их не оставлять ее мужа. Поляки умилялись и волновались; однако оставались пока на месте, в ожидании ответа от своего посольства к королю. Но донские казаки, ничем не связанные с королем, легче поддались просьбам лжецарицы. До 3000 их выступили из лагеря с распущенными знаменами по дороге в Калугу. Тщетно главный атаман их Заруцкий пытался удержать донцов; видя их неповиновение, он бросился с жалобой к Рожинскому. Последний, с свойственною ему вспыльчивостию, взял несколько гусарских полков, догнал казаков, значительную их часть положил на месте и многих воротил назад. В Калугу к Самозванцу пришло из них не более 500 человек. После такой резни Марина сочла для себя невозможным оставаться долее в Тушине, и в половине февраля бежала верхом на коне, переодетая в гусарское платье, в сопровождении одного слуги и одной служанки. В лагере она оставила польскому рыцарству письмо, в котором объясняла побег невозможности выносить долее свое трудное и небезопасное положение, говорила, что, раз сделавшись московскою царицей, она не может вернуться в состояние шляхтянки и подданной польского короля; а в заключение напоминала рыцарству присягу ее мужу и будущие награды. На следующий день исчезновение Марины и ее письмо произвели в Тушинском лагере новую бурю, подобную той, которая произошла после бегства Самозванца. Многие с обнаженными палашами бросились к Рожинскому; кричали, что он не гетман их, а изменник, продавший себя королю; требовали возвращения царика и т. п. Раздались даже выстрелы. При всей своей гордости и отваге Рожинский принужден был на некоторое время спрятаться, пока разъяренные шляхтичи мало-помалу пришли в себя, и бунт затих.

Избегая встречи с отрядами Шуйского, Марина направилась не прямо в Калугу, а сначала в Дмитров к своему благоприятелю Яну Сапеге. Тут, с его дозволения, она в своем гусарском костюме являлась перед польским рыцарством, и точно так же старалась подействовать на него пламенною речью и женскими слезами. Некоторые товарищи увлеклись ее речами, и проводили ее до Иосифова монастыря, откуда она отправилась в Калугу. Сапега дал ей конвой из 50 казаков и всех находившихся в его войске наемных немцев. Часть дороги провожал ее родной брат, староста Саноцкий, который затем поехал к

королю под Смоленск. В Калугу Марина явилась верхом, одетая в красном бархатном кафтане, в сапогах со шпорами, с саблею и пистолетами за поясом. Ее приезд обрадовал Самозванца и произвел впечатление на жителей. Окруженная женским штатом, составленным преимущественно из немок, Марина придала некоторый блеск калужскому двору Лжедмитрия II. Вообще дела его стали поправляться, и он чувствовал себя здесь более свободным и самостоятельным, чем в Тушинском лагере, под надзором надменного князя Рожинского.

По отъезде Марины Сапега недолго оставался в Дмитрове. Михаил Скопин продолжал теснить его и отнимать сообщения. Передовой отряд Скопина, предводимый князем Ив. Сем. Куракиным, явился под самым Дмитровом. Сапега попытался дать ему битву. Был конец февраля; в поле лежали еще глубокие снега, в которых вязла тяжелая польская конница; тогда как русские и шведы проворно бегали на длинных деревянных лыжах. Сапеженцы были разбиты и принуждены спасаться в город. Обещанная королем помощь не приходила, а от Рожинского тоже не было подмоги; поэтому в начале марта 1610 года Сапега зажег Дмитров и ушел к Волоку Ламскому, откуда вскоре перевел свое войско на берега Угры; а сам на короткое время отправился к королю под Смоленск. Войско его вошло в переговоры с калужским самозванцем, который не скупился на всевозможные обещания. Следствием сих переговоров было то, что большая часть сапеженцев, с самим Сапегою во главе, снова поступила на службу царика, с условием, однако, чтобы он ничего не предпринимал против короля. Дело в том, что Сигизмунд находил для себя пока выгодным существование Лжедмитрия, который отвлекал часть московских сил; к тому же с его уничтожением те города, которые признавали его, могли бы воротиться на сторону Шуйского. Ян Сапега, по всем признакам, действовал с согласия короля и своего родственника канцлера.

После отступления Сапеги Тушинский табор очутился в опасном положении между столицей и Скопиным, который теперь мог обратить на него все свои силы. Тогда Рожинский в свою очередь зажег собственный табор и двинулся на запад, уводя с собою большинство русских тушинцев. Он остановился в Волоколамском краю и занял каменный монастырь Иосифа Волоцкого, откуда его войско снова вошло в переговоры с королем об условиях, на которых оно хотело вступить в коронную службу. Посреди этих переговоров князь Роман Рожинский, еще не достигший сорокалетнего возраста, но уже надломленный физически и нравственно, разболелся и умер в конце марта. В войске его произошли сильные разногласия: одна часть с Александром Зборовским во главе поступила на королевскую службу; а другая, большая часть соблазнилась обещаниями Самозванца. Тысячи две поляков и казачий отряд, остававшиеся в Иосифове монастыре, были осаждены московско-шведским отрядом под начальством Григория Валуева и Делавиля, которые поставили кругом свои острожки. Поляки и казаки попытались скрытно уйти из монастыря; но дорогою были настигнуты Валуевым и разбиты наголову. В этой битве был отполонен у поляков митрополит Филарет с некоторыми другими знатными людьми. Это удачное дело происходило в мае, уже после смерти Скопина.

Когда разошелся Тушинский табор и осада Москвы прекратилась, население ее наконец могло вздохнуть свободно. Со всех сторон начались подвозы съестных припасов, и цена хлеба, еще недавно доходившая до 5–7 рублей за четверть, понизилась вчетверо или впятеро. По приглашению царя сам освободитель столицы князь Михаил Васильевич Скопин приехал из Троицкой Лавры и 12 марта имел торжественный въезд, вместе с своим

шведским товарищем Делагарди. У городских ворот ждали его бояре, высланные от царя с хлебом-солью. А народ встретил его за городом на Троицкой дороге, приветствовал шумными кликами, падал ниц и бил челом за избавление от врагов. Василий Иванович со слезами обнял племянника, благодарил его и честил дарами. Он также ласкал шведских военачальников и осыпал их подарками. Москвичи наперерыв приглашали и угощали их. Бояре один перед другим давали пиры в честь воеводы и его сподвижников. Посреди этих пиров юноша Скопин не прекращал своих военных забот. Много было сделано для очищения и успокоения государства; но впереди предстояло едва ли не более. Сигизмунд осаждал Смоленск, Калужский вор все усиливался, Лисовский еще держался в Суздале. Хотя многие города перешли теперь на сторону Шуйского; но немало их оставалось и в руках неприятелей. Гонсевский взял крепость Белую; запорожцы овладели Стародубом и Почепом; Чернигов, Новгород-Северский, Рославль также покорились Сигизмунду или, точнее, королевичу Владиславу, которого считали будущим царем московским. Были, однако, примеры измены и со стороны неприятелей. Так начальствовавший в Можайске тушинский поляк Вильчек сдал этот город Шуйскому за 100 рублей. Скопин совещался с боярами насчет предстоящих военных действий, и готовился по прошествии полной воды выступить в новый поход. Делагарди торопил его; в качестве постороннего человека он легче мог наблюдать высшее московское общество и заметить, как зависть и придворные интриги скопляли черные тучи над головой его русского друга, от которого и не скрывал своих опасений. Мать Скопина Елена Петровна тоже беспокоилась за сына. Говорят, когда он был еще в Александровской Слободе, она наказывала ему, чтобы не ездил в Москву, где его ждут «звери лютые, пышущие ядом змеиным».

Слава, увенчавшая чело юного героя, и обаяние его личности, естественно, усилили в народе толки о том, что к нему должен перейти московский престол после Василия. Сей последний, не имея детей мужского пола, мог довольно равнодушно относиться к вопросу о своем преемнике, только бы престол был обеспечен ему самому до конца жизни, а потом не выходил бы из его рода. Но к сему вопросу неравнодушны были его родные братья, Димитрий и Иван, в особенности первый, который считал себя ближайшим наследником Василия, и потому очень недружелюбно смотрел на троюродного племянника, уже отнявшего у него звание первого воеводы, а теперь угрожавшего отнять и право престолонаследия. Говорят, стоя на городской стене при торжественном въезде Михаила в столицу, он не утерпел и сказал: «Вот идет мой соперник!» Зависть Димитрия особенно поджигала его жена Екатерина Григорьевна, дочь памятного злодействами Малюты Скуратова и сестра бывшей царицы Марьи Григорьевны Годуновой, очевидно походившая на нее и характером, и властолюбием. Этот Димитрий начал внушать брату Василию опасения насчет племянника, будто бы замышлявшего свергнуть его с престола и сесть на его место; причем напоминал о предложении Ляпунова, посланцев которого Скопин отпустил безнаказанно и не донес о том царю. Василий, как рассказывают, имел по сему поводу объяснение с племянником, и последнему горячими словами и клятвами удалось рассеять подозрения дяди. Но злой дух в образе брата продолжал свои наветы, так что, по известию иноземца, рассерженный царь однажды палкою прогнал от себя наветника. Димитрий, однако, не унимался и пользовался всяким случаем перетолковывать поступки Михаила. Между прочим, обвинял его в том, что он самовольно, без царского согласия, уступил шведам город Корелу с уездом. Напоминал также о предсказании каких-то гадателей, что на московский престол сядет Михаил, который успокоит государство.

Указывал и на то, что современные грамотеи сравнивали прием, оказанный москвитянами Михаилу, с Давидом, которого изральтяне после победы над Голиафом восхваляли более, чем Саула. Василий делал вид, что не верит наветам брата; однако его мнительность и подозрительность были возбуждены. За Дмитрием Шуйским, очевидно, стояла целая партия завистников и недоброжелателей юного Скопина, особенно из числа тех знатных бояр, которые самих себя считали достойными занять престол и желали устранить от него Шуйских.

Как бы то ни было, бедствие, которого так опасались близкие и преданные Скопину люди, совершилось.

23 апреля происходил пир у князя Ивана Михайловича Воротынского, по случаю крестин его новорожденного сына Алексея. Крестным отцом был Михаил Васильевич Скопин-Шуйский; а крестною матерью Екатерина Григорьевна Шуйская. После стола Екатерина подносит чару с вином своему юному куму и бьет ему челом на здоровье их крестника. Михаил Васильевич, ничего не подозревая, осушил чару до дна. Спустя несколько минут, он почувствовал себя дурно, так что слуги взяли его под руки и отвезли домой. У него открылось сильное кровотечение из носу; а от лютой боли в животе он метался и громко стонал. Яков Делагарди, услышав о его болезни, прислал ему своих немецких врачей; царь прислал своих придворных медиков. Но никакие средства не помогли. Около двух недель промучился Михаил Васильевич и затем скончался. Чернь, уже возбужденная толками о болезни своего любимца и об отраве, услышав о его кончине, с воплями и угрозами бросилась к дому Дмитрия Шуйского, и только ратные люди, заранее отряженные царем, защитили его от народной ярости.

Вопль и плач раздавались вокруг почившего героя: не говоря уже о его матери и супруге, обезумевших от горя, московский народ, от царя, патриарха и вельмож до нищих и убогих, толпился на его дворе в слезах и рыданиях. Особенно неутешны были его ратные сподвижники, и в их числе граф Яков Делагарди. Повествователь его жития говорит, что искали на торгу дубовую колоду в меру покойника, и не нашли; так он был велик ростом; пришлось пристрогать на концах, чтобы уместить его тело.

Сначала хотели гроб его положить в Чудове монастыре, чтобы потом отвезти в родной Суздаль и похоронить рядом с предками, когда сей город очистится от воров и Лисовского. Но толпа народная, узнав о том, потребовала, чтобы его положили в Архангельском соборе рядом с гробами царскими и великокняжескими. Царь соизволил на это требование. На следующий день по кончине совершилось погребение с царскими почестями; гроб несли вельможи и соратники; сам патриарх Гермоген с духовенством отпевал усопшего воеводу в Архангельском соборе, при огромном стечении народа. Его похоронили в приделе Ивана Крестителя. Царь Василий не менее других вопил и плакал. Но сознавал ли он все значение своей потери; понимал ли, что вместе с Михаилом порывалось звено, связывавшее его с народом, и что он хоронил свою династию? Во всяком случае, эту смерть он оставил безнаказанной, и осиротевшее главное воеводство передал не кому другому, а все тому же ничтожному брату своему Дмитрию.

Внезапная кончина Михаила Скопина заставляет историка невольно задуматься над неисповедимыми путями Промысла, которыми он направляет судьбы царств и народов. Она вызывает мысль о том, что совершившихся смут было как бы недостаточно и нужно было России до дна испить чашу бедствий, чтобы очиститься и возродиться к новой государственной жизни. Другой династии суждено было залечить ее раны и вести ее в

дальнейший путь.

Светлый образ царственного юноши поразил воображение современников и оставил свой след в народной памяти; о том свидетельствуют некоторые сложенные о нем песни, проникнутые грустью. А русские книжники, знакомые со сказаниями о Троянской войне, сравнивали его с Ахиллом и Гектором.

МОСКОВСКОЕ РАЗОРЕНЬЕ

Василий Иванович Шуйский, как выше сказано, по смерти Скопина главным воеводою назначил брата своего Димитрия, не любимого народом и войском, презираемого графом Делагарди и другими предводителями наемных иноземцев. Впрочем, в положении Василия затруднительно было найти надежного воеводу помимо своих родственников: Мстиславский и Голицыны, по местническим отношениям имевшие ближайшее право на главное воеводство, во-первых, не отличались военными талантами, а во-вторых, сами являлись в числе претендентов на московский престол. Довериться кому-либо из менее знатных, но более искусных в ратном деле, также могло представляться делом сомнительным: измена Басманова Годуновым была еще в свежей памяти.

Главную свою надежду Василий возлагал теперь на Делагарди и его наемников, которых он старался задобрить уплатою жалованья, подарками и всякими обещаниями. Для удовлетворения их он истощал свою последнюю казну. Ради них же вскоре после освобождения Троицкой Лавры от осады он послал туда дьяка Семенка Самсонова за денежною помощью. Тщетно архимандрит Иоасаф с братией, при посредстве пребывавшего в Москве келаря Палицына, представили свою челобитную, в которой исчисляли, сколько тысяч рублей монастырь выдал Годунову, первому Лжедмитрию и самому Василию (всего 65 000), и говорили, что им едва хватит средств исправить разбитые стены, башни и монастырские здания, поврежденные неприятелем. Не взирая ни на что, дьяк, по приказу государеву, взял из монастырской казны остальные деньги, отобрал золотые и серебряные сосуды, жертвованные прежними царями и боярами; мало того, перетряхнул все имущество иноков и монастырских сидельцев (мирян, бывших в осаде), и взял все, что можно. Разумеется, такой поступок сильно охладил усердие к Шуйским со стороны знаменитой Лавры.

Военные действия меж тем продолжались безостановочно. Валуев, поразив часть тушинских поляков под Иосифовым монастырем, двинулся за ними и дошел до Царева Займища. Другой царский воевода князь Барятинский, соединясь с Эверт Горном, осадил крепость Белую, в которой заперся Александр Гонсевский. Димитрий Шуйский выступил из Москвы и остановился в Можайске, который был назначен сборным пунктом, куда с разных сторон спешили ратные люди. Туда же должен был прийти и Делагарди с своими наемниками.

Все эти обстоятельства, а также советы Салтыкова и других русских изменников побудили короля послать наконец помощь остаткам польско-тушинского войска, пока они не рассеялись совершенно, и тем устранить прибытие русско-шведской рати под Смоленск. Начальство в этом походе предназначалось Яну Потоцкому, воеводе Брацлавскому. Но он, соперничая с польным коронным гетманом Жолневским, желал его удалить, чтобы безраздельно пользоваться своим влиянием на короля и стяжать себе славу завоеванием Смоленска; притом тушинские поляки обнаружили столько требовательности и своеволия, что вести с ними общее дело представлялось крайне неудобным. Потоцкий под разными предложениями уклонился от похода. Тогда король поручил этот поход гетману. Хотя обычай и приличие требовали, чтобы гетман находился при королевском обозе, однако Жолкевский, понимая всю важность нового предприятия и не веря в скорое взятие Смоленска, охотно принял поручение. Он взял с собой только 1000 человек пехоты и 2000 конницы. Сначала он направился к крепости Белой, куда призывал его Гонсевский, осажденный Горном и

Барятинским. Услышав о приближении гетмана, русско-шведские воеводы поспешили отступить ко Ржеву. Тогда гетман двинулся к Цареву Займищу и недалеко от него соединился с несколькими тысячами казаков и тушинских поляков, которыми предводительствовали Зборовский и Казановский. В селении Царевом Займище, лежавшем на пути между Можайском и Вязмою, находилось от 6 до 8 тысяч русского войска. Хотя главное начальство над ним принял на себя князь Елецкий, присланный Димитрием Шуйским, однако в действительности распоряжался более энергичный и опытный в военном деле Валуев. Получив известие о движении гетмана, воеводы стали наскоро сооружать острог, т. е. укрепление, окруженное валом и тыном, в котором могли бы поджидать прибытия главной московской рати. Жолневский спешил напасть на них, чтобы не дать им время докончить укрепление и заготовить съестными припасами. Тут, при первом же удобном случае, тушинцы дали себя знать: полк Зборовского потребовал уплаты обещанного жалованья, а до того отказался двинуться из своего лагеря. Жолневский не стал терять с ним время, а, взяв с собой казаков и полк Казановского, пошел к Займищу. Остальные тушинцы, устыженные примером товарищей, потом также с ним соединились.

Под Царевом Займищем Борис Годунов устроил пруд и насыпал широкую, прочную плотину. Елецкий и Валуев поставили свой острог или городок так, что подойти к нему надобно было плотиною; а около нее по обеим сторонам в лесных зарослях они приготовили засаду из нескольких сот стрельцов. Но гетман, извещенный лазутчиками, велел обойти засаду и напасть на нее сбоку; а сам успел перейти плотину и отбросить назад русских, вышедших из укрепления ему навстречу. После того он окружил городок маленькими острожками и отрезал ему сообщения. Валуев стал посылать гонцов, которые ночью лесами прокрадывались к Можайску и там сообщали, что если он не получит скорой помощи, то должен будет сдаться от голоду. Димитрий Шуйский, подражавший Скопину только своею медленностию, наконец решил выступить из Можайска, когда с ним соединились не только Деллагарди, но и Барятинский с Горном. Войско его теперь простиралось от 30 до 40 тысяч человек; в том числе одних иноземцев было до 8000. Если к этим силам присоединить отряд Валуева, то москвитяне в числе имели большой перевес над неприятелем; ибо в распоряжении гетмана находилось не более 10–20 тысяч. Но когда от количественного перейдем к качественному отношению противников, то получим обратный вывод. Замечательно стойкие при обороне в укреплениях, русские в ту эпоху по недостатку военного искусства не могли в открытом поле стоять против хорошо вооруженных и закаленных в боях польских хоругвей, притом московское ополчение состояло большею частию из людей вновь набранных от сохи и совсем не привычных к ратному делу; ибо старые, опытные ратники или были истреблены в предыдущих боях и походах, или оставались дома за тяжкими ранами и болезнями. Достаточно опытную часть войска составляли только дворовый или жилецкий полк, да отряд Валуева, запертый под Царевом Займищем. Еще более различался дух противников: поляки были одушевлены и объединены жаждою добычи и славы, мыслию о своих недавних успехах и победах; а русские, потеряв Скопина, утратили охоту биться за нелюбимого царя и питали полное недоверие к своему главному воеводе.

Во главе неприятеля стоял такой даровитый и искусный предводитель, каким был гетман Жолневский. Не только ничтожный Димитрий Шуйский не шел ни в какое с ним сравнение; но и Яков Деллагарди на самом себе испытал превосходство Жолневского: с ним он уже встречался в Ливонии, где был им побежден (при взятии поляками города Вольмара в

1601 г.)» и затем несколько лет провел в польском плену. Отношения между главными предводителями, т. е. Шуйским и Делагарди, были уже не те, что при Скопине: место дружбы и взаимного уважения заступили холодность и недоверие. Кроме того, теперь вполне обнаружилось, как трудно было ладить вообще с пестрою, разноязычною толпою иноземных наемников, которые вечно были недовольны замедлением в уплате жалованья, при всяком удобном случае предъявляли заносчивые требования, отказывались повиноваться и обнаруживали наклонность к изменам. Как раз в это время присланы были из Москвы с дьяком Демидовым 10 000 рублей деньгами и 20 000 мехами и сукнами для уплаты им жалованья. Но меха и сукна не успели раздать по причине спешного похода на выручку Валуева. Иноземцы роптали и заводили явные бунты; особенно ненадежны были французы, к которым польские предводители обращались как к своим единоверцам и склоняли их на свою сторону. По известиям самих польских источников, эти изменнические сношения предшествовали решительной встрече обеих армий.

При таких условиях нетрудно было предвидеть, к чему поведет сия встреча.

Как искусный военачальник Жолкевский особенно деятельно занимался разведочною частию; он своевременно и подробно был осведомляем о всех движениях русской рати, о ее составе, настроении и пр. В этом особенно помогали ему русские изменники, а также наемные иноземцы, уходившие от русских и передававшие на сторону поляков. Шуйский приблизился к Цареву Займищу 23 июня и остановился в некотором расстоянии от него, подле села Клушина, намереваясь на следующий день напасть на гетманское войско. Окруженный многочисленною челядью, любивший роскошную жизнь и влачивший за собою большой домашний скарб, Шуйский в этот вечер давал пир Делагарди и его офицерам; после чего отошел ко сну. Пока этот неспособный воевода предавался отдохновению и беспечности, полагая, что гетман не посмеет напасть на него с своим малочисленным войском, враг не дремал. Имея точные сведения, Жолкевский перед вечером собрал военный совет и спрашивал, что делать: ожидать ли русских на месте и принять бой, имея тогда с одной стороны Шуйского, а с другой Валуева, или оставить меньшую часть сил при Цареве Займище, а с большею идти к Клушину? Мнения разделились; произошли оживленные прения. Гетман не высказался ни в ту, ни в другую сторону; а велел только всем полковникам и ротмистрам на всякий случай быть готовыми к походу. Про себя он уже решил идти на Шуйского: но молчал до последней возможности; ибо опасался находящихся при нем москвитян, чтобы кто-нибудь из них не предупредил Шуйского. Когда настала ночь, гетман вдруг разослал приказ выступить из лагеря, соблюдая возможную тишину, без трубного и барабанного шума. В лагере было оставлено около полторы тысяч человек.

Перед рассветом, 24 июня 1610 г., польское войско подошло к Клушинскому стану, где все спало и не было принято никаких мер предосторожности. Но вполне воспользоваться таким ротозейством и тотчас ударить на русских помешала гетману лесистая, болотистая и пересеченная местность: войско его шло узкою колонною; две полевые пушки дорогою так застряли, что пришлось с трудом их обходить. А около Клушина оно натолкнулось на плетни, которыми было перегорожено поле и среди которых были расположены две деревеньки. Гетман прежде всего велел зажечь эти деревеньки, чтобы они не послужили прикрытием для русских и шведских стрелков. Тогда только спавшее войско пробудилось и в большом смятении стало готовиться к бою. Москвитяне выступали из своего стана, обнесенного рогатками, а иноземцы из своего, огражденного возами. Последние стали на правом крыле; пехота их под защиту плетня открыла огонь, и удержала стремление

неприятеля. На левом же крыле беспорядочная русская конница, неосторожно выдвинутая вперед, недолго выдерживала отчаянные атаки гусар и пятигорцев Зборовского; обратясь в бегство, она обрушилась на стоявшую за ней пехоту, которая от того расстроилась, и также дала тыл. В это время два подоспевшие орудия и польская пехота сбили иноземцев с поля. Делагарди выдвинул свою конницу; но она не могла устоять против польских хоругвей, и стала уходить в лес. Оставались еще нетронутыми около 3000 немцев и французов, которые занимали удобную позицию, защищенную лесами и болотом. Гетман перед боем объезжал ряды и одушевлял воинов, указывая на то, что при настоящих обстоятельствах их спасение заключается только в победе; а во время боя он, подобно Моисею, стоял на возвышении, подняв руки к небу и моля Всевышнего об этой победе.

Между тем конница Зборовского увлеклась преследованием москвитян и отделилась от места битвы. Когда же она воротилась, то увидела, что Димитрий Шуйский с остальной пехотой засел в деревне Клушине и устроил острожек, т. е. окружил себя окопами, рогатками и тыном, а вперед выдвинул стрельцов с полевыми орудиями. Беглецы с разных сторон стали возвращаться и примыкать к этому острожку. Сбитые с поля иноземцы также начали понемногу выходить из лесов. Утомленные трехчасовою битвою с многочисленным неприятелем и потеряв свои копья, польские гусары сошли с коней и держали их в поводу. Победа готова была ускользнуть из рук неприятеля. Но чего он не добился честным боем, того достиг с помощью измены.

Из помянутого еще нетронутого отряда немцы и французы стали кучками перебегать к полякам, передавая, что и все их товарищи, недовольные москвитянами, готовы поручить себя милости гетмана. Жолкевский ловко воспользовался сим обстоятельством и тотчас трубным звуком велел известить иноземцев о своем намерении вступить с ними в переговоры. Его племянник Адам Жолкевский, человек красноречивый и знавший разные языки, отправился к ним и склонял их перейти в службу польского короля. Услыхав о сих переговорах, Димитрий Шуйский послал убеждать иноземцев, чтобы они оставались верными своей присяге, и обещал всевозможные награды. Но измена превозмогла, и тем более, что главные начальники отсутствовали: и Делагарди, и Горн оба были увлечены в бегство своею конницею. Иноземцы заключили с гетманом договор, по которому получили полную свободу, смотря по желанию, или вступить в польскую службу, или беспрепятственно воротиться в отечество. Делагарди и Горн, в эту минуту прискакавшие на поле битвы, тщетно пытались образумить солдат и возвратить их к своему долгу; бунтовщики чуть не убили самого Делагарди, так что он с Горном едва от них спасся. Наемники уже толпами переходили на сторону поляков и вместе с ними стали добывать московский лагерь. Видя измену иноземцев, на которых плохие воеводы возлагали главную надежду, Димитрий Шуйский счел все потерянным и думал только о собственном спасении. Он и его товарищи, князя Андрей Голицын и Данило Мезецкий, предались бегству. Их примеру последовало все войско. Из других главных воевод князь Барятинский был убит, а Василий Бутурлин взят в плен вместе с дьяком Демидовым. Только часть поляков преследовала бегущих и при этом многих перебила; остальная же часть и наемники — предатели занялись грабежом богатого русского стана; особенно привлекли их возы с мехами и сукнами, которые были привезены для жалованья иноземцам, но остались нерозданными. В числе польской добычи оказались карета и шатер Димитрия Шуйского, его сабля, булава, шлем, вышитое золотом знамя и дорогая посуда. Пушки также сделались трофеем неприятеля. Сам Шуйский во время бегства увязил в болоте своего коня вместе с

сапогами, и босой на деревенской кляче добрался до Можайска; отсюда отправился в Москву и лично принес туда весть о своем постыдном поражении.

В Клушинской битве и Яков Делагарди оказался ниже своей славы, приобретенной им во время совместных действий со Скопиным. Современное известие сообщает о его неудачной похвальбе. Разбогатеv дорогими московскими мехами, накануне битвы на пиру у Шуйского он будто бы сказал: «Когда я был взят в плен в Вольмаре, гетман подарил мне рысью шубу; а у меня теперь есть для него соболья». Вместе с поражением он лишился и начальства; не имея более войска, он принужден был также заключить договор с Жолкевским о свободном отступлении. Собрав вокруг себя несколько сот настоящих шведов, Делагарди и Горн ушли на север. Наряду с тушинскими поляками, в Клушинской битве участвовала и дружина русских тушинцев, во главе с Иваном Салтыковым, сыном известного Михаила Глебовича. Более чем оружием, эти изменники помогли гетману своими советами и сношениями с их единомышленниками в московском войске.

Гетман не увлекся восторгом от своей необычайной победы и не потерял ни одной минуты. После того, как был отслужен благодарственный молебен с пением *Te Deum laudamus* и коням дан небольшой отдых, он поспешно двинулся в обратный путь; к вечеру уже расположился опять под Царевом Займищем, и вновь начал добывать городок, в котором оборонялся отряд князя Елецкого и Валуева. Эти воеводы оплошностью уподобились своему главному начальнику: в течение целого дня, когда в нескольких милях от них кипела большая битва, они сидели сложа руки, совсем не заметили отсутствие гетмана и не воспользовались случаем ударить на малую горсть осаждавших. Как скоро его войско заняло свои окопы, гетман тотчас известил осажденных воевод о своей Клушинской победе, и приглашал их сдаться, так как им более неоткуда ждать помощи. Те сначала не хотели верить; но на другой день стали прибывать рассеянные толпы иноземных наемников, хорошо знакомых русским воеводам и теперь большею частию поступавших в войско гетмана. Городок успел окружиться глубокими рвами и высоким валом; а известно, как русские стойко оборонялись в укреплениях. Гетман видел, что приступом взять их трудно, а только голодом; следовательно, пришлось бы потерять много времени; тогда как обстоятельства требовали немедленного движения на Москву, чтобы не дать Шуйским опомниться и набрать новое войско. Он воспользовался удручающим впечатлением, которое произвела весть о его победе, и с обычным своим искусством вступил в переговоры, выставляя себя не врагом русских, а только военачальником королевича Владислава, которого они сами выбрали в цари и уже присягнули ему под Смоленском. При посредстве русских тушинцев, Елецкий и Валуев склонились на убеждения гетмана, и со всем своим отрядом присягнули королевичу Владиславу на тех же условиях, как и Салтыков с товарищами. Они не только сдали городок, но и присоединились с своими ратниками к войску гетмана. Он отправил князя Елецкого к королю; а Валуева, как более способного и более преданного делу королевича, оставил при себе. Валуев, наряду с Салтыковым, сделался одним из главных советников гетмана в его дальнейших действиях против Шуйского.

Таким образом, выступив из-под Смоленска с трехтысячным отрядом, Жолкевский двинулся теперь на Москву во главе более чем двадцатитысячного отборного войска, состоявшего из поляков, русских и наемных иноземцев. При его приближении к Можайску жители и духовенство с хлебом-солью вышли ему навстречу и также присягнули королевичу Владиславу. Затем покорились гетману или собственно Владиславу Волоколамск, Ржев,

Погорелое-Городище и некоторые другие места. Жолкевский остановился в Можайске и отсюда завел сношения со столицей, направляя дело таким образом, чтобы ему не приходилось брать Москву силою орудия, — конечно, благодаря своевременному устранению Василия Шуйского.

Но не один гетман в это время хлопотал около Москвы. Еще жив был тушинский и калужский Самозванец. Получив известие о Клушинской битве, он также спешил воспользоваться удобным моментом. Выступив из Калуги, он соединился со стоявшими на Угре сапежинцами, которым уплатил значительную сумму денег, и в первых числах июля двинулся во главе с лишком десятитысячного войска, состоявшего из хорошо вооруженных и закаленных в битвах гусар, пятигорцев и казаков. Самозванец и Сапега направились к Москве через Боровск. В трех верстах от сего города находится монастырь св. Пафнутия, в то время огражденный каменною стеною с башнями, глубоким рвом с водою и занятый военным отрядом, которым начальствовал князь Михайло Волконский. На требование сдачи он отвечал отказом. Сапега стал добывать монастырь приступом. Тогда двое воевод, товарищи Волконского (Змеев и Челищев), изменили и отворили ворота неприятелю. Волконский продолжал мужественно обороняться и пал в самой церкви у гроба святого.

Разорив монастырь, поляки двинулись далее. Недалеко от Боровска на одной стоянке они подверглись нападению татар. Около того времени пришли крымские царевичи, которых Василий Шуйский призывал себе на помощь. Царь выслал на соединение с ними последние остававшиеся у него силы с князьями Воротынским и Лыковым. Воеводы встретили крымцев в Серпуховском уезде; отсюда царевичи выслали передовой отряд, который подкрался к полякам, расположенным в нескольких деревнях, многих частью побил, а частью побрал в плен. Но когда сапежинцы собрались и дали энергичный отпор, татары воротились назад. Угрожаемые с одной стороны войском Самозванца, с другой Жолкевским, царевичи потеряли всякую охоту сражаться за Шуйского, поспешили переправиться назад за Оку и ушли домой, обремененные награбленною добычею и пленниками. Самозванец после того продолжал движение к столице. Он остановился сначала у монастыря Николы на Угрешах, а потом, оставив здесь Марину, сам подвинулся ближе к Москве и расположил свой стан в семи верстах от нее в селе Коломенском.

Некоторые города, возбужденные агентами калужского вора, вновь признали его царем. Так присягнули ему Коломна и Кашира; хотели присягнуть жители Зарайска, но были удержаны своим воеводою князем Дим. Пожарским. Сей доблестный воевода своею твердостью и неизменною верностию законному государю во второй раз остановил распространение измены и мятежа. В первый раз это было вслед за кончиною Скопина. Известный Прокопий Ляпунов объявил себя мстителем за его смерть; громко обвинял в его отравлении самого Василия Шуйского с братьями, возмутил против него Рязанскую землю и вошел в сношения с калужским воров. Возбуждая соседние области к общему мятежу, Ляпунов, между прочим, прислал своего племянника Федора в Зарайск с грамотою к князю Пожарскому. Но воевода отправил грамоту в Москву к царю Василию и просил подкрепления, которое вскоре и получил; чем остановил тогда распространение рязанского мятежа. Так и теперь, когда зарайцы встали всем городом и потребовали от воеводы, чтобы он вместе с ними присягнул калужскому вору, воевода с немногими людьми заперся в каменном Зарайском кремле и приготовился к обороне. Протопоп Зарайского Николаевского собора Димитрий, один из выдающихся русских патриотов той эпохи, благословил князя умереть за православную веру. Так как в кремле хранились не только

съестные и военные запасы, но и лучшее имущество посадских людей, то последние, боясь за свои «животы», смирились и условились с воеводою присягнуть на том: «Кто будет царем на Москве, тому и служить». Благой пример Зарайска в свою очередь подействовал и на другие города; между прочим, Коломна отказалась от вора и воротилась к своему долгу. Но Ляпунов с рязанцами продолжал крамольничать и хлопотать о свержении Шуйского, сносясь с своими московскими единомышленниками, особенно с князем Голицыным.

Любопытно столкновение этих двух воевод, Ляпунова и Пожарского, которых судьба потом выдвинула на переднюю сцену действия — столкновение, ясно очертившее резкую противоположность их характеров и стремлений: с одной стороны даровитая, но беспокойная натура, чрез меру увлекающаяся личными впечатлениями и честолюбием; с другой вполне консервативная, не мудрствующая лукаво и ищущая спасения в безупречном исполнении своего долга.

Уже известие о Клушинском поражении повергло столицу в полное уныние. А когда подошел калужский вор, то московское население, смущаемое с одной стороны агентами вора и Ляпунова, с другой подметными листами Жолкевского и сторонниками Владислава, подверглось сильным волнениям и распрям. Чернь снова стала выражать свои симпатии воровскому царьку, надеясь с его разрешения бить и грабить людей знатных и зажиточных; а бояре, дворяне и купцы потеряли голову и не знали, что предпринять. Хотя области теперь оставались глухи к царским приказам и почти перестали высылать ратных людей на его службу, однако под руками можно было еще собрать до 30 000 войска; в том числе было бы от 8 до 10 тысяч хорошо вооруженных московских стрельцов. Но не было воеводы, который бы стал в их главе и увлек за собою. Царя Василия почти перестали слушать. В Москве начались народные сходки, наподобие древнего веча. Эти сходки или совещания происходили и в городе, и за городскими воротами. На последних появлялись и русские изменники из Коломенского или сапежинского стана. Посреди сих совещаний стали обнаруживаться различные кандидатуры, т. е. претенденты на московский престол. Меж тем как некоторые склонялись на сторону Владислава, а единомышленники Ляпуновых указывали на князя Василия Васильевича Голицына, русские изменники предлагали или своего царика, или его гетмана, т. е. Сапегу: вот до чего московский трон со времени первого Лжедмитрия сделался предметом вожделения чуть ли не всякого искателя приключений! На одной из подобных загородных сходок служившие вору русские предложили москвичам следующее: «Вы низложите своего царя Василия, а мы откажемся от нашего царика; выберем царя всей землей и станем заодно против Литвы». Москвичи приняли предложение.

Главными деятелями при свержении Василия Шуйского явились князь Василий Голицын и Захарий Ляпунов, брат Прокопия; первый, действуя скрытно, выдвигал перед народом второго. Толпа дворян и детей боярских, предводимая Захаром Ляпуновым и его сообщниками (Ив. Ник. Салтыковым, Хомотовым и др.), пришла во дворец и стала просить царя Василия, чтобы он сложил с себя венец и скипетр. Ляпунов при сем излагал такие причины: царствование его несчастливо, украинские города отложились, сел он на престол не по выбору всей земли, погубил много невинных людей, а братья его окормили отравою победоносного племянника. Тут Василий вспылал, выхватил из-за пояса нож и бросился на Ляпунова со словами: «Как смеешь ты, б..., с..., говорить это, когда и бояре того мне не говорят?» Дюжий Ляпунов простым движением руки отстранил слабого старика, грозя его уничтожить. Толпа с угрозами покинула дворец. Вожаки мятежа явились на Лобное место и

набатным колоколом собрали народ; а отсюда, под предлогом тесноты, отправились за Серпуховские ворота и там устроили совещание, призвав бояр и патриарха. Они указывали на непрерывные бедствия, сопровождавшие царствование Шуйского; снова напоминали о том, что он сел не по избранию всей земли, что Литва и вору угрожают столице с двух сторон, от Можайска и от Коломенского, что надобно низложить Василия и всей землей подумать об избрании нового царя. Тщетно патриарх Гермоген пытался удержать народ от беззакония и защищал Шуйского. Видя решительную неприязнь народа к Василию, он перестал говорить и удалился. Тогда во дворец явилась опять мятежная толпа, уже с некоторыми боярами во главе. Здесь князь Ив. Мих. Воротынский, царский свояк, выступив вперед, именем земли просил Василия Ивановича оставить государство и взять себе в удел Нижний Новгород. После этой просьбы жалкий, всеми покинутый старик не стал более спорить. От него отобрали знаки царского достоинства, и он из дворца вместе с супругою переехал в свой старый боярский дом. Это событие произошло 17 июля 1610 года. Верховная власть впредь до избрания царя оставалась в руках Боярской думы, в которой председательство принадлежало старейшему боярину князю Фед. Ив. Мстиславскому. На имя этого временного правительства и были разосланы присяжные листы.

Когда москвичи на следующей сходке с людьми калужского вора у Даниловского монастыря объявили им о низложении Шуйского и потребовали от них исполнения такого же условия по отношению к вору, те отвечали: «Вы своего царя ссадили, забыв крестное целование; а мы за своего готовы умереть». Этот ответ привел москвичей в раздумье. Патриарх между тем говорил, что низложение Василия совершено незаконным образом. Шуйский приободрился и, имея в своих руках значительное имущество, завел сношения с своими приверженцами, особенно старался подкупать стрельцов. Тогда Захар Ляпунов с товарищами решили отрезать ему всякий возврат к престолу, не лишая его жизни. Они отправились к Шуйскому с несколькими иеромонахами и потребовали от него пострижения. Старик наотрез отказался и молил о пощаде; спрашивал, за что его так жестоко преследуют, напоминал совершенное им избавление от Гришки Отрепьева. Но его не слушали и насильно исполнили обряд; Ляпунов крепко держал его за руки, а князь Туренин (по другому известию Тюфякин) вместо него произносил обеты. На Василия надели иноческое платье и в закрытом кафтане отвезли его в Чудов монастырь. Его супругу Марию Петровну точно так же насильно постригли в монахини, несмотря на ее сопротивление и слезные причитания о своем муже. Ее поместили в Вознесенском монастыре. Братьев его Дмитрия и Ивана исключили из состава Боярской думы и отдали за приставы.

Гермоген не признал насильного пострижения Шуйского и считал монахом того, кто произносил за него обеты. Но голос патриарха в этом случае оставался гласом вопиющего в пустыне. Таким же гласом оказался он и в вопросе об избрании нового государя. Патриарх стоял за выбор из русских людей и указывал на состоявшего с ним в приязни князя Василия Васильевича Голицына. Но против последнего резко высказался князь Фед. Ив. Мстиславский: он объявил, что сам не менее Голицына имеет прав на престол, но отказывается от них, а также не хочет видеть государем равного себе боярина; что двукратное избрание царя из бояр принесло одни бедствия и, следовательно, надобно избрать кого-либо из племени царского. Мстиславского поддержали и другие бояре. Таким образом ни к чему не привели происки Голицыных и их пособников Ляпуновых. Видя неудачу в сем случае, патриарх, однако, продолжал настаивать на выборе русского, и стал

указывать на древний боярский род Романовых. Из любимых народом братьев Никитичей налицо оставался только один Иван Никитич. Но не его назвал патриарх Гермоген, а юного Михаила Феодоровича, которого отец хотя был еще жив, но находился в иноческом чину, под именем Филарета. Эта кандидатура пока ниоткуда не встретила сильной поддержки: очевидно, не пришло еще ее время. Обстоятельства были пока слишком темны и запутаны. Что касается калужского вора, то хотя многие из черни и сочувствовали ему, видя в нем себе покровителя и потаковника, однако гнусное и всем ведомое его самозванство претило народу; а знатное боярство не хотело о нем и слышать. Поэтому, располагая оставшимися в Москве ратными силами, оно давало энергичный отпор всем покушениям на столицу со стороны Коломенского. Итак, главным претендентом на московский престол являлся королевич Владислав, и Боярская дума, с Мстиславским во главе, очевидно, склонялась на его сторону.

Наступило время семибоярщины, названной так, конечно, по числу членов временного правительства. В официальных грамотах, однако, мы встречаем подписи не семи, а шести лиц, каковы: три боярина, Ф.И. Мстиславский, В.В. Голицын и Ф.И. Шереметев, один окольный, князь Данило Ив. Мезецкий, и два думные дьяка, Василий Телепнев и Томило Лутовский.

Когда Жолкевский узнал о низложении Василия, он немедля двинулся к Москве и стал пересылаться грамотами с временным правительством, извещая его, что он спешит на помощь против Самозванца; так как многие москвитяне уже просили короля дать им в цари Владислава. Бояре сначала отказывались от помощи и склоняли гетмана не приближаться к столице. Но когда он подошел и 24 июля расположился станом около села Хорошова, то бояре нашлись вынужденными вступить с ним в переговоры. Самозванец, встревоженный прибытием гетмана, попытался также войти с ним в сношения. Он предлагал выплачивать королю ежегодно большую сумму денег и уступить Северскую землю, если тот поможет ему сесть на царство. Жолкевский позволил ему с сими бесполезными предложениями отправить посольство к королю; а сам ловко воспользовался Самозванцем, зная, что он составляет пугало для бояр, и 2 августа устроил под Девиным монастырем съезд с временным правительством. На этом съезде, при усердном посредничестве помянутого выше Салтыкова-сына, Боярская дума согласилась иметь царем Владислава, но на известных условиях. Сии условия или статьи, заранее внесенные в свиток, были громогласно прочтены дьяком Телепневым. В основу их положены договоры Салтыкова-отца под Смоленском и Елецкого с Валуевым у Царева Займища. Тут некоторые прежние статьи были выпущены, например, о вольном выезде московских людей в иноземные государства для науки; а некоторые прибавлены вновь. Главнейшая прибавка состояла в том, что Владислав должен принять православие. Гетман согласился почти на все условия; но перемену веры оставил на усмотрение короля. После многих съездов и переговоров последовало наконец обоюдное согласие; гетман со своими полковниками и ротмистрами от имени Владислава присягнул на соблюдение условий; а бояре первые присягнули на подданство Владиславу. Затем стали приводить к торжественной присяге другие чины и весь московский народ в Успенском соборе. Сюда явились также бывшие русские тушинцы с Михаилом Салтыковым и князем Масальским во главе. Когда они подошли под патриаршее благословение, Гермоген благословил их, но под условием, если от выбранного в цари иноземца не будет никакого нарушения Православной церкви; в противном случае грозил им проклятием. Салтыков со слезами уверял его в ненарушении православной веры от Владислава. А Михаила

Молчанова, по словам летописца, Гермоген не допустил ко кресту, и, назвав окаянным еретиком, велел выгнать вон. По известию одного поляка-современника, в столице число присягнувших тогда королевичу будто бы простиралось до 300 000; это число, очевидно, и сильно преувеличено. После того от временного правительства разосланы были по городам известительные грамоты о выборе в цари Владислава и об условиях, на которых он выбран, с приложением крестоцеловальных записей, по которым должна была совершаться ему присяга.

В этом договоре об избрании Владислава гетман действовал на свой страх, не имея точных инструкций от короля, а только руководясь условиями, которые были предъявлены под Смоленском Салтыковым и другими тушинцами и которые были как бы одобрены королем. Но вот, спустя несколько дней после означенной присяги, от короля прибыли сначала московский торговый человек гос-тинной сотни Федор Андронов, а потом велижский староста знакомый нам Гонсевский; они привезли приказ, чтобы гетман склонил москвитян присягнуть не Владиславу, а самому Сигизмунду. Но исполнить такой приказ гетман нашел невозможным, опасаясь возмутить народ и совершенно расстроить дело, только что улаженное. Гонсевский с ним согласился.

Меж тем Самозванец продолжал приступать к столице, зажигать ее слободы и посады и пытался ворваться; но встречал всегда готовый отпор со стороны московского гарнизона, которому подавал помощь пришедший с гетманом русский отряд, состоявший под начальством Салтыкова-сына. Ссылаясь на присягу, данную Владиславу, бояре настаивали, чтобы гетман прогнал вора. Жолкевский обещал, и послал к Сапеге требование покинуть Самозванца, предлагая, в случае покорности сего последнего, выхлопотать ему у короля в державство Гродну или Самбор. Сапега отвечал, что сам он охотно исполнил бы означенное требование; но товарищество его на то несогласно. Гетман после того обещал совместно с боярами ударить на стан Лжедмитрия и даже двинулся против него; но, вопреки настояниям бояр, выступивших в поле с пятнадцатитысячною ратью, не ударил; а вызвал Сапегу на свидание и ограничился одними переговорами. Вместо битвы он старался склонить сапежинцев к поступлению в королевскую службу и к соединению с гетманским войском, подобно Зборовскому и другим тушинцам. Поляки, по обыкновению, предъявили огромные требования относительно уплаты им жалованья. А Самозванец и особенно Марина, видя нерешительность гетмана, возвысили тон и не соглашались ни на какие сделки. Лжедмитрий надеялся, что народ его как православного предпочтет королевичу Владиславу. Жолкевский продолжал щадить его в своих видах. Бояре наконец поняли двойную игру гетмана и подняли ропот. Надобно было сделать решительный шаг. В конце августа условились вместе и неожиданно напасть на коломенский стан. Для этого бояре позволили гетманскому войску ради скорости ночью пройти через столицу и, соединясь с московскою ратью, ударить на вора. Но и тут снова оказалось, что ворон ворону глаза не выклюет: подойдя к Коломенскому, гетман остановился; сапежинцы также выстроились в боевом порядке. Жолкевский снова ограничился одними переговорами. Однако Самозванец, не полагаясь более на сапежинцев и боясь быть выданным, после того уехал с Мариной в Калугу. Часть служивших ему русских изменников, с князьями-боярами Фед. Долгоруковым и Мих. Турениным во главе, явилась в Москву с повинною. А другая часть последовала за ним, также и донские казаки с атаманом Заруцким, который около того времени покинул войско гетмана и вновь перешел на службу Лжедмитрия и Марины. Сапега после долгих переговоров с Жолкевским отступил от Москвы; по его же указанию, направился к

Северскому краю, и расположился около Мещовска, где стал выжидать случая вновь выступить на сцене решительных событий, продолжая бесконечные переговоры о переходе своего отряда на королевскую службу. Бояре были обрадованы избавлением от вора и возымели особое доверие к Жолкевскому после того, как он прошел с войском через столицу и не воспользовался случаем захватить в свои руки беззащитный город: ибо московская рать выступила вперед и поджидала поляков за городом. Однако, когда знатнейшая часть русских изменников, отложившаяся от вора и присягнувшая Владиславу (князя Сицкий и Засекин, Нагой-Самбулов, Плещеев, дьяк Третьяков и др.), при посредстве гетмана хлопотала, чтобы временное правительство утвердило за ними пожалованный Самозванцем боярский сан, дума отказала им: родовитое боярство никак не хотело признать равными себе тушинских и калужских лжебояр. Тогда некоторые из них опять ушли к вору в Калугу.

Когда калужский вор удалился, гетман устроил в своем лагере пир для московских бояр; причем дарил их конями, сбруей, оружием, кубками и пр. Мстиславский в свою очередь дал пир гетману и польским офицерам, которых тоже одарил саблями и другими вещами. Затем, по настоянию Жолкевского, решено было не медлить более отправкою торжественного посольства к Сигизмунду III, по поводу избрания в дари королевича Владислава. Хитрый гетман сумел поставить во главе сего посольства те лица, которых он желал удалить из Москвы и предать в руки короля, а именно князя Вас. Вас. Голицына и митрополита Филарета Никитича. Князь Голицын, сам питавший притязания на престол, считался человеком умным и деятельным, а потому был вдвойне опасен для польской партии. Жолкевский уговорил его не отказываться от такого почетного поручения, называя в глаза самым великим мужем на Москве и уверяя, что он займет первое место в совете короля и королевича. Другой кандидат на престол Михаил Феодорович Романов еще не вышел из отроческих лет и не мог участвовать в посольстве; поэтому он представлялся опасным не сам по себе, а по своему отцу, известному и родовитому боярину Феодору Никитичу, теперь митрополиту Филарету. Гетман указал на него как на единственного человека, достойного быть послом от московского духовного чина. В посольство включены были еще два члена временного правительства, окольный князь Мезецкий и думный дьяк Луговский. Кроме них тут были: думный дворянин Сукин, дьяк Сыдавный Васильев и Захар Ляпунов, а из духовных лиц спасский архимандрит Евфимий и троицкий келарь Авраамий Палицын. Вообще членов посольства выбирал князь Голицын по своему усмотрению, чтобы иметь его, так сказать, в своих руках. Оно заключало в себе выборных от всех сословий и вместе со свитой и русским конвоем простиралось почти до 1200 человек.

Посольство получило подробный наказ, помеченный 17-м августа 1610 года и состоявший из длинного ряда статей или условий, которые имели быть предъявлены королю и королевичу; причем в точности определено было, что именно должен говорить на торжественном приеме каждый из великих или старших послов, т. е. митрополит Филарет, князя Голицын и Мезецкий, думный дворянин Сукин, дьяки Луговский и Сыдавный. Главное условие относилось к вере. От Владислава требовали немедленной перемены религии, чтобы он крестился у ростовского митрополита Филарета и смоленского архиепископа Сергия, а в Москву прибыл уже православным и чтобы здесь «его государя встретить с чудотворными образами, честными и животворящими крестами патриарху и всему освященному собору»; затем, будучи царем, Владислав не должен о делах церковных сноситься с папою или принимать от него благословение; тех московских людей, которые

по своему малоумию отступят в римскую веру, казнить смертью, а имущество их отбирать на государя. Когда же Владиславу придет пора жениться, то ему выбрать себе супругу на Москве греческой веры. Далее идут условия о строгом сохранении титула московских государей; о том, чтобы Владислав привел с собою только необходимую свиту из поляков и литовцев; что поместья им и уряды может давать только внутри государства, а не в порубежных местах; чтобы города, занятые поляками, были от них очищены и все русские пленники отпущены из Польши и Литвы без выкупа; чтобы король отступил от Смоленска и воротился в Литву; чтобы на следующем сейме все чины Речи Посполитой присягнули на исполнении условий и утверждении обоюдного мира. На случай возражений со стороны короля или панов радных, в той же грамоте находились заранее и весьма умно составленные ответы, которые также распределены были между послами; на крайние случаи в некоторых статьях допускались небольшие смягчения. Послы особенно должны были хлопотать о скорейшем прибытии в Москву королевича, от которого, конечно, ожидали прекращения смуты. Вообще этот наказ представляет любопытный образец московской дипломатии того времени, ясно свидетельствующий о ее навыке в сношениях с иностранцами, ее относительной вежливости, здравомыслии и верности своеобразным основам московского государственного быта. Лично Владиславу духовные члены посольства должны были вручить особую грамоту от патриарха и всяких чинов людей, помеченную 12-м сентября. В этой грамоте заключались красноречивое описание бедствий Московского государства и трогательное челобитье принять крещение по обряду греческой церкви.

Из сих грамот мы видим, что в деле избрания Владислава временное московское правительство как будто действовало обдуманно и усердно пеклось о государственной пользе. Но ему недоставало главного: предусмотрительности и верной оценки как лиц, так и обстоятельств. Если бы все составленные им условия были добросовестно исполнены, конечно, Московское государство могло бы скоро успокоиться и выйти из смуты с сохранением своих пределов. Но в таком случае что же получила бы Речь Посполитая при исполнении сих условий? С чем же воротились бы король от Смоленска, а поляки из захваченных ими городов? Чем бы ответила Римская курия на принятие православия Владиславом и вообще мог ли такой ревностный католик как Сигизмунд, из-за этой ревности лишившийся шведской короны, мог ли он соизволить своему сыну на перемену религии? Наивно было со стороны временного московского правительства хотя на минуту тешить себя надеждою на исполнение вышеназванных условий. Только лукавые уверения Жолкевского и крайнее, представлявшееся безвыходным, положение государства не только разоренного, но и угрожаемого завоеванием или раздроблением — могли вызвать попытку искать спасения у своих злейших врагов.

Преступная наивность временного правительства вскоре выразилась в поступке еще более легкомысленном: в дозволении полякам занять столицу.

Зная хорошо короля и обстоятельства своего времени, Жолкевский едва ли верил в успех московского посольства. Поэтому прежде чем начнется разочарование, гетман спешил ковать железо, пока оно горячо. Он спешил тем более, что наличное временное правительство, благодаря его предусмотрительности, состояло теперь только из двух бояр, Мстиславского и Шереметева, и одного дьяка, Телепнева. После отъезда князя Василия Голицына, власть сосредоточилась собственно в руках князя Мстиславского, который и представлял собою как бы московского регента; а он был главою польской партии и наиболее преданным сторонником Владислава. Гетман хорошо понял ограниченность сего вельможи и ловко его опутал. В этом случае ему помог отчасти все тот же калужский вор, который продолжал посредством своих клеветов смущать и поджигать московскую чернь. Это обстоятельство по-прежнему возбуждало немалое опасение со стороны близоруких бояр; они боялись, чтобы в Москве не повторилось такое же возмущение и господство черни, какое произошло во Пскове. По соглашению с правителями, из гетманского лагеря уже прибыли в столицу квартиреры для распределения польского постоа; но духовенство, особенно монахи, были на страже; ударили набат и объявили сбежавшемуся народу, что поляки идут в город. Толпа зашумела, и бояре поспешили уведомить гетмана, дабы он повременил вступлением своего войска, пока они уладят дело. Этим моментом воспользовался Жолкевский, чтобы добиться выдачи Шуйских, о которой он давно хлопотал. Их обвинили в том, что они тайно ведут козни и побуждают народ к мятежу: временное правительство выдало гетману бывшего царя Василия и его обоих братьев. Меж тем во главе движения против поляков стал сам патриарх. Он собрал около себя многих дворян и ратных людей. Бояре, с Мстиславским, Шереметевым, Салтыковым и Андреем Голицыным во главе, вступили с ними в переговоры. Вожаки собравшейся толпы возражали, что впустить поляков значит отдать им на поругание своих жен и детей, так как русские ратные люди назначены в поход на вора; что гетман лукавит; что, вопреки своему обещанию, он ничего не предпринимает против сего вора и пр. От гетмана приехал в город Гонсевский с уверениями в его искренности и намерении идти в поход, как только русское войско с ним соединится. Мстиславский поддержал сии уверения, напомнил о недавней присяге королевичу и выражал готовность умереть за него. Патриарху бояре говорили, что его долг смотреть за церковью, а не вмешиваться в мирские дела. Потом они объезжали народную толпу и убеждали ее успокоиться. Народ послушал их и разошелся. Тогда, с соизволения бояр, в ночь на 21 сентября, гетман тихо ввел в столицу свое войско, которое расположилось целыми отрядами на случай тревоги. Полк Зборовского поместился в Китай-городе, Казановского и Вейгера в Белом городе, а Гонсевского в Кремле. Сам гетман занял под свою квартиру бывший двор Бориса Годунова. Полк Струся и собственный полк Жолкевского были расположены в Можайске, Борисове и Верее для безопасного сообщения с королем и Литвою и для заслона от калужского вора.

На первое время водворение поляков в Москве обошлось спокойно, благодаря искусному образу действия со стороны гетмана. Он поддерживал в своем войске дисциплину и особенно наблюдал за тем, чтобы поляки не ссорились с москвичами и не обижали женщин; провинившихся в сем отношении довольно строго наказывал. Большие дороги из столицы в области сделались теперь свободны, начался обильный подвоз съестных припасов и восстановилось торговое движение; вместе с тем стала возвращаться и прежняя дешевизна жизни. Понравилось москвичам и то, что гетман отпустил значительную часть немецких наемников; хотя он сделал это по недостатку средств платить им жалованье, и лучшую часть

наемной пехоты все-таки оставил. На должности областных наместников и воевод временное правительство назначало людей, указанных гетманом. Так Иван Салтыков с частью ратных людей был послан в Великий Новгород, а Григорий Валуев во Псков. Другая часть ратных людей была выслана из Москвы с князем Воротынским под предлогом действовать заодно с поляками против калужского вора. В Москве оставалось еще значительное количество стрельцов, и в случае народного мятежа они могли послужить для него крепким ядром. Начальство над сим войском цари московские обыкновенно доверяли только своим родственникам или самым близким боярам. Жолкевский склонил правителей вверить это начальство своему помощнику Гонсевскому; причем ласкою, подарками и угощениями так привлек этих простодушных людей, что они охотно подчинились чужеземному начальнику. А сей последний потом разослал их по другим городам, под предлогом обороны от шведов. Гетман старательно укрепил Кремль и Китай-город, куда со всей Москвы свез пушечный и пищальный наряд. Таким образом приняты были существенные меры против возмущения москвичей. Для снабжения съестными припасами польского гарнизона расписаны были города с уездами на известном расстоянии от столицы. Но так как посылаемые туда товарищи и пахолики (род денщиков) позволяли себе грабеж и насилия над женщинами, то для устранения подобных столкновений решено было, чтобы города были обложены денежными поборами, которые они доставляли бы сами. Происходя из русского рода, Жолкевский, очевидно, владел русским языком; а потому своими вкрадчивыми, умными речами он сумел обойти самого Гермогена, так что суровый старец возымел к нему непритворное расположение.

Принимая все возможные меры ради укрепления польского гарнизона в Москве, Жолкевский сам, однако, не верил в прочность своих начинаний и предвидел, что, когда обнаружатся истинные намерения короля, восстание сделается неминуемо. До него доходили также известия об интригах его соперников, именно братьев Потоцких, которые остались при короле, но обманулись в надежде взять скоро Смоленск; меж тем как гетман успел отличиться блестящими успехами. Завидуя ему, Потоцкие побуждали короля поступить наперекор распоряжениям и договорам Жолкевского с москвитянами относительно королевича Владислава и просто подчинить Московское государство польскому владычеству. Посему гетман решил уехать под Смоленск, чтобы лично объяснить обо всем с королем. Мстиславские бояре очень неохотно простились с ним и успокоены были только его обещанием скоро и непременно воротиться. Они далеко провожали его по выезде из города. Даже простой народ, испытав ласковое обхождение гетмана, напутствовал его пожеланиями счастливого пути. Начальство над польским отрядом в Москве на время своего отсутствия Жолкевский поручил Гонсевскому. Низложенного царя Василия с братьями как самый дорогой свой трофей он повез с собою под Смоленск, куда и прибыл в конце октября 1610 года.

Великое московское посольство, ехавшее медленно, только на три недели упредило гетмана своим прибытием в королевский лагерь; причем удостоилось пышной встречи. Его поместили в особых шатрах. Спустя несколько дней, оно получило торжественный прием у короля с целованием его руки; причем изложило предмет своих полномочий и поднесло подарки. Канцлер Лев Сапега давал ему от королевского имени ответ, благосклонный, но довольно туманный. Затем начался ряд совещаний между московскими послами и польско-литовскими панями, радюю, с тем же канцлером во главе. Тут для первых скоро наступило разочарование. Главным предметом спора послужил Смоленск: послы просили снять осаду

и вывести королевское войско из московских пределов; паны же, напротив, требовали сдачи сего города, после которой, по их словам, король намеревался идти на калужского вора, прогнать шведов и вообще успокоить Московское государство. Относительно отпуска королевича паны отлагали окончательное решение до сейма; причем оспаривали необходимость принятия им греческой веры. Тщетно москвичи ссылались на договор, заключенный с гетманом Жолкевским; паны запальчиво отвечали, что те приехали как челобитчики, а не указчики их государю. С своей стороны великие послы, особенно митрополит Филарет и князь Василий Голицын, твердо стояли на своих условиях и ни за что не соглашались на уступку Смоленска. В это время содержание отпускалось им самое скудное; свита посольская едва не умирала с голоду; а лошади почти все подохли. На жалобы послов паны откровенно говорили, что они терпят за свое упорство.

Жолкевский при своем въезде в королевский лагерь удостоился триумфальной встречи. Привезенный им Василий Шуйский на торжественном приеме не хотел поклониться королю и вообще держался с достоинством, продолжая считать себя московским царем. Подробно донося Сигизмунду о всех событиях и обстоятельствах московских, гетман пытался убедить его в необходимости подтвердить условия своего договора с временным правительством. Попытка эта, как и следовало ожидать, осталась тщетною. Однако, приглашенный к участию в совещаниях с московским посольством, гетман заговорил с москвичами иным тоном, чем прежде. Например, по поводу Смоленска напрасно послы напоминали ему, заключавшееся в договоре с Елецким и Валуевым, обязательство снять осаду Смоленска, как скоро жители его присягнут королевичу. Жолкевский заметил, что ничего не помнит и условия этого договора подписал не читавши. Ссылаясь на то, что они не уполномочены изменить статьи своего наказа, послы испросили позволения отправить по сему поводу в Москву гонца.

Отчасти угрозами, а отчасти льготами полякам удалось более половины посольства, хотя бы только наружным образом, склонить на свою сторону. В королевский лагерь уже начали приезжать с разных сторон московские люди, чтобы заявлять о своей преданности и выпрашивать у короля грамоты на поместья и вотчины. Подобными грамотами и другими наградами соблазнились также и многие члены посольства; в их числе оказались думный дворянин Сукин, дьяк Сыдавный-Васильев, спасский архимандрит Евфимий, троицкий келарь Палицын и Захар Ляпунов. Вместе с грамотами давалось разрешение уехать домой, и это разрешение особенно соблазняло членов посольства, стремившихся выйти из своего бедственного положения. Еще дорогою в Смоленск некоторые дворяне и дети боярские тайком покинули посольство и разъехались по домам; а теперь другие их товарищи притворно соглашались на присягу не одному королевичу, но и самому королю, чтобы вырваться на свободу. В посольской свите находились и дети боярские Смоленского уезда. Канцлер прямо потребовал от них присяги королю, а иначе грозил лишением поместьев: одни присягнули, другие отказались. Таким образом в самом посольстве произошли несогласия и споры. Но были и такие члены, которые в эту трудную минуту оказали мужество и непреклонную верность родине. После Филарета и князя Голицына такою твердостью отличился особенно дьяк Томило Луговский, которого никакие прельщения и угрозы Сапеги не могли склонить к измене своему долгу. Итак, большая часть посольства разъехалась; а оставшиеся очутились в положении пленников.

Осада Смоленска во время сих переговоров продолжалась с усиленным рвением. Но оно пока разбивалось об упорство и мужество осажденных. Из города постоянно являлись в

лагерь перебежчики, которые доносили о раздорах и болезнях, свирепствовавших между осажденными, и тем питали у осаждавших надежду на скорый успех. Действительно, раздоры были; но воевода Шеин и архиепископ Сергей умели их побеждать. Продовольствия оставалось еще довольно; зато страшно развивавшаяся цинга похищала большое количество людей, и число защитников заметно таяло. Тем не менее все неприятельские подкопы были своевременно уничтожаемы, и все приступы отбиваемы. Иногда осаждающим удавалось разрушить часть стены или башню; но за этими развалинами они встречали высокий вал, вооруженный пушками, который преграждал им путь. Шеин проявлял не только замечательную военную умелость и бодрость духа, но и ловко вступал иногда в переговоры, чтобы выиграть время. Напрасно подсылаемые к стенам русские изменники доносили ему о свержении царя Василия, о московской присяге королевичу Владиславу, о занятии Москвы поляками. Он не внимал никаким увещаниям и продолжал вести энергичную оборону.

Любопытны отношения московского временного правительства, вообще боярства, к польскому королю и его главному советнику литовскому канцлеру Сапеге. В руках сего последнего сосредоточилось ведание московскими делами со времени присяги королевичу Владиславу. К нему обращаются из Москвы бояре и некоторые другие чины с разными посланиями и просьбами, особенно те, которые искали милостей и наград, в виде санов, поместий и вотчин. Из дошедших до нас таковых посланий узнаем, что, например, глава Правительственной думы князь Мстиславский, получивший от короля похвальную грамоту за содействие к избранию Владислава, пожалованный саном слуги и конюшего, бьет челом Льву Сапеге и просит его о пожаловании окольниковства уехавшему под Смоленск Ив. Вас. Головину. А ближайший товарищ Мстиславского по думе боярин Фед. Ив. Шереметев униженно просит Сапегу ходатайствовать перед королем о своих «вотчинных деревнишках» и ссылается на свою «службу и правду» королю и королевичу. Такие же челобитные шлет Сапеге печатник Иван Грамотин. Известный Федор Андронов, приставленный в Москве к государственной казне, также просит Льва Сапегу ходатайствовать о пожаловании его поместьями, именно сельцом Раменьем в Зубцовском уезде и сельцом Шубиным с деревнями: так как сии земли, отнятые у одного из Годуновых и у Зюзина, отданы были Тушинским вором Ив. Март. Заруцкому. Андронов при сем дает советы, как спровадить сверженного царя Василия к королю, как ослабить ратную московскую силу в столице, разослав ее по городам (что и было вскоре исполнено), и как нужно по приказам посадить людей, преданных королю, на место «похлебцев» Шуйского. Кроме того, он жалуется, что в Москве не один гетман (Жолкевский) раздает поместья, но и другие сильные люди, например, Салтыковы.

В свою очередь Михаил Салтыков жалуется на притеснения и взяточничество того же Федора Андропова, который сам причисляет себя к «правителям» и является одним из «временников» (временщиков), подобных тем, которые были при Шуйском. «Отец его (Андропова) в Погорелом Городище торговал лаптями; а он взят к Москве из Погорелого, по велению Бориса Годунова, для ведовства и еретичества, а на Москве был торговый мужик». От него большой недобор в казне, «потому что за многих Федор Андронов вступается и спускает, для посулов, с правезу; а иных не своего приказу насильством под суд к себе емлет, и сам государевых денег в казну не платит». В следующих письмах своих Салтыков уведомляет о кознях калужского вора, который продолжал ссылаться с своими московскими доброхотами. Так от него приехал один священник с грамотами к патриарху и боярам; его

схватили и пытали; на пытке он показал, будто с воров ссылаются князья Андрей Голицын и Иван Воротынский. (Эти два князя были взяты под стражу, а священник казнен.) Салтыков советует королю спешить в Москву и «вора доступить». Льву Сапеге он, между прочим, посылает в подарок лисью шапку, черную горлатную, с свояком князем Звенигородским, прося ходатайствовать за сего последнего перед королем о разных пожалованиях. Для себя и сына своего Салтыков выпросил села Вагу, Чаронду, Тотьму и Решму, которые при Борисе были за Годуновыми, а при Шуйском за Шуйскими. Относительно доносов на него в произвольных правительственных действиях и раздаче земель, он оправдывается тем, что все дела делает вместе с Фед. Ив. Мстиславским и всеми боярами, а поместья дают они «выморочные» и «лишки», розданные при Шуйском. «При прежних государях, — пишет он, — коли они в отъезде бывали, на Москве бояре поместья давали, да не токмо на Москве, и в Новгороде Великом, и в Казани бояре и воеводы поместья дают, чтобы тем на Москве людей удержать и без помещиков поместных земель не запустошить». Посылая Сапеге в подарок лисью шапку, Салтыков уведомляет его, что «продернул* в нее веревочку и запечатал тою же печатью, которою и грамота запечатана, дабы шапку «не подменили». Что такие предосторожности были нелишними, видно из письма печатника Ивана Грамотина. Сапега выразил неудовольствие по поводу его худого поминка (Рыси), присланного как будто «на шутку»; Грамотин уверяет, что тут вышло недоразумение, и посылает Сапеге «горностайный кожух» с своим приятелем Ив. Ив. Чичериным, прося и для него, и для себя милостей. Князь Василий Масальский шлет Сапеге в подарок соболей, почти на 100 рублей, с дьяком Тюкиным и просит порадеть о его «деле». Далее имеем челобитные о поместьях, вотчинах и санах таких более или менее известных лиц, каковы: князья Борис Лыков, Юрий Хворостинин, Федор Мещерский, Тимофей Долгоруков, Григорий Ромодановский; также Григорий Валуев, Захар Ляпунов, думный дьяк Василий Янов, Михаил Молчанов, братья Ржевские и др.

Подобные челобитные, очевидно, не оставались тщетными. Мы видим длинный ряд пожалований поместьями, денежными окладами, дворами в Москве, чинами и урядами многих лиц, претерпевших разорение от бывшего царя Василия и показавших свое радение королю и королевичу. Между прочими князь Ромодановский награжден саном боярина, Мещерский — окольничего; Михаил Молчанов и Ив. Вас. Головин также пожалованы окольничеством, Тюкин дьяком в приказе Большого дворца. Ив. Мих. Салтыкову дано начальство в Стрелецком приказе, князю Юрию Хворостинину в Пушкарском; печатнику и посольскому думному дьяку Ив. Грамотину вместе с его приятелем Чичериным поручено ведение Поместным приказом, Фед. Андронову челобитными, дворянину Ив. Безобразову дано ловчество Московское и Тверское «с путем», Ив. Чепчугову ясельничество. Известного дьяка Афанасия Власьева, заключенного в тюрьму при Шуйском, велено из нее выпустить, а затем возратить ему должность казначея и думного дьяка: в этом случае Сапега, конечно, оказал покровительство одному из своих русских пособников в интриге, создавшей самозванщину. Архимандриту Троицкого монастыря Дионисию и келарю Авраамию Палицыну с братией отдана прежняя пошлина на конской площади с продажи коней; причем монастырь освобожден от платежа в казну сторублевой откупной суммы. Все таковые награды и пожалования давались за скрепою великого канцлера литовского, который, очевидно, в это время и был лицом самым влиятельным во внутренних делах и распорядках Московского государства. Припоминая его деятельное, хотя и скрытое, участие в происхождении самой Московской смуты, можем догадываться, как радовалась теперь его

душа, плававшая ненавистью к Москве, и как он, имея у ног своих эту Москву, считал себя у цели своих давнишних стремлений и козней.

На просьбы московских бояр, чтобы Сигизмунд скорее прислал сына или сам бы спешил в Москву, получался все тот же ответ, что прежде надобно очистить места, занятые шайками калужского вора, а также завладеть Смоленском, защитники которого будто бы тоже взяли сторону вора. Но вскоре судьба устранила и самый предлог для сих отговорок, т. е. бывшего Тушинского царика.

После вторичного бегства из-под Москвы Лжедмитрий II снова водворился в Калуге со своим двором, и все еще продолжал господствовать в значительной части Московского государства. За него стояла особенно юго-восточная часть. Астрахань, как мы видели, присягнула ему вскоре после его появления. Когда был свержен Шуйский и выбран Владислав, то и Казань, не желая подчиняться полякам, также присягнула Лжедмитрию. (Впрочем, присяга сия совершилась уже после его гибели, о которой казанцы еще не знали.) На севере его признавали: Псковская земля, где свирепствовали казацкие шайки Лисовского и Просовецкого, Великие Луки, Ивангород, Ямы, Копорье, Орешек и некоторые другие места. Делагарди, после Клушинской битвы, соединился с отрядом французских наемников, предводимых Делавилем, притянул еще отряды из пограничного Финляндского края и открыл враждебные действия против бывших своих союзников, русских, стремясь воспользоваться их бедственным положением, чтобы расширить с этой стороны пределы Швеции. Делавиль захватил Ладугу; а сам Делагарди осадил Корелу, которая хотя по Выборгскому договору и уступлена шведам, но не была им отдана; так как они не исполнили главного условия, т. е. очищения Московской земли от поляков. Иван Мих. Салтыков, присланный с русско-польским отрядом для очищения Новгородского края от самозванцевых шаек и от шведов, не был впущен в Новгород. Только когда он присягнул, что не будет вводить сюда литовских ратных людей, новгородцы согласились поцеловать крест королевичу Владиславу. Тогда, соединясь с новгородским воеводою князем Григорием Волконским, он отвоевал Ладугу; но Корела после упорной и продолжительной обороны была взята шведами. А Псковская земля, куда послан был Григорий Валуев, еще держалась Самозванца, когда произошла гибель сего последнего.

Питая злобу против поляков за измену тушинцев и сапежинцев, вор приказывал перехватывать мелкие польские партии, а потом наслаждался пытками и казнями захваченных пленников. Главная его ратная сила заключалась в донских казаках. Ими начальствовал Иван Заруцкий, который еще в Тушине угождал Самозванцу ревностным исполнением его поручений, если требовалось кого-либо схватить, убить или утопить. Когда уничтожился Тушинский табор, этот Заруцкий перешел на королевскую службу, отличился в Клушинской битве и втерся в милость гетмана Жолкевского; но тут он не мог стерпеть предпочтения, которое гетман оказывал младшему Салтыкову, и снова передался Самозванцу. При сем последнем, кроме казаков, в качестве телохранителей находилось на службе несколько сот татар, которым он доверял более, чем русским. Не считая себя в безопасности по соседству с польскими войсками, вор намеревался перекочевать далее на юго-восток; для чего велел укреплять и снабжать всеми запасами город Воронеж. Но он не успел туда перебраться. Четырехлетнее безнаказанное самозванство и удачное избавление от многих опасностей сделали его беспечным, самовластным, еще более грубым и приверженным к крепким напиткам. Когда он пребывал в Тушине, к его табору пристал касимовский хан Ураз-Магомет. После прибытия Жолкевского под Москву и ее присяги

Владиславу, этот хан отправился к Сигизмунду под Смоленск и был им обласкан. Скучая по жене и сыну, находившихся при Лжедмитрии, он приехал в Калугу, но с тем, чтобы, забрав свою семью, тайком опять уехать к королю. Сын, успевший привязаться к вору, донес ему о намерении отца. Тогда вор, любивший часто ездить за город под предлогом охоты, во время одной такой поездки велел умертвить бывшего с ним хана и бросить его тело в Оку; а в Калуге объявил, что хан бежал неведомо куда. Когда же истина сделалась известною, татарский крещеный мурза Петр Урусов (по желанию Василия Шуйского женатый на вдове его брата Александра Ив. Шуйского) стал упрекать Самозванца в убийстве старого хана, с которым был связан дружбою. Тот велел бить Урусова кнутом и бросить в тюрьму; но, спустя несколько времени, по ходатайству Марины и других лиц, освободил его, обласкал и снова приблизил к себе. Татарин с своей стороны показывал ему преданность и удалством своим заслужил его расположение; но в душе питал жажду мести. Он вместе с своим братом подговорил других татар и ждал удобного случая. 11 декабря Самозванец, по обыкновению, выехал на охоту, полупьяный, под конвоем толпы татар, в сопровождении небольшого количества русских и своего шута Кошелева. Имея с собою запас меду и вина, он дорогою останавливался и напивался еще более. Вдруг Урусов, выхватив саблю, наскочил на сани Самозванца и рассек ему плечо; а младший брат отрубил ему голову. Несколько русских спутников его тоже были убиты; другие, в том числе шут Кошелев, спаслись бегством. В заранее условленном месте Урусов соединился с другими татарами, уехавшими из Калуги, и они пустились в степи, опустошая и грабя на своем пути.

Страшное волнение произошло в Калуге, когда получили там известие об убиении Самозванца. Ударили в набатный колокол. Собравшаяся толпа бушевала и требовала казни виновных. Волнение еще более усилилось, когда привезли и самый обезглавленный труп вора. Донские казаки бросились на оставшихся и не участвовавших в заговоре татар и всех перебили. Марина, по-видимому находившаяся при конце беременности, предалась отчаянию и вопила, чтобы и ее также убили. Спустя несколько дней она родила (или сделала вид, что родила) сына, которого окрестили по православному обряду и назвали Иваном. Калужские изменники стали величать его царем. Стоявший с своим войском около Мещовска Сапега при известии о смерти вора поспешил было в Калугу, думая захватить ее внезапным нападением. Но начальствовавшие здесь воеводы Самозванца, князя Григорий Шаховской, Димитрий Трубецкой и др., дали ему сильный отпор. Условились на том, что Калуга признает царем того, кого поставит Москва. Сапега отступил; однако ему удалось захватить Перемышль и еще несколько мест, державшихся вора. Сама Калуга вскоре присягнула королевичу Владиславу, и воеводою сюда московское временное правительство прислало князя Юрия Никитича Трубецкого. Марина с новорожденным сыном была заключена под стражу.

Вообще внезапная смерть Самозванца имела важные последствия. Казалось, польский претендент и польская партия избавились от неприятного соперника и дело их значительно облегчилось. Однако в действительности их положение, наоборот, затруднилось. Во-первых, у короля был отнят главный предлог ко вторжению в московские пределы и очищению государства от воров. Во-вторых, боярство московское имело теперь менее причин держаться короля и королевича; ибо избавилось от страха перед чернью, которую Самозванец возбуждал против высших и имущих классов. В-третьих, уменьшилась рознь между русскими областями: ибо присягнувшие ему теперь большею частию решили признать того, кого выберет Москва; а в самой Москве только часть бояр и дворян

составляла польскую партию; остальные же классы, преимущественно духовенство, питали совсем иные чувства и ждали только удобного времени или внешнего толчка, чтобы дать им полную волю.

Таким именно толчком и послужила смерть калужского вора. Обрадованные гибелью одного из главных врагов Московского государства, духовенство и враждебное полякам население начали действовать смелее и настойчивее. Во главе движения стал патриарх Гермоген, который успел убедиться в том, что Сигизмунд III нисколько не намерен давать сына на Московское царство, а еще менее дозволить ему принятие православия, но что он хочет завладеть царством для себя лично. Патриарх начал помимо временного правительства рассылать по областям грамоты, в которых разрешал народ от присяги Владиславу и увещевал прислать ратных людей к Москве для защиты православной веры от латинского короля и для изгнания врагов. Временное правительство в эту пору несколько изменилось в своем составе и окончательно приобрело характер польского наместничества. Князь Мстиславский еще сохранял свое положение главы правительства, но чисто номинальное; действительным главою сделался начальник польского гарнизона пан Гонсевский; хотя все его распоряжения шли от имени Боярской думы; но дума ни в чем не смела ему противоречить. Ближайшими советниками его и самыми властными людьми из русских в это время являются в Москве два известные изменника, боярин Михаил Салтыков и посадский человек Федор Андронов, по-видимому оставившие свое соперничество и действовавшие теперь заодно; во главе разных приказов и ведомств, как мы видели, они успели устроить своих родственников и приятелей.

Недаром Салтыков и Андронов упоминаются в русских известиях и актах того времени как усерднейшие слуги поляков и злейшие враги веры и родины. Они доносили Гонсевскому на патриарха, предупреждали о готовившемся восстании москвитян и придумывали гнусные меры против сего восстания. С их помощью некоторые грамоты патриарха, назначенные для областей, были перехвачены. Тогда он подвергся преследованиям. Михайло Салтыков и Андронов то одни, то вместе с князем Мстиславским приходили к патриарху и принуждали его благословить весь народ на присягу королю и королевичу вместе и подписать боярский приговор о том, что Москва отдается вполне на королевскую волю. Патриарх наотрез отказал; из-за чего происходила у них большая брань; Салтыков даже грозил ему ножом. Но патриарх остался непреклонен и ножу противопоставил крест. Он созвал было народ в Соборную церковь; но поляки окружили ее военным отрядом и не допустили беседы патриарха с народом. После того к Гермогену приставлена стража; от него удалили дьяков и дворовых людей; даже отобрали все письменные принадлежности, чтобы он не мог писать грамоты в иные города.

Гонсевский и польский гарнизон, с самого начала замечавшие неприязнь москвичей, соблюдали большие предосторожности и постоянно держали наготове коней и оружие; теперь же, узнав о грамоте патриарха, пришли в большое беспокойство: еще живо сохранилось в их памяти избиение поляков 17 мая 1606 года. Они удвоили предосторожности: усилили караулы; отдали приказ, чтобы жители поздно вечером не выходили из домов; а, главное, отобрали у них все запасы пороху и свинца и запретили держать у себя оружие под страхом смертной казни, обязывая сдавать его в царскую казну. Тогда москвичи отчасти стали скрывать оружие, а отчасти вывозить его за город, и польская стража, стоявшая у городских ворот, иногда находила пищажи и самопалы в телегах, нагруженных каким-либо хлебом; оружие отбирали; а вошиков по приказу Гонсевского

бросали в проруби. На Святки, особенно на Крещение, обыкновенно множество народу из окрестностей съезжались в Москву, чтобы присутствовать на церковных торжествах и обрядовых церемониях. В 1611 году, хотя стечение народа не было так велико, как прежде, однако съехалось немало. Поляки испугались стечения и от самого Рождества до Крещенья не расседывали своих коней, собирались по тревоге по нескольку раз в день, и вообще страшно утомились от постоянного бдения; так как их войско было слишком малочисленно в сравнении с населением.

Несмотря на все принятые меры, известия о неволе патриарха и его мольбы стоять за веру и освободить царствующий град из рук безбожных латынян распространились по областям и возбуждали там сильное волнение. Особенно эти мольбы обращались в Рязанскую землю к ее храброму воеводе Прокопию Петровичу Ляпунову. И сей последний не обманул надежды, возлагаемой на него патриархом.

Города Московского государства начали пересылаться между собою грамотами, в которых указывали на коварство польского короля, на неистовства польских и литовских людей, на опасность, угрожающую православной вере, и призывали друг друга к общей борьбе с врагами. Целый ряд дошедших до нас подобных посланий открывается грамотою, обращенною к москвичам из-под Смоленска от жителей смоленских городов и уездов, утесненных поляками. Грамота сообщает, что эти разоренные смоляне приехали в королевский обоз хлопотать об освобождении из плена своих жен, матерей и детей; но никто над ними не смиловался; многие, собрав Христовым именем откуп, ходили для того в Литву и Польшу, но там все у них разграбили и сами свои головы потеряли. А вся земля и вера христианская — говорится в грамоте — гибнут от «немногих предателей своей вере и земле»; главные из них Михайло Салтыков да Федор Андронов пишут королю, чтобы приходил с большою силою и укрепил за собою Москву, так как патриарх своими грамотами призывает людей ополчиться за святую веру. Смоляне доподлинно узнали о клятвопреступлении польских и литовских людей: на их сеймах решено не отпускать королевича на Московское государство, вместо того вывести из него лучших людей, опустошить его и завладеть всей Московской землей. Смоляне просят москвичей списки с своей грамоты послать в Новгород, Вологду и Нижний, приписав к ней и свой совет, чтобы «всею землею стать за православную христианскую веру, покамест еще свободны, не в работе и в плен не разведены». Москвичи так и поступили: списки с грамоты своих смоленских «братьев разоренных и плененных» разослали в разные города, присоединив от себя слезное моление стать с ними за одно против общих врагов и собраться для освобождения столицы. «Если корень и основание крепко, то и все дерево неподвижно, а если корня не будет, так к чему прилепиться?» — замечает московская грамота. И затем напоминает, что в Москве Владимирская икона Пречистой Богородицы и великие светильники Петр, Алексей, Иона; тут и «святейший Гермоген патриарх, прямой пастырь, полагающий душу свою за веру христианскую», и неужели православные будут ждать, чтобы московские святыни были также разорены и поруганы, как разорили церкви в других местах, и чтобы православная вера была «переменена» в латинство?

Один за другим города отзывались на эти послания, входили между собою в сношения и побуждали друг друга к сбору общего ополчения. На северо-востоке особенно усердствуют нижегородцы. Они входят в непосредственные или посредственные сношения с жителями поморских, северных и низовых городов, каковы: вологжане, устюжане, тотемцы, ярославцы, суздальцы, костромичи, владимирцы, галичане, муромцы, пермичи, казанцы,

рязанцы и др. Для юго-востока центром движения становится Рязань, возбужденная своим воеводою Прокопием Ляпуновым. Он шлет ответные грамоты в Нижний, а призывные в Калугу, Тулу, Михайлов, т. е. в Северские и украинные или «заречные» (заокские) города, и приглашает всех целовать крест, «чтобы за Московское государство всю землю стояти вместе за один и с литовскими людьми битись до смерти». Сообразно с положением областей, он назначил два сборных пункта, куда должны идти разные люди из городов: для северских и украинских Серпухов, а для низовых Коломну. Разослана была и крестоцеловальная запись, по которой города присягали: «Московское государство очищать от польских и литовских людей, с королем и русскими людьми, которые ему прямят, никакими мерами не ссылаться, меж себя никаких смутных слов не вмещать и дурна никакого не вчинять, не грабить, не побивать, а кого государем Бог даст, тому служить и прямить» и т. д. Между прочим, присягали и на том, чтобы не признавать государем новорожденного сына Марины Мнишек и Лжедмитрия II. Призывные грамоты особенно громили русских изменников — еретиков, с Салтыковым и Андроновым во главе, а также вообще московских бояр, которые «прельстились ради уделов» и продали себя польскому королю. Если бы — говорилось в них — святейший патриарх Гермоген, презирая смерть, не подвизался за православную веру, то на Москве некому было бы стоять за нее. «Не токмо веру попрали, хотя бы на всех хохлы хотели учинити (т. е. подбрили бы всем головы на польский лад), и зато никто бы слова не смел молвити, боясь многих литовских людей и русских злодеев, которые сложились с ними отступя от Бога». После Гермогена в пример «крепкого стоятельства» за православную веру указывали на смоленского архиепископа Сергия, боярина Шеина и смоленских «сидельцев», которые не поддались ни на какие обманы и ласканья и помогают Москве тем, что удерживают под своими стенами короля с войском.

Призывные грамоты производили впечатление и воодушевляли народ. В марте 1611 года с разных сторон земские ополчения двинулись к Москве. Рязанцев вел Прокопий Ляпунов, который впереди себя послал на Коломну «наряд» (пушки) и «дощатой город» (гуляй-город); из Шацка шел Иван Карнозицкий с темниковцами и алатырцами, с мордвой, черемисами и чувашами; муромцы шли с князем Вас. Фед. Масальским, нижегородцы с князем Александром Андр. Репниным; из Суздаля и Владимира двигались воевода Измайлов и атаман Просовецкий с казаками, из Переяславля-Залесского стрелецкий голова Мажаров, из Вологды и поморских городов воевода Федор Нащокин, из Романова князь Пронский и Козловский с своими людьми и мурзы с романовскими татарами, из Галича воевода Мансуров, с Костромы князь Фед. Ив. Волконский, из Калуги шел князь Димитрий Тимофеевич Трубецкой с земцами и казаками, из Тулы Иван Заруцкий с донцами, из Зарайска князь Димитрий Михайлович Пожарский. Граждане Великого Новгорода также откликнулись на призыв; они заключили в тюрьму известных сторонников польской партии Ивана Салтыкова и Чеглокова, присягнули на общей крестоцеловальной записи и послали ратных людей с нарядом к Ляпунову. Только отдаленные пермичи, вычегодцы и казанцы медлили с своею помощью, несмотря на многие напоминания от Ляпунова и других. Большая часть новгородских пригородов и Псков с своими пригородами не пришли на помощь, отчасти по причине шведских захватов, отчасти по внутренним смутам и неурядицам. Во всяком случае, к Москве приближалось великое, почти стотысячное ополчение, которое в соединении с населением столицы, казалось, одним своим числом могло задавить семитысячный польский гарнизон. Но в действительности силу ополчения

подрывали неизбежное отсутствие единства в предводительстве и особенно присутствие большого количества казаков — элемента противогосударственного и трудно поддающегося воинской дисциплине. А что касается населения столицы (польские и вообще иноземные известия сильно преувеличивают, считая его в 70 000 человек), то враги поспешили нанести ему страшный разгром еще прежде, чем подоспело земское ополчение.

Несмотря на все старания Гонсевского и других польских начальников предупредить столкновения своих жолнеров с народом, отношения весьма обострились. Ободряемые слухами о скором приходе земского ополчения к ним на помощь, москвичи принимали все более вызывающее положение и не скрывали своей ненависти к полякам; называли их обыкновенно «лысыя головы», короля бранили «старой собакой», а королевича «щенком»; на рынках запрашивали с них вдвое дороже, чем с туземцев, и при всяком удобном случае завязывали с ними драку. Наступало Вербное воскресенье, с его величественной процессией шествия патриарха на осляти из Кремля от Успенского собора на Красную площадь ко храму Покрова или Василия Блаженного, собственно к его приделу Вход в Иерусалим. Опасаясь обычного народного стечения в этот день, Гонсевский отменил было процессию на сей раз; но, видя поднявшийся народный ропот, освободил патриарха из-под стражи и велел ему совершить обряд шествия на осляти. При сем его коня (изображавшего осла) вместо царя держал за повод боярин Гундуков. Все поляки и немцы, составлявшие гарнизон, в полном вооружении охраняли порядок и были готовы к бою на случай народного мятежа. Но Вербное воскресенье прошло спокойно; а гроза разразилась через день после того, т. е. во вторник на Страстной неделе 19 марта.

В понедельник лазутчики донесли Гонсевскому, что Ляпунов с главным ополчением приближается к столице с одной стороны, Заруцкий с казаками с другой, Просовецкий с третьей; а москвитяне только ждут их прихода, чтобы напасть на польский гарнизон. Польские начальники решили их предупредить.

В Москве на рынках стояло зимою много извозчиков с санями, запряженными в одну лошадь. Эти сани представляли готовый и подвижной материал для того, чтобы перегородить улицы и стеснить движения поляков в случае мятежа. Во вторник поутру поляки заметили, что извозчики особенно столпились в Китай-городе, наиболее торговой и густонаселенной части Москвы. Они стали бить и разгонять их или заставляли тащить пушки на стены Кремля и Китай-города. Завязалась драка. На помощь извозчикам бросилась толпа лавочников и черни. Тогда поляки и немцы взялись за оружие и принялись рубить и резать москвичей без разбора пола и возраста. Вскоре все жители Китай-города были частью избиты, частью разбежались, и он остался безраздельно в руках поляков, чего они и добивались. Во время этой свалки был убит князь Андрей Голицын, находившийся под стражею. Затем поляки поспешили точно так же громить и очищать Большой посад или Белый город и внешний посад или Деревянный город, чтобы не дать москвичам возможности укрепиться в них вместе с подходившим земским ополчением. В это время подоспели некоторые передовые отряды сего ополчения. Так князь Дм. Мих. Пожарский вошел на Сретенку и засел здесь в наскоро построенном остроге, который вооружил пушками. По всей Москве загудели набатные колокола и все население поднялось как один человек. В Белом городе поляки и немцы встретили отчаянное сопротивление и никак не могли его одолеть, потому что москвичи перегородили улицы и переулки возами, дровами, скамьями и т. п.; польская конница не могла поэтому производить своих натисков; а пехота и немцы едва успевали разметать загородку в одном месте, как она появлялась в разных

других. Не только из-за этих прикрытий, но также с кровель и заборов русские поражали врагов пулями, стрелами, каменьями и дрекольем; кое-где с нашей стороны гремели и пушки.

Полякам приходилось плохо: уже одним своим числом русские действительно их подавляли. Вдруг кто-то закричал: огня! огня! Жги дома! Польские начальники приказали поджигать. Говорят, что этот совет дан был главным изменником Салтыковым и что он первый зажег собственный дом. После нескольких попыток врагам удалось произвести пожары в разных концах. Скоро дым и пламя, разносимые ветром, охватили большую часть города и заставили москвичей покинуть свои места; а поляки к вечеру спокойно отступили в Кремль и Китай-город, куда перебрались и те части гарнизона, которые стояли дотоле в Белом городе. Пожар длился всю ночь и ярко освещал окрестности; москвичи старались его потушить. Но Гонсевский, посоветовавшись с русскими боярами-изменниками, решил докончить дело истребления и учинил все нужные для того распоряжения. В середу на рассвете из Кремля и Китая вышло несколько польско-немецких отрядов с осмоленной паклей, лучиной и другими зажигательными веществами; они принялись поджигать Белый и Деревянный город во всех направлениях. При этом особенно отличился своим усердием наемный француз Яков Маржерет, один из отрядных начальников, состоявший в русской службе при Борисе Годунове и Лжедмитрии I. Так как стены и башни Белого города не поддавались огню и представляли подходившему русскому ополчению возможность отрезать полякам сообщения, то они постарались выжечь дотла Замоскворечье с его внешнею стеною, чтобы иметь с этой стороны свободное сообщение с польскими подкреплениями и подвозом съестных припасов. Как раз в это время, когда жители Замоскворечья вместе с прибывшим отрядом Ивана Колтовского оборонялись от поляков, из Можайска подоспел с свежей дружиной полковник Струе. Имея перед собою горящую и рушившуюся деревянную стену, этот храбрый полковник крикнул своим людям: «За мной, дети!» — и, вонзив шпоры, перескочил через пылавшие развалины; за ним перескочила вся его конница и обратила в бегство отряд Колтовского. Другой ополченный отряд (Коломенцы с Плещеевым) укрепился было у Чертольских ворот; но также не выдержал огня и нападения. Только князь Пожарский на Сретенке мужественно бился с врагами и долго оспаривал у них прилегающую местность. Однако огонь и тут принудил русских к отступлению; они положили в телегу тяжело раненного князя и повезли его в Троицкую Лавру. Туда же вслед за ними ушли многие москвичи; другие рассеялись по окрестным слободам и селам; множество людей было избито или сожжено; оставшаяся часть жителей покорила полякам и вновь должна была принести присягу королевицу Владиславу.

Москва опустела и обратилась в громадный пылающий костер: ибо и на следующий день, в четверг, поляки продолжали дело разрушения, т. е. поджигали еще оставшиеся в целости дома. После трехдневного пожара Белый и Деревянный город представляли груды дымящихся развалин, посреди которых возвышались только закопченные каменные стены, башни, церкви и печные трубы. Во время пожара поляки усердно занимались грабежом церквей и жилищных домов; они набрали множество сокровищ, т. е. золотых и серебряных сосудов, дорогого платья, жемчугу и т. п. Жемчугу досталось им такое количество, что некоторые для потехи заряжали им ружья как дробью и стреляли в русских. Они разбивали бочки с вином и медом, хранившиеся в боярских и купеческих погребах и пили до упаду. Захваченных женщин и девиц беспощадно насиловали. Многие жолнеры обогатились в то время награбленными драгоценностями; но по беспечности своей и малоумию, гоняясь за

дорогими вещами и крепкими напитками, поляки менее всего воспользовались хлебными и вообще съестными запасами, допустив их сгореть или сделаться негодными в пищу; чем и приготовили себе последующие бедствия от страшного голода. А начальники их тогда главным образом были озабочены мыс-лию, как бы по частям отбить надвигавшееся со всех сторон ополчение.

Впереди Ляпунова шел Просовецкий с несколькими тысячами казаков; он двигался под защитою гуляй-города, т. е. подвижной ограды из больших саней, на которых были утверждены деревянные щиты с промежутками для стрельбы из самопалов; каждые такие сани двигал десяток людей, которые, когда было нужно, останавливались и стреляли в промежутки. Против него выступил Струе, имея около тысячи конницы. В пятницу на Страстной неделе верстах в 20 от Москвы он встретил Просовецкого; спешив своих людей, прорвал гуляй-город и обратил его отряд в бегство. Только во вторник на Святой неделе подошел с главною ратью Ляпунов и сначала расположился обозом под Симоновым монастырем, окружив себя также гуляй-городом; потом он подвинулся к Язуе. Почти одновременно с ним пришли Заруцкий, Трубецкой, Измайлов, Масальский и другие вожди ополчения и занимали места по окраинам города или в подгородных слободах. Они старались завладеть башнями и стенами Белого города, и действительно в их руки перешли ворота Яузские, Петровские, Сретенские и Тверские с прилежавшими укреплениями. А поляки сосредоточились в Кремле и Китай-городе: в первом стояли со своими полками Гонсевский и Казановский, а во втором Зборовский, Струе, Бобовский, Млоцкий и др. Из Китай-города поляки выгнали почти всех жителей и совершенно разграбили как дома, так и церкви, в том числе и богатый храм Василия Блаженного. В Кремле же, тесно застроенном царскими и боярскими теремами, правительственными приказами, соборами и монастырями, оставались еще многие боярские и дворянские семьи, отчасти изменнически державшие сторону поляков, отчасти оставленные ими в качестве заложников. Сам Гонсевский с своею свитою расположился в бывшем боярском доме Бориса Годунова. Польские ротмистры, товарищи и простые жолнеры разместились где кто мог или захватил прежде других; они наполнили не только здания приказов, но даже самые храмы и монастыри были осквернены постоем грубых жолнеров и их коней. Груды неубранных человеческих и конских трупов тлели вокруг Кремля и Китая на местах недавнего побоища и страшно заражали воздух, служа пищею собакам, которые большими стаями собирались из всех окрестностей. Очутясь в осаде, польские начальники и русские изменники, вроде Салтыкова, излили свою злобу на патриарха Гермогена, не склонявшегося ни на какие обольщения и угрозы и при всяком случае посылавшего свое благословение собравшемуся ополчению. Его бросили в тесное, мрачное заключение в Чудов монастырь; а на его месте, по словам летописи, вновь посадили бывшего лже-патриарха Игнатия, который простым чернецом проживал в том же Чудове монастыре. Но сего последнего русские не признали своим архипастырем, а продолжали считать таковым Гермогена.

Начались постоянные стычки. Русские строили временные острожки из бревен и досок и под их защитою подвигались вперед, стесняя врагов с разных сторон. А поляки делали частые вылазки, преимущественно для добычи съестных припасов, и пытались отстоять некоторые находившиеся еще в их руках укрепления Белого города; но большею частию они перешли к русским. Уже через месяц, в апреле, обнаружилось следствие польской непредусмотрительности: гарнизон стал терпеть недостаток в фураже и провианте. Спустя некоторое время на помощь ему явился известный староста усвятский Ян Петр Сапега.

Этот искатель добычи и приключений неоднократно ездил под Смоленск в королевский лагерь и вел долгие переговоры о вознаграждении его войска; без чего оно не соглашалось поступить на королевскую службу. А между тем, пока не сдался Смоленск, у Сигизмунда не было под руками других свободных войск для подкрепления московского гарнизона. Наконец, получив королевскую ассекурацию на уплату жалованья из московской казны,

сапежинцы в мае месяце двинулись к Москве. Но и тут со стороны их предводителя не обошлось без интриги и коварства. Еще прежде прихода русского ополчения под Москву он дал знать его начальникам, что за хорошее вознаграждение готов перейти на их сторону и помогать им против своих соотечественников. Трудно сказать, какие задние мысли имел он в сем случае. Некоторые современники полагали, будто, соблазненный предшествующими примерами, он вздумал искать московского престола для себя лично. А возможно, что, руководимый внушениями своего дяди Льва Сапеги, известного политического интригана, он просто хотел внести новую смуту в среду русского ополчения, чтобы его расстроить и тем легче уничтожить. Как бы то ни было, сношения его с русскими воеводами начались еще в феврале 1611 года. Сапега писал калужскому воеводе князю Юрию Никитичу Трубецкому о своем желании постоять за православную веру (!); для чего он готов войти в соглашение с Ляпуновым и его товарищами. При сем уверял, что он и его рыцарство суть «люди вольные», не обязанные службою королю и королевичу, и что разные бездельники лгут на них, будто они «чинят разоренье святым церквам», не велят в них совершать службу и обращают их в конюшни. Если подобное случается, то от воров и бродячих шаек; а «у нас в рыцарстве, — прибавляет Сапега, — больше половины русских людей» (т. е. православных западноруссов). Прокопий Петрович охотно поддерживал эти переговоры; для чего отправил в Калугу племянника своего Федора Ляпунова с некоторыми дворянами. Эти послы должны были, во-первых, обещать сапежинцам уплату жалованья уже после того, как будет выбран новый царь, а во-вторых, обменяться взаимною присягою и знатными заложниками. Но Ляпунов не мог доверять обещаниям недавних врагов: это недоверие выразилось с его стороны в условии, чтобы сапеженцы не ходили к Москве и не соединялись бы с русскими в одни полки, а остались бы в Можайске, чтобы отрезать сообщения полякам с королем и Литвою. В одной грамоте к русским воеводам он прямо говорит, что не столько надеялся на помощь от сапежинцев, сколько хлопотал о том, «чтобы такие великие люди в наш поход к Москве у нас за хребтом не были». Но, разумеется, трудно было перехитрить таких коварных интриганов, какими являются оба Сапегы, Лев и Ян. Сей последний подошел к Москве с отрядом, заключавшим от двух до трех тысяч хорошо вооруженных жолнеров, и стал лагерем на возвышении между монастырями Девичьим и Симоновым. Вначале он не пристал открыто ни к той, ни к другой стороне; а продолжал одновременно пересылаться и с Гонсевским, и с Ляпуновым, требуя уплаты жалованья своему войску от того и другого и не получая его ни от кого.

Чтобы испытать сапежинцев, польский гарнизон сделал вылазку, предупредив о ней Сапегу, и завязал дело с русскими как раз около его лагеря. Он также вывел свое войско, но стоял неподвижно. Когда же поляки стали одолевать, он послал им требование сойти с поля, иначе грозил ударить им в тыл. Поляки принуждены были отступить. Но такая неопределенность длилась недолго. Убедясь, что от Ляпунова с товарищами трудно чего-либо добиться, Сапега вошел в соглашение с Гонсевским, который предложил выдать его войску на известную сумму разных драгоценностей из царской казны. Сокровища, накопленные в кремлевских дворцовых кладовых, по недостатку денег, раздавались боярами в уплату ратным польским и литовским людям; таковы: золотые короны, осыпанные драгоценными камнями шапки, скипетры, посохи, седла и всякая сбруя, дорогие парчи, связки соболей, черно-бурых лисиц, персидские ковры, золотая и серебряная посуда и т. п. Заручившись таким вознаграждением, сапежинцы стали принимать усердное участие в битвах поляков с русскими. Но вследствие сильного недостатка продовольствия Гонсевский

склонил Сапегу отправиться в ближние русские области, с одной стороны, чтобы собрать новые съестные припасы; а с другой, чтобы отвлечь хотя часть русского ополчения от столицы. Подкрепленный несколькими ротами из гарнизона, Сапега в начале июня двинулся сначала к Александровской Слободе, которую взял и разорил; а потом пошел к Переяславлю. Но сей город успел занять отряженный из-под Москвы Просовецкий, и приступы сапежинцев были отбиты.

Меж тем как русское ополчение добывало Москву, так легкомысленно преданную временным боярским правительством в руки поляков, пал под ударами внутренних и внешних врагов Смоленск, этот древний, многострадальный русский город. Другой славный представитель Древней Руси, Великий Новгород, также был оторван от Московского государства.

Тщетно Боярская дума, исполняя желание Сигизмунда, посылала увещательные грамоты великим послам и воеводе Шеину о полном подчинении королевским требованиям и прежде всего сдаче Смоленска. Послы, т. е. митрополит Филарет, князь В.В. Голицын и дьяк Луговский, отказывались повиноваться грамотам, потому что под ними не было подписи патриарха Гермогена. А Шеин совсем не обращал на них внимания и грозил на будущее время стрелять в тех, которые будут присланы с подобными воровскими грамотами. Тогда на совещаниях послов с панами-радою стали обсуждаться следующие условия неполной сдачи Смоленска: в город ввести несколько сот поляков, стражу у ворот поставить наполовину городскую, наполовину королевскую, ключи от одних ворот хранить у воеводы, от других у польского начальника и т. д. Но смоляне соглашались присягнуть Владиславу и впустить небольшой польско-литовский отряд только после того, как король отступит и с своим войском уйдет в Литву. На что поляки, конечно, не согласились. Чтобы сломить упорство великих послов, их взяли под стражу и давали им очень скудное содержание. Когда пришла весть о движении русского ополчения и сожжении Москвы поляками, паны или собственно Лев Сапега сделались еще настойчивее и требовали от послов, чтобы те приказали Шеину немедля принять в город королевский отряд; но тщетно. Тогда решено с ними покончить. Около половины апреля послов и оставшуюся при них дворянскую свиту посадили на лодки и пленниками отправили сначала в Минск, оттуда в Вильну, потом ко Львову. Дорогою с ними обращались грубо и заставили их терпеть всякие лишения. Почти одновременно с ними покинул королевский лагерь и гетман Жолкевский: обиженный невниманием короля к его советам, он отказался от предложенного начальства в Москве, не хотел также участвовать в дальнейшей осаде Смоленска и уехал в свое имение. Когда московских послов везли мимо этого имения, он оказал им внимание и велел спросить их о здоровье. Послы не преминули при сем напомнить ему скрепленные присягою, но нарушенные условия.

Около того времени умер Ян Потоцкий, воевода Брацлавский, главный начальник войска, осаждавшего Смоленск; место его заступил его брат Яков Потоцкий, каштелян Каменецкий. Город после того держался недолго. Съестных и боевых припасов оставалось еще довольно; но битвы, измены, болезни, более всего цинга так уменьшили число защитников, что способных к бою оставалось всего несколько сотен, которые уже не могли с успехом оборонять обширные стены и укрепления города. Однако Шеин продолжал вести себя героем и не хотел слышать о сдаче. Измена и тут помогла врагам. Какой-то смоленский перебежчик, по имени Андрей Дедишин, указал королю на слабую часть городской стены: она была сложена осенью и недостаточно затвердела. В эту часть направился орудейный

огонь, и она была разрушена, так что открылся широкий пролом. Не теряя времени, неприятель в полночь сделал приступ с разных сторон и вломился в город. Горсть его защитников была подавлена числом. Многие жители думали спастись в Соборный храм Богородицы; под ним в погребах хранился запас пороху; кто-то из смолян зажег этот порох и взорвал на воздух храм со всеми, в нем находящимися. Опустошительный пожар распространился по всему городу. Шеин с своей семьей и немногими слугами бросился в одну башню, заперся в ней и начал отстреливаться. Толпа наемных немцев стала ее добывать; более десятка из них пали под огнем воеводы, который, очевидно, решился погибнуть, а не сдаваться. Но слезы семьи, особенно маленького сына, изменили его решение, и он объявил, что сдастся только самому Якову Потоцкому. Явившийся Потоцкий едва отогнал рассвирепевших немцев и взял воеводу. Это бедственное событие совершилось приблизительно в начале июня 1611 года.

Шейна подвергли пыткам, допрашивая его о тайных сношениях и замыслах, о причинах его упорной обороны и скрытых сокровищах; после чего его отправили в глубь Литвы, где содержали в оковах. Его маленького сына взял себе король, а жену и дочь Лев Сапега. Падение Смоленска праздновалось поляками с великим торжеством. Знаменитый иезуит Скарга по сему случаю произнес напыщенную проповедь. На радостях король совсем забыл о положении польского гарнизона, осажденного русским ополчением; считал покорение Московского государства почти оконченным, и, вместо обещанного похода к Москве, отправился в Варшаву. В конце октября совершился триумфальный, наподобие римского, въезд в этот город гетмана Жолкевского с большою блестящею свитою из полковников и ротмистров; вместе с ним в открытой карете, запряженной шестерней белых коней, на показ народу, везли бывшего московского царя Василия Шуйского с братьями — зрелище весьма лестное для польского тщеславия. В том же поезде находились и знатнейшие смоленские пленники с Шейным во главе. Шуйских после того поместили в Гостыньском замке недалеко от Варшавы, где Василий вскоре скончался.

В Новгороде Великом также происходили грозные события. Когда пришли туда известия о сожжении Москвы и разных польских неистовствах, новгородцы выместили свое негодование на воеводе Иване Михайловиче, сыне известного изменника Салтыкова. Напрасно несчастный клялся, что будет верно служить Русской земле и готов идти против отца родного, если тот приведет поляков под Новгород; его посадили на кол. Главным воеводою сюда прислан был из-под Москвы от Ляпунова Вас. Ив. Бутурлин. Меж тем Яков Делагарди, овладев городом Корелою, притянул к себе подкрепления из разных пограничных мест и весною 1611 года двинулся к самому Новгороду. Пережидая разлитие вод, он остановился в 120 верстах от него на берегу Волхова и отсюда продолжал начатые ранее переговоры с новгородскими властями. Он предлагал обмен пленных и требовал уплаты жалованья своему войску на основании Выборгского договора; а затем вызывался опять заодно с русскими воевать против поляков. Но все это было только предложением; а в действительности он задумал овладеть самим Новгородом. По окончании полои воды Делагарди приблизился к городу и остановился у Хутынского монастыря. Сюда Бутурлин приехал к нему на свидание. Шведский военачальник за прошлую и будущую свою помощь потребовал в обеспечение несколько русских городов, а именно: Орешек, Ладогу, Ям, Копорье, Ивангород и Гдов; наконец соглашался только на два, Орешек и Ладогу. Во время сих переговоров Делагарди, по-видимому, первый предложил русским воеводам выбрать на московский престол шведского принца. Во всяком случае, от него и новгородских властей

отправлены были гонцы под Москву с таким предложением. Ляпунов и некоторые его товарищи соглашались избрать в цари шведского королевича, конечно, под условием перехода в православие; но требовали, чтобы прежде всего шведы спешили к ним на помощь для освобождения страны от поляков; в таком случае готовы были даже отдать в залог Орешек и Ладугу. Делаягарди, однако, не думал спешить к Москве. Второй новгородский воевода князь Одоевский не доверял ему и не склонялся ни на какие уступки. Тогда Бутурлин, как говорят, стал действовать изменнически, т. е. завел тайные переговоры со шведским военачальником и даже не прочь был сдать ему Новгород. В начале июля Делаягарди перешел Волхов и стал под Колмовым монастырем; новгородцы выжгли окрестные посады и слободы, и сели в осаду. Первое нападение шведов было отбито. После того они целую неделю не трогались с места. Новгородцы возгордились своим успехом, и не только предались беспечности, но некоторые нахалы с городских валов в пьяном виде начали осыпать шведов насмешками и непристойною бранью.

Как при взятии Смоленска, и тут врагам помогла измена.

В шведском плену оказался какой-то Иванко Шваль, который хорошо знал новгородские стены с их тайниками и выходами. В ночь на 17-е июля он незаметно провел шведов Чудинцовыми воротами на Софийскую сторону в так наз. Деревянный внешний город. Неприятелей заметили только тогда, когда они начали избивать стражу и захватывать другие ворота. В городе произошел страшный переполох и невообразимое смятение, которые помогли шведам завладеть им беспрепятственно. Воевода Бутурлину стоявший с ратными людьми на Торговой стороне, бежал с ними по дороге к Бронницам, предварительно ограбив купеческие лавки на этой стороне. Сопротивление оказали только две кучки. В одном месте стрелецкий голова Голютин и атаман Шаров с сорока казаками защищались до тех пор, пока не были все перебиты. В другом протопоп Софийского собора Аммос с горстью людей заперся на своем дворе и дал мужественный отпор. За какую-то вину он находился под запрещением у митрополита Исидора; владыка, стоя на стене детинца, видел его ратоборство и издали благословил его. Шведы, не желая более тратить людей, зажгли двор Аммоса, и он погиб в пламени со всей своей семьей.

Оставался еще каменный детиниц или Софийский кремль, где заперлись владыка Исидор и воевода Одоевский. Но для защиты его почти не имелось ратных людей. Власти вступили в переговоры с Делаягарди и сдались ему на следующих главных условиях: царем русским избирается один из сыновей Карла IX, Густав Адольф или Карл Филипп; православие и привилегии духовенства, русские обычаи, законы и имущества остаются ненарушимыми; но шведам дается право получать поместья в Русской земле; в случае тяжёбных дел между обеими народностями учреждается смешанный суд; Новгородская земля не будет присоединена к Швеции, за исключением города Корелы с уездом, но до прибытия королевича Делаягарди управляет ею в качестве его наместника и т. д.

Младший брат Новгорода Псков в это время испытывал еще горшие бедствия. Когда Москва и другие города присягнули королевичу Владиславу, Псков отказался дать такую присягу. Тогда в его земли ворвался с своими шайками Лисовский и опустошал ее почти четыре года. А литовский гетман Ходкевич, стоявший в Ливонии, в марте 1611 года осадил Псково-Печерский монастырь; однако не мог его взять. К довершению смуты явился новый, т. е. третий Лжедмитрий. Некоторые известия называют этого вора Сидоркой; другие говорят, что он назывался Матвеем и был прежде дьяконом в московской Заяузской церкви. В конце марта он объявился в Ивангороде, назвав себя Димитрием, который царствовал в

Калуге и будто бы не был убит, а снова чудесным образом спасся от смерти. Ивангородцы приняли Третьего Лжедмитрия также радостно, как стародубцы Второго; звонили в колокола и палили из пушек. Особенно обрадовались ему казаки, которые с разных сторон спешили к нему на службу; так из Пскова они ушли обманом, сказав, что идут на Лисовского. Скоро вор увидал себя во главе значительной силы и пытался даже войти в переговоры с шведским комендантом соседнего города Нарвы, хотя и безуспешно. Казаки с торжеством повезли нового вора во Псков; но тут сначала встретили отказ. Во Пскове в то время воевод не было; делами ведал умный дьяк Иван Луговский с несколькими посадскими людьми. Он послал просить помощи и совета у воевод, стоявших под Москвою. Вор также с своей стороны послал в подмосковные станы одного из казацких атаманов.

Но под Москвою на ту пору разыгрались такие события, что там было не до Новгорода и не до Пскова.

После ухода Яна Сапеги в северные области положение польского гарнизона в Москве значительно ухудшилось: русское ополчение снова завладело почти всем Белым городом, укрепились в нем помощью острожков и рогаток, и все более и более теснило сидевших в Кремле и Китай-городе поляков. Но последним на этот раз помогли несогласия, происходившие в самом русском лагере. Ополчение страдало недостатком единоначалия. Ратные люди ясно видели зло и пытались ослабить его устройством временного правительства, наподобие того, которое находилось в осажденной Москве. К сожалению, они не были свободны в выборе правителей, а принуждены были утвердить только тех, которые в действительности уже стояли во главе собравшейся разнородной рати и захватили власть в свои руки. То были: во-первых, Прокопий Петрович Ляпунов, воевода Рязанский, главный зачинщик и двигатель всего дела, во-вторых, князь Димитрий Тимофеевич Трубецкой, в-третьих, Иван Мартынович Заруцкий; последние двое собрали вокруг себя бывших сторонников калужского царика, преимущественно казаков. Эти три лица были утверждены общею думою ратных людей в звании главных воевод и правителей Московского государства до его очищения от польских и литовских людей и до избрания нового царя. От их имени теперь посылались указы в города и области и выдавались жалованные грамоты служилым людям на поместья и вотчины. На таких грамотах обыкновенно впереди писались имена Трубецкого и Заруцкого, имевших боярский сан, хотя и полученный ими от Тушинского вора; Ляпунов как думный дворянин именовался на третьем месте. На самом деле, однако, ему принадлежала первая роль и по уму, и по энергии, и по влиянию на земских людей; на его стороне по преимуществу были дворяне и дети боярские и вообще лучшая, более консервативная часть ополчения. Между этой частью и казачеством существовали взаимное недоверие и даже неприязнь; ибо земцы с неудовольствием смотрели на своеволие и грабительства казаков. А сим последним особенно потворствовал Заруцкий; чем и приобрел их расположение, опираясь на которое, он явно стремился к первенству и верховенству. Трубецкой по своей бесхарактерности имел мало значения в сем временном правительстве; как это обыкновенно бывает в истории, триумвират обратился в дуумвират или в борьбу двух соперников за власть.

Заруцкий с донскими казаками пристал к русскому ополчению, очевидно, питая коварные замыслы. С ним успела сойтись, пребывавшая тогда в Коломне, вдова двух самозванцев Марина и склонила его действовать в ее пользу. По всем признакам, Заруцкий имел в виду посадить на престол ее маленького сына, чтобы самому вместе с нею управлять государством. А потому ни притязания Владислава, ни новая кандидатура шведского принца

не были в его интересах, и готовность Ляпунова признать сего последнего сильно ему не нравилась. Затем частые столкновения между ними происходили как из-за казацких грабежей, так из-за вотчин и поместий, которые Заруцкий широкою рукою раздавал своим сторонникам или присваивал лично себе. Для обуздания такого расхищения государственной и частной собственности, ополченные из двадцати пяти разных городов дворяне и дети боярские, руководимые Ляпуновым, собрались и, «по совету всей земли», постановили приговор, от 30 июня 1611 года.

Этот приговор главным образом настаивал на следующем: чтобы воеводы-правители жаловали ратных людей по их заслугам, а не «чрезмеру»; чтобы каждый начальник взял себе вотчины и поместья одного из бояр, сидевших в Москве вместе с поляками, дворцовые же села и черные волости, а также остальные поместья и вотчины бояр, сидевших в Москве, обратили бы на содержание ратных людей; чтобы о холопах этих дворцовых бояр, ушедших в казаки, составить особый приговор. Далее в этой грамоте следовало челобитье, чтобы начальники хранили согласие друг с другом и не попрекали бы один другого Тушиным (т. е. бывшею службою у вора и его пожалованием). Та же грамота предписывала отобрать вотчины и поместья у лиц, которые завладели ими неправильно в последнее время без земского приговора, т. е. земли, розданные королем, Сапегою, Заруцким и т. п. Для водворения порядка в отобрании и раздаче поместий установлен был в ополчении свой собственный Поместный приказ, а для суда над своевольниками и грабителями свой Разбойный приказ; без земского приговора, однако, не разрешалось творить смертную казнь. Для посылок по городам постановлено выбирать из дворян и детей боярских раненых и неспособных к бою, а здоровых воротить в полки. Старых казаков предполагалось поверстать поместными и денежными окладами или выдавать им хлебный корм и деньги из дворцовых приказов, но не позволять им самим наезжать на дворцовые села и черные волости, там насильничать и грабить. А тех крестьян и людей (холопей), которые в Смутное время ушли от своих помещиков к другим, велено возвращать к их господам. Но значительная часть таких беглых крестьян и холопей вступила в ряды казачества. Следовательно, означенный приговор должен был очень не понравиться Заруцкому и вообще казакам; так что, вместо согласия, он только усилил их вражду к Ляпунову. Сей последний, опираясь на решение земского совета, приказывал подчиненным себе воеводам строго наказывать казаков, пойманных на грабеже; что еще более разжигало ненависть к нему казачества.

Один из таких второстепенных воевод, Матвей Плещеев, близ Москвы у Николы на Угрешах поймал на грабеже 28 казаков, и, без суда, велел их бросить в воду. Товарищи вынули их из воды и привезли в свои таборы. По этому поводу собрался казачий круг, на котором много шумели и грозили убить Ляпунова. Дело приняло такой оборот, что Прокопий Петрович счел себя небезопасным в собственном стану и, отказываясь от начальства, хотел уехать в Рязань. Однако дворяне догнали его под Симоновым монастырем и убедили воротиться. Он остановился ночевать в острожке у Никитских ворот; на следующее утро собралась вся рать и уговорила его оставаться начальником по-прежнему. Но такой исход дела не был в интересах Заруцкого. Этот полурусский, полуполяк, по-видимому, столкнулся с начальником польского гарнизона Гонсевским и помог ему погубить Ляпунова самым гнусным способом.

Сочинены были две грамоты, искусно подделанные под руку Ляпунова: в одной он будто бы приказывал по всем городам хватать казаков и предавать казни, а в другой будто

предлагал полякам предать казаков в их руки. При обмене какого-то пленного казака Гонсевский велел сообщить эти грамоты атаману Заварзину. Разумеется, тот показал их товарищам. Произошло большое волнение: казаки собрали круг и послали звать Ляпунова. Он сначала отказывался; но некоторые дворяне сами уговорили его пойти в круг, уверяя, что ему легко будет оправдаться и что казаки ничего ему не сделают. Ляпунов наконец согласился и пошел, сопровождаемый кучкою дворян и детей боярских. Когда ему показали грамоты, он сказал, что рука похожа на его руку, но писал не он. Тут поднялся большой шум; клеветы Заруцкого с криком изменник бросились на Ляпунова и изрубили его саблями. Из дворян только Иван Ржевский, хотя недруг Прокопия, пытался защитить его и тоже был изрублен.

Так погиб этот замечательный деятель Смутного времени, «бодренный воевода» и «властель Московского воинства», по выражению летописцев. К сожалению, несомненная храбрость и талантливость соединялись у него с недостатком осмотрительности и рассудительности. Одушевленный главной идеей очистить Россию от поляков, он не затруднился заключать сомнительные союзы: готов был призвать опять шведов, думал даже воспользоваться Сапегою, а, главное, слишком неосторожно то враждовал, то дружил с такою ненадежною силою, каково тогда было казачество, да еще во главе со столь злонравною личностью как Иван Заруцкий. Впрочем, в сем отношении нельзя осуждать Ляпунова: казачество все-таки считалось служилым сословием, и, если оно более других классов обнаружило склонности к своеволию и воровскому образу действия, то существовало и могучее звено, связывавшее его с земством, именно православие и русская народность казачества; а борьба велась тогда главным образом под знаменем православия. Но, по-видимому, в самом служилом сословии дворян и детей боярских еще была какая-то шатость или крамола в отношении Ляпунова; иначе трудно объяснить, почему он принужден был пойти почти на явную смерть и почему земское ополчение так мало оказало ему защиты. Без сомнения, своею гордостью и повелительным тоном он вооружил против себя даже многих товарищей. Будучи только думным дворянином Ляпунов, по словам летописца, «вознесся не по своей мере»: он высокомерно обращался не только с боярскими детьми, но и с самими боярами; приходившие к нему на поклон прежде, нежели допускались в его избу, многое время стояли перед нею. Он был слишком горяч, невоздержан на язык и легко раздражался крупною бранью, не обращая внимания на заслуги и знатную породу. Во всяком случае, его недостатки не могут в глазах истории затмить его славу как даровитого, энергичного вождя и ревностного патриота, положившего свой живот на службе погибавшему отечеству.

По смерти Ляпунова Заруцкий, наружно как бы не принимавший участия в его гибели, сделался действительным главою русского ополчения, стоявшего под Москвою. Хотя правительственные грамоты писались теперь от лица двоих, т. е. его и Трубецкого; но последний по слабости характера обыкновенно подчинялся Заруцкому. Чтобы утвердить за собою это верховенство, он воспользовался новым подкреплением, пришедшим из Казани и низовых областей и принесшим с собою образ Казанской Божией Матери (собственно, список с нее), и взял приступом Новодевичий монастырь. Засевшие там поляки и немцы были большею частию изрублены; а старицы отправлены во владимирские монастыри. Но тем и ограничились успехи русского ополчения. Смерть Ляпунова все-таки произвела в нем большое расстройство. Казаки сделались еще необузданнее в своих грабежах и насилиях; а осиротелые дворяне и дети боярские, поступившие теперь под главное начальство

Заруцкого, упали духом, подверглись обидам, побоям и даже убийствам от казачества, и многие из них разъехались по домам. Впрочем, нашлись и такие, которые «купили» себе у Заруцкого разные прибыльные места, например, областных воевод или заведующих приказами, и уехали в города.

Вообще наступившее под Москвою исключительное господство казацкого ополчения ознаменовалось насилиями и жестокостями этой необузданной вольницы, не разбиравшей ни своих, ни чужих, ни пола, ни возраста, ни состояния. Вот какими чертами изображает ее неистовства грамота сидевшего в Москве временного боярского правительства, отправленная (в январе 1612 года) в некоторые северные города с увещанием оставаться верными королевичу Владиславу. «Беспрестанно ездя по городам из подмосковных таборов, казаки грабят, разбивают и невинную кровь христианскую проливают; боярынь и простых жен и девиц насилуют, церкви Божии разоряют, святые иконы обдирают и ругаются над ними так, что и писать о том страшно. А когда Ивашка Заруцкий с товарищами взяли Новодевичий монастырь, они также разорили церковь и ободрали образа, и таких черниц, как бывшую королеву (Ливонскую) дочь Владимира Андреевича и Ольгу, дочь царя Бориса, на которых прежде и глядеть не смели, ограбили до нага, а иных бедных черниц грабили и насилывали; а как пошли из монастыря, то его выжгли. Они считаются христианами, а сами хуже жидов». При сем боярское правительство, впрочем, с явным пристрастием, уверяет, будто польские и литовские люди, хотя и чужеземцы, но жалеют жителей и скорбят об их разорении.

В начале августа, после месячного отсутствия, воротился под Москву Ян Сапега с большим обозом собранных им припасов. Прибытие его немедля поправило дела поляков: они опять овладели частью укреплений Белого города; разорили острожки, поставленные русскими в Замоскворечье, и восстановили свои сообщения по Можайской дороге. Но вскоре после своего прибытия Сапега занемог, и через две недели умер. Тело его отвезли на родину. Столь неожиданно и в цвете лет, подобно Рожинскому, окончил свою хищническую деятельность и этот польско-русский кондотьер Смутного времени. В погоне за славою и добычею он расстроил и обременил долгами собственные имения и почти в бедности оставил свою жену и детей. Войско его, отступив в окрестные села, занялось набегами и грабежами и тревожило наше ополчение с тыла.

По смерти Сапеги дело поляков снова ухудшилось. Русские калеными ядрами зажгли Китай-город, так что внутри он выгорел дотла, и гарнизон его должен был перебраться в Кремль; отчего там произошла великая теснота. Съестные припасы истощились, и вновь начался голод. В октябре на помощь полякам пришел давно ожидаемый ими литовский гетман Ходкевич, но всего с 2000 человек; так что освободить гарнизон от осады он не мог; а после нескольких стычек отошел на зимнее время в село Рогачово (Дмитров, уезда), и занялся преимущественно снабжением гарнизона съестными припасами, за которыми приходилось посылать отряды в дальние места. Но около того времени со стороны русского населения начался род партизанской или народной войны. Разоренное и озлобленное крестьянство, которое не могло защищаться в своих открытых селах, стало собираться в шайки, вооруженные чем попало, и выбирало себе предводителей. Эти партизаны, получившие общее название шишей, укрывались в лесах и дебрях, оттуда высматривали и выслеживали неприятелей, неожиданно нападали на них, били, отнимали у них собственное или в других местах награбленное имущество, а иногда совершенно истребляли. Наступившая зима благоприятствовала их действиям. Между тем как польская конница

затруднена была глубокими снегами, шиши пользовались лыжами для быстрых нападений, а в случае неудачи для бегства. Они особенно сделались опасны неприятельским отрядам, ходившим за съестными припасами; а потому доставка сих последних все более и более затруднялась.

Гетман Ходкевич, то уходивший, то возвращавшийся к Москве, кроме недостатка людей и припасов должен был еще бороться с неповиновением полковников и ротмистров, которые устраивали конфедерации, требовали уплаты жалованья и подкреплений или смены своей другими войсками; в противном случае грозили покинуть столицу и уйти в отечество. Кое-как гетману удалось убедить одних обещаниями, других дорогими вещами из царской казны, которые московские бояре согласились дать пока в залог, обязуясь их выкупить, когда приедет и сядет на царство королевич Владислав. Летом 1612 года Ходкевич опять приехал на короткое время и устроил оборону столицы. Он принужден был отпустить большую часть ее гарнизона; а с оставшеюся частью водворил в Кремле вновь принятых на королевскую службу многих сапежинцев (именно полк Будила) и, кроме того, полк хельминского старосты Струся. Начальник гарнизона Гонсевский, вероятно предвидя плохой исход польского дела, в июле 1612 года уступил свое начальство Струсю и уехал из Москвы. Около того же времени от московской Боярской думы было снаряжено посольство к королю или собственно на сейм. Во главе сего посольства поставлены князь Юрий Никитич Трубецкой, известный боярин Мих. Глеб. Салтыков и думный дьяк Василий Янов. Таким образом два последние изменника заблаговременно ускользнули от угрожавшей им кары.

Меж тем бедствия Руси все увеличивались. На севере шведы после завоевания Новгорода постепенно захватили города Яму, Копорье, Ладогу, Русу, Порхов, Ивангород, Тихвин, Гдов, Орешек. Завладев значительною частью Новгородской земли, они попытались завладеть и Псковскою; но приступы Эдуарда Горна к Пскову были отбиты. Зато Псков вскоре попал в руки вора Сидорки. Посланный им под Москву один атаман взволновал там казачьи таборы. Воспоминания о золотом для казацкой вольницы времени Тушинско-Калужского царика оживились надеждою на его возвращение; многие казаки легко поверили, что он еще жив, признали его истинным Димитрием и принудили к тому же Заруцкого и Трубецкого. Значительный казачий отряд послан из-под Москвы на помощь вору. В самом Пскове образовалась большая партия его сторонников. Теснимые с одной стороны шайками Лисовского, с другой шведскими наемниками, псковичи склонились на убеждения сих сторонников и призвали к себе вора из Ивангорода, осаждаемого шведами. В декабре 1611 года (по западному январскому стилю, а по-русскому сентябрьскому 1612 г.) он пришел и засел во Пскове. Кроме сего Псковского вора или третьего Лжедмитрия, в это же время явился и четвертый, Астраханский, которого признало царем почти все Нижнее Поволжье.

Так разрывалась на части и пустошилась Русская земля, и эта эпоха сделалась потом памятною народу под именем лихолетья. Казалось, близок уже был конец Московскому государству, остававшемуся без государя. Но когда бедствия достигли своего крайнего предела, исторический процесс или, вернее, Промысел, управляющий судьбами стран и народов, умудрил и вызвал на сцену действия лучшую часть русского народа, которая и спасла отечество от раскрывшейся перед ним бездны.

ОСВОБОЖДЕНИЕ МОСКВЫ И ИЗБРАНИЕ МИХАИЛА РОМАНОВА

Начало нового, спасительного движения вышло из того же живительного источника, который одухотворял русскую народную массу, поднимавшуюся на борьбу с ее пришлыми врагами. Из ее глубокой веры в Божественный Промысел и в помощь свыше, из ее ничем непоколебимой преданности Православию.

Мы уже видели, что время смут и бедствий на Руси сопровождалось сказаниями о чудесных и пророческих видениях, которые предзнаменовали какое-либо бедствие или указали средство спасения и которых удостаивались разные благочестивые люди и христороубцы в том или другом месте. Подобные сказания возобновились с особою силою в последнюю эпоху Смуты или в эпоху так наз. «Московского разоренья». Например, после взятия Новгорода шведами появилась повесть о видении некоему мниху Варлааму. Этому мниху приснилось, что какой-то старец привел его в Софийский собор, и тут он увидел Богородицу, сидящую на престоле. Стоявшие вокруг новгородские святители слезно умоляли ее умиловить своего Сына, чтобы он пощадил Великий Новгород и не предавал его в руки иноземцев; но тщетно. Божия Мать отвечала, что люди прогневали Господа своими беззакониями, неправдами, нечестием, блудными делами, особенно содомским грехом; а потому пусть они покаются, и готовятся к смерти. Осенью 1611 года в ратных таборах под Москвою распространился слух о каком-то свитке, в котором описывалось видение некоему обывателю Нижнего Новгорода; по имени Григорию. В полночь во время сна представилось ему, что верх храма его сам собою раскрылся, и она осветилась великим светом, а с небеси спустились в нее два мужа: один сел ему на грудь, другой стал у изголовья. Предстоящий начал вопрошать сидевшего, называя его «Господи», о судьбе Русской земли и будущем царе. «Аще человецы во всей Русской земле покаются и постятся три дня и три ночи, в понедельник, вторник и среду, не токмо старые и юные, но и младенцы. Московское государство очистится, — вещал Господь. — Тогда пусть поставят новый храм подле Троицы на Рву (Василия Блаженного) и положат хартию на престол; на той хартии будет написано, кому у них быть царем». «Аще ли не покаются и не учнут поститься, то все погибнут и все царство разорится». После этих слов оба мужа сделались невидимыми, и храмина снова покрылась; а Григорий был объят великим ужасом. Впоследствии, когда у нижегородцев спрашивали о сем явлении, они очень удивлялись; ибо ничего подобного у них не было и никакого Григория, имевшего видение, они не знали. Тем не менее сие чудесное сказание распространилось от Москвы даже в дальние области и везде производило сильное впечатление; ибо вполне соответствовало общему настроению.

Руководимые священными преданиями, народные помыслы в эпоху крайних бедствий, очевидно, устремились к покаянию, посту и молитве, и это направление ясно выразилось в повестях о чудесных видениях. Так наряду с данным сказанием о видении в Нижнем Новгороде появилось другое: о видении, которого удостоилась в Владимире некая Мелания, «подружие» (супруга) какого-то Бориса Мясника. Ей привиделась светлая жена, повелевавшая возвестить людям, чтобы постились и молились со слезами Господу Богу и Пречистой Богородице. Города пересылались друг с другом грамотами о сих двух видениях, и «по совету всей земли Московского государства» действительно было установлено трехдневное воздержание от пищи и питья всякому полу и возрасту. В некоторых местах оно

соблюдалось с такою строгостию, что многие не выдерживали и умирали, особенно младенцы. Но вместе с тем начался высокий подъем народного духа. Поэтому призывные и увещательные грамоты, особенно выходившие из стен Троицкой Лавры, нашли для себя почву еще более подготовленную и восприимчивую.

В это время во главе Троицкой братии стоял новый архимандрит Дионисий. Он родился во Ржеве; но потом родители его переехали в Старицу, где Дионисий провел свою юность, выучился грамоте и сделался священником в селе, принадлежавшем старицкому Богородицкому монастырю; когда же он овдовел, то вступил иноком в тот же монастырь. Это был человек, отличавшийся замечательным незлобием, смирением и великою любовью к книжному делу. По сему поводу сочинитель его жития рассказывает следующее. Однажды Дионисию пришлось быть в Москве с некоторыми из братии, ради монастырских нужд. Он пришел на торг, где продавались книги. Его высокий рост, благолепная наружность и еще молодые сравнительно годы обратили на него внимание; некий злой человек заподозрил его поведение и начал над ним глумиться. Дионисий заплакал и сказал: «Правду, брате, говоришь; я именно таков грешник, и если бы истинный инок был, то не бродил бы по торжищу, а сидел бы в своей келье». Слова его привели в умиление случившихся тут людей и устыдили злого человека.

Прошедши разные монастырские должности, Дионисий был поставлен архимандритом. Бывая в Москве по делам своего монастыря, он не только сделался известен патриарху Гермогену, но и заслужил его доверие и расположение своими умными речами на церковных соборах. Он также являлся мужественным красноречивым его помощником при усмирении народных волнений во время московской осады Тушинским вором. Возведенный по желанию Гермогена на Троицкую архимандрию, Дионисий развил вполне свою энергию в борьбе с общественными бедствиями: в чем ему деятельно помогал расторопный келарь Палицын, сумевший ускользнуть из польских рук под Смоленском и таким образом избежать тяжелой участи, которой подверглись некоторые другие члены великого посольства. Троицкая Лавра, сама едва освободившаяся от долгой, томительной осады, в это время сделалась главным убежищем для разоренных, бесприютных, больных и раненых, искавших спасения от ляхов и казаков, которые свирепствовали в окрестных областях. Сюда с разных сторон стекались они и находили здесь приют и успокоение. Архимандрит с братией не жалели ни монастырского имущества, ни собственных трудов для прокормления и ухода за несчастными. В соседних монастырских слободах и селах возникли больницы и странноприимные дома, особые для мужчин, особые для женщин. Те женщины, которые были в силах, неумолимо работали на призреваемых, стирали, шили и т. п. Монастырских слуг посылали по дорогам и лесам подбирать больных и мертвых, которые падали на пути и не успевали достигнуть обители; первых помещали в больницы, вторых предавали честному погребению. Особенно печальный вид представляли те раненые и умирающие, над которыми надругались враги: у одного из спины ремни вырезаны, у другого руки или ноги отрублены, у третьего волосы с головы содраны и т. п.

В то же время обитель вела постоянные сношения с ополчением, стоявшим под Москвою. Келарь Авраамий и другие старцы ездили в таборы, служили молебны, говорили ратным людям слова от Св. Писания, укрепляли их веру и увещевали мужественно стоять против врагов. Мало того, обитель помогала ополчению и военными припасами, именно свинцом и порохом: келарь даже приказывал вынимать заряды из монастырских мортир и пищалей и отсылал их под Москву. Но практическое монастырское начальство

одновременно не забывало хлопотать об увеличении материальных средств своей обители. Например, у временного подмосковного правительства оно выхлопывало подтвердительные грамоты или, так сказать, исполнительные листы на ввод монастыря во владение теми селами и деревнями, которые отказывали ему по духовному завещанию разные благочестивые люди; бедствия Смутной эпохи в особенности располагали к такой жертве ввиду благотворительной и патриотической его деятельности.

Наряду с сими делами благотворения, телесной и духовной помощи, Лавра в то время развила также письменную деятельность. Взятый на себя почин призывных грамот святейший патриарх Гермоген сидел уже в тесном заключении и не мог непосредственно обращаться к народу. Последнее известное его увещание, о котором города передавали друг другу, было обращено к нижегородцам и к казанскому митрополиту Ефрему. Он просит написать грамоты в города их властям, а также в полки, стоявшие под Москвою, к Ляпунову (тогда еще живому), боярам и атаманам («атамане»), чтобы унимали грабежи, корчемство и блуд, наблюдали чистоту душевную и братство, с которыми обещались души свои положить за дом Пречистой и за чудотворцев московских, и чтобы отнюдь не признавали царем Маринкина сына. Начинание Гермогена ревностно продолжал троицкий архимандрит Дионисий с братией. В келье архимандрита сидели борзописцы и постоянно списывали грамоты, которые рассылались по городам к разным властям и имущим лицам. Эти красноречивые призывные послания, украшенные поучительными речениями из Св. Писания и Отцев Церкви, сочинялись или самим Дионисием, или под его руководством.

Особенно замечательна по силе и энергии убеждения окружная грамота, помеченная 6-м октября 1612 года (по сентябрьскому стилю) и написанная от имени архимандрита Дионисия, келаря Авраамия Палицына и соборных старцев.

Напомнив о московском выборе королевича Владислава под условием принятия им православной веры и о присяге польско-литовских людей выйти из Московского государства и отступить от Смоленска» грамота указывает, что они не исполнили сей присяги и что они заодно с предателями нашими Михаилом Салтыковым и Федькою Андроновым учинили многие злодеяния, а именно: «Московское государство выжгли, людей высекли, бесчисленную христианскую кровь пролили, святые Божьи церкви и образа разорили и поругали, а твердого адаманта святейшего Гермогена патриарха с престола бесчестно низринули и в тесное заключение заперли». Далее грамота изображает стояние русского ополчения под Москвою и новый приход гетмана Ходкевича, который своим двухтысячным войском заслонил дороги к столице и не пропускает запасов. Из некоторых городов ратные люди пришли на помощь русскому ополчению, из других собираются в поход. Грамота умоляет и прочие города стать с ними заодно против наших предателей и против врагов Христовых, польских и литовских людей. Какое от них разорение учинилось в тех городах, которыми они завладели, о том всем известно. «Где святые церкви? Где Божии образы? — восклицает грамота. — Где иноки многолетними сединами цветущие, иноки добродетелями украшенные? Не все ли до конца разорено и обругано злым поруганием?» «Где бесчисленное народное множество в городах и селах христианских? Не все ли без милости пострадаша и в плен разведены?» Сочинители именем Божиим просят всех христиан быть в единении, отложить на время всякие распри и недовольства и умолять служилых людей, чтобы они спешили под Москву и не упустили дорогого времени. «Смилуйтесь, — заключает грамота, — и ради избавления христианскаго народа помогите ратными людьми, чтобы боярам, воеводам и всяким воинским людям (стоящим под

Москвою) не учинилась поруха; о том много и слезно всем народом христианским вам челом бьем».

Подобные грамоты несомненно везде читались с умилением и воспламеняли сердца русского народа. Но от умиления до дела было еще далеко, если бы не явились люди, которые стали во главе нового движения и увлекли за собою народную массу. Такие люди нашлись в Нижнем Новгороде.

Уже с самого начала смуты граждане Нижнего Новгорода отличались своею верностию присяге, твердостью и здравомыслием. Они не допустили увлечь себя никаким подговорам, отбили все попытки мятежных шаек и сохранили свой город от разорения и разграбления. Нижегородские воеводы того времени князь Звенигородский, Алябьев, Репнин и дьяк Семенов не выдавались своими талантами, но вели себя честно и прямодушно. Только стряпчий Биркин был человеком переменчивым и ненадежным. Зато из среды посадских людей история выдвинула на передний план некоего мясного торговца Козьму Минина, прозванием Сухорука. Во время московского разоренья он является в Нижнем Новгороде в числе земских старост, следовательно, одним из людей излюбленных, более или менее снискавших доверие и уважение своих сограждан.

Когда означенная Троицкая грамота пришла в Новгород, городские и земские власти собрались на воеводском дворе и рассуждали о ней. Минин просил, чтобы грамоту всенародно прочитали в Соборе; причем прибавил, что и ему во сне являлся св. Сергей, который велел разбудить спящий народ. Недоброжелатель его Биркин попробовал противоречить; но Минин заставил его замолчать, грозя обличить его неправды. На другой день собрались горожане в Спасском соборе. После обедни соборный протопоп Савва, сказав несколько скорбных слов о разорении Московского государства от польских и литовских людей и о намерении их обратить истинную веру в латинскую ересь, прочел Троицкую грамоту. Слушатели были растроганы до глубины души. Народ не расходился и толпился подле Собора. Тут Козьма Минин поднял свой голос и сказал горячее слово о неотложной необходимости помочь Московскому государству и очистить Русскую землю от поляков и Литвы. Он уговаривал всем пожертвовать для такого великого и Божьего дела, не жалеть своих животов (имущества), отдать в кабалу детей и жен, чтобы только собрать деньги на содержание ратных людей. Он уверял сограждан, что и другие города пристанут к ним, как только они подадут пример. Многие приходили в умиление и прослезились, слыша такие речи. После того еще не раз собирались нижегородцы на общее совещание. Овладев их сердцами, Минин стал руководить их действиями. Составили приговор о сборе денег и вооружении большого ратного ополчения.

Тут возник вопрос, кому вверить начальство над сим ополчением. Требовался человек, во-первых, знатный, во-вторых, искусный в военном деле, в-третьих, чистый, то есть бывший не причастным к измене законным государям. По всей вероятности, тот же Минин подсказал имя избранника. Остановились на князе Димитрии Михайловиче Пожарском. Хотя по летам своим он принадлежал к молодым воеводам (около 35 лет) и по чину был только стольник, но происходил из древнего рода князей Стародубских, а, главное, во время смуты выдвинулся не только своим воинским мужеством, но еще более твердостью характера и непоколебимою верностию присяге. К нему отправлено было из Нижнего Новгорода посольство, имевшее во главе печерского архимандрита Феодосия и дворянина Болтина. Пожарский, еще не вполне излечившийся от ран, жил в то время в одной из своих суздальских вотчин. Не вдруг, а после нескольких отказов, он дал согласие на просьбу

нижегородцев, однако с условием, чтобы они выбрали из своих посадских людей человека, который был бы вместе с ним у такого великого дела и ведал бы сборною казною. Когда послы затруднились и не знали, кого назвать, Пожарский прямо указал на Козьму Минина, говоря: «Он у вас человек бывалый, служилый и то дело ему привычно». Очевидно, между этими двумя замечательными русскими людьми существовали уже предварительные взаимные сношения. Когда посланцы воротились и доложили обо всем нижегородцам, те начали бить челом Козьме, чтобы он стал выборным от них человеком при войске. Но Козьма не был так прост, чтобы согласиться сейчас же и без всяких условий. И обычай, и предусмотрительность заставляли его сначала отказываться от такого трудного дела. На усиленные просьбы он наконец согласился, но потребовал крепкого мирского приговора о том, чтобы мир слушался его во всем и давал бы потребные ратным людям деньги, хотя бы для того пришлось отдавать последние животы и даже закладывать в кабалу жен и детей. Получив такой приговор, Минин немедля отослал его ко князю Пожарскому; ибо опасался, чтобы нижегородцы по миновании одушевления не раздумали и не взяли бы у него приговор назад.

Заручившись мирским приговором, Минин начал строго приводить его в исполнение. Он поставил оценщиков для имущества и взимал с него пятую деньгу, т. е. пятую часть; причем никому не делал послаблений и с противящихся взыскивал силою. Некоторые граждане давали и более положенного; а одна богатая вдова отдала почти все свое имущество, оставив себе только небольшую его часть. Минин посылал окладчиков и в другие города, например, в Балахну и Гороховец, чтобы облагать торговых и посадских людей, смотря по животам и промыслам. Таким образом составила казна. Стало собираться и ополчение. Первыми пришли смоленские дворяне и дети боярские, вызванные на службу в Москву еще при Василии Шуйском и лишенные поляками своих поместий. Заруцкий и Трубецкой дали им грамоты на арзамасские дворцовые земли; но там мужики с помощью стрельцов не пустили их в свои волости. Нижегородцы призвали к себе этих смольнян, дали им корм и жалованье; часть их они отправили к Пожарскому вместе с просьбою спешить скорее в Нижний. Пожарский выступил в путь; по дороге он присоединил к себе детей боярских из Вязьмы и Дорогобужа, которые подобно смольнянам, вопреки грамотам Заруцкого, также не добились доступа к пожалованным поместьям. Нижегородцы встретили Пожарского с великим почетом.

Пожарский и Минин, в свою очередь, начали рассылать грамоты от имени нижегородцев и собравшихся ратных людей в поморские, низовые и украинные города, прося помощи деньгами и ратными людьми для очищения Московского государства. Грамоты эти и слух о сборе ополчения в Нижнем вскоре вызвали сильное движение, уже подготовленное троицкими призывными посланиями. Отовсюду стали приходиться ратные люди; сначала пришли коломенцы, за ними рязанцы, потом стрельцы и казаки из украинских городов. Нижегородцы всех принимали с честью, давали содержание ратникам и их коням. Жалованье начали платить им смотря по статьям: первая статья получала по 50 рублей, а самая меньшая по 30. Казанцы, подобно нижегородцам, уцелели в Смутное время от грабежей и неприятельского разорения. К ним отправлен был из Нижнего с просьбою о помощи стряпчий Биркин. Но этот злонравный человек столкнулся там с подобным себе завистливым и властолюбивым дьяком Шульгиным, и по их ухищрениям казанцы, хотя отписали в ответ, что идут все своими головами, однако замедлили походом.

В Москве и под Москвою вести о сборе нового ополчения вызвали у многих радость и

надежду на скорое освобождение, а у поляков и русских изменников сильную тревогу. Чрез последних Гонсевский стал принуждать заключенного в Чудове монастыре патриарха Гермогена, чтобы он написал в Нижний Новгород увещание отменить поход и сохранить присягу Владиславу. Но патриарх пребыл до конца на высоте своего положения. «Да будут благословенны те, которые идут на очищение Московского государства, — отвечал он; — а вы, окаянные Московские изменники, да будете прокляты». Тогда враги начали морить его голодом. Однако сей великий старец или крепкий «адамант», как его называли современники, остался непреклонен, и, по словам летописца, 17 февраля 1612 года «предал свою праведную душу в руце Божии». Без всяких почестей его погребли там же в Чудове монастыре.

В таборах, стоявших под Москвою, Заруцкий и его приверженцы отнюдь не обрадовались новой им помощи, когда узнали, что дело идет не о посылке мелких подкреплений, не имевших между собою связи, а о большом хорошо устроенном ополчении, предводимом таким стойким неподкупным воеводою, каков был Пожарский. Заруцкий понял, что как его первенствующая роль в войске, так и его замыслы на счет кандидатуры Маринина сына и собственного регентства подвергаются еще большей опасности, чем при Ляпунове. Он мало заботился о временной присяге ничтожному псковскому Самозванцу; но против сей опасности спешил принять свои меры. Он отрядил атамана Просовецкого занять такой важный пункт, как Ярославль, и стать на пути нижегородцам. Но их доброхоты дали о том знать в Нижний Новгород. Пожарский немедля отправил своего дальнего родственника князя Дмитрия Петровича Лопату-Пожарского и дьяка Самсонова с ратными людьми. Они успели вовремя прийти в Ярославль, где захватили небольшой передовой отряд казаков и рассажали их по тюрьмам. Узнав о том, Просовецкий уже не пошел в Ярославль; а Заруцкий скрыл досаду и вместе с Трубецким послал в Нижний воеводам грамоту с приглашением идти под Москву, ничего не опасаясь. Вслед за родственником и сам Дмитрий Михайлович Пожарский выступил с ополчением из Нижнего. Лежавшие на пути города Балахна и Юрьев-Повольский дали ему подмогу деньгами и ратными людьми; в числе последних находились и Юрьевские татары. Костромской воевода Иван Петр. Шереметев, сторонник Владислава, вздумал не впускать в свой город нижегородцев; так что они остановились на посаде. Но уже трудно было бороться с одушевлением, охватившим русский народ: большинство городских обывателей и ратных людей пристали к нижегородцам и свели Шереметева с воеводства, причем едва его не убили, и просили себе другого воеводу у князя Пожарского; тот дал им князя Романа Гагарина, а дьяком назначил Подлесова. От костромичей ополчение также получило подмогу деньгами и людьми. Меж тем из Суздаля прискакали гонцы с просьбою о помощи против угрожавшего ему Просовецкого; Пожарский отправил туда другого своего родственника Романа Петровича, который и занял Суздаль, а Просовецкий воротился в Москву.

В конце марта или в начале апреля 1612 года Нижегородское ополчение достигло Ярославля, где и было встречено с образами и вообще с великою честью. Но тут оно замешкалось на довольно продолжительное время вместо того, чтобы спешить на освобождение Москвы. Однако мы не можем строго обвинять в излишней медлительности главных его вождей и руководителей, т. е. Пожарского и Минина. Обстоятельства были трудные: они требовали большой осторожности и осмотрительности, чтобы и второе ополчение не постигла судьба первого, т. е. Ляпуновского, тогда как это второе или нижегородское ополчение заключало в себе, можно сказать, последние русские силы или,

точнее, последнее ядро, около которого могли еще собраться лучшие люди и средства, уцелевшие от предыдущих разгромов.

Во-первых, вожди сего ополчения имели все поводы опасаться разных козней со стороны Заруцкого и не спешить на соединение с ним. Во-вторых, как раз около того времени из подмосковных таборов было получено известие об их присяге третьему или псковскому Лжедмитрию. Об этой присяге писали также из Троицы архимандрит Дионисий и келарь Авраамий и просили поспешить прибытием ополчения под Москву. Но начальники его прежде всего должны были разведать, насколько велика была опасность с той стороны, т. е. сколько городов признали нового вора, а затем принять против нее свои меры; о чем снеслись с другими городами. В-третьих, приходили неблагоприятные вести из северных городов. С одной стороны шведы, завладев Новгородом, как мы видели, распространили свое господство на значительную часть Новгородской и Псковской земли; с другой шайки запорожских и других казаков простерли свои грабежи на верхневолжские и даже заволжские места: так одна шайка явилась в Краснохолмском Антоньеве монастыре, другая в Пошехонье, третья в Угличе, четвертая в Твери и т. д.; из этих мест они разоряли окрестные области. Нельзя было оставлять таких врагов в тылу ополчения. Пожарский из Ярославля посылает отряды с князьями Дим. Мамстрюк. Черкасским, Ив. Фед. Троекуровым, Дим. Петр. Лопатою, с Вас. Толстым, а также мурзу Барай Алеевича с романовскими татарами. Эти воеводы большею частью побили казацкие шайки и очистили Верхнее Поволжье.

По отношению к шведам пришлось прибегнуть к дипломатии.

Пожарский завязал сношения с новгородскими властями и Яковом Делагарди. Чтобы разведать о новгородских делах, он отправил туда посольство с Степаном Татищевым во главе и просил сообщить ему последний договор со шведами. Владыка Исидор прислал список договора; а затем в Ярославль прибыли из Новгорода послами игумен Геннадий и князь Федор Оболенский. Они известили, что король Карл IX умер, оставив шведский престол старшему сыну Густаву Адольфу, а младшего Филиппа благословил Новгородскою землею. Поэтому послы приглашали начальников ополчения избрать царем того же королевича Филиппа, чтобы Москве не отделяться от Великого Новгорода. Пожарский указывал на неудачное избрание польского королевича Владислава, которого Сигизмунд обещал, но не дал и обманул. Новгородские послы уверяли, что Филипп был уже на пути в их землю, когда получил весть о смерти отца и должен был возвратиться, чтобы присутствовать при его погребении, потом участвовал в войне с Данией; а что теперь старший брат и мать отпустили его снова в Новгород. Они пригласили воевод отправить и от себя послов. Пожарский напомнил о московских великих послах, которых Сигизмунд держит в неволе. «Был бы ныне здесь такой столп, как князь Василий Васильевич Голицын, — говорил он, — то все бы его держались, и я бы мимо его за такое великое дело не взялся; но приневолили меня бояре и вся земля». А, главное, он настаивал на том, что когда королевич примет греческую веру, тогда и будут отправлены к нему послы от всей земли. На это князь Оболенский с товарищами отвечал, что новгородцы не отпали от православия и готовы помереть за него даже в том случае, если бы Московское государство их выдало, и что, следовательно, они не посадят на престол человека не греческой веры. В июле 1612 года с этим новгородским посольством воеводы опять отправили своих людей в Новгород, чтобы поддержать и протянуть переговоры об избрании королевича Филиппа. Уже от Степана Татищева они узнали о безнадежном положении дел в Новгороде, откуда не

могли ждать никакой помощи; а потому продолжали переговоры с единственною целью подать шведам надежду на выбор царем королевича Филиппа, чтобы отвлечь их от дальнейших неприятельских действий и выиграть время для очищения земли от поляков. И этой цели они достигли.

Около того же времени Пожарский, пользуясь проездом цесарского посла Грегори, возвращавшегося из Персии, отправил с ним Еремеева гонцом к императору Матфию. Он просил цесаря помочь против поляков как деньгами, так и дипломатическим вмешательством; причем подавал надежду на выбор царя из принцев Габсбургского дома и даже указывал на цесарева брата эрцгерцога Максимильяна (бывшего претендента на польскую корону по смерти Батория). Цесарский двор был польщен такою надеждою и действительно пытался склонить польского короля к прекращению враждебных действий.

Главною же заботой вождей, замедлявшею их выступление из Ярославля, было лучшее устройство и умножение самого ополчения, ожидание как ратных людей, так и денежных средств из других городов, в которые они усердно рассылали призывные и увещательные грамоты. Подкрепления людьми и деньгами собирались медленно и неисправно. Так казанцы прислали наконец скудную помощь с тем же злонравным Биркиным. Последний, желавший быть в числе главных начальников, и ратные головы казанцев, настроенные их дьяком Никанором Шульгиным, затеяли в Ярославле перекоры с воеводами, учинили неповиновение и большею частию ушли назад; остались только голова Лукьян Мясной с несколькими десятками казанских мурз и дворян, да стрелецкий голова Постник Неелов с сотнею стрельцов.

Ожидая подкреплений и занимаясь устройством ополчения, вожди его рассылали из Ярославля грамоты с следующим началом: в такое-то место, таким-то властям «бояре и воеводы и Димитрий Пожарский с товарищами челом бьют». Одна грамота, снабженная рукоприкладством, сообщает нам, кто в это время является под именем «бояр» и «товарищей» князя Пожарского. Сия грамота была послана в апреле из Ярославля к вологодцам с известием о сборе всеобщего ополчения, о незаконной присяге псковскому Самозванцу и с просьбою о присылке выборных людей для земского совета и денежной казны на жалованье ратным людям. В числе подписавших ее лиц находятся: /бояре/ Вас. Петр. Морозов и князь Влад. Тимоф. Долгоруков, окольный Сем. Вас. Головин, князя Одоевский, Пронский, Львов, Барятинский, Алексей Долгоруков, Туренин, нетитулованные дворяне Плещеев, Вельяминов, Огарев, Нащокин, Иван и Василий Шереметевы, Бутурлин, Чепчугов и др. А за «выборного человека всею землею Козьмы Минина (очевидно, неграмотного) руку приложил князь Димитрий Пожарский». Всего находим до 50 подписей. Это и были, очевидно, воеводы и головы собравшихся с разных сторон ратных людей; вместе с выборными от городов они представляли род Земской думы, называемой «совет всей земли»; а исполнительной властью был облечен князь Пожарский, главным помощником которого является Козьма Минин с званием «выборного от всей земли».

От сего, так сказать, ярославского правительства дошло до нас несколько грамот, подписанных князем Пожарским «по совету всей земли» и свидетельствующих о его распорядительной деятельности. Так по челобитию игуменов с братией он подтверждает жалованные прежними государями грамоты монастырям Соловецкому и Кирилло-Белозерскому на разные угодья и доходы; поручает местным властям озаботиться обновлением городских укреплений и т. п. Между прочим, любопытна его грамота о переводе из Соловецкого монастыря в Кирилло-Белозерский старца Степана, бывшего

прежнего касимовского хана Симеона Бекбулатовича, который был заточен в Соловецкий монастырь и там пострижен по приказанию первого Лжедмитрия. Главным же образом Пожарский рассылал по городам грамоты с просьбою о присылке помощи деньгами и ратными людьми; причем сообщал о положении дел, о переговорах со шведами, о кознях Заруцкого и увещевал не признавать ни Маринкина сына, ни псковского вора. Чтобы иметь авторитетного посредника в часто возникавших среди ополчения пререканиях и смутах и придать духовное освящение своему правительству, вожди Нижегородского ополчения призвали из Троицкой Лавры, проживавшего там на покое, бывшего ростовского митрополита Кирилла, который действительно стал помогать водворению мира и согласия в ополчении.

Между тем в подмосковных таборах Трубецкой и Заруцкий продолжали представлять собою другое правительство и давать жалованные Грамоты на поместья, подписывая свои имена тоже с прибавкою «по совету всей земли». Сидевшая в Москве вместе с поляками Боярская дума также продолжала считать себя истинным правительством и издавать распорядительные грамоты. В Пскове общую правительственную власть присваивал себе третий Лжедмитрий. Следовательно, одновременно мы видим четыре правительства в Московском государстве, не считая, окраинных областей, или не признававших никакого из этих правительств (например, Астрахань), или занятых неприятелем (Новгородская и Смоленская). Но все народные чувства и надежды сосредоточились теперь на Нижегородском ополчении и все внимание устремилось на Ярославль, откуда ожидалось спасение государства и прекращение разновластия.

И эти надежды не обманули.

Из четырех правительств первым пало псковское самозванство. Подобно второму Лжедмитрию, раз дьякон Сидорка или Матюшка предался разгулу и грабежу. Он силою брал у граждан жен и дочерей, томил состоятельных людей на правее, вымучивая деньги, которыми награждал окружавшее его казачество, набранное большею частию из боярских холопов и всяких воровских людей. В сущности это было господство грубой, необузданной черни, которое сделалось крайне тяжело для лучшей или более зажиточной части населения, т. е. для детей боярских, гостей и торговых людей. Во главе недовольных стали князь Ив. Фед. Хованский и тот самый Иван Плещеев, который был прислан из-под Москвы узнать правду о новом воре, но, боясь убийства, признал его за калужского царика. Они воспользовались нападением шведов на один псковский пригород и отправили большинство казаков для его обороны. А когда те ушли, лучшие люди вместе с добрыми казаками восстали, схватили раздьякона, и тот же Плещеев под сильную стражею повез его к Москве. Далее источники разногласят: по русским известиям, его привезли в подмосковные таборы и там казнили; а по шведским, дорогою на стражу напал Лисовский и хотел освободить вора; чтобы не отдать живым, один из казаков пронзил его копьем.

Хотя дело с сим Самозванцем было покончено, а Трубецкой и Заруцкий торопили Пожарского скорейшим прибытием под Москву, и уже до гибели псковского вора извещали, что узнали правду о нем и присягу ему с себя сложили; однако князь Димитрий Михайлович все еще медлил в Ярославле, так как он более всего опасался именно козней Заруцкого. После убиения Ляпунова этот злой и коварный человек навлек на себя сильное нерасположение и недоверие со стороны дворян и вообще земских людей. В некоторых своих распорядительных грамотах Пожарский прямо указывал на гнусное поведение Заруцкого и его казаков как на причину своего замедления. События вполне оправдали это

недоверие. В то самое время, когда Заруцкий звал Пожарского в Москву, он уже точил на него нож и подослал убийц. Двое из его казаков, Обрезков и какой-то Стенька, пристали к нижегородскому ополчению и здесь подговорили несколько человек из смоленских стрельцов, да еще рязанца Сеньку Хвалова, жившего во дворе у князя Пожарского, который его кормил и одевал. Сначала думали зарезать князя сонного; но это не удавалось. Тогда решили нанести ему удар как-нибудь в тесноте. Однажды князь вышел из Разрядной избы посмотреть пушки, снаряженные в поход под Москву и лежавшие у дверей Разряда. Крутом толпился народ. Подле князя находился какой-то казак Роман, который взял его под руку. Вышепоянутый Стенька бросился между ними и хотел ножом ударить Пожарского в живот, но промахнулся и сильно ранил в ногу казака Романа; последний повалился и застонал. Князь подумал, что это какой-нибудь несчастный случай, происшедший от тесноты, и хотел уйти. Но толпа остановила его и завопила, что то было покушение на него самого. На земле нашли нож, схватили Стеньку и начали его пытаться. Он во всем признался и указал на своих соумышленников. Их также схватили; одних разослали в города по темницам, а других взяли с собой под Москву, где они должны были объявить всей рати о своем преступлении. Пожарский не дал их на казнь; чем вновь доказал не только свою доброту, но и твердость характера.

Уже прошло около четырех месяцев со времени прибытия ополчения в Ярославль, и медлительность его вождей стала наконец вызывать справедливый ропот. Когда пришла весть о новом походе гетмана Ходкевича к Москве на помощь польскому гарнизону, князь Трубецкой обратился к посредничеству Троицкой Лавры. Архимандрит и келарь отправили двух старцев в Ярославль с грамотою, в которой умоляли воевод спешить под Москву. Не видя успеха от сего посольства, они шлют двух других старцев с новым молением и с известием, что гетман Ходкевич приближается с сильным войском и большими запасами, и, если он успеет соединиться с гарнизоном, то «всеу» будут все труды второго русского ополчения. Но здесь на ту пору среди воевод и ратников снова возгорелись какие-то несогласия и смуты. Очевидно, князю Пожарскому, при его сравнительной молодости и невысоком сане, трудно было внушить всем уважение и повиновение. Тогда архимандрит с братией снаряжают в Ярославль самого келаря Авраамия. Отпев молебен и взяв благословение у архимандрита, Палицын 28 июня отправился в путь. Он явился усердным миротворцем и своими красноречивыми поучениями немало помог Пожарскому и Минину водворить порядок и послушание.

Князь Димитрий Михайлович начал с того, что отправил под Москву сильное подкрепление с воеводами Дмитриевым и Левашовым; причем запретил им располагаться в казацких таборах, а велел стать у Петровских ворот и тут укрепиться особым острожком. Затем послал другое подкрепление с родственником своим Димитрием Петровичем и дьяком Самсоновым, приказав ему стать по соседству с первым, именно у Тверских ворот Белого города. В это же время прибыли ратные люди из украинских городов и расположились у Никитских ворот; но тут они не получали никакого содержания, да еще терпели обиды от казаков Заруцкого; почему послали в Ярославль несколько человек с жалобами. Там их обласкали, снабдили деньгами и сукнами и отпустили обратно с обещанием вскоре идти всему ополчению. Узнав о том, Заруцкий велел побить этих посланцев; так что они едва спаслись в стан воеводы Дмитриева.

Наконец и сам Пожарский с главными силами выступил из Ярославля. Поручив князю Ив. Андр. Хованскому и Козьме Минину вести рать в Ростов, он с небольшою свитою

свернул в Суздаль, чтобы там в Спасо-Бвфимьевском монастыре помолиться над гробами своих родителей. Исполнив этот благочестивый обычай и укрепясь духом, он воротился к войску, которое стояло в Ростове. Здесь в ростовском Борисоглебском монастыре на Устье в те времена подвизался затворник Иринарх (в мире Илья, сын крестьянина). Удручая себя тяжелыми железными веригами и цепями, этот старец в своем уединении зорко следил за современными событиями России и являлся пламенным русским патриотом. Слава его подвижничества привлекала к нему не только знатных русских людей, но и пришлых поляков и западноруссов. Так его посетил Ян Сапега и старец советовал ему скорее воротиться на родину, а иначе предсказывал гибель в Русской земле. Он же ободрял идти на врагов Михаила Скопина-Шуйского, послал ему благословенную просфору и свой крест, с которым Скопин победоносно дошел до Москвы. Тот же старец посылал в Ярославль к Пожарскому и Минину, увещевая их не медлить и смело идти к столице, не боясь Заруцкого, которого они там не застанут. Теперь Пожарский и Минин сами пришли к нему за благословением. Он укрепил их дух и дал им свой подвижнический крест, с которым они и совершили очищение Москвы от врагов.

Вскоре в Ростове же Пожарский получил важное известие из-под Москвы об удалении Заруцкого. Сей последний видел, как с приближением второго ополчения падала его собственная сила: сами подначальные ему казацкие атаманы стали покидать его и переходить на сторону прибывавшей отовсюду земской рати; Трубецкой при всей слабости своего характера также начал от него отделяться. А тут еще обнаружились его тайные сношения с Ходкевичем, которые велись при посредстве нескольких поляков (собственно западноруссов), перешедших в русскую службу и замешавшихся в казацьи таборы: один из таких поляков, именно ротмистр Хмелевский, и донес Трубецкому на своих товарищей. Их схватили и пытали. Видя, что ему самому грозит опасность бунта, Заруцкий с частью приверженных себе казаков ночью бежал в Коломну к Марине; разграбив этот город, он вместе с Мариной и ее маленьким сыном ушел в рязанский город Михайлов.

Таким образом ярославское промедление дало несомненно благоприятные плоды по отношению к казачеству вообще и к Заруцкому в частности: не только его козни успели выясниться и огласиться, но и сам он с наиболее хищными товарищами принужден удалиться из-под Москвы; а это обстоятельство облегчало и упрощало борьбу с врагами.

Ополчение прибыло в Переяславль-Залесский и, подкрепившись тут ратниками и запасами, двинулось далее. 14 августа оно достигло Троицкой Лавры и остановилось между монастырем и Слободой Клементьевской. Сюда приходили посланцы от князя Трубецкого с грамотами к архимандриту и братии: он просил их побудить ополчение, чтобы оно спешило как можно скорее к Москве; ибо гетман Ходкевич с запасами приближается, а казаки от великой скудости хотят уйти прочь. Но самая настойчивость эта многим начальникам казалась подозрительною, и они говорили князю Пожарскому, что казаки хотят заманить его, чтобы убить, подобно Ляпунову. Архимандрит и келарь старались отклонить такие опасения и убеждали идти скорее на помощь. Пожарский отправил наперед себя под Москву новое подкрепление с князем Вас. Ив. Турениным.

Здесь же, во время остановки под Троицею, ему пришлось дать ответ иноземцам. Около того времени воеводы получили любопытное предложение от нескольких иноземных офицеров вступить в русскую службу с набранным ими отрядом; для чего они намеревались на английских и нидерландских кораблях прибыть в Архангельск. Пожарский отвечал благодарностию на это предложение; но отклонил его под тем предлогом, что московские

люди теперь покинули рознь, соединились и не нуждаются более в иноземной помощи, чтобы управиться с своими врагами, польскими и литовскими людьми. При сем он выражал удивление, что в числе предлагавших свои услуги находился Яков Маржерет, который еще недавно сражался против русских в польских рядах и являлся злейшим врагом, чем сами поляки. Он ушел из Москвы вместе с изменником Михаилом Салтыковым к Сигизмунду, который принял его весьма благосклонно. Опасаясь какого-либо коварства со стороны иноземных искателей добычи и приключений, Пожарский не ограничился ответною грамотою, а отрядил на всякий случай и ратных людей для обороны отдаленного Архангельска.

Отдохнув дня четыре под Троицей, 18 августа поутру ополчение выступало уже прямо к Москве и выстроилось на горе Волкуше. Тут архимандрит с братией в праздничных ризах с крестами и образами отслужили напутственный молебен, по окончании которого войско отдельными сотнями подходило к священнослужителям и прикладывалось к образам; архимандрит благословлял их крестом, а священники кропили святою водою. После войска подходили за благословением начальники и воеводы. В то утро дул сильный противный ветер, и рать была несколько смущена; ибо считала его дурным предзнаменованием. Но когда войско двинулось, а Дионисий, стоя на горе, продолжал осенять его крестом, вдруг ветер переменялся и подул в тыл ополчению с такою силою, что люди едва сидели на конях. Эта перемена сочтена была чудесным предзнаменованием, указывающим на заступление св. Сергия; ратные люди, по словам летописи, «отложили страх, охрабрились и давали друг другу обещание помереть за дом Пресвятой Богородицы и за Православную веру». Келарь Авраамий остался при войске.

19 августа, не доходя верст пять до Москвы, Пожарский за поздним часом остановился на берегу Яузы, а наперед отрядил к Арбатским воротам разведчиков, чтобы выбрать место для лагеря. Тщетно князь Трубецкой присылал звать его к себе в таборы: воеводы продолжали не доверять казакам. На следующее утро сам Трубецкой с своими людьми встретил ополчение и снова звал Пожарского в свой острог; но тот снова отказался расположить свое войско вместе с казаками. Он устроил собственный стан у Арбатских ворот Белого города, где поставил острог и укрепил его валом. Видя такое к себе недоверие, князь Трубецкой и казаки с этого дня начали питать нерасположение к Пожарскому, Минину и ко всей их рати. Вместе с прибывшими ранее отрядами второе ополчение заняло целый полукруг Белого города от Петровских ворот или от речки Неглинной до Алексеевской башни, стоявшей у реки Москвы (на Остоженке). Противоположный полукруг занимали казачьи таборы.

Судьбе было угодно, чтобы ополчение прибыло в самое нужное время; еще один день промедления, и было бы уже поздно. Когда Пожарский укреплялся в своем стане, литовский гетман подошел к Москве и остановился на Поклонной горе.

Карл Ходкевич знал о сборе нового ополчения и его движении к столице; знал также о его задержке в Ярославле, внутренних несогласиях, и, вероятно, рассчитывал в особенности на предательство Заруцкого; а потому не спешил собственным прибытием, стараясь собрать возможно более войска и съестных припасов. Наконец ему удалось получить подкрепления: король прислал пятнадцать хоругвей; несколько панов привели свои отряды, а, главное, пришли черкасы или украинские казаки в числе восьми тысяч, под предводительством какого-то Наливай-ки. Всего войска было у гетмана теперь тысяч до пятнадцати, и он смело двинулся на выручку гарнизона, рассчитывая превосходством вооружения и воинского

искусства одолеть хотя гораздо более многочисленное, но нестройное, плохо вооруженное и не обученное военному делу русское ополчение, страдавшее притом рознью между казачеством и земством. Но это земство было теперь одушевлено, во-первых, страстным желанием отстаивать православие и очистить свою родину от беспощадных и ненавистных врагов, а, во-вторых, сознанием, что оно собрало, можно сказать, последние силы, последних людей, что им неоткуда ждать помощи, что одна надежда только на Бога и на самих себя, что следовательно остается только победить или умереть.

Поутру 22 числа гетман Ходкевич стал переправляться через Москву-реку под Новодевичьим монастырем. Трубецкой, стоявший за рекой у Крымского двора, прислал к Пожарскому просить конных сотен на помощь. Тот послал ему пять отборных сотен. Но вместо того, чтобы ударить во фланг или в тыл полякам, Трубецкой остался в бездействии и допустил их совершить переправу; после чего они отбили от берега русскую конницу, Пожарский велел всадникам сойти с коней и биться пешими; но поляки взяли верх и потеснили русских с поля. Навстречу им вышел польский гарнизон и ударил на Чертольские ворота, через которые мог быть введен обоз с припасами; однако московские стрельцы отбили гарнизон, у которого, по словам одного из начальников (Будила), от голода истощились силы до такой степени, что и руки, и ноги отказывались служить. Меж тем как ополченцы Пожарского отступали перед натиском Ходкевича, Трубецкой продолжал смотреть на бой сложа руки; а казаки его еще глумились над ополченцами и кричали: «Богаты пришли из Ярославля! Пусть одни отбиваются от гетмана!» Но пять означенных сотен не выдержали и, несмотря на запреты князя Трубецкого, поскакали на помощь своим. За ними самовольно последовали несколько казачьих атаманов с своими отрядами, сказав князю: «От ваших несогласий Московскому государству и ратным людям приключается пагуба». Удар этих свежих сотен на врагов поддержал ополченцев, которые около Тверских ворот остановились и посреди развалин Деревянного города вступили в отчаянный бой. Из многочисленных ям, из-за печей и других обгорелых остатков жилищ на поляков посыпались со всех сторон меткие выстрелы; враги замешались, а потом, в свою очередь, подались назад и к вечеру отступили. В эту ночь один московский изменник провел 600 польских гайдуков берегом Москвы-реки, так что они захватили острожек у церкви Егория на Яндове и доставили гарнизону несколько запасов. На следующий день гетман передвинул свое войско к Донскому монастырю и отсюда 24 числа повел новую атаку из Замоскворечья с целью пробиться в Кремль, чтобы ввести туда съестные запасы и подкрепление.

Трубецкой стал у Лужников, а Пожарский у Ильи Пророка Обыденного; часть войска он разместил во рву вдоль бывших стен Деревянного (или Земляного) города, а впереди их выставил конницу. Долго сопротивлялись русские; но гетман, понимая всю важность момента, действовал с большою энергией: он ударил всеми силами, смял передние русские полки и втоптал их в Москву-реку. Казаки Трубецкого вяло помогали ополчению и наконец стали уходить в свои таборы. В это время поляки прогнали казаков из острожка у церкви Климента папы римского, ввезли в него часть запасов и распустили над ним свои знамена. Когда казаки увидели эти знамена и вошедший в острожек обоз, им сделалось стыдно своего поражения и, кроме того, в них разгорелась жажда добычи. Они воротились и начали снова добывать острожек. Но, видя, что дворяне не спешили к ним на помощь, казаки начали роптать; говорили, что помещики богатеют своими именьями, а они наги и голодны; а потому зарекались вперед идти на бой с врагами. Эту рознь неприятель хорошо заметил и занялся расчисткой пути от загромождавших его развалин и всяких препятствий, чтобы ввести запасы в Кремль.

В такую критическую минуту князь Пожарский послал за келарем Авраамием, который с духовенством у обыденного храма Пророка Илии совершал молебен о даровании победы. Князь и Козьма Минин с плачем просили старца идти и убеждать казаков, без помощи которых невозможно было одолеть врагов. Авраамий в сопровождении некоторых дворян поспешил к казакам. Сначала он остановился у помянутого Климента острожка, где при виде многих побитых людей осыпал похвалами мужество казаков, их терпение к ранам,

голоду, нагоде и крепкое стояние за православную веру; говорил об их славе, распространившейся по дальним странам, и умолял идти на неприятеля, взяв себе за ясак или боевой клик чудотворца Сергия. Казаки, умиленные его речами, обещали все скорее умереть, чем воротиться без победы, и просили старца с такими же речами идти в казачьи таборы. Келарь пошел далее и против церкви Никиты Мученика увидел толпу казаков, переправлявшихся через Москву-реку, чтобы воротиться в свои таборы. Он к ним обратился с тем же горячим словом и так их одушевил, что все они повернули назад и устремились в бой с криком: Сергиев! Сергиев! Келарь пришел в самые их станы, где казаки занимались, кто питьем, кто игрою в зеро. Увещания и мольбы старца и здесь так подействовали, что все казаки схватили оружие и с тем же криком ринулись на врагов. Эти толпы босых, оборванных, но одушевленных бойцов тотчас изменили ход сражения. Климентов острожек был взят обратно, а занимавшие его литовские люди и венгры перебиты; неприятельский обоз, пробиравшийся в Кремль, русские разорвали и переднюю часть его забрали; русская пехота засела по ямам и в крапиве, чтобы не пропустить гетмана в город. В этой битве отличился и Козьма Минин. По его просьбе Пожарский дал ему три дворянские сотни, да сотню служившего в ополчении ротмистра Хмелевского. Переправясь через Москву-реку, Минин ударил на две литовские роты, одну конную, другую пешую, стоявшие у Крымского двора. Обе роты обратились в бегство. Затем русская пехота вышла из ям и крапивы и дружно вместе с конницей потеснила неприятелей.

Видя полную неудачу, Ходкевич отступил в свой лагерь к Донскому монастырю. Русские дошли до рва Деревянного города; многие хотели выйти за ров, чтобы продолжать бой и доконать врагов. Но осторожные начальники их не пустили, говоря, что в один день не бывает двух радостей и надобно благодарить Бога за достигнутый успех; они велели только стрельцам и казакам поддерживать непрерывную пальбу, чтобы еще более устрашить врагов. Неприятельское войско всю ночь не слезало с коней, ожидая нападения; а поутру гетман покинул свою позицию и передвинулся на Воробьевы горы. Простояв здесь около двух дней, он дал знать осажденному гарнизону, чтобы тот потерпел еще три недели, обещая прийти ему на помощь с новым более многочисленным войском, и 28 августа, терзаемый гневом и стыдом, ушел по Можайской дороге. С великою скорбью осажденные смотрели со стен Кремля и Китай-города с одной стороны на удаляющегося гетмана, а с другой на русское ополчение, которое замкнуло их со всех сторон и даже отняло у них Москву-реку. Перед ними поднимался призрак страшного голода со всеми его ужасами.

Узнав, что неприятельские отряды намерены как-нибудь нечаянно проскользнуть со съестными припасами в город, русские воеводы велели вокруг него копать рвы, плести плетни в два ряда и середину между ними засыпать землею; день и ночь вели эту работу, пока не окончили ее; чем пресекли всякую возможность подвоза. Но области продолжали страдать от разных литовских шаек. Так часть черкас покинула Ходкевича на его обратном походе и бросилась на север, где между прочим разграбила и сожгла посады около Вологды.

В сентябре месяце князь Пожарский обратился с увещаниями к польско-литовскому рыцарству. Он отправил письмо, но не к Струсю, а к полковникам Будиле и Стравинскому, которых убеждал не слушать более Струсю и изменника Федьку Андронova с товарищами, не ожидать напрасно новой помощи от гетмана, не надеяться на рознь земцев с казаками, а сдать в плен и сохранить свою жизнь. От имени означенных полковников и их товарищей получен был высокомерный ответ, наполненный хвастливыми словами о своей рыцарской доблести и укорами русских в трусости и вероломстве, особенно в измене той присяге,

которую они принесли царю Владиславу; причем сам Пожарский назван был «архибунтовщиком». «Мы не закрываем от вас стен; добывайте их, если они вам нужны, — говорилось в ответе; — а напрасно царской земли шпынями и блинниками не пустошите. Лучше ты, Пожарский, отпусти к сохам своих людей: пусть хлоп по-прежнему возделывает землю, поп знает церковь, а Кузьмы занимаются своей торговлей». Но подобные ответы, свидетельствуя о школьном знакомстве их авторов с риторикой и спартанскими преданиями, слишком не соответствовали действительному положению дел.

Из письма Пожарского видим, что осажденные главным образом рассчитывали на выручку, обещанную гетманом, а отчасти надеялись на раздоры в русском лагере и на повторение ляпуновской истории. Они забывали, что Трубецкой хотя и заводил разные пререкания, но не был способен заменить Заруцкого в деле предательства и тайных козней. По удалении Ходкевича нелады между земством и казачеством действительно повторялись и не раз грозили важными последствиями; однако вовремя прекращались усилиями добрых и благочестивых патриотов.

Князь Трубецкой хотел, чтобы Пожарский и Минин ездили к нему в таборы для совещаний и разбора земских дел. Но те не забывали участи Ляпунова и отказались. Таким образом хотя правительственные грамоты выходили теперь за общую подписью двух воевод, Трубецкого и Пожарского, однако разряды у них были отдельные. Только в октябре месяце по приговору всей рати один общий разряд и все приказы поставлены на речке Неглинной, на Трубе, т. е. в промежутке между таборами казачьими и ополченскими. Тогда и дело осады пошло успешнее. В нескольких местах устроили туры с нарядом (батареи), именно у Пушечного двора (на Неглинной), в девичьем Георгиевском монастыре и у Всех Святых на Кулишках; из этого наряда начали постоянно бить по Кремлю и Китай-городу, стараясь, однако, не повредить находившихся там храмов. Из осажденного города стали выбегать в стан осаждающих разные люди, русские, литовские и немецкие; они свидетельствовали о свирепствовавших там тесноте и голоде, от которых умирает много людей: хлеба совсем не осталось; осажденные едят уже собак, кошек, мышей, всякую падаль и мертвечину, даже человечину. Подобные известия, разумеется, укрепляли русских воевод в надежде на то, что оборона близится к концу.

От этого времени дошел до нас целый ряд правительственных грамот за подписью князей Трубецкого и Пожарского в разные города. Они извещают о положении дел под Москвою; приказывают укреплять места и вообще принимать меры воинской предосторожности против неприятельских шаек; главным же образом настаивают на неуклонной доставке шуб и съестных припасов под Москву для ратных людей. Особенно много забот причиняли казаки постоянными жалобами на недостаток кормов и неплатеж жалованья. Отсюда нередко возникали новая рознь между двумя главными воеводами. По сему поводу имеем грамоту, написанную, очевидно, троицким духовенством, обращенную к двум князьям, Трубецкому и Пожарскому, с увещанием быть им в соединении и любви, ради блага всей Русской земли, и с обильными ссылками на разные места Св. Писания. Обращаясь к современному состоянию родины, сочинители грамоты восклицают: «Кто убо не восплачет нас тако прилежащих? Кто не возрыдает нас, тако запустевших? Кто не восплачет толикое наше ослепление гордостное, яко предахомся в руки враг, беззаконных Лютор и мерзких отступников Латын, и неразумных и варварских язык Татар, и округ борющихся и обидящих нас злых разбойник и Черкас?»

Троицкая Лавра не одними письменными увещаниями старалась умиротворить и

привести к единению разные части русского ополчения. Однажды казаки так ожесточились на дворян и детей боярских, упрекая их в стяжании многих богатств, а себя называя нагими и голодными, что хотели разойтись в разные места, а некоторые предлагали побить дворян и разграбить их имущество. Узнав о том, архимандрит, келарь и соборные старцы учинили совет и, за неимением наличных денег, решили послать казакам дорогую церковную рухлядь, ризы, стихари и епитрахили, сажженные жемчугом, в виде заклада, пока монастырь соберет деньги, чтобы выкупить вещи. Вместе с закладом послана была и увещательная грамота, умолявшая довершить подвиг своего страдания и не отступаться от Московского государства; причем она осыпала похвалами службу и терпение казаков. Когда эту грамоту прочли перед всем войском, казаки были растроганы; отослали ризы назад в монастырь с двумя атаманами и ответным писанием, в котором обещали исполнить все по прошению архимандрита и старцев, не отходить от Москвы, не взявши ее и не отомстивши врагам за христианскую кровь.

Меж тем время текло, а о какой-либо помощи гарнизону не было и слуху. Несмотря на тесное обложение города, осажденные находили возможность посылать гетману и королю известия о своем отчаянном положении и даже получать ответы. Но ответные похвалы их мужеству, обещания наград, убеждения терпеть и ждать, конечно, не могли помочь делу. Голод достиг ужасающих размеров: съели пленных, принялись вырывать из земли тела умерших, за людьми охотились, как за дичью. Один поручик съел двух своих сыновей, другой съел собственную мать, третий своего слугу; сын не щадил отца, отец сына; об умершем родственнике или товарище шел спор, кто имел более прав на его съедение. Несмотря на крайнее истощение, едва держащие в руках оружие, осажденные еще имели силы отбить несколько приступов. Однако они так ослабели, что русские взяли Китайгород, и первое, что они здесь нашли, были чаны с соленым человеческим мясом. Из Китая поляки ушли в Кремль. Чтобы уменьшить тесноту и голод в Кремле, они выпустили из него боярские семьи, т. е. жен, детей и прислугу с некоторою рухлядью. По просьбе мужей, боярынь приняли Пожарский и Минин и отвели в свои станы, а казаки сильно злобились на то, что им не дали ограбить сих боярынь.

Сидевшие в Кремле русские изменники, особенно Федор Андронов, более противились сдаче, чем сами поляки; ибо боялись жестокой казни за свою измену. Но наконец и их перестали слушать. Сам Струс, все время державший себя героем, предложил товарищам сдачу. Поляки 24 октября предварительно выпустили из города московских бояр с Фед. Ив. Мстиславским во главе. Опять Пожарский и Минин выстроили ополчение в боевой порядок, и приняли с честью бояр в свои станы; казаки тоже вышли с оружием и знаменами, и едва не вступили в бой с ополчением за то, что им не дали грабить бояр. На следующий день ворота Кремля растворились. Русские двинулись в город отрядами с разных сторон. Все отряды сошлись на Лобном месте. Тут духовенство отслужило благодарственный молебен, имея во главе троицкого архимандрита Дионисия со стороны осаждавших, а со стороны осажденных греческого Элассонского архиепископа Арсения, который тогда занимал в Кремле место русского архипастыря. Он пришел из Кремля со всем освященным собором, со крестами, иконами и с главною святынею московскою, иконою Владимирской Богородицы, один вид которой привел в умиление все православное воинство. После молебна ополчение вступило в Кремль, где оно с ужасом смотрело на чаны с человеческими трупами, на поруганные и оскверненные всякою мерзостью церкви, рассеченные на части образа с продырявленными очесами, ободранные и разоренные престолы и т. п.

Пленные поляки были поделены между ополчением и казачеством: полк Будилы достался на долю первым, а Струся вторым. Вопреки клятвенному договору, казаки все-таки перебили часть пленных. Самого Струся заключили под стражу в Чудове монастыре; Будилу и Стравинского взял себе Пожарский и отослал с некоторыми товарищами в Нижний Новгород; других заключили в Балахну, Ярославль и иные города. Там озлобленное против поляков население тоже частью избило пленных. В Нижнем хотели побить Будилу и его товарищей; но их спасла княгиня Пожарская, мать Димитрия Михайловича, упросив народ иметь уважение к присяге и службе ее сына. Пленников засадили в каменную тюрьму. Русские бояре-изменники, по-видимому, были оставлены в покое; только Федор Андронов, судя по некоторому известию, был потом повешен.

Князь Трубецкой занял в Кремле двор Бориса Годунова; а князь Пожарский расположился на Арбате во Воздвиженском монастыре. Они продолжали составлять временное правительство; возобновили приказы и вели всякую земскую расправу. Москву стали очищать от трупов и развалин; а возвращавшиеся жители принялись за стройку и обновление своих домов. Служилые люди, думая, что все покончено, начали разъезжаться по домам. Но труднее всего было удовлетворить казачество: оно требовало, чтобы ему отданы были и те небольшие остатки царской казны, которые уцелели от расхищения в кремлевских кладовых стараниями бояр. Но князь Пожарский и Минин успели взять эти остатки под охрану земской рати. Отсюда вновь возникли ссоры и не раз казаки хотели побить земских начальников. Только грозная весть о новом приближении польского войска, с самим Сигизмундом во главе, заставила прекратить раздоры и опять готовиться к дружному отпору.

Но слухи преувеличили опасность.

Король, долго собиравшийся в поход, склонился на убеждения Ходкевича и некоторых других панов, и наконец выступил из Вильны вместе с сыном Владиславом. Хотя ему удалось собрать незначительное войско; но он рассчитывал застать поляков еще в Москве и подействовать появлением Владислава, которого русские бояре ожидали так настойчиво и долго. Король и Ходкевич прошли уже Вязьму, когда дорогою вдруг получили известие о сдаче Москвы и гибели польского гарнизона. Тем не менее они продолжали поход и осадили сначала Погорелое Городище, а потом Волок Ламский, где главным воеводою был Ив. Конст. Карамышев; гарнизон, состоявший преимущественно из казаков, мужественно оборонялся. Король послал Адама Жолкевского с легким конным отрядом под Москву; при отряде находились князь Дан. Мезецкий и дьяк Граматин, которые должны были войти в переговоры с начальниками русской рати и убедить их к признанию Владислава. Но московские воеводы не хотели и слышать о переговорах и заставили этот отряд уйти назад. (Сам Мезецкий вскоре покинул поляков и уехал в Москву.) Никто в Московской земле уже не признавал царем Владислава; никто не приходил к нему на помощь. Напротив, везде население готово было встретить его с оружием в руках, а шайки вольницы или шишей препятствовали фуражирам добывать продовольствие в стране и без того вконец опустошенной. Видя полную неудачу своего предприятия, Сигизмунд отступил от Волока Ламского и ушел в Польшу.

* * *

Итак, важнейшая и труднейшая задача была исполнена: Москва очищена от неприятелей и снова стала средоточием самобытной русской государственной жизни. Оставалось теперь

довершить дело обновления сей последней всенародным земским избранием царя, без которого была немислима и сама эта жизнь в понятиях русского человека. Народ выражал явное нетерпение по сему поводу.

Уже при ополчении князя Пожарского, как мы видели, состоял род Земской думы, которая собралась во время долгого пребывания его в Ярославле. Но, очевидно, это была далеко не полная Дума, заключающая в себе представителей тех областей, которые прислали в ополчение свои вспомогательные отряды. Последним актом сей Думы было распоряжение о созыве Собора «для земского совета и государева избранья». Во все города Московского государства разосланы были грамоты с приказом прислать в Москву от всяких чинов людей, т. е. духовных, дворян, детей боярских, гостей, посадских, служилых и уездных, от каждого города лучших по десяти человек или «поскольку пригоже». Созывные грамоты разосланы были приблизительно в первой половине ноября 1612 года; а в декабре и в январе следующего, 1613 выборные из городов постепенно съехались в Москву. Собралась Великая Земская дума, самая знаменитая из всех московских собраний такого рода и самая продолжительная.

Великая дума началась усердными молитвами в Успенском соборе у гробов московских угодников и трехдневным постом. Затем открылись совещания об избрании царя. Тут прежде всего представился вопрос об иноземных принцах: были и такие боярские голоса, которые напоминали о присяге, данной Владиславу; еще более явилось сторонников шведского королевича Филиппа, за которого стоял Великий Новгород с своим архиепископом Исидором. Но возбуждение против иноземцев вообще было уже так велико, что с этим вопросом покончили скоро: и решили не выбирать никого из иностранцев наравне с Маринкиным сыном, а выбрать государя из коренного православно-русского рода. Этот приговор значительно облегчал задачу; но предстояло еще немало труда, чтобы разрешить ее удовлетворительно и окончательно.

На Соборе голоса разделились между несколькими знатными московскими родами, каковы: Мстиславские, Голицыны, Воротынские и Романовы. По некоторым свидетельствам, в числе кандидатов появились даже главные вожди ополчения, освободившего Москву от поляков, т. е. князя Трубецкой и Пожарский. Впрочем, это более косвенные свидетельства, чем прямые.

Были, вероятно, другие претенденты, о которых источники не сохранили нам указаний. Немало времени прошло в спорах и пререканиях между партиями, на которые разбился Собор. По свидетельству летописцев, некоторые вельможи прибегали к подкупам и не щадили своего имущества на раздачу даров, а еще более не скупались на обещания. Но мало-помалу число претендентов стало уменьшаться. Одни сами отказались от своей кандидатуры. Так князь Ф.И. Мстиславский, будучи человеком пожилым и бездетным, и прежде в подобных случаях не поощрял своих сторонников, а теперь, по всем признакам, уклонился окончательно. То же, вероятно, сделал скромный князь Пожарский, когда увидел, что не может иметь успеха как представитель захудалого рода. Князя И.М. Воротынский (на пиру у которого заболел Михаил Скопин) и Д.Т. Трубецкой, хотя принадлежали к знатным родам, а последний считал себя спасителем отечества, но они не имели за собою любви народной; а потому, не получив поддержки, волею-неволею должны были тоже устраниваться. Таким образом, наиболее степенная кандидатура сосредоточилась, собственно, около двух боярских семей: Голицыных и Романовых; первые принадлежали к потомкам Гедимины, а вторые были коренного русского происхождения. Очевидно, на них уже давно

указывало общественное мнение: недаром же сообразительный гетман Жолкевский постарался устранить их как опасных соперников королевичу Владиславу, отправив послами к королю главных представителей этих двух семей, т. е. князя В.В. Голицына и митрополита Филарета. Мы видели, что по свержении Шуйского Гермоген прежде других предлагал избрать князя В.В. Голицына. В числе его многочисленных приверженцев находим братьев Ляпуновых. Пожарский отзывался о том же князе, как о таком столбе, за которого все бы держались. Подобные отзывы свидетельствуют, собственно, о личном глубоком уважении к Голицыну; но в народе не видим такого уважения, и естественно: князь Василий Голицын, при своем уме и способностях, не ознаменовал себя в Смутную эпоху никакими выдающимися подвигами; все время царствования Шуйского он интриговал против него и заводил крамолу. Только во время своего посольства к Сигизмунду и во время плена он, наряду с Филаретом Никитичем, своею твердостью и патриотизмом возбуждает к себе сочувствие. Но именно этот плен и служил главным препятствием к его избранию; а за его отсутствием никто из братьев не мог его заменить: Андрей был убит поляками; Иван же, по-видимому, представлялся личностью слишком незначительною. Поэтому и голицынская кандидатура в конце концов была отстранена. Следовательно, оставались только Романовы. Филарет Никитич, томившийся в том же плену, как монах, все равно не мог занимать престол. Из его братьев в живых оставался только Иван Никитич, который находился еще в цвете лет. Однако партия Романовых не его выставила своим кандидатом, а его племянника Михаила Федоровича. Гетман Жолкевский, конечно, предвидел, что Иван Никитич не будет опасным соперником Владиславу; но он ошибся, считая Михаила Федоровича еще слишком юным, чтобы явиться претендентом на московский престол. А между тем ранняя юность Михаила и послужила едва ли не главным условием, обратившимся в его пользу.

При этом не надобно забывать, что польские начальники, спровадив Филарета Никитича к Сигизмунду, отнюдь не оставили в покое или на свободе его семью. Иван Никитич, старица Марфа и ее сын Михаил удержаны были в столице как бы в качестве заложников, и тут, живя в Кремле вместе с другими боярскими семьями, они принуждены были выдерживать все ужасы осады сначала от ополчения Ляпунова, а потом Пожарского. Любопытно, что остававшийся в Москве член фамилии Голицыных Андрей Васильевич, очевидно считавшийся опасным, был просто убит поляками, а Михаил Феодорович Романов выпущен ими здоровым и невредимым. Нельзя не признать в этом случае действия высшего Промысла, который бодрствовал над своим избранником.

В его пользу сложилась теперь целая совокупность разных условий.

Во-первых, всякий выдающийся боярин зрелых лет во-лею-неволею принимал участие в событиях Смутного времени, имел за собою немало грехов и, во всяком случае, более или менее бурное прошлое, принадлежал к той или другой партии, имел не только сторонников, но и много противников или завистников; иной не один раз присягал или изменял присяге. Вообще бояре неохотно подчинились бы кому-либо из своих товарищей, с которыми они привыкли обращаться на равной ноге. Другое дело юноша, только что выходящий из отроческих лет, не причастный никаким кровавым событиям и партиям, никаким прошлым грехам и не имевший личных врагов. Следовательно, его кандидатура менее других могла встретить недоброжелательства и противодействия между боярами. Во-вторых, огромное большинство средних классов и простого народа должно было решительно оказаться на стороне Михаила Феодоровича, потому что он принадлежал к любимой и всеми уважаемой семье, несчастья которой и несправедливо претерпенные гонения еще усилили народное к

ней расположение или так называемую популярность. В-третьих, в глазах народа большое значение имело его родство с последними государями из династии Владимира Великого. Отец его приходился двоюродным братом царя Феодора Ивановича, племянником царицы Анастасии и сыном Никиты Романовича; а обо всех этих трех лицах сохранилась в народе самая светлая и теплая память. Это родство и близость к угасшему любимому царскому дому, как известно, в глазах народа представлялись столь важным условием, что кандидатура Романовых уже при кончине Феодора выдвигалась на передний план; но интриги и властное положение Бориса Годунова успели тогда ее устранить. А теперь, по окончании неудачных опытов с Годуновыми и Шуйскими, она выступила с новой и еще большею силою. В-четвертых, среди бояр не оказалось более ни одной фамилии, которая могла бы соперничать с Романовыми. Самые могущественные из них Годуновы и Шуйские в свое время достигли престола, но не удержались на нем и уже навсегда были устранены; а Мстиславские, Воротынские и даже Голицыны, несмотря на попытки, должны были также устраниться по вышеуказанным причинам.

Хотя сама по себе фамилия Романовых в то время была очень небольшая (три мужские члена); но она имела многочисленных родственников и свойственников, особенно по женской линии, каковы: Шереметевы, Салтыковы, князья Сицкие, Черкасские, Катыревы-Ростовские, Львовы и некоторые другие; со своими клиентами и приятелями они составляли значительную партию. Во главе ее очутился боярин Федор Иванович Шереметев (женатый на княжне Черкасской, племяннице Филарета Никитича). Он был одним из наиболее прославившихся в Смутное время воевод и состоял членом временного боярского правительства; а во время московской осады ополчениями Ляпунова и Пожарского, ведая дворцовым приказом, он оберегал царское казнохранилище и, несмотря на польские хищения, сумел уберечь кое-что из драгоценных вещей. Шереметев находился в переписке с Филаретом Никитичем и князем В. Голицыным, которые, хотя и были тогда польскими пленниками, но, очевидно, с живейшим интересом следили за событиями в отечестве, особенно за выбором нового государя. Филарет Никитич, конечно, получал постоянные и драгоценные для него известия о своей семье от Ф.И. Шереметева, на попечении которого, по-видимому, и находилась эта семья во время своего кремлевского сидения в осаде. Весьма возможно, что и самое охранение Михаила от польских покушений в эту эпоху является отчасти заслугой Шереметева, который как член временного боярского правительства был в ладах с польскими начальниками.

Из переписки Шереметева с Филаретом и Голицыным до нас дошли только некоторые отрывочные сведения. Но и по ним можем судить, как опытный, умный Филарет из далекого плена сумел руководить действиями своих родственников и приятелей и чрез них влиять на ход вопроса об избрании царя. Так имеем известие (шведа Страленберга) об одном письме Филарета Никитича, которое он из своего Мариенбургского заключения послал Ф.И. Шереметеву. В этом письме пленный митрополит советует, во-первых, хлопотать об избрании царя из собственной боярской среды, а во-вторых, поставить избранному разные условия, на которых тот должен царствовать; причем предлагает и проект самых условий, которые (по замечанию того же Страленберга) были составлены по польским образцам. По тому же известию Шереметев прочел это письмо на Земском соборе, чтобы отклонить от Филарета подозрение в искательстве престола для его собственного сына. С их стороны, очевидно, эта была искусная тактика, показывающая, как хорошо Филарет знал обстоятельства, а главным образом настроение современного

боярства, его помыслы и стремления, дело в том, что желание бояр ограничить царское самодержавие, несомненно возникшее вследствие тиранства Грозного, еще усилилось со времени тайных казней и гонений на знатные фамилии при Годунове; последующие избрания Шуйского и Владислава сопровождались, как известно, разными ограничительными в пользу бояр условиями; немало влияния оказывал при сем близкий пример польско-литовского строя. На московских бояр, конечно, соблазнительным образом влияли те привилегии и вольности, которыми владело польское и западнорусское панство. Особенно во время смуты, при оживленных обоюдных сношениях, несомненно в Москве возникали частые толки по сему поводу, которые возбуждали и поддерживали боярские вождедения.

Во всяком случае, Василий Шуйский не пользовался самодержавною властью, и боярство при нем уже успело высоко поднять свою голову. Поэтому вопрос об ограничении самодержавия, по всей вероятности, и во время избирательного Собора 1613 года был действительно возбужден и предрешен в среде собственно Боярской думы. Филарет Никитич и руководимый его наставлениями Федор Иванович Шереметев отнюдь не становились вразрез с таким настроением боярства, а, напротив, искусно им пользовались. Под рукой, при посредстве своих приятелей, Шереметеву нетрудно было внушить боярам мысль, что, благодаря юности и неопытности Михаила, думные бояре, в сущности, и будут правителями государства при нем, особенно если они свяжут его ограничительными условиями. И эта мысль, конечно, нравилась боярству. Если верить другому подобному же известию, то не без связи с указанною сейчас мыслию существовало письмо, отправленное Шереметевым к пленному князю В.В. Голицыну, главному сопернику Михаила. По словам одного лица, видевшего это письмо, там приблизительно говорилось следующее: «Выберем Мишу Романова; он еще молод и разумом не дошел, и нам (т. е. боярам) будет повадно». Напрасно, некоторые отвергают достоверность сего показания. Положим, оно не передает точно содержание письма, а только приблизительный его смысл; но и этот смысл или эта тактика опять-таки вполне соответствовали обстоятельствам, т. е. боярским желаниям, и подтверждают, что, руководимый дальнзорким Филаретом Никитичем, Ф.И. Шереметев ловко проводил среди бояр кандидатуру Михаила. Означенное его письмо является также позолоченною пилюлею для князя Василия Голицына, как Михайлова соперника.

Как бы то ни было, мало-помалу к Михаилу пристало боярское большинство, т. е. самое главное влиятельное сословие, и все другие кандидаты постепенно устранились. По всем признакам, за него высказались наконец и освободители Москвы: Минин и Пожарский; что было весьма важно, ибо в их руках пока оставалось распоряжение значительною ратною силою.

Если руководителям стороны Романовых удалось привлечь к себе большинство даже неподатливых и завистливых бояр, то другие сословия склонились к ним еще легче. Духовенство, верное завету Гермогена, по-видимому, особенно было расположено к Филарету Никитичу и его сыну и своим влиянием в народе много ему способствовало. Некоторые высшие духовные лица рассказывали о бывших им видениях и откровениях, которые тоже указывали на Михаила Феодоровича; а народное воображение было так настроено, что подобные рассказы производили свое действие. Такой именно рассказ об откровении приписывается старшему духовному лицу, присутствовавшему на Соборе (Ефрему, митрополиту Казанскому, или Кириллу, митрополиту Ростовскому). Далее, по некоторым известиям, от ратных служилых людей, т. е. дворян, детей боярских и казаков,

стали поступать на Собор письменные заявления в пользу избрания Михаила Феодоровича. Большую поддержку Ф.И. Шереметев нашел у московских обывателей, между которыми семья Романовых издавна пользовалась особым расположением. Авраамий Палицын рассказывает, что к нему на Богоявленское подворье приходили многие дворяне, дети боярские, гости из разных городов, атаманы и казаки, приносили свои письма об избрании Михаила и просили его передать их желание боярам и воеводам; что он, как член Земской думы, исполнял с великою охотою. То же делали и некоторые другие члены; например, калужский гость Смирной и его товарищи представили Собору такие же письма от Калуги и Северских городов; один галицкий дворянин подал подобное же письменное изложение. Наконец такое же заявление сделал Собору какой-то донской атаман от имени казаков, которых тогда еще много стояло под Москвой.

Это совпадение заявлений от разных сословий подало повод к сочинению следующей легенды.

Князь Пожарский советовался с освященным собором, боярами и всяких чинов людьми о выборе царя и спрашивал: «Есть ли у нас царское приращение?» (т. е. отрасль царского рода). Духовенство решило соборно молить Бога о милости и попросило сроку до утра. Наутро некий дворянин из Галича подал Земскому собору родословную выпись, в которой показывал близкое сродство Михаила Феодоровича с царем Федором Ивановичем и отсюда его право на престол. Но на Соборе были и недоброжелатели Михаила, которые грозно спросили: кто и откуда принес это писание? Вдруг является донской атаман и также подает выпись. Пожарский спрашивает атамана, о чем гласит его писание. «О природном государе Михаиле Феодоровиче», — отвечает тот. Прочли оба писания, которые оказались вполне сходными. Увидя такое неожиданное согласие дворян с казачьим атаманом, Собор был удивлен и единодушно выбрал Михаила.

Итак, когда большинство голосов на Соборе было достаточно подготовлено, 7 февраля состоялось предварительное избрание Михаила Феодоровича. Но, по-видимому, все еще слышались многие голоса людей, противившихся сему выбору. Поэтому для большей крепости окончательный приговор отложили на две недели, поставляя на вид, что из городов еще не все выборные люди успели приехать на Собор. Отсутствовали и некоторые знатные бояре, отдохавшие в своих вотчинах после испытанной ими совместно с поляками тяжелой московской осады; в их числе был и Ф.И. Мстиславский. Послали гонцов с просьбою поспешить прибытием как к этим боярам, так и по городам. Кроме гонцов, в ближние города и уезды поехали «верные люди», чтобы разузнать мнение жителей насчет Михаила Феодоровича, а может быть, и для того, чтобы повлиять на их мнение. Сии люди донесли, что везде его выбор встречается с великим сочувствием. Есть известие, что именно около этого времени Земская дума, желая лично узнать юношу Михаила, послала в Кострому к его матери двух дворян с просьбою немедленно отпустить своего сына в Москву. Старица Марфа, испуганная такою просьбою и втайне предупрежденная Шереметевым, отказалась ее исполнить. Собор, вероятно побуждаемый некоторыми недоброжелателями Романовых, обратился к самому Шереметеву, прося его убедить старицу. Но исполнение этой просьбы было не в видах Шереметева: он опасался, что крайняя юность, застенчивость, робость и неопытность Михаила могут произвести на Соборе неблагоприятное впечатление. Сам Филарет Никитич был по своему времени человеком очень образованным; но, рано оторванный от семьи, он не мог озаботиться образованием своего сына. Детство и отрочество Михаила проходили то в ссылке, то в деревне, то в московской осаде, и нам

неизвестно даже, был ли он своевременно обучен грамоте. (Хотя последнее обстоятельство не могло быть тогда помехою для достижения престола: известно, что Борис Годунов, при всем своем уме и государственной опытности, грамотою не владел.) Во всяком случае, Шереметев не поддался на уловку недоброжелателей. Со слезами на глазах он отвечал, что совсем не желает вмешиваться в этот выбор, чтобы не сочли его человеком, который хлопочет более о своей родне, чем о благе государства. Его ответ произвел на собрание желательное впечатление. Оно еще более утвердилось в намерении остановить свой выбор на Михаиле Феодоровиче.

Окончательное соборное избрание совершилось 21 февраля в первое воскресенье Великого поста, т. е. в неделю Православия. Великая Дума собралась в Успенском соборе. Тут отобраны были письменные мнения от членов Думы, и, по словам современных свидетелей, в тот день единогласно оказался избранным Михаил Феодорович Романов. Главные руководители этого избрания сочли нужным для большей его торжественности и прочности спросить еще мнение, собственно, москвичей и отрядили для того особую депутацию, которую составили рязанский архиепископ Феодорит, новоспасский архимандрит Иосиф, троицкий келарь Авраамий Палицын и боярин Вас. Петр, Морозов. Они пришли на Лобное место и обратились к народу с вопросом, кого он желает иметь царем. Народ, при своем расположении к семье Никитичей, еще подготовленный приятелями и помощниками Ф.И. Шереметева, громкими кликами заявил, что никого не желает, кроме Михаила Феодоровича Романова. Немедленно в Успенском соборе был отслужен благодарственный молебен; такие же молебны о долголетию новоизбранного государя с колокольным звоном служили по другим церквям и монастырям царствующего града. Затем началась присяга в Москве и городах по крестоцеловальной грамоте, уложенной Земским советом.

К Михаилу Феодоровичу и его матери снаряжено было от сего совета торжественное и многочисленное посольство. Во главе его поставлены частью те же лица, которые спрашивали народ на Лобном месте, а именно: архиепископ рязанский Феодорит, новоспасский архимандрит Иосиф и троицкий келарь Авраамий, кроме того, симоновский архимандрит тоже Авраамий, а из светских членов боярин Ф.И. Шереметев, князь Влад. Ив. Бахтеяров-Ростовский, Фед. Вас. Головин и дьяк Иван Болотников. С ними отправились выборные от всяких чинов Московского государства: стольники, стряпчие, дворяне, дьяки, жильцы, дети боярские, гости, казачьи атаманы, стрелецкие головы и пр. Посольство снабжено было письменным подробным наказом, который точно определял, что нужно говорить Михаилу и его матери, как поступить на случай их отказа и что сказать в случае их опасения за участь митрополита Филарета. Кроме сего наказа послаам вручили еще две грамоты для матери и для сына: в них излагались московские события последней эпохи и заканчивались они извещением о соборном избрании Михаила Феодоровича Романова. 2-го марта посольство выехало из Москвы.

Старица Марфа Ивановна и ее юный сын Михаил, освободясь из рук осажденных в Москве поляков, удалились в свои вотчины, находившиеся в Костромском уезде; причем они с молитвенною целью посетили некоторые соседние монастыри; между прочим, ездили и в обитель Макарьевскую на р. Унже. Затем мать и сын мирно проживали в своем селе Домнине, расположенном в глухом лесном краю, в 70 верстах от города Костромы, и надеялись, что здесь они достаточно укрыты от военных бурь того времени и от вражеских нападений. Но эта надежда не оправдалась.

Польско-литовские шайки вместе с воровскими казаками еще свирепствовали в местах приволжских и даже заволжских. Между прочим, в 1613 году такие шайки нападали на пригород Солигалич, лежащий на р. Костроме, и на Железоборовский монастырь, отстоящий от села Домнина в 15–20 верстах. Неизвестно, одна ли из этих шаяк или какая другая, в виду слухов об избрании Михаила Федоровича, задумала внезапным нападением захватить его в свои руки и направилась в ту сторону. Но ей нелегко было найти прямую дорогу в местности лесистой, ровной и занесенной снегом, шайка попала в Деревнищи, один из ближних и принадлежавших Домнину поселков. Тут польско-литовские люди схватили обывателя, по-видимому деревнищенского старосту по имени Ивана Сусанина, расспрашивали его о местопребывании семьи Романовых и потребовали, чтобы он проводил их в Домнино. Сусанин, догадавшись, в чем дело, охотно согласился служить проводником; но, отправляясь в дорогу, успел послать своего зятя Богдана Сабинина к старице Марфе Ивановне с предупреждением об опасности и с советом спастись скорее в Кострому. Он повел поляков такою дорогою, что Домнино осталось в стороне. Долгое время водил он их по лесам и замерзшим болотам; враги начали изъявлять подозрения, грозя Сусанину жестокими пытками и смертью. Когда же, по его расчету, Михаил был вне опасности, он объявил полякам истину, и принял от них мученическую кончину. Так вероятно или приблизительно совершился его подвиг, о котором история, к сожалению, имеет только или глухие, или косвенные свидетельства.

Как бы то ни было, старица Марфа уехала с своим сыном в Кострому; но они поселились не в самом городе, а укрылись за каменными стенами Ипатьевского монастыря, который был основан в XIV веке мурзою Четом, предком Годуновых, и отделяется от города только рекой Костромой при самом ее впадении в Волгу.

13 марта прибыло в Кострому торжественное московское посольство, отправленное Великою Земскою думою. На следующий день после обедни оно, вместе с костромскими воеводами, духовенством, служилыми людьми и толпою обывателей, двинулось в монастырь при колокольном звоне, предшествуемое хоругвями и образами, в числе которых находилась почитаемая чудотворною икона Федоровской Богородицы. Марфа и ее сын встретили шествие у ворот обители и приложились к иконам. Услыхав, зачем приехало посольство, великая старица с плачем и гневом говорила, что она не благословит сына, и долго не соглашалась следовать за послами в монастырский Троицкий храм; едва ее умолили. Тут отслужили молебен, а затем подали Марфе и Михаилу соборные грамоты и начали излагать те речи, которые были написаны в посольском наказе. Архиепископ Феодорит и боярин Шереметев били челом и говорили поочередно о предшествовавших событиях Смутного времени и об избрании Михаила Федоровича на вдовствующий престол Московского государства с усиленною просьбою поспешить своим прибытием в царствующий град. Выслушав их, Михаил с плачем отвечал, что у него и помышления не было о такой великой чести. Старица Марфа с гневом говорила, что сын ее еще не в совершенных летах, а «Московского государства всяких чинов люди по грехам измалодушествовалися, и, дав свои души прежним государям, служили им не прямо, изменяли». Видя их измены, клятвопреступления, убийства и поругания прежним государям, и прирожденному государю теперь трудно быть на Московском государстве. К тому же оно разорилось до конца от польских и литовских людей и от русских воров; сокровища царские вывезены, дворцовые села и черные волости розданы в поместья всяким служилым людям и запустошены, и кому приведет Бог быть на Владимирском и Московском государстве царем и великим князем,

нечем жаловать служилых людей, исполнять свои царские обиходы, стоять против своего недруга польского короля и иных пограничных государей. И потому еще она, старица Марфа, не может благословить своего сына на государство, что отец его митрополит Филарет находится у короля в Литве и тот может учинить над ним какое зло.

Послы стали усиленно молить Михаила и его мать, чтобы не призвали соборного приговора и челобитья и не взирали на примеры недавних государей, которые сели на государство или насилием, или обманом; а что «ныне Московского государства люди наказались и пришли в соединение во всех городах, за христианскую веру хотят помереть, Михаила обрали всею землею и крест целовали служить ему и прямить и кровь за него проливать». А ради отца его митрополита Филарета Великая Дума посылает к королю посольство с предложением обменять его на многих польских и литовских людей. Старица и Михаил продолжали отказываться. Тогда архиепископ Феодорит взял на руки икону Федоровской Богородицы, а келарь Авраамий образ московских митрополитов Петра, Алексея, Ионы и вместе со всем народом стали «бить челом с великим воплем и со многим слезным рыданием». Архиепископ грозил, что Бог възыщет на них за будущее конечное разорение Московского государства, за поругание святых Божиих церквей, честных икон и многоцелебных мощей. Челобитье и переговоры продолжались с третьего часа дня до девятого. Наконец старица Марфа не устояла против всенародного моления и челобитья и, преклонясь перед чудными иконами, благословила сына на Владимирское, Московское и на все государства Российского царства. Михаил принял благословение и царский посох от архиепископа Феодорита и всего освященного Собора. Духовенство отслужило благодарственный молебен и провозгласило многолетие молодому государю. Молебны эти пелись потом в течение трех дней по всем местным церквам. С радостною отпискою о благополучном исполнении своего поручения послы отправили в Москву дворянина Усова и зарайского протопопа Димитрия. День 14 марта 1613 года должен навсегда остаться памятным в русской истории.

В этой повести об отказах и мольбах, происходивших в Костромском Ипатьевском монастыре и предшествовавших согласию Михаила на его избрание, нельзя не заметить некоторые общие черты с тем, что происходило шестнадцать лет тому назад, т. е. 21 февраля 1598 года в Московском Новодевичьем монастыре, когда патриарх с крестным ходом пришел умолять Бориса Годунова о принятии короны. А потому, кроме весьма естественных страхов и опасений матери и сына принять избрание при таких печальных и трудных обстоятельствах, не должно забывать, что в сих трогательных сценах участвовал также и древний русский обычай. В силу этого обычая и понятий того времени, не следовало легко и скоро принимать вообще какой-либо выдающийся почет, а тем более столь высокую и многотрудную степень, каковую представляло царское достоинство.

19 марта Михаил Федорович с матерью, соборными послами и многими служилыми людьми выехал из Костромы; а на третий день прибыл в Ярославль. Тут он, подобно Пожарскому, оставался продолжительное время, пребывая в Спасском монастыре. С одной стороны, его задерживала весенняя распутица, а с другой, он не спешил ради многих неурядиц, происходивших в Москве и вокруг нее, и выжидал, пока дела придут в больший порядок, и столица приготовится к должному принятию новоизбранного государя. Сюда съехались из соседних городов многие дворяне, дети боярские и торговые люди на поклон государю. Во все это время между ним и Великою Земскою думою происходили деятельные сношения и взаимная пересылка грамотами. Юный царь посылал разные предписания, а Собор приводил их в исполнение и обо всем его извещал. Главным предметом заботы служила, во-первых, оборона государства от поляков, шведов, Ивана Заруцкого и воровских шаек; для чего в Москве снаряжали служилых людей и посылали подкрепления угрожаемым местам. Во-вторых, велено было собирать отовсюду запасы в московские дворцовые

помещения «для государева обихода» к его приезду; для чего во все дворцовые села рассылались писцы и сборщики. При сем не обошлось без большой доуки от дворян и детей боярских, которые в Смутную эпоху завладели многими дворцовыми имуществами; теперь же царские чиновники их отписывали обратно на государя. Немало беспокойств причиняли также разбойничьи и воровские шайки, которые производили грабежи и убийства в окрестностях столицы и делали небезопасным самый путь между ними и Ярославлем. Обо всем этом государь писал Земской думе и требовал принятия надежных мер. Само собой разумеется, если возьмем в расчет крайнюю юность и неопытность Михаила Федоровича, то поймем, что все эти полезные и предусмотрительные распоряжения, исходившие от его имени, внушались его руководителями, т. е. матерью и боярином Шереметевым; им, по всей вероятности, помогали и другие члены московского посольства, например, архиепископ Феодорит, келарь Авраамий, дьяк Болотников и пр.

Только 16 апреля Михаил с своею свитою выехал из Ярославля и на другой день прибыл в Ростов. Здесь он промедлил несколько дней; потом остановился в Переяславле-Залесском и в Троицкой Лавре. Везде он вместе с матерью обходил «честные» монастыри, молился «чудотворным» иконам и кланялся ♦ многоцелебным» мощам. С дороги государь не раз писал в Москву и изъявлял свое неудовольствие на то, что власти не принимали энергичных мер против разбойников и воров, которые продолжали грабить и убивать людей; чем отчасти объяснял замедление своего прибытия. Власти оправдывались, как могли. Земская дума прислала новое торжественное посольство с просьбою поспешить своим прибытием в царствующий град. Во главе посольства находились архиепископ суздальский Герасим, князь Воротынский, боярин Морозов, князь Мезецкий и дьяк Иванов. Оно приветствовало царя рано поутру 1 мая в селе Братовщине. На следующий день, 2 мая, в воскресенье, совершилось торжественное шествие Михаила и его матери в Москву. Их встретили за городом митрополит ростовский Кирилл со всем освященным собором и со крестами, бояре, дворяне и всяких чинов люди с женами и детьми. Они прибыли прямо в Успенский собор, где совершены были молебны; государь принял благословение от митрополита и архиепископов; пожаловал бояр и дворян и всяких чинов людей «велел быть у своей царской руки»; а они «здравствовали ему с радостнотворными слезами». Из Успенского собора он прошел в Архангельский поклониться гробам почивших государей, а отсюда в Благовещенский. Затем он расположился в разоренном Кремлевском дворце в тереме царицы Анастасии Романовны; этот ветхий терем к его приезду власти кое-как успели привести в порядок; а для старицы Марфы приготовили хоромы в Вознесенском девичьем монастыре. В каком страшном разорении находились тогда не только город и посады московские, но и самый Кремль, о том наглядно свидетельствуют большие хлопоты о помещении новоизбранного государя. Сначала окружающие Михаила из Ярославля писали в столицу, чтобы для него приготовили палаты бывшей царицы Ирины Федоровны, а для матери его хоромы супруги Василия Шуйского. Но от Великой думы получился ответ, что те палаты и хоромы стоят без кровель, без полов и лавок, без дверей и окон; в казне денег нет, плотников и подходящего лесу тоже под рукой не имеется, и вскоре добыть их нельзя.

Когда прошли первые дни радости и торжеств, власти и всяких чинов люди били челом государю, чтобы он «венчался своим царским венцом». Государь «не призрил их молений». Торжественное венчание совершилось 11 мая в Успенском соборе. Перед выходом в соборную церковь государь сел в Золотой (расписанной по золотому полю) палате на царском месте и соизволил пожаловать в боярский сан двух стольников: свойственника

семьи Романовых князя Ивана Борисовича Черкасского и знаменитого воеводу Дмитрия Михайловича Пожарского. Обоим им пожалование сказывал думный дьяк Сыдавный Васильев; у сказки при Черкасском стоял боярин Вас. Петр. Морозов, а при Пожарском думный дворянин Гаврило Пушкин. И Морозов и Пушкин били челом, что им в этой сказке по своему отечеству быть невместно. Но государь ради своего царского венца указал им «быть без мест». Затем при распределении регалий князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой заспорил о том, что Ивану Никитичу Романову велено держать Мономахову шапку, а ему, Трубецкому, скипетр и что ему «невместно» быть менее Ивана. Государь сказал, что Иван Никитич ему по родству дядя, и тоже велел быть без мест. Были и другие случаи местничества; но также устранены приказом государя. Венчание происходило с обычными обрядами и церемониями. Его совершал Ефрем, митрополит Казанский и Свияжский. При сем боярин Иван Никитич Романов держал корону или шапку Мономахову, князь Дим. Тим. Трубецкой — скипетр, Дим. Мих. Пожарский яблоко или державу, а дьяк Сыдавный Васильев — блюдо. После венчания старейший боярин князь Ф.И. Мстиславский три раза осыпал государя золотыми: в Успенских дверях, потом в дверях при выходе из Архангельского собора и после выхода из Благовещенского собора на Золотой лестнице подле Грановитой палаты. В этой палате устроены были пиршественные столы для духовенства, бояр, окольных и думных людей. На следующее число, 12 июля, государь праздновал день своего ангела, и в этот день он пожаловал Козьму Минина в думные дворяне.

Что касается до ограничительных в пользу бояр условий, о которых, как мы видели, была речь еще в переписке Филарета Никитича с Ф.И. Шереметевым, то имеем ряд свидетельств о том, что Михаил Федорович перед своей коронацией утвердил запись, предложенную ему боярами в этом смысле. Но в каком виде существовала эта запись, наши источники не дают точного ответа на такой вопрос. По всем признакам, это была запись собственно боярская, которой осталась чужда Великая Земская дума; ибо в дошедшей до нас избирательной грамоте, подписанной членами этой Думы, о таковой записи нет и помину.

ОБЩИЙ ВЗГЛЯД НА СМУТНОЕ ВРЕМЯ

Бурная эпоха русской исторической жизни, известная под именем Смутного времени, представляет в высшей степени важный, любопытный и поучительный предмет для наблюдений и выводов.

Главною причиною, вызвавшею этот мучительный перелом, или исходным его событием является прекращение древнего царствующего дома Владимира Великого, прекращение, подготовленное тиранством Ивана Грозного, не пощадившего и собственного потомства. В сущности, Иван Грозный и был непосредственным виновником Смутного времени, приготовив для него почву, с одной стороны, сыноубийством, а с другой, вообще своим необузданным деспотизмом. Если бы прекращение Владимирово дома произошло несомненным и для всех очевидным образом, тогда оно не могло бы иметь такого значения, какое получило в данном случае. Но оно осложнилось безвременною гибелью единственного отпрыска царствующей фамилии, т. е. Дмитрия Углицкого. Его внезапная и, по всем историческим данным, насильственная смерть была окружена такими обстоятельствами, которые придали ей характер таинственности и сделали ее предметом разнообразных слухов и толков в народе, толков весьма неблагоприятных для лица, занявшего московский престол, т. е. для Бориса Годунова. А сей последний оказался не на высоте своего положения. С одной стороны, он не только не сумел примирить с своим возвышением притязательное московское боярство, но и прямо воспротивился ему значительную и наиболее влиятельную его часть. С другой стороны, против него настроены были и низшие слои народа: среди сельского населения происходило сильное брожение, вызванное мерами закрепощения, переселениями на юго-восточные окраины и разорением северо-западных областей, служивших театром неудачных войн за Ливонию при Иване Грозном. Наиболее беспокойные и отважные люди из крестьян и холопов уходили в вольное донское и волжское казачество, которое именно в это время сделалось многочисленным и сильным; а при своем враждебном отношении к государственным порядкам оно представляло готовую вооруженную силу для всякого отчаянного предприятия. Не одни крестьяне и холопы становились в ряды казачества; к ним приставали и многие из обеднявших посадских, особенно из приволжских городов. Даже и состоятельные люди городского сословия, напр., класс гостей, были недовольны Борисом Годуновым за его пристрастие к иноземным торговцам и те привилегии, которыми он их наделял.

Все эти обстоятельства хорошо были известны в Западной Руси и Польше, и там постарались ими воспользоваться, чтобы без труда расширить пределы Речи Посполитой на востоке, включив в них Смоленщину и Северщину, которые издавна составляли спорные земли между Москвой и Литвой. Современные заправилы Речи Посполитой, кажется, простирали свои виды еще на Новгород и Псков, а в случае легкого успеха могли рассчитывать и на большее. Чтобы низвергнуть Годунова и произвести смуту в Московской Руси, наилучшим средством к тому являлось самозванство — способ уже испытанный поляками в отношении их соседей. Внезапная и довольно таинственная кончина маленького Дмитрия представляла для того весьма удобный повод.

Главным деятелем в этой гнусной польской интриге, по-видимому, был литовский канцлер Лев Сапега, который нашел себе усердных сообщников в лице Мнишков, преследовавших свои личные цели, и связанных с ними родством Вишневецких. Самозванец, которого они выставили, при всем своем загадочном происхождении,

представляет яркий тип ополяченного западнорусского шляхтича. По всем признакам, Лев Сапега с самого начала действовал с ведома и согласия Сигизмунда III. По некоторым данным можно думать, что тот же Сапега во время своего продолжительного пребывания в Москве в качестве посла успел завязать какие-то тайные сношения с тою боярскою партией, во главе которой стояла семья Романовых; в тех же сношениях был замешан чудовской монах Григорий Отрепьев. Отсюда произошло их преследование со стороны Годунова. Римская курия и Иезуитский орден были привлечены уже к готовой польской интриге; а не были ее зачинщиками; они приняли участие в надежде распространить церковную унию из Западной России и на Восточную.

Руководители Самозванца при вторжении в московские пределы направили его именно на Северскую Украину, которая отчасти тянула к Западной или Польско-Литовской Руси, и казачество которой находилось в живых связях, на одной стороне, с Запорожьем, на другой — с Доном. Поэтому вторжение увенчалось здесь блистательным успехом. В эту критическую эпоху Борис не показал ни находчивости, ни решительности; едва ли не главную свою защиту он построил на отождествлении Самозванца с Григорием Отрепьевым и на церковном проклятии сего последнего. Шатость в умах московской рати и явная неохота боярства сражаться за Годуновых довершили их падение, и тем более, что по смерти Бориса эта фамилия из среды своей не выставила ни одного способного, энергичного защитника. Масса собственно Московского населения увлечена была искреннею верою в подлинность Димитрия и своею исконною преданностию «прирожденным» государям. Но легкость, с которою досталась ему московская корона, внушила крайнюю самоуверенность этому отчаянному искателю приключений; у него закружилась голова, и крайне легкомысленным поведением он сам дал против себя оружие своим тайным противникам боярам, которые, конечно, хорошо понимали обман и пользовались всяким случаем раскрыть глаза народу. Поэтому первый Лжедмитрий еще легче, чем Годуновы, пал жертвою боярского заговора и народного мятежа, вместе со многими окружавшими его поляками, не менее его легкомысленными. Глава этого заговора Василий Шуйский принадлежал к тем знатным фамилиям, которые притязали на вакантный московский престол, и он действительно захватил сей престол. Но этим актом закончился только первый период Смуты: раз начавшаяся, она не только не прекратилась, а благодаря союзу внешних врагов с внутреннею крамолою продолжала действовать все с более разрушительною силою, пока не достигла своих крайних пределов.

Польские козни усилились. Те же две фамилии Мнишков и Вишневецких, при том же скрытом участии Льва Сапеги, выставили и второго Лжедмитрия; та же польско-шляхетская и казацкая вольница привела его к стенам Москвы. Хотя этот второй Лжедмитрий несомненно исповедовал православие, владел русскою грамотностию и вообще более походил на русина, чем первый Самозванец, однако в столице грубый обман уже настолько сделался известным, что масса московских обывателей гнушалась им и мужественно выдерживала продолжительную осаду со стороны тушинских таборов. Но в областях, где труднее было узнать истину и куда доходили самые разноречивые и превратные слухи, Тушинский вор имел более успеха; многие города признали его царем и доставляли помощь людьми, а особенно припасами.

В эту эпоху вскрылась и старая неприязнь к Москве со стороны некоторых покоренных ею областей, в особенности со стороны окраин: юго-западной, тянувшей отчасти к Польско-Литовской Руси, и юго-восточной, состоявшей из вновь завоеванных земель двух бывших

татарских царств, Казанского и Астраханского. На северо-западе можно было ожидать столь же враждебного движения в древних вечевых общинах, Великом Новгороде и Пскове. Однако Новгород первое время оставался верен Москве; что указывает на действительность мер, принятых Иваном III и его преемниками для прочного водворения там московского строя. Только Псков резко проявил свою старую демократическую основу и долго сдерживаемую вражду к московским порядкам. В таких критических обстоятельствах Василий Шуйский обратился за помощью к сопернику польского короля, Карлу IX шведскому. Доблестный царский племянник собрал северо-западное ополчение и, присоединив наемный шведский отряд, предпринял очищение государства от польско-казацких и русских воровских шаек. В это время на помощь законному государственному порядку выступила внутренняя духовная сила — Православная церковь. В столице ее стойким представителем явился патриарх Гермоген; а вне столицы выдвинулась Троицкая Лавра, сумевшая так поднять дух своих немногочисленных защитников, что они выдержали долговременную осаду от самого способного из польско-литовских предводителей, Яна Сапеги. Вместе с освобождением Лавры и самой Москвы от осады, казалось, государственный порядок, представляемый Шуйским, готов был восторжествовать над Смутой; хотя Сигизмунд III, вдохновляемый Львом Сапегой, уже лично выступил для ее поддержки и осадил Смоленск. Неожиданное обстоятельство — внезапная кончина Скопина — вновь повернуло события в пользу Смуты и против династии Шуйских. Если восстановление и очищение государства до такой степени зависели от существования одного только царского родственника, то ясно, что успехи его не были прочны, что внутренние причины Смуты еще находились в полном разгаре. Клушинский погром, свержение Василия, присяга Владиславу и занятие Москвы поляками заканчивают второй или средний период Смуты.

В следующий, третий, период бедствия Русской земли достигают крайних пределов. Смоленск и Новгород становятся добычей враждебных соседей. В самой столице, водворилось двойное правительство, военно-польское и русско-боярское, действовавшее именем Владислава, но получавшее приказания от Сигизмунда III и литовского канцлера Сапеги. В областях свирепствовали шайки польские, казацкие и свои воровские. Но именно эти крайние бедствия и пробудили наконец в народе горячее желание прогнать врагов и восстановить государственный порядок, без которого невозможно было охранять ни свою веру, ни гражданское существование. Случайная гибель Лжедмитрия II или Тушинско-Калужского вора послужила благоприятным толчком к объединению народных желаний и стремлений. Державшиеся его области большею частью воротились к единению с Москвою; для высших имущих классов вместе с ним исчезло демократическое пугало; а казаки, чернь и вообще хищные элементы утратили в нем свою опору. Главный почин в народно-православном противопольском движении принадлежал патриарху Гермогену. На его призывные грамоты отозвались почти все коренные великорусские области. В эту бедственную эпоху выступил на переднюю историческую сцену русский мир, т. е. старый общинный или вечевой склад русских городов и волостей. Предоставленные самим себе города и волости деятельно пересылаются гонцами и грамотами друг с другом; население сходится для общих или мирских советов на площадях, преимущественно у церковных папертей после богослужения; тут читают всенародно полученные грамоты, сообщают вести, обсуждают, составляют приговоры. Силою событий воеводы, дьяки, вообще назначаемые центральным правительством власти принуждены рядом с собою признать

деятельное участие выборных земских людей в заправлении делами; а главное, в ведении последних находилось добывание военных средств, т. е. наряд людей, раскладка денежных сборов, доставка всякого рода припасов и т. п.

Первое ополчение, выставленное областями, нашло себе даровитого энергичного вождя в лице рязанского воеводы Прокопия Ляпунова. Оно стало добывать Москву из рук поляков. В то же время в областях образовались отряды собственно народных партизанов или так наз. шишей, которые объявили войну польским и воровским шайкам, и прерывали их сообщения. Но вместе с земским ополчением под Москвою действовали толпы казацкой вольницы, буйной и хищной, которая к тому же попала под начальство такого злонравного честолюбца-интригана, каким был атаман Заруцкий. Его неизбежное соперничество с Ляпуновым окончилось предательским убиением сего последнего, и дело освобождения столицы получило неблагоприятный оборот. Патриарх Гермоген был окончательно лишен свободы, а потому потребовались новые усилия и новые люди со стороны земства и духовенства. Русская земля сделала эти усилия и выставила этих людей.

Возбудительницею последнего народного движения явилась Троицкая Лавра, сиявшая теперь в глазах народа еще большим ореолом святости и подвижничества после выдержанной ею долгой осады. Новый ее архимандрит Дионисий, достойный ставленник патриарха Гермогена, усердно и умело продолжал его начинание, т. е. действовал на народ призывными грамотами, в которых красноречиво увещевал постоять за православную веру и за родину. Под влиянием этих грамот и произошло новое освободительное движение. Во главе сего движения стал Нижний Новгород; он находился в числе немногих городов, уцелевших во время Смуты от неприятельских разорений и погромов. Его, крепкое духом и телом, коренное великорусское население нашло среди себя вдохновенного человека в лице земского старосты Козьмы Минина, по голосу которого охотно понесло жертвы имуществом и личную службу для очищения Москвы от врагов. За Нижним последовали и другие города, преимущественно поволжские; древнее вечевое начало, мирские сходы и приговоры еще раз сослужили службу Русской земле и создали новое сильное ополчение. Это второе земское ополчение выбрало себе вождем князя Пожарского, который своею стойкостью, благоразумием и верностью долгу выдвинулся из всех московских воевод Смутного времени. Наученные предшествовавшими опытами, Пожарский и Минин повели дело обдуманно, основательно и осторожно. Самое казачество в конце концов захвачено было религиозным и народным одушевлением или так наз. подъемом духа и в критические минуты усердно сражалось рядом с земцами. На сей раз народное дело увенчалось успехом. Если мы вспомним, что речь идет о таком могучем и плотном племени, как великорусское, по сравнению с Польшей и Западной Русью, то поймем, что освободительное движение и не могло не увенчаться успехом, раз начали прекращаться гибельная рознь и шатание умов и наступила благодетельная реакция в пользу народного единения и против потворства иноземным насилиям. Минин и Пожарский — это такое явление, которое не один раз повторялось в истории при подобных условиях. В XV веке знаменитая Жанна д'Арк была создана также подъемом народного духа или страстным желанием французского народа изгнать из своей родины угнетавших ее иноземцев — англичан.

Итак, после изгнания поляков из Москвы началось восстановление государственного здания. Но только с избранием царя могла окончиться Смута и наступить умиротворение земли; ибо русский народ, собранный воедино Москвою, успел уже настолько проникнуться монархическим началом, что без царя не мог себе представить никакого гражданского

порядка; да и сама Смута поднята была, как известно, главным образом во имя «прирожденного» государя.

Тут снова выступила на переднюю историческую сцену все та же земская или мирская сила, но уже объединенная в лице выборных людей ото всей Русской земли, т. е. Великая Земская дума. Она занялась устройением земли, а главное, выбором царя. Кандидатов на престол явилось несколько. Испытав всю горечь иноземного вмешательства, Великая дума прежде всего устранила иноземных претендентов и решила взять царя из коренных русских и знатных родов. Но и все русские претенденты мало-помалу должны были устраниваться перед юным отпрыском семьи Романовых. Напрасно предусмотрительный Жолкевский постарался обезоружить эту семью отправкою митрополита Филарета Никитича в числе великих послов к Сигизмунду III, который обратил их в пленников. Возвращаясь к избранию Михаила Федоровича, я считаю нелишним вновь и особенно подчеркнуть следующий свой вывод. Умный митрополит и из своего плена, по всем признакам, сумел влиять на ход вопроса о царском избрании посредством своих многочисленных родственников и приятелей. Но было бы ошибкою со стороны историка решительный успех партии Романовых приписывать по преимуществу ловкой тактике ее руководителей и вообще каким-либо личным проискам. Этот успех главным образом обусловился большим народным расположением к знаменитой семье или так наз. популярностью, которая еще возросла вследствие гонений и бедствий, претерпенных братьями Никитичами от Годунова. (Популярность Романовых подтверждается не только иноземными и русскими источниками, но и таким неподкупным свидетелем, как народная песня.) И другие претенденты также хлопотали, прибегали к разным проискам, даже подкупам; однако их хлопоты ни к чему не привели, потому что не имели под собою благодарной почвы. Трудно сказать, что вышло бы, если бы родственники и приятели Романовых совсем бездействовали. Всякое дело, и самое справедливое, требует хлопот и стараний; но успех зависит от условий, сложившихся за или против него. А тут мы видим, что с момента прекращения династии Владимира Великого кандидатура Романовых, так сказать, висела в воздухе; но стечение разных неблагоприятных обстоятельств отдаляло ее осуществление.

Уже во время кончины Федора Ивановича Романовы в народном понятии стояли к трону ближе других боярских родов. Только власть, фактически находившаяся тогда в руках Бориса, помогла ему захватить корону. Шуйский также захватил власть потому, что фактически она очутилась в его руках; он был предводителем мятежа, низвергнувшего Самозванца, и ловко воспользовался минутою. Но, достигши престола, семья Годуновых и Шуйских сделались жертвами наступившей Смуты. Единственный, остававшийся серьезный соперник князь Василий Голицын, благодаря предусмотрительности Жолкевского, оказался в плену, и, собственно, путь к престолу для Михаила Федоровича был совершенно очищен. Некоторое разногласие и борьба партий, предшествовавшие его выбору, только ярче оттенили несостоятельность всех других претендентов и невозможность их бороться с народным голосом или влечением, которое решительно склонялось на сторону Романовых. Оттого-то и тактика руководителей их партии так легко удавалась и привела к желанному концу, несмотря на то что фактически власть и распоряжение ратною силою совсем не находились в их руках. Высшая власть в это время принадлежала Великой Земской думе, а ратную силу все еще ведали представители народного ополчения, князя Трубецкой и Пожарский, которые, вначале по крайней мере, отнюдь не были усердными сторонниками кандидатуры Михаила Федоровича.

Относительно ограничительных условий, предъявленных боярами, надобно полагать, что они действительно существовали. Это стремление знатных родов ограничить царскую власть возникло вследствие неистовств Ивана Грозного и усвоенного им азиатского деспотизма. Тирания Бориса Годунова могла только подкрепить такое стремление. Тут несомненно влиял и соблазнительный пример Западной Руси, с ее польско-литовским строем, с ее шляхетскими вольностями и господством вельмож (можновладством). Поэтому естественными являлись выборы на известных условиях Василия Шуйского, королевичей Владислава и Филиппа и наконец Михаила Федоровича. Но меж тем как боярство заботилось о своих привилегиях, измученный бедствиями Смуты народ оставался чужд всяким ограничительным условиям и, не любя боярского многовластия, жаждал бесхитростного восстановления самодержавной царской власти; а потому таким умным людям, как Филарет Никитич, нетрудно было предвидеть недолговечность подобных условий, шедших вразрез с потребностями, привычками и понятиями великорусского племени. Эти умные люди, конечно, понимали, что только смута способствовала боярам ограничивать власть Василия Шуйского; но что в более спокойное время тот же Шуйский без особого труда мог бы обуздать боярские притязания, опираясь на консервативное земство.

Вообще на Смутное время можно смотреть как на историческое горнило или тяжелое испытание, ниспосланное русскому народу, которое он выдержал до конца и в котором еще более закалились его терпение и преданность Божественному Промыслу. От своих внешних и внутренних врагов в эту эпоху Русь освободилась одними собственными силами, без всякой посторонней помощи, как и от татарского ига. Смута дала возможность обнаружиться и высказаться всем отрицательным сторонам государственной и народной жизни и всем дурным сокам, накопившимся в течение предыдущего периода. Но напрасно было бы считать такое явление принадлежностью именно данной эпохи и объяснять его преимущественно испорченными нравами, как это делали некоторые писатели; то же самое явление приблизительно повторилось бы и во всякую другую эпоху при тех же обстоятельствах, т. е. шатание умов, измены и братание с врагами родины, если бы точно так же выступили на сцену действия безгосударное время, партийная борьба за верховную власть, экономически угнетенное положение низших классов и т. п. В свою очередь, и самое шатание умов порождалось, главным образом, непреодолимою для народа трудностью узнать правду, тою темнотой и тою путаницей, среди которых приходилось действовать даже лучшим людям Смутной эпохи. Например, в настоящее время мы можем на свободе и при помощи исторической критики разобраться в показаниях разноречивых актов и свидетелей относительно первого Лжедмитрия. А каково было положение народной массы в означенную эпоху по отношению к тому же вопросу? Впрочем, и в наше время все еще являются иногда убежденные защитники подлинности названного Дмитрия, несмотря на то что совокупность исторических данных говорит решительно против нее.

С другой стороны, Смута несомненно подтвердила ту истину, что в общем Москва воздвигала государственное здание прочно и логично; так что никакие бури и потрясения не могли поколебать его основы. Особенно наглядно эта истина сказалась на окраинных или новоприобретенных областях и восточных инородцах, которые заявили о себе только некоторыми бунтами и враждебными действиями; но ни одна область не воспользовалась обстоятельствами, чтобы воротить прежнюю самобытность. Так, московская политическая система умела ослабить их центробежные силы и связать с своим ядром. А древние

самостоятельные княжества, когда-то соперничавшие с Москвою, как Рязань и Тверь, почти ничем не отделялись от коренных московских областей; самые вечевые общины, Новгород и Псков, обнаружили только некоторые признаки старой самобытности и нелюбви к Москве, да и то благодаря вмешательству враждебных соседей. Одно вольное казачество явилось ярким врагом московской государственности; но это была вновь возникшая сила, которая именно в Смутное время получила большой приток из низших классов, недовольных социальным и экономическим гнетом, а особенно наступавшим закрепощением. Однако в критические минуты общее и дорогое всем православие смягчало его вражду к московскому строю; а постепенное умиротворение и служебное подчинение казачества государству предоставлены были последующему периоду.

Что русская государственность до Смутного времени развивалась исторически правильно, это доказывается наглядно последующим ходом истории. Когда Смутное время прекратилось, тотчас же государственная и общественная жизнь поспешила войти в прежнее русло и пошла вперед по тому же направлению. Даже и такое несимпатичное явление, как крепостное право, которое, казалось, могло бы быть снесено со сцены этим бурным потоком, продолжало свое дальнейшее развитие с того самого пункта, на котором оно остановилось в Смутную эпоху.

Энергические усилия, употребленные в конце Смутного времени для полного восстановления государственного здания, утвердили за восточнорусским или, собственно, великорусским народом славу наиболее государственного и, следовательно, наиболее историчного из всех славянских народов. И прежде всего он наглядно обнаружил превосходство своего государственного смысла сравнительно с западною ветвью того же русского племени, т. е. Белорусскою и Малорусскою. Хотя в источниках постоянно говорится о польских и литовских людях, из которых составлялись воинские отряды, служившие самозванцам и разорявшие Московскую Русь; но при этом мы должны иметь в виду, что настоящих поляков в сих отрядах сравнительно было немного; а огромное большинство их состояло из русских людей, т. е. из западноруссов. Притом в их среде менее всего было католиков; более многочисленны были последователи разных протестантских сект, которые в русских сказаниях, относящихся к этому времени, обозначаются общим именем «люторов», т. е. лютеран. А еще большее число входивших в эти дружины шляхтичей (не говоря уже о запорожцах) сохраняли пока свою старую веру, т. е. православие; о чем ясно засвидетельствовал при одном случае и самый известный из их предводителей Ян Сапега. В числе предводителей также еще встречаются православные люди, как, например, Роман Рожинский и Адам Вишневецкий. Несмотря на свое единоверие с Московскою Русью, западнорусская шляхта, уже тронутая влиянием польско-католической культуры и политических вольностей, явилась усердным врагом и разрушителем московского государственного и церковного строя. Следовательно, Смутное время представляет нам не столько нашествие Польши на Москву, сколько нашествие Западной Руси на Русь Восточную, т. е., в сущности, движение братоубийственное. В этом движении полякам и католикам принадлежат, однако, почин и руководство.

При всей своей единоплеменности и единоверии западно-руссы в то время настолько уже разошлись с восточноруссами, что последние с трудом признавали в них своих братьев и, естественно, называли их не Русью, а Литвою или даже поляками, польскими или литовскими людьми. Западно-руссы уже довольно резко отличались от московских людей своею особою культурою и обычаями, принявшими сильный польский оттенок, а также

своею малорусскою или белорусскою речью, испещренною полонизмами, своим полонизованным костюмом и самою наружностью; так как у западнорусской шляхты входили тогда в моду не только бритые подбородки, но и подбритые кругом головы с пучком волос или хохлом на темени. Москвичи, как мы видели, в насмешку называли их лысые головы. Какую важность это наружное отличие имело в их глазах, показывает одно место из призывной грамоты. Изображая бедственное положение Москвы, преданной боярами литовским людям и лишенной всякой защиты, грамота говорит: «Нетокмо веру попрали, хотя бы на всех хохлы хотели учинити, и зато никто бы слова не смел молвити». Следовательно, по понятиям москвичей, если бы литовские люди вздумали обрить им головы по образцу своих собственных и оставить только хохлы, то это было бы таким бедствием, которое едва ли не равнялось попранию самой веры. Так далеко уже успела разойтись тогда Русь Восточная с Русью Западной.

Что касается личности новоизбранного царя, правда, его смиренная фигура не похожа на обычные типы основателей новых династий, типы энергических честолюбцев, не разбирающих средств для достижения целей; тем не менее в этой простодушной, почти детской фигуре было что-то симпатичное для русского человека, особенно после того, как он вдоволь насмотрелся на разных беспокойных и беспощадных честолюбцев Смутного времени. Эта фигура с ее ясным, добродушным выражением производила успокоительное впечатление на современное общество и напоминала ему последнего Рюриковича Федора Ивановича, который пользовался самою светлою памятью в народе и почитался им за святого человека. Во всяком случае, мы должны с чувством глубокого уважения относиться к Михаилу Федоровичу как родоначальнику одной из самых могущественных династий во всемирной истории и как к деду Петра Великого.

Великие российские историки — Василий Татищев, Николай Карамзин, Сергей Соловьев, Василий Ключевский, Дмитрий Иловайский — по-разному оценивали сложнейшее переплетение политических и любовных интриг и событий, происходивших на рубеже XVI—XVII веков. Но все они единодушно утверждали, что в пятнадцатилетней истории Смуты переломным стал 1612 год: в марте в Ярославле было создано Временное правительство — «Совет всей земли», а в октябре отряды народного ополчения под предводительством Д. Пожарского освободили от интервентов Китай-город и Кремль.

Историческая библиотека

ISBN 978-5-17-047690-9



9 785170 476909